Похабовы

роман

Глава 1

Бог знает, какие люди первыми селились в местах старых русских городов: ищущие рая земного или спасения души? Еще в благополучные времена царя Федора появился на Енисее инок Тимофей Иванов. Неведомо, как он оказался на месте нынешнего Енисейска, не дошли до нас слухи и о том, почему не стал, как все, промышлять ценную пушнину или торговать. В 1595 году он построил келью на берегу великой и малоизвестной тогда сибирской реки, ловил рыбу, питался травами и кореньями, пророчил, будто там суждено быть славному городу, а на месте его кельи — монастырю.

Задолго до прихода первых строителей отшельник знал, что город начнут рубить не торговые и промышленные, а служилые люди и по указу русского царя. Но скрыто было от него, когда это случится. Двадцать шесть лет ждал инок Тимофей первых строителей Енисейского острога. Монастырь Всемилостивейшего Спаса, являвшийся ему в видениях среди дремучей тайги, был заложен лишь через пятьдесят лет после основания пустоши. Это пророчество сбылось после кончины старца.

Помяни, Господи, всех страстотерпцев, положивших начало Русской Сибири!

Десять казаков тянули вверх по Оби три струга с рожью, все они были посланы из Сургута на службы в Енисейский острог. Кони яростно хлестали себя хвостами по бокам, мотали головами, отбиваясь от гнуса, по брюхо вязли в трясине топкого берега. Равнинная река была мутна и спокойна.

— А подналяжем! — зычно орал Ивашка Похабов. Он шел первым, не под уздцы, а за гуж, как пристяжной, тянул струг наравне с конем. Его кожаные штаны и рубаха были обляпаны грязью, раскисшие, сползшие к щиколоткам бахилы при каждом шаге гулко шлепали и чавкали, но молодой казак был весел и горланил на всю реку: — Да потянем! Да порадуемся, что течение небыстрое…

В отряде он один был из вольных донских казаков, сосланных в Сибирь за кремлевский бунт. Среди бурлаков шли еще двое ссыльных: плененный под Москвой европеец Ермес и конокрад Якунька Сорокин, приверстанный в казаки, как и брат его Михейка — беглый посадский из Москвы. Все остальные — сибирские казачьи дети из Тобольска и Сургута. Рослый, кряжистый, сильный как жеребец, ловкий как кот Ивашка Похабов если входил в раж, то работал за троих, изматывая других служилых. По глупости да по молодости он еще не понимал, что не всем Бог дал столько сил.

Десятник, Максим Перфильев, то и дело осаживал товарища. Иван слушался его, хоть был немного старше по годам, а по воинской жизни опытней. Его по-детски восхищал ум десятника, успевшего послужить даже за подьячего. Иван с Максимом, Ермес и Филипп Михалев возвращались в Енисейский острог после прошлогодней перемены и на этот раз шли не на год, как прежде, а на постоянную службу, в разрядные енисейские оклады. Сургутский казак Филипп Михалев был старше Ивана лет на десять. Он строил первый Кетский острог еще до Великой смуты и теперь шел в страну Енисею в четвертый раз, вез за собой жену и двух малолетних сыновей.

Благословением первого тобольского архиепископа Киприана с казаками были посланы на Енисей три инокини. Ожидая их по указу из Тобольска, отряд задержался в Сургутском почти на месяц. За старшую среди монашенок почиталась Параскева Племянникова из Нижнего Новгорода. Две ее спутницы, Марина и Вера, были пугливыми тобольскими девками из посада за Кошелевым валом.

Когда отряд выходил из Сургутского острога, казаки относились к инокиням доброжелательно, хотя и ругали их между собой за задержку. Якунька Сорокин — «красавец» с рваными ноздрями, резаным ухом и отрубленным мизинцем — сперва показывал большую охоту к духовным беседам. Но отряд старался нагнать упущенное время, люди выбивались из сил, через пару недель каждодневных тягот, сырости и гнуса, то и дело возникавших из-за инокинь неудобств стал зол на них и Якунька.

Тоболячки плотно укрывали лица платками, не вступая в разговоры с мужчинами, смущенно опускали глаза, если кто-то приближался. И только Параскева не прятала светлого лица, глаза ее так ласково лучились самоцветами, что у Ивана обмирала душа, когда она заговаривала с ним. Спрашивала же обычно инокиня о Енисейском остроге и о старце Тимофее.

Боясь ненароком обидеть ее, Иван, сначала, подолгу мычал, подбирал в голове осторожные слова, но освоившись, сперва тайком, а потом откровенно, как ребенок, стал пялиться на инокиню, любоваться ею. Она же ахала и умилялась рассказам о старце Тимофее.

— Кто-то же благословил его? — восклицала крестясь. — Или сам Господь умуд рил? — невесть кого спрашивая, глядела на Ивана голубыми, небесного цвета

глазами.

От этих взглядов на душе у казака делалось так радостно, что он начинал дурачиться и шалить, запевать раскатистым басом, дюжим плечом налегать на конский круп так, что выталкивал из трясины измотанную лошадку. Та, прядая ушами, удивленно косила на него круглым утомленным глазом.

Вечерами по просьбе инокини он часто говорил о старце, что с ранней весны до поздней осени тот ходит босой и все плачет от жалости к людям: глянет на иного промышленного или служилого — и слезы бегут по его щекам…

— Ладно разут, раздет, — простодушно удивлялся, рассказывая, — волосяную рубаху носит и вериги!

Обласканный вниманием инокини, забывался и начинал посмеиваться над Тимофеем, чем приводил монахинь в смущение:

— По нужде за версту от кельи ходит!.. — Умолкал на полуслове, спохва тывался и переходил на другое: — А при его ските вкладчики: бывшие промышлен ные, служилые, старики и калеки. Чудно. При нем все состарились в тайге, а Тимофею хоть бы х... — едва успел проглотить последнее восклицание, смущался, ерзал и краснел, не зная, как рассказать, что слышал и что знает. Но стоило опять попасть под чарованье голубых глаз Параскевы, слова сами собой слетали с языка слова.

— Чудной! Все наперед знает. Только вспомнишь про него, как на помеле, прости, Господи, уже возле двери. А зацепится веригами или волосянкой за сучок, орет, бедный! То, что всякий юнец разумеет, ему на ум не приходит...

Невеликим своим умишком Иван понимал: мерин — не жеребец, монахиня — не девка, и ласкова с ним совсем не потому, что приглянулся, просто больше ей поговорить не с кем. От лютеранина Ермеса с его заморскими ужимками она открещивалась. Филька Михалев, по грехам, сам шарахался от монахинь, десятник Перфильев был вечно занят заботами каравана, отвечал настороженно, опасливо и вдумчиво. Михейка Сорокин, оказавшись рядом, то ли от испуга, то ли от волнения багровел, надувал щеки, потел и сопел. Другие казаки так обыденно срамословили и охальничали, что монахини убегали от них, зажав уши.

Холодными утренниками, в начале августа, повеяло осенью, а отряд к этому времени не прошел и половины пути до верховий Кети, оттого все спешили больше прежнего, надрывались на бурлацкой бечеве. Иной раз к ночи кони и люди еле держались на ногах, казаки лаялись. Заслышав ругань, монахини пели, чтобы Богородица не услышала их грубых слов, не заткнула бы пречистые уши и не лишила всех идущих благодати. Чем громче срамословили казаки, тем громче разносились над рекой молитвы.

Кашеварила в пути жена Филиппа Михалева, умученная переходом и детьми. Инокини пекли хлеб, то и дело хватались за непосильную работу, но даже при самом легком деле — вести коней под уздцы — их поневы были мокры. Иван да Максим как могли оберегали бедных скитниц. Похабов в тяготах пути так сблизился с Параскевой, до того осмелел с ней, что однажды ненароком признался в тайных помыслах:

— Такие девки! Красивые, ласковые, работящие. Могли бы трех казаков сделать счастливыми. Детей родили бы… — жалостливо взглянул на мокрых, обляпанных гря зью инокинь. Спохватился, подумав, что обидел: вылетело слово — не воротишь. Но Параскева ответила ему с дымкой печали в усталых глазах:

— Если бы не призвание к Господу, была бы я в женах, Иванушка, такой стервой, тебе бы со мной белый свет стал не мил, прости, Господи… Уж я-то себя знаю!

Не осудила, не обиделась на сказанное, но будто отрубила казаку гниющий палец. Больно. Но вскоре сердечная тоска унялась, а рана стала заживать. С тех пор разговаривать с Параскевой Ивану стало проще и легче.

На Парашку-грязнуху не бывает сухо, над стылой рекой и топкими берегами Оби клубился редкий, прозрачный туман. Течение мутной воды почти не примечалось. Бусило низкое, хмурое небо, то и дело просекаясь мелкими, колкими снежинками, стужа прибила вездесущий гнус. Зябкая сырость оседала на обветренных лицах путников, просачивалась под вывернутые парки и шубные кафтаны, а над их головами курился пар. Они уже явно не успевали дойти водой до верховий Кети и спешили добраться хотя бы до устья притока. Бывалые казаки узнавали дельту, окрестности Кетского острога, а самого его все не было видно. В такую погоду легче двигаться, чем ночевать без крова и костра. Пуще всего Ивану жаль было михалевскую женку, детей и девок, хоть бы и в иноческом чине. За одним протоком следовал другой, а вдали виднелся только промозглый кустарник и чахлый березняк. Казаки в мокрой одежде громко и яростно срамословили, не стесняясь монахинь. Те из последних сил, со слезами, пели. А на низком, темном небе не было ни лучика, ни просвета.

Служилый выкрест Ермес-Иван едва волочил ноги, не то чтобы помочь коню, сам зависал на нем. Якунька Сорокин, погоняя его, матерно бранил всех еретиков и

выкрестов, поносил здешних леших с водяными. Ермес в оправданье бормотал под нос латинянскую тарабарщину, а нечисть подсовывала всем под ноги очередную переправу через новую или забытую протоку. Братья Сорокины, Якунька и Михейка, уже и сами подвывали от усталости, Илейка, младший брат Максима Перфильева, всхлипывал, не смущаясь слез. Другие насупленно молчали, раздражаясь пением монахинь.

— Э-вон! — вдруг вскрикнул по-русски Ермес, указывая рукой по ходу. — Кетский!

Иван, согнувшись дугой, тащил струг наравне с лошадью, глядел только под ноги. При оклике выпрямился, увидел край затесанного острожного тына. В тот же миг, почуяв дух жилья, стали радостно всхрапывать, прядать ушами кони. Ермес, похваляясь, что первым увидел острог, шепеляво помянул по-русски черта и получил тычок от Сорокина, в оправдание, он выругался пристойно, по-латыни.

— Эдак хоть затараторься! — благодушно разрешил Якунька, щерясь на ссыльного рваными ноздрями.

Кетский острог на устье притока Оби был построен в 1605 году. Ставился он прямоугольником — восемь с половиной на семнадцать саженей. При трехсаженном стоячем тыне виден был издали. Первые воеводы Григорий Елизаров да Чаботай Челищев, а затем письменный голова Василий Молчанов таскали этот его с места на место, выискивая сухую возвышенность. Не в один год, так в другой острог топило паводками, вода заливала часовню во имя Святой Троицы и положенные под нее гробы с телами ермаковцев. Казаки снова перетаскивали острог, часовню и мощи на другое место, винились перед покойными, просили Господа вразумить, где на этой болотистой земле предать друзей надежно и навеки.

Уже в сумерках отряд был замечен с проездной башни. Над острогом взметнулся пороховой гриб холостого залпа. Максим Перфильев отвечать не велел. Все, что могло отсыреть, отсырело и промокло. Ни у кого уже не было сил высечь огонь, раздуть трут и запалить порох в казеннике пищали. Якунька Сорокин, державшийся последние часы суток одной только бранью, вдруг скис и слезливо обругал острожных:

— Ишь… какие глазастые! Нет бы выйти на подмогу…

Кони, люди и струги подползли к черным сваям пристани. Здесь вверх днищем лежали лодки, дохлыми рыбинами врастали в берег два тяжелых дощаника. Из избы возле острожной стены к прибывшим вышли трое, по виду торговые люди. За ними, зябко кутаясь в шушуны и шубейки, вывернутые мехом наружу, семенили девки. Из посадских наспех срубленных избенок потянулись бабы. Одна вышла с младенцем на руках. Со скрипом растворились острожные ворота, под проездной башней показались стрельцы в малиновых шапках. Зевая и крестя рот, последним вышел седобородый приказный.

— Годовальщики, или че ли? — спросил, щурясь на прибывших казаков.

— Плохо встречаете! — слезно вскрикнул ссыльный Сорокин и с укором оглядел стрельцов.

Приказный бросил презрительный взгляд на рваные ноздри, на зарубцевавшийся комом хрящ отрезанного уха. Никто не торопился помочь казакам вытянуть струги, принять лошадей. Охая, тяжко выползли на сушу инокини в мокрой одежде, со слезами на глазах отвесили по низкому поклону на крест часовни, запели срывавшимися голосами.

— Вон кого принесло! — смахнул шапку старый приказный. — Что так припозднились-то? — залепетал, оправдываясь. — Завтра встретим по чину, а нынче сушитесь и ночуйте: хотите в остроге, хотите здесь, — кивнул на избы.

— Нам бы поближе к вашим красавицам! — сбил на ухо соболью шапку Максим Перфильев. Как ни был измотан переходом, мокрый, обляпанный грязью, но перед кетскими девками пытался блеснуть удалью.

Те, кидая любопытные взгляды на казаков, шумно обступили инокинь, повели их в избу. Максим, придерживая саблю и выпячивая грудь, крикнул вслед:

— К себе нынче не зовите! Придем только после бани. Засмердели в пути, что ведмеди.

Бабы, жены стрельцов, подхватили детей Филиппа, взяли под руки его беззвучно плачущую жену.

— Можем и сейчас баню затопить! К полночи дойдет! — будто из-под полы приказного выскочил стрелец с плутоватым лицом. Глаза его беспрестанно бегали по при бывшим. Невысокий, сухощавый, пронырливый, с бритым лицом, он сказал про баню и пропал. Через миг выскочил из-за другого плеча приказного, начальствен но встал впереди трех стрельцов, разглядывая казаков с вертлявым любопытством со боля. — А тебя я запомнил с прошлого года! — насмешливо впился глазами в Ивана.

Тот устало тряхнул головой:

— Упасть бы как есть. Завтра уж и мыться, и париться.

Пока казаки вытаскивали на берег струги, укрывали поклажу кожами, стрельцы

увели измученных лошадей и вернулись. С ними опять пришли три любопытные девки, те, что увели в избу монахинь. Две, напоказ, были в повязках. Одна, кругленькая, конопатенькая, с добрым, ласковым лицом милой сестрицы, другая, высокая и широкоплечая, пугливо глядела на казаков большими, коровьими глазами. Ее длинные руки висели метлами и несуразно высовывались из коротких рукавов вывернутого тулупа. Третья, явно девка по стати и по зовущим взглядам, сильно выделялась среди подружек. Голова ее и часть лица были покрыты платком, как у женщины. Для любопытных были открыты только горделивый нос да глаза. Но и того хватало, чтобы заныли молодецкие души. Даже в промозглых сумерках вечера эти глаза светились чудным бирюзовым светом. Под поношенным шушуном угадывалась стройность стана. А глядела она на казаков как-то чуть боком, искоса, что настороженная курица или задиристый петух.

— Мы вам и воды наносим, и натопим! — с готовностью предложила конопатая, не сводя глаз с высокого, широкоплечего Ивана.

— И постираем ношеное! — баском пророкотала ее высокая подруга, переминаясь с ноги на ногу. — С дороги дальней без бани и без ужина никак нельзя!

Приказный махнул рукой, дескать, сами сговоритесь, зевнул и приволакивая ноги, поплелся к острожным воротам. Следом вкрадчиво засеменили стрелец с бритым лицом и Ермес. Максим Перфильев с сожалением вздохнул, окинул девок шаловливым взглядом, но, как старший в отряде, подался в острог. Иван отжал, выбил о колено мокрую шапку, нахлобучил ее, встрепенулся, повел плечами и объявил:

— Коли в Кетском девки так хороши, то и среди ночи париться будем!

Сухощавый стрелец, назвавшийся Василием Черемниновым, безнадежно спросил, нет ли у казаков чего выпить после бани. С пониманием кивнул.

— Поведем в новую избу, что ли? — спросил товарищей. По виду те были братьями: невысокие, сбитые крепыши. Они легко забросили на плечи по мешку с одеялами да по ручной пищали, Василий взял в обе руки по походному котлу, покачивая ими, повел гостей не к острожным воротам, а в желтевшую свежими венцами, недавно срубленную избу.

— Вихорка да Тренька Савины! — указал глазами на стрельцов с мешками и с ружьями. — Пятеро нас здесь в караулах. Другие, с сотником, на службах по разным местам и на Енисее… А от этой избы баня ближе, — пояснил, почему повел сюда.

Три девки послушно брели следом за стрельцами и казаками, вместе с ними вошли в темную, сырую избу. В лица пахнуло смолой, под ногами захрустела щепа. Казаки со стрельцами побросали поклажу на лавки. Конопатая девка стала набивать щепой чувал.

— Вы бы, Савина, баню затопили, ночлег сами устроим, — приказал Василий как старший.

Девка, названная Савиной, покладисто кивнула, колобком покатилась к двери. Молодой стрелец, один из братьев Савиных, постучал кремнем по железной полоске, раздул трут, стал дуть на щепу в чувале. Засветился огонек, Иван тяжко опустился на лавку, сбросил на земляной пол раскисшие бахилы, босой, скинул мокрый кафтан и стал стягивать липкую рубаху.

Длинная широкоплечая девка, которую звали Капитолиной, вскоре принесла хлеба и остывшей печеной рыбы. Зычным, терявшимся голосом, по-детски искренне и бесхитростно она отвечала на шутки полураздетых казаков. Большими руками сгребла их мокрые, провонявшие потом и золой рубахи, понесла стирать.

— Невесты! — кивнул им вслед Вихорка Савин. — Купцы привезли нам в жены по царскому указу. По десять рублей рядятся… За каждую! — засопел и в сомнении покачал головой, как пашенный крестьянин на ярмарке.

Брат его, Терентий, обернулся к казакам, пояснил, ожидая поддержки:

— У торговых, что у новокрестов, совести нет. У нас годовой оклад пять рублей. Не мог наш мудрый государь отправить нам невест по такой дороговизне. Брешут, что потратились на содержание.

— Нам бы жалованье по пяти рублей! — завистливо воскликнул Якунька Сорокин. — Даром служим, по принуждению!

— А по мне без жены вольней! — беспечально хмыкнул Василий Черемнинов. — Смотрю на женатых — одни хлопоты.

— За хорошую ясырку* рублей пятнадцать просят! — тугодумно продолжал рассуждать Вихорка. Васькину насмешку он пропустил мимо ушей как не стоящую внимания глупость. — Было бы на что, я бы женился. Одолжаться боюсь!

Ярко разгорелась смоленая лучина, запылали дрова, изба стала нагреваться. Стрельцы поговорили и ушли. Якунька уже всхрапывал на лавке, Михейка Сорокин спал вниз лицом, так и не скинув с себя мокрой одежды. Иван, подремывая, неохотно вставал, подбрасывал дров в очаг. Тихо вошла Капитолина, развесила возле огня выстиранные рубахи. От девки и белья пахло рекой. Приметив, что Иван наблюдает за

ней, она обернулась, приглушенно прошептала:

— Баня скоро дойдет. Я разбужу! Спи пока!

Так уютно и покойно стало на душе Ивана Похабова, будто отдыхал у любимых и родных, живших семейно. Разве в снах чудился ему такой покой, ничего похожего в прошлой его жизни не было. Он блаженно вытянулся на жесткой, тесаной лавке и провалился в сон. Очнулся, когда скрипнула дверь, в избу вкатилась запыхавшаяся Савина, окинула взглядом спавших, взглянула на Ивана. Голосом тихим и ласковым сказала, что каменка дошла до хорошего пара, а вода в котле горяча. Иван сел. Толкнул Илейку Перфильева, стал будить Сорокиных. Якунька сонно пробормотал, чтобы его не трогали, перевернулся на другой бок и сладко зевнул.

Трое вышли из избы полуголыми. Холодная, сырая ночь со свежим запахом снега разогнала сон. Савина принесла два березовых ведра с холодной водой из ручья, бесшумно поставила у прикрытой банной двери, смущаясь полуобнаженных казаков, ушла во тьму. Вскоре те захлестались вениками. Стали шумно бултыхаться в ледяном ручье, хохотали от удовольствия, снова грелись на полке. Послышались шаги в ночи, шорох, кто-то постучал по кровле.

— Хороша ли водица? — заботливо спросила Савина.

— Хороша! Спасибо, девица! Баня того лучше, — заскоморошничал Михейка Сорокин. — А руки у нас корявы, не можем спин потереть щелоком. Помогла бы, красавица!

Савина фыркнула и стала удаляться. Иван на карачках выполз из банной двери, окликнул:

— Не серчай, девица! Дай Бог тебе жениха доброго.

— Ладно уж! — послышался добродушный смешок.

— Ой хороши девки! — забормотал, влезая на полог.

Остаток ночи он спал глубоко и легко. Проснулся с радостью на сердце. Помнил из видевшихся снов только чувство тихого, безмятежного счастья и, глядя в тесаный потолок избы, может быть впервые, ощутил тоску — не по телесному блуду, а по семейной жизни, которой не знал. «Было бы что заложить, женился бы! Уж больно девки хороши!» — подумал вдруг: Хороши были все, а перед глазами стояла одна, глазами и статью — царевна. Голоса ее Иван не слышал, припоминал, как она в избе скинула тулуп, но голова осталась обмотанной платком. В простеньком сарафане, в душегрее поверх залатанной рубахи, неторопливо и как-то неловко помогала подругам, отвечала на шутки казаков только взглядами, похоже, и словом не обмолвилась, как немая. Иван бросал на нее затаенные взгляды и все хотел увидеть губы, которые она прятала. Не мог поверить, что при таких глазах на месте рта дыра или два трухлявых подберезовика.

Казаки еще спали, Иван радостно потягивался, тихонько вошли давешние девки, затопили очаг, повесили котел на огонь. Капа большими руками щупала сохшую одежду, убирала ее дальше от огня. Девки тихонько шушукались, посмеивались, шебаршили. Но вот шумно распахнул дверь, вошел давешний стрелец Васька Черемнинов, и в избу хлынул яркий свет. Иван, щурясь, высунул голову из-под шубного кафтана, увидел белый, чистый снег.

**Ясырка — пленница, рабыня (сиб).*

— Кто у нас праведный? Кто Господа умолил? — зашумел стрелец. С утра он был навеселе, видно, еще вечером, в остроге, перепала чарка-другая, утром опохмелился. — Не ты же, кур безносый! — шутливо ткнул кулаком Якуньку, притиснул Капу. Та с ревом охнула.

Казаки стали подниматься и надевать просохшую одежду. Степенно вошел в избу старый купец, сел в сиротском углу, свесив бороду до колен. Казаки зевали, крестили рты.

— Не поспели! — крякнул купец, по-хозяйски поглядывая на девок у печи. — Наказанье Господне! Здесь зимовать придется.

— Вам-то что не зимовать? — стал задирать его хмельной Васька Черемнинов. — Ржи полон дощаник, девки под боком. Пиво ставь, хлеб жуй да девок тискай всю зиму.

Светлая как снег тоска стала приятно перемежаться с радостью, сладостно томить сердце Ивана. Он поглядывал на глазастую и все думал: не она ли снилась ему? Шумно вошел мокрый после бани, румяный Максим Перфильев. Иван с ревностью приметил, как засветились бирюзовые глаза. Подружка окликнула глазастую Пелагией и он мысленно раз и другой повторил про себя это имя.

Она не смотрела на Ивана ни вчера вечером, ни утром: только скользила по нему взглядом, как по стене, а вот с Максима не сводила глаз. Похабов завистливо взглянул на товарища: лицом бел и гладок, румяные щеки в кучерявящейся бороде, прямой, тонкий нос, темные брови: молод, красив, свеж, умен, на язык остер и весел. Пока он, Иван, сообразит, что сказать, Максимка уже с три короба набрешет. Вот и теперь Пелагия с Савиной хихикали, Капа гоготала.

Васька Черемнинов потолкался среди разбуженных казаков. С приходом Перфильева насупился и заскучал, потому что его перестали замечать, покуражился сам для себя и ушел. Максимка же гоголем расхаживал по избе, вертелся возле девок, а заговаривал больше с Пелашкой.

— Кабы меня или товарища моего, — спохватившись, кивнул на Ивана, — да такая красавица поцеловала!

— Целуют под венцом! — пробубнила та сквозь платок, прищурила веки, залучились бирюзовые глаза, задурманили.

Иван смущенно помалкивал, Максим, не мигая, таращился на Пелагию, болтал без умолку и завлекал.

— Так пойдем под венец! — приосанился, подступая к девке грудью, так, что та слегка отпрянула.

— Дьяк при остроге прежде был, а нынче помер! — громко и рассудительно объявила Капитолина, будто дело о сватовстве было решено.

Пелагия взглянула на Перфильева с грустинкой, тонкими пальцами развязала узел платка, обнажила лицо. Иван впился взглядом в ее губы. Они были красивы, под стать глазам, и он не сразу заметил коричневое пятно в полщеки, если не больше. В сравнении с тем, чего боялся, это уродство показалось ему пустячным. Не смутило оно и Максима: он с восхищением глядел на губы, будто нацеливался поцеловать.

Не заметив в нем перемены, Пелагия повеселела, неспешно повязала узелок, но уже не так, как прежде: теперь оставались открытыми губы и ровный, круглый подбородок, чуть открылся любопытным взглядам край пятна на щеке. Якунька Сорокин, как на торжке, внимательно осмотрел ее щеку и самонадеянно замотал головой, будто Пелагия поглядывала только на него:

— И ты меченая! Взял бы за себя, да двум меченым в дому тесно!

— Ну уж это кто кого метил! — девка блеснула рассерженными глазами и вскинула голову.

Максим, не оборачиваясь к изуродованному казаку, обронил:

— Чья бы собака рычала…

— Меня — палач, а ее… Не к месту будь помянут! — набожно возвел глаза к потолку и перекрестился. — Я, Христа ради, безвинно принял муки на Москве!

— Безвинно ноздри не рвут! — огрызнулась Пелагия и горделиво скинула платок на плечи.

— Бывает, рвут! — ничуть не смущаясь, стал рассказывать Яков. — Ярмонка была. Иду, народу — ни ступить, ни протиснуться. Глядь, жеребец чалый на брюхе лежит. Лежишь, ну и лежи, думаю. Хотел переступить, а он как вскочит, как понесет, бешеный. Погоня то отстанет, то догонит. Наконец, окружили, схватили за уздцы жеребца. «Спасибо, — говорю, — братцы! Спасли от смерти неминучей, только трудами вашими не убился до смерти!» Ага! Поверили? Положили на козла, кнутами спину распустили, ухо отрезали как конокраду, мизинец отрубили как вору. Мало им — ноздри вырвали, в цепях, за приставами* на сибирскую службу привезли… Страдаю во славу Божью!

— Ты Бога-то не поминай всуе! — начальственно выбранил казака Максим и вдруг спросил, удивляя Ивана: — А что, красавицы, пойдете ли с нами в Енисею венчаться?

Пелагия горделиво передернула плечами. Простодушная Капа оторвалась от квашни, стряхнула тесто с пальцев, плаксиво проревела:

— Коли хорошие люди замуж позовут — отчего не пойти!

Старый купец все помалкивал да поглядывал из угла, одобрительно потряхивая бородой. Потом хмыкнул, крякнул и молча вышел, чтобы не смущать молодых.

После молитв и завтрака все прибывшие гурьбой отправились в острог, в съезжую избу. Хрустел под ногами свежий снег, черная река неспешно несла студеные воды на полночь, дышалось легко и привольно.

— Будто у них из стрельцов женихов нет? — безнадежно пробубнил Иван, едва они с Максимом вышли из избы. Удивлялся разумному товарищу: чего ради возле чужих девок вьется?

— Нет! — весело вскинул глаза Максим. — Их попутно с рожью купцы везли в Томский, тамошним казакам в жены. Нынче летом остяки Пегой Орды бунтовали. Нам они не встретились, а других грабили от Нарымского до Кетского. Работные бурлаки перепугались, купчишек с товаром бросили. Стрельцы, по слезным просьбам, приволокли их струги сюда, а дальше вести некому, да и поздно уже.

Искренне удивлялся Иван Похабов, когда только товарищ успел все вызнать. Максим же знай себе посмеивался над недоверчивыми расспросами:

— Заламывают купцы за девок по десять рублей, говорят, по шести отдали в Тобольском курским купцам, да потратились, приодели к зиме, кормили в пути. — Максим взглянул на Ивана пристально и вздохнул с тоской: — А ведь хороши девки. Меченка-то — пава! Какие же на Москве невесты, если нам таких шлют?

— Боятся, поди, меченых, — сипло пробубнил Иван, воротя глаза на сторону.

— Понравилась? — весело и пытливо спросил Максим.

— Еще чего? — смущенно вскинулся было Иван, но, помолчав, согласился: — Хороша!

— А как рассорит нас? — стал смешливо подначивать десятник.

— Еще чего! — угрюмо пробубнил Иван. — Добрый казак и за жену против товарища не возропщет. Не то что…

Они поняли друг друга с полуслова. Максим из сургутских сибирских родовых казаков. Иван саблей, кровью и кнутами с малолетства породнился с донскими станицами, вошел в их круг. Оба даже по виду отличались от ссыльных и приверстанных в оклады. Такие, как они, и тонули, и в петлях болтались с удалью, а за товарищей готовы были идти хоть на плаху.

— Пусть будет промеж нас уговор: кого сама выберет, тот ее и возьмет. А другу не вредить! — сказал Максим, глядя на Ивана.

— Да она уже тебя высмотрела! — безнадежно отмахнулся он.

За ручьем курились землянки и балаганы гулящих и три островерхих чума пегих людей**, что пришли сюда укрыться от врагов. Казаки вошли в острог, как в колодец. По углам со стороны реки Оби были срублены две башни. Под ними избы в три потолка. Верха шатровые, крытые тесом. Третья башня была со стороны Кети, под ней — съезжая изба, сверху караульный чердак. Между башнями были поставлены острожины, к ним сложены поленницы в рост человека. Теснота требовала порядка. Выпавший за ночь снег был убран.

Седобородый приказный уже поджидал казаков, сидя в красном углу. Возле него крутился вчерашний стрелец с выбритым лицом. Сгибаясь в низких дверях, енисейцы вошли гурьбой, смахнули шапки, стали креститься и кланяться на образа. Чинно

**За приставами — с охранниками.*

**Пегие люди — селькупы.*

расселись по лавкам. Приказный поглядывал на них с печалью и укоризной, вместо приветственной речи взмолился:

— Уймите своего выкреста! Уши прогудел, велит челобитную царю послать через тобольских воевод, а у меня ни прочесть ее некому, ни отправить не с кем. Писана она русской речью, латинскими буквами…

— И когда успел настрочить? — удивился Максим. — Поди, сулит Индию под царскую руку подвести? — насмешливо взглянул на Ермеса, сидевшего особняком.

— Балаболил до полуночи, спать не давал! — возмущенно вскрикнул стрелец. — Дай, дескать, ему рейтар, да пушек, да денег…

— Грозил государевым словом и делом*, а где приставов взять? — стал оправдываться старый приказный. — Караульных и тех не хватает, все на службах. Вот Васька Колесников, с ночи еще не спал, но печь для вас натопил, — с благодарностью кивнул на проворного стрельца с бритым лицом.

Тот, польщенный похвалой, с важностью добавил к сказанному:

— Нынче тунгусы через Енисей переправляются, остяков воюют, грозят Кетский острог разорить. Как лед встанет — хуже будет.

— А ты Ермеса в Томский отправь! — посоветовал Максим. — Там грамотных много, и заплечник** искусный. Прочтут, разберутся.

— Было бы с кем, — проворчал приказный, успокаиваясь. — Енисейский воевода ждет вас не дождется. Той ржи, что была доставлена ему по воде в Маковский острог, тамошним служилым мало. А у меня ее хранить негде, амбары подгнили и полны. По льду теперь всю зиму возить придется.

— Не наша вина! — загалдели казаки. — Месяц ждали инокинь. Без них воевода не пускал.

— И рожь есть, и кони, — продолжал жаловаться приказный. — А сани старые, разбитые, придется самим делать их, моим людям некогда. На коня по пятнадцать пудов грузить, не больше. Конь — не человек, он от натуги помереть может. А вам за зиму надо успеть две ходки сделать, — пытливо оглядел казаков. — А то и больше.

— Коней мало — сам впрягайся в гуж! — насмешливо поддакнул приказному проворный стрелец. Хохотнул: — А еще бы девок взяли у купцов и запрягли бы вместо жеребушек.

— Все плачутся! — неприязненно вспомнил приказный о торговых людях. — Вам бы правда у них рожь взять да девок… Если летом продадите ту рожь промышленным людям, то девки, считай, даром достанутся.

— Сторговались бы, — весело согласился Максим, — кабы на нас были шубы собольи, а то ведь только шапки! — выразительно взглянул на приказного.

Тот понял намек, замахал руками:

— Одолжить вас нечем!

Максим заерзал на лавке.

— Девок без ржи, а рожь без девок купцы не отдадут! — хитроумно заюлил перед старым. — Даже если наполовину — заплатить нам нечем. Вся надежда на тебя, батька! Давно ведь сидишь на приказе, припас себе соболишек и серебра скопил на черный день?

Бритый стрелец, Васька Колесников, стал бросать на старика опасливые и виноватые взгляды: может быть, зря обмолвился про девок?

— Я старый, — со вздохом согласился приказный и свесил седую голову, покрытую шапкой из черных с проседью собольих спинок. — Каждый день помереть могу! Богатство туда не прихватишь! — С тоской возвел глаза к низкому потолку и вдруг язвительно усмехнулся: — Но на вас долг может остаться, а на мне — грех: сказано, через кого соблазны — тому лучше не родиться!

— Отдадим на помин души, — загалдели казаки. — Не возьмем греха на душу!

— А соблазны? — беззубо ухмыльнулся старик. — Вот и наплюет мне ангел в глаза за добро мое, что подстрекал ко греху!

**Государево слово и дело — форма объявления дела государственной важности, по которому объявившего требовалось доставить в Москву. **Заплечник — палач.*

Васька Колесников по-куньи бросал взгляды на споривших, настороженно прислушивался и помалкивал. Максим же и так и эдак раззадоривал приказного, пока не понял: не даст денег в долг. Разве под кабалу?

— Под кабалу дам рухляди на десять рублей до Святой Троицы без роста, а после гривенник с рубля, но только на тебя, — ткнул пальцем в Максима. — Твоего отца знал, родня у тебя в Сургутском. Или на него, — ткнул перстом в сторону равнодушно помалкивавшего Филиппа Михалева. — Родни много, брат на пашне в Туруханском. А безродным и пришлым не дам!

Михалев с недоумением поднял на приказчика потухшие глаза женатого человека, пожал плечами:

— Мне-то кабала на кой?

Казаки вышли из острога, беззлобно поругивая старого скупца, посмеивались: без покупной ржи можно обойтись, а девки достанутся только троим. Пуще всех насмехался, оправдываясь перед товарищами, раззадоренный Филипп:

— Мне с Ермесом девки ни к чему, Илейка — молод, Якунька — сувор*. Остается на двух казаков по одной невесте.

Иван Похабов принужденно посмеивался вместе со всеми и примечал, что у Максима лицо было совсем не смешливым: глаза блестели, лоб морщился. Натужно думал о чем-то десятский и вдруг спросил Ивана в упор:

— Шапку отдашь?

— И шапку дам, и шебалташ** с золотыми бляхами, — провел рукой по пряжке на поясе. — Уж-то и вправду думаешь сторговаться?

Жаль было шапки. Первый год Иван был покрыт дорогими соболями. С тех пор как начал службу, где по бедности, а больше напоказ, ходил на донской манер в драном кафтане и суконном колпаке, но при дорогом оружии. Тягаться с Максимом в таком деле, как сватовство, он и не думал, с сердечной тоской уступал товарищу приглянувшуюся девку. Отказать же ему в помощи не мог, хоть бы и себе в убыток. Что шапка, если десятник готов был дать на себя кабалу?

Работы при остроге было много. Только денек и погуляли казаки, на другой сошел снег, пригрело осеннее солнце, обманно запахло весной. Иван тесал жерди на оглобли. Сорокины в котлах вываривали и гнули полозья для саней. Заняты были все. Дела не мешали казакам поглядывать на стрелецких жен и купеческих девок, с инокинями и с теми они добродушно шутили, не поминая былого.

Увидел Иван Пелагию в другой раз и обомлел пуще, чем при первой встрече. Она показалась ему еще краше. Вроде бы простился в душе, уступил товарищу без соперничества, а сердце колотилось о ребра, будто хотело выскочить из груди. Она же только вскользь окинула его бирюзовыми глазами, и он понял вдруг, что все прежние зазнобы, даже инокиня Параскева, нравились ему лишь потому, что были похожи на эту самую Пелашку-Меченку. Иван о том слова никому не сказал, думал, что виду не подал, но услышал за плечом тихий и ласковый голос:

— Любуешься!

Вздрогнул, обернулся — Савина, конопатенькая, кругленькая, глядела на него печальными и добрыми глазами. Они только и запоминались ему на ее простецком лице. Да еще голос.

— Кем? — вскинул голову Иван, скрывая смущение.

— Красивая она! — взглянула вслед подружке Савина. — Я, хоть и девка, а в бане, бывает, глаз отвести не могу. Сделал же Бог для кого-то такую, не мне чета, — простодушно вздохнула и перевела на Ивана печальные глаза.

Уже этого взгляда хватало, чтобы понять, что он ей приглянулся и она ему нравилась. Легко с ней было и просто. Будь у него такая сестра, наверное, сильно любил бы ее, оберегал.

— С чего взяла, что неказиста? — грубовато проворчал, снова принимаясь за жердь. — Очень даже пригожа! — Хохотнул принужденно: — Вон Капа — да! Не девка, кобыла!

**Сувор — изуродованный (русск., устар.). **Шебалташ — ремень, которым опоясывались поверх ремней сабли и патронной сумки.*

— Она хорошая, — вспыхнула от случайной похвалы Савина и смущенно

оглянулась на подружку. — Попадется ей добрый муж, век счастливым будет.

Яростно зазвенел топор. Иван сжав зубы, молча и усердно заработал, будто срывал злость на жердине, Савина нелепо топталась рядом, ждала чего-то. Дождалась-таки, когда Иван снова взглянет на нее.

— А меня Вихорка Савин сватает! — пролепетала виновато. — Все шутит: «Савин да Савина — одна чертовщина!» Прости, Господи! — опасливо оглянулась на монахинь.

— Стрелец? — равнодушно спросил Иван. Глаза его презрительно блеснули, он желчно ухмыльнулся в бороду. — Кафтан у него новый, а в кармане блоха на аркане. Этот кабалы на себя не даст!

Савина обиженно опустила голову, захлопала длинными ресницами, с которых готовы были сорваться слезы. Иван устыдился, что обидел ее ни за что, пробурчал, оправдываясь:

— Присушила Максимку ваша Пелашка. Даст Бог, всех вас у купцов выкупим.

Савина не поднимала затуманившихся глаз и не уходила. Иван спросил мягче:

— Тебя-то как занесло в Сибирь?

— Сирота я! — вздохнула она, справляясь с обидой. Как у ребенка, сквозь слезы уже блеснули глаза. — Жила в семье брата, нянчила детей. Женихов-то на войне повыбили, а я некрасивая, — напомнила упрямо. — Брат помер. Жена его года не вдовела, вышла за хромого. Тот повадился ко мне, к перестарке, приставать. Братаниха приметила, стала меня со свету сживать. Думаю, хоть бы за какого старого, за бедного или покалеченного пойти, лишь бы человек был добрый, да жить бы своим домом. Тут купцы в Сибирь собрались, стали звать девок-перестарок в жены сибирским казакам. Вот и поехала.

— Правильно сделала, — одобрил Иван. — Будет у тебя и дом, и муж, с голоду не помрешь, а разбогатеть можешь. Вихорка — служилый, при государевом жалованье, с ним не пропадешь.

Савина вздохнула и опустила печальные глаза.

Едва встали реки и лед сковал топкие берега Оби, купцы забеспокоились пуще прежнего, сбавили цены на рожь и за содержание девок. Кетский приказный по настойчивым просьбам казаков уже соглашался дать двадцать рублей рухлядью, но только под кабальную запись на Перфильева.

— Сто пудов по двадцать копеек возьмем — двадцать рублей! — считал Максим. — Летом промышленным продадим по полтине — пятьдесят рублей. Все расходы покроются, еще и прибыль будет!

Казак Михейка Сорокин, в хороших сапогах, молодецки вытягивался и примерялся к Капитолине. Товарищи уверяли его, что на высоком каблуке он не ниже ее! Братья Сорокины готовы были снять с себя все меха в уплату за выкуп девки, недостающее при верных свидетелях соглашались объявить своим долгом Максиму Перфильеву. Стрелец Вихорка Савин сватался к Савине. Они с братом Терентием отдавали за нее купцам всю рухлядь, что была у них на одежде и в запасе, занимали недостающее где-то на стороне. Рожь, без которой купцы не отдавали девок, Максим брал на себя, для своей прибыли и на свой риск.

Предстоял торг. Женихи, сочувствующие им казаки и стрельцы позвали купцов, чтобы верно оценить собранное добро. Торговые люди перебрали, перещупали шапки, при низком солнце осмотрели меха, данные приказчиком под кабалу. Старый купец взялся было за шебалташ, осторожно, как змею, поднял его за сыромятную кожу, опасливо осмотрел пряжку. Хитроумной зацепкой она складывалась из двух личин. На одной была изображена голова бородатого воина в островерхом шлеме, на другой — круглая, щекастая голова степняка. Непомерно большая рука, сжатая в кулак, держала ее за косу. Глаза воина были широко раскрыты, а степняк так щурился, что походил на мертвеца. Заметив поразительное сходство остроголовой личины с лицом Ивана Похабова, купец метнул на него испуганный взгляд, брезгливо отбросил опояску, вытер руку о кафтан.

— Не возьму!

— Золото же? — стал напирать Максим, оглядываясь на свидетелей.

— Бесовщина! — рыкнул купец и замотал бородой. Сыновья его разглядывали бляхи и кидали на Ивана боязливые взгляды.

— По весу торгуемся, на золотник по девяносто копеек! — не унимался Максим. — Возьми да расплющи или расплавь!

— Сам расплющи! — огрызнулся старый купец. — А я посмотрю, не отвалятся ли у тебя руки.

Максим не нашелся как возразить, что-то пробурчал под нос. Не хватало двух рублей. И тут пронырливый, гладко выбритый стрелец Василий Колесников с удальством и шалыми глазами бросил на кучу пять клейменых соболей, которые без споров оценили.

— Возьми в залог! — с благодарностью протянул ему опояску Иван.

— Не за что! — весело воскликнул стрелец.

— Дай Бог тебе здоровья! — расчувствовался Максим, а Иван одобрительно пророкотал:

— Первый раз средь верстанных стрельцов вижу казака по духу!

Но Василий, выставив вперед ногу в высоком сапоге с гнутым носком, с важностью объявил:

— Я вам рухлядь не дарю. Сам беру Капу в жены!

— Тьфу на тебя, козел драный! — вскрикнул возмущенный Якунька Сорокин, напоказ выхватил из рук купца свою шапку. Тот с рассерженным лицом бросил всю кучу рухляди на лавку. Опять не сходился торг.

Михейка Сорокин тоже схватил свою шапку, нахлобучил на голову, с вызовом взглянул на стрельца: дескать, я тебе не пособник, попробуй обойтись без меня, затем вытащил из кучи пару клейменых лис. Вихорка Савин насупился. Максим на миг растерялся. Торжествуя, поперечный Колесников достал из-под полы еще пять соболей, связанных бечевой за отверстия глаз. С первого взгляда на них видно было, что плутоватый стрелец выкупает невесту без долга.

— Это мы торговались! — вскрикнул Якунька Сорокин, взывая к свидетелям. — Мы сбили цены с десяти до семи рублей!

— Нет такого закона, чтобы невесту брать за себя неволей! — неуверенно возразил Максим Перфильев. То, что стрелец расплатился полностью, для него было облегчением долга.

Купец стал складывать меха в мешок. Он считал торг законченным. Казаки и стрельцы послали за Капитолиной, привели ее растерянную, испуганную.

— Два жениха за тебя спорят! — ласково кивнул ей приказный. — Тебе выбирать, кто люб.

Высокая девка смутилась пуще прежнего, покраснела, по подсказке стала простодушно разглядывать насупленного Михейку и щеголявшего удальством Василия.

— Со мной не пропадешь! — он весело подступил он к ней, по-свойски оглаживая локоть.

— Умен и ловок! — устало поддержал стрельца приказный.

— Ой, да я и не знаю! — баском залепетала девка. — Был бы человек хороший… Раз берут — надо идти!

— Вот и иди за шибздика! — не сдержавшись, крикнул Якунька. — Он тебе по самое ухо вместе с шапкой.

— Зато долг оплатил полностью! — ничуть не смущаясь, стрелец вытянулся струной и выгнул грудь колесом. — Мал, да удал, большой, да дурной!

Братья Сорокины разгневанно хлопнули дверью. К облегчению купцов и Максима с братьями Савиными, торг был закончен.

Вскоре явились в острог трое стрельцов из Маковского острожка, до которого так и не добрались казаки Перфильева со своим обозом. По указу енисейского воеводы и стрелецкого сотника Поздея Фирсова они плыли по Кети все лето, ставили балаганы, становые избушки с банями, косили сено для зимних обозов. Припозднились, не ожидая таких ранних морозов. На последней неделе пути колотили лед шестами и все равно застряли, бросив струг. Верховодил троицей удалой стрелец Мишка Стадухин. Чуть позже прибыли на устье Кети вестовые казаки из Томского города. Легкую тунгусскую берестяную лодку они волокли по льду. Последние дни также добирались пешком.

Прибывшие с разных сторон стрельцы и казаки передали приказному отписки* и челобитные**, приняли от него грамоты и наказы***. Старик, пользуясь случаем, спихнул томским служилым зловредного Ермеса с его челобитной и те вскоре ушли в Томск на лыжах с нартой. Заплатив продажную, покупную, пожилую и отходную пошлины, следом за томскими служилыми, но в другую сторону ушел купец с сыновьями.

Казаки Перфильева и стрельцы Фирсова готовы были к выходу. Надо было поторапливаться, пока лед не завалило снегом. Наутро, до рассвета, все острожные жители помогали обозным в сборах. Старшим среди стрельцов по наказной памяти сотника был поставлен разумный и степенный Терентий Савин, но громче всех кричал и распоряжался прибывший стрелец Мишка Стадухин.

Над чахлыми лесами, над лесными гривами и застывшими болотами забрезжил рассвет. Первый обоз с рожью пошел по Кети. Четырнадцать саней нагрузили так, что кони без помощи людей не могли сорвать их с места. Первыми двинулись подводы стрельцов. Мишка Стадухин лучше других знал, где расположены станы, помнил путь среди многочисленных проток. Терентий не противился, чтобы тот налегке шел первым, ощупывая лед лыпой****. Все остальные, по двое, тянули перегруженные сани, помогая коням. Три девки-невесты да три инокини наравне со служилыми волокли и толкали подводы, елозя ичигами по льду.

К вечеру первого дня к Терентию Савину подскочил Васька Колесников с переко-

шенным лицом, раскричался, тыча пальцем под глаз, где набирал синеву кровоподтек:

— Ты у нас начальный или Мишка? Да кто он такой?

Дюжая Капитолина изо всех сил упиралась в задок саней, натужно кряхтела, но брошенная Васькой подвода едва двигалась, сдерживая ход других.

— После разберемся! — невозмутимо ответил Терентий, мотнул головой, указывая, чтобы Василий занял свое место, и, как все, помогал коню тащить груз.

Вечером возле стана Иван приметил, что пронырливый кетский стрелец приуныл. Ввязываться в стрелецкие споры Похабов не желал, распряг своего коня и увидел, как возятся с заледеневшей бечевой инокини.

— Идите грейтесь! — оттеснил их от подводы.

На щеках Параскевы висели застывшие льдинки слез. Едва Иван выпряг их коня, к нему подскочил Мишка Стадухин, замахнулся лыпой:

— Куда поставил сани? Не пройти к копне.

И правда, монахини по девичьей неосмотрительности загородили путь. Стрелец в запале не посмел ударить казака, но стегнул лошадь. Ивану этот прыткий стрелец напоминал вольных казаков, среди которых он вырос, но здесь казачий обычай был попран. Лошадь с хомутом на шее рванулась из оглобель, Иван не удержал ее, но схватил Мишку за шиворот одной рукой, другой за кушак, отшвырнул на сажень, взялся за оглобли и отодвинул сани в сторону.

**Отписки — отчеты. **Челобитные — прошения.*

****Наказы — распоряжения начальствующих.*

*****Лыпа — посох с насажанным, заостренным рогом.*

Мишка резво вскочил на ноги, лаял матерно, размахивал лыпой, но на Похабова больше не кидался. В нагретом, дымном балагане Иван заметил, что возле него вертится побитый Васька Колесников. Даже спать он лег у него под боком, а не рядом с невестой. И еще показалось Похабову при бликах огня в очаге, что под другим глазом Васьки Колесника темнеет новый синяк.

Обоз двигался от балагана к балагану, от зимовья к зимовью, где стрельцами загодя было накошено и уложено в копны сено. Здесь был припас дров. К ночи уставали все, Меченка-Пелагия приползала к стану чуть жива, падала на холодные нары и заливалась слезами. Максим помогал ей, а Иван невольно вынужден был сторониться обоих: от монахинь отдалился, к девкам не прибился. Удивлялся сам себе: к кабальной грамоте руку прикладывая, зная наверняка, кому достанется Меченка, но если она одаривала его случайным словом — ходил то ли хмельной, то ли шальной, видел, как она льнет к Максиму, — ныла заноза в груди, и толкал он воз так, что конь едва поспевает переставлять копыта, а игуменья зависала на узде. Уговорил-таки Иван бедную Параскеву идти с ним, а не с подружкой-молельницей, но и прежних, душевных разговоров уже не получалось.

На другой неделе и служилые, и девки привыкли к тяготам пути. Невесты укладывались спать отдельно, рядом с монахинями, много молились с ними, что больше всех возмущало Колесникова. Сперва смехом, потом с опаской Василий стал корить инокинь.

— Что делаете? — поругивал, кривя стынущие бритые губы. — Прельщаете на ших невест монашеской жизнью?

— Бог призовет — не спросит! — жестко отвечала Параскева.

Васька стал крутиться возле Максима, наговаривать на скитниц и добился своего, убедил Перфильева и Тереха Савина, чтобы те посылали налегке людей к балаганам и зимовьям. Как ни трудно было без них тянуть подводы, но когда уставшие люди приходили на стан, а в жилье тепло, в котле напревала каша сено из копен заложено коням, помалкивали самые крикливые из недовольных.

В одиночку на станы не ходили. Жалея девок, Вихорка Савин, Колесников да и сам Максим в свой черед уходили с невестами, другие с инокинями. На следующий день монахини ревниво пытали их — не было ли блуда? Простодушную Капу иной раз доводили до слез. Сорокины злорадствовали, Васька Колесников безбоязненно ругал монахинь.

Перед очередной избенкой с баней выпал черед идти вперед Максиму Перфильеву. Он виновато взглянул на товарища и взял с собой Меченку, а не брата Илейку: обозу облегчение, десятнику — соблазн, Ивану — сердечная боль. После полудня они убежали вперед.

Мишка Стадухин давно уже не вышагивал налегке, как вож*, но тянул воз наравне со всеми. Первой подводе по заметенному льду двигаться было трудней других, и на этот раз первым шел Иван. Он, то толкал сани наравне с конем, то убегал вперед с лыпой и выстукивал лед. Подводу вела Параскева и сочувствующе поглядывала на казака сквозь обметанные куржаком ресницы. Иван работал угрюмо и зло, на закате что-то недосмотрел, не дослушал пустот под ногами. Когда толкал груженые сани, лед под ним громко треснул, ухнул и провалился. Студеная вода обожгла тело. Конь на краю полыньи пугливо елозил подковами, сани стояли

наполовину на льду. Ноги казака уперлись в твердое дно, вода заплескалась под грудью. Илейка Перфильев бросил свою подводу, подскочил к растерявшейся монахине, подхватил коня под уздцы, стал стегать его. Прибежали другие казаки, шумно потянули оседавшие сани. Иван присел в воду по самое горло, поднатужился, взревел как медведь и вытолкал их из полыньи. Рожь не намокла. Его самого выволокли на лед. Потоки воды хлынули с одежды.

**Вож — проводник.*

Надо было разжигать костер, сушиться, а до зимовья с баней — рукой подать. Иван разделся донага, приплясывая на льду, отжал парку, рубаху, надел сухие ичиги, натянул на тело мокрый мех и побежал. Ладно хоть сермяжная шапка была сухой. Обозные облегченно напутствовали его, никому не хотелось задерживаться на зимней реке до самой ночи. Когда Иван уловил носом пряный запах дыма, парка задеревенела, стертые ею плечи ныли, будто по ним елозила пила. Задыхаясь, он ввалился в протопленную избушку, краем глаз заметил на нарах сплетенные тела. Они резко отпрянули друг от друга.

— Ты кто? — вскричал Максим в потемках и схватился за топор.

Иван припал к огню, непослушными руками попробовал содрать обледеневшую парку. Максим, босой, ухватился за ворот, стал сдергивать рукава. Затвердевшая шкура клацала, как сухое дерево, не поддавалась. Перфильев выхватил нож из валявшегося на полу ичига, чиркнул от горла до паха, хрустко разломил парку надвое, содрал с товарища мех, затем помог снять меховые штаны. Иван блаженно распрямился у огня, ему захотелось влезть в очаг. Он поднял глаза и случайно поймал чудной взгляд Меченки. Впервые она глядела на него прямо, в оба глаза, глядела бесстыдно и восхищенно.

— В баню! — подтолкнул товарища Максим. Иван с сожалением оторвался от очага, шатаясь, вышел из избы.

Баня нагрелась на славу. Осиновые стены потрескивали от жара, в каменке желтой грудой дотлевали угли. Иван влез на раскаленный полок и почуял, как стужа капля за каплей выжимается из обмороженного до самых кишок тела. Так и лежал, перепачканный сажей, потел, пока не пришел Максим. Товарищ выгреб угли из каменки, обмел сажу со стен и полка, положил меховое одеяло у двери, чтобы было во что завернуться на выход, принес и поставил там же ичиги товарища.

— Напугал ты нас, черт косматый. Не ждали так рано… А Пелашку я не позорил, — смущенно оправдался. — Так… Баловались! — стыдливо отвел глаза.

— Мне-то что? — буркнул Иван. — Давно понятно, что твоя! Сама выбрала.

Максим молча посидел на порожке, вытер взопревший лоб и ушел. В корыте под полком размокали березовые веники. Иван стал париться, рассерженно вышибая из себя остатки остуды. Когда он направился к избе, завернувшись в одеяло, услышал с реки храп коней, шум приближающегося обоза. Вошел, не глядя на обоих, отдуваясь, прилег на нары.

— Что там мои портки? — спросил.

— Сырые еще! — с готовностью кинулась к очагу Меченка. Обернулась к нему, как обычно, в пол-лица, взглянула искоса. — Ничего блудного промеж нас не было! — всхлипнула.

— Хоть бы и было, никому бы не сказал, — буркнул Иван, принужденно зевнул, крестя мокрую бороду: — Не мне, грешному, тебе зад дегтем мазать!

Меченка задергалась, как на угольях, стала всхлипывать и бросать на Максима укоризненные взгляды.

Добрался-таки обоз до Маковского острожка. Стрельцы с казаками устроили дневку, отмылись, отдохнули и двинулись дальше, в Енисейский. Пришли они к месту уже после Филипповок. Женихи и невесты опечалились: редко попы соглашались венчать в пост, а ближе Енисейского даже дьяка не было.

Из острога их обоз был замечен на застывшей равнине Енисея. Служилые и гулящие выбежали встречать, окликали знакомых и земляков, брали коней под уздцы, подвели к глубокому оврагу с застывшей речкой и вытолкали подводы на высокий берег. У распахнутых ворот острога стрельцов и казаков встречали енисейский воевода Яков Игнатьевич Хрипунов, белый поп Кузьма Артемьев, стрелецкий сотник Поздей Фирсов. Все они были одеты в праздничное, цветное платье. Среди них Иван не сразу заметил знакомого скитника Тимофея, самого старого жителя этих мест. В нагольном тулупчике, в ичигах и монашеской скуфье, он скромно прятался за спинами лучших людей.

— Вон старец! — указал на него инокиням.

Те заголосили. Заливаясь слезами, пали перед Спасом на воротах, затем бросились скитнику в ноги. Белый поп с медным распятьем в руках снисходительно отступил в сторону. Воевода с сотником посторонились, пропуская плачущих девок. По щекам смущенного инока текли слезы.

В толпе возле острога Иван заметил двух богато одетых мужей. Они походили на торговых людей, но один был в казачьем колпаке, богато обшитом соболями. Оба вертели головами, пристально вглядываясь в лица обозных. Разглядев их Иван удивленно закричал и замахал руками. Те степенно подождали, когда он положит семь поклонов на образ над воротами острога, приложится к распятию, откланяется воеводе. Только после этого стали тискать его в объятиях. А встреча обоза продолжалась своим чередом. Приняв поклоны от Максима Перфильева и Терентия Савина, воевода велел подьячему пересчитать, а своим людям сложить в государев амбар пятипудовые мешки с рожью, крупой и солью, обозным разрешил отдыхать, на другой день приглашая всех прибывших к воеводскому столу для разговора и соборных молитв.

Товарищ юности по войнам на Руси Пантелей Пенда сдержал-таки верное казачье слово, пусть не в тот год, как обещал, но вернулся в Енисейский острог и привез за собой брата Ивана, Похабова Егория по прозвищу Угрюмка.

— Долгонько шли, — весело журил казака. — Ждали тебя ко Дмитру, со скуки чуть не померли.

Брат и товарищ привели Ивана в свой балаган, наполовину врытый в глинистый склон за речкой. У очага на земляном полу сидел новокрест тунгусской породы. Его черные волосы были острижены до плеч, рубаха на нем меховая, тунгусская, шапка русская, на ногах высокие сары. В углу меж двух ручных пищалей стояли большой трехслойный клееный тунгусский лук и колчан со стрелами.

— Синеулька медведя добыл, — посмеиваясь, рассказывал Пантелей. — Жир в три пальца нагулян на кедровом орехе. Оскоромишься? — кивнул на черный котел с березовой крышкой. — Мы, грешные, скверним живот.

— Нам, промышленным, когда велит Бог поститься, тогда и постимся. а как дает отдых — гуляем! — едва ли не впервые со встречи подал голос брат Угрюмка. А то все молчал и сдержанно улыбался.

Ростом в старшего брата он так и не вышел: недотянул с вершок, но был так же крепок и легок на ноги. Щеки его покрывала все еще юношеская, негустая, стриженая борода, усы он тоже стриг, одевался богато, держался степенно, оттого, наверное, и говорил мало.

Тайга слухами полнится, вестями живет. С тех пор как Иван здесь, в Енисейском, расстался с братом Угрюмка с Пендой зимовал в Туруханском, ходил в Мангазею за товарами и рожью. Весной они узнали от тамошних казаков, что в Енисейском прежних годовальщиков сменили стрельцы, летом наняли гулящих людей, пришли сюда со своим припасом для промыслов, Ивана Похабова не застали, объявили себя промышленными людьми, заплатили проездную пошлину. Гулящие люди построили им просторный балаган, утеплили мхом. В нем можно было зимовать.

Синеулька свой пай мехов с прошлых промыслов прогулял еще в Туруханском зимовье и теперь был у Пантелея в покруте*. Бывший пятидесятник хопровской станицы уже изрядно устал бездельничать. Воевода звал его на службу, но он собирался идти на Лену.

Угрюм рад был встрече с братом. Он был богат, имел мешок клейменой рухляди, мог безбедно зимовать возле острога или построить дом и поверстаться в посад — кое-какому ремеслу среди промышленных выучился, мог уйти на промыслы. Верстаться в казачью службу, в судовые плотники или в пашенные крестьяне он не желал.

— Посадские легче живут! — рассуждал Иван, думая, что теперь брат будет всегда рядом с ним. — Я на службах, ты при остроге. Срубишь хороший дом, женишь-

**Покрута — наем на содержание пайщика с половины или с третьей части добытого меха.*

ся, — опустил голову, вспомнив Меченку. — Друг другу помогать станем, как все братья, глядишь, пустим здесь корни, назад возвращаться не к кому. Где она, наша родня?

— И не к чему, — смеясь, поддержал товарища Пантелей, повертев в руках его сермяжный малахай, вынул из мешка три добрых клейменых соболя. — Шапку сшей по чину и по заслугам.

— Не откажусь взять, — тряхнул мехом Иван. — После посчитаемся. Я ведь в Кетском поручником в кабалу записался.

— А вот этого, казак, ни при какой нужде не делай! — строго укорил его Пантелей. — Саблю, шапку и волю береги пуще жизни. На кой она казаку, прости, Господи, если воли нет?

— Какая уж тут воля? — усмехнулся Иван, грустно глядя на бывшего казачьего пятидесятника. В его бороде появилась первая проседь, а он все тот же, что под Москвой. Иван тайком вздохнул, не желая затевать спор, пояснил: — За друга руку к кабале приложил! Невесту ему выкупали!

Пантелей с пониманием шевельнул бровями.

— Я нынче богатый! — самодовольно рассмеялся. — Сколько надо, столько дам.

После прошлогодней перемены казаков стрельцами острог тоже переменился: со стороны реки, на месте прежних ворот, была срублена проездная башня с часовней. Появилось несколько новых изб за тыном. Острожная церковь Введения во Храм Пресвятой Богородицы была заложена еще при казаках, но на том дело стало, хотя со стрельцами прислали белого попа с антиминсом*. Служилые злословили, что оклад у него больше, чем у стрелецкого пятидесятника, пусть, дескать, сам строит храм.

За соборным столом у воеводы прибывшие казаки и стрельцы долго молились. Читал что пристало дородный поп Кузьма. За его спиной, кланяясь друг другу, пели инокини с посветлевшими лицами. Смущаясь многолюдья, им подпевал скитник Тимофей, клацал веригами и отвешивал поясные поклоны, едва не касаясь лбом тесового пола.

На апостола Андрея Первозванного, когда девки гадают на женихов, а парни на невест, воеводский стол был накрыт без горячего хлебного вина**. Рождественский пост не жесток: по случаю воскресенья были поставлены стерляжья уха, рыбный пирог, квасы, морсы, слабенькое ягодное вино. Прислуживали две ясырки остяцкой породы. Воевода намекал казакам и стрельцам, что налил бы по чарке-другой чего покрепче, но не при духовных особах, и все поглядывал на старца Тимофея, жавшегося в сиротском углу. С укором и насмешкой объявил собравшимся, что получил грамоту от архиепископа Киприана. Сибирский и тобольский владыка благословил основать возле Енисейского острога мужской и женский монастыри для содействия обращению в православие инородцев, для насаждения и поддержания благочестия в народе. Зачитав по памяти наказные слова, воевода обвел собравшихся наставительным взглядом.

— Молитвами и благословением архиепископа прибывшие инокини положат тому начало. А вы помогите им построить хоть бы небольшой скит. Бог вас наградит по трудам.

Собравшиеся тупо помалкивали и вздыхали. Непонятный приглушенный ропот никак не походил на желание схватиться за топоры в свободное от служб время.

— Не скитаться же бедным меж дворов? — удивленно воззвал к совести обозных воевода, а поп Кузьма осуждающе крякнул и повел бородой.

Был Яков Игнатьевич Хрипунов далеко не молод, с густой проседью в бороде, не первый год вдовел. Сыновья разъехались, от прежней жизни ему остались только царская служба да поздняя малолетняя дочь, в которой он души не чаял.

Выспросив о новостях Кетского острога, Яков Игнатьевич стал сокрушаться о задержке стругов с рожью и солью.

**Антиминс — платок с изображением Христа во гробе с вшитыми в ткань мощами.*

***Хлебное вино — название водки в XVII веке.*

— В Кетском хранить припас негде, а нам без него до Крещения не дотянуть!

Казаки загалдели оправдываясь, и он снисходительно махнул рукой.

— Все одно всю зиму возить гужом из Маковского и из Кетского. Дать вам отдых больше трех дней не могу. Овса в остроге мало, коней кормить нечем, — с сочувствием взглянул на Максима Перфильева, и тот свесил кручинную голову.

Когда Иван попросил у Пантелея дать в долг соболей на двадцать рублей без торга, чтобы Максиму выкупить кабалу, тот ответил просто:

— Тебя я дождался, теперь не задержусь. Уйду не на один год. Все, что есть, оставлю. Так верней сохранится. А уж ты распорядись, чтобы рухлядь не истлела.

Пантелей прикармливал десяток гулящих людей, которые пришли на Енисей без припаса, в надежде перезимовать возле острога поденными заработками, но из них высмотрел только двоих, кого мог взять в покруту, хотя и в тех сомневался. Дождавшись товарища, он поговорил, попьянствовал с ним день-другой и затосковал. Его душа рвалась в неведомые края.

Среди вкладчиков скита старца Тимофея Пантелей высмотрел старого, беззубого уже, но знаменитого по слухам таежного бродягу по прозвищу Омуль. Промышленные частенько подпаивали старика, выпытывая, что знал о Великом Тесе. Вызнал и Пантелей, что старый Омуль ходил до братских улусов. Верхнюю Тунгуску он называл по-бурятски Мурэн*, рассказывал, что много лет назад бывал и в этих местах, еще в те поры знал инока Тимофея и думать не думал, что умирать придется в его ските.

В словах старика Пантелей почувствовал знакомую тоску по неведомой земле и долго выспрашивал его про тайный тес в верховья Ангары. Старый промышленный хоть и намаливал себе кончину безболезненную, непостыдную, но томился заболоченным левым берегом Енисея. Душа его рвалась за реку, в тунгусские кочевья, к причудливым скалам, в равнинные братские улусы. Там и смерть казалась ему краше. Пантелей со стариком понимали друг друга, их обоих уже не сильно интересовало, хорош ли соболь по Ангаре и Тасею, много ли его. Пенда спешил в верховья Зулхэ-

реки** и вызнавал кратчайший путь туда.

Западная Сибирь, болотистая и равнинная, была совсем иной, чем земля за Енисеем. Там воевали все и против всех. Маньчжуры теснили китайцев, китайцы теснили монголов. Монголы теснили бурят, беспрестанно воевали между собой, с калмыками и киргизами. Буряты теснили на северо-запад тунгусские племена. Тунгусы вытеснили за Енисей кетов, постоянно переправлялись через реку на быстроходных берестяных лодках, воевали и ясачили, добивая ослабевшие народы, осаждали Маковский острог, грозили Кетскому и Енисейскому. С верховий Енисея к острогу подходили киргизы и канские тюрки. Все здешние народы и племена кому-то платили дань, с кого-то ее брали или стремились взять. Чтобы отбиваться от одних и покорять других, обращались за помощью к русским служилым и промышленным людям.

Служилые с большими трудностями проникали в низовья Ангары и верховья Енисея, в Тюлькину землицу, но до поры закрепиться там не могли. Промышленные в то же самое время, на свой страх и риск, задолго до строительства Енисейского острога, переправлялись через реку и расходились по тайге тайными тропами. О том, где были, как ладили с тамошними народами, рассказывали неохотно и смутно, но государеву десятину с добытого давали, если, конечно, не могли или не хотели обойти острог стороной. Что было там, за Енисеем, на хорошо видимом из острога пологом берегу с дальней гривой хребта? О том Иван Похабов имел смутное представление, хотя служил в этих местах не первый год.

— Неужто в самые холода уйдешь? — удивлялся товарищу, примечая его хлопоты по сборам.

**Мурэн — большая река (бур).*

***Зулхэ-река — Лена (Елеунэ).*

— Холод — не гнус! — беззаботно смеялся Пантелей. — Оденься потеплей или беги быстрей. Не поможет — костер разведи!

— И ты уйдешь? — Иван с беспокойством спрашивал брата.

Тот пожимал плечами, вздыхал, разумно и неохотно отвечал:

— Думать надо! Топором махать за прокорм, как гулящие, нет охоты. Кузнецом при посаде я бы остался, но у вас свой кузнец, жалованье у него хорошее, и сам он, не мне, самоучке, чета. В судовые плотники поверстаться — разве учеником возьмут, на посылки, а это стыдно, — теребил волос по щекам. — Не юнец уже.

— Хочу — не могу! Могу — не хочу! — злился Иван, боясь обидеть младшего и снова потерять. — Думай тогда!

Старый вкладчик Михей Омуль, прельстившись посулами Пантелея, ушел из скита и поселился в его балагане. Вечерами они, впятером, сидели у очага, сложенного из речного камня, дым уходил через колоду, обмазанную изнутри глиной. Под кровом было тепло и сухо. Послышались шаги снаружи, дверь распахнулась. С клубами вкатившейся стужи через порог переступил Максим Перфильев в волчьем тулупе. Лицо его было красным, обметанным куржаком по стриженой бороде и усам. Десятник скинул сермяжный малахай, поднял глаза на крест в углу, накосо махнул рукой со лба на живот, с плеча на плечо.

— Подьячий! — смеясь, ответил на его приветствие Пантелей. — И ты доброй шапки не выслужил?

Максим усмехнулся, оправдываться не стал, скинул тулуп, придвинулся к очагу.

— Угадал! — блеснул глазами на Пантелея. — Прошлый раз, когда встречались, я за подьячего служил с казачьим жалованьем, теперь воевода зовет на разрядный оклад, но прежде надо сходить в Кетский острог. — И, обернувшись к Ивану, другим, сокрушенным голосом, пожаловался: — Десять рублей обещают дать без роста до Первого Спаса! Где еще взять столько же — ума не приложу!

Похабов и не стал томить товарища:

— Пенда дает мне на сохранение клейменые меха, а я тебе дам сколько надо. Мешок у него большой, — указал глазами в угол.

Максим, не таясь, женихался с Пелагией. Иванова печаль прошла: отодрал-таки от сердца напрасную присуху, уже говорил с ней без смущения. И она глядела на него в оба глаза, только отчего-то опасливо, хотя Иван ни словом, ни взглядом не напоминал того, что случайно подсмотрел в зимовье на Кети.

— Ух! — тряхнул головой Максим. — Гора с плеч! — взглянул на Пантелея с благодарностью. — Чего это он? — спросил, кивая на Синеульку.

Пьяный тунгус-новокрест сидел в углу, свесив косматую голову, и выставлял в сторону говоривших руку со сложенной дулей.

— С родней спорит… Мысленно! — как от пустячного отмахнулся Пантелей. — После промыслов получил пай, погулял с недельку, потом, как умный тунгус, оленей купил, поехал к родне с подарками. Только вскоре вернулся гол как сокол. С тех пор пьяный ругает родственников.

Максим удивленно покачал головой, перестал обращать внимание на Синеуля, будто в углу вместо мужика был пень.

— Пелашка-то что удумала? — обиженно сверкнул глазами на Ивана. — Венчать нас в пост поп Кузьма отказывается. Да мне и заплатить нечем. Подруг-то после Рождества под венец поведут, а ей надо в невестах ждать, когда я из Кетского вернусь. Ревет белугой — оставайся и все! Ну как я, служилый, останусь, если воевода велит? А с кабалой как быть? Ради нее ведь дал на себя! — мотнул стриженной в круг головой. Чистая волна русых волос, еще белевшая по кончикам изморозью, рассыпалась по вороту льняной рубахи.

— Хочешь, чтобы я пошел в Кетский? — спросил Иван.

— Как ты пойдешь, если кабала на мне? — Максим бросил на Ивана рассерженный и туманный взгляд. — Тебя там вокруг пальца обведут. — Он помолчал, глядя на огонь, и горько усмехнулся: — Однако повезло тебе! Девка оказалась вздорной, меня слушать не хочет, — метнул на Ивана затравленный взгляд. — Вдруг тебя послушает. Ты ей скажи: никак нельзя мне не уйти.

— Из меня говорун! — хмыкнул Иван и кивнул на товарища. — Вот Пенда — краснобай! Захочет, черта уговорит!

Пантелей встрепенулся, с любопытством спросил, о чем речь. Казаки наперебой стали рассказывать, как сватали невест. Пантелей посмеивался, то и дело переспрашивая подробности. Угрюм водил настороженными глазами с одного говорившего на другого.

— Хорошую девку взял бы за себя! Но такая за мной не пойдет! — рассмеялся Пантелей, ощерив зубы в бороде. — А то бы выкупил с прибытком: истомился жить без жены... Все блужу с ясырками, с инородками.

Максим опасливо схватил сермяжную шапку, торопливо накинул на плечи тулуп. Пантелей развязал кожаный мешок, вынул связанных в сорока соболей, потряс их, расправляя мех.

— Все клейменые. За десять рублей отдашь не торгуясь. А если поторгуешься, то продашь с прибылью, чтобы на свадьбу что-то осталось. Когда сможешь, Ивану долг отдашь, — протянул распушившуюся связку Максиму.

Тот, рассматривая мех, придвинулся к ледышке окна, пощупал мездру.

— Какой залог возьмешь? — спросил вкрадчиво.

— Об этом с Похабой договаривайся.

Иван отмахнулся от взгляда товарища, как от самого пустячного дела, Максим с благодарностью поклонился и вышел. Угрюм тут же завозился в углу, где тихо сидел при госте, ни на кого не глядя оделся в суконный кафтан и сапоги, будто собирался идти в церковь. За стенами балагана к ночи приморозило так, что потрескивал лед на реке. Ни слова не говоря, Угрюм вышел и притворил за собой дверь.

Пантелей хохотнул, расправляя пятерней густую бороду:

— Кишками чую, пошел у подьячего невесту отбивать!

От насмешки товарища у Ивана снова заныло под сердцем, он вздохнул и свесил голову. Пантелей знал Угрюма лучше, чем он, родной брат.

— Выпить что осталось? — спросил хмуро.

Пантелей тряхнул кувшин, грубо слепленный из обоженной глины. Прислушался к плеску.

— Можем еще взять на кружечном дворе. Воевода не велит пьянствовать по избам и балаганам, но мне дадут.

Невест поселили в келье на месте заложенной острожной церкви. Жили они с инокинями тесно, собирались под одним кровом только для ночлега, а днем разбегались. Невесты уходили в угловую избу, к казакам и стрельцам, где скопом жили все обозные, варили им кашу, пекли хлеб, стирали. Инокини вели добровольных помощников к освященному под скит месту на возвышенности за острожной стеной.

По малолюдству приострожного населения днем калитка в острог не запиралась. Острожный воротник со свободными от караулов стрельцами ходил расчищать место под женский Христо-Рождественский скит. На кураульне маячил стрелец. Примелькавшегося уже промышленного Угрюма в острог запускали без расспросов. Он прошел под проездной башней, увидел дымок над землянкой посередине острога. Повертелся возле келейки, потопал ногами, покашлял, прислушиваясь к голосам, потом торопливо перекрестился и решительно толкнул дверь.

Вечерело. Жилье освещал горевший очаг, дым стелился по потолку и уходил в вытяжную дыру. Угрюм наклонился и притворно закашлял, успев разглядеть трех девиц, застигнутых врасплох. Обрадовался, что монахинь нет.

— Молодого, красивого, богатого жениха не ждете? — спросил с удалью в раскрасневшемся от мороза лице.

Приземистая, крепенькая, как горшок-кашник, и длинная девицы вскочили, стали выталкивать его из жилья, третья испуганно прикрыла ладошкой щеку с большим родимым пятном. Между тем она и промышленный успели пристально оглядеть друг друга. Этого взгляда Угрюму хватило, чтобы оценить невесту Максима. Довольный со-

бой, тихонько посмеиваясь, он выскочил из землянки. «Показался — и ладно», — думал. Девки должны были его запомнить.

Едва рассвело, он снова оделся в кафтан и сапоги. В лихо заломленной собольей шапке приплясывал под яром у реки в виду укрытых на ночь прорубей. Знал наверняка, с утра кто-нибудь из девок пойдет за водой. Не зря ждал, издали узнал Меченку. Она вышла из острога с коромыслом на плечах с двумя березовыми ведрами на его крючках. Угрюм расправил сведенные стужей плечи, пошел навстречу бойким шагом, встав фертом на тропе в снегу, заступил ей путь. Девушка остановилась, приткнула платок на щеке, подняла глаза.

— Не помочь ли, красавица? — осклабил выстывшие губы Угрюм.

— Помоги! — послушно согласилась она.

В том была хитрость, придуманная ночью. Прорубь к утру покрылась льдом. Казаки без крайней нужды сами за водой не ходили. Могла, конечно, прийти девка с женихом, но Бог помог и пришла сама, да еще одна. Угрюм же был не прочь разбить лед и для ее подружки, через которую мог снова войти в келью. Он принялся долбить лед пешней. Пелагия стояла, искоса бросала на него любопытные и смешливые взгляды. Наконец он зачерпнул ведрами воды, понес их в руках.

— Ты чей? — спросила она, пропустив его вперед. Забросила на плечо легонькое березовое коромысло. Из-под заледеневшего платка вырывались клубы пара от дыхания, бирюзовые глаза были опушены длинными и белыми от инея ресницами.

— Ивана Похабова брательник* Егорий, по прозвищу Угрюм! — весело отозвался он. — Промышленный. Не бедный. С удачных промыслов. А ты — Пелагия! — обернулся, поймав ее долгий взгляд, от которого радостно затомилось сердце.

Она кивнула и пробормотала:

— Пойду позади. А ты иди!

— Мне бы за тобой, — стал шутить он. — Такая краса за спиной — мужу честь, а я что? Мне бы полюбоваться! — обернулся опять, не сбавляя шага.

Она улыбнулась и опустила глаза, Угрюму показалось, будто чудный свет озарил его путь этим туманным, холодным утром. Он заговорил громче и веселей.

— Вчерашний жених в гости напросился! — окликнула Пелагия бывших в келье подружек. И окинув промышленного сияющими глазами, потянулась к ведрам. — Туда нельзя, матушки молятся.

Нельзя так нельзя! Угрюм был счастлив и нынешней встречей. Он продрог в своем кафтанишке. Идти с инокинями строить скит ему не хотелось, и он пошел за острог, к балагану, на ходу придумывая повод для другой встречи. Попутно выглядывал место, где срубит свой дом, решил, что поверстается в посад. Кое-как ремесла он знал не хуже гулящих, чего не умел, тому надеялся научиться. «Я теперь богатый!» — думал весело и зло, будто мстил нищему детству и бесприютной юности.

К вечеру он опять побежал в острог. Келья была пуста и выстыла за день так, что вода в котле покрылась льдом. Стараясь не запачкать лицо и сукно кафтана, Угрюм развел огонь. Когда пришли девицы, в землянке было тепло. Он с полувзгляда заметил, что Меченка на этот раз сердита и не просто, по прихоти, а так зла, что ногами сучит, глаза щурит, из них будто искры летят. Взглянула на него дерзко, дернула головой, как строптивая кобылка.

— Вот и жених! — скривила губы, делаясь некрасивой и даже уродливой. — Молод, хорош, говорит, богат. Один кафтан чего стоит. Возьму и пойду за него! — вскрикнула, чтобы весь острог слышал.

Угрюм на миг смутился, кровь застучала в ушах: уж он-то знал, как может переменить жизнь один миг удачи, а упустишь его — не вернешь! Промышленный приосанился, взглянул с вызовом и удалью в подурневшее лицо.

— А что? Со мной не пропадешь! — сказал важно, напрягая шею. — Я богатый! Есть на что дом построить и свадьбу сыграть. Бывало, за неделю зарабатывал больше, чем иной атаман за год.

**Брательник — младший брат (устар.).*

Длинная, несуразная девка тихо и невнятно заголосила баском, полненькая, конопатая стала кидать на него укоризненные взгляды.

— Возьмешь за себя? — резко спросила Меченка, буравя его злыми, прищуренными глазами.

— Возьму! — ошеломленный этим взглядом, пробормотал он, будто бес дернул за язык.

— Тогда иди, а мы будем думать! — приказала Меченка, чем окончательно сбила его с толку.

Он рассеянно натянул до бровей дорогую соболью шапку и выскочил из кельи, не прощаясь. Понять не мог: то ли его приласкали, то ли прогнали. «Если счастье, возьму, не упущу, — успокаивал себя. — Если несчастье, сбегу, никто не удержит!» Ворвался в балаган с мрачным лицом, скинул кафтан, бросил на нары и повалился

головой в угол как пьяный. Ни брата, ни Синеульки не было. Пенда со старым Михеем Омулем бездельничали, переговаривались. Передовщик держал на коленях саблю, то обнажал на ладонь клинок, то с клацаньем вгонял его в ножны. Угрюма никто ни о чем не спрашивал. Он перевернулся на спину, уставился в потолок. Мысли о строительстве дома, которые донимали прошлую ночь, в голову не шли. Перед глазами стояла Меченка: то печальная, как возле проруби, то злющая, как в келье.

— Все, сил нет сидеть на одном месте! — тихо проговорил Пантелей и бросил саблю на одеяло. — Завтра иду к воеводе, бью челом, даю заручную челобитную, чтоб велел отпустить промышлять за Енисей, в верховья Ангары

— Скажи, к Тасейке-князцу! — прошамкал старик сжатыми в гузку губами. — Объявишь дальний путь, потом расспросами станут мучить, кнутом и дыбой язык потянут. Я знаю!

— Если вернусь! — Старик и Пантелей тихо, с намеком рассмеялись о том, что знали только они.

— А пойдем притоком тунгусского князца Тасейки. Даст воевода коней — хорошо, не даст — соберу гулящих, они дотащат припас куда надо.

— Товар бери! — опять беззубо прошамкал старик. — С товаром ты — лучший гость, что у тунгусов, что у братов. А Рождество гулять надо в остроге! Грех у костра сидеть, если Бог велел веселиться!

— Навеселился уже на много лет вперед! — проворчал Пантелей, но согласился: — На Рождество придем в острог, а после — с концами!

— Не даст воевода коней! — пробубнил Угрюм. Он слышал от стрельцов, что им с казаками всю зиму приказано возить рожь из Маковского и Кетского острогов.

— Ты идешь или остаешься? — обернулся к нему Пантелей.

— Не знаю! — как пьяный, процедил сквозь зубы Угрюм. Хотел, чтобы приняли за пьяного.

— Завтра — еще думай, а после сам будешь кланяться воеводе! — насмешливо пригрозил Пантелей. — С нас отъездную пошлину он возьмет по гривенному, а сколько с тебя — не знаю.

Угрюм не отвечал. Стояла перед глазами статная девка, глядела искоса, прикрыв щеку платком, глаза лучились зеленью и синью. Такая и грезилась ему в тяготах промыслов, ради такой терпел и старался разбогатеть. Может быть, всю прежнюю жизнь ради нее мучился.

Брат пришел поздно, младшего не окликал, переговорил о чем-то своем с Пантелеем и лег спать. Среди ночи Угрюму пришла в голову сонная мысль, что надо встретить Пелагию одну и переговорить с глазу на глаз. Если сговорятся, все станет ясно.

Утром, как на посту, он стоял у закрытых острожных ворот и не просил открыть их ни караульного, ни воротника. Показался во всей красе и хватит: на этот раз одет был в тулуп и сары. Первым из ворот вышел казак с обмерзшими ведрами, взглянул на промышленного хмуро и подозрительно, чуть кивнул в ответ на приветствие. Зевая и укрываясь плечом от пронизывающего ветра, поплелся к проруби, разбил лед, обнажив черную воду. Вскоре показалась Меченка в своей нищенской шубейке. Из-под платка видны были одни глаза. От того, как она ступала ногами по тропе, сладостно заныло сердце, Угрюм поклонился и пропустил ее вперед. Она просеменила к яру, подхватила полы шубейки, села на обледеневшую тропу и шаловливо скатилась к реке.

Угрюм собирался съехать следом, но из ворот, не крестясь на Спаса, выскочил Максим Перфильев, одетый по-дорожному, как промышленный. Он съехал под яр на подметках и стал быстро нагонять Меченку на тропе. Раз и другой громко окликнул ее. Она не оборачивалась. Максим, проваливаясь в снег, забежал сбоку, что-то горячо заговорил, удерживая ее за руку. Пелагия отвернула голову в другую сторону, задрала нос, не желая слушать. Он забежал с другой стороны, она снова отворотилась. Так оба подошли к проруби. Угрюм догнал их и топтался на месте, опустив руки, не знал, что сделать, что сказать. Максим будто не замечал его.

— Ты подумай, как я останусь? — громко увещевал девку. — Хлеба в остроге на месяц, и тот покупной… Я же служилый! Вернусь, после Пасхи обвенчаемся!

— Ну и служи! — вскрикнула Меченка в узел платка. — За другого пойду! Хоть бы за этого! — подхватила под руку Угрюма. Коромысло соскользнуло с ее плеча, пустые ведра покатились по льду.

Максим даже не взглянул на промышленного, оттеснил его плечом, привлек девку к груди, с жаром заговорил, клоня к ней голову. Она отстранялась, выгибая спину, отворачивалась, хотя и не высвобождалась из его рук. Угрюм поднял ведро, наклонился за другим. Пелагия что-то приглушенно выкрикнула. Что? Промышленный не услышал. Увидел только, что ведро, за которым он наклонился, полетело по льду от пинка. Казак выругался, плюнул и быстро зашагал к острогу.

«Ну и ладно!» — с тягостным унижением подумал Угрюм, зачерпнул ведрами речной воды, хотел нести, как прошлый раз, но Пелагия со слезами и ревом стала

вырывать их из его рук, пронзительно закричала:

— И чего привязался, гусак раскормленный?

Угрюм взглянул в ее распаленные глаза, побагровел, бросил под ноги ведра, с прямой, негнущейся спиной зашагал следом за Максимом. Он ворвался в балаган и, не раздеваясь, упал на нары. Брат, Пантелей, Синеулька и старый Омуль степенно черпали кашу из черного котла.

— Ухожу! — прорычал Угрюм, ни на кого не глядя.

— Ну и ладно! — буркнул Пантелей, расправил пышные усы, привычно стряхнул с них кашу. — За одного битого, как говорится, больше платят.

Иван опустил глаза, вздохнул, облизал ложку, перекрестился. Ни слова не говоря, накинул шубный кафтан и ушел в острог.

Обоз на Кеть был отправлен в тот же день, а на другой Пантелей Пенда получил отпускную грамоту от воеводы, оплатил за четверых промышленных отъезжую пошлину, с покупной пошлиной скупил у гулящих и торговых людей весь ходовой товар, дорогой ценой прикупил к своему припасу десять пудов ржи и пуд соли.

Как ни просились гулящие люди в его ватажку покрученниками, он никого не взял, но работу за прокорм дал многим. Под его началом сразу после Николы зимнего, на чудотворца Амвросия, в самую стужу, первые четыре нарты ушли к устью Тасеевой реки, чтобы поставить там стан.

Угрюм сказал брату, что ни на Страстную неделю, ни на Святки в острог не придет, он оплатил четверть расходов ватажки клеймеными мехами, остальные погрузил в нарту. Пантелей Пенда даром отдал Ивану теплый балаган и оставил на хранение отощавший мешок с мехами.

Михей Омуль весело поглядывал на работных, поучал их срывавшимся голоском, и вдруг смутился, затоптался на месте. Пантелей оглянулся и скинул шапку. Возле обоза объявился инок Тимофей. Никто не заметил, как он подошел к балагану. Старый Омуль тоже сорвал шапку, стал низко кланяться, шепелявя сжатыми в гузку губами:

— Прости! Прости, батюшка!.. Прости!

— Это ты меня прости, Мишенька! — всхлипнул инок, и слезы покатились по его щекам, румяным от крепкого мороза.

Скитник упал вдруг перед стариком на колени. Ошалевший от такого прощания, старик смутился пуще прежнего, заголосил, по-волчьи задирая голову, упал на брюхо, суча ногами, запричитал:

— Прикажи, батюшка, останусь!

— Иди! — перекрестил его Тимофей, позвякивая веригами под плохонькой шубенкой. — Судьба твоя там, не здесь. Меня, грешного, не забывай в молитвах!

Старики поднялись и слезно простились. Пантелей подошел к иноку за благословением. Тот не стал отнекиваться малым саном, перекрестил передовщика. Сосульками висели в его бороде застывшие слезы.

Угрюм досадливо отошел в сторону и все поглядывал на ворота острога: не выбежит ли с раскаянием Пелагия-Меченка. Он был зол на нее, на острог, на брата, служившего здесь. Простились Похабовы добром, но холодно, не как братья. О будущем не гадали. Срывая нарты с наледи, Угрюм подналег на бечеву, ненароком обернулся к острогу и поймал укоризненный взгляд инока Тимофея, который так навязчиво прилип к сердцу, что промышленный не мог откреститься от него до самого устья Ангары.

В остроге прошла неделя и другая с тех пор, как Максим Перфильев ушел на Кеть. Из прибывших казаков воевода оставил при себе только Ивана Похабова с Агапием Скурихиным да Филиппа Михалева. Под началом стрельца Терентия Савина они водили подводы с рожью из Маковского острога в Енисейский. Зима была снежной, колея от саней глубокой. Обозные выезжали из острога, поднимаясь по Кеми, лошади послушно тянули легкие сани, а люди отсыпались под тяжелыми тулупами. Зато в обратную сторону, с грузом, им приходилось впрягаться в гуж наравне с конями.

Возвращаясь, они парились в бане, два дня отдыхали, затем надо было снова идти застывшими болотами в верховья Кети, в Маковский острог. К Страстной неделе Ивану Похабову стало казаться, что весь свой век он только и делал, что возил пятипудовые мешки с рожью и впредь, до скончания века, ничего другого уже не будет. Он вернулся в свой балаган, раздул очаг. Дни были совсем коротки, стужа стояла лютая. Разгорелся огонь, по стенам жилья засверкала розовеющая изморозь. В сумерках с котлом в руках Иван поплелся к проруби на Енисей. Под каждым шагом хрустел снег, и казалось, будто кто-то крадется сзади. Вперед казак не глядел, шел против пронизывающего ветра, низко опустив голову, различал только тропу под ногами. Так столкнулся с Меченкой и отпрянул, не сразу узнав ее.

Пелагия в упор глядела на него мокрыми глазами. Иван кивнул ей, хотел пройти мимо, но она загородила тропу. Он вскинул голову, вгляделся. По щекам Меченки текли слезы, она хлюпнула носом, придвинулась к нему, обхватив за шею, повисла на его плечах, и так глядела снизу вверх своими бездонными глазищами, что душа Ивана чуть было не вывалилась под ноги, на скрипучий снег.

— Господи, прости и помилуй! — уткнулась в грудь молодца. — Топиться хотела, а тут ты!

За правым, за левым ли плечом казака пискнул смешливый голосок, дескать, в такой одежке ни в одну прорубь не протиснешься! Иван же неловко ругнулся:

— Что мелешь-то? — А сам, вместо того чтобы отстраниться, сладостно и томно оглаживал ее спину, даже под шушуном ощущая упругий, гибкий стан. — На Святой неделе… Грех-то какой… Не отмолить!

Почуяв душевную слабость в кряжистом, сильном молодце, Меченка завыла громче, пронзительней. И сладко, и больно, и страшно ее горячие слезы жгли его выстывшие щеки, хоть девка ростом-то была ему до плеча. Удивляясь этому, казак очумело догадывался, что склонил голову.

— Возьми меня под венец, Иванушка! — она глубже и глубже зарывалась лицом ему за пазуху, под кафтан, к самому сердцу под пропотевшей рубахой. — Я ведь чувствую, что люба тебе и хорошей женой буду… Иначе мне одна дорога — утопиться! Нет доли иной! — шмыгнула носом, отпрянула, пронизав его растерянные глаза своими, ищущими спасения. И хохотнула вдруг, еще больше смутив Ивана.

В его буйной голове разоренным ульем заметались лихорадочные мысли. Подумал — забрюхатил товарищ девку, а она, глупая, понять не может, почему нельзя ему не идти на Кеть…

— Как же Максимке в глаза-то посмотрю? — простонал он, сдаваясь. И почувствовал на себе Иудину усмешку.

Она торопливо зашептала, обдавая горячим дыханием:

— Может, не с ним, с тобой судьба завязана, не поняла сразу, не признала тебя. И совсем уже срываясь в бездну, он вдруг нашел себе оправдание, уцепился за него, как тонущий за соломину: «Максимке лучше не будет, если девка-дура наложит на себя руки и его младенца погубит. С не родными по крови детьми, с богоданными, бывает, хорошо живут…»

— И так грех, и эдак! — пробурчал податливо. Повздыхал, вздымая широкую грудь. Слизнул с губ ее соленые слезы. Опять глубоко и шумно как бык вздохнул: — Может, и впрямь судьба!

Она благодарно прильнула к нему, прерывисто и облегченно вздохнула. К острогу они шли молча, каждый думал о своем. У ворот она отвесила три низких поклона на лик Спаса, еще раз ткнулась лицом ему в грудь, на этот раз напоказ караульному стрельцу Мишке Стадухину и острожному воротнику Антонке Тимофееву по прозвищу Табак. Иван затравленно зыркнул на них в полутьме: эти не умолчат, к утру весь острог узнает, что Похабов прельстил невесту товарища. Он опять шумно вздохнул и спросил:

— Когда подружки венчаются?

— На Васильев день! — Пелагия блеснула не просохшими еще глазами.

— Скажу завтра воеводе, — буркнул. — Да к попу надо на исповедь. Благословенье даст ли?

— Даст! — уверенно шмыгнула носом Меченка.

Она скрылась под проездной башней. Он пошел в балаган с прогоревшим очагом. Распахнул дверь, пахнуло в лицо теплом и жилухой. Тут только вспомнил про пустой котел, который так и болтался в руке, горько хмыкнул, бросил его в угол, упал на нары, глядел, как мечутся тени по потолку из неошкуренных жердей, и примечал за собой, что глупо улыбается.

Воевода с полуслова все понял, согласился с казаком и даже обрадовался тому, что он хочет взять за себя девку.

— Оно и лучше! — усмехнулся, почесывая редеющий затылок. — Эти две на мужнино жалованье, а Пелашку с какого оклада мне кормить, пока Перфильев не вернется? Разве среди подруг христарадничать станет…

Белый поп Кузьма Артемьев имел государево жалованье в шесть рублей, но не имел церкви. Первый год своей службы он был очень недоволен этим, но втянувшись в острожную жизнь, убедился, что служилым не хватает сил и времени, чтобы срубить храм. Строительством занимался сам, время от времени у него появлялись добровольные помощники. Руки у попа были мозолистыми, заботы житейскими. Молебны он вел по надобности, а по великим праздникам, в Страстные недели и Воскресенья служил литургии на антиминсе в часовенке над проездными воротами.

На исповеди Иван стал было оправдываться, что берет девку за друга, поневоле тайком от него, чтобы та не наложила на себя руки.

— Я ей наложу! — взревел Кузьма. — Зад выдеру, козе! Сиськи оторву!

Упоминание о дурных помыслах Пелагии привело его в такое негодование, что он, ругая невесту блядиной дочкой, сучкой-вертихвосткой, не стал пытать Ивана о его тайных помыслах. Недовольный нравами сибирских старожилов, лишь пожурил, что казак берет чужую невесту. Поохал, потолковал о соблазнах и допустил к причастию. Иван в счет венчания и в поклон дал на строительство церкви черного соболя, отчего

поп Кузьма повеселел. Меченку же после исповеди он поставил перед воротами с внутренней стороны острога под иконой Введения во Храм Богородицы и заставил отбить сто земных поклонов. Только после этого причастил едва державшуюся на ногах девку.

Слух о том, что Иван ведет под венец перфильевскую Пелашку, облетел острог. Сослуживцы-казаки, Михалев со Скурихиным, перестали с ним разговаривать, показывая свое осуждение. Васька Колесников обегал его стороной и язвительно ухмылялся. Стрелец Терентий Савин, с которым весь пост водили подводы из Маковского, прошел мимо, задрав нос, ни кивком, ни взглядом не ответил на приветствие.

Сначала Иван подумал, что тот пьян, но вскоре заметил, что и Вихорка-жених, крепкий, работящий стрелец, умишком совсем не дурак, воротит морду. Мишка Стадухин при встречах глядел ему в глаза пристально и зло, кривил губы, искал повод, чтобы припомнить обиды на Кети. И понял Иван, что против него сговор, озлился на всех, особенно на женихов, аж зубами скрипел, завидев их. «Забыла, верстанная голь, кто за их невест платит?» Стал и он расхаживать по острогу с важным видом, задирать молчунов. Пелашке велел сшить новый сарафан и шубу, купил ей к свадьбе не ичиги — козловые сапоги, сам покрылся шапкой из черных соболей.

Перед венчанием все три пары пошли на поклон к воеводе. Вихорка с Васькой, кланяясь, обещали кроме верных служб отдарить в почесть, как разбогатеют, Иван, всем напоказ, после поклона выложил пару клейменых соболей. Воевода потряс рухлядь, полюбовался черными спинками, голубым подпушком, благословил пару особо. И в съезжей избе, где венчали разом три пары, Иван с Пелагией стояли, задрав носы: в отместку всем не желали глядеть на бывших связчиков.

Венчал их поп, попадья и монашенки пели, Параскева, с которой Иван был дружен в пути от Сургутского острога, бросала на него такие жалостливые взгляды, будто он не женился, а соборовался перед кончиной. Изредка ловил на себе Иван сочувственные взгляды Савины с Капитолиной. Девки были с ним ласковы, и он добрел ради них. Одежонка на невестах была плохонькая, но так ладно выстирана, залатана, подогнана, что казалась праздничной. Боясь обидеть добрых девок, Иван терпел заносчивость их женихов. Время от времени и он поглядывал на Савину с Капой. Как ни любил их душой, а, сравнивая с Пелагией, замазавшей пятно на щеке белилами и румянами, самодовольно убеждался, что его невеста краше всех баб в остроге, а то и по всей Енисее.

После венчания воевода велел накрыть стол в съезжей избе. Иван нахрапом занял место в красном углу под образами, невесту усадил под бок к воеводе. Ни Вихорка, ни Васька Колесников не посмели пикнуть. Яков Игнатьевич, в красном кафтане, сел на место посаженого отца, дочь свою, отроковицу Анастасию, посадил на колени, хоть той по возрасту должно сидеть на лавке. Стрелецкий сотник Поздей Фирсов с сотничихой сели напротив воеводы.

Скитник Тимофей так и не пришел, хотя его ждали. Монахини попили квасу, поклевали каши с рыбкой, спели молодым «Об умножении любви и искоренении ненависти…», откланялись и ушли. Застолье оживилось. Остяцкого вида ясырки внесли запеченную целиком оленью голову, поставили на стол кувшин с горячим вином. Довольный собой, Иван вытерпел неприязненные взгляды служилых, принял поздравления воеводы и сотника, откланялся им и первым увел невесту в свой балаган.

Были и у него блудные связи в прежней вольной казачьей жизни, бывало, и в Сибири погрешал с ясырками по своей мужской слабости, но то, что произошло в ночь после венчания, потрясло его. Он лежал, глядя в потолок, на блики пламени, рассеянно вспоминал слова попа при венчании: «...и прилепятся друг к другу и не будет того родства… крепче…»

Не обманула присуха его тайных ожиданий, была ласкова и даже весела, казалось, ее ничуть не печалило, что прежний жених потерян. Меченка долго не могла уснуть, как и сам Иван. Хорошо было вдвоем, но непривычно тесно под одним одеялом. Она села, накинув на плечи шубейку, со странным, незнакомым лицом смотрела на Ивана ласково и удивленно.

— Вот ведь судьба! — провела ладонью по его обнаженной груди. Потрогала сабельные рубцы. — Увидела тебя, в зимовье, голым, — хихикнула, плутовато щурясь, — будто пламень во мне вспыхнул: захотелось от тебя родить… Чудно!

Иван усмехнулся во тьме, вспомнив, как испугал блудящих своим приходом, едва не съязвил: из-под одного, мол, выскользнула, другого высмотрела, но не сказал так, а только подумал. Слишком хорошо было ему, чтобы сердиться на прошлое.

— Наперед бы все ладилось! — пробормотал сонно. — А что было — прошло! — Зевая уже, спросил: — Ты-то что в Сибирь пошла?

— Жених у меня был. Сосед в посаде! — посмеиваясь, охотно начала рассказывать Пелагия. — Пришел с войны — а я уже в перестарках. Невест много — женихов нет. Он и закуражился: это ему не так, другое… Купцы стали звать в Сибирь — куражься, думаю, без меня. И ушла.

Проснулись они поздно. Спохватились. Для молодых, по обычаю, топили баню. К

полудню воевода, верховодивший за посаженого отца и свекра, опять накрывал стол, надо было прийти к нему, поклониться с молодой женой.

Иван стал поторапливать Пелагию, не дожидаясь, когда она поднимется, раздул очаг. Взошло тусклое, холодное солнце, стужа жгла лица. Поскрипывая снегом, молодые направились к острожной бане. Из нее уже не валил дым, белый пар висел над закуржавевшей дверью. Иван думал, что Вихорка с Савиной, Васька с Капой давно помылись после брачной ночи. И надо было случиться, что в одно и то же время с разных сторон к бане сходились три пары молодоженов. Савина и Капа висли на руках мужей, Вихорка, кряжистый, приземистый, шел напролом с налитыми кровью глазами. Васька Колесников зыркнул по сторонам и с насмешливым видом остановился у жены под боком: я бы, дескать, бегом не бегал. Савина с виноватым видом как могла удерживала Вихорку, ног не переставляла, скользила за ним по утоптанному заледеневшему снегу. Муж тянул ее за собой против воли.

— Не вами плачено! — взревел Иван, бросил жену, проваливаясь до колен в снег, в три прыжка опередил Вихорку, загородил подход к бане, заслонил собой дверь, упер руки в бока, глядя на товарища с вызовом и насмешкой. Увидел, что из острожных ворот бегут Терех Савин и Мишка Стадухин.

— Ты кто такой? — закричал стрелец и обернулся за поддержкой к Ваське Колесникову.

— Я тот, кто заплатил без роста за твою жену! — выругался Иван. — Постарше тебя и заслуженней! — протянул руку, поджидая застрявшую в снегу Меченку.

— Твои заслуги кнутом на твоей спине писаны! — закричал Вихорка, свирепея, бросился на Похабова с кулаками. Подоспевшая Пелагия с визгом повисла на руках мужа, и у него в глазах брызнули искры: жена помешала увернуться от удара. Он попытался ее оттолкнуть, но Пелагия снова, веревкой, опутала его руки.

Похабов рыкнул, стряхнул ее, дав оплеуху. Меченка упала в сугроб. Он отбил другой удар и звезданул стрельца в широкий лоб. Краем глаза заметил, что Терех Савин уже рядом, на ходу достает засапожный нож. И нахлынуло, как в юности под стенами Москвы. Едва привстал отпрянувший от удара Вихорка, Иван снова положил его кулаком, на этот раз на всякий случай. Пока тот не очухался, сорвал банную дверь с петель, огрел ею подбежавшего Тереха. Засапожник выскользнул из руки стрельца. Иван подобрал его, распрямился, отступил к парящей бане.

Вкрадчиво, как кот, на него шел Мишка Стадухин, в его руке блестел нож, ледяные глаза смотрели в переносицу. Уже по тому, как он подступался, Иван почувствовал опытного бойца. «Казак!» — подумал с уважением, насторожился, сделал выпад, отбил удар. «А так не учили?» — пнул стрельца под колено. И тут между ними встал сотник с обнаженной саблей. Мишке скрутили руки, Иван покладисто бросил под ноги нож Терентия, заткнул сорванной дверью исходившую паром баньку.

Капа кричала басом. Савина испуганно крестилась и озиралась. Иван вытащил из сугроба охавшую Меченку. У нее под глазом против родимого пятна набухал кровоподтек. Она охала и прикладывала к лицу снег.

— Не лезь поперек мужа! — наставил Иван строгим голосом. Подхватил ее под руку, подтолкнул к бане.

Они не парились: не до того было. Меченка молчала и обиженно воротила лицо в сторону. У Ивана ныла переносица, под глазами набухало, щипало казанки со сбитой кожей. Но он не мог оторвать глаз от жены, до того она была красива телом. Пелагия от взглядов мужа не укрывалась, не стыдилась. Лицо ее было злющим, подурневшим, а телом поигрывала напоказ, в отместку.

— Что долго? — орал снаружи Васька Колесник. — В бане жену тискать грех!.. Ночи мало или что ли?.. Другая будет... Ванька! Это я на вас сотника привел. Приведу и попа. Ужо кадилом по голым задам причастит…

И кричал стрелец, и насмехался без умолку, при этом так срамословил, что вынуждал поторапливаться. Молодые наспех помылись и вышли, даже не порозовев от пара. Иван грозно распрямился за банной дверью. Вихорка взглянул на него с укоризной. У него на лбу вздулась красная шишка, у Терентия вспучились окровавленные губы. Мишку увели караульные. Васька со смешливым лицом стоял в стороне под боком у Капы и потешался над всеми. Иван прошел мимо товарищей с озлобленным лицом, проволок за собой жену. Она закрывала лицо рукавицей.

— Вот свадебка так свадебка! — смеялся воевода, встречая молодоженов. С удовольствием разглядывал их лица. — По-нашему, по-сибирски! — Потирал руки. — Не то что вчера!

Он явно принял чарку за поправку здоровья. Борода его торчала помелом, сам был весел и ласков, молодых жен целовал в губы на правах посаженого отца и свекра. Капа пугливо пучила на него без того большие, коровьи глаза, пятилась за малорослого мужа, пока Васька не гаркнул:

— Целуй воеводу, дура!

Она закатила глаза и опустила послушную голову.

— Ивашка? — вскрикнул воевода, взглянув на слезливую Пелагию. — Почто, изверг, жену так разукрасил в первый день?

— Для науки! — пробурчал Иван. Воевода опять захохотал и звонко трижды поцеловал повеселевшую Меченку.

— Буду жив, вашего первенца окрещу!

Положив поклоны на образа в красном углу, новобрачные расселись по прежнему чину. Вошел сотник, он был хмур, но уже посмеивался. Подхватив саблю, которой только что грозил буянам, сел по другую сторону от воеводы. Выпили квасу, поели блинов, выпили по чарке во славу Божью, на том разошлись, напутствуемые первыми людьми и острожным попом.

Посветлел лицом Иван Похабов, Вихорка с Васькой стали приветливей после драки. Казаки, старый Филька с рыжим Ганькой, будто забыли о прежней неприязни. На крыльце съезжей избы Иван спросил сотника Поздея:

— Мишка-то где?

— В яме! — рыкнул тот. — Надоел, поперечный! Зашлю куда подальше.

— Отпустил бы? — вступился за стрельца Иван. — Неделя свята. Велика важность, подрались?

— Драка дракой! За ножи-то что хвататься? — огрызнулся было сотник таким голосом, что Иван понял: после другой чарки отпустит Стадухина без батогов.

Среди служилых мир был налажен. Выпили мировую, повинились друг перед другом и разошлись. Только Меченка молчала и дулась до самой ночи. Хороших супругов ночь мирит. Едва укрылись одеялом, она, со вздохами, стала податлива, молчала, но не была холодна. А утром опять дулась, воротила в сторону порченое лицо, зачем-то гремела котлом, долго раздувала печь и все не могла раздуть, до тех пор пока сам Иван не поднялся и не развел огонь. Она пошла за водой, шлялась долго будто ходила не на прорубь, а в Маковский острог. Приволоклась едва ли не к полудню.

— Кашу варить думаешь? — тоскливо спросил Иван и заметил, что у жены нос испачкан сажей, к тому же он показался ему непомерно длинным.

Иван ждал до полудня, когда жена сварит завтрак и все молчком. Не дождался, схватился за шапку, ушел в острог. Когда он вернулся, каша подошла. Нос у жены был и в саже, и в муке. Она только замесила хлеб и поставила за очаг квашню. В балагане кисло пахло закваской. Одеяла на нарах лежали неприбранными с самого утра, ложки отчего-то валялись на земляном полу, все было перевернуто и разбросано, как при побеге хозяев. «Видать, женишок на Руси хорошо знал соседку, оттого и не спешил под венец!» — тоскливо подумал Иван, поел каши и снова ушел в острог.

Воевода дал молодым мужьям отдых. Васька с Вихоркой стали помогать попу строить церковь, Иван запросился на службу, сидеть с женой в балагане ему было тягостно. С тоскливым лицом день и другой он стоял в карауле, на третий Меченка отошла, сначала вкрадчиво и обиженно, потом веселей заговорила. Иван не корил, не погонял ее, не желая новых размолвок, надеялся, со временем она научится хозяйствовать как все. Однако удивлялся про себя, как могла посадская девка не научиться печь хлеб? Не боярская дочь? И как-то она обмолвилась, что семья была многодетной и ей, старшей, всю-то жизнь пришлось быть нянькой. Ничего другого по дому она не делала.

Обида прошла, но веселей в балагане не стало. Иван с облегчением принял прежнюю службу. Оставить жену одну за острогом он опасался. По его приглашению Капа с Савиной и их мужья с радостью перешли жить из тесной, многолюдной караульни в его балаган. На этот раз он сам взялся вести обоз в четыре подводы с Агапием-Ганкой Скурихиным, Терентием Савиным и Мишкой Стадухиным.

— Не нравится мне ваша ватажка, — ворчал сотник, наставляя в путь. — Ох как не нравится. Да послать вместо Похабы некого... Он — старший! Ты это хорошо понял? — напирал на поперечного Стадухина. — Устроишь драку, повешу!

— Не повесишь! — язвительно ухмыльнулся Мишка. Лицо его сделалось строгим, взгляд пронзительным: — Никак ты себя возомнил енисейским царем? Кто еще имеет право казнить смертью? А вдруг объявлю государево слово и дело? Вон сколько свидетелей! — повел рукой на спутников, которые тупо соображали, куда клонит стрелец.

Сотник злобно сплюнул, матерно выругался.

— Дери его как сидорову козу! — крикнул Ивану и махнул рукой, отправляя обоз к реке.

Тренька Савин, в чине стрелецкого десятника, был осторожен и рассудителен, но сладить с Мишой не мог. Оттого и отправил сотник старшим Ивана. Стадухин был не высок и не дороден. Как драный пес, не боялся ни драк, даже скучал без них, любил покичиться, покрасоваться, а больше того — унизить кичливых и красующихся. Это у него доходило до страсти. С Иваном Мишка держался ровно, только после свадьбы бес попутал схватиться за нож.

В Маковском остроге прогнила крыша на государевом амбаре, рожь, что была сверху, подмокла и обледенела. Приказный с криком напирал, чтобы брали ее подряд, со льдом, знал, что Похабова трудно вывести из себя, а принудить можно.

Иван насмешливо взглянул на него и кивнул Мишке:

— Вразуми!

Стрелец набрал воздуху в грудь, набычился и сорвался на приказного, как цепной пес. Тот не выдержал долго его брани и напора:

— Берите что надо! — отмахнулся, лишь бы стрелец отвязаться.

Много было передумано Иваном долгими холодными ночами. Неприязненное не забылось, томилась душа, ожидая возвращения. Навязчиво помнились женские ласки, камнем давила грудь неизбежная встреча с Максимом. Иван придумывал разные слова оправдания, доказывая себе свою неправую правду, а на сердце было тягостно, будто пятно со щеки жены прилепилось к нему навек.

Со своими людьми и грузом он пришел в Енисейский острог перед Святой Пасхой. Кони привезли две пары саней к оврагу Мельничной речки, вышли на ее ноздреватый, почерневший лед. Как всегда, обоз окружили гулящие люди, зимовавшие возле острога, сквозь их толпу протиснулись жены обозных. Как всегда, воевода дал вернувшимся отдых. Служилые выгрузили рожь в государев амбар и разошлись по жилью. В балагане было тепло и прибрано, пахло хлебом.

— Все! — бросил Иван шапку и радостно обнял жену: — Топи баню!

Но не она, а Капа накинула шубейку, Савина, ласково поглядывая на казака и на мужа с Васькой, налила всем квасу, как сестра, пощупала заскорузлую рубаху на плечах Ивана.

— Исподнее сними! Постираем. Пока паришься — все просохнет…

Как ни тесно было в балагане трем семьям, но так Ивану жилось веселей, чем наедине с Пелагией.

Едва вышел срок собираться для новой поездки в Маковский, на льду Енисея показался большой обоз. По времени пора было вернуться Максиму Перфильеву. Вихорка с Васькой с женами побежали встречать прибывших, за ними увязалась Пелагия. Иван ни словом, ни взглядом не удерживал ее, но сам на встречу не пошел, с почерневшим лицом сидел возле очага, глядел на огонь.

Когда все вернулись, он стал пытливо заглядывать в бирюзовые глаза жены, старался угадать, ждала ли она Максима, но не приметил в них ни большой радости, ни скрытого стыда. Неохотно и осторожно она шепотком уверила его среди ночи, что к ней бывший жених не подходил, видела его только издали. А Максим еще в Маковском должен был узнать, что бывшая невеста замужем.

После молитв и завтрака с мрачным лицом Иван отправился в острог, чтобы получить очередное напутствие воеводы. Трижды положил поклоны на Спаса над воротами проездной башни, с внутренней стороны трижды поклонился лику Богородицы, а на уме было одно, о чем думал всю ночь. Иван сжал зубы, злясь на себя, распрямился важней прежнего, с каменным лицом двинулся к съезжей избе, где его ждал воевода.

Склонившись в низких дверях съезжей избы, краем глаза увидел Максима с чистыми, рассыпавшимися по плечам волосами. Перфильев сидел за приказным столом в бедняцкой шапчонке, не успев вернуться, уже скрипел гусиным пером за подьячего. Мельком они взглянули друг на друга и отвели глаза. Иван не приметил в лице товарища обиды, но Максим не поднялся ему навстречу, как прежде. Связчики по обозу сидели на лавке вдоль стены, на них Похабов не смотрел. Голова шла кругом, примечая, как Максим то зыркнет мельком, то почешет гусиным пером за ухом и снова примется писать, склоняя голову к столу.

— Нынче Максимка разрядный* подьячий! — воевода кивнул на Перфильева. — Сам себе жалованную грамоту привез.

Наконец товарищи вынуждены были кивнуть друг другу, встретившись взглядами. Это вышло настороженно, как между малознакомыми. Иван стал докладывать воеводе о новых сборах, о том сколько ржи осталось в Маковском, напомнил про плохую крышу тамошнего амбара, при этом старался не глядеть в сторону Максима и чувствовал на себе его спокойный взгляд.

Воевода кивал подьячему, что писать при расспросе. Дело было сделано. Иван придвинулся к товарищу, не читая написанного, поставил заручную подпись. Воевода кликнул ясырку, чернявую плосколицую бабенку с глубоко запавшими глазами. Та принесла кувшин с квасом, стала разливать по чаркам, поставила на стол хлеб и соль. Воевода приговаривал с плутоватой улыбкой в бороде:

— Не обессудьте — Великий пост. За печкой стоит перезревший квас, а налить не могу, греха боюсь. Но если кто сам себе тайком нальет — не замечу. Доброе дело вы сделали, детушки. Не быть голоду в остроге. Оклады хлебом служилые получат сполна. В какой год так было? Я вашими службами доволен…

Вспомнив прошлое, воевода тихо рассмеялся, спросил Ивана:

— Не дрался ли со стрельцом прошлый раз?

— Мирно ходили! — коротко ответил тот.

— Передрались ведь на свадьбе! — похохатывая, обернулся к подьячему, безмолвно сидевшему за столом. — Пришли ко мне на блины — один красивей другого.

Максим молча кивнул, ровно, без неприязни и укора посмотрел в глаза Ивану. Мишка Стадухин с кручинным вздохом встал, с насупленным лицом зашел за печь и вышел оттуда повеселевший, обсасывая топорщившиеся как у кота усы. Сел, оглядев связчиков с победным видом: дескать, и ничего, не наказал Господь! Терех Савин стыдливо просеменил туда же, к бочонку. Перед новой поездкой душа просила праздника. Выпил и Иван добрых полкружки полпива, которое воевода скромно называл квасом. Немного отпустила сердечная тоска, завертелись в голове приготовленные слова оправданий, он подсел ближе к приказному столу. Максим вскинул на него глаза с чистыми белками, сунул перо в песочницу.

**Разрядный — утвержденный в должности Сибирским приказом.*

— Не мучайся! — сказал вдруг спокойно и вразумительно. — Я, как узнал, так сгоряча-то даже обрадовался. Вериги ты с меня снял!

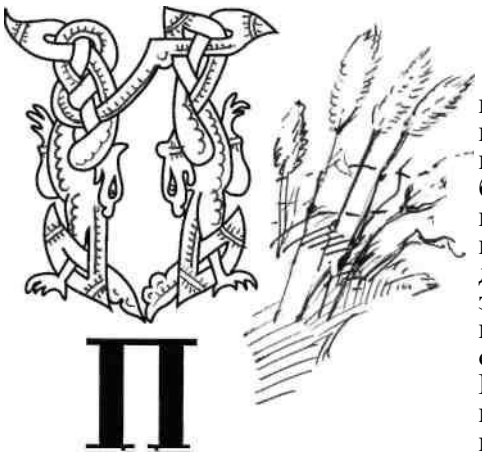
Все приготовленные оправдания разом перемешались в голове. Иван что-то пробормотал про душу, которую боялся загубить, часто замигал и тайком смахнул навернувшиеся слезы.

Нынче ночью жена призналась, что брюхата. Он догадывался об этом еще до свадьбы. Из его бурчанья Максим ничего не понял, только сдвинул брови к переносице и сочувственно кивнул. Повторять и разъяснять Иван не стал, покряхтел, пошевелил усами и бородой, приложился, махом опорожнил еще полкружки. «Бог простит!» — буркнул веселея. И стало легче. Стряхнув кручину с глаз, он смахнул с товарища сермяжный малахай, накинул ему на голову свою соболью шапку.

— Носи! Себе другую сошью!

— Да я и так у тебя в должниках? — запротивился товарищ.

—Теперь Един Господь знает, кто у кого в должниках! — отмахнулся Иван. Про Меченку между ними не было сказано ни слова, боялись друзья бередить за таенное от себя и от других.



Глава 2

Пантелей откинул лосиную шкуру, навешанную вместо двери, балаган вздрогнул от порыва ветра, дым очага с золой и сажей лег на меховые одеяла. Передовщик до пояса высунулся наружу, набил котел снегом, когда укрыл вход, его длинная густая борода была бела. Старый Омуль, затаив дыхание и смежив веки, привычно перетерпел едкий дым, ворвавшийся в балаган порыв ветра со снегом.

— Все сибирцы горазды пограбить! — посопев мокрым носом, гнусаво продолжил прерванное поучение.

Старика уже ничто не пугало, он никуда не спешил, мог целыми днями сидеть у огня, ни словом, ни взглядом не обвиняя передовщика за то, что в ватажке осталось только четверо промышленных и равнодушно предупреждал, что при нынешнем малолюдстве надо быть осторожней. Нанятые Пантелеем люди ушли, как только поняли, что ватажка промышлять не будет: не захотели всю зиму таскать чужой припас за один прокорм. Зимовка в Енисейском остроге была для них если не сытней, то легче и безопасней.

Пантелей Пенда по сказам Михея Омуля кратчайшим путем шел к верховьям Ангары-Тунгуски. Старик караулил животы*, сам передовщик с двумя спутниками челночил груз нартами. Двое волокли первую нарту, тропя путь по снегу, за ними тянул груженую нарту третий. Днище ходу вперед, возвращение за оставшимся грузом, снова переход до стана. И так изо дня в день.

Здешние места считались мирными. В прошлом году побитые братскими дайшами** тунгусские князцы Ялым и Иркиней приезжали в Енисейский острог, присягали русскому царю, доброй волей давали ясак со своих мужиков и с рода князца Югани. Нынешней осенью наведывались князцы Тасей и Тарей, без принуждения привезли ясак за год. Воевода боялся порушить шаткий мир с тунгусами Тасеевой реки и в наказной памяти, которую дал ватажке Пантелея Пенды, грозил расправой, если русские промышленные чем-то обидят здешние роды, или станут промышлять без их

согласия в родовых угодьях, или сделают им какое худо.

Балаган стоял на берегу притока Ангары. Приток был вдвое шире Лены-реки в тех местах, где бывали Угрюм с Пантелеем и Синеуль. Сама же Ангара подо льдом была так широка, что в иных местах путники сомневались, в какой стороне коренной берег. Пантелей замер вдруг, прислушался, снова откинул лавтак. Едкий дым очага опять пахнул в лица, выедая слезы из глаз.

— Кажется, едут? — встрепенулся: — Тунгусы! Олени хоркают! — Торопливо перекинул через плечо сабельный ремень. Обнаженный до пояса Синеуль молча оделся. Михей с Угрюмом положили заряженные пищали стволами к выходу, подсыпали из рожков пороху на запалы.

**Животы — движимое имущество.*

***Дайши — воины (бур.).*

В снежной пелене показались рогатые олени и съежившиеся на их спинах верховые люди. Всадников было только двое. Безбоязненно, по-хозяйски, они подъехали к балагану, спешились и поприветствовали лучи* на свой лад: вот, дескать, мы и пришли! Пенда с Синеулем ответили им по-тунгусски, пригласили под кров. Олени отошли на десяток шагов в сторону и стали копытить снег. Рядом с ними бесшумно, как тени, появились две собаки, осторожно подошли к балагану и легли, свернувшись клубками.

Михей с Угрюмом подвинулись. Гости протиснулись под тесный кров, сели возле входа, скинули башлыки, шитые заодно с парками, раздеваться не стали. На балаган они наткнулись случайно: ехали по своим делам и учуяли запах дыма. Длинные черные волосы мужиков были связаны на затылке наподобие конских хвостов, лица были испещрены синими знаками татуировок.

— Здешний князец Тасейка с сыном! — по-русски сказал Синеуль и весело залопотал, выспрашивая гостей о новостях.. Заскучав по своему языку, он говорил многословно, Тасейка важно щурил узкие глаза, отвечал односложно и неторопливо, расспрашивал, куда они держат путь. За тонкой стеной балагана послышались грозное хорканье и клацанье рогов. Синеуль выглянул наружу, вскрикнул:

— Ак!** — Олени дрались между собой. Один повалил в снег другого, вскакивал на задние копыта и бил поверженного в грудь острыми передними. — Вадеми***!

Тасейка равнодушно взглянул на дерущихся животных, пробормотал: «Э-э-э!» и продолжал неторопливый разговор. Собаки лежали в снегу, молча наблюдали за оленями. Князец приметил в балагане малый походный топор и стал показывать, что он ему очень понравился. Дарить котел с топором было дорого и ни к чему: ватажка не собиралась промышлять на реке. Синеуль стал торговаться, почтительно называя князца «мата****». Взять с тунгусов было нечего.

— Сторгуюсь за собак? — спросил передовщика по-русски.

— Зачем они нам? — равнодушно пожал плечами Пантелей.

— Промышлять буду по пути. Глядишь, чего добуду!

— Торгуйся! — неохотно разрешил тот, лишь бы не отдавать топор даром, как ясак.

Угрюм помалкивал, не понимая, как можно удержать при себе чужих собак, вопросительно поглядывал на Михея. Тот вполуха прислушивался к разговору и уже подремывал.

Малый походный топор и горсть бисера в подарок так обрадовали князца, что он разрешил промышлять на его земле все, что пожелают кроме лосей.

— Обойдемся без лосятины! — согласился передовщик.

К немалому удивлению Угрюма, князец сказал собакам строгое слово, Синеулька поговорил с ними по-своему и собаки остались возле балагана.

— Тунгусы и медведей заговаривают! — зевнул старый Омуль. Тонкие беззубые губы в редкой бороде вытянулись, как рот у осетра или стерляди. Таким мирным, жалким, беспомощным показался Угрюму старик, что с трудом верилось всему тому, что слышал о нем от старых промышленных. И подумалось вдруг: «И что его Омулем прозвали, а не Осетром или Стерлядкой?»

— Много спать — добра не видать! — затемно разбудил спутников передовщик. В его обледеневшей бороде позвякивали сосульки. Пантелей уже сходил к проруби и умылся. — Морды-то сполосните! — стал понуждать проснувшихся спутников. — А то как дикие: встаете — не моетесь, ложитесь — не молитесь!

Синеульку с собаками и луком он отпустил вперед налегке тропить путь и добыть мяса. Старик остался в балагане, сторожить припас. Втроем они сорвали с места десятипудовую нарту. Кряхтя и елозя ногами по льду, двое промышленных потащили ее вдоль берега. Омуль вернулся в балаган.

**Лучи — русичи (эвенк.). **Ак! — Эй! (эвенк.). **Вадеми — убьет, добьет (эвенк.). **Мата — уважаемый (эвенк.).*

Когда человек идет с собаками — они его ведут, а не он их. След Синеуля то и дело уходил в лес, никакой пользы от новокреста с собаками не было. Там, где лед был заметен снегом, тропить и чистить путь для нарты приходилось двоим. К вечеру Угрюм поплелся налегке в обратную сторону на старый стан, передовщик остался рубить новый. В балагане было тепло и просторно. Дров Михейка наготовил, хлеба напек, каши наварил, даже рыбы в проруби наловил. Угрюм, отдыхая, неприязненно наблюдал, как неторопливо, с удовольствием, старик обсасывает рыбью голову, то и дело расправляет пальцами мокрые седые усы. Омуль был вполне доволен пережитым днем и своей нынешней жизнью.

Угрюм сел, вытянув ноги, похлебал ухи из котла, опять откинулся на одеяло.

— За что тебя Омулем прозвали? — спросил. — Слыхал, что ты прежде много ходил и воевал. Не мое дело! Но почему Омуль? Не пойму!

Старик ухмыльнулся сжатыми в трубку губами.

— Молодой был глупый да горячий! — прочмокал вздыхая. — На злое слово скорый. Рыба есть такая, омуль. Ее из воды удой тянешь, она верещит, будто тебя матерно лает… За то и прозвали!

Старик как пташка стал закрывать глаза истончавшими веками, моститься ко сну. Сыто икая, Угрюм опять спросил:

— Скажи по правде, неужто где-то там, — повел глазами на восход, — есть русские села?

— А то как же? — оживился Михейка. — Я не дошел, — признался со вздохами, сонно прикрывая глаза, — духу не хватило! Но много слыхал о Великом Тесе, чего сказывать нельзя по прежним клятвам.

Угрюм, глядя на всхрапнувшего старика, недоверчиво усмехнулся. Упрямство Пантелея Пенды он знал по прошлым промыслам, а этой зимой передовщик вел себя так, будто не думал добывать пушнину. Похоже, он собирался искать то, о чем смутно и тайно говорили старые промышленные: будто где-то в урмане, на тайном тесе, есть старые русские города и села. Одни говорили будто новгородские люди, спасаясь от богомерзкой войны с единокровной Москвой, ушли туда давно, другие — будто там и есть подлинная старая Русь, откуда вышли и расселились по свету все русичи.

Подозревал Угрюм, что Пантелей не взял в покруту никого из гулящих, чтобы не было споров и разногласий в ватаге. Всякие мысли одолевали молодого Похабова после неудачного сватовства в Енисейском остроге. И нынешнюю ватажку передовщик подобрал под себя: Михейке Омулю лишь бы сыту быть да поменьше мерзнуть, Синеульке лишь бы на месте не сидеть, а ему, Угрюмке, что? Он бежал от обиды, может быть, сдуру, но теперь уже не воротишься.

В тайге люди дряхлеют быстро. Иной тунгус в пятьдесят лет выглядит как древний старец. Михейка по годам был ровесником енисейскому воеводе и скитнику Тимофею, но разве сравнишь их? Те еще крепкие, а этот — ветхий. Приглядывался Угрюм к старику и с невольным страхом примерял на себя его судьбу.

Синеуль с собаками добыл двух глухарей, тощую козу и рыжеватого соболька, которому в Енисейске красная цена — десять алтын*. Это была первая, хоть и поздняя, добыча. Правда, по наказу передовщика Синеулька сделал шалаш в днище пути от последнего стана. За несколько ходок ватажные перетаскивали туда весь груз, медленно продвигаясь к верховьям реки. Тунгусы встречались часто. Они кочевали родами в два-три чума: с женщинами и детьми, бывало, человек до двадцати, при встречах охотно торговали с промышленными. По утрам по долине реки, к которой с двух сторон подступали кряжистые ели и сосны в два обхвата, дул пронизывающий ветер, а к полудню так ярко светило солнце, что птицы, и даже воронье, поднимали галдеж в густых ветвях деревьев.

Собаки подавали голоса то с одного берега, то с другого. Пока хватало мяса, Пантелей не отпускал Синеуля на промысел, заставлял тянуть нарту. К вечеру собаки прибегали к костру злыми, с ненавистью глядели на новокреста. Синеуль по-тунгусски оправдывался перед ними. Жаловался спутникам:

**Десять алтын — тридцать копеек.*

— Уйдут! Осерчали, что мы не охотимся! Ругают меня.

Псы зарывались в снег, глядели на огонь пристальными волчьими глазами, молча водили усами, дожидались обглоданных костей. И правда, что-то менялось в их мордах.

— Уйдут! — стонал Синеуль и крутил лохматой головой. — Вон как глядят, — кивал на собак и снова начинал разговаривать с ними. Псы же на его слова только равнодушно щурились, не соизволяя шевельнуть хвостом или прижать уши.

В среднем течении реки ватажные шли две недели, никого не встречая. За поворотом следовал новый поворот, берега были круты. В иных местах к ним подступали скалистые гривы с лесом. Река подо льдом все круче поворачивала на полдень.

— До самых верховий идти? — то и дело переспрашивал старого Омуля передовщик.

Старик терпеливо чмокал стерляжьими губами, равнодушно оглядывал окрест-

ности, повторял уже сказанное:

— Исток далеко! Там, сказывали, кызыльцы кочуют или киргизы. Не слыхал, чтобы кто оттуда возвращался. А мы, как стрелку пройдем…

— Так прошли уже, — напоминал передовщик.

— Правый приток тунгусы зовут Чуной, — невозмутимо продолжал сюсюкать старик, — как повернет на полдень — будет гора Кызчак, по-кызыльски — бабьи титьки. Промеж них волок.

— Ты, поди, забыл, какая из себя баба? — язвил передовщик, испытывая старческую память, которой не очень-то доверял. — А то и не знал вовсе. Про медвежьи, поди, сказываешь, а мы, как дураки, высматриваем бабьи.

— Как не знал? — беззубо посмеивался старик. — В Мангазее со стрелецкой женой прелюбодействовал с месяц. Сладко любила, — пускался в воспоминания, которые ватажные слышали много раз.

По неписаным законам старых промышленных говорить в тайге про женщин и девок запрещалось, но ватажка была малой, подступала весна, а обещанного волока все не было. Шутливая перепалка передовщика и старика бередила сердечную рану Угрюма. Он то и дело вспоминал Меченку, пренебрегшую им, ненавидел ту злющую хитрую девку, но, глядя на старика, опять ужасался бесприютной старости, которая могла ждать его самого.

Задула Евдокия-свистунья, пришла весна. Почти не потеплело, но с полуденных земель ветер уже доносил запахи талой земли и перепревших трав. Михей пытливо поглядывал на повеселевшие лица спутников, с важностью старца поучал:

— Месяц марток наденет пять порток!

Синеуль кривил тонкие безусые губы, по своим тунгусским приметам он называл, какой нынче снег и какая весна. У русичей зима исчисляется по святым, у тунгусов — по снегу, который имеет десятки названий. Собаки ушли. Их не было день и ночь, и еще день, но к другому вечеру они все-таки вернулись, улеглись в стороне от костра, глядели на людей, как волки. На днях Пантелей с Угрюмом пробовали запрячь их в бечеву и как ни погоняли, собаки не понимали, что надо тянуть нарту: ложились на снег или сидели, показывая, что не дураки дергаться, когда привязаны.

— Утром совсем уйдут! — безнадежно всхлипнул Синеуль. — Делай дневку! — попросил передовщика. — Или отпусти меня?

— Спешить надо! — не соглашался Пантелей. — Вот перевалим по насту за гору, тогда… А собак на ночь можно привязать.

Привязали. Те подергались и стали грызть бечеву. Привязали волосяной веревкой. Собаки среди ночи так завыли, не давая людям спать, что Пантелей выполз из-под одеяла, отвязал их и успел поддать ичигом под зад одному из псов. Не было их день, другой и третий.

— Обиделись и ушли совсем! — объявил Синеуль, сдвинул к переносице брови, набычил шею, как передовщик. — Куда смотрели, мать вашу еть? — строго спросил его голосом. Склонил голову, вытянув шею, выпятил губы, становясь похожим на старого Омуля: — Се имя голодным? Ума-то нету. Тунгусу нас рзаной припас — тьфу! Того и гляди — сам сбезит.

Сипло захохотали промышленные, Угрюм смеялся громче всех. Его Синеуль тоже передразнивал, но ему казалось, что не так похоже, как других.

Неделю шли без собак. Волокли нарты целыми днями, ночевали без крова у костров. Готовясь к очередному ночлегу, новокрест начал было разгребать плотный снег, но вдруг вытянул шею, прислушался.

— Собаки! — Затрепетали ноздри приплюснутого носа.

Принюхался и Угрюм. Студеный ветерок донес запах дыма. На извилине реки, возле мыса, стояли два тунгусских чума, берестяная юрта и бикит* в шесть стен, покрытый плоской крышей. Срублен он был сикось-накось. К промышленным вышел длинноволосый мужик со скуластым обветренным до черноты лицом. Волосы его были сплетены и висели короткой косой между плеч. Он оглядел прибывших, приветливо кивнул. Земля вокруг чумов была ископычена скотом, на стане витал непривычный для тунгусов запах коней.

Синеуль переговорил с мужиками, сообщил, что они братские кыштымы**, и стал с упоением лопотать, о чем-то им рассказывая. Пантелей и Угрюм прислушивались, пытаясь что-то понять, но новокрест тараторил слишком быстро. Из чумов и из леса вышли еще четыре мужика, стали внимательно слушать Синеуля. Неприязни к гостям они не показывали. Откинув полог, из чума вышла женщина с берестяной люлькой на шее. Наговорившись, Синеуль стал пересказывать ватажным, что илэл*** пришли с Подкаменной Тунгуски. Там они перессорились с родней, а со здешними тунгусами не породнились. Живут небедно: родственники сочли бы их за богачей, но вынуждены пасти табун братских людей и по уговору далеко не кочуют.

Кыштымы пригласили гостей в чум. В нем возле тлевшего очага управлялись две жены князца, из-за полога выглядывал немощный, седой и сморщенный старик. Хозя-

ин с важностью усадил промышленных на шкуры. В чум влезли еще четыре мужика. Под кровом сразу стало тесно и душно. Тунгусы скинули парки, оставшись до пояса голыми, начали расспрашивать Синеуля о Енисейском остроге, про который до них доходили разные слухи. Новокрест отвечал степенно, важно надувал шею, хмурил брови, подражая Пантелею, долго и многословно говорил, как хорошо живут лучи и какой у них сильный царь.

Тунгусы слушали его и бросали тоскливые взгляды на молчавшего Пантелея. Князец пояснил, что они тоже хотели бы платить царю ясак, чтобы не сидеть на месте с братскими конями, но без братов их здесь будут бить и грабить. Ни о каком волоке между гор, похожих на женскую грудь, они не знали. Но знали конную тропу, по которой браты ездят грабить кызыльцев, киргизов и тунгусов, а те — братов. Обещали дать вожей.

Промышленные переночевали в берестяном чуме, обменялись подарками и поволокли свой груз дальше на полдень. Указанным путем они перевалили к истоку какой-то таежной речки среди лесистых гор, и тут старый Омуль узнал гору:

— Вон они, про которые сказывал! — показал рукой на две скалы с острыми вер шинами.

Пантелей грозно крякнул:

— Это рога, а не титьки! Между них никакого волока не может быть!

— Мимо! — спохватился старик, виновато переминаясь. — Запамятовал. Это когда я был здесь? Упомни-ка все…

По словам старого промышленного, лет пятнадцать назад, возвращаясь с Ангарских порогов, ватага промышленных в этих местах спрятала струги. Передовщик сомневался, что старик найдет суда, и целы ли они после стольких лет? Строить новые лодки нужно было здесь и до вскрытия реки.

Ватажные разбили табор, поставили шалаш. На другой день Пантелей отправил Синеуля добыть мясной припас, Угрюма оставил на стане сторожить добро, а сам

**Бикит — дом из бревен (эвенк.).*

**Кыштымы — зависимые от инородцев.*

**Илэл — самоназвание эвенков.*

со стариком отправился искать струги. Они вернулись к вечеру, передовщик был весел и придерживал под руку Михея, чуть живого от усталости. Старик доплелся до костра и упал, отказываясь от еды.

— Стоят! Целехоньки! Берестой укрыты. Рассохлись, конечно, но один из двух собрать можно, — радовался Пантелей.

Утром ватага сложила груз в нарты и по хрусткому чернеющему льду речки пошла на новое место, а к полудню на льду появились лужи. С каждым днем становилось все теплей, но это уже не пугало путников. Струги были сделаны по старине: на долбленых основах наращены тесовые борта. Кое-где тес замшел и сгнил, в иные щели лезли пальцы, но это ничуть не смутило передовщика. Он заставил Михея с Синеулем копать березовые корни в мерзлой земле и варить смолу, сам на пару с Угрюмом разобрал оба струга, ощупал и проколотил всю древесину.

— За неделю управимся, а то и раньше, — радовался, разглядывая работу незнакомых, уже состарившихся людей. Окликал старика: — Когда ты здесь был?

Омуль откладывал работу, начинал шевелить губами, загибал пальцы, чесал морщинистый затылок с редкими свалявшимися волосами, отвечал неуверенно:

— Енисейского не было, а Тимофей уже жил в скиту. У меня зубы были крепкими. кости еще грыз что пес!

— И горячее вино хлестал кружками! — добродушно посмеивался передовщик.

— Да уж как водится, — смущался старый промышленный.

Оттаяла земля, тайга заблагоухала сладким духом березового сока. Промышленные стали запаривать в нем брусничный лист, взятый из-под снега. За неделю они не только собрали и просмолили струг в три пары весел, но по-тунгусски сшили из бересты ветку — легкую завозную лодку.

Вскрылась река и вскоре очистилась ото льда. Затосковавший на одном месте Синеуль засуетился, предвкушая перемены. Он работал меньше всех и больше всех бегал по лесу, выслушивая глухариный ток. Пантелей боялся потерять толмача, не хотел, чтобы тот прибился к чужому роду, прельстившись молодой тунгуской. Весна она для всех весна. Даже старый Омуль глядел на стылую воду, волнуясь, шевелил губами, глубоко вдыхал весенний воздух и надеялся на что-то свое.

Прежде, бывало, слова из него не вытянешь о Великом Тесе. Если вспоминал о прошлом, то о гульбищах, торговых банях с сусленками*, добрых и злых воеводах, а тут заговорил, как поднимался со стругами по Верхней Тунгуске до Большого Ка-

менного порога, через который его ватага пройти не смогла. Вспоминал, что промышляли они соболя возле братских улусов, а весной двинулись вверх по притоку этими самыми местами. Легкого волока не нашли, бросили струги и другую зиму промышляли на Тасее, а к весне сплыли к Енисею плотами.

Говорят на Руси: «Пришел Пахом — пахнуло теплом». На святого Пахомия-бокогрея, помолившись Николе Чудотворцу да Святой Троице со всеми святыми покровителями, промышленные столкнули на воду груженый струг. Он степенно закачался на стылой воде, пахнущей льдом и рыбой.

— С Богом, что ли? — еще раз перекрестился Пантелей.

Течение понесло судно с мотающейся за кормой веткой. Речка не была бурной, хотя и текла между гор. По берегам из-под желтеющего покрывала прошлогодней листвы буйно пробивалась зелень. Над отопревающей землей, еще скромно и в одиночку, вставали на крыло комары.

Впереди зашумел перекат. Передовщик велел подогнать струг к берегу. В промазанных дегтем бахилах вошел в студеную воду, пошарил по дну шестом и указал, где разбирать камни. Старика жалели, он сидел в струге и виновато водил по сторонам влажным носом. Трое работали до ломоты в суставах, пока не протолкнули струг через каменистую отмель. Наконец снова поплыли, поминая добрым словом своих святых покровителей.

**Бани с сусленками — платные бани при острогах и слободах с продажей легкого хмельного напитка.*

В своем устье река широко разливалась по долине. На сочной траве стояли три тунгусских чума, вдали, возле леса без травы и кустарника, но с пышным покровом мха, паслись олени. Завидев плывущих по реке, на берег выскочил тунгусский мужик с длинными волосами, собранными на затылке в пучок, замахал руками. Промышленные налегли на весла и приблизились к берегу.

— Спроси, какой товар нужен! — наставлял Синеуля передовщик. — Чтобы попусту не доставать мешки, как в прошлый раз.

Новокрест прытко выскочил на сушу, весело затараторил с тунгусом.

— Здесь по-другому говорят, — крикнул передовщику. — Половину только понимаю. Лося сами поделить не могут, нас зовут.

Старик с Угрюмом остались при судах. Синеуль с передовщиком ушли в лес следом за тунгусом, пробыли они там долго и вернулись с большим куском мяса. Синеуль смешливо бранил Пантелея:

— Я бы ребра забрал! А ты взял шею — самое плохое мясо.

— Они бедные! — оправдывался передовщик. — А мы не голодаем.

— Приходим, — стал азартно рассказывать новокрест Угрюму с Михеем. — Узкоглазые мясо поделить не могут, не верят друг другу: каждый хочет взять лучший кусок для своих родственников. А нам что те, что эти, поделили так, что все остались довольны.

— Не бреши! — огрызнулся передовщик.

— Все равно довольны… Нам давали лучшее мясо, а он, — кивнул на передовщика, — шею взял. Мне что? — Цыкнул сквозь зубы: — Этыркэн* Омуль без зубов. Ему жилы не перегрызть… Ну и тупой у нас передовщик, прямо как русский!

— Это енисейские тунгусы! — досадливо отмахиваясь от толмача, стал оправдываться перед стариком Пантелей. — Они говорят, по Большой реке и внизу и вверху — скалы. Те, что вверху, берегом не пройти, а обходить далеко. За ними живут братские конные люди в войлочных юртах. Скота у них много. Еще сказывают, верь не верь, — блеснул глазами, — за каменными щеками среди братских мужиков есть бородатые шаманы.

Ватажка ночевала на берегу, выше устья речки, по которой сплыла с верховий. Полноводную Ангару промышленные узнали по запаху и цвету воды. Михей припомнил, что сюда в прежние времена он шел от устья бечевой месяца полтора. На этот раз, прямым путем, они добрались за четыре, правда, с большим грузом, да еще промышляли в пути. С порогов доносился гул ревущей воды и был он так силен, что приходилось напрягать голос, разговаривая у костра.

— Ну, вот и привел, куда говорил, — важно выкрикивал старик, по-петушиному вытягивая шею, оглядывал Пантелея с Угрюмом выцветшими рыбьими глазами. — Дальше с большой ватагой не смог подняться. А как вчетвером? Ой не знаю! — тряс седой бородой и скоблил пятерней морщинистый затылок. — Дальше не был, врать не буду! — прокричал и выдохся, уронив голову на грудь.

Утром передовщик ушел глядеть порог, Синеуль с луком убежал на промысел, Михей с Угрюмом остались на таборе караулить струг с животами. Припекало солнце, начинал лютовать оживший комар, плескалась рыба у берега. Угрюм вырезал удилище, пошел кромкой воды, одной рукой закидывая крючок, другой отмахиваясь от гнуса. Старик замесил тесто и выставил квашню на солнце. Пенда велел напечь хлеба впрок. Вернулся он только к вечеру, бросил у костра пищаль и топор, весело объявил:

— Даст Бог, пройдем! Бечевник плох, местами, у воды, и вовсе отвесный камень. Щеки! А волочься верст с десять.

Михей прислушивался к его словам, приглушенным грохотом воды, морщился, недоверчиво качал головой, шевелил стерляжьими губами в седой бороде. Вечером Пантелей перещупал бечевы и веревки, сделал из речного камня завозные якоря.

**Этыркэн — старик (эвенк.).*

Вернулся Синеуль, обвешанный набитой птицей. Передовщик, вместо того, чтобы похвалить, стал ругать его, куда, дескать, девать лишний припас, когда каждая гривенка* в тягость, а бросить — лешего обидеть. Синеуль не спорил, щипал птицу и пускал перья по воде, Михей пек на углях тушки. Насытившись, промышленные рано легли спать, а поднялись затемно. Помолившись, подкрепились едой и питьем, с молитвами потянули струг и берестянку против течения. Угрюм с Синеулем шли на бечеве, Пантелей с Михеем проталкивали судно шестами. После легкого сплава конский труд бурлака был тяжек. Увидев первые буруны, Угрюм слегка повеселел: ему показалось, что пройти их не так уж трудно, но за поворотом реки открылся новый плес со страшными камнебоями и почудилось ему, что время остановилось.

То бечевой и шестами, то завозом якорей промышленные тянули струг два дня. Вышли-таки на чистую воду, на пологий берег, где можно просушиться, но грохот воды так усилился, что без крика они не слышали друг друга. Передовщик объявил дневку и отдых, на этот раз отправился осмотреть другой порог с Угрюмом. Они ушли утром с ружьями, бросив табор на Омуля и Синеуля, долго идти возле воды не смогли, пришлось лезть на отвесную скалу. Сверху сыпались камни и выглядывали горные бараны с гнутыми рогами.

Когда Угрюм увидел весь разлив реки, то боязливо поежился. Большая вода с ревом скатывалась вниз, пенясь и клокоча возле торчавших камней. Промышленный взглянул на передовщика растерянными глазами и не увидел в его лице прежней бесшабашной удали, зато приметил в густой бороде седой клок волос. Пантелей глядел вниз и с остервенением грыз ветку кустарника, метнув на Угрюма быстрый взгляд, указал на скалу.

Они стали взбираться выше, лезли долго, распугивали ленивых баранов и коз, удивленных появлением людей. Открылся вид на весь порог. За ним река текла спокойно, без единой волны. О том, чтобы обнести скалы посуху, не могло быть и речи. «Разве на себе через гору таскать животы, а за ней строить новый струг?» — растерянно размышлял Угрюм. Он уже подумывал о возвращении, но Пантелей склонился к его уху и закричал, указывая пальцем вниз:

— Три прохода. Вон за тем камнем вода стоячая. Вокруг бушует, а там только крутит.

Угрюм кивнул, не понимая, к чему разговор. Пантелей махнул рукой, успокаивая его, наверное, увидел страх на лице спутника. Они спустились с горы тем же путем и вернулись на табор. Синеуль пек на рожнах вчерашнюю уже подванивавшую тухлятиной птицу, Михей лежал, лениво отмахиваясь от гнуса.

— Даст Бог, пройдем! — прокричал Пантелей без обычной уверенности. — Крутой! Зато не такой долгий, как тот, — мотнул бородой в сторону пройденного порога.

— А как не пройдем? — с сомнением вскрикнул Угрюм.

— Разобьет в щепки! — усмехнулся передовщик. — Животы потопим. Кто живым выплывет — попадет в холопы к братам или к тунгусам. А что еще? — вскинул глаза, и они сверкнули льдом.

У Угрюма захолодело в кишках, он вспомнил свой мешок с клеймеными соболями, пустячную добычу этой зимы, бесконечное перетаскивание хлебного припаса. «И чего в Енисейском не жилось?» — подумал с тоской. Прежние обиды показались ему глупыми, надуманными, а то, что теперь он никуда не мог уйти от своих бесноватых спутников, — стало очевидным.

— Можно и здесь промышлять! — попробовал спорить, но не был услышан.

— Дедушку** надо задобрить! — крикнул передовщик Синеулю. — Перья по воде пускал — только раздразнил!

— Нашему водяному — перья на одеяло, — приплясывая, заскоморошничал новокрест. — Вашему этого, — шевельнул ногой убитого гуся с поблекшим пером.

**Гривенка — единица веса 400 г, 1/40 пуда.*

***Дедушка — водяной дух.*

— Нашему только свежего и живого! Добудь тупой стрелой! — приказал передовщик и выругался: — Хрен знает, какого роду-племени здешний дедушка… Но зол, мать его еть!

Синеуль подхватил лук и ушел вниз по реке. Вернулся он только к ночи, в мокрой одежде, прижимая к груди завернутого в кожаную рубаху дикого гуся. Птице тут же связали лапы и крылья.

— Люби и жалуй, дедушка, нашу ватажку! А мы тебе гостинец посылаем, — не

слышно прошепелявил Михей тонкими губами и бросил под водопад бьющуюся птицу. Раз и другой показались из пены птичий клюв да гузка, затем гусь исчез в глубине реки. Примета была хорошей: водяной принял подарок.

Утром, едва промышленные люди подошли к порогу, старый Омуль осмотрел клокочущий поток и закричал, выпячивая губы:

— Узнал! Не через те, через эти щеки не смогли пройти в два десятка голов.

«Наконец-то и старик испугался!» — боязливо порадовался Угрюм, надеясь вразумить Пантелея с Синеулем.

Передовщик мимоходом обернулся, он уже никого не слышал, глядел на торчавшие из воды камни, на крутой перепад воды, глаза его горели, как перед боем, и выискивали верный путь. Он перепрыгнул в ветку, приткнутую к берегу, кивнул Угрюму, чтобы следовал за ним. Тот покорно перешел в шаткую лодчонку. По-кетски опустился в ней на колени, сев на пятки, взял шест в руки.

Выпуская за собой бечеву, двое на шестах стали проталкиваться против ревущей воды. Всякое неверное движение могло развернуть берестянку поперек течения, а боком против волны не устоять. Но Бог миловал, а водяной не вредил, и Пантелей с Угрюмом дошли до первого камня. Под ним, в затишье, бросили каменный якорь, закрепились и потянули на себя тяжелый струг. Михей с Синеулем проталкивали его шестами против течения.

Потом был другой завоз и третий. Берестянка опрокинулась. Угрюм выплыл к стругу, болтавшемуся на якоре. Пантелей, с мокрой скрученной в веревку бородой, цепко ухватился за скалу, зубами удерживал бечеву с перевернутой веткой. Синеуль с Омулем и мокрый Угрюм шестами подогнали к нему струг. Наспех отжав одежду, двое снова сели в берестянку, стали проталкиваться дальше против беснующейся воды.

Когда прошли порог и приткнули струг к пологому берегу, Угрюм упал вниз лицом и лежал, подрагивая в сырой одежде, пока не окоченел. Потом поднялся. Все пережитое за день казалось приснившимся кошмаром. Михей лежал на спине и тяжко охал, глядя в небо. Синеуль валялся кулем, как покойник. Похоже, русская жизнь новокресту изрядно надоела, но ему, как и Угрюму, бежать было некуда: мягко, но крепко привязал их всех к себе бесноватый передовщик.

Пантелей без шапки, с мокрыми волосами на плечах, с вислой бородой крошил ножом трут, выискивая в нем сухое место. Угрюм поднялся на подрагивавшие ноги, поплелся к кустарнику наломать дров для костра. Надо было сушиться.
Едва закурился дымок над сухими ветками, поднялся и старый Михейка. Оставляя за собой мокрый след, на карачках подполз к огню, стал сдирать с себя скользкую как кишка кожаную рубаху.

— Истинно сказано, — всхлипнул, — кто горя да смертушки своей в лицо не видывал, — тот искренне Богу не маливался. Коли на этот раз
попустил Господь пройти щеки, то мне уже назад не вернуться!.. И не надо!

Угрюм еще раз сходил за дровами, тоже стал стягивать с себя мокрую одежду, отжал и развесил ее у огня. Не отмахиваясь от гнуса, пошел к стругу, нашарил мешок с рухлядью. Он был сухим. От этого полегчало на душе и прибыло сил. Повеселев, Угрюм вернулся к костру и начал сушиться.

— Мешки с рожью надо перебрать! — устало приказал передовщик.

Никто не кинулся исполнять наказ. Синеуль поднял голову. Он не умел плавать, а за бортом нынче побывал два раза.

— Как в воду свалился, открыл глаза, вижу — дедушка с русской бородой. Как хрястнет меня по морде моим гусем! — Болезненно приложил пальцы к заплывшему глазу. Под ним кровоточила ссадина.

— Видать, святой Никола был! — как от пустяка отговорился Пантелей и повторил: — Надо рожь перебрать! Вы готовьте дрова, — кивнул Синеулю и Михею. — А ты к стругу, — строже приказал молодому спутнику.

На другой уже день Угрюм снова шел на бечеве, плечо к плечу с Пантелеем. На передовщике — шлычок из кожи: шапку утопил на пороге или дедушка забрал. Плохая примета, может и голову потерять, но Пантелею все нипочем, знай себе шагает. А куда? Зачем? — на ходу обидчиво раздумывал Угрюм. Морок ему не морок, приметы не приметы, а спокойная человечья жизнь не жизнь.

Младший Похабов поднял голову, огляделся — вокруг горы, покрытые густым лесом, впереди пологий берег, возможно устье притока, разметавшего гладкие, обкатанные водой камни. И снова хрустел под ногами окатыш, промазанные дегтем бахилы к полудню размокли, сползли на щиколотки, чавкали и волоклись комьями налипшей грязи. Угрюм обернулся. Омуль с Синеулем на корме струга с двух сторон упирались в дно шестами. У Михея глаза, лоб и нос были намазаны дегтем, которым старик спасался от гнуса. Синеуль безбородым, вспухшим от гнуса и купания лицом походил на прошлогоднего покойника.

Сквозь отдаленный гул порога, который все еще был слышен, Угрюму почудился конский топот. Пантелей тоже насторожился, вскинув голову, остановился. Оглядываясь, подтянул струг к берегу, вытащил из-под кож саблю, повесил на бок, велел взять

заряженные пищали и запалить фитили. Место было открытым. Выплывать на середину реки, чтобы быть затянутыми в пройденный порог, никому в голову не приходило.

К стругу рысцой приближались два десятка всадников. Одеты они были в камчатые халаты и высокие остроконечные шапки. На затылках мужиков висели косы. Выглядели они мирно, вооруженных Угрюм не заметил. В пятидесяти шагах от струга конные люди почтительно остановились, стали разглядывать пришельцев. Четверо спешились, раскачиваясь всем телом, переваливаясь с боку на бок, заковыляли к стругу тяжелой походкой урожденных всадников. Пантелей защипнул фитиль и положил пищаль на борт. Синеуль снял стрелу с тетивы.

Конные люди безбоязненно подошли к ним и гортанно о чем-то залопотали. Пантелей обернулся к Синеулю. Тот поприветствовал послов по-тунгусски, напрягая лицо, прислушался.

— Будто зовут куда-то, — сказал неуверенно. — Похоже, давно ждут! — пожал плечами и удивленно взглянул на передовщика.

Не обращая внимания на Синеуля и старика, мужики стали хватать за рукава Пантелея и Угрюма, потянули их к всадникам, указывая на них, лопотали: «боо! боо!» Никакой угрозы в их голосах не было.

— Ничего не пойму! — замотал бородой передовщик, поглядывая на Синеуля. — Боо — у братов зовутся шаманы... Скажи, пусть тунгусского толмача приведут! — Знаками стал спрашивать тянувших его мужиков: — Чего надо? Зовите толмача, — ткнул пальцем в язык.

Тут всадники дружно закричали, указывая руками вверх по течению реки. Пешие обернулись. По Ангаре плыл небольшой плот. На нем с шестами в руках подгребали к берегу два бородача в обычной кожаной одежде промышленных, но головы их с волосами ниже плеч были покрыты черными скуфьями.

— Не Ермогена ли с Герасимом Бог послал? — ахнул передовщик, вглядываясь в плывущих из-под руки.

Послы, забыв про ватажных, вразвалочку побежали к своим лошадям. Другие с радостными криками уже рысили к плывущим, завели лошадей в воду по самые стремена, бросили на плот несколько волосяных веревок. Бородачи ухватились за концы. кони потянули плот к берегу. Следом за всадниками, придерживая саблю на боку, побежал берегом Пантелей. Он обошел стороной толпившихся и оказался в их первом ряду.

— Глазам не верю! — вскрикнул, раскидывая руки. — Вы ли, батюшки? Живые?

— Ой! — взглянув на него, ударил себя по лбу чернобровый, слегка пучеглазый бородач. — Не с тобой ли встречались позапрошлой осенью? Хотел с нами остаться, да ватага воспротивилась?

— Со мной! — рассмеялся Пантелей. — По молитвам Бог опять привел!

— Вы уж нас дождитесь! — торопливо оглядывая русских людей возле струга, попросил монах. — Мы сплыли по приглашению — поспорить с попами желтой веры.

Окруженные всадниками, монахи ушли. Ватажные бечевой и шестами поднялись против течения реки еще на версту. Здесь передовщик велел отдыхать и стеречь добро, перепоясал кушаком кожаную рубаху и стал собираться в гости.

— Хочешь, оставайся и жди, — кивнул Угрюму. — Хочешь — со мной иди! — сунул топор за спину и подтянул бахилы.

Угрюм с недовольным видом поводил носом: солнце было еще высоко, место для ночлега худое, топкое, но хотелось поглядеть, как русские монахи проповедуют в братских улусах. Он поменял бахилы на чирки, сунул за кушак топор и пошел следом за передовщиком.

На поляне, скрытой от струга полосой прибрежного леса, дымил костер. Голый, объеденный скотом склон лысого холма был вытоптан и исполосован тропами. Под ним собралось до полусотни братских мужиков: одни лежали на солнце, другие сидели у костра, над огнем висел большой черный котел. Двое молодых мужиков в камчатых халатах с закатанными рукавами свежевали зарезанного бычка. В отдалении паслись низкорослые и кряжистые кони, среди них было несколько высоких тонконогих скакунов.

Посередине поляны из земли торчал свежевыструганный заостренный кол. На нем болтались беличьи и собольи хвосты. В стороне на расстеленном войлоке с важными лицами сидели бритоголовые и босые мужики. Тела их были покрыты длинными отрезами шелка. Против них, по другую сторону от кола, тоже на войлоке, сидели русские монахи и тихо говорили между собой. Тех и других с равным вниманием и заботой окружали братские мужики.

Пантелей с Угрюмом, привлекая внимание собравшихся своим видом, подсели ближе к черным попам. Братский мужик в богатой шапке что-то гортанно крикнул, и гул голосов утих. Даже свежевавшие бычка склонили головы, стали медленней и осторожней делать надрезы окровавленными ножами.

— Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! — поднялся чернобородый поп. Его спутник, присев у костра, похватал пальцами угольки и подбросил их в кадило. Пряно запахло ладаном. Зажгли свои кадильницы и желтые монахи. Стали кланяться, сложив ладони у подбородка, и бормотать молитвы. Душисто повеяло дымком с их стороны.

Обходя собравшихся людей, те и другие долго читали молитвы. Светловолосый Герасим помахивал кадилом. Бритые монахи макали пальцы в молоко и брызгали по сторонам, чернобородый Ермоген часто перемежал православные молитвы братской речью.

После молений желтый поп с усмешкой на губах стал что-то быстро говорить, обращаясь к слушавшим. В ответ раздался приглушенный смех. Ермоген так же, побратски, отвечал ему, жестом призывая в свидетели всех слушавших. Смех зазвучал громче с обеих сторон. Пантелей с Угрюмом ничего не понимали, но догадывались по лицам, что попы высмеивают друг друга, а братские мужики слушают и потешаются. Слово к слову, спор шел все жестче и злей, смех собравшихся становился все язвительней.

Лица желтых попов стали кривиться от неприязни к бородатым, на их речи они то и дело отвечали резкими выкриками. Монахи же насмешливо лопотали с непринужденными лицами. Толпа хохотала. На костре варилось мясо. Сытный дух свеженины растекался по поляне. Разделавшие бычка молодцы помешивали в котле, следили за огнем, прислушивались к спору, то и дело замирали, азартно разевая рты, или тряслись от смеха.

Один из желтых монахов с озлившимся видом схватил ком земли и запустил в Ермогена. Тот не стал уклоняться и принял удар намеренно. Ком рассек ему бровь. Густая кровь закапала на обветренную щеку. Ермоген стоял и торжествующе улыбался, показывая победу поднятыми руками. Браты с возмущенными криками повскакивали с мест, стали швырять камни в желтых монахов. Те проворно отбежали к табуну, вскочили на оседланных коней, поддали им под бока голыми пятками и ускакали. Никто их не преследовал. Мужики со смехом надели на заостренный кол железное кольцо. При этом отпускали шутки, над которыми сами же и потешались.

Сварилось мясо. Монахи есть его не стали, скромно грызли сухой творог, пили заквашенное молоко. Зато Угрюм с Пантелеем приложились к угощению за себя и за них. Мясо было жирным, мягким, хорошо проваренным. Братские люди предлагали монахам лошадей, чтобы вернуться, откуда пришли, но те отказались. И когда после пира все стали разъезжаться, они пошли к стругу.

Жар костра жег лица и руки, отгонял гнус, светлая сибирская ночь дымкой зябкого тумана опускалась на могучую реку. Ватажные долго не ложились спать: все не могли наговориться со своими людьми. Монахи выспрашивали острожные новости, радовались учреждению Сибирской епархии в Тобольском городе.

— Наконец-то свет православия достиг Сибири! — взволнованно повторял то один, то другой.

Их до слез трогали рассказы о скитнике Тимофее. Михей Омуль долго и подробно сюсюкал о нем беззубым ртом, говорил с большим почтением и все оправдывался, что оставил старца по его благословению.

— Уж тут кого как Господь призовет и умудрит! — с пониманием утешал старика чернобровый Ермоген. Глаза его, не мигая, смотрели на угли костра. — Мы тоже от него ушли. Какой прок сидеть всем на одном месте? Надо нести веру тем, кто ждет ее!

— Пока Бог дает силы! — осторожно добавил Герасим.

Миссионеры радовались, что в Енисейский острог, благословением архимандрита Киприана, прибыли три инокини, что там учреждены мужской и женский скиты.

— Без того на одного женатого было десять холостых! — обиженно пробурчал Угрюм. — Если инокини всех девок сманят, кто детей рожать будет?

— Всех не сманят! — снисходительно улыбнулся Ермоген.

Узнав, что перед ними брат Похабова, монахи с оживлением стали расспрашивать про Ивана. Они знали его издавна, в молодые годы вместе с ним претерпели много бед. Угрюм о брате толком рассказать ничего не мог, больше говорил Пантелей. И все же, польщенный вниманием монахов, Угрюм похохатывал, вспоминая, как удирали желтые попы, рассказывал Михею с Синеулем новые подробности того бегства. Черные попы опечалились, почувствовав лесть.

— Не всегда так бывает! — смущенно оправдался Ермоген. — Нынешней весной и нас маленько поколотили.

Герасим блеснул синими камушками глаз, белозубо рассмеялся и стал рассказывать:

— Это я, грешный, виноват! Про силу Самсона, про его длинные волосы и про жену-инородку браты и тунгусы любят слушать. Бывает, плачут, когда рассказываешь, как он доверился жене, а та ему спящему остригла волосы… А в тот раз Бог попустил, я увлекся: стал рассказывать про то, как он бил врагов ослиной челюстью. А лама-то и посмеялся над нашим богатырем. Браты спросили: какая она, ослиная челюсть? А он достал лошадиную и сказал, что ослиная наполовину меньше… Вот и намяли нам бока!

— Чем кормитесь-то? — полюбопытствовал Пантелей. — У вас и в тот год, когда встречались, никакого припасу не было. Браты хлеб дают? Или как?

— Нет у них своего хлеба! — затаенно вздохнул Ермоген и бросил тоскливый взгляд на котел с булькающей ржаной кашей. — Просо и то покупают.

Пантелей так и впился в попов заблестевшими глазами:

— Как не сеют? Мы у Бояркана на Елеунэ просо на соболей меняли?

— У них и слова такого нет. Покупают у кого-то! — повторил Ермоген.

— Слыхал? — передовщик торжествующе обернулся к Угрюму. — А мне не верили, что видел там русские кочи!

Он вскочил без всякой надобности, но тут же опомнился, притащил к костру сухостойный комель осины. Угрюм раздраженно передернул плечами, замигал выгоревшими ресницами.

— Так вы с тех самых пор без хлеба? — уставился на монахов Пантелей. — Мяса не едите. На одной рыбе, что ли?

— Говорил Господь ученикам своим, — уклончиво отвечал Ермоген, — «Не заботьтесь для души вашей, что вам есть, ни для тела, во что одеться: Душа больше пищи, и тело — одежды».

— «Посмотрите на воронов: они не сеют, не жнут; нет у них ни хранилищ, ни житниц, и Бог питает их; сколько же вы лучше птиц?» — с печальной усмешкой продолжил Пантелей. — Мы это тоже знаем, но много видели, как помирают от голоду.

— Веры не хватило! — буркнул Ермоген, показывая, что не желает об этом говорить.

Пантелей, недоверчиво покачивая головой, думал о своем. Угрюм мялся, краснел, не решаясь спросить, что было на уме. Михей пялился на монахов доверчивыми собачьими глазами, чмокал выпяченными губами. Синеуль равнодушно прислушивался к разговору. Неловкое молчание затянулось. Передовщик вздохнул и пробормотал с печалью:

— «Ничего не берите на дорогу: ни посоха, ни сумы, ни хлеба, ни серебра, и не имейте по две одежды». Да уж! Это святым говорилось, не нам, грешным!

— Там, на Иордане, народу было густо! — прошамкал Михей. — Здесь ведмеди не накормят!

— У нас и топор, и котел есть, и шубейки! — весело отозвался Герасим. — Есть снасти, чтобы рыбу ловить. Опять же без ножа не обойтись, хоть бы и заболони надрать или корней накопать…

— Все равно, вас Бог ведет!

— Ведет, конечно! — согласились с передовщиком монахи. — Молоком, творогом, маслом буряты кормят, тунгусы последнего не жалеют — всегда поделятся. Добрые здесь народы.

— Многие из них до нас были приготовлены к Слову Божьему, — помолчав, добавил Ермоген. — Своим шаманам изверились, ищут новой веры. Тунгусы слушают охотно, но и остывают быстро, рассказывают про своих духов, которые будто сильней чужих богов.

Синеуль слушал и посапывал, бросая затаенные взгляды на монахов, которые крестили его при прошлой встрече. Они же с любопытством поглядывали на инородца с потертым кедровым крестом на груди, часто обращались к нему, выделяя вниманием. Он помалкивал, пока не вспомнили его единокровников:

— Глупые они и темные! — просипел зло.

— Синеулька тоже проповедовал среди родни на Нижней Тунгуске, — рассмеявшись, пояснил Пантелей. — А родня прогнала его взашей.

По словам монахов, зимовали они у Аманкула — главного братского хана, называвшего себя младшим братом мунгальского царевича. Он звал их с собой в горы, на летние пастбища, но они решили проповедовать по Ангаре, которую браты называют Мурэн. Поплыли от зимних пастбищ Аманкула на плоту, вниз по течению. Где был народ, там приставали к берегу и жили, проповедуя Слово Божье.

— Вот и встретились! — весело сверкнул глазами передовщик. — Обещал догнать при прошлой встрече и догнал.

— На все воля Божья!

— Хлеб у нас есть, и если вам все равно куда идти, идите с нами к верховьям реки! — предложил с жаром. — Если не найдем там своих русских старожилов, я пойду в верховья Елеунэ. Ну, а вы как знаете!

Угрюм обиженно засопел. Он был не какой-нибудь покрученник, а пайщик, как сам Пантелей, но передовщик даже не спросил его согласия принять монахов на свои корма.

— Сдается мне, — Герасим тряхнул русыми кудрями, рассыпавшимися по плечам, — что слухи про сибирских русичей — сказки промышленных людей. Хотя… Кто знает? В тунгусском и бурятском языках немало наших слов…

Монахи переговорили между собой и согласились идти с промышленными куда Бог приведет и покуда они будут полезны друг другу.

— Вам ведь надо туда, где зверя больше, а народу меньше. Аманкуловские старики говорили, где-то в верховьях реки, неподалеку от моря Байгал-далай*, есть торжок. Будто там браты, мунгалы, тунгусы собираются и даже бухарцы с товарами наезжают. Нам бы туда!

— Где народ, там зверя нет! — степенным баском напомнил о себе Угрюм.

Перед тем как отойти ко сну, промышленные с монахами прочли Трисвятое и молитвы на сон грядущий ангелу-заступнику и Николе Чудотворцу. Синеуль с Михеем стали громко зевать. Не выдержав долгого моления, укрылись одеялами. Угрюм упорствовал, стараясь достоять до конца или хотя бы перестоять передовщика, но вскоре так утомился, что тихонько прилег возле костра.

Проснулся он, как обычно, на рассвете. Пантелей и Синеуль крепко спали, Михей позевывал и потягивался, часто мигая младенческими глазами. Тихонько ступая по траве, от реки пришли монахи, капли воды блестели в их бородах, лица были свежи. Они приветливо взглянули на Угрюма и стали раздувать костер.

Взошло солнце. Поднялись заспавшиеся промышленные. Передовщик сладко потянулся, расправил бороду, виновато пробормотал:

— Умаяли ночесь! Старею, что ли?

В первых лучах солнца над рекой розовел студеный призрачный туман. Угрюм подхватил котел, пошел к воде, опустился на колени, ополоснул лицо, зачерпнул. В котле заметалась рыбешка. Угрюм выплеснул её, снова зачерпнул — то же самое. Пошлепав днищем котла по воде, разогнав рыбу, наконец набрал чистой воды. На стане монахи опять начинали молитвы.

— Мы рыбки наловим да сварим, — шепелявил Михей, плутовато щуря один глаз. — А вы уж за нас помолитесь.

Передовщик, оглядев плохонькую обувь монахов, хмыкнул, поцокал языком и приказал:

— На шесты встанете, а мы на бечеву. Куда в таких чунях идти по воде.

Угрюм метнул на него разобиженный взгляд. Опять Пантелей все решал за него. И снова они волокли струг против течения. Вшестером идти было легче и быстрей. Черные попы оказались людьми добрыми и покладистыми, пристали к ватаге без ужины**, как покрученники, но Угрюму казалось, что они верховодят им и Пантелеем — вольными своеуженниками. Сам он никогда не имел призвания к монастырской жизни. Ходил в церковь, как положено от века, но там душа его не ликовала, исповедовался, чтобы причаститься Святых Тайн, от сглаза, хвори, навета, всяких несчастий и хорошо знал крутой нрав своего ангела-хранителя, не похожего на великомученика Егория Храброго, писанного на иконах. Ангел, которого Угрюм чувствовал в душе, был вроде смутно помнившегося трезвого отца: попадешь под горячую руку — побьет без вины, а после вдруг и пожалеет. Всю-то жизнь он маялся со своим покровителем, изворачивался змеем, чтобы не прогневить его и себя не уморить.

Ватага прошла приток реки, возле которой зимовали монахи. Браты называли его Окой. Здесь промышленные и миссионеры переночевали и пошли дальше, в места никому из них не известные. Поредели леса, положе стали берега, потом и вовсе открылась безлесная равнина с дымкой гор у края. Людей здесь кочевало больше, чем в низовьях реки, скота у них было много.

Все чаще ватага устраивала вынужденные дневки и монахи уходили проповедовать. Передовщик обычно шел с ними, чтобы узнать о дальнейшем пути. Бывало, приходилось подолгу стоять на одном месте и появлялось время для безделья. Угрюм стал шить сменную обувь для себя, но на одной из стоянок с выгодой обменял на масло. Ремесло среди здешних народов очень уважалось.

Вскоре к ватажному табору прискакал черный от солнца степняк и показал свою беду: рукоять из березового капа спадала с ножа. Угрюм, посмеиваясь, расклинил ее, насадил накрепко на глазах приехавшего мужика. Тот был изумлен, что нож налажен

**Байгал-далай — старое бурятское название Байкала. **Ужина — пай, вносимый промышленным в снаряжение всем необходимым для промыслов.*

так быстро. Своей радости он не скрывал, но ни словом не поблагодарил за пустячный труд. Угрюм с досадой посмотрел ему вслед, однако извлек для себя полезный урок. Не прошло и двух дней, к табору приехали верхами три мужика: у одного обломился край лезвия топора, у другого треснуло кованое стремя, третьему всего-то и надо было выправить согнутую пряжку подпруги.

Как ни мало знал Угрюм кузнечное дело, понял, что работа ему посильна. Он управился бы с ней за час, но на этот раз с хмурым видом долго разглядывал поломки, с сомнением качал головой и вертел в руках, потом сказал, что если сможет наладить все это, то не раньше чем на другой день к полудню, а то и к вечеру. Огорченные пастухи разъехались. Вернулись они на другой день по уговору и привезли двух жирных, оскопленных баранов.

После того случая Угрюм стал с усердием учиться у Пантелея кузнечному делу. Среди здешних народов ремесленнику можно было жить безбедно. Вскоре он стал делать седла. Работа эта была дорогой и уважаемой, молва о ремесленниках летела впереди ватаги. Черный поп Ермоген с черным дьяконом Герасимом стали посмеиваться: неизвестно, мол, кого больше ждут здешние народы — проповедников или Угрюма с

Пантелеем.

На краю степи монахи снова затеяли спор с желтыми попами. Собрался народ, для которого такие встречи были редким развлечением. Ремесленникам кочевники привезли много сломанных седел и всякой утвари. Съехавшийся народ по обычаю врыл в землю заостренный кол. Попы спорили и смеялись друг над другом, потешая мужиков. На этот раз желтые боо* переспорили православных миссионеров. Браты с хохотом выдернули из земли кол и сломали его. Правда, русских монахов не били и не гнали, несколько всадников даже проводили их до струга, возле которого работали Пантелей с Угрюмом.

Кочевники расплатились за работу мясом, маслом, сушеным творогом и молочной водкой. К неудовольствию монахов, давно не пившие хмельного промышленные загуляли. Угрюму от того горячего и вонючего вина веселей не стало: кружилась голова, он тупо зевал и маялся животом, пока не уснул у костра. А когда проснулся, то увидел спавшего Синеуля связанным. Михей с Пантелеем глядели в звездное небо и тихо переговаривались, монахов не было.

— От такой жизни брюхо вырастет, — заплетавшимся языком пожаловался передовщик, — забудешь, кем и для чего родился.

— А по мне — так бы и жить! — шепелявил старый Михей. — И чего столько лет по урману шлялся? Все какого-то чуда ждал, после долги отрабатывал, ради живота ноги мучил.

Синеуль проснулся поздно, его развязали. Он мотал головой, глядел на спутников зло и хмуро, их рассказам о вчерашних буйствах не верил. Вскоре вернулись попы, и ватага двинулась дальше.

Пантелей сшил Ермогену с Герасимом бахилы, и те наравне с промышленными тянули струг бечевой. Синеуль день и другой шел со скорбным видом, ни с кем не разговаривал, и губы его страдальческой подковой гнулись к гладкому подбородку.
Так, ремесленничая и проповедуя, ватага неспешно продвигалась вверх по реке. Монахи в берестянке переправлялись с берега на берег, туда, где замечали стада и юрты. На одном берегу жили булагаты, на другом эхириты. Их язык, вид и нравы пришельцы не различали. Иной раз они встречали по берегам кочующие селения мунгальских кыштымов. По тому, что те во всяком бородатом госте предполагали ремесленного или торгового человека, догадывались, что промышленные люди в эти места наведывались.

Отлютовал овод, стал ленив комар. Желтый лист лег на воду у самого берега, блекла зелень лесов. Монахи по своему обычаю не заботились ни о пропитании, ни о зимовке. Синеуль, как все тунгусы, жил одним днем, весело и беззаботно претерпевал трудности. Михей время от времени щурил хитрый глаз, поглядывая на мешки с рожью, примечал, что хлебный припас убывает, и почесывал редкие волосы на морщинистом затылке.

**Боо — шаман (бур.).*

К концу августа, на Успенье Богородицы, река повернула на полдень. Один берег был крутым и обрывистым, другой пологим. С одной стороны густой лес подступал к самому яру, с другой береговой кустарник нависал над водой. Места были безлюдными, непригодными для выпасов скота. Монахи велели поставить здесь стан и объявили, что нынче надо непрестанно молиться. Постилась же ватага по их поучению постом истинным.

Синеуля от ржи и трав так подвело, что он едва таскал ноги в бечеве, как только услышал, что на Успенье придется поститься пуще прежнего, глаза его слиплись в две щелки, губы сжались в гузку, он стал трубно сопеть плоским носом и мотать лохматой головой.

«Сбежит!» — подумал Угрюм и предупредил передовщика.

Едва ватажные устроили стан и стали стирать одежду на теплом песке, Пантелей велел запечалившемуся тунгусу сходить в тайгу за кедровыми шишками к Ореховому Спасу. Тот радостно схватил свой трехслойный клееный лук и пропал, забыв на стане шапку. Вернулся он через два дня, веселый и насмешливый, плутовато поглядывал на постников и все донимал Угрюма расспросами, отчего тот печален в праздник.

Никакого веселья, как когда-то в большой промысловой ватаге, не было. Михей возводил собачьи глаза то к небу, то к лесу, чмокал истончавшими губами в седой бороденке. Пантелей с Угрюмом выглядели печальными и утомленными. Монахи, со светлыми лицами, сами по себе тихо радовались своему, им понятному, счастью.

Синеуль рассказывал, что видел в лесу, притом так приукрашивал богатство тайги, что передовщик стал задумываться, не пора ли готовиться к зиме.

— До истока этот год не дойти! — оглядывал реку. — Глянь-ка сколько воды. Шире Нижней Тунгуски. Еще недели две-три пройдем, а там посмотрим.

— Если хотим соболей добыть — промышлять надо дальше от кочевий! — рассуждал Угрюм. — Монахам это зачем? Они, поди, завоют, в одиночку в зимовье сидючи! — неприязненно кривил губы. — С другой стороны, возле кочевий и мы могли бы сыто перезимовать. Тогда тунгус завоет… Чудная, однако, ватажка! — вздыхал, бросая

на Пантелея быстрые скрытные взгляды.

Он не верил сказкам о русских городах, живущих по старине и справедливости: знал, всякий город любит богатых. О воле помалкивал, с тоской поглядывая на старого Михея. Тот всю жизнь гонялся за волей и богатством. Тоска давила грудь: «Куда идти? Где поселиться? К какому обществу приписаться?» Угрюму хотелось бросить связчиков и плыть обратно в Енисейский острог, поверстаться в посад, зажить домом. Но на пути были страшные каменные пороги.

После праздника ватажные с радостью снялись со стана и снова двинулись к верховьям реки. Крутым берегом они подошли к заболоченному устью притока, разлившегося между покрытых лесом холмов. Издали это место казалось сухим, а когда подошли, увидели камыши в рост человека, кочки, болото. Зашло солнце, надо было устраивать ночлег. Река круто повернула на полдень. К доброй погоде высоко в синем небе черными крестиками носились стрижи, в лучах заката пламенела осенняя тайга.

— Здесь надо ночевать! — досадливо огляделся передовщик.

Идти дальше — устраиваться в темноте, вернуться — плохая примета. Путники нашли сухое место среди чахлых больных берез, развели костер. Пантелей беспокойно поглядывал на небо, предвещавшее хорошую погоду, через чуткие ноздри всей грудью втягивал воздух. Среди запахов реки, травы и прелого листа его настораживал сырой и свежий дух.

— Не пойму! — ворчал, оглядываясь по сторонам. — Стрижи высоко, отчего дождем пахнет?

Чавкая мокрыми бахилами по болотине, монахи приволокли пару сухостойных лесин, отдышались и снова пошли за дровами. Михей раздул костер и повесил котел на огонь. Синеуль с Угрюмом резали сухой камыш на подстилку. Над рекой опускались сумерки, и с ними, казалось, все ниже опускается небо.

После ужина ватажные бросили жребий, и он пал на Угрюма. Чертыхнувшись про себя, молодой промышленный запалил от костра трут, поволок тяжелую пищаль к стругу, привычно подсыпал из рожка порох на запал, укутавшись одеялом поверх одежды, сел караулить сон товарищей. Ни звезд не высыпало на небе, ни луна не вышла. Ночь была темна. Слышалось, как глухо и далеко в своих глубинах перекатывает камни река, как шуршит камыш. Треснул сучок, придавленно визгнул зверек, утробно рыкнул то ли медведь, то ли кабан. Зашумел камыш, опять все стихло. Угрюм стал подремывать, роняя голову на грудь. Уши ловили шорохи, отсеивали все пустячное, выискивали звук приближающихся людей. Ничто другое караульного не пугало.

В очередной раз открыв глаза, он зябко передернул плечами и почуял запах зимы. Во тьме бесшумно падал снег. Угасая, дотлевал костер, едко напахивало сырой золой и дымом. Сонному караульному показалось вдруг, что снегопад надежно укрыл от опасностей. Он с головой укутался в одеяло и блаженно вытянулся на мешках с рожью. Его разбудил вопль черного дьякона Герасима. На одеяле мягкими путами лежала тяжесть снега. Напрягаясь всем телом, Угрюм сел, сбросил его хрусткие комья к ногам. Было ясное утро, снегопад кончился так же неожиданно, как и начался.

Поздней памятью Угрюм отметил про себя, что крик монаха не был опасливым или испуганным: он был радостным. В следующий миг караульный испугался, что передовщик знает, как он охранял стан, и может приласкать батогом за крепкий сон. Угрюм опасливо огляделся. Пантелей еще только выбирался из-под одеяла. «И ладно!» — подумал, теперь уже по праву заворачиваясь в теплый мех.

Он хотел доспать с часок, но, проснувшись, почувствовал, что солнце уже высоко. Потрескивал костер, возле него никого не было. Угрюм сел, повертел головой. Снег быстро таял, с шумом слетая с ветвей корявых берез, которые еще не сбросили желтый лист. Цепочки свежих следов уходили в разные стороны: в камыш и к сухостойному лесу. Угрюм протер лицо, вытащил из-под одеяла теплую пищаль, забросил ее на плечо, пошел по следам в камыши. Ему послышались приглушенные голоса. Вскоре он увидел Синеуля. Тунгус сидел на кочке, жевал траву и плевал на оголенную ногу. Его ступня была в крови. Пантелей с Михеем разделывали дикую свинью.

Синеуль вскинул на товарища узкие насмешливые глаза.

— Крепко спишь! Слышал хоть, как монах орал?

— Как не слышать! — Угрюм присел напротив, разглядывая рану спутника. — Она, что ли? — кивнул на свинью.

Синеуль беззаботно хохотнул и стал обуваться.

— А что Герасим орал? — полюбопытствовал. — Святого какого увидел или медведя?

— Город с башнями и с церквями! — захихикал Синеуль. Глаза его сжались в щелки, нос утонул между щек. — Нет бы тебе, караульному, свидетельствовать, а ты храпел на весь табор.

Пантелей обернулся через плечо, сердито прошипел:

— Казаки утопили бы такого караульного!

— Да не спал я! — напористо вскрикнул Угрюм.

— Что не посмотрел, куда Герасим указывал?

— Зачем мне? — проворчал, оправдываясь и воротя нос. — Пусть монахи со святыми говорят, я — грешный!

— Бери стегно, неси к стану!

Угрюм послушно подхватил кабанью ногу с жестким ворсом. Синеуль весело затараторил:

— Герасим видел город, а я — соболя в полторы собаки длиной. След — вот он! Угрюм оглянулся, куда указывал новокрест. На снегу были отпечатки круглых кошачьих лап, побольше рысьих.

— Рысь это! — заспорил было. — Снег раскис, вот и кажется…

— Нет! — запальчиво вскрикнул Синеуль. — Лапы короткие, тулово длинное и хвост… — Хмуря коротенькие брови, тунгус сдвинув их к переносице, неуверенно раскинул руки во всю ширь. — Не рысь!

Монахи вернулись к стану после полудня, когда мясо было съедено, а кости брошены в камыш. Михей услужливо напек для них рыбы, разлил остатки кваса.

— Ходили далеко! — устало опустился на примятый камыш Ермоген. — Похоже, что здесь, — указал глазами на реку, — лука или большой полуостров. Белки много, соболь есть.

— Город-то видели? — накинулся на них с расспросами передовщик.

— Не видели! — смущенно признался Герасим. — Привиделся! — Черный дьякон сбросил мокрые бахилы, тряхнул длинными светло-русыми волосами и заговорил веселей. — А вот юрт по другому берегу множество.

— Лазили на сосну, глядели! — пояснил Ермоген. — Там лес редкий, — махнул рукой за реку, — равнина, просторные выпасы. Вдруг здесь тот самый торжок, про который говорили браты в низовьях.

— Можно и сегодня туда переправиться, только там придется новый стан разбивать среди ночи, — пожал широкими плечами Пантелей, будто в чем оправдывался.

— Я здесь останусь! — вскрикнул Синеуль. — Пока большого соболя не добуду — никуда не пойду!

— Одну ногу свинья чуть не отгрызла — другую кот оторвет! — смешливо пригрозил передовщик. Переправляться через реку к вечеру промышленным не хотелось.

— Ну и ладно! — согласился иеромонах, вытирая пальцы сухими листьями. — Мы переправимся на ветке. Завтра вернемся и расскажем, что видели, что слышали.

Михей, боясь разлада в ватажке, зачмокал стерляжьими губами, виновато поглядывая то на одних, то на других. Потом пролепетал, выискивая поддержки:

— Соболь есть — можно зимовать!

— Андаги* — вот какой! — бойко поддержал его Синеуль и развел руки на полный размах. Ни о чем другом как о звере, следы которого видел, он думать не хотел.

Угрюм поскоблил бороду, уставился на передовщика. Пантелей опять пожал плечами.

— Можно, конечно, здешнему князцу пообещать десятину, — нахмурился, глядя на огонь. — Жаль, до Ламы** не дошли! — добавил с грустью.

— На Ламе живут тунгусы чилкагирских родов, — горячо залопотал Синеуль. — Они злые, промышлять не дадут, грабить будут и по тайге у них насторожены самострелы.

— Можно и зазимовать! — неохотно согласился передовщик. — Добрым ватагам самое время зимовья рубить. Вот батюшки узнают, что к чему, и будем думать, а переправляться лучше всем. — Обернувшись к монахам, стал пояснять: — Здесь, на повороте, переплыть реку трудно. Течение снесет за мыс, а дальше вынесет на стрежень. Надо завтра подняться версты на полторы, на две. Оттуда река сама прибьет к другому берегу.

К вечеру снег растаял. Ночь была безветренной и звездной. Угрюм быстро и беззаботно уснул, проснулся от кряхтения Михея и хруста хвороста. Открыл глаза. Голубело и уже розовело небо на восходе. Старый промышленный, прикрывая ладонью бороду, раздувал угли костра. Пантелей спал, с головой укутавшись в одеяло. Ни монахов, ни Синеуля возле костра не было. Угрюм потянулся, приветствуя взглядом старого промышленного.

— Место благое! — поучительно просюсюкал тот и зашмыгал красным носом. — Батюшки всю ночь поклоны били, нам, грешным, в науку.

Послышались приглушенные шаги по прихваченной инеем траве. От реки к костру подошли монахи. Умытые, свежие, румяные, с ясными глазами, они выглядели так, будто всю ночь отдыхали на перинах. Их бороды и локоны длинных волос по плечам были мокры.

— Выкупались, что ли? — весело взглянул на них Угрюм.

Михей нравоучительно просипел:

— После Ильина дня, как святой в воду поссыт, и до поры как лед встанет купаться ни-ни! Судороги сведут, дедушка на дно утянет.

**Андаги — соболь (эвенк.). **Лама — эвенкийское название Байкала и всякого моря.*

Не желая спорить с причудами старых промышленных, чернобровый Ермоген рассмеялся, ему не хотелось начинать добрый день поучениями. Угрюм поплескал в лицо студеной, удивительно чистой и прозрачной водой. На душе стало радостно. Он столкнул на воду ветку, вытянул из омута плетеную корчажку, вынес ее на сушу, открыл заглушку култука. Серебристая трепещущая струя живой рыбы вывалилась на песок.

Синеуль не появился на стане даже к позднему завтраку из хлеба и печеной рыбы. Пантелей, поглядывая на заросли камыша, велел собираться без него. Путники привычно залили костер, покидали в струг котлы, топоры и одеяла, помолившись, взялись за бечевы и шесты. Струг снова двинулся против течения реки, за его кормой моталась легкая берестянка без груза. Ватажные прошли под яром с версту, а то и больше. По пути они приметили на другом берегу скрытое деревьями устье притока или залив. Потянули струг выше, чтобы переплыть реку к тому самому месту. Только после полудня их догнал Синеуль. Он выскочил из леса и съехал вниз по глинистому яру. Пантелей сбил шапку на ухо, выставил ногу, собираясь разразиться бранью.

— Видел! — радостно завопил новокрест — Кота видел! — раскинул руки на раз мах. Бросил на землю лук, повел плоским носом, шевельнул губой с пробившимися черными волосками и преобразился, превращаясь в настороженного зверя, крадущегося к добыче. Передовщик умилостивился и строго приказал впрягаться в бечеву. Синеуль послушно схватил постромку, перекинул ее через плечо. Притом не переставал рассказывать о встрече с невиданным зверем, захлебывался от восторга, путал тунгусские слова с русскими.

— Сарь, сарь всех соболи. Мата бэюн*!

Промышленные и монахи протянули струг еще с полверсты. Передовщик пронзительно свистнул, махнул рукой, чтобы бурлаки заняли места на веслах. Сам сел на корме, перекрестился и дал знак грести к другому берегу. Тяжелое судно закачалось на речной волне. Как и предполагали, течение вынесло их к косе, за которой открывалось устье полноводного притока. Берег был низок и топок. С полверсты повыше устья виднелся остров, покрытый лесом. На шестах и веслах ватажные прошли к нему, переправились через протоку и высадились на песчаной косе.

Остров был невелик и сух. По всем приметам, он не заливался весенними паводками, его берега густо заросли ивняком и кустарником. Пока монахи молились, а Михей раскладывал хлеб, Пантелей с Угрюмом и Синеулем обошли сушу берегом. Остров был необитаем, хотя уже за протоком виднелись следы скота, приходившего на водопой. Оглядываясь по сторонам, передовщик сбил шапку на ухо:

— Здесь можно рубить зимовье без тына. Летом вода задержит врага и подставит под залп, зимой — лед!

— Все враги мерещатся? — съязвил Угрюм. За нынешнее лето он понял, что промышленным со скотоводами можно жить мирно и даже с общей пользой: одним не нужна тайга, другим выпасы. — Поставить бы зимовье на коренном берегу да кузню устроить — стали бы мы самыми уважаемыми людьми по всей реке Мурэн!

Дрогнули под усами губы передовщика.

— Можно и так, если жить ради брюха!

Перекусив хлебом и квасом, монахи засобирались к юртам: поговорить с народом, узнать новости. Синеуль стал просить ветку, чтобы плыть к камышам.

— На кой тебе этот соболь или кто он? — думая о своем, раздраженно поругивался передовщик. — Мех у зверя еще не вылинял.

— Надо лес посмотреть! — мялся Синеуль.

— Вольным воля, ходячим путь! — безнадежно отмахнулся от него Пантелей, вытянулся на желтеющей траве и закинул руки за голову. — Если батюшки опять затеют спор, — скосил глаза на монахов, — два дня простоим. А если задержимся на неделю, здесь придется зимовать.

**Мата бэюн — крупный зверь (эвенк.).*

Синеуль перевез миссионеров через протоку, вернулся, бросил в лодку лук со стрелами и молча оттолкнулся от берега. Гнуса на острове было мало. Пантелей провалялся у костра до вечера, Михей поворочался с боку на бок и стал варить остатки свиного мяса. Угрюм пошлялся по острову, высматривая сухостойные лесины, вернулся.

— Баню бы устроить! — почесал отросшую бороду.

— Ягоду надо собрать. На Дмитра без винца никак нельзя, — просюсюкал Михей.

Пантелей непонятно чему тихо рассмеялся, потянулся, ответил Угрюму:

— Можно баню устроить, можно балаган срубить. Дел всем хватит.

Монахов к ночи не ждали, на закате покрыли балаган корой и стали готовиться к ночлегу, но за протокой послышался конский топот. Люди на острове насторожились,

хотя к обороне не готовились. Вскоре на берег шумно выехали всадники в камчатых халатах, остроконечных шапках с косами меж плеч. Лошади закружили возле воды. Молодые мужики соскочили с седел, помогли слезть с коней монахам.

— Пошли, что ли? — кивнул передовщик Угрюму. — Надо попов переправить! — стал усаживаться за весла тяжелого, неразгруженного струга.

Быстро темнело. Всадники скрылись из виду, едва судно причалило к острову, монахи молча подошли к костру, устало опустились на землю.

— А мы уж ждали-ждали! Все глаза проглядели! — засюсюкал Михей, вопрошающе поглядывал на прибывших. Те не спешили заводить разговор, но по их лицам видно было, что они приняли какое-то решение и думали, как объявить его.

— Здесь и есть тот самый торжок, про который говорили браты в низовьях! — наконец сказал Ермоген.

Михей, глядевший на него преданно и с умилением, спохватился:

— Может, кваску попьете с дороги?

— Сюда приходят булагатские, эхиритские и другие роды, — не услышав его, продолжал говорить монах, — приходят мунгалы и их торговые люди. — А до Ламы на хорошем коне два дня ходу, — поднял глаза на Пантелея.

— Четыре — пешему! — радостно вскинулся передовщик.— Бечевой — восемь. Пусть десять!

— Пастбищ там нет! — Ермоген печально шевельнул широкими бровями, так что резче обозначились складки на переносице, и продолжил, подавив вздох: — Кочуют, говорят, одни тунгусы.

— Про наших-то спрашивали? — нетерпеливо заерзал Пантелей, отмахиваясь от услышанного.

— Спрашивали, но ясного ответа не получили, — с готовностью ответил Герасим. — Большими бородами здешних людей не удивишь: должно быть, промышленные и торговые люди ходят тайным тесом. Приток этот, — кивнул в верховья острова, — зовется Ер-кута. По нему, говорят, можно выйти на Ламу. Браты и мунгалы здесь не зимуют — снега глубоки.

— Ер-кута — по-татарски — буйный мужик! — Пантелей возбужденно заскоблил шрам на скуле. — Близко уже! Рядом!

Герасим с Ермогеном виновато переглянулись и черный поп со вздохами объявил:

— Нам никак нельзя уходить отсюда, пока здесь браты. У нас перед Господом свое тягло! А вы уж как знаете… Храни вас Господь на вашем пути!

Угрюм бросал быстрые пытливые взгляды то на смущенных монахов, то на озадаченного передовщика, Михей пучил страдальческие глаза и чмокал тонкими губами. Пантелей, вместо того чтобы вспылить, вздохнул и покладисто согласился:

— Можно и здесь зимовать. До Ламы на лыжах сходим. Ржи до Рождества только хватит. — Его губы в густой бороде язвительно покривились, глаза блеснули: — Ватажной рухляди мало, чтобы у братов что-нибудь прикупить в зиму. Разве Угрюмка своих соболишек даст?

Угрюм вскочил, будто каленый уголек прожег штаны.

— Клейменых не дам! — вскрикнул заикаясь. — Что добыли, тем и заплатим!

Монахи с Пантелеем тихо и добродушно рассмеялись, Михей уставился на него виноватыми глазами.

— Вот вернется тунгус со своим «сарь-соболь», решим! — тряхнул бородой Пантелей.

Ермоген добавил с блуждавшей улыбкой на губах:

— Не соболь это — тигр! Братские мужики называют его бабром, побаиваются и почитают!

Ночевали они впятером в тесном балагане. Осенняя прохлада прибила к ночи оттаявшую после снега мошку. Ночью ярко вызвездило. На рассвете монахи поднялись на молитву. Михей позевал-позевал, тоже поднялся, раздул погасший костер, принялся готовить завтрак. Ближе к полудню Ермоген с Герасимом подкрепились печеной рыбой и попросили перевезти их через протоку. Вечером на устье Иркута показался Синеуль в берестянке. Он сидел на пятках и размашисто греб против течения двухлопастным веслом. Ткнувшись в песок, вытянул лодку, молча вышел на берег. При общем молчании бросил возле балагана лук и стрелы, на еду не взглянул, упал на траву ничком и лежал, не отвечая на вопросы, до самых сумерек, пока не вернулись монахи.

— Мойся давай! Не пущу в балаган смердящего! — передовщик толкнул его кулаком в бок. — Бесов грязью не зазывай, без них тошно.

Синеуль неохотно сел, взглянул на Пантелея сквозь вспухшие щелки глаз.

— Умный бэюн! Не подпускает близко. Съел половину поросенка, доедать не вернулся.

— Пусть живет! — чертыхнулся передовщик. — На кой он нам? Браты батюшкам сказали, не соболь это — бабр!

— Не могу жить, пока не добуду! — слезливо вскрикнул Синеуль. — Соболя промышлять не смогу — этот будет перед глазами! Скажи русскую хитрость, как его поймать? — ударил кулаком в землю.

Пантелей с пониманием огладил бороду, присел рядом с тунгусом:

— Говоришь, на мясо не идет? Пока земля не застыла, можно сделать кружало и посадить на приманку живого поросенка.

— Добуду живого! — уставился на него Синеуль проясняющимися глазами.

Передовщик стал втыкать в землю прутки, объясняя, как делается ловушка. Новокрест водил носом едва ли не по его ладоням, но задавал такие вопросы, что Пантелей терпеливо начинал объяснять заново. Угрюм слушал-слушал и предложил:

— Отпусти с ним, — кивнул на Синеуля. — я за полдня кружало срублю!

— Видать, мне одному только надо на Ламу! — проворчал передовщик, но согласился отпустить двоих.

Из сырого леса, по-промышленному, избенку срубили за полторы недели. Будто в отместку за то, что никто не рвался к Байкалу, размениваясь на пустячную суету, Пантелей заложил ее всего в полторы квадратные сажени — только чтобы шестерым переночевать в морозы. Задерживаться на острове он не хотел.

Синеуль шлялся по тайге, промышлял мясной припас, высматривал, где какой зверь ходит. Старого Омуля жалели: он только стряпал и ловил рыбу. Бывая на острове, монахи работали не покладая рук, но они то и дело исчезали на день-другой для проповедей. По большей части зимовье строили Угрюм и Пантелей, хотя им-то оно нужно было меньше, чем монахам и старому Омулю.

Едва накрыли сруб, повалил снег. Дверной проем пришлось завесить шкурами. В стужу месили глину, складывали из речного камня очаг по-черному. Не переставая, снег валил с неделю. Браты угнали скот в верховья Иркута. Монахи вернулись, смущенные тем, что избенка срублена без них.

— Заходите уж! — непочтительно пригласил их передовщик. — Хоть освятите, что ли!

Примечал Угрюм, нехорошо встречает зиму ватага: все врозь и каждый норовит жить по-своему. По его рассужденью, виной всему были монахи. С тех пор как они появились Пантелей только посмеивался над всеми, вместо того чтобы заставлять заниматься общим делом, хотя все были наслышаны о промысловых ватагах, передравшихся и перерезавшихся по слабости или попустительству передовщика.

Вернулся Синеуль, втиснулся за завешанную дверь. Обветренное лицо тунгуса благостно сияло. Он поставил в угол лук с колчаном стрел, присел на корточки у огня.

— Поймал бэюн, — протянул к огню потрескавшиеся ладони.

Угрюм соскользнул с нар, покашливая от дыма, просипел:

— Покажи!

— Не рано ли? — строго спросил передовщик.

Синеуль бросил ему на колени убитую белку. Пантелей подергал шерсть на брюшке зверька, передал Михею. Тот корявыми пальцами стал щипать подпушек, с важностью объявил:

— Невыходная!

Синеуль весело зыркал по сторонам сквозь щелки век и загадочно помалкивал о добытом звере.

— Продал или подарил кому? — нетерпеливо переспросил Угрюм.

— Отпустил! — новокрест растянул тонкие губы в блаженной улыбке. — Пришел бэюн на раненого поросенка, попался в русскую ловушку. Рычит! — восторженно хохотнул. — Глаза желтые, как у волка! — Смешливо взглянул на передовщика: — На тебя похож, когда злой!

— Шкура где? — поторопил Пантелей и укорил: — В новую избу вошел, хоть бы лоб перекрести!

— Рычит! — Синеуль покорно и рассеянно махнул рукой ото лба к животу, от плеча к плечу, не взглянув в красный угол. — Я ему говорю: «Зачем меня так долго мучил? Кровь моя стала черной, кости мои стали желтыми, пока гонялся за тобой. Сейчас отпущу твою кровь своим ножом, но сперва вырву клок шерсти с брюха. Из усов толстую ворсину выдерну, чтобы навсегда запомнил русскую хитрость и никогда бы не лез во всякие ловушки». А он рычит: «Перехитрил ты меня, Синеуль-мата, но перехитрил не до конца: моя шкура еще не вылиняла — за хорошую цену ее никто не купит, никто не скажет, что ты сонинг*, ведь ты отпустишь мою кровь, когда я привязан, перережешь мою главную жилу, когда мои зубы и когти не могут тебя достать…» Так он мне сказал и засмеялся! — Синеуль обвел взглядом теснившихся у очага людей.

Угрюм презрительно хмыкнул, монахи озадаченно переглянулись, Михей с пониманием закивал, передовщик глядел на промышленного пристально и строго.

— Значит, не вылинял еще?

— Нет! — мотнул лохматой головой Синеуль. — Я защемил ему голову палкой, просунул руку и дернул с самого брюха. Много шерсти осталось на пальцах.

— И ты его отпустил! — усмехнулся передовщик.

— Бэюн никому не скажет, что Синеуль — трус! Я повесил на дерево лук и стрелы. Я взял в руку нож. Я открыл русскую ловушку и сказал: «Иди своим путем! А если бросишься на меня, то мы равны: у тебя много острых когтей и зубов, у меня — нож. Никто не скажет, что я убил тебя бесчестно».

— Понятно! — перебил многословные рассуждения Синеуля Пантелей. — Не бросился?

— Нет!

— А как убегал? Стремглав или опасливо?

Синеуль выскочил из тесной избенки, скинул с дверного проема полог, упал на живот, плавно вытянул на снегу свое гибкое тело, поджал к груди растопыренные пальцы, вытянул шею, стал изгибаться змеей и перебирать руками, показывая, как уходил зверь, опасливо прижимаясь к земле, ожидая удара в спину.

— Утешился, и ладно! — хлопнул ладонью по колену передовщик. — Дверь за весь. Надо лабаз рубить и мясной припас к зиме добыть, — стал распоряжаться как старший в ватаге. — А батюшки, если не хотят всю зиму слезы лить и мерзнуть, пусть сделают дверь и трубу к очагу.

**Сонинг — герой (эвенк.).*

Морозы крепчали, мех на звере вылинял. Михей Омуль к зиме стал непомерно набожен, в постные дни голодал или ел с монахами кору, приберегая остатки хлеба. Он оставался в зимовье, а Пантелей, Угрюм и Синеуль стали собираться на промыслы. Так решил передовщик — старик был у него в покруте.

Вечерами ватажные набивались в тесную избенку, если не молились, то разговаривали и Угрюм с удивлением примечал, что Пантелей не спешит идти в тайгу, но подолгу, с удовольствием спорит с монахами. Молодой промышленный невольно прислушивался к их разговорам, хотя знал Закон Божий понаслышке, «аз да буки — конец науке», но понимал, что передовщик прельщает монахов искать старые русские города. Ермоген щелкал застежками Святых Благовестов, благостно читал, потом они опять приглушенно говорили между собой, и выход на промыслы откладывался.

Наконец припас мяса и мороженой рыбы был сделан, нарты и лыжи приготовлены. Монахи благословили промышленных на добрый путь и промыслы, а они загрузили в нарты мешок ржи, одеяла, две ручные пищали. Поскольку ружья в полпуда весом каждое нужны были для защиты от людей, а тунгусы и браты вреда промышленным не чинили, Угрюм предложил передовщику оставить одну пищаль на острове.

— Оставь! — согласился тот.

Угрюм унес свою пищаль обратно в зимовье. Все его богатство, пищаль за десять рублей, свинца три гривенницы, порох, мешок с клеймеными соболями, он оставлял под присмотром монахов, думая, что так надежней: проповедников все почитают, на них никто не нападет.

Втроем промышленные сорвали с места полозья нарт, потянули их по льду реки навстречу восходящему солнцу. Ветер дул в спину, все начиналось и складывалось слаженно, крепко, а доброе начало — половина дела. С другой стороны, начиная — о конце помышляй: беспокоило Угрюма, как передовщик собирается делить добычу нынешней зимы? О том он и выпытывал Пантелея на привалах — ведь если по прежнему уговору, то Михей, бездельничая с попами, мог получить полупай.

— По уговору! — посмеивался Пантелей.

— И монахам пай? — чувствуя насмешку, злился Угрюм.

— Десятину! Как не дать? Молятся за нас!.

Соболь в здешних местах был выбит и напуган тунгусами, которые добывали его всеми семьями, не так, как на Нижней Тунгуске. Заслышав людей, зверь уходил, на приманку, в клепцы, лез осторожно. На пути к первому стану ватажные вынули из ловушек всего пять замерзших зверьков.

Тайга по берегам Ангары была буреломной, непроходимой для лыж. Синеуль, бегая с луком по собольим следам, ничего не добыл и на стан вернулся разобиженный на здешнего лешего-тайгуна. Пока Пантелей с Угрюмом шкурили добычу, тунгус отсыпался, а после полудня ушел без лыж в сторону от реки. Он пропадал четыре дня и догнал Пантелея с Угрюмом, когда те строили стан во имя архистратига Михайлы, похваляясь, высыпал из мешка трех черных соболей, какие в Енисейском остроге отбирались в царскую казну.Втроем они переждали снегопад. Едва разъяснилось небо, Пантелей отправил Синеуля вверх по реке тропить еще одно днище перехода и высмотреть место под третий стан, во имя Николы Зимнего. На другой день по уговору новокрест не вернулся. Пантелей с Угрюмом насекли клепцов по ухожьям, насторожили их и отправились по его следу.

Сначала в долине застывшей реки они увидели густой туман. Сквозь него, справа и слева по берегам, виднелись крутые скалы, где густо, где редко покрытые лесом. Промышленные осторожно подошли к лежавшему на льду облаку, почуяли запах све-

жей воды. Вскоре в тумане открылась черная полынья, края которой они не видели. Сотни уток ныряли у кромки льда, не обращая внимания на людей. След Синеуля уходил к берегу.

Промышленные подошли к крутой горе, бросили на льду у береговых камней нарту. С пищалью и луком, при топорах за кушаками стали карабкаться на склон с поникшей желтой травой. Сверху в сумерках короткого зимнего дня открылось холодное бескрайнее море. Студеная вода волновалась и вскипала пенящимися гребнями. На ней кроваво багровели последние лучи заходящего солнца. Волны с шумом набегали на обледеневшие камни, разбивались о намерзший заберег и отступали, обнажая дно.

— Где теперь искать нашего тунгуса? — просипел в заиндевевшую бороду передовщик.

Они все же высмотрели несколько следов возле льда у воды, спустились с горы, осторожно пошли на восход. Вскоре им открылась просторная падь с застывшим ручьем, пахнуло в лица дымком. Путники невольно прибавили шаг и вскоре увидели два островерхих тунгусских чума, покрытых шкурами.

— Загостился наш толмач! — выругался Пантелей.

Отрывисто, беззлобно тявкнули тунгусские собаки. Передовщик свистнул так пронзительно, что у Угрюма зазвенело в ушах. Шевельнулся полог чума, из-за него показался голый до пояса мужик с короткими для тунгуса волосами, с крестом на животе и стоял, полуголый на пронизывающем ветру, пока связчики не подошли к самому чуму. Собаки с чувством исполненного долга тут же утихли и улеглись на прежние места в снегу.

— Родню встретил, что ли? — ругнулся передовщик. — Или женишься, а на свадьбу не зовешь?

— Заходи давай! Грейся, — Синеуль поднял полог чума.

Под кровом напротив входа сидел крепкий старик с седыми волосками на подбородке. Густые с проседью волосы пышно прикрывали его широкие скулы, лежали на обнаженных плечах. Рядом с ним сидела полуобнаженная старуха с перекошенным ртом. Из-за их спин на гостей с любопытством поглядывали две девки.

Передовщик втянул за собой пищаль с заиндевевшим стволом, положил ее на шкуры у входа. Девки весело прыснули, глядя на обмерзшие бороды пришельцев. Пантелей поприветствовал всех по-тунгусски. Старуха молча подбросила веток на угли. Последним влез в чум Синеуль и бойко залопотал, рассказывая о своих друзьях. Пантелей прислушивался к говору и время от времени вставлял словцо, показывая, что он не безухий.

Из другого чума пришел мужик — брат князца. Синеуль стал рассказывать по-русски все, что узнал от тунгусов чилкагирского племени. Он не винился за задержку, оправдываясь своими рассказами. По берегу Ламы, в верховьях Елеунэ, что начинается где-то за горами, и дальше в полночную сторону кочевало и добывало пропитание многочисленное тунгусское племя, которое никому не платило ясак.

— Мата Мажи! — почтительно кивнул на старика Синеуль. Тот поднял голову, с достоинством взглянул на пришельцев. В морщинистых, обветренных глазницах блеснули молодые, зоркие глаза. — Мажи с братом потеряли оленей и стоят здесь, промышляют рухлядь и изюбря, меняют соболей и лис на быков. Безоленные, вынуждены платить ясак то братам, то мунгалам.

Поторапливая говорившего, Пантелей стал выспрашивать, как дойти до верховий Елеунэ, и есть ли там лучи? На том разговор был закончен. На другой день Угрюм и Пантелей возвращались на стан вдвоем. Угрюм всю дорогу молчал и думал, как объявить, что он не согласен промышлять даром ни за Михея, ни за монахов. Теперь и Синеуль, не расплатившись за припас, остался у тунгусов холопом-женихом. Пантелей тоже помалкивал, думая о своем. Только возле стана вспомнил:

— Послезавтра Никола! С утра моемся, отдыхаем, молимся, после будем думать, как дальше жить. — И только к ночи, когда нагрелся балаган, вспомнил: — Михей с Синеулем отошли от нас!

— Ты же их отпустил! — с обидой и укором вскрикнул Угрюм.

— Твой пай будет больше! — усмехнулся Пантелей. — Ты до богатства жаден.

Угрюм обиженно посопел, взглянул на него туманным взором и буркнул:

— Я своеуженник! Никому ничего не должен!

— Вот и получишь половину! — равнодушно сказал Пантелей, не отрывая глаз от пылавших углей. — Вольному воля! Я на Елеунэ уйду. Весной куплю у братов коня, седло сделаю...

— Браты за седло быка дают, — поддакнул Угрюм. — А тунгусы платят им за быка полтора, а то и два десятка соболей.

Короткий разговор перед Николой наконец-то вносил ясность в промыслы и в дележ добычи.

— Учись! — зевнул передовщик и стал готовиться ко сну.

В зимовье они возвращались только к Рождеству. Полмешка ржи оставили на ста-

не, заморозив в колоде, чтобы зерен не достали ни зверь, ни птица. Торопились к празднику, думали, зимовейщики встретят блинами, но когда подошли к острову, увидели на месте избенки черную груду головешек, присыпанных снегом. От лабаза остались одни обгоревшие столбы. И показалось Угрюму, будто качнулся под ногами лед застывшей реки, а вся его утроба вывалилась на снег. Он бросил бечеву нарты и закричал раненым зверем. Над балаганом, наспех поставленным в стороне от погорелого жилья, курился дымок. На крик, как глухарь из сугроба, из него выбрался бровастый, лупоглазый, перепачканный сажей Ермоген.

— Наказал Господь! — развел руки. — Сгорела изба!

— А мой мешок с рухлядью? — еще надеясь на чудо, взвыл Угрюм.

— Все сгорело! — ответил монах со слезным умилением, похлопывая себя руками по бокам, как петух крыльями.

Угрюм снова завопил, упал на лед, бился в него лбом, чтобы очнуться от сна и смиряясь с бедой, причитал: «Пищаль нарочитая — десять рублев по случаю, свинца — гривенницы с три… Соболя, клейменые… Кафтан, сапоги».

Кто-то совал ему в руки обгоревший ствол пищали, железный котел, уверял, что свинец можно найти, если порыться в головешках. А мешок с соболями и красная одежда сгорели со всем припасом. Угрюм пришел в себя только в бане. Она не сгорела потому, что была поставлена далеко от избы. Михей услужливо хлестал его пихтовым веником, пряный дух июльского леса кружил голову и тут Угрюм заплакал, а старый промышленный стал шепеляво утешать его:

— Всяко бывает. И сгорит все, и отберут, и пропьешь или проиграешь по бесовскому посулу. Бог не без милости, еще даст.

С Рождества до Крещения русские люди во славу Божью не промышляют, давая зверю и птице отдых. Монахи с веселыми и радостными лицами знай себе намаливались, Михей, вроде причетника, отирался возле них.

— Что сидишь с постной рожей? — корил передовщик. — Пришли Святки — веселись, не то накличешь беду на всех.

На Святых Младенцев Угрюм поднялся раньше всех и решил уйти на стан. Он раздул очаг в продуваемом балагане, пошел к проруби, чтобы разбить лед и набрать воды в котел. На белых снегах лежала редкая ночная тьма. Еще не убралась луна, и деревья бросали на сугробы длинные тени, сверкал, искрился снег. Видно было далеко. Угрюм взглянул на нижнюю часть острова, ему показалось, что там торчит колода, которой не было вечером. Он поставил котел возле застывшей проруби, поскрипывая снегом, пошел вдоль берега и почудилось, будто колода шевельнулась. Промышленный перекрестился, поправил топор за кушаком, стал двигаться тише. В пятнадцати шагах то, что он принял за колоду, явно шевельнулось. Обернулся черный дьяк Герасим и молча поманил к себе рукой. Угрюм подошел, удивляясь, что тот сидит среди ночи или в такую рань, может быть, и спать не ложился. Герасим указал рукой вниз по притоку на чуть видневшийся дальний коренной берег реки.

— Ничего не слышишь? — спросил шепотом.

Угрюм прислушался: ни ветра не было в тихой ночи, ни скрипа деревьев. От стужи потрескивал лед. Он пожал плечами:

— А что?

— Вроде колокола звонят к заутренней, — чуть громче сказал дьяк. — Чудное место, я его давно приметил. Иногда в тумане или в ночи видится город с церквями, с башнями.

— Чудится! — со сдавленным смешком прошептал Угрюм.

— Может, чудится, — неуверенно пробормотал Герасим, снова прислушиваясь. — Может, знак, что городу здесь быть и место надо намаливать, — проговорил в голос. — По разумному рассуждению — место благое: и на Ламу путь, и в Мунгалы, и в братскую степь — все отсюда!

— Михей говорит, будто енисейский старец Тимофей двадцать пять лет намаливал и пророчил город по государеву указу, — прислушиваясь к ясной ночи, прошептал Угрюм. — Пусть не город — только острог поставили. Все равно сбылось!

— Он нас благословил идти за Енисей! — вздохнул Герасим и размашисто перекрестился.

В тот же день, вскоре после полудня, Угрюм дошел до первого стана. По пути он набил тетеревов из лука, вывалил их из мешка у входа, развел огонь в выстывшем очаге. К ночи прогрел балаган, закидал его снегом с трех сторон, стал печь птицу и наконец-то восчувствовал праздник.

За две недели до Евдокии-свистуньи передовщик приметил у соболя первые признаки линьки и велел забить, раскидать все настороженные клепцы. Добычу зимы промышленные делили на двоих. Пантелей разложил на две кучи всех соболей, белок и лис, предложил Угрюму взять любую. Тот метнул на передовщика плутоватый взгляд и выбрал ту, что показалась ценней.

Погорельцы на острове тоже не теряли время даром. Когда двое промышленных

вернулись, возле балагана лежали грудой тесаные бревна на новую избу. Зимовейщики с радостью встретили Угрюма и Пантелея, угостили печеной рыбой, отваром брусничного листа. Больше у них ничего не было.

В пять топоров за неделю, без спешки, на острове была срублена новая добротная изба. Покрыли ее драньем из лиственницы, сложили очаг. Монахи хорошо протопили жилье, чтобы не пахло сыростью, и освятили его. Пантелей принялся мастерить седло, Угрюм, уже кое-чему научившись, делал другое, на продажу.

И вот под полуденным солнцем по льду притока потекли ручьи. Возле берегов появились пропарины, в которых так тесно толклась рыба, что ее можно было черпать ведром. Оттаяли, зажелтели прошлогодней травой берега, сладко запахло березовым соком. К лету каждый готовился по-своему. Угрюм за протокой, напротив острова, поставил балаган, рядом с ним сделал навес из бересты, очистил крепкий камень вместо наковальни, загодя жег древесный уголь, шил мехи для кузни. Работы было много, время поторапливало. Каждый день он с волнением посматривал на восход, в сторону далеких холмов, не покажутся ли стада братского скота. Как-то в полдень заметил трех всадников с длинными мунгальскими пиками. На низкорослых резвых лошадках они переправились через реку по сырому, рыхлому льду. За каждым всадником в поводу шли по две лошади, на одной из них Угрюм разглядел переброшенное поперек хребта тело человека. Одеты были всадники по-братски, в халаты, правили своих коней к острову, на курившийся дымок. Зазывая их к себе, Угрюм стал стучать обушком топора по наковальне-камню. Мунгалы заметили его и повернули к нему. Угрюм уже начал раздувать горн, сложенный из камня, но всадники, подъехав к балагану, не подумали спешиться, с беспристрастными лицами сбросили на землю связанного мужика и зарысили в сторону холмов.

Слегка удивленный, Угрюм подошел к телу без признаков жизни, перевернул его на спину и едва узнал Синеуля. Лицо новокреста было синим, в черных, кровавых коростах, в заплывших щелках глазниц блеснули живые зрачки. Синеуль тихо простонал. Угрюм закричал на остров, вызывая зимовейщиков. На берег протоки вышел старый Михей, затем по шаткому, ненадежному льду переправились монахи, осмотрели Синеуля, положили его на нарты и отвезли на остров. К вечеру новокреста привели в чувство. Другим утром он уже говорил, сдержанно ворочая языком и боясь разбередить разбитые губы. Монахи стали выспрашивать, кто бил и за что. Тунгус болезненно вздыхал, водил по сторонам черными зрачками в набухших синих веках.

— Проповедовал Слово Божье! За то и бит!

Из расспросов выходило, что побили его не мунгалы, а чилкагирцы. Мунгалы, приезжавшие к ним за соболями, только привезли новокреста к острову.

— Видать, мучил свояков проповедями? — похохатывал Пантелей.

— Дикие они! — шипел Синеуль и бросал на передовщика обидчивые взгляды. — Ничего не понимают…

На Зосиму и Савватия пчельников, в середине апреля, в долине Иркута показался братский скот. Пантелей вместе с монахами переправился на берег и ушел к кочевникам. К вечеру он подъехал к кузнице на коне, а в поводу привел за собой еще двух старых, смирных лошадок.Угрюм знал, что весной скотину дешево не продают. Расспрашивать про торг не стал, понял, что из добытого зимой у Пантелея осталось не больше десятка хвостов. Жизнь так и не научила стареющего казака житейской бережливости, а Синеуль опять прилаживался к нему в захребетники.

Проживая особняком в балагане, Угрюм закончил делать седло, был доволен своей работой и выставил его на виду, под навесом. Наконец к нему потянулись кочевники со всякими просьбами, повезли молоко, творог, масло и все поглядывали на выставленное седло, приценивались. Угрюм азартно ковал, чинил седла и посуду, затылком чувствовал, что и на острове жизнь кипит, но сходить к зимовейщикам было некогда. «Весну пролежишь — зимой с сумой побежишь!» — приговаривал под нос, работая с утра до вечера.

Купленные Пантелеем кони три дня пропаслись спутанными возле кузницы, на четвертый ранним утром при синем небе и розовеющем востоке на берег переправились все островитяне. Угрюм услышал шум их голосов, выглянул из балагана с одеялом на плечах. Бывшие связчики седлали и грузили коней, прощались и кланялись друг другу. К немалому удивлению Угрюма, одного из коней взял под уздцы Ермоген, двух других Пантелей с Синеулем. Они подвели их к Ангаре, еще покрытой черным ноздреватым льдом. Ощупав его лыпой, Пантелей осторожно потянул коня к другому берегу. Лошадка, скользя копытами, опасливо пошла за ним.

Трое стали переправляться, что было небезопасно: со дня на день, с часу на час лед мог сдвинуться. Герасим с Михеем стояли на берегу и рьяно молились, касаясь пальцами земли в поясных поклонах. Глядя на них, Угрюм обидчиво шмыгнул носом: люди, с которыми промышлял и жил, ушли не прощаясь, правда, и он не вышел к ним из балагана, боялся, что попросят седло для третьей лошадки. Не попросили. Синеуль увел неоседланного коня. Всадники благополучно переправились. Только возле яра, у

самого берега, где течение подмыло лед, конь Пантелея провалился по брюхо, но вскинул голову, легко выбрался на сушу и так затряс кожей, что на хребте ходуном заходило седло вместе с притороченными к нему пищалью, шубным кафтаном и одеялом. Монах и тунгус обошли промоину стороной, вывели лошадей на яр, обернувшись, замахали руками Герасиму с Михеем.

— В добрый путь! — махнул им и Угрюм. Сбросил с плеч одеяло, вылез из балагана, стал раздувать горн.

К полудню к его стану подъехал братский пастух с черным лоснящимся лицом. Покачивая головой и горестно пыхтя, показал стершиеся удила. Через слово на третье Угрюм договорился с ним и потребовал за работу масла.

Прошла неделя. На остров он не переправлялся, рыбу на еду не ловил, на берег выходил, только чтобы зачерпнуть воды. Мясо в его балагане не выводилось, он заработал с полпуда проса и варил кашу, густо заправляя ее коровьим маслом. Вскрылась Ангара, Иркут давно очистился ото льда. Герасим время от времени переправлялся через протоку на берестянке, ходил к братам в юрты, заходил и к Угрюму, сидел возле его огонька. Душевного разговора между ними не получалось. Промышленному все казалось, что черный дьякон поглядывает на него с укором и ждет покаяния после того, как спалили его добро, нажитое годами тяжких трудов.

Вечером, глядя в высокое небо, Угрюм вспоминал о своей прежней жизни. Другая зима его не пугала: на прежних станах и ухожьях, если их не пожгут, не порубят тунгусы, на всем готовом он мог промышлять соболя в одиночку, мог сделать легкую лодку и уплыть по течению к Енисейскому острогу. Это была воля! Не та, о которой лопочут чуть живые от изнурения или пьяные промышленные, а настоящая, как он ее понимал.

В очередной раз возвращаясь на остров, дьякон обошел его стан стороной. В это время Угрюм варил жирную баранину. Он усмехнулся вслед монаху, подумав, что того смутил дух свежего мяса.

Прошла неделя, затем другая, у озер показались воинские люди, четверо из них направили своих коней к его кузне. Один был в остроконечном блестящем шишаке, его дорогой камчатый халат перепоясывал серебряный пояс, серебряная пластина висела на груди. Баатар ехал впереди на горячем жеребце. Три вооруженных братских мужика рысили следом. Когда они остановились возле кузницы, Угрюм узнал в богатом всаднике брата князца, с которым встречался на Елеунэ. В тот год с большой ватагой под началом Пантелея Пенды он возвращался с Нижней Тунгуски.

Баатар был сухощав, с продолговатым, а не круглым, как обычно у братов, лицом, нос острый, похожий на клюв хищной птицы, глаза большие, черные, с пристальным, немигающим взглядом. Угрюм безбоязненно вышел из балагана и поклонился прибывшим. Те с любопытством уставились на него. Заносчивый боевой холоп бросил на землю полоску железа. Князец ловко захлестнул плетью заднее копыто своего жеребца, задрал его, показывая, что конь потерял подкову. Затем указал на двух лошадок в поводу.

Всадники спешились, сели на траву, кони опустили косматые шеи, стали с хрустом щипать весеннюю зелень. Угрюм со знанием дела раздул горн, стал калить железо. Он поглядывал на баатара и все не мог вспомнить, как сказать по-братски «брат», зато вспомнил имена братьев.

— Куржум-баатар! Бояркан-хубун*! — и угодливо улыбнулся.

Князец с любопытством окинул кузнеца пристальным, немигающим взглядом. Его молодцы приглушенно загыркали, кивая на Угрюма.

— Пянда! — пролопотал один и провел ладонью по дородной груди, будто оглаживал бороду.

Угрюмка радостно закивал. «Был гостем на Зулхэ!» — нескладно сказал по-братски. Как назваться гостем — не знал, назвался, как запомнилось, мангадхаем**. Балагатские молодцы захохотали, Куржум улыбнулся, вспомнив встречу с промышленными.

Угрюм указал, чтобы резвого жеребца ввели между вкопанных им в землю столбов и привязали. Работал он на совесть, то и дело смахивая рукавом пот со лба. Срезал наросты с копыт, очистил их, подогнал подковы, надежно расклепал гвозди, сам остался доволен работой и по лицам всадников понял, что угодил им. Остатки железа они не забрали, вдобавок к нему Куржум бросил на землю серебряную подвеску.

Угрюм взглянул на нее, метнулся в балаган, выскочил оттуда с двумя соболями и с поклоном подарил их Куржуму. Молодцы одобрительно загудели. Баатар принял подарок, потряс мех и спрятал в седельную суму. Угрюм поднял подвеску, подбросил на руке, на ней был выбит простенький узор. Этим серебром можно было украсить седло или уздечку и продать дорого.

Какие дела привели балаганцев на Иркут, часто ли они бывают здесь, он не знал, но остался доволен встречей и все ждал от нее каких-то перемен. Предчувствие его не обмануло. На другой день к балагану подъехали двое: один из вчерашних косатых бое-

вых холопов князца, другой был незнаком Угрюму. Он приветливо закивал всадникам. Незнакомец сказал по-тунгусски, что у булагат нет своего дархана*** и Куржум зовет чужака на службу. Пока Угрюм думал и переспрашивал, косатый молодец отвязал от седла и бросил на землю мешок.

Угрюм вытряхнул из него все добро и ахнул. Там был камчатый халат и красные

**Хубун — титул главы родоплеменного объединения у бурят в XVII веке.*
**Мангадхай — антропоморфное чудовище, олицетворение несчастий (бур.).*
**Дархан — кузнец (бур.).*

сапоги. Братские мужики захохотали, поворачивая коней, а он сбросил с себя кожаную рубаху, чирки, стал примерять халат и сапоги. Кроме них в мешке была шелковая рубаха. Угрюм сбегал к воде, ополоснулся в студеной протоке, надел новую рубаху и зажмурился от удовольствия, впервые всем телом ощутив легкость и ласковое касание шелка.

На другой день, когда вдали показался знакомый всадник с лошадью в поводу, он был собран в путь. Котел, топор, молоток, железо и остатки еды вошли в один мешок, одеяло, шубный кафтан, крепкие еще бахилы, ичиги — в другой. Шапка была у него суконная, обшитая соболями. Поверх всего набитого в мешки добра из одного батожком торчал обгоревший ствол пищали.

Как-то неловко было уезжать, не попрощавшись с Герасимом и Михеем и отчего-то стыдно встречаться с ними, говорить, куда едет. Угрюм решительно тряхнул головой, оседлал коня своим седлом, сел в него, оглянувшись на дымок, поднимавшийся над островом, вздохнул и подумал: «Все равно узнают от братов, с кем и куда уехал». Клацая железом в мешке, лошадь двинулась в ту сторону, откуда в прошлом году он пришел со стругом и со стертыми в кровь плечами.

Глава 3

Болота бескрайние, грязи непролазные! — бормотал приказный Маковского острога, с тоской оглядывая окрестности. — Видать, отсюда и приберет Господь за грехи наши!

— А ты откуда хотел? С Тобольского города? — выцарапывая из бороды запутавшуюся щепу, съязвил Иван Похабов. — Или из царского кремля?

Матвейка, не глядя на него, тяжко вздохнул, повел хмельными, выцветшими глазами, невольно выдавая тайные стариковские помыслы, что ему, тобольскому сыну боярскому, прослужившему на Енисее лучшие годы, можно бы предать душу в руки Божьи поближе к столице Сибири.

Сколько помнил его Иван, тот всегда казался ему старым, но обветшал едва ли не за последний год. У крепкого седобородого служилого вдруг опустились плечи, потускнели глаза, он стал приволакивать ноги, жаловаться на хвори и отлынивать от работ. На этот раз казаки со стрельцами весь день махали топорами, к вечеру плетьми висели руки, а он, просидев возле печки и тайком попивая винцо, жаловался на кручинную тоску-печаль, грозил помереть.

С тех пор как Иван Похабов и Василий Колесников были присланы на службы в Маковский острог, дед Матвейка бездельничал на своем окладе. Отписки и те сочинял за него Василий, а писал Иван. По правде он с Колесниковым и держал приказ по острогу, Матвейка же был при них вроде разрядной печати. Отдыхал сын боярский на старости лет: думая о прожитом, собирал ягоду, курил вино, попивал греховно, в одиночку.

— Хоть бы в Енисейском! — продолжал лепетать заплетавшимся языком. — Все над рекой, на самом краю Сибирской Руси, а не среди здешних грязей!.. — Приказный встрепенулся, почувствовав молчаливое недовольство служилых, заискивающе польстил: — А вы хорошо поработали.

Ко всему старческому занудству он стал скуп. Неохотно, со многими вздохами, достал из-за печки наполовину опорожненный кувшин, налил по чарке Похабову, братьям Сорокиным и стрельцу Колесникову.

— Благодарим за угощение! — повеселев, перекрестились служилые, выпили, обсосали усы, дожидаясь второй чарки. Не налил, хрен старый. Иван поднялся, подпирая шапкой низкий потолок.

— Приглядывайте тут! — буркнул Сорокиным, которые оставались на ночлег в гостином дворе. — Нас с Васькой жены ждут!

— Раз ждут — надо идти! — плутовато закивал Якунька Сорокин. — Мы покараулим! — бросил томный взгляд на кувшин. Кабаньим пятаком шевелились в бороде чуткие выдранные палачом ноздри.

Стрелец и казак вышли из избы гостиного двора. Иван оглянулся на казенный амбар, накрытый драньем, на баньку у ручья. В оконце избы засветилась зажженная лучина. Быстро темнело. До острожка, в котором заперлись бабы с детишками, было с полверсты.

— Успели к дождям накрыть амбар, — похвалился Колесников, по-куньи зыркая по сторонам острыми глазами. — Остальное доделаем зимой.

По прибытии на здешние службы им, четверым с братьями Сорокиными, наказали принимать в государев амбар рожь, хранить ее и возить через волок из Маковского в Енисейский острог. Третий год сряду они этим и занимались, да брали десятину с воровских промышленных ватаг, пытавшихся обойти стороной Енисейский острог, собирали ясак с ближайших кетских родов. Каждый год им присылали в помощь стрельцов или казаков, но те подолгу не держались. А эти притерпелись и будто приросли к здешним болотам.

Волок из верховий Кети в Кемь с каждым годом становился все оживленней. Кроме казенных товаров и служилых через него шли торговые и промышленные люди, шли гулящие в поисках заработков и лучшей доли. Из болот между Обью и Енисеем выползали промышленные ватажки. Летом народу собиралось множество, в остроге становилось тесно, начинались шум, скандалы, драки. Не без умысла здешние служилые выбрали место для гостиного двора подальше от острожка.

— Разбирает старого! — обидчиво шмыгнул носом Василий Колесников, раззадоренный чаркой слабенького ягодного вина. — В печали! — передразнил приказного, подражая его голосу: — Не поставили енисейским воеводой! А нам теперь задарма его оклад служить, пока Бог не приберет? Буду в Енисейском, доложу воеводе, что бездельничает. Был бы грамотный, как ты, написал бы царю: пусть снимет с приказа и тебя в его оклад поставит.

Все правильно говорил стрелец, но Иван жалел старика, с которым не раз служил давешние годовалые службы.

Калитка в остроге была подперта изнутри жердью, к ней была привязана тайная бечева, спрятанная между бревен. Иван впотьмах нашарил ее конец, потянул. Приподнялась жердина. Он толкнул калитку плечом.

Острожек был без башен, в три избы, амбар и баня, между стен поставлен стоячий тын. Семейному казаку или стрельцу давали жилье по указу в две с половиной сажени квадратных, сыну боярскому на сажень больше. Иванова изба была угловой, печь занимала половину жилья, в стенах заткнутые мхом бойницы. Привычная теснота, да еще без порядка изрядно донимала его. Черный от сажи котел с выстывшей кашей стоял на полу, рядом с ним валялся шубный кафтан, немытые после еды ложки были разбросаны по лавкам и на полу. Возле печи над ушатом с водой горела смолистая лучина, освещая неприбранное жилье. Иван устало опустился на лавку, стал развязывать скользкую бечеву на промокших бахилах.

Едва хлопнула дверь, из-за печки выскочила жена: нос испачкан сажей, подол мукой. «Пелашка — рвана рубашка». Который год уже был женат Иван, а все не мог привыкнуть к обыденной для жены грязи и к беспорядку. Кори не кори, бей не бей — чище и опрятней Меченка не становилась. Прежде он и знать не знал, думать не думал, что на Руси водятся такие, как она, замарашки.

Огляделся брезгливо.

— Хоть бы убрала! — кивнул на котел.

— Рожь молола! — слезно вскрикнула жена и обиженно поджала губы. — Якунька с рук не слазит. Весь день в хлопотах.

Она знала, что муж не любит беспорядка, иногда старалась все расставить по местам, но у нее тут же появлялась нужда что-нибудь искать, и снова все горшки и плошки оказывались на полу.

— Колесничиха тоже в хлопотах! — безнадежно проворчал Иван. — Корми давай! Да вытри длинный нос.

Перебирая по лавке ручонками, к отцу двинулся малолетний сын. Сделал шаг, другой, пугливо замер. Иван никогда не повышал на него голоса, но доверия и ласки между ними не было. Он приглядывался к Богдану*, пытаясь высмотреть кровь Максимки Перфильева, но узнавал в нем только брата Угрюмку. Жену за девичий грех Похабов никогда не корил: знал кого брал, но молчание и равнодушие мужа к сыну обижало ее больше укоров. Иной раз она рыдала, слезно доказывая, что это его родной сын, а сама она досталась мужу честной и невинной. Иван

**Богдан — богоданный сын — сын жены, не родной отцу.*

молча выслушивал ее вопли и стенания, не спорил, только щурил глаза в усмешке, слыхал от людей: девка на Дмитра хитра — черта обманет.

Вот и теперь вместо того чтобы кормить мужа, Пелашка бестолково носилась по избе, терла нос подолом, крутилась без всякой надобности, а котел с кашей так и оставался на полу. Иван поднял свою ложку, ополоснул в ушате под лучиной, поставил на стол холодный котел, перекрестился и стал есть. Тесто у Меченки подошло к ночи, а печь выстыла. Она побежала из избы за дровами, возвращаясь, запнулась о порог. Ко всему прежнему беспорядку по тесной казачьей избенке разлетелись поленья. Иван облизал ложку, ткнул ее в мох под потолок, где жене не достать, терпеливо положил три поклона на темнеющий образок и полез на полати. Жена недолго шебаршила у

печи, хлеб так и не поставила. Едва укачала сына, мышью вскарабкалась к мужу, знала: ночь простит и помирит. Хоть в этом уродилась женой. Васька жаловался, что пока не принудит, Капа не вспомнит про супружеский долг.

Утром нетерпеливо, по-свойски, кто-то застучал в ворота острожка.

— Спите, нехристи, в праздник? — гнусаво завопил за тыном Якунька Сорокин. Иван высунул голову из оконца. Бусило* низкое небо. Рассветало. Васька Колесников прошлепал босыми ногами по плахам двора.

— Что надо? — окликнул казака, снимая закладной брус.

— А то! — как распаленный петух, ворвался Якунька и хищно повел по сторонам драным носом. — Стрельцы с Оби в Енисейский возвращались и заплутали в протоках. Среди ночи Мишка Стадухин приполз на карачках, дым учуял… Служилые с бабами и с детьми пропали. Искать надо!

— Своих-то на кого бросим? — растерянно взглянул на Ивана Василий.

— Твоя кобыла ухватом от тунгусов отобьется! — хохотнул Якунька.

После того как Колесников отбил невесту у брата, он не упускал случая посмеяться над Каппой, припомнить стрельцу его грех.

— Останься! — приказал Иван и стал собираться.

К утру тесто в квашне опало, скисло и приторно засмердило. Кроме засохших в котле остатков каши, подкрепиться было нечем. Василий мигом оценил услугу Ивана. Не успел тот промазать дегтем просохшие бахилы, в его избу, сгибаясь в низкой двери, вошла Капа и трубно проголосила, глядя на Ивана большими детскими глазами:

— Васька велел накормить! — Охнула, хлопнула по бокам длинными рукамми, увидев опавшее тесто, испуганно взревела, взглянула на высунувшуюся с полатей заспанную подругу: — Я Ваньку у себя накормлю! А после хлеб испеку на всех! Пропадет ведь тесто. Грех.

Пелашка заметалась по избе, подбирая с полу разбросанные поленья. Капа поманила Ивана в свою опрятную избенку. «Что с того, что глупа? — думал он, надевая кафтан. — На кой он, бабе, большой ум?» Не глядя на жену, обмотался кушаком, сунул за него топор, повесил на бок тесак, перекинул через плечо лямку патронной сумки, привычно щелкнул пряжкой шебалташа, стянув ремни на бедрах, чтобы не болтались ни сумка, ни тесак. Подхватил ручную пищаль и хлопнул дверью. Подкрепившись у Колесникова, он быстро зашагал к недостроенному гостиному двору.

Когда Иван вошел в гостевую избу, Мишка Стадухин, обессиленный и голый, спал на лавке возле печи, его лицо кривилось от претерпеваемой боли, у ног грудой валялась грязная одежда, в которой приполз. Пищаль и сабля, протертые ветошью, стояли в головах, под рукой. Дед Матвейка подбрасывал в печь щепу, тихо охал и жалел пропавших стрельцов. В избе было жарко. Едва подошли Иван с Якунькой, лицо Стадухина напряглось, стало строгим, он открыл глаза и сел, свесив с лавки голые ноги. Вид стрельца был вполне отдохнувшим. Невысокий, будто скрученный из жил, он с удалью тряхнул головой, мысленно отгоняя пережитое.

— Дай сухую одежу! — приказал, начальственно глядя на Ивана. — Без меня вам никого не найти.

— Дай что-нибудь из своего припаса! — Иван обернулся к приказному.

**Бусило — моросило (сиб., устар.).*

— Что дать-то? — сварливо заохал старик. — С себя только снять?

— С себя сними! — приказал Иван, начиная злиться. — В избе можно голым посидеть… — Стрельца же строго спросил: — Что в болото полезли?

— А заплутали! — Тот передернул жилистыми плечами, потупился, скрипнул зубами. — Не тем притоком шли. — Резво поднялся на ноги. Лицо его болезненно покривилось и тут же оправилось: — Много раз говорил сотнику — не туда идем, а он грозил заткнуть мне глотку старым ичигом. Дозатыкался! Утоп в трясине! Прости, Господи! — размашисто перекрестился с яростным лицом. — Хорошо, баб и детей оставили на острове у остяцкого шамана. Не то уморили бы всех до смерти.

— Отчего разбрелись-то? — мягче стал допытываться Иван. — Струги где?

— Бросили! — неохотно признался стрелец. — Река кончилась. Пошли напрямик, увязли! — вяло махнул рукой, исподлобья метнул быстрый взгляд в красный угол.

Старый приказный с жалобами и ворчаньем достал из сундука кожаные штаны, такую же рубаху, снял с себя стоптанные ичиги. Мишку приодели, он нацепил саблю, вытащил из мокрых, раскисших бахил засапожный нож. Братья Сорокины и Похабов двинулись по болоту следом за ним. Под ногами хрустели заледеневшая к утру трава, покрывшиеся льдом лужи. Местами видны были застывшие Мишкины следы, где он полз и лежал. Шагая за ним, Иван замечал, что каждое движение дается стрельцу с усилием, но он шел в промокших ичигах, еще и поторапливал Сорокиных, указывая на чахлые колки больного, низкорослого березняка, которые надо было осмотреть.

Первым нашли Дунайку Васильева. Молодой стрелец, облепленный тиной и грязью, сидел на кочке и спал, уронив голову на грудь. Между его ног была зажата тяжелая крепостная пищаль. Васька Черемнинов в полуверсте жег костерок на сухом островке

и сушился. Завидев Стадухина, стал матерно ругать его. И быть бы драке между чуть живыми от усталости людьми, если бы Иван не растащил их.

Еще двоих нашли живыми по пояс в трясине, в обледеневшей одежде.

— Кому силы девать некуда, тащи товарища! — приказал Иван.

Дунайка с несчастным, разобиженным лицом, мотаясь как пьяный и заплетаясь, потащился по свежему следу, дубиной, он волок за собой по грязям пищаль. Двоих, обессилевших, чуть не околевших в трясине, повели под руки Черемнинов и Сорокины.

К полудню Похабов со Стадухиным нашли еще двух стрельцов. Стали возвращаться вчетвером. Возле избы Мишка закачался, стал запинаться и падать, потом подполз к стене, сел, навалившись на нее спиной, и уснул. Без чувств его затащили в избу братья Сорокины.

По их следам к вечеру вышли из болот стрельцы Терентий Савин с Дружинкой Андреевым. Для них, последних из блуждавших, возле гостевой избы стреляли холостыми зарядами. Якунька Сорокин, не в силах сдерживать злой язык, подначивал, что блуждали они в местах, которые проходили не раз и не два.

— Тайгун осерчает — меж трех сосен обведет и закружит! — обидчиво оправдывались измученные люди.

Те, что успели прийти в себя, парились в бане и рассказывали про остров, где оставили жен с детьми и двух служилых. Сотник Поздей Фирсов по пути делал затеси. Когда он утонул, стало не до них: выходили кто как мог. У большинства стрельцов, выбравшихся из болот, распухли ноги. Идти на поиски оставленных ими на острове могли только двое: отдохнувший Мишка Стадухин и Дружинка Андреев, который говорил, что помнит путь. Он считался умным и осторожным стрельцом, ему верили. Искать затеси сотника все сочли безумием.

Утром казаки Сорокин с Похабовым и два стрельца отправились в путь на легких берестянках. Разбивая лед веслами, они весь день блуждали среди проток. Дружинка вскоре признался, что заплутал и не знает, где остров. Опять стреляли холостыми зарядами, прислушивались, ночевали у костра. На другой день нашли брошенный струг. Вскоре услышали ответные выстрелы.

Стрельцы и женщины с детьми были живы. Они не голодали, так как сотник оставил им весь припас. Бабы стадом толклись на топком берегу и ревели как коровы. Молчала одна сотничиха с бледным как снег лицом. Она была брюхата, прижимала к груди двух притихших сыновей и глядела на стрельцов страшными, вопрошающими глазами.

— Взял дедушка! — смущенно оправдывался перед ней Стадухин. — Сами едва не потопли, а вытянуть его из трясины не смогли… А ты не пропадешь! Найдем тебе другого мужа на хорошем окладе.

В стороне возле небольшого дымного костерка сидел на корточках старый кетский шаман. Лицо его было сморщенным, как засохший гриб, к тому же черным и бугристым, как березовый нарост чаги. Седые длинные волосы свалявшимися прядями свисали на грудь и спину, на плечи была накинута парка, шитая из разных шкур, со множеством побрякушек и звериных хвостов. Иван перекрестился от осквернения и подошел к его огоньку.

— Правду он сказал? Правду? — с воплями кинулась к шаману сотничиха. Иван невольно перехватил ее руки. — Колдун проклятый! — верещала вдова и обливалась слезами, обвисая на казаке. Женщины подхватили ее под руки, увели к стругу.

Старый шаман даже глаз не поднял на кричавшую сотничиху. За его спиной был ветхий балаган, на пнях вырублены личины, медвежья шкура с длинными когтями висела на жерди.

Женщин и детей стрельцы усадили в струг. Шаман равнодушно принял связку набитых в пути гусей, с безразличным лицом ощупал подаренное ему в почесть и благодарность одеяло. Нельзя было ссориться с верными ясачниками Маковского острога. Чем он обидел сотничиху, Иван спрашивать не стал. Вдруг глаза шамана, глубоко запавшие в морщины, остановились на золотой пряжке шебалташа. Лицо старика оживилось, он с любопытством взглянул на Ивана, потянулся к золоту скрюченными пальцами.

— Дарю в почесть! — Иван охотно скинул с себя опояску и бросил ему на колени.

Шаман судорожно и брезгливо, как змею, сбросил шебалташ на землю. Потом опасливо ощупал бляхи, рассматривая их с непроницаемым лицом. Соединил и разъединил, затем заложил пряжку между ладоней, смежил морщинистые веки и тихонько запел, покачиваясь на корточках. Ивану показалось, что старик на свой лад радуется подарку.

Он еще раз поблагодарил его по-остяцки и махнул рукой. Дружинка на корме струга уже отталкивался шестом от берега. Груженое судно не двигалось с места. Стадухин с носа окликнул Ивана, чтобы помог толкнуть струг на воду, и тот уже обернулся к товарищам, беспечально расставаясь с бляхами, доставшимися ему под Тобольском чудно и даром. Но шаман открыл глаза, поднялся, что-то забормотал и втиснул шебалташ казаку за кушак.

— Говорит, нельзя дарить! — громко перевел его слова Мишка Стадухин, не раз ходивший к кетам за ясаком. — Говорит, голова твоего брата живая, скоро ты с ним встретишься! — Стрелец зло хохотнул и сплюнул в протоку. — Дикие, что с них взять?

Иван неохотно забрал шебалташ, столкнул на воду струг, сам сел в берестянку. Скрежеща веслами и шестами, суда стали продвигаться среди травы и тины. Милостью Божьей они вышли к Маковскому острожку все живы.

На другой день стрельцы и женщины с детьми отдыхали, потом стали собираться в Енисейский острог. Приказный дал им двух казенных коней с волокушами, и двух своих служилых с отпиской для воеводы, а сотничиху звал за себя в жены.

— Хитер! Меня при себе держит! — со злым лицом крутился возле Похабова Василий Колесников. — Себя, поди, в отписке нахваливает. Ты там скажи воеводе, нет от него пользы, только оклад проедает да вино тайком курит.

Стрельцы покидали на волокуши пожитки, посадили детей, помолившись, двинулись на восход, по дороге, прихваченной инеем и хрустким ледком. Служилые вели коней, шагали впереди, бабы шли, держась за оглобли. Так они добрались до Кеми, в зимовье поменяли лошадей на струг и сплавились к устью, оттуда Енисеем поднялись к острогу.

Отряд стрельцов был замечен на Енисее. Едва они подвели струг к причалу, острожные ворота распахнулись, вышел воротник, обернулся к прибывшим спиной, к часовне лицом, низко откланялся лику Спаса. За ним, тяжко ступая и мелко крестясь, из ворот вышел поп Кузьма. Сотничиха кинулась к нему со слезами, припала к его груди, забилась в рыданиях. Попа окружили стрелецкие жены, слезно лопоча о перенесенных муках. С умилением в глазах Кузьма оглаживал их грубыми мозолистыми руками, утешал.

Иван не был в Енисейском с весны, бросились в глаза перемены. Прежде было две башни, стало три, из них две — проездные, шагов на десять был расширен частокол, прибыло изб в посаде. Филипп Михалев между службами срубил здесь дом. Крестясь и кланяясь на образ над воротами, Иван вошел в острог. Стены церкви поднялись под стропила, за лето была срублена воеводская изба. Как вестовой Похабов первым делом направился к воеводе, по пути встретил Вихорку Савина.

— Привел тебе брата живым! — поприветствовал его, чуть помявшись, спросил: — Жена жива-здорова?

— Что ей сделается? — грубовато ответил стрелец и побежал за острог, к брату Терентию.

Иван сбил шапку на ухо, двинулся прямиком в съезжую избу. Стареющий воевода сидел за воеводским столом, не смея встать навстречу казаку. Младшенькая дочь-отрада чесала ему бороду гребнем. Она то и дело соскакивала с коленей отца, отступала на шаг, любовалась работой, снова что-то поправляла. Воевода как кот жмурился от удовольствия, боясь нечаянным движением или взглядом обидеть дочь.

— Здорово живем, кум? — весело смахнул с головы шапку Иван и стал отвешивать поклоны на красный угол.

Воевода вместо приветствия помигал ему и указал глазами на лавку против себя.

— Ну все, милая! — ласково поторопил дочь. — Красивей уже не сделаешь!

Отроковица, опекавшая вдового отца как взрослая женщина, строго взглянула на казака и молча вышла из горницы.

— Невеста! — оправдываясь, с обожанием и тоской взглянул ей вслед отец, выдавая печальные мысли. — Не знаю, как отдам? За кого? Как без нее жить буду?.. А отдать надо! — вздохнул. — Разве что вместе с собой в приданое? — улыбнулся в пышную, причесанную бороду.

— Я без тебя ни за кого не пойду! — услышав сказанное, высунулась из двери отроковица, смутилась казака и с важностью прикрыла дверь.

— Как добрался?

— Слава Богу! — поморщился Иван и передал отписку приказного. — Гостевой двор построили, амбар накрыли. Рожь сухая теперь. — Он помялся, намекая на недобрую новость.

— Говори! — насторожился воевода.

— Сотник Фирсов утонул! Ну, да об этом тебе стрельцы расскажут.

— Прими, Господи! — тяжко поднялся под образа воевода, всхлипнул: — Добрый был стрелец! Из старых, настоящих! Вот ведь на днях вспоминал про него! — грузно опустился на лавку. Тряхнул бородой, утешаясь и отвлекаясь от горестных мыслей. — Наше дело служилое! — Отпер сундук, вынул узелок, развернув, высыпал на выскобленную столешницу несколько камешков. — Скажи, что это?

Иван долго разглядывал, вскинул глаза на воеводу:

— Руда?

— Может быть, и руда! — согласился тот. — Я не рудознатец, но вещует сердце, что это серебро. Гляди-ка! — бросил на стол битый ефимок*. Велика и богата земля наша, — прошептал со слезным умилением. — Но серебра и золота Бог не

**Ефимок — талер с выбитым на Московском денежном дворе клеймом. Приравнивался к рублю.*

дал, как другим странам. Оттого промышляем рухлядь и меняем у латинян, — печально кивнул на ефимок.

— Похоже! — пробурчал Иван, сравнивая талер с куском руды.

— А спроси, откуда? — плутовато щурясь, взглянул на него воевода.

— Откуда? — покладисто переспросил Иван.

— От князца Тасейки промышленные люди привезли. Говорят, у глухарей в кишках такие камушки находят. А этот, — шевельнул пальцем другой кусочек руды того же цвета, — с другой стороны. С Рыбного острожка, который нынче тунгусы сожгли. И все на Верхней Тунгуске, недалеко от нас… Вдруг по серебру ходим, сами того не зная? — поднял на Ивана туманные, увлажнившиеся глаза. — Государь наш, бедненький, за каждый талер еретикам кланяется. А мы найдем руду, послужим ему верной службой и он нас милостями не оставит.

Иван с возмущенным видом замотал головой, спросил с укором:

— Мне-то когда добрую службу дашь? Век, что ли, в ямщиках ходить?

— Максим Перфильев, по слухам, на Стрелке, — посмеиваясь, потер руки воевода. — Ты мне здесь нужен! — сказал ласково, заискивающе, обнадеживая. — Мало людей, а верных — по пальцам можно счесть.

Распахнулась дверь, в воеводскую избу ввалилась толпа прибывших стрельцов, смахнули шапки с голов, покрестились на красный угол, расселись по лавкам.

— Наслышан про наше горе! — с печальным лицом кивнул на Ивана Хрипунов. — Тяжкая потеря. Батюшке сказали?

— Завтра с утра панихиду отпоет! — за всех ответил Терентий Савин. — А пока велел всем поминать его и читать по Псалтырю.

— Эх, Поздеюшко, удалая головушка! Рученька моя правая! — слезно всхлипнул воевода. — Ну, да все мы — люди служилые, все под Богом ходим! Государеву окладу нельзя быть впусте, думайте, кого поставим сотником для крепкой власти. — Воевода помолчал, вздыхая и покачивая головой, затем, стряхнув с глаз печаль, заговорил о деле: — А вызвал я вас с Кети не по прихоти. Как ни отписывался, как ни оправдывался малолюдством, и в эту зиму велено нам, енисейцам, возить рожь и соль в Красные Яры, Дубенскому. Ждали облегчения, что прикроет нас от киргизцев, а вышло таскать им пропитание, когда на обыденные службы людей не хватает. Тут еще слухи: будто тунгусы с качинскими татарами грозят напасть на нас и разорить острог, хотят наших ясачных остяков под себя взять.

Лед сковал реки и встала зима. Последние из торговых людей бросили в Маковском остроге свои барки и ушли на лыжах со скупленными соболями. С месяц на Кети было так тихо, что казаки перестали выставлять караулы. Но перед Рождеством на льду реки показался большой отряд казаков. Дед Матвейка, одиноко зимовавший в гостином дворе, первым встретил служилых, отдал им все винцо, которое они нашли в гостевой избе, приплелся в Маковский и велел запереть ворота.

— Разбойники, истинно разбойники, а не принять нельзя! — одышливо оправдывался и поглядывал на своих подначальных казаков разобиженными глазами. — Мудро сказано святыми апостолами: от врагов как-нибудь убережемся, от своих помог бы Господь спастись! — Он по-стариковски поворчал и выругался крепче: — Наверстали в Томском всякое отребье!

— Сходи! — робко предложил Похабову. — Посмотри, что за люди. Атаман, говорят, тоже под Москвой воевал.

Иван молча нацепил саблю и отправился к гостиному двору, занятому пришлыми людьми. Пятеро оборванных молодцов встали на его пути, заслонив дверь, свирепо глядели на приближавшегося маковского служилого в добротном шубном кафтане, потом закричали, что приказный не дал им, умученным переходом, того, что должно по указу. Разговаривать с ними Иван не стал, раздвинул широкими плечами и вошел в избу. Она была битком набита людьми. Горел очаг, у огня грелись. Одни лежали на лавках, другие на полу. Под образком, в красном углу, сидели двое в кафтанах темно-зеленого сукна и казачьих шапках. Не только по одежде, но и по тому, как взглянули на вошедшего, Иван высмотрел подлинных казаков. Те тоже с любопытством уставились на него.

Как ни постарели товарищи, а Гришку Алексеева Иван узнал по мутному, будто всегда пьяному взгляду. Глубже врезались в переносицу складки кожи, гуще стала борода, лицо посеклось морщинами, но это был все тот же дурной и отчаянный Гришка-атаман. Под Москвой он был старше Ивана, воевал под началом князя Пожарского под Тихвином и Калугой, вместе с хопровскими станицами сидел против шведа под Новгородом и чуть ли не из каждого боя выходил легко раненым.

Когда казаки в пику боярам сажали на московский престол Михейку Романова, Гришка уже атаманил. После разгрома под Новгородом станичники отправили его с жалобами к царю. За кремлевский бунт боярские холопы бросили выживших казаков в застенки Троицкого монастыря. Затем, царской милостью, на одном козле пороли кнутами матерого атамана Григория с юнцом Ивашкой Похабовым.

Почему с Гришки головы не сняли, как с других атаманов, он и сам понять не мог: наверное, за него вступились перед царем князь Пожарский и воевода Палицын, под началом которых Григорий с братом Василием воевал под Торопцом. Еще до высылки в Сибирь Ивана Похабова братьев Алексеевых сослали на Иртыш-реку.

Не сразу, но узнал Иван и Василия Алексеева, брата Григория. Этот в кремлевском бунте не участвовал, в троицких застенках не сидел. Миловал его Бог.

— Эй, казак? — мутным взором впился в Ивана хмельной Григорий. — Где я твою морду видел?

— Возле Кремля, на козле! — раздвигая томских людей, протиснулся к нему Иван. — Поровну нас тогда одарили и не по чину. Я был малолеток, а ты — атаман!

— Похаба-а, что ли! — загоготал Григорий, вставая. — Е-е-е! Ну и бородища отросла!

Оба брата с хмельной навязчивостью стали обнимать казака:

— Слыхали, что в Енисейском служишь, вон где встретились. Как там, на Енисее?

— Все скажу, ничего не скрою! — обрадовался встрече Иван. — Сами-то с чем пришли?

— Отправлены воеводой вам в помощь! — с важностью объявил Григорий. — Только нынче брательник атаман, а я у него в есаулах! — кивнул на Василия. — Калмыков, киргизов воевали, теперь посланы против качинских татар!

— А я здесь, в Маковском служу! — признался Иван. Хвастать было нечем. — Приказный послал к вам. Напугали старика.

Григорий самодовольно захохотал, скаля щербатые зубы в бороде.

— Нас три десятка голодных, промерзших, а он краюху хлеба на стол и одну кружку вина. Зачем звали, если так встречаете?

— Воевода нальет, не поскупится! — пообещал Иван и стал рассказывать о Енисейском остроге. Говорил и думал: «Как отпроситься у воеводы идти с ними на дальнюю службу?»

В избу протиснулся русского вида молодой мужик в драном бараньем тулупчике, в шлычке. Вывалил у печки охапку дров, услужливо, как ясырь, стал подбрасывать их в огонь. Пламя высветило его лицо в негустой курчавившейся по щекам бороде. Иван в недоумении окрикнул:

— Угрюмка?

Человек боязливо вздрогнул, оглянулся и узнал брата.

Атаман с есаулом опять захохотали.

— Оттого и узнали тебя так скоро, что ведем кабального брата.

— Отчего кабальный-то? — Иван схватил Угрюма за руку и усадил рядом.

— Был в бухарском плену! — неохотно признался тот. — Долго рассказывать, — отмахнулся, пугливо озираясь.

Толпа в избе злобно и язвительно зашипела. Из угла кто-то бросил:

— Магометане православного по добру не отпустят! Или ятра вырежут*, или зад нарушат… А мы, по милосердию, его в избу пускаем.

Иван испуганно взглянул на брата. Тот, обидчиво мигая, замотал головой, под вспухшими веками замерцали горючие, настрадавшиеся глаза, заговорил торопливо, цепляясь потрескавшимися пальцами за рукав Ивана:

— Выкупил и отпустил меня бывший русский, принявший магометанство, а Лука Васильев, татарин-выкрест, что у вас на кружечном дворе служил, был там в посольстве. Он вывез меня из Бухарского царства и объявил ложно, что купил. Казаки Бунаковы ради дружбы с тобой меня у него выкупили, дали десять рублей… Не кабальный я, должник! — выкрикнул Угрюм, озирая злорадствующий сброд. Видно, в пути претерпел много унижений от этих людей.

— Далеко пошел кабацкий сиделец! — процедил сквозь зубы Иван.

— Нынче в сынах боярских служит! — поддакнул Григорий.

Поддержанный в обидах, Угрюмка встрепенулся, стал с жаром оправдываться:

— Наш бывший, теперь магометанин, дал ему даром покупную грамоту на меня, чтобы из Бухары вывез, а тот в Томском, среди своих, русских, объявил меня ясырем. Это по-христиански?

— А кормить-поить в пути? — строго взглянул на кабального атаман Василий. — А одеть к зиме? Все тебе даром? Даром отпустили! Даром привезли!

Угрюм злобно блеснул затравленными глазами, засопел, опустив голову. Сердце Ивана сжалось от жалости к непутевому брательнику, он поднялся с лавки, показывая, что сегодня ему не до разговоров.

— Вода в реке, дрова в лесу! — сказал. — Казенного харча у нас нет, только окладной. Атамана с есаулом жду в гости, остальные, если прожрались до срока, — дери заболонь, вари! Стреляй тетеревов и коз.

Толпа приглушенно заворчала. Он же подхватил брата под руку и вышел из избы. До острожка шли молча, каждый думал о своем. Иван ни о чем не пытал Угрюма, догадывался, что тот повидал столько — впору везти в Москву, в Сибирский приказ.

Будто угадав его мысли Угрюм забормотал с обидой:

— Томские воеводы пытали. То сапоги и кафтан сулили, то кнутом грозили. Едва отбрехался, а то бы не отпустили.

— Не захотел пострадать Христа ради? — безучастно спросил Иван. Угрюм метнул на него удивленный взгляд, пожал плечами, отмолчался. Старший с затаенным вздохом, тихо спросил: — Через кого Бунаков велел долг вернуть?

— Ваш ссыльный новокрест Ермес на бунаковской сестре женился, томские воеводы поверстали его в оклад сына боярского, к весне обещают прислать в Енисейский. Его жене Петр Бунаков велел долг отдать. Кабала у нее. — Он помолчал, шаркая расползшимися чунями по снегу и добавил вдруг: — А мои клейменые меха твои дружки, Ермоген с Герасимом, спалили.

— Живы? — встрепенулся Иван.

— Мы с Пендой промышляли возле Ламы, а Михейка Омуль с монахами зимовье ненароком подожгли. Все сгорело. И пищаль.

— Далеко ходили! — удивился Иван. — У нас в остроге про те места никто не слыхивал.

— Не говори никому, — боязливо насупился Угрюм. — Затаскают с расспросами. А то и под кнут положит.

Вспоминал Иван их прошлые встречи, с грустью надеялся, вдруг на этот раз все сладится и будут они жить как братья.

— Мне-то расскажешь? — спросил с усмешкой в бороде.

Он ввел Угрюма в свой тесный дом, приметил, как дрогнули его глаза, когда увидел Меченку и она его узнала. Смутились оба. Пелагия задрала длинный нос и поджала губы в нитку, становясь безобразной, привычно прикрыла платком пятно на щеке. Равнодушно посмеиваясь над обоими, Иван велел жене собрать стол. Знал, что она будет возиться долго, схватился за шапку, оставляя их с глазу на глаз, чтобы обвыкли.

— Баню затоплю!

**Ятра вырежут — кастрируют.*

— Хорошо бы с дороги! — пробормотал Угрюм, опускаясь на лавку в сиротском углу. Скинул драный тулупчик. Из кутного угла бойко выбежал Якунька, уставился на незнакомца. Угрюм неумело поманил его, и тот подошел, не испугался нового человека.

— Сильно похож на Ивашку! — тихо сказал Меченке про племянника. Не знал, как вести себя с ребенком. Она радостно вспыхнула, покрасивела, блеснули бирюзовые глаза. С легкой грустью, старой и отсохшей кручиной, вспомнилось Угрюму, как когда-то эти глаза обнадеживали его счастьем.

Ни с ребенком, ни с Меченкой говорить ему было не о чем, он сдвинул брови, уставился под ноги, почувствовал, что его молчание начинает злить хозяйку. Хотел уже выйти следом за Иваном, но в избу шумно ввалились братья Сорокины и верткий Василий Колесников с нескладной женой. Несуразно размахивая длинными руками, она взревела густым басом:

— Слыхали, брат нашелся!

За гостями втиснулся Иван, подхватил сына с полу, забросил на теплую печь. Острожная избенка была так полна народом, что хозяйка с облегчением в лице села в красном углу. Иван строго напомнил ей про стол. Она вскочила.

— Сидите уж, — проголосила Капа. — Говорите! Сами баню истопим, пива принесем.

Угрюма подтолкнули в красный угол. Место у печки освободилось, Сорокины сели на лавку против него, с любопытством уставились на промышленного. Угрюм отвечал на расспросы односложно, неинтересно.

— Был где-то… А где, и не знаю. Шли рекой, потом притоком. Промышляли. То ли татары, то ли киргизы напали, пленили. Долго везли куда-то степью…

Меченка слушала его вполуха, передвигала котел с места на место, на столе так ничего и не появлялось. Вскоре братья Сорокины ушли с обиженными лицами. Колесников посидел еще, дотошно выспрашивая про места, где бывал гость, про тамошние народы, поймал Угрюма на лжи:

— Ты ведь только что говорил, что промышляли на Тунгуске, почему пленили на Каче?

Угрюм сделал лицо тупым, а глаза мутными, помолчав, признался:

— С тех пор как кистенем по башке вдарили, чего-то помню, чего-то не помню. Где-то на Каче, наверное, промышляли.

Вернулась Капитолина, принесла свежего хлеба.

— Перед баней не наедайся, — пророкотала ласково. — Подкрепись только. Попа ришься, после накормим.

Поев принесенного хлеба с квасом, Угрюм снова поднял усталые глаза на пытливого стрельца, который все еще ерзал на лавке.

— Умучал бедного! — взревела на мужа Капа. — Дай отдохнуть с дороги!

— Не ори, дура! Оглохнем! — огрызнулся Васька, но вопросов больше не задавал.

Подошла баня. Иван потянул брата за собой, у дверей, из-за которых клубами ва-

лил пар, оба скинули одежду, влезли на полок.

— Как спина у тебя разукрашена? — удивился Угрюм.

— А ты не знал? — тоскливо опустил глаза Иван, тряхнул бородой. — Откуда? Все врозь да врозь. Доля нам такая, что ли? Все братья как братья! А мы… — Вздохнул, поскабливая ногтями розовеющую кожу, пожаловался: — Ты матери-то не помнишь. А я, прости, Господи, смолоду все думал: ни за что не женюсь на девке, если будет на нее похожа. А вот ведь досталась жена и криклива, и ленива, и жадна!

Про шрамы от кнута и сабель не сказано было ни слова, про то, как досталась Ивану в жены Меченка, — тоже. Угрюм не спрашивал, Иван не вспоминал. Напарившись, они вернулись в дом. Стол был накрыт, братьев терпеливо ждал весь острог во главе с приказным стариком. Боком-боком, гость с хозяином едва втиснулись за стол.

Отдохнув, отряд атамана Василия Алексеева ушел по зимнику на Енисейский острог. Иван записал брата Егория-Угрюма гулящим человеком из промышленных сибирских людей, оплатил за него годовую пошлину. За прокорм брал его с собой и посылал на работы со служилыми, привыкал к младшему, наблюдал за ним и все удивлялся, как ловко тот прикидывался глупым или врал так нескладно, что слушатели начинали плеваться и корить Ивана. Казак разводил руками, хмуро спрашивал недовольных:

— Тебя кистенем по башке били? Тогда хочешь — слушай, не хочешь — не слушай. Но помалкивай.

Сам он, как ни мало знал Угрюма, понимал: много чего брат знает и скрывает. Когда оставались вдвоем, лицо Угрюма менялось, скованный язык развязывался, а глаза блестели умом. Как-то Похабовы рубили дрова в лесу. Лошадь, запряженная в сани, грызла сено, позвякивая удилами, и переминалась с ноги на ногу. Братья сидели у костра, отдыхали, грели на прутках куски вареной козлятины.

— Жил у братов, — смежил глаза Угрюм. — Мясо, варенное на кизяке, куда-куда!

— Какое Бог дал, такое едим, — озлился вдруг Иван. Мотнул головой с заледеневшими глазами: — Мне-то скажешь правду?

— Скажу, ничего не скрою! — оглядываясь, смущенно пообещал Угрюм, вскинул глаза на брата: — Только ты призовешь ли Бога во свидетели, что до самой кончины своей никому не откроешь того, что скажу тебе.

— Призову! Ей-ей, — неохотно пожал плечами Иван и перекрестился. — Никогда бес не мучил выдавать чужих тайн.

— Слушай же! — чуть волнуясь, начал брат.

Вскользь он упомянул о промыслах в верховьях Мурэн. Как его, обнищавшего после пожара, сманил к себе в улус князец Куржум, прельстив не только халатом и сапогами, но надеждой на сытую, спокойную жизнь, которая тогда уже не представлялась промышленному среди русских сибирцев.

Непривычный к верховой езде, Угрюм ерзал в своем седле с холки на холку и думал только об одном: как сделать другое — мягче, удобней и красивей. Если балаганцы пускали коней рысью, его кобыла тоже переходила на тряский бег. Угрюм багровел от боли в паху, тянул на себя недоуздок или поддавал плетью, чтобы кобыла перешла на галоп.

Баатар Куржум и десяток его молодцов, вооруженные луками и пиками, два дня ехали пологим левым берегом Ангары. Каменистый яр противоположного берега стал положе, лес реже, потом на другой стороне реки открылась холмистая степь. Лошади вынесли людей к месту, где на отмели обсыхали бревна плота из неошкуренного леса. Молодцы Куржума спешились, волосяными веревками привязали к седлам по бревну, гужом потянули их против течения реки до поворота с длинной песчаной отмелью. Там они связали бревна. Спешился и сам Куржум, важно взошел на плот, завел на него своего всхрапывающего жеребца. Его люди сложили пожитки, оружие, седла. Своих коней они связали в один повод.

Молодой толстый балаганец, на заводном жеребце без седла, зарысил с караваном по песчаной косе. Кони все глубже погружались в воду и наконец поплыли, вытягивая над водой ноздри и прядая острыми ушами. Толстый балаганец весело орал и охал, показывая, как холодна вода. Плот тоже отчалил. Все, кроме князца, проталкивали его шестами, пока позволяла глубина реки, затем течение понесло их на стрежень и дальше, к противоположному берегу. Все стали дружно грести шестами пока один из молодцев не вскрикнул, достав дно. Кони уже выходили из воды, отряхивали шкуры и весело махали мокрыми хвостами. Толстый балаганец с посиневшими пятками прыгал на песке, орал, требовал свои штаны и сапоги.

Многотрудное дело было сделано. Мужики долго сушились, валялись на солнце и грызли сухой творог. До вечера было далеко, заскучав, они оседлали отдохнувших лошадей и поехали в обратную сторону другим берегом. Лес сменился обширными полями, окаймленными пологими склонами гор. Здесь резко, как в степи, пахло скотом. Вскоре завиднелись юрты с пасущимися стадами и такой мирной, такой беззаботной показалась Угрюму жизнь кочевников, что он им позавидовал, вспоминая о вечной промышленной нужде, о нескончаемой изнурительной работе.

Прошел месяц, он прижился среди балаганцев. Своего дархана у них не было. Пришелец был окружен уважением и заботой. Жили балаганцы спокойно и сытно, не изнуряя себя ни постами, ни молитвами. И только в дожди или в бури, когда мог уйти и погибнуть скот, все мужчины выходили к стадам, бедствовали ночами, а то и сутками. Но налаживалась погода, и снова начиналась беззаботная жизнь.

Куржум подселил Угрюма в семью родственника, невысокого, но дородного братского мужика, имевшего четырех дочерей. Звали его Гарта Буха. Угрюм жил с ними в их войлочной юрте. Домочадцы поднимались поздно, он вставал первым, тихонько шел к речке, умывался, крестился и кланялся на восход, читая утренние молитвы. Затем направлялся к кузнице с навесом из жердей, покрытых войлоком. Раздувал горн, доставал припрятанный инструмент: клещи и молот, сделанные из ствола обгоревшей пищали. Навешивал на разгорающийся огонь черный котел с водой.

Из юрты выползала заспанная и сердитая девка, средняя дочь Гарты по имени Булаг. Угрюм звал ее Булкой: так называли хлеб черкасы. Девка напоминала ему что-то круглое. Ее щеки колобками топорщились на широком лице, из них едва высовывался остренький кончик носа. Глаза у девки были узкие и непомерно длинные. Распахнутыми крыльями морской птицы они взлетали от плоской переносицы до самых висков.

Среди балаганцев не принято было, чтобы мужчина готовил себе пищу. Наверное, отец приставил Булку в помощь дархану, и девка, сонно жмурясь и злясь на ранний подъем, ставила перед ним кувшин с молоком, деревянное блюдо с сушеным творогом. Исполнив долг, она уходила в юрту досыпать утренние часы, при этом смешно семенила короткими ножками, переваливаясь с боку на бок.

Угрюм смотрел ей вслед, попивал жирное, густое молоко и посмеивался над убеждением русских промышленных людей, что среди инородцев их ждет только рабство. Слегка томясь приятным бездельем, шел собирать кизяк, на котором железо грелось лучше, чем на обычном костре, или уходил рубить березу на древесные угли. Работы было немного, он делал ее быстро и весело, радовался, что язык балаганцев становится все понятней.

Свое седло он подарил Гарте и сразу стал делать новое. Но и его пришлось подарить знатному мужику, так как своего коня все равно не было. Вскоре Угрюм высмотрел на соседнем стане молодую крепкую кобылу, несмело поторговавшись, купил ее за пятнадцать соболей и привел в стадо Гарты. Теперь можно было делать седло для себя. На его работу уже никто не зарился: есть лошадь, нужно седло. Все было ясно и понятно.

Случались несуразицы. Как-то утром, маясь бездельем, Угрюм с мешком в руках стал собирать прошлогодние лепехи кизяка для кузницы. Его заметили из юрты. Прибежала Булка, вырвала мешок из его рук и стала собирать кизяк сама. Угрюм походил рядом с ней, пытаясь помочь, но девка обиженно вскрикнула, указывая на стан: «Туда иди, не лезь не в свое дело!» Остренький кончик носа смешно высовывался из пухлых щек, тряслись полные губы, дрожал кругленький подбородок, а в глазах блестели слезы.

В благодарность за заботу о себе Угрюм выковал для нее браслет из старого, продырявленного медного котла и украсил его простеньким узором. Он долго тер медь войлоком, и безделушка заблестела как золото. А когда утром пришла Булаг, чтобы накормить дархана, он взял ее руку и надел браслет на запястье. Девка ахнула, в пол-лица распахнулись глаза-крылья. Булка убежала в юрту веселой и счастливой, весь день угождала кузнецу, бросала на него ласковые взгляды. Но уже к вечеру Угрюм приметил, что чем-то рассердил семью Гарты. Сестры Булки поглядывали на него озлобленно, их отец досадливо хмурился. Непонятный холодок появился даже между ним и Булкой. Вскоре прискакал косатый молодец из свиты князца. В поводу у него шла оседланная заводная лошадь. Посыльный велел дархану ехать к Куржуму.

Ничего не понимая, Угрюм отправился на стан баатара. Поджарый, как тунгус, долгоносый и большеглазый князец в простом халате, без оружия, стоял возле туши забитого бычка и советовал домашним, как его разделывать. Он обернулся к подъехавшим всадникам, приветливо взглянул на своего дархана. Вестовой еще в пути растолковал Угрюму, что князца замучили жалобами племянницы: им хотелось иметь браслеты, как у сестры.

— Сделай всем украшения! — приказал Куржум, когда кузнец спешился и поклонился ему.

Угрюм понял его слова. Про награду князец умолчал, поэтому, плутовато ухмыльнувшись, кузнец стал говорить и объяснять знаками, что старого котла не хватит, нужна медь. Князец ушел в белую юрту. Сын или племянник-отрок вынес оттуда стертую медную бляху с конского нагрудника, сунул в руки кузнеца. На том разговор был закончен.

Как всегда окруженный толпой чернявых любопытных ребятишек, Угрюм, не спеша, сделал еще три браслета. Мир среди сестер наладился, но кузнеца за работу даже

не поблагодарили.

Вскоре Гарта Буха отдал замуж двух старших дочерей. В юрте стало просторней. Угрюм присматривался к обычаям здешнего народа и находил их разумными, хотя не все ему нравилось.

Родня женихов пригнала в дом свата десяток кобылиц и столько же коров. Сверх того за невесту была дана отара овец и другие подарки. Три дня на стане пировали. Старики пили тарасун и хорзо*. Жениху и молодым гостям позволяли пить только квашеное молоко, дескать, им и так весело от их молодости. Все подарки были отданы молодым супругам, а сверх того прибавлено от дома отца.

На Руси если молодец-удалец забрюхатит девку до замужества, той от позора хоть в петлю. А если родит несчастного нагулянного ребенка, сородичи даже его внукам будут припоминать, что они блядины дети. Здесь, в степи, если девка рожала младенца, то без скандалов и упреков родители брали его на свое воспитание и выделяли долю из наследства. Дочь же выдавали замуж как всякую другую без приплода. А не жилось молодым супругам, они разводились. Спорили не столько из-за обид, сколько из-за подарков, полученных со стороны родни мужа и жены.

Примечал Угрюм, что народ, среди которого он жил, весел и шутлив с единоплеменниками. Гости из других родов тискали девок и отпускали такие шутки, за которые на Руси родня непременно полезла бы в драку. В лучшем случае за подобные намеки русские девки выцарапали бы глаза своим парням. Между тем, чем больше понимал Угрюм балаганцев, тем меньше ему хотелось показывать, что он знает их язык.

После сытного, жирного обеда вся семья Гарты лежала в юрте. Войлок со стен был поднят. Потное тело с радостью ловило всякое дуновение ветра. Гарта, почесывая тучный живот, то всхрапывал, то начинал говорить, зевая, шутил с дочерью Булаг, которой подходила пора идти замуж.

— Что скажешь, красавица? Дырка под животом не сильно чешется? — спрашивал посмеиваясь.

Булаг строптиво фыркала, необидчиво отвечала:

— Нет еще! И женихи хорошие не приезжали.

— Может, за нашего кузнеца тебя отдать? — похохатывал отец, думая, что Угрюм его скороговорки не понимает. — Он на голову выше наших женихов, сыновей от него родишь высоких.

Булка снова фыркала:

— У него лицо мохнатое, как у медведя! Не пойду за медведя!

Жена Гарты, с рыхлым черным лицом, посеченным неглубокими морщинами, поддерживала мужа, не то искренне, не то шутя, — этого Угрюм не понимал.

— Дом сделает теплый, у него руки масляные. Шаманов злые духи мучают, а дарханов — боятся…

— Не пойду ни за шамана, ни за дархана! — фыркала Булаг.

Отец и мать с ней соглашались, начинали расписывать достоинства другого жениха, которого Угрюм не знал. И так пока опять не всхрапывали.

Угрюм сбился со счету дней и праздников. Судя по траве, был август, Спас. От Куржума опять приехали два молодца, сказали, что князец зовет толмачить. К нему, дескать, прибыли люди-зверовщики.

Угрюм вошел в белую юрту, поприветствовал балаганцев по их обычаю, приметил сидевших против Куржума трех русских промышленных. Лица их были темны

**Хорзо — молочная водка, простая и крепкая, после тройной перегонки (бур.).*

от солнца, бороды выгорели желтыми прядями. Захлестнуло сердце знакомое до боли пережитое бездолье пути.

Промышленные мельком, отчужденно, взглянули на толмача как на чужака. Их неприязнь больно кольнула Угрюма. Он сел, куда указал князец.

— Дело к зиме! — хмуро и важно объявил старший из гостей, передовщик в русой бороде. — Шли мы на Елеунэ-Зулхэ, но пора уже к зиме готовиться. Мы бы, за горами в лесу, промышляли здесь до весны соболишек и другую рухлядь, зимовье бы там поставили и вам бы после промыслов сорок соболей дали, чтобы жить без ссор и обид.

Угрюм выслушал их, перевел как сумел. Куржум с важным и строгим видом переговорил со стариками, сидевшими по бокам и за его спиной. Те советовали спросить с чужаков соболей вдвое. Передовщик выслушал Угрюма, недоверчиво, с подозрением блеснул глазами, никак не признавая родства по крови, хотя у толмача поверх халата висел кедровый крест.

— Много! — тряхнул бородой. — Места здесь бедные. Если не сойдемся на сорока, пойдем дальше.

Торговались они долго, но бесстрастно, неприязни друг к другу не показывали. Куржум напирал на то, что на его земле они могут зверовать безбоязненно: никто не тронет ни их жилья, ни их ловушек. Сошлись на пятидесяти соболях. По обычаю после договора и рукобитья Куржум стал угощать гостей и расспрашивать о землях,

где они бывали, о народах, с которыми встречались.

Угрюм узнал, что ватага вышла с Подкаменной Тунгуски, где промышляла не совсем удачно, не удержался, прихвастнул, что сам промышлял там с Пантелеем Пендой. Промышленные недоверчиво взглянули на него, но ни о чем не спросили. Угрюм стал сердиться, примечая, что они не принимают его за своего, осторожничают хуже, чем с братскими мужиками. И сколько ни пытался начать свой разговор — гости отвечали односложно, никак не дюбопытствуя, отчего он живет среди братов.

На прощание Угрюм сам сказал, что не только толмачит у князца, но и работает кузнецом. Ему казалось, такой человек, как он, русским промышленным нужней самого князца. Но передовщик равнодушно спросил:

— Захолопили?

— Сам пришел! Позвали. Халат камчатый дали.

Промышленный недоверчиво качнул головой, дескать, чего не бывает на свете, и больше ни о чем не спрашивал. Угрюм в отместку стал показывать, что среди братов он свой человек, говорил громко, шутил с братскими мужиками. На том они и расстались.

Около середины сентября, когда по утрам на поникшую траву ложился иней, а земля становилась звонкой, мимо стана Гарты Бухи проехали пять всадников. Одеты они были будто по-братски, в дорогие, но засаленные халаты, кос у мужиков не было, оружие очень дорогое и серебра на одежде много. Всадники по-хозяйски осматривали стада. Женщины притихли, мужики стана Гарты испуганно и угодливо засуетились, зарезали бычка и двух баранов, стали свежевать их. Молодежь вдруг пропала с глаз и попряталась. Все это нимало удивило Угрюма. К нему гости не подъезжали. И пировать не остались, хотя Гарта приглашал: ускакали в сторону стана Куржума.

Гарта Буха помрачнел и резко постарел, приковылял к навесу, под которым у огонька сидел Угрюм, прошипел потупясь:

— Садись на свою кобылу и уезжай куда-нибудь. Через десять дней вернешься! — Сутулясь, Гарта грузно развернулся к юрте, через несколько шагов обернулся, взглянул на Угрюма пристально и приказал:

— Возьми с собой Булаг!

Пока Угрюм раздумывал над сказанным, из соседней юрты вышел молодой балаганец, стал торопливо седлать двух коней, на одного подсадил Булаг, на другого сел сам. Махнул рукой Угрюму, чтобы следовал за ними. Вскоре стан Гарты скрылся с глаз. Всадники рысцой уносились к лесу. Угрюм понимал, что его спутник не может быть женихом Булки, так как они близкие родственники и все же досадовал, что не остался с ней один. Чем дольше он жил на стане, тем больше влекла его эта смешная отроковица, входящая в девичью пору.

В лесу Угрюм быстро и умело срубил шалаш, развел огонь, всю неделю охотился, стрелял из лука. К добытым тетеревам девка и ее брат не прикасались, брезгливо смотрели, как дархан щиплет и печет птицу, сами голодали или пекли жесткую дикую козлятину, спали, укрывшись одеждой. Через десять дней, как приказал Гарта, все вернулись на стан.

На первый взгляд все было как прежде: пасся скот, юрты стояли на тех же местах, но жители выглядели сумрачными и неприветливыми, Гарта казался усталым и постаревшим. Жена его, мать Булаг, вышла к дочери с опухшим от слез лицом. С ее слов Угрюм понял, что младшую дочь увезли мунгалы, стал сбивчиво говорить Гарте, что можно подговорить промышленных людей отбить девку. Старик поглядывал на него печально и досадливо, никак не отвечал на слова.

Пришла зима, притерпелось горе, опять с утра до вечера возле кузницы толклись братские детишки, а Угрюм с важностью человека, владеющего ремеслом, ковал для всех приезжавших соплеменников Гарты и Куржума. В начале зимы на балаганцев свалилась новая беда — снег. Он падал и падал, а ветра, чтобы вымести его, все не было. Кони тоскливо копытили сугробы, разгребая засыпанную снегом траву. К ним кидались голодные быки и коровы. Бараны и овцы сбивались в тесные кучи, совали друг другу под брюхо лопоухие головы и стояли, безмолвно ожидая голодной смерти. Облепленные снегом, братские всадники носились от стана к стану, передавали распоряжения Куржума и Бояркана-хубуна.

Юрты стана были торопливо разобраны и навьючены на лошадей. Оставалась только одна — юрта Гарты Бухи, хотя для перекочевки были уложены и завьючены все пожитки. Мужики забили и разделали пару жеребят. Женщины в тулупах и меховых шапках варили мясо у костров. Затем все в тяжелой зимней одежде собрались в юрте Гарты, неторопливо наелись жирного мяса, чтобы не мерзнуть в пути. Лица людей были напряжены и озабочены, они изредка переговаривались о насущном.

Наконец мужчины разобрали и погрузили на коней войлок с последней юрты. Связали в одно ее решетчатые стены и воткнули их в глубокий снег. К ним привязали гужи из волосяных веревок. Как в бурлацкие постромки впрягли в них двух сильных одногорбых верблюдов. Одни мужики, утопая в снегу, стали погонять их криками и плетьми. Другие налегли на решетки, как пахари на сохи. Верблюды задрали морды,

взревели, напряглись бугристые жилы под длинной шерстью, дрогнул сугроб, развалился надвое, как земля под плугом и обнажилась степь. За вислыми хвостами верблюдов вспучился снег. За решетками оставался глубокий ров с поникшей сухой травой. По этому проходу пошли кони и коровы. Хватая заснеженную траву, с блеянием побежали овцы, торопливо подъедая все, что оставалось после крупного скота. В тот же день стан Гарты соединился с другими станами Куржума, потом со станами и стадами Бояркана. Лава скота и людей двинулась к горам. Работали балаганцы много и много ели в пути, а для Угрюма переход казался обычным. Без всякой натуги он пережил и эту беду.

Пришла весна, буйно зазеленела степь, кобылка Угрюма разродилась пегим жеребенком. К Гарте приехали важные сваты какого-то сильного рода, долго сговаривались и пировали с хозяевами. Не оставался в стороне от пирующих и Угрюм. Он сидел с ними за одним столом, ел и пил со стариками молочную водку. Ему, кузнецу и пришельцу, это не запрещалось. Прибыл жених. Среди родственников он держался важней всех: надувал щеки, начальственно поглядывал на пирующих, Угрюма не хотел замечать.

Он был молод и по братским понятиям красив: в высокой шапке, шитой серебром, в серебряной опояске, при сабле. На стане с восторгом говорили о том, что за Булаг родственники жениха дают сорок кобылиц. Угрюм с легкой печалью поглядывал на Булку, наряженную так, что походила на навозного жука. Прежняя смешливая девка казалась ему чужой, будто неживой. Понимал кузнец, что не ему, бедному и безродному, она готовила себя в жены, а шутки Гарты были только шутками.

Невеста уехала на стан жениха по вечному зову крови и по ее закону. Угрюм же, как прежде, ковал лошадей, вытягивал и точил сломанные ножи, вдоволь спал и вдоволь ел. Железо, данное князцом, кончилось, пришлось пустить на подковы тайный запас. Дархан уже понимал, что при кочевой жизни своего богатства от чужих глаз не утаишь, отдашь сам — вдруг и наградят, возьмут твой припас силой — награды не дождешься. Он соглашался с чужими нравами: думал, увезли приглянувшуюся девку — найду другую. Жить бы так и жить — радостно озирал сытую дремлющую равнину.

Как среди промышленных, так и среди братов, по вечному человеческому закону, беда сменялась радостью, радость опять оборачивалась бедой. В начале лета Бояркан-хубун, старший брат Куржума, велел собрать всех молодых мужчин, способных носить оружие, приказал готовиться к походу и дархану-кузнецу. Мунгалы велели главному братскому хану Аманкулу, князцу эхиритских родов, собирать войско против киргизов. Эхириты кочевали на другом берегу реки. Братский хан прислал оттуда вестовых с приказом идти на войну с его людьми.

Знал Угрюм, что балаганцы и эхириты жили в неприязни. Аманкул, по словам балаганцев, был поднят на белой кошме не по праву рождения, а по прихоти мунгал. На балаганских станах злословили, но ослушаться его приказа не решались. Мужчины, кому было на кого оставить семьи и родителей, стали собираться на войну.

Куржум в серебряных доспехах прискакал на стан Гарты Бухи с молодцами своей свиты. Среди них Угрюм узнал мужа Булаг. Князец сам проверил, как одеты, как вооружены люди стана. Угрюму велел оставить свою кобылу с жеребенком в табуне и взять трех сильных коней.

— На одном и другом поедешь сам, на третьем повезешь все, чтобы ковать в пути! — пояснил, когда дархан взял поводья. — Грузовое седло сделаешь.

— Железа нет! — пожаловался Угрюм. Он понимал, что нужен князцу как кузнец, а не как воин и это его радовало.

— Будет железо! — объявил Куржум. — Большие черные глаза блеснули. Он улыбнулся кузнецу и даже пошутил: — Увели невесту? Добудешь другую у киргизов или аринцев. И железо добудем.

Угрюм осклабился, не зная, что сказать и как понимать сказанное. Братские князцы слов на ветер не бросали, но любили говорить с двойным смыслом, до которого нужно додумываться.

После пира на стане Куржума его люди вышли в поход. Через день у реки они соединились с воинами Бояркана. Два брата в блестящих доспехах и шишаках ехали впереди войска. Угрюм тащился в его хвосте, харкая и отплевываясь в беспросветной пыли, прислушивался к разговорам балаганцев и часто слышал, что они называют хана Аманкула сыном раба. Кузнец помалкивал и побаивался, как бы балаганцы с эхиритами не передрались в пути. Распря его пугала.

Войско балаганцев переправилось через реку в знакомых местах между порогами, которые с таким трудом проходили промышленные малой ватажкой. Они пошли знакомым притоком к его верховьям, неподалеку от тех мест, где ватажка Пенды нашла струги. В пути к ним присоединялись кыштымы и уже не понять было, где кто. Угрюм стал пробиваться ближе к Куржуму и его брату, возле них, на виду, ему было спокойней. Телохранители князцов ничего против не имели, и скоро у Угрюма завязались с ними приятельские отношения. Один только муж Булаг выказывал ему презрение и как-то после ковки объявил, что дархан плохо подковал его жеребца.

Угрюм спорить не стал, велел привязать к хвосту коня то самое копыто, на котором якобы хлябала подкова, только для вида постучал по ней молотком. Дородный косатый молодец потрогал подкову.

— Теперь хорошо! — сказал важно.

На ночлег Угрюм стал устраиваться неподалеку от белого шатра братьев. Охране это казалось правильным: дархан должен быть под рукой, чтобы его не искать. Войны Угрюм не видел, в ней не участвовал. Воевали где-то впереди, проводили пленных в пропыленных драных халатах. Они яростно чесались и ничуть не походили на грозных воинов, с которыми не могли сладить мунгалы.

И вот как-то под утро при первых бликах рассвета всполошился стан. Стрела просвистела над головой кузнеца, другая воткнулась рядом с костром. Угрюм вскочил, стал натягивать сапоги. Возле белого шатра дрались, слышались крики и лязг железа. Угрюм подхватил седельную суму, две подковы сунул в карман, вдруг волосяной аркан захлестнул его плечи, земля вырвалась из-под ног и понеслась на розовеющий восход. Он хватался за веревку, пытался встать, камни и сучки драли камчатый халат, шапка слетела с головы. Угрюм обессилел, перестал сопротивляться и, наконец, от боли и удушья померк свет в его глазах.

«Вот и все! — подумал. — Отче Егорий, моли Бога за меня! Отче Никола…»

Выбираясь из кромешной тьмы, он услышал неторопливую гортанную речь, с трудом открыл глаза и не сразу понял, утренним или вечерним был небесный сумрак. В голубеющем небе светила утренняя или вечерняя звезда, руки и ноги были туго связаны, остро пахло дымом кизяка и мокрой овечьей шерстью. Возле огня на корточках сидели пять чужаков в войлочных халатах и тихо переговаривались.

За спиной Угрюм услышал сиплое частое дыхание, превозмогая боль, повернул голову и невольно застонал. Рядом лежали знакомые молодцы из охраны Куржума. Имя одного он не помнил, другого не хотел знать: это был муж Булаг. Дородный балаганец лежал на животе, повернув голову к кузнецу, тело его было обнаженным, видно, враги прельстились богатой одеждой, лицо — черным от засохшей крови, ухо забито землей, по голове лениво ползали зеленые мухи.

Услышав стон, все сидевшие у костра со смехом обернулись. Один, черный, малорослый, кривоногий, поднялся, нараскорячку, коромыслом переставляя ноги, приковылял к пленным, перерезал путы на руках Угрюма, затем освободил мужа Булаг. Тот захрипел, уперся в землю тучными руками, с рычанием сел и неприязненно уставился на мужиков в войлочных халатах.

Кривоногий принес воды в глиняной кружке. Балаганец с растрепанной косой жадно осушил ее разбитыми губами, отбросил в сторону и набычился пуще прежнего. Чужаки насмешливо оглядели его, один спросил на плохом, едва понятном братском языке:

— Какого ты роду-племени?

— От известных людей родился я, — заревел муж Булаг. — Сотворен по воле сына Вечно Синего Неба — Эсэгэ Малаана*.

— А тот, который хрипит, кто?

— И он сын известных родителей, рожденный мужчиной! — гордо ответил окровавленный и раздетый балаганец. Упреждая следующий вопрос, пробормотал разбитыми губами, не взглянув на Угрюма: — А это — раб низкорожденный.

Сидевшие у костра на миг забыли о пленных, громко заспорили между собой. Вдруг спор утих. Чужаки посидели какое-то время молча, затем поднялся все тот же кривоногий, подхватил чекан с кривым клювом, зашел со спины балаганца, беззлобно, как забиваемую скотину, ударил по виску большой головы. Дайша мешком завалился набок тучным телом. Кривоногий для верности тюкнул его еще раз и в два удара добил другого охранника Куржума.

— Господи, помилуй! — вскрикнул Угрюм, обмирая и показалось ему, будто кишки его наполнились снегом.

Но кривоногий вернулся к костру, бросил на землю чекан, наполнил кружку водой из родника, принес ему пить. Пальцы кузнеца тряслись, вода расплескивалась, зубы стучали по краю посудины. Угрюм припадал к воде иссохшими губами, глотал и захлебывался. Кривоногий присел перед ним на корточки, показал две подковы, которые, собираясь бежать, кузнец сунул в карман. Угрюм испуганно и угодливо закивал, будто признавался в грехе:

— Мои… Мои… Мои! — пытался вспомнить, как это сказать по-братски и не мог.

— Уста**?

— Дархан — кузнец! — снова залепетал, уловив в незнакомом говоре тень почтения. Что-то промелькнувшее в черном лице с запавшими как у покойника глазами, давало надежду остаться живым.

**Эсэгэ Малаан — мифологический небожитель, покровительствующий людям (бур.).*

***Уста — кузнец (тюркск.).*

— Уста! Уста! — почтительно и даже восхищенно залопотали сидевшие у костра.

Ему бросили сырую, недавно снятую с барана шкуру, указали место, где лечь. Утром победители вытащили из котла и бросили в его сторону разогретые бараньи лытки, потом посадили на заводного коня без седла и повезли в полуденную сторону, время от времени отклоняясь на закат.

В пути Угрюм старательно ковал их коней и всем своим видом показывал, что может быть полезен. Молота у него не было — ковал рассыпавшимися камнями и острой ясностью вспоминал нищее, бездольное детство. Будто вернулось оно, и вот снова тошно, низко он выживал, много молился про себя, думал с лютой тоской: «Беды меня породили, горе выкормило, злая кручина вырастила. Если на весь век судьба такая — лучше умереть, только не страшно. Уснуть бы и не проснуться».

Он думал, что киргизы возвращаются в свое селение. На многолюдном стане его заперли в темной глинобитной избенке. Угрюм приткнулся спиной к стене, сполз на пол и почувствовал, что он здесь не один.

— Ты чей? — с удалью и неуместным весельем спросил из тьмы голос.

— Енисейский промышленный! — всхлипнул Угрюм.

— А я из томских посадских, Пятунка Змеев! — голос назвался с такой важностью, будто их посадили рядом за званый стол. — Киргизы много наших пленили, теперь повезут продавать.

— Чему радуешься-то? — слезливо огрызнулся Угрюм.

— А чего? — хохотнул пленный. — Просидел бы всю жизнь в подручных у отца, старого Змея, да у братьев: я — младший. А тут Бог дал посмотреть, как всякие люди живут, себя показать! Не понравится — убегу, я лихой! — снова беспричинно хохотнул во тьме.

Угрюм засопел, прикрыв глаза, навязчиво вспоминался утробный удар чекана по голове. Этот страшный звук не переставал повторяться в его душе, наполняя ее ужасом. Стоило закрыть глаза, являлось перед ними вытягивавшееся в судорогах тело. «Господи, — опять думал слезно, — за что мне судьба такая?»

Кто-то закряхтел и закашлял в другом углу, Угрюм стал прислушиваться.

— Нас тут четверо, — громко объявил Пятунка. — Ты пятый!

Утром мазанку открыли, дневной свет ворвался под кров, щурящихся пленников вывели. Их лица сливались в одно пятно, запомнился только Пятунка. Курносый, губастый, с непомерно большим, всегда удивленно открытым ртом, с длинными, конскими зубами, он оглядывался с таким видом, будто собирался выйти на круг плясать: «Эх, где наша не бывала, где не пропадала?»

Горы и лес кончились, открылась бескрайняя степь с колками берез и осин. Пленных привезли на какую-то речку с вытоптанными берегами, здесь было много скота, юрт и шатров. Среди киргизских войлочных шапок мелькали высокие бухарские колпаки, обвязанные шелком. Калмыки и киргизы согнали сюда скот, привезли рухлядь и ясырей для мены. По большей части пленными были русичи, но встречались и тунгусы с мунгалами.

За Угрюма и Пятунку торговался сморщенный, беззубый, но резвый бухарец в белом халате. Торговался он страстно, щупал жилы, кривым пальцем лез в рот. Много, зло и шепеляво лопотал. При этом морщинистое лицо сминалось как шелковый лоскут, а из беззубого рта летела слюна. Пленные стояли понуро, и только Пятунка все скалил конские зубы и беспричинно похохатывал, будто от щекотки: во взоре удаль, в движениях отвага. Опасливо поглядывая на него, Угрюм уверился: «Дурак!»

Узнав, что он кузнец, бухарец принес молот, сунул ему в руку и заставил сделать несколько простеньких поделок. Угрюм старался как никогда прежде, и бухарец остался доволен его работой.

Сторговавшись, киргизы взяли ткани, посуду, не взглянув на пленных, отошли в сторону. Молодые подручные бухарца тут же сковали купленных за запястья рук по парам. Угрюма сковали с изрядно надоевшим ему Пятункой. Бухарец сам проверял ковку и все кивал Угрюму: вот, дескать, как надо работать. Учись!

Приценивался старик и к русской девке, что была у калмыков. В ее выплаканных глазах мерцал ужас, слезы беспрестанно текли по щекам. Она истошно заорала, когда бухарец полез под сарафан, и выла, когда тот, слащаво ухмыляясь, ощупывал ее грудь.

На ночь Угрюма с Пятункой бросили в яму. В сумерках к ним же столкнули двух томских казаков, которых Пятунка весело окликал, а те в ответ только срамословили сквозь сжатые зубы, считая его придурочным. И уже совсем в потемках в ту же яму спустили всхлипывавшую девку. Она была без оков.

— Ты откуда? Чья? — весело придвинулся к ней Пятунка.

— Из Тары, с посада калмыки взяли! — прерывисто вздохнула она. — Тятьку с братьями побили до смерти. Господи, мне бы умереть без мук! — вскрикнула с новыми слезами.

Пятунка, звякнув цепью, сел рядом с ней, стал горячо рассказывать, что знал от бывалых людей про бухарскую чужбину. Все пленные молча и неприязненно слушали его, думая о своем.

— Дурак, прости, Господи! — со вздохом пробормотал казак в годах и стал мститься на ночлег в оковах.

Пятунка тихо ворковал, утешая девку. Та вскоре перестала всхлипывать, что-то отвечала ему. Угрюм злорадно усмехнулся во тьме ямы, подумав, как завтра эта девка увидит Пятунку: какой он красавец. Но шепот пленницы и придурочного малого стал горяч, Угрюм прислушался и ретиво заколотилось в груди сердце.

— Невинная я! — шептала она. — Ради кого было беречь себя, если уродилась ненужной никому? Как подумаю, что тот старик возьмет меня первым, — кровь стынет. Уж лучше ты бери! Зачем оно мне, девство мое? Бери его! Бери!

Вкрадчиво залязгала цепь, послышались жаркое сдерживаемое дыхание, кряхтение и стоны. Сердце Угрюма забилось так, что затрещали ребра, холодный пот хлынул по телу, щекотно покатился по щекам и груди. Вдруг зазнобило его, да так, что застучали зубы. Взыграла кровь, забунтовала плоть. И корчился он от тех мук, и понимал умом, что за эту ночь Пятунка заплатит так дорого, как он, Угрюмка, платить не хочет.

— Эй вы! — вскрикнул томский служилый. Угрюмка помнил только, что у него выгоревшая борода и нос в лохмотьях отставшей кожи. — Я тоже хочу, я еще молодой!

— Дураки! — презрительно сплюнул во тьме старый казак. — Бухарцы узнают — ятры вырежут.

— Моя! Никому не дам! — сипло прохрипел Пятунка, осаживая разохотившегося служилого. — Убью!

— Дурак! — опять устало прошептал старый казак и с подвывом зевнул.

Едва рассвело, Пятунка стал поглядывать на пленных гордо, с отчаянной удалью. Девка стыдливо молчала. Угрюм не смыкал глаз всю ночь, промучился, как на бараньей шкуре рядом с забитыми телами балаганцев. Утром их всех хорошо накормили. К пленным присоединили двух кузнецких татар, не обрезанных в магометанство, почитавших шаманов. Всем дали щелока, велели помыться в ручье и выстирать одежду. Бухарский кузнец расковал цепь посередине, так что на запястьях у всех скованных оставались звонкие подвески.

Девка упиралась, не хотела раздеваться при охранниках и старике-бухарце. Подручные купца по его приказу стали срывать с нее одежду, девка завизжала. Голый Пятунка взревел, засрамословил, размахивая обрывком цепи как кистенем, бросился на охранников, по пути вытянул вдоль спины старика. Один охранник отлетел в сторону, другой свалился в ручей. Старик выгибался дугой и хватался за поясницу. Но молодые бухарцы выхватили сабли, бросились на разъяренного Пятунку, старик за их спинами брызгал и давился слюной, размахивал плетью. Пятунка отбивался цепью и весело визжал:

— Врешь, не зарубишь! Дорого за меня заплачено!

Набежали другие бухарцы, набросили на мечущегося пленника арканы, свалили с ног, скрутили руки. Старик лупцевал раба плетью по спине, Пятунка только выл и хекал, приговаривая:

— Врешь! Дорого плачено!

Его распяли на колоде. С девки сорвали одежду и загнали в воду. Татары, не поднимая глаз, тихо переговаривались, покорно плескали под мышки и в пах. Старик привел бухарца в долгополом халате. Тот добродушно осмотрел скалившегося, вращавшего дурными глазами молодца, велел перевернуть его на спину и раздвинуть ноги. Пятунка понял, что собираются с ним делать, завыл, засрамословил. Бухарец ощупал узлы веревок, вынул короткий нож. Вой Пятунки превратился в вопль и захлебнулся, как визг забитой свиньи. Затих лихой молодец, оскопленный на виду у всех и другим в поучение. Старый казак тряхнул бородой и тоскливо сплюнул на вытоптанную землю.

Угрюм послушно помылся, выстирал драный халат и лохмотья портков. Сапоги с него сняли или утерял, когда волокли, шапки не было. Он присел на солнце посушить отросшие волосы, но охранник поманил его к обмеревшему в беспамятстве Пятунке, велел отгонять от него мух.

Нет худа без добра. Полумертвого молодца положили на арбу, Угрюм присел рядом. Караван двинулся, арба заскрипела деревянными колесами, голова оскопленного молодца моталась на колдобинах. Угрюма никто не сгонял с арбы, не понуждал идти пешком. Скоро Пятунка открыл мутные, красные глаза, Угрюм, взглянув в них, смущенно пожал плечами. Старик увидел, что пленник ожил, лягнул в бок кузнеца, сталкивая с арбы. Охранники привязали к ней обрывок цепи на его руке. И побрел он на закат, покорно переставляя босые ноги по теплой земле.

Так шли они недели три, а то и больше. Со счету дней Угрюм сбился. Впереди и за спиной была только порыжевшая от солнца степь с белыми солончаками да с белыми же скотскими костями по сторонам. Вода в колодцах была солоноватой. Пятунка быстро окреп. Его одели в добротную белую рубаху и белые портки, кормили отдельно от пленников. Он не шел пешим, как все они, но без цепей ехал в арбе рядом со стариком бухарцем. Тот его опекал и утешал, ласково поглаживая по спине, обещал устроить ему безбедную жизнь. Пятунка молчал с отрешенным лицом, никого из прежних знакомых не узнавал, даже на полюбовную девку смотрел равнодушно, рот его был закрыт, а толстые губы змеились в мстительной усмешке.

Выжженная солнцем степь стала перемежаться сыпучими песками, от которых в полдень веяло жаром костра. С левой стороны, на самом краю видимой земли, засинела полоска гор. Впереди блеснуло зеркало воды и повеяло влагой, от которой заволновались кони, заревели верблюды и погоняемый скот. Отара овец с блеяньем ринулась на сырой дух, обогнала всех впереди идущих. Даже всадники, размахивая плетьми, не смогли остановить ее. Мельтешило марево, блеск воды становился все резче и ослепительней. И открылось море без края. От него веяло запахом пресной воды. После солончаковых озер и колодцев этот дух трудно было спутать с другим.

Как ни спешили путники к воде, но все казалось им, что бескрайнее озеро приближается слишком медленно. Берег его был покрыт густыми зарослями высокого камыша. Скот ломился напрямую, а бухарцы, подъехав на безопасное расстояние, остановились и настороженно оглядывались. Ничто не предвещало опасности. Скот уже напился и стал выходить на топкий берег. Кое-кто уже спешился. И тут из камыша с визгом выскочили всадники в лохматых шапках, с черными от солнца лицами. Их было всего десятка полтора. Не успели бухарцы занять оборону, как они, пригибаясь к гривам коней и размахивая дубинами, пронеслись сквозь караван, похватали что успели и скрылись за облаком пыли, ими же поднятой.

Одни кинулись следом, другие закричали. У здешних разбойников было в обычае заманивать за собой охрану и бить ее по частям. Где-то могла прятаться другая ватажка, ждущая, когда вооруженные люди оставят товар. Охрана каравана сбилась в кучу. Возле арбы старика-бухарца, купившего русских и татарских людей, кто-то закричал, запричитал, как над покойником. Угрюм же глядел только на воду и хотел пить. Но рабов старого бухарца плетьми согнали к арбе. Раскинув руки и ноги, в ней лежал на спине хозяин. Глаза его были широко открыты, морщинистое горло перерезано от уха до уха. Капля за каплей кровь тягуче стекала под арбу, горячий песок жадно впитывал ее.

Рабов стали считать, при этом больно тыкали в грудь. Не нашли одного Пятунку-скопца. Обступившие арбу купцы шумно вспоминали удиравших разбойников. Рядом с одной из лошадей, держась за хвост и высоко вскидывая ноги, бежал человек в белой рубахе. Это видели многие, но приняли бегущего за ограбленного купца, который пытался остановить вора.

Так как скопца не нашли, решили, что это он убил хозяина. Рабов заставили копать яму на возвышенном месте, девок принудили выть по покойному. Близкие люди слегка обмыли кровь и завернули тело в войлок. Тот самый бухарец, что скопил Пятунку Змеева, велел всем сесть, гортанно почитал молитвы. Убитого в кошме поднесли к яме вперед головой, опустили сидя и забросали песком. Караван встал на дневку, пленным дали воды и еды, но к камышам никого не подпускали. Утром все двинулись на полдень, к видневшейся цепочке гор, они приближались, вздымаясь все выше и выше, и вот встали перед путниками: сухие, скалистые, безлесые. По душным ущельям с иссохшими ручьями караван перевалил хребет и вышел на ископыченные многочисленными тропами объеденные пастбища. Вскоре показался город.

Не помнил Угрюм, сколько брели они по душной равнине. запомнились только палящее солнце, скрип колес, рев верблюдов, храп лошадей. Через посад города шли чуть ли не полдня. С той и другой сторон пыльной улицы тянулись высокие глинобитные заборы с узкими лазами глухих калиток. Вдоль тех заборов не было ни травинки, ни кусточка, только сухая, потрескавшаяся глина да песок. Иной раз от калитки к калитке пробегал человек, с ног до головы укутанный тряпьем. Снова улица становилась безлюдной, но за спинами идущих то и дело раздавался шум. Угрюм оборачивался и видел, что караван редеет. Какие-то купцы с рабами и товарами толпятся у распахнутых калиток и утекают в них, как вода в трубу.

Наконец и ему велели остановиться. Племянник зарезанного бухарца окликнул охранников, те тычками подогнали пленников к воротам. И вот все они скопом: со скотом, тарантасами и охранниками — ввалились в тенистый сад. Рабы, позвякивая оковами, попадали под деревьями. Где-то рядом суетилась, бегала и покрикивала домашняя прислуга. Куда-то уводили коней и верблюдов. Пленников не беспокоили, дали мутной теплой воды в кувшине и забыли о них. Двор затих. Угрюм задремал и впал в тяжелый сон.

Проснулся он от звуков, напомнивших удары чекана по темени. Был теплый и душный вечер, каких не бывает в Сибири, пряный запах фруктовых деревьев кружил голову, драный халат лип к зловонной испарине, выступившей на грязном теле. «Уп!» — повторился разбудивший его звук. С деревьев на землю сада падали тяжелые яблоки. Позвякивая цепями, кузнецкие татары весело грызли плоды, щурились и чмокали. Угрюм был прикован к их цепи третьим. Увидев, что он проснулся, татарин катнул ему тяжелое яблоко. В стороне, спина к спине, лежали томские казаки. Тарская девка спала на животе, высунув из-под подола черные потрескавшиеся пятки.

Из-за деревьев вышел босой мужик с бритым, бабьим лицом, в белой рубахе и коротких белых штанах,. В одной руке он нес деревянное блюдо с лепешками, в другой — кувшин с водой. Увидев спящую девку, склонился над ней, слащаво поцокал

языком. Она открыла глаза, села, смущенно одернула сарафан и спрятала босые ноги под подол. Бритый с ласковым лопотанием поставил возле нее блюдо и кувшин. С его лица не сходила восхищенная улыбка. Он опять поцокал языком, качая головой, ушел, то и дело оглядываясь.

— Вот и женишок сыскался! — хмыкнул томский служилый, подтягивая к себе за цепь старого казака. Взял с блюда лепешку, пожевал. — С яблоками вкусно! — кивнул Угрюму, приглашая к блюду.

Утром опять пришел бритый в коротких штанах, принес лепешек и вареного мяса, ласково ворковал, не сводя глаз с девки, вынул из-за пазухи горсть сушеного винограда, пугливо оглянулся и высыпал ей на подол.

— Холоп! — хрипло вздыхая, зевнул старый казак, больше всех утомленный переходом.

С месяц все они шли рядом, но Угрюм не знал имен спутников, ни с кем без нужды не заговаривал и знать никого не хотел. Казаки тоже не баловали его вниманием, шли сами по себе, как и татары.

Два дня пленников не беспокоили и хорошо кормили. Девка без оков свободно бродила по саду, могла уединиться, но далеко от пленников не отходила. К следующему вечеру бритый мужик опять принес еды и каких-то сладостей, стал манить ее в глубину сада, плутовато и настороженно улыбался. Она мотала головой и не шла. Мужик схватил ее за руку, потянул за собой, лопоча о чем-то горячо и страстно, прикладывая руку к груди. Тут как из-под земли появился молодой бородатый охранник, схватил бритого за рубаху, трижды огрел плетью по спине. Тот с воплем вырвался и скрылся среди деревьев. Охранник строго оглядел скованных, пригрозил плетью и ушел.

— Следят, чтобы не сбежали! — зевнул старый казак. — А куда бежать-то?

От его слов, сказанных равнодушным, утомленным голосом, Угрюм всей душой ощутил, как безнадежно далек от своих людей и как невозможно возвращение в прежнюю жизнь.

— Голодранец, раб! А туда же, — брезгливо проворчала девка и пристально взглянула на томского казака.

Тот плутовато ухмыльнулся, подернув выгоревшими бровями.

Наутро пленных расковали, досыта накормили, дали много воды, чтобы они помылись, одели в белые штаны и рубахи. Девка мылась отдельно, пришла причесанной и повеселевшей, приодетая в короткое шелковое платье и штаны. Под присмотром охранников всех вывели из сада на знойную улицу. Впереди на осле ехал племянник зарезанного старика, несколько длинноухих мулов везли его товары. За ними брели пленные, для порядка связанные мягкими веревками, с боков и сзади шли охранники с кривыми саблями.

Впереди показались высокие стены города с распахнутыми настежь воротами. Угрюму все происходившее казалось сном: и богатый разноязыкий город, и невольничий базар. Кто-то его осматривал и щупал. Перед глазами появился русобородый голубоглазый мужик в бухарском халате, с головой, обвязанной шелковым лоскутом. Он что-то спросил. Угрюм не услышал и только когда голубоглазый ткнул его в бок, внимательно взглянул в широкое лицо с конопушками на переносице.

— Ты глухой? — крикнул тот, улыбаясь.

До Угрюма не сразу дошло, что спрашивают по-русски. Мужик срамословно и весело ругнулся, затем хохотнул:

— «Живый в помощи» читаешь?

— Богородичные! — признался и удивленно спросил: — Ты с Руси?

— Даже из Сибири! — зачем-то крикнул дородный и стал обтирать платком потное лицо. — Как видишь, здесь тоже можно жить, — положил руку на слегка выпяченный живот, сунул ладонь за кушак, который его поддерживал. Там висел по виду тяжелый кошель.

Обливаясь потом, мужик кряхтел и почесывал рыжую шерсть на груди в том месте, где у всякого русского висел крест. Узнав своего, Угрюм оторопел и едва не залился слезами радости, но, вглядевшись пристальней, увидел в его лице что-то явно нерусское, чужое, и разочарованно отвел глаза.

— Ты чья? Откуда взяли? — спросил мужик девку на чистом русском языке, да еще с новгородской и сибирской певучестью.

Она охнула, заголосила, запричитала, рассказывая, как была пленена, как погибли отец и братья.

— Вот те раз! — вскрикнул мужик. — Тарская? Землячка! Ну, не реви! — Обтер потное лицо влажным, смятым платком и перевел взгляд на Угрюма. — А ты откуда?

— Енисейский промышленный! — быстро заговорил он, счастливый уже тем, что слышит родную речь на проклятой чужбине. — Брат — казак! А я всякому делу обучен, кузнечное дело знаю.

— Кузнец мне нужен! — обнадежил мужик. Обернулся к племяннику зарезанного бухарца, который ел его глазами и угодливо улыбался. Затем степенно перешел к

казакам, громко заговорил с ними, даже пошутил о чем-то, потом одышливо пожаловался:

— Всех взять не могу, денег не хватит… А кузнец мне нужен!

Затрепыхало сердце в груди Угрюма, он осаживал себя, слышал от бывальцев, что русские выкресты бывают злобней и жестче инородцев, но все же хотел попасть в дом к единокровнику.

Крякнув еще раз, потный мужик выпятил живот и бойко залопотал по-здешнему. Глаза купца округлились и полезли на лоб, по его лицу Угрюм понял, что бывший русский хает товар, то есть его, Угрюма. Бухарец взвыл, подскочил к нему, содрал с плеч рубаху, стал показывать жилы. Голубоглазый насмешливо и презрительно отвечал, похохатывая. Вокруг собирались зеваки, галдели, увлекаясь спором.

Разъяренный купец сорвал рубаху с заголосившей девки. Та прикрыла ладонями грудь. Он яростно отодрал ее руку, показывая всем тугую, упругую, с розовым соском, выпуклость, щупал ее как яблоко, подкидывал на ладони, шлепал по животу. Русобородый со спокойной насмешкой отвечал, оборачиваясь за поддержкой к хохочущей толпе и она сочувственно поддакивала. Палило солнце, плыла перед глазами заплеванная земля, орали ослы. Сколько длилось все это, Угрюм забыл. Помнил только, что доведенный до бешенства купец под хохот толпы сорвал с бритой головы чалму и стал топтать ее. Тот и другой ударили по рукам. Русскоязычный отсчитал звонкие монеты и повел за собой девку с Угрюмом.

— Держи! — подал корзину.

Угрюм торопливо подхватил ее. Хозяин, не оглядываясь на рабов, пошел по торговым рядам, покупая зелень, сыр, другую снедь, и все бросал в корзину. Наконец они вышли за городские ворота и зашагали по знакомой, как казалось, улочке, но против солнца. Однако то ли время было к вечеру, то ли улица другой, но точь-в-точь как та, где пленники приятно провалялись два дня и две ночи. И калитка была такой же. Мужик, за ним Угрюм с тяжелой корзиной и девка снова вступили в тенистый рай за глинобитной стеной. Это был сад. Чуть слышно журчала вода в арыке, веяло благодатной прохладой. На крыльце дома с плоской крышей появилась молодая женщина в долгополой рубахе, приветливо крикнула по-русски:

— А мы уж заждались!..

Другая, постарше, с проседью в черных волосах, с темным пушком на верхней губе, степенно вышла из-за деревьев. Она была просто и удобно одета в обвисающий шелк и держалась с важностью хозяйки.

— Ой! — прикрыла лицо воротом рубахи. — Кого ты привел?

— Уф! Ну и жара! — сел под яблоней хозяин, стал неловко разматывать кушак. — Садись! — приказал Угрюму, покорно стоявшему с тяжелой корзиной на плече. — Купил наших, сибирских пленных, — прокряхтел, задирая руки, помогая женщинам стянуть с себя халат. — Он — кузнец, а ее приставим куда-нибудь.

Хозяин был глуховат. Даже здесь, в тишине сада, он говорил очень громко и если Угрюм отвечал тихо — переспрашивал. Женщины подхватили корзину, унесли в дом. затем увели за собой смущенно озиравшуюся девку. Угрюм остался наедине с полуобнаженным хозяином. Оба несколько мгновений наслаждались тишиной и тенью.

— В эдакую жару да баньку бы, по-нашенски! А? — по-свойски подмигнул тот. — Затопим, но позже, пока помойся в арыке и подкрепимся!

Чудным показался Угрюму дом, в который он попал милостью Божьей: в чужом краю, за высоким забором, хозяин построил маленькую Русь. Правда, она была не совсем русской: чужое, непривычное, но ласковое и удобное, выпирало из всех углов, напоминая, где все это находится.

На другой уже день он знал, что чеканщик Абдула, купивший его, родился в Таре и при крещении получил имя святого Иоанна. По сиротству он был отдан в ученики посадскому кузнецу, а в юности пленен калмыки на соляных озерах возле Иртыша и продан бухарцам. Здесь его купил чеканщик, тоже выкрест, не имевший сыновей. Тарский посадский принял обрезание в магометанство, женился на его дочери, унаследовал дом и дело своего хозяина.

Сытно позавтракав, с самого утра Абдула принялся за работу. Загрохотал металл по металлу. Угрюм изо всех сил старался быть полезным, помогал ему и быстро схватывал тонкости мастерства. К полудню мужчинам накрыли стол под деревом. В ушах звенела медь и громкий голос хозяина больше не удивлял пленника.

Прислуживала им купленная тарская девка, одета она была, как другие женщины в доме. Ее лицо с пугливыми глазами расправилось и посвежело, она намеренно не смотрела на спутника по несчастьям и делала вид, что знать его не знает. Не пытаясь заговаривать с ней и напоминать о прошлом, Угрюм иногда перехватывал ее мимолетные злобные взгляды. Женщины, жены Абдулы, были с ним ласковы и приветливы. За стол с мужчинами они не садились, но вели себя вольно, много расспрашивали о жизни промышленных людей и о Енисейском остроге. И только девка-пленница сторонилась и воротила нос. Вскоре Угрюм понял, что в ее лице

нажил заклятого врага.

А жизнь в доме Абдулы была еще слаще, чем среди балаганцев. Где-то там, за глиняной стеной, жил своей жизнью враждебный город, здесь дурманно пахло яблоками, они падали с деревьев и уже не напоминали Угрюму удары чекана по головам. Они с хозяином работали с утра до вечера, но до изнурения себя не доводили. Сколько хотелось, столько отдыхали. Садились в тень, Абдула говорил, Угрюм внимательно слушал, изредка отвечая на его вопросы.

— От своего Бога отречься, другому поклониться — великий грех! — рассуждал хозяин, поглядывая в синее небо над верхушками деревьев. — На Руси за переход в магометанство — смертная казнь. Наверное, это справедливо.

Но здесь какой закон? Ты вот раб, никто, а примешь магометанство, — Абдула опасливо покосился на крест под рубахой Угрюма, — и я должен отпустить тебя, как равного всем здешним жителям. А у вас каково? Рабом может быть только единоверец. Других не тронь! Упаси Бог. Всякий другой — вольный! Разве это по Писанию? — Абдула начинал злиться и говорил так громко, что переходил на крик.

— Тайно читаю Старый Завет и Новый, — снова зашептал, пристально всматриваясь в глаза Угрюма, и обретенное на чужбине, нерусское, резче выпирало в его лице. — Не было такого повеления от Господа, чтобы только своих холопить. — Абдула поперхнулся, рука его дрогнула и замерла в привычном желании перекреститься. — Цари да бояре придумали… Сами выродились в латинянскую нерусь и всем нерусским потакают.

Угрюм кивал, пожимал плечами, вздыхал и втайне чувствовал, что Абдула завидует ему, нищему сироте и рабу, не снявшему креста и оправдывался не столько перед Господом, сколько перед ним, грешным, всеми силами стараясь не выдать этого своего превосходства, оттого угождал и льстил без меры, живо поддакивал, рассказывал о своем сиротстве. С женами Абдулы у него быстро сложились добрые отношения. Они души не чаяли в купленном кузнеце, только тарская девка продолжала злобно молчать и обходила его стороной.

Кончилось знойное лето, настала осень с прохладными вечерами, напоминавшими Сибирь. Опали листья в саду, укрывая землю желтым ковром. За ворота Угрюм выходил редко и неохотно, когда хозяин брал его на базар. Он не хотел знать ни города, ни его крикливых жителей. Как рыба с иссохшими жабрами, добравшаяся до воды, барахтается в ней ни жива ни мертва, так он возвращался за глинобитный забор, где, кроме тарской девки, врагов не имел. Лежал на листьях, смотрел в небо, думал с тоской, что ничего лучшего не было в его прошлой жизни. Милостив Бог!

Он старался быть хорошим чеканщиком и трудился не зря. Все чаще хозяин внимательно рассматривал украшенные им поделки и был доволен работой. Прежнее знание кузнечного ремесла теперь казалось Угрюму жалким ученичеством, но оно спасло ему жизнь, привело в этот дом и потому он жадно учился всем тонкостям мастерства. А его усердие восхищало хозяина.

Дом в саду был просторным, со многими комнатами. Женщины жили на другой половине. Отдельно от всех, окруженный заботой, доживал свой век немощный старик, тесть нынешнего хозяина. Дочь часто выводила его в сад. По старости и хворям говорить он не мог, но приветливо улыбался Угрюму беззубым ртом, знал о нем со слов домашних и показывал свою приязнь. Вскоре Угрюм стал догадываться, какую судьбу готовит ему Абдула и дом открылся перед рабом не только с достатком и миром живущих, но с бедами.

В любви и приязни Иван-Абдула прожил с дочерью прежнего хозяина, нынешней старшей женой, десять лет, детей у них не появилось. Жена настояла, чтобы он взял другую, молодую жену. Сама нашла и выбрала пленную русскую девку, с которой по сей день жила в добрых родственных отношениях. Та прожила в доме пять лет, а детей все не было.

Как-то за обычными между мужчинами разговорами о Боге и Его Заветах Абдула признался, что Угрюм ему нравится, что он хотел бы женить его на тарской девке и сделать наследником, чтобы поддержать свою старость, как он содержит бывшего хозяина.

Ударила кровь в лицо пришельца, которого никто в доме не принимал за раба, звериным чутьем голодранца он почуял близость ловчей ямы и прельщение дьявола. Угрюм мог забыть, как ненавидящая или смущавшаяся его девка миловалась у него под боком с придурковатым Пятункой Змеевым. Стерпится — слюбится. Он никогда не был особо набожным, но боялся отказаться от Бога, который один только и помогал сироте в несчастьях. Верно говорят: кто с жизнью не прощался, тот истинно Богу не маливался, а злосчастий в жизни Угрюма хватило бы на троих.

Заметив сильное смятение в его лице, Абдула тягостно вздохнул:

—Если не женишься на ней ты, придется мне взять третью. Жены требуют!

Со страхом, но все же отказался Угрюм от счастливой и благополучной жизни в саду и долго потом икал, содрогаясь всем телом. Последствий опасался не зря: в тот

же день почувствовал, как переменились к нему домашние — не унижали, не обижали, но отчужденный холодок появлялся в голосах, когда говорили с холопом. Он понимал, что нужен теперь только хозяину, старался в работе больше прежнего, сам начинал глохнуть от шума мастерской и понимал, что на этот раз ремесло его не спасет: злющая тарская девка рано или поздно оговорит свидетеля тайного греха и вынудит Абдулу продать помощника.

Раз в неделю хозяин грузил осла изделиями и уходил один то ли на базар, то ли еще куда. Угрюм запирался в мастерской и стучал беспрерывно, пока его не звали есть. Хозяин возвращался, Угрюм настороженно всматривался в его лицо, старался угадать по нему свою судьбу. Однажды промозглой осенью оно очень не понравилось Угрюму. Он стал ластиться, зазывать Абдулу на душевный разговор, хотел вызнать, о чем тот думает. И хозяин со вздохами открылся.

— Хорошо живу! Грех жаловаться! Но в эту самую пору нападает на меня тоска го рючая, — свесил кручинную голову. — От Бога отрекся — принял грех неотмолимый. Вдруг и смилостивится? — вскинул голубые глаза. В них метался ужас. — Сколько раз Израилево племя забывало Его милости, поклонялось другим богам. Наказывал, но прощал ведь? Он сирот любит! — Абдула всхлипнул. — Иной раз в эту пору как гляну на здешние кладбища, как подумаю, что здесь лежать до Великого Суда, душа холодеет. Хоть бы в этом саду закопали, что ли?

Вдруг он взглянул на помощника пристально и испытующе.

— А если отпущу тебя на волю, к медведям, к комарам и мошке? Заживешь где-нибудь в курной избе на краю леса с вечной нуждой о хлебе…

Угрюм молчал, только пугливо водил глазами, не зная, какого ответа ждет хозяин. И вдруг понял, что тот под хмельком. Случалось, он попивал тайком от правоверных соседей.

— И приду я, старый, к тебе, чтобы покаяться за грехи тяжкие да помереть по-русски?

— Приходи! — выдохнул Угрюм, взглянул испуганно: — Что? Девка оговаривает?

Абдула про девку ничего не сказал, опять вздохнул глубоко и сипло, мотнул бородой, выдавая, как показалось Угрюму, что та девка его умучила. Сказал другое:

— Знал я самокреста. Там еще, — качнул головой на полночь. — Он от прежней жизни отрекся, закопал пустой гроб, крест на могиле поставил, заказал по себе панихиду, и крестился под другим именем, другую жизнь начал. Узнать бы, как она, другая, удалась… Эх! — Насупился, тряхнул головой, трезвея, заговорил строго, дело вито: — Встретил томского служилого человека Луку Васильева. Послом пришел к нашему эмиру. На морду татарин, говорит с корявинкой, из магометанства выкрестился, хрен обрезанный, крест на брюхо нацепил. И вот ведь! Посол! Сын боярский.

Ты хорошо работал, хоть и не отработал затраченного. Если здешняя жизнь тебе не по нраву — могу отпустить в Сибирь с узкоглазым выкрестом…

— Почему не по нраву? — пугливо сглотнул слюну Угрюм. — Лучше, чем у тебя, я и не жил. Век бы так жить. Ты мой отец и благодетель. Век молиться за тебя буду…

— Молись, раб Божий Егорий, — властно перебил его Абдула и сказал, что вертелось на уме у самого Угрюма: — Пока я жив, ты в достатке. А вдруг... — вскинул печальные и похмельные глаза. — Плохо тебе будет! — замотал бородой. — Правильно! Иди к своим медведям, сиротства своего ради, и молись за грешного Ивана.

Разговор этот не остался забытым. На другой день Абдула ушел налегке и вернулся к полудню. Моросил дождь, на хозяине был промокший халат, а в жилом доме сыро и холодно. Абдула вошел в мастерскую, где горела печь и гремело железо, остановил работу жестом. Угрюм взглянул на него. Хозяин был трезв, весел и зол. В стенящей тишине еще тонко дозванивала медь. Абдула заговорил даже громче обычного:

— Согласен взять тебя выкрест плоскомордый, да не знает как. Его люди переписаны. Разве я дам ему на тебя купчую, будто продал раба? — взглянул на Угрюма пристально.

Тот пожал плечами, дескать, как знаешь.

— Не верю выкрестам! — чертыхнулся хозяин. — Глазищи у татарина завидущи. Так и зыркает, где чего прихватить. — Помолчал, прижимаясь к горящему горну, в котором неохотно и дымно тлели вишневые да яблоневые ветки.

— Перепродать тебя в пути не сможет, а как доставит в Томский и объявит рабом, не докажешь, что я тебя дал даром. Нет на свете тварей поганей выкрестов! — плюнул в угол со злобным удовольствием, сел, согрелся, успокоился, стал подремывать. Встрепенулся, запахнув халат.

— Думай! — тоскливо взглянул на мокрый сад с черными ветвями деревьев.

— У меня брат в Енисейском остроге. Не оставит, — пролепетал Угрюм заплетающимся языком. Не было на душе никакой радости, что Бог дает надежду на свободу.

Низкорослый кривоногий татарин, поверстанный в сыны боярские по томскому окладу, бросал слова весело, то и дело беспричинно кивал и ухмылялся, поглядывая по сторонам раскосыми глазами. Он не понравился Угрюму с первого взгляда.
С тремя казаками Лука Васильев был послан сюда томским воеводой. Посольские дела закончились, томские служилые покидали город. Возле ворот богатого дворца казаки укладывали в арбу подарки и харч. Пять почетных охранников из свиты здешнего эмира с важным видом сидели на корточках возле своих привязанных коней.

Абдула приодел Угрюма в старый стеганый халат, мягкие сапоги, дал ему в дорогу мешок лепешек и яблок, сказал, что обо всем договорился, но при встрече снова стал спорить с выкрестом, перемежая русские слова татарскими и здешними.

— Какие корма? — напирал. — Послов эмир кормит. Где десять, там одиннадцатый прокормится.

Томские казаки равнодушно поглядывали на споривших и Угрюма, с нетерпением ждали выхода из города. Лука Васильев уклончиво настаивал, чтобы прокорм в пути был оплачен наперед.

— Есть родня в Сибири? — плутовато спросил Угрюма.

— Служилый, Иван Похабов! — ответил тот.

— Знаю Ивашку! — закивал выкрест. — По Енисейскому служит.

Угрюм повеселел. То, что почетный посол знал брата, обнадеживало. Абдула сходил с ним к писарю, выправил купчую на Угрюма, на прощание по-русски поликовался с бывшим рабом со щеки на щеку и смахнул слезу рукавом халата.

— Молись за меня! — напомнил, покашливая и хлюпая носом. Сутулясь, повел послушного осла к воротам города.

Снова вздыбились на пути черные, неприветливые горы, по бывшим сухим каменным рекам сочилась вода. За горами открылась бескрайняя степь: серая, нежилая. Казаки ехали верхами, посол — в тряской арбе, Угрюм то шел возле арбы, то садился в нее. Всю дорогу он молчал, и казаки его ни о чем не расспрашивали. Пленник ни у кого не вызывал любопытства.

Посол был в суконном кафтане, добротном, но простецком малахае и без сабли. В дороге часто вспоминал, что на ответные подарки казны не хватило, пришлось отдать родне эмира свою соболью шапку и саблю да пояс с серебряными кистями.
Казаки угрюмо слушали его жалобы и похвальбы, видом показывали, что вынуждены терпеть болтуна, иногда перебрасывались словцом или знаками с охранниками. Скрипела арба, скрипел мокрый, перемешанный со снегом песок под колесами, храпели кони, на ходу хватая выжженные и сникшие прошлогодние травинки.

Показалось великое озеро, вдали мутно замерцала вода, такая же серая, как степь. По протокам и ямам берега лежал ноздреватый лед. Под ветром качался высокий сухой камыш. Близко к нему посольский обоз подходить не стал, объезжая стороной, открытыми местами. Но снова, как прошлый раз, из камышей выскочили всадники, галопом кинулись к посольскому каравану. Охранники эмира пришпорили лошадей и умчались на полет стрелы, там, остановившись, стали кричать и угрожать разбойникам, оправдывались перед казаками, что сопровождают посольство только до калмыцких кочевий. Здешняя земля была спорной. Три казака спешились, выставили пики на три стороны от арбы. Татарин держал коней под уздцы. Разбойники закружили вокруг арбы. Выкрест по-татарски стал грозить гневом эмира. Охранники, приметив нерешительность грабителей, приблизились, стали ругать их громче.

Среди разбойников Угрюм высмотрел знакомого человека. Пригляделся. Черное от солнца лицо, большой рот с оскаленными конскими зубами, курносый, будто выдранный палачом нос. Как ни причудливо был одет всадник, узнал-таки в нем Пятунку Змеева и тот узнал его. Глаза Пятунки неприязненно блеснули, толстые губы покривились.

— Ба! Ясырь енисейский кеттынит*! — оскалил красные, звериные десны. О чем-то переговорил с удальцами степной породы. Те положили дубины, луки и сабли поперек седел, подернули поводья, отвели коней в сторону, встали, поглядывая на обозных. Пятунка позвал Угрюма.

— Сиди! — строго приказал татарин. И крикнул по-русски: — Дай пройти. Мы — послы томского воеводы, вреда вам не делали!

— Заплати и ступай с Богом! — оскалился Пятунка.

— Что хочешь? — замявшись, спросил посол.

— Этого! — указал на Угрюма разбойник.

Лука Васильев воровато и зло блеснул на пленника черными глазами, объявил:

— Как до стана версты с три останется — отдадим!

Осмелевшие охранники стали приближаться, придерживая коней. Разбойники подняли луки, и они, дав плетей, ускакали на прежнее место, опять начали уговаривать лихих людей.

— Подойди! — приказал Васильев.

Угрюм осторожно шагнул от арбы. Боязливо гадал, зачем понадобился Пятунке,

ругал себя, что не скрыл лица. Разбойник отъехал от товарищей на десяток шагов. Неволей Угрюм подошел к низкорослому, перебиравшему копытами коньку. Пятунка лег животом на гриву, со злым любопытством стал разглядывать идущего.

— Хочешь со мной казаковать? — спросил насмешливо. Вблизи Угрюм увидел, как он переменился. В восторженных прежде глазах стыли колкие льдинки, на придурочного он теперь не походил, глядел на бывшего пленника как наделенный властью, в чьей воле казнить и миловать. Про девку, как ждал Угрюм, не вспомнил.

— Мне к брату надо! — промямлил жалостливо.

**Кеттынит — от «кет» — «идти» (тюркск.).*

— Твое счастье! — презрительно ухмыльнулся Пятунка и набросил ему на шею волосяную петлю. — Брат — святое!

Охранники и казаки закричали, размахивая саблями и пиками, но Пятунка ухом не повел в их сторону, подтянул Угрюма за петлю к самому лицу, прошипел, скрежеща конскими зубами, меж которых как мох зеленела какая-то плесень:

— Да мне так, без ятров, даже лучше! Божись, что никому не скажешь, что видел! Или удавлю!

— Вот те крест! — испуганно пискнул Угрюм и, вытаращив глаза, размашисто перекрестился, подрагивавшими пальцами вытащил из-под халата крест, приложился губами.

— Живи и помни! Другой раз встречу — убью! — Пятунка скинул петлю, поддал коньку пятками под бока. Тот с места рванул в галоп. Пригибаясь к гриве, разбойник вернулся к дружкам. Полтора десятка всадников стали удаляться к зарослям камыша.

На подрагивавших ногах Угрюм приковылял к арбе.

— Что ему? — строго спросил Васильев. Колко мерцали его черные зрачки в узких щелках глазниц.

— Спрашивал дорогу до города, — виновато замялся Угрюм.

— Откуда знаешь разбойника? — злей прежнего впился в него недоверчивым взглядом служилый татарин.

— Тоже ясырем был! — обидчиво вскрикнул Угрюм. — В одной яме сидели, но он бежал, а меня продали.

Разбойники скрылись так же быстро, как появились. Обоз двинулся своим путем. Посол все оглядывался на бескрайнее озеро и велел завернуть с тропы на ветер вдоль берега. Когда бухарские охранники стали громко возмущаться, указывая правильный путь, Васильев приказал остановиться, вошел в крайние заросли камыша, присел, будто по нужде, стал высекать искру кремнем, раздувать огниво. Когда над камышом поднялся дымок, с ухмылкой вернулся к обозу.

— Сыро! Не разгорится! — хмуро заметил долгобородый казак.

— Как Бог даст! — мотнул головой Васильев.

Порыв ветра выстелил дым по земле, а пламя с треском взмыло вверх. Довольный собой, посол сел в арбу, весело взглянул на бухарцев.

— Давно бы надо выжечь берег! — пролопотал на их языке. — Мне отмщение и аз воздам!

— На другой год гуще прежнего вырастет! — буркнул долгобородый.

В Томский город посольский обоз прибыл как раз на мучеников Платона и Романа, в первый день подлинной зимы.

— Платон да Роман кажут зиму нам! — кряхтели казаки, пряча лица от ветра. Последние дни пути он был лютым. Лицо Угрюма покрылось черными коростами, он чуть не околел в дареном халатишке, который продувало, для тепла оборачивался жесткой как доска, промерзшей бычьей шкурой. Тем и спасся. Благодарственный молебен заказать было не на что. Угрюм простоял в храме на коленях всю литургию. Это все, чем мог отблагодарить Господа за чудесное спасение, за милости на чужбине.

Едва он вышел из притвора, столкнулся с калмыцким ясырем. Тот стоял поперек пути в добром овечьем тулупе, опоясанном кушаком, в новых ичигах. На боку висел тесак, глядел на возвращенца нагло и презрительно.

— Айда, воевода ходи! — ткнул в грудь пальцем.

Дать бы в ухо косорылому, да город чужой, народ злющий, ясырь неизвестно чей. Угрюм попробовал обойти его, ясырь вцепился в плечо.

— За тобой посылали! Башка зовет!

— Что буянишь? — строго окликнули за спиной.

Похрустывая снегом, к ним шел казак в долгополой епанче поверх жупана. Заиндевевшая борода его была коротко стрижена, на усах висели сосульки, глаза смотрели добродушно и приветливо.

— Из плена вышел, — слезно кинулся к нему Угрюм. — Натерпелся от неруси, а тут опять… У своих…

— Ты чей будешь? — остановился казак и окинул оборванца любопытным взглядом.

— Брат у меня в Енисейском, — обиженно вскрикнул Угрюм. — Служилый Иван

Похабов.

— Знаю Ивашку, — казак смахнул сосульки с усов. — Поклон ему от Богдашки Терского. — Строго взглянул на ясыря, который с важным видом что-то бормотал и надувал щеки. — Иди! — приказал. — Сам приведу!

В съезжей избе Угрюма ждал письменный голова, рядом с ним сидел Лука Васильев и непринужденно поглядывал по сторонам, не желая замечать обозного. Голова вперился в оборванца разъяренными глазами, по его взгляду Угрюм понял: чем меньше скажет о себе, тем лучше. Вылетит лишнее слово — другое и третье палач выбьет.

— Сказывай, где пленили! — неприязненно рыкнул голова, едва дождавшись, когда вошедший отвесит поклоны на образа.

Богдан, распахнув епанчу, сел на лавку.

— Тебе чего? — строго спросил письменный.

— Брат товарища, — коротко, безбоязненно ответил казак и кивнул на растерявшегося Угрюма.

Голова молча согласился с присутствием казака и снова перевел взгляд на пришлого, понуждая к ответу.

— Ходил с ватагой на промыслы по Тасеевой реке, захворал и был оставлен у ясачных тунгусов. Напали на них киргизы, меня пленили, продали бухарцам. Там купил магометанин из бывших русских. Отработал я ему себя, отплакался, даром отпустил меня с нашим посольством.

Голова презрительно рыкнул и спросил злей прежнего:

— Воровского передовщика откуда знаешь?

Угрюм вспомнил угрозы Пятунки, слезно затараторил:

— В одной яме сидел с ним, с пленным. А откуда он — знать не знаю! Узнал меня разбойник. Это я уговорил его наш обоз не грабить, — заюлил, стараясь всем угодить и никого не обидеть. Тайком радовался, что в пути ни с кем не подружился и держал язык за зубами.

Голова догадывался, что он что-то скрывает, злился, грозил палачом. Богдан с лавки препирался с ним, защищая брата товарища.

— Найдешь, кто залог за тебя внесет — ступай в Енисейский! Скоро казаков туда пошлем. Не найдешь — будешь служить у Васильева дворовым холопом.

Угрюм чуть не задохнулся от обиды, вскрикнул, указывая на сына боярского:

— Он же крест целовал! Абдула ему даром дал купчую на меня.

Голова перевел строгий взгляд на Васильева, тот заерзал на лавке.

— Не помню! — сказал с напрягшимся лицом. Ухмыльнулся, задрав нос.

Богдан поднялся, гаркнул письменному голове:

— Отпусти промышленного! Найду деньги выкресту! Братья Бунаковы Ивану Похабову не откажут.

— Ты язык-то придержи! — сдержанно поправил его голова. — Он сын боярский и почетный посол нашего воеводы князя Ивана Шеховского.

Грешным помыслом Угрюм объяснял себе это молчание завистью. Ведь он — младший, а повидал на своем веку больше, чем иные старики городов и острогов.

— Не сказывай никому! Ты мне божился! — напомнил Ивану, закончив рассказ.

— Да уж не скажу! — глубоко, как конь, вздохнул тот. — И ты помалкивай, а то

Угрюма отпустили. Он вышел из съезжей избы с горькой обидой под сердцем: из одного плена бес привел в другой. Мрачным и убогим показался ему Томский город…

Чуть не до сумерек братья Похабовы просидели у костра. Остывший конь нетерпеливо мотал головой и перебирал копытами. Угрюм говорил искренне, увлекаясь воспоминаниями: то жаловался на судьбу, то похвалялся виданным и пережитым. Поглядывая на старшего брата, старался понять, что чувствует он, слушая его сказы.

Иван молчал с непроницаемым лицом, его узкопосаженные глаза были мутны,

ведь стыдно!

— Что стыдно? — вскрикнул Угрюм с ошарашенным лицом.

— Стыдно! — отводя мутные глаза, тихо повторил Иван. Брови его досадливо хмурились. — Столько претерпел… Ни во славу Божью, ни за Русь Святую, а так, живота ради, по бесовскому научению.

Угрюм метнул на брата злобный и удивленный взгляд, насупился, замкнулся. Иван понял, что обидел младшего, стал сопеть, кряхтеть, не зная, как замять неловкость, начал оправдываться:

— Я смолоду чего только не наслушался от старых казаков. И тогда много было видальцев: всяких пленных, беглых, которые жили в дальних странах, среди чужих народов. Мы, молодые, слушали их, разинув рты, восхищались. А после приметил я, что все, которые вернулись от чужих, уже как бы и не свои. Слушать-то их слушали, а сторонились как порченых, будто они какую грязь или заразу принесли из скитаний. — Иван снова шумно и глубоко вздохнул: — Забыть бы тебе все, про что говорил, молиться и служить. Глядишь, выправил бы судьбу! — жалостливо взглянул на

младшего прояснившимися глазами.

— Будто ты не средь чужих народов служишь? — огрызнулся Угрюм и скривил губы. — Лет уж десять, больше.

— Это другое! — болезненно сморщился Иван. — Мы пришли по воле Божьей, чтобы дать закон здешним народам. Иные нас сами зазывают.

— Слыхал! — опять желчно усмехнулся Угрюм. — Жена князца Немеса приехала в Томский шертовать царю за мужа и весь род, а тамошние воеводы как увидели на ней соболью шубу, так стали сдирать с плеч силой. Князец недавно только воевать перестал, утешился от обиды или помер.

Иван бессильно опустил голову, долго глядел на тлевшие угли костра, наконец вскинул глаза на брата:

— Тебе бы не погнушаться, со скитником Тимофеем поговорить или с попом Кузьмой... Потомки Израилевы, которых Бог вел на обетованную землю, не меньше нашего грешили. За то их Господь казнил сотнями и тысячами. Но были и верные Его Заветам. Они перешли Иордан и расселились…

— Да я с год жил с теми самыми монахами, что и ты, — нетерпеливо перебил его Угрюм. — Слушал, что и ты: про скрижали, Моисея, про Иисуса Навина, Самсона и Соломона…

— Поехали, что ли! — поднялся Иван и стал забрасывать шипящие угли костра жестким весенним снегом. Пробормотал, вкладывая клацающие удила в конские зубы: — Иная лошадь двадцать лет книги возит, а читать все не выучится.

Глава 4

На святого мученика Федула и по Сибири теплом задуло. В середине апреля стаял снег вокруг острога и бесстыдно обнажились грязи. Костьми мертвечины из земли торчали вмерзшие остовы брошенных судов, разбитые барки и струги, в тенистых местах и буераках стыдливо вжимались в отопревающую землю черные заструги сугробов, из окон маковских изб вывалились льдины. Пока не вскрылись реки и не оттаяли болота, острожные люди ходили на лыжах по притокам Оби и Енисея, спешили собрать ясак с кетских родов, караулили промысловые ватаги, пробиравшиеся мимо острогов без государевой пошлины.

Все радости изнурительной острожной жизни виделись Угрюму только в том, что тихим вечером, на закате дня, уставшие от работ люди сидели под стеной и глядели на болота с чахлыми деревцами, на зеленые гривы с кряжистыми кедрами и лиственницами. Баба идет с ведрами на ручей — им развлечение. Все отдыхающие казаки поглядят на нее, седой приказный проводит тоскливым взглядом, незлобиво ругнется:

— Оптыть… Похабиха-то, — кивнет Ивану, — под коромыслом... Задом-то туды-сюды, туды-сюды. Гусыня! И ни капли не прольет. Мать ее…

И казалось Угрюму, что он слышал это много раз. Приглушенно и устало хохотнули братья Сорокины, усмехнулся Иван. Завистливо закрутил головой, заводил хищными куньими глазами Васька Колесников. Глядь, широким и степенным мужицким шагом с березовыми ведрами идет его Капа. Тот же приказчик, позевывая, посмеялся:

— Кобыла! Как ты с ей, Васька, управляешься-то?

— А так! — строптиво вскинулся стрелец и громко окликнул жену: — Подь сюда, холера долговязая!

Капа простодушно и улыбчиво подошла к отдыхавшим мужчинам.

— Пой, стерва! — приказал Васька, для острастки вращая бешеными глазами.

Капа послушно поклонилась, поставила ведра на землю, сцепила пальцы на животе, подняв к небу большие невинные глаза, заревела коровой, так жалко и покорно, что всем стало стыдно. И Ваське тоже.

— Ну, ладно! — смутившись, грубовато приласкал жену. — Это я на спор! Пока зать людям — какая ты у меня послушная.

Угрюм придвинулся к брату, скороговоркой шепнул:

—А ведь в той Руси, которую Абдула устроил на чужбине, народ добрей!

И таким тошным показалось ему все вокруг, что захотелось выть. Иван снисходительно взглянул на младшего, вздохнул и пробормотал:

— Зато своя!

Ныла кручинная тоска под сердцем старшего Похабова, терпел обиды от меньшого, как велел Господь, выговаривать по Его заповеди опасался. В Угрюма же весной, будто бес вселился: во всем перечил, старался опередить старшего. Пойдут в тайгу — убежит вперед. Станут лес рубить — машет топором без устали и без надобности, пока не повалит деревьев больше, чем старший. Сошел лед, поплыли по Кети на малом стружке. Плечо к плечу сидели в лодке за веслами. Угрюм хрипел, сопел, надрывался, налегая на свое весло так, что стружок крутился на месте. Иван скрипнул зубами и резко осадил его:

— Господь сказал: терпи от брата своего, сколько можешь, но выговори ему. И если скажет: «Прости, погрешил я перед тобой!», то прости снова.

Поднял на Угрюма разъяренные глаза. Тот не мог не понимать, что распаляет себя по научению бесовскому, но молчал. Будто из камня высеченное лицо чуть дрогнуло: опустились глаза, в поганенькой усмешке скривились губы, он отвернулся, отмолчался и на этот раз.

— Греби один! — жестким голосом приказал Иван и пересел на корму.

Брат спокойно и размеренно стал налегать на весла. Течение было слабым, лодка ровно пошла вдоль берега.

— Ладно, Васька Колесник изводит себя завистью, — хрипло укорил брата Иван. — При его-то уме и медовом языке ни ростом, ни силой не вышел, ни грамоты не выучил. Ты-то что хочешь доказать?

Откидываясь на спину, Угрюм налегал на весла, холодно щурился, глядел на берег, не издавал ни звука. Лодка неслась против течения, будто в ней слаженно гребли в четыре руки. Иван разглядывал знакомую переносицу брата, упрямо сжатые губы, ровно подрезанную бороду. Люди говорили, что они похожи, но Ивану греховно чудилось, будто от того жалкого отрока-сироты, каким когда-то отыскал Угрюма в Серпухове, не осталось ничего.

На Первый Спас, к осени, тобольский торговый человек Семейка Шелковников привел по Кети барки с рожью для вольной продажи. В Маковском острожке он был частым гостем. На этот раз с его караваном прибыл из Москвы служилый в красной шапке сына боярского, в стрелецком малиновом кафтане. Он был коренаст и осанист, спиной прям как доска, будто вытягивался, чтобы казаться выше других. Щеки брил, как литвин и были они синими от густой, жесткой щетины, а усы топорщились как кабаний загривок. Круглые светлые глаза с белыми как снег белками оглядывали острожных жителей с насмешливым любопытством. И по одежде, и по осанке сын боярский выглядел стрельцом настоящим, родовым, а не здешним, верстанным из казачьих детей, гулящих людей и всякого сибирского сброда. Зная о забубенном сибирском безбабье, он вез с Руси жену с простецким лицом и высокой грудью, такую же крепенькую, как сам. Наслушавшись в пути о сибирских вольностях, она глядела на служилых строго и хмуро, ее рыжие брови были насуплены.

— Петр Иванов Бекетов! — назвался приказному прибывший сын боярский и потребовал: —Устраивай на ночлег разрядного сотника!.

Старик весело ахнул, засуетился, посмеиваясь, стал потирать руки.

— А как же Максимка-то Перфильев? Его стрельцы сотником кликнули вместо утопшего Поздея Фирсова!

— Его кликнули, меня послали! — просто ответил Бекетов и добродушно взглянул на рослого Ивана.

Семейка Шелковников, дородный увалень, узнал Угрюма, от радости взревел как медведь, стал шумно обнимать дружка, закричал работным людям, что встретил товарища, с которым промышлял в юности. Угрюм в его объятиях покряхтывал и терпеливо растягивал губы в принужденной улыбке.

Старчески сутуля опавшие плечи, приказный толокся среди прибывших, срывающимся голосом указывал, в какие амбары носить мешки с рожью купцов, куда — хлебный и другие оклады стрельца. Братья Сорокины и Васька Колесников стояли в стороне с таким видом, будто подлинные хозяева, ждали, когда их попросят о помощи. Бекетов ни просить, ни приказывать не стал. Скинул кафтан, оставшись в холщовой рубахе, вышитой на московский манер, поставил стоймя пятипудовый мешок, примериваясь взвалить его на плечи, кивнул Ивану:

— Пособи!

Иван бросил мешок на кряжистую спину усатого стрельца, подхватил другой из его струга. Насупленные брови Бекетихи слегка распрямились, глаза затеплились.

Для всех прибывших в остроге и на гостином дворе топили бани, женщины пекли свежий хлеб. Не приветить сына боярского, присланного в пику енисейскому воеводе Хрипунову, приказный не мог и с радостью отдал ему с женой свою холостяцкую острожную избу.

Не успели гости напариться и отдохнуть, как на взмыленном коне прискакал рыжий енисейский казак Агапа Скурихин. Он привязал лошадь, усталым и бесшабашным взглядом окинул людей, набившихся в избу приказного, весело взглянул на нового сотника и позвал Ивана для разговора. Следом за казаком вышел приказной.

— Кто такой? — спросил Агапа, кивая за спину, едва они прикрыли дверь.

Дед Матвейка, посмеиваясь и потирая руки, назвал прибывшего. Скурихин ухмыльнулся, задумался. В Енисейском остроге правил службу сотника выбранный стрельцами и одобренный воеводой Максим Перфильев. Неунывающий казак удивленно мотнул головой и беспечально, как о пустячном, объявил:

— Бунт в Енисейском! Присланные на помощь томские гарнизон взбаламутили. Казаки со стрельцами круги заводят, а воевода с сотником Перфильевым заперлись в

остроге.

— Потакал Хрипунов торговым людям! — злорадно выругал воеводу приказный, перебив Агапку.

— Помощи просят! — закончил тот и перевел на Ивана насмешливые глаза с въевшейся в них паутинкой усталости.

— Пойду! — решительно уставился на приказного Похабов. — Не оставлю кума в беде! Он сына моего крестил, свадьбу нам играл.

— Одного только могу отпустить! — скаредно проворчал приказный. — Все при деле, сам видел, да и людишки самые ненадежные. Сорокины узнают — самовольно сбегут к атаману Ваське. — С желчной усмешкой в бороде распахнул низкую дверь в избу, поманил Бекетова. Тот вышел босой, в одной рубахе, румяный и влажный после бани. — Принимай свое войско, сотник. Ой, в недоброе время принесла тебя нелегкая!

— Я не выбирал ни судьбы, ни времени! — отговорился тот, выслушав торопливый пересказ Агапки. Спросил: — Когда надо ехать?

— Сейчас, если Матвейка коней даст, — Скурихин указал на приказного. — А не даст, — плутовато блеснул глазами, — может и пожалеть потом!

— Отчего не дать, если кони есть! — подавив вздох, обернулся к оконцу приказный. Зевнул, крестя рот, покачивая седой головой, смешливо пробормотал: — Ну и Васька! Ну и удалец!

Стрелец быстро оделся, опоясался кушаком, накинул сабельный ремень через плечо. Иван собирался дольше. Меченка кричала под руку и вслед что-то злое. Он не отвечал ей, пристально посмотрел на Угрюма, но не позвал за собой, даже говорить не стал куда едет. А тот, помня усилившийся между ними холодок, не спросил. Иван затянул подпругу, вскочил в седло, поддал коню пятками под брюхо, стал догонять Бекетова со Скурихиным.

В пути он узнал от Агапы, что стрельцов при Енисейском остроге только пятеро, остальные на дальних службах. Терентий Савин ходил на Тасееву реку с атаманом Васькой Алексеевым и теперь дерет глотку за него, а Вихорка Савин в остроге, верен воеводе. Там же стрельцы Дунайка с Дружинкой и сотник Максим Перфильев. Остальные переметнулись к бунтарям, провели воровской казачий круг, лают воеводу, будто он в сговоре с торговыми людьми и те рожь продают втридорога. А главные смутьяны — братья Алексеевы, атаман и брат его Гришка.

— Этим-то чего надо от воеводы? — удивился Иван, подводя конька стремя в стремя с казаком.

— Хрипунов посылал их вверх по Енисею на киргизов, а они ушли по Тасеевой реке, ограбили ясачных тунгусов, пленили сорок тунгусских, киргизских и братских мужиков, которых мы звали идти в Енисейский острог бесстрашно. Среди них наши верные ясачники с Подкаменной Тунгуски. Воевода отобрал у них ясырей, заперся с верными людьми. Васькины казаки да и наши, человек сорок, провели круг и осадили острог.

— Да! — крякнул Иван. — С Васькой и Гришкой лучше не воевать. Дай им под начало сотню вольных казаков — Томский город разнесут… А в Енисейском острожины промеж башен всего-то в полторы сажени.

— Боишься Ваську? — весело подначил енисейский казак.

— Опасаюсь! — холодно ответил Иван. — Бояться надо Господа! — перекрестился, сидя в седле. Вызнав, как осажден Енисейский, посоветовал спутникам: — На подъезде с заречной стороны пускайте коней галопом. Где угловая изба, на седла встаньте, через заплот прыгайте. А я поеду к атаману, попробую уговорить.

Скурихин метнул на спутника колючий взгляд, но не стал спорить. Молчавший при их разговоре Бекетов вдруг заявил начальственным голосом:

— Я тоже поеду к атаману, раз у него мои стрельцы. Что же я буду бегать от своих? Поговорить надо, познакомиться.

— Ой, смотри, сотник! — тряхнул бородой Иван. — Стрельцы-то при Ваське неробкие, побьют, не поглядят, что разрядный сотник и сын боярский!

— То я не битый! — беспечально расправил густые усы Бекетов. — Чай не из новоприборных: и отец, и дед стрельцами служили.

Казаки атамана Василия осадили острог по всем правилам боевого искусства. На подходах к нему сидели вооруженные люди, посадские избы были заняты служилыми. Возле пристани у костров лежали и сидели примкнувшие к ним промышленные. Неподалеку от проездной башни стоял караул. Торговые люди, боясь грабежа, уплыли ниже устья Кеми к Касу и там затаборились, ожидая, чем закончится казачий бунт.

Иван направил было коня к оврагу Мельничной речки. Агапа резко потянул на себя узду, его лошадка встала и задрала морду, оскалив желтые зубы.

— К скитницам не пойду! — заявил казак. — Засмеют потом, что под подолом у черноризниц прятались.

— Ну, тогда лезь через стену где знаешь! — ругнулся Иван и обернулся к стрель-

цу: — Может, и ты с ним, в острог?

Но Бекетов твердо отказался явиться на службу по-воровски, тайком. Все трое повернули коней к посаду и были замечены из крайней избы. Двое казаков встали на пути, высматривая верховых против заходящего солнца. Едва всадники приблизились к угловой избе, Агапий оторвался от Ивана и Петра, пришпорил коня, подскакал к острожному тыну, где не было рва. Вскочил ногами на седло, распрямился и перемахнул на другую сторону. Казаки закричали. Кто-то пустил стрелу в стену, боясь поранить казенного коня. Иван с Петром продолжали приближаться к посадской избе с охраной.

— Атаман где? — крикнул Похабов, не спешиваясь.

Какой-то голодранец из томского отряда с кистенем схватил за уздечку коня. Иван ткнул его в лоб подметкой ичига. Голодранец сел в пыль, лязгнул кистень.

— Атаман где? — грозно повторил Похабов, нависая над томским казаком.

Тот узнал его, испугался, махнул рукой, указывая на другой конец посада. Двое стремя в стремя зарысили туда, спешились возле избы казака Филиппа Михалева. С крыльца к ним сошли трое незнакомых с луками, при саблях. Иван молча бросил им на руки поводья. За его спиной в красной шапке кряжистый, крепкий и прямой, как колода, надежно шел Бекетов. Они толкнули низкую дверь, склоняясь, протиснулись в избу, выпрямились, отыскивая глазами красный угол.

— А-а! Поротый царской милостью! — подал голос Григорий.

Глаза вошедших присмотрелись к сумраку избы. Гришка лежал на лавке, Василий в шапке сидел за столом. По правую руку от него щерился на Ивана Мишка Стадухин. Не оборачиваясь, боком к нему, Терентий Савин и Василий Черемнинов смущенно ерзали на лавке и воротили морды, будто не были знакомы. Усталая, болезненно иссохшая жена Филиппа приветливо кивнула вошедшим. Сам хозяин то поднимал голову с красными глазами, то ронял ее на столешницу. За столом было еще трое томских казаков, все пили горячее вино и были изрядно пьяны. Атаман неверной рукой налил в две чарки, кивнул гостям.

— Закусываем скоромным! А пьем в пост только во славу Божью!

Похабов и Бекетов скинули шапки, степенно перекрестились на образа, молча выпили, сели. В избу ворвался казак с кистенем, закричал, указывая на пришлых пальцем:

— Этих Ганка Скурихин привел. Сам бросил коня и перескочил через заплот.

Григорий, водя мутными окровавленными глазами, поднял голову, сел, повел бородой по столешнице, сметая хлебные крошки.

— Ну, и кого ты нам привел? — спросил, глядя на Ивана.

— Разрядный сотник Петр Иванов Бекетов, прислан царским указом вместо утопшего Фирсова, — просипел тот перехваченным голосом. Водка была крепка, не сравнить с кабацкой. — Вам с атаманом да нам со стрельцами он теперь голова!

— Голова, говоришь! — неприязненным взглядом вперился в сотника Васька-атаман. — Ну, тогда слушай и разумей, где правда!

Григорий поперхнулся чаркой, отставил ее в сторону, поднял на Бекетова мутные глаза.

— Стрельцы, казаки, дети боярские, дворяне… Тьфу! Холопье, дворня боярская… Это там были казаки! — ткнул пальцем за плечо, на закат дня. — Ивашка знает! А здесь… Тьфу!

— Слушай! — продолжил атаман, не обращая внимания на пьяного брата. — Слезно призвал нас здешний воевода защитить острог от тунгусов и качинских татар. Слышал де он, ясачный князец Тасейка с качинцами вошел в сговор. Пришли мы, он послал нас на Качу. Едва мы дошли до стрелки* на устье Тунгуски, на нас напали не качинские, а здешние тунгусы. И шли мы за ними с боями левым берегом. А берег крут, бечевника нет. Ни дня без боя до самой Бири и Чуны…

— А там... — сипло прохрипел Григорий. — Тасейку браты убили!

— И целое войско, вдесятеро против нас. Мы от него и в засеке не могли отбиться. Их луки наши брони пробивают, дальше пищалей стреляют. А река в два полета стрелы. И вынудили они нас выплыть на середину. Четверых убили, половину переранили. Сплыли мы обратно плотами и стругами. Все, что кровью добыли, воевода отобрал. Не туда, дескать, ходили, не тех воевали! Это по правде?

Филипп поднял голову, глубоко вздохнул, взглянул на Ивана, пролепетал заплетающимся языком:

— Два года жалованье не плачено. Купцы весной по полтине за пуд рядились, а Хрипун не велит их грабить…

— Сказывали, кумишься с воеводой? — усмехнулся Григорий. — Выручать его приехал?

Иван безбоязненно кивнул.

— А казачий круг тебе уже не указ? — ударил кулаком по столу.

— Сам говоришь, — усмехнулся Иван, глядя на Григория. — Не казаки это. Холопье! Какой круг? Сегодня за вас орут, думают под вашим началом торговых людей

пограбить да на вас свои вины свалить.

— Говори, да не заговаривайся! — вскочил Стадухин, опираясь на стол.

— Сядь! — рыкнул на него Григорий. — Не ори на Ивашку, щенок! Нас с ним на одном козле пороли. Иные, с бородами длинней этой, — кивнул на Филиппа, — после первого удара обсирались, орали, как свиньи под ножом, а он, безбородый еще, кряхтел, зубами плаху грыз. Не вашим, верстанным, чета. — Обернулся к Ивану, икнул, ухмыльнулся: — А тебе — вот Бог, — кивнул на темные лики, — вот воля! — мотнул лысеющим лбом на низкую дверь. — Завтра будем брать острог на саблю. Подвернешься под пулю — судьба! Под дубину — не суди. Против зачинщика Бог! Не мы начали, не по правде с нами воевода поступил. Ясырей забрал по жадности.

Бекетов сидел, важно нахохлившись: ни на кого не глядел, только терпеливо слушал перебранку и водил пустой чаркой по столешнице.

— Не ходил бы против нас! — мирно предложил ему атаман.

Стрелец вскинул на него светлые глаза, заговорил громко, положив на стол широкую ладонь с растопыренными пальцами.

— Может быть, и ваша правда, может быть, воеводы! — повел густыми усами. — Чтобы судить, — перекрестился, мельком взглянув на образа, — надо и его выслушать. Москва далеко, — поправился. — Пока дождемся государевой правды, попустит Бог,

**Стрелка — песчаная коса.*

всех перебьют. А что оклады не плачены, так это я могу сказать: придет сентябрь* — выдаст их воевода. Со мной казна прислана из Москвы.

Василий Черемнинов заерзал на лавке, он сколько ни пил — ума не терял, пробормотал что-то сердитое, непонятное, бросил на сотника опасливый взгляд.

— Пойдешь кума защищать? — в упор спросил Ивана атаман. Сказать Бекетову ему было нечего.

— Пойду! — кивнул Иван, не поднимая глаз. — Иначе никак нельзя!

— Понимаю! — атаман ударил кулаком по столу так, что пустые чарки подскочили. — Иди! А сотник у нас в чулане заночует. Возьмем острог — тогда пусть говорит с воеводой.

Иван встал, взглянул на Бекетова. тот кивнул, соглашаясь с атаманом. Похабов вышел из избы в сумерках летнего вечера. Кони были расседланы. Их напоили и выпустили за поскотину, седла висели на коновязи. Иван зашагал вдоль острожной стены к воротам. Его окликнули из-под яра, там возле костра сидели знакомые промышленные. Двое из них, братья Ермолины, много досаждали ему в старые времена, когда достраивали здешний острог.

— Куда идешь? — взревел Васька Бугор.

— К воеводе! — крикнул он в ответ.

Василий Ермолин был ростом и ширью под стать Ивану, брат его, Илейка, чуть пониже, но что вширь, что ввысь одинаков. Здоровущий как медведь, поднялся на ноги, стал карабкаться на яр. Скромный и тихий, пока трезв, на этот раз Илейка был изрядно пьян, а значит, нахален и драчлив. Иван мог в несколько прыжков оказаться под воротами. Его уже узнали караульные с башни и гремели закладным брусом. Но бежать Ивану было стыдно, а на пути, шумно сопя, уже расправлял широченные плечи Илейка Ермолин.

— А десятина заплачена? — ехидно взревел, загородив путь.

Иван молча звезданул промышленного под глаз, вложив в удар всю накопившуюся злобу дня. Тот раз и другой переступил на заплетавшихся ногах, споткнулся, сел, замотал головой на короткой кабаньей шее. От костра с ревом несся его брат Васька, неверными руками и ногами елозил по яру, то и дело съезжая с тропы. Иван обошел Илейку, перекрестился на Спаса, протиснулся в приоткрытые ворота. Воротник торопливо заложил их брусом. И тут же они загремели. С другой стороны кулаками и пятками заколотили в них Ермолины.

— В щепки разнесем! — орали матерно. — Похабу на кол посадим!

Иван вошел в острог, откланялся на темнеющий лик Богородицы с внутренней стороны проездной башни, обернулся и увидел настороженно улыбавшегося Максима Перфильева.

— Завтра на саблю будут брать! — скрипнул зубами.

— Не устоять! — обреченно вздохнул тот.

Максим был в добротном кафтане тонкого сукна, собольей шапке, красных сапогах. Лицом чист и свеж, по виду не ошибешься, что второй человек после воеводы. Товарищи зашли в съезжую избу с тремя столами. В красном углу окованный железом воеводский сундук был заперт висячим замком. Холостой Максим своего угла в остроге не имел, между дальних служб здесь дневал и ночевал, вел все письменные дела подьячего и сотниковские заодно с ними.

— Нового сотника из Москвы прислали! Со мной приехал, да томские его в острог не пустили!

Максим, потупив глаза, рассеянно выслушал товарища, постучал кресалом, раздул трут, зажег лучину.

— Прислали так прислали! — пробормотал с печальным вздохом. — Вовремя! Так даже лучше.

— И что решили? Не отдадите ясырей? — раздраженно спросил Иван. — Их же добыча?

— Посылали в одну сторону — ушли в другую, — криво усмехнулся Максим. — Ладно! Всякое бывает… Мы ведь тех самых князцов зазывали в острог с миром

**Придет сентябрь — по христианскому счислению год начинается с сентября.*

идти. Нынче Алтын-хан посольство в Москву отправил, снова будет шертовать царю. Киргизы от него отложились. Если из-за Васьки мунгальские кыштымы поднимутся против нас, царь со всех головы снимет… С меня и с воеводы — в первую очередь. Вот и думай, что делать, — вскинул на товарища усталые глаза.

Умно говорил Максим, рассудительно, да только не ответил, почему Васька с Гришкой должны отказываться от своей добычи. Свесил Иван голову, ни спорить было не о чем, ни спрашивать: и на той стороне оказаться не по совести, и воевать против своих — грех.

— На настоящей войне, однако, легче! — пробормотал, вспоминая юность.

На заре под стеной забил барабан. Все, кто остался под началом воеводы, кинулись на сторожевые башни. С развернутыми знаменами казаки собирались в круг, посередине, упершись руками в бока, фертом стоял атаман Василий Алексеев, из-за его красного кушака торчала атаманская булава.

— Сейчас пойдут! — пугливо поежился Вихорка Савин, перебирая руками ствол ручной пищали.

— Отопри аманатскую* избу! — приказал Ивану Максим.

— А как ясыри нас бить станут? — опасливо спросил Иван.

Подьячий только безнадежно махнул рукой.

– Хуже будет, если их спалят, запертых!

Вместе они спустились с башни. Максим побежал в воеводские покои. Иван пошел в аманатскую, распахнул дверь. Изба была набита пленными, они с безразличными лицами сидели вдоль стен и на полу. В сумраке жилья с двумя оконцами, в которые человеку не пролезть, глаза Ивана различили ясыря, сидевшего возле двери. Одет он был в простую кожаную рубаху с плеча промышленных людей. Мужик был непомерно широкоплечим, как Илейка Ермолин, с большой непокрытой головой, черные волосы стянуты на затылке в толстую косу. Уже по тому, как он сидел, как взглянул на казака, видно было, что ясырь не простой, но княжеского достоинства.

Иван поглядел на него в другой раз и с удивлением подумал, что где-то видел это лицо.

— Не выходите! — приказал по-тунгусски.

Придерживая саблю, побежал к воеводской избе. Максим за руку выводил упиравшуюся дочь воеводы Настену. Она беззвучно заливалась слезами, а воевода со страдальческим лицом уговаривал ее идти за Перфильевым.

— Уж меня-то начнут искать, весь острог перевернут! — пояснил Ивану. — Наше дело воинское. Лишь бы дите не пострадало.

О сдаче острога он говорил как о решенном деле, глаза его были растерянны и красны. Добавил, в другой раз взглянув на удивленное лицо Похабова:

— Пусть силой заберут своих ясырей, нам оправдание перед царем. Постреляйте поверх голов — и ладно. Лишь бы без крови все обошлось.

Полдесятка казаков с башен нестройно пальнули из пищалей. Где-то в угловой избе приглушенно охнула пушка, едко и тухло запахло жженым порохом. Иван не успел стронуться с места, почти в тот же миг на низких, полуторасаженных острожинах показались головы томских казаков. Вихорка Савин бежал к угловой избе и волочил пищаль за ствол. Его злобно смяли нападавшие. Воевода прытко заскочил в покои. Поп Кузьма в рясе и скуфье, с рассыпавшимися по плечам волосами широким шагом вышел к проездной башне, встал, расставив ноги, поднял литой медный крест с распятьем.

— Изыйди и одумайся! — взревел зычным голосом.

Его никто не слышал. Васькины казаки уже открывали ворота и рвались к попу с таким видом, будто тот вышел встречать их с честью. Ивану ничего не оставалось, как встать рядом.

Сабли он не вынимал. Томичи горохом посыпались со стены, густая толпа ринулась в открывшиеся ворота. На бегу казаки размахивали плетьми и дубинами. Иван сорвал с коновязи жердь, отполированную уздечками и штанами служилых. Только обернулся к попу, глядь, перед ним Мишка Стадухин: глаза горят, в руках дубина.

**Аманат — заложник.*

— Что мир решил, то Бог положил! — яростно вскрикнул, напирая на попа. — Ты что, батюшка, против Бога?

Кузьма, опешив, отступил на шаг от рьяного удальца, затем рассерженно рыкнул, насупился, не найдясь, как ответить стрельцу, звезданул Мишку по лбу тя-

желым медным крестом.

— Да за ту неделю, что бунтуете и пьянствуете, храм Божий могли бы построить! — взревел.

Стадухин взвыл, матерно выругался, кинуться на попа не посмел, но с перекошенным лицом бросился на Похабова. В три удара его дубина и жердь с коновязи переломились. Иван сбил стрельца с ног, обернулся к воротам, увидел Илейку Ермолина, отметил про себя, что тот успел опохмелиться. Ермолин приближался, не спуская с Похабова горевших глаз, сжимал и разжимал огромные кулаки. Ничего другого при нем не было. Не успел Иван обернуться к нему всем телом, как брызнули искры из глаз. Потом еще. Свет померк. Он кого-то молотил во тьме, пока не был сбит с ног. Вскочил, пробился к крыльцу воеводской избы, здесь кто-то вырвал стойку, на Ивана стал падать навес. Он заскочил в сени. Дубьем и саблями его загнали в чулан и заперли. Рыкая, как загнанный зверь, он пометался вдоль стен, ощупывая какие-то сундуки и бочки, обессилев, сел, привалился к стене спиной. «Лучше кончиться не могло, — подумал, успокаиваясь. — Хорошо, что так!» Досадовал на себя, что разозлился на осаждавших и вошел в раж. Ощутил кровь во рту. Из носа текло, усы и борода были липкими.

Вопли, крики, шум в воеводской избе стихли, перенеслись куда-то вдаль. Иван поднялся, нащупал дверь, толкнул плечом. Заперта. Раз и другой ударил в нее. Не сдвинулась. Послышались шаркающие шаги. Постанывая и охая, воевода отбросил жердины, которыми подперли чулан. Он был без шапки, с растрепанной бородой, смешавшейся с рассыпавшимися по плечам волосами. Одной рукой держался за поясницу.

Взглянул на Ивана с изумлением, слезливо хохотнул.

— Ну и морда! — ткнул скрюченным пальцем в бляху шебалташа, указывая на личины. — Была такой, стала такой!

Иван опустил глаза на опояску. Сперва не увидел ничего, кроме окровавленной груди и бороды и вдруг вспомнил лицо ясыря, того, что сидел возле двери в аманатской избе. Тут же вспомнились слова кетского шамана про встречу.

— Блядины дети! — снова охнул воевода, болезненно выгибаясь. — Меня, родового сибиряка, сына боярского, положили на казенный сундук и пороли плетьми. Лаяли. Бороду драли… А тебя-то как разукрасили? — опять хохотнул со стоном. — Их счастье, что ни замков, ни казны царской не тронули. Мою бочку вина выкатили. Упьются с двенадцати-то ведер.

Воевода по-стариковски неловко наклонился, подобрал с полу шапку, опять охнул, схватившись за поясницу.

— Сходил бы, кум, посмотрел, как там Настена. Отсиделась ли? Постой! — спохватился. — Напугаешь дите разбитой мордой. Пойдем вместе.

Они вышли из воеводской избы с развороченным крыльцом и обрушенной кровлей. Ворота острога были распахнуты, но амбары с казенной рожью стояли запертыми. В аманатской избе никого не было.

— Всех увели! — воевода тоскливо повел растрепанной бородой. — Завтра же в Томский побегут, чтобы оправдаться первыми и меня обвинить.

Максим с Настеной отсиделись в погребе глухой башни. Их не искали. Перфильев смущенно поглядывал на распухшее лицо товарища, на воеводу. Отроковица в слезах бросилась к отцу. Хрипунов перестал постанывать, распрямился, поглаживая дочь по голове, приговаривал:

— Все, милая! Надо было немного поспорить со служилыми. Пострадали, Христа ради! Особенно кум Иван, — глянул на Похабова и опять не удержался от смешка.

— У меня есть другой бочонок с вином! — пообещал. Поглядел строго на домашних холопов из сибирских народов. Чернявые, узкоглазые, в русских рубахах, они выползали из укрытий и понуро приближались к побитому хозяину. — Что, веселились, глядя, как меня за бороду дерут?

— Нам у тебя хорошо! — коряво промямлил стриженый мужик. Воевода безнадежно вздохнул, раздраженно махнул рукой и приказал:

— Приберите в доме! Сейчас мы, битые, гулять будем! Ворота в острог хотели уже притворить, но в них протиснулся бравый стрелец с пышными усами, с круглыми и ясными белками глаз.

— Новый сотник Бекетов! — указал на него Иван.

— Заходи, сотник! — ворчливо пробурчал воевода. — В добрый час прибыл. Нет бы неделей раньше.

Осаждавшие шумно гуляли за стенами, острожных защитников они не беспокоили. Те, что защищали воеводу, собрались в его избе. Стрелец Дунайка Васильев со вспухшей щекой глядел на всех с обидчивой укоризной. Максим с Дружинкой, небитые, были смурны и печальны. У Ивана рот не закрывался, пить разбитыми губами крепкое вино было неловко и больно, закусывать он мог только хлебным мякишем. У рыжего Скурихина лицо было чистым, но он хоркал разбитым носом в конопушках, то и дело со смехом прикладывался рукой к надкушенному уху, болезненно посмеивался, дескать, в постный день кто-то из нападавших оскоромился.

Пережитое при осаде нисколько не веселило Ивана Похабова, разговоры за столом казались глупыми, как сама распря с казаками. Он молчал и хмурился. Стояло перед глазами широкоскулое, щекастое лицо ясыря, удивительно похожее на голову с бляхи, навязчиво вспоминался старый кетский шаман. Грех слушать колдуна и верить ему, однако все, что произошло с тех самых пор, как тобольские грабители старых могил всучили ему злополучную безделушку до нынешней встречи с князцом, все прежние сказы и пророчества складывались в явь, которой трудно не верить. «Не случайно произошла встреча! — нашептывал голос то ли из-за правого, то ли из-за левого плеча. — Видать, завязана на судьбе чьим-то промыслом».

Не сильно ошибся воевода: братья Алексеевы со своим отрядом гуляли два дня, на третий стали собираться в Томский город Кетским волоком. Ваське-атаману нужны были казенные подводы. Без Ивана Похабова ему пришлось бы брать их на станках силой. Алексеевы уже думали, как оправдаться перед старшими сибирскими воеводами, и новых грехов к прежним прибавлять не желали. Просить коней у побитого воеводы они стеснялись и прислали в острог своего человека за Иваном.

Похабов отнекиваться не стал. Зла на томских казаков он не держал. Сердиться на сброд, что был под началом братьев Алексеевых, считал делом низким. Он нацепил саблю, нахлобучил шапку, откланялся воеводе, товарищам, пришел к избе Филиппа. Путь ему никто не заступал. На распухшее лицо с узкими щелками глаз поглядывали с виной и состраданием.

— Говорил, не иди против нас! — поднялся навстречу атаман. — Хорошо тебя украсили. Ладно жив!

— Не такое переживали! — прошепелявил Иван, оберегая губы. Григорий был совсем плох: лежал на лавке с серым как глина лицом. Он разлепил опухшие веки, открыл глаза, мутно взглянул на казака и болезненно зажмурился.

— Покажи каких коней запрягать, — приказал атаман. — До Маковского дойдем, там возьмем струги или барку.

Томских окладов казаки с угрюмыми лицами готовились к переходу, работали неохотно. На них тоскливо, с укоризной поглядывали казаки и стрельцы енисейских окладов, ввязавшиеся в атаманскую распрю с воеводой.

— Что, Филя? — злорадно прошепелявил Иван, встретившись со старым сургутским казаком. — Не зовут тебя в Томский? Под нашим воеводой оставляют?

Михалев затравленно взглянул на Похабова из-под нависших бровей, неуверенно пробормотал:

— Они нас оправдают перед главными воеводами!

Черемнинов со Стадухиным только кряхтели и воротили носы, стараясь не уронить достоинства. Мишка был не намного краше Ивана: под глазами синева, щека вздута, на лбу коросты. Оба стрельца понимали: не сегодня, так завтра им все равно придется идти на поклон к воеводе Хрипунову, ждали, когда их позовет новый сотник. А тот намеренно мучил бунтовщиков томительным ожиданием.

— Не я тебе морду разбил! — обозлившись на укоры, вскрикнул Мишка. — Это ты с попом меня бил.

Впервые после осады острога Иван хохотнул в бороду, вспомнив, как поп огрел стрельца крестом, и его лицо, ошалевшее от неожиданного удара.

— Бог простит! — пробормотал. — Свои люди, сочтемся!

Пошел обоз. Скрипели телеги, груженные оружием, съестным и боевым припасом. Ремнями были стянуты одеяла, котлы, добытое на Тасее добро. Кроме Гришки-есаула, все шли пешими. Те, что послабей, держались за оглобли и возки, переставляли ноги по взбитой болотине. В середине обоза унылой толпой брели пленные мужики и девки. Тунгусы с длинными волосами, распущенными по плечам и собранными в конские хвосты, шли легко. Отатаренные аринцы*, привыкшие к верховой езде, тяжело переступали с ноги на ногу. Хуже всех было косатому братскому мужику. Прямой, кряжистый, тяжелый как колода, он едва переставлял короткие толстые ноги. Братский молодец, бывший при нем, тоже волокся с трудом. Иван то и дело бросал на них скрытные взгляды и мучился какой-то сухотой под сердцем, пока не сказал атаману:

— Продай мне того вон ясыря!

— Это братский князец. Мне томские воеводы награду за него дадут! — последние слова Василий процедил не совсем уверенно. Иван уловил эту заминку.

— Сказывал подьячий Максимка, что Алтын-хан послов в Москву отправил. Опять шертует нашему царю через близких родственников. Браты мунгалам — родня. А как под горячую руку да для своего оправдания перед послами хана томские воеводы бросят тебя на козла? — зловеще усмехнулся. — Спроси у Гришки, как оно?

— Не пойдет он один, — покладистей заговорил атаман. — Косатый, что рядом, то ли родственник, то ли слуга. Пятнадцать рублев за двоих себе в убыток, по старой дружбе, — взглянул на Ивана и хохотнул: — Ну и морда?! Сам на братского мужика похож. Кто так постарался?

— Промышленный, Илейка Ермолин! — отмахнулся Иван.

— Хорошо, что не мои!

— Твои добавили по-писаному!

Васька снова хохотнул, показывая, что торг закончен и больше он не уступит ни копейки, ни денежки.

Клейменых соболей, оставленных Пантелеем Пендой, оставалось рублей на пятнадцать, а то и меньше. Мездра желтела, цена убывала. Вот-вот должна была выйти кабала, которую дал на себя Угрюм. Дальше пойдет рост. По уму да по христианской добродетели нельзя было выкупать иноплеменников, когда брат в нужде. А душа ныла, томилась бесовским научением. Старый кетский колдунишка стоял перед глазами, будто подстрекал к новому греху. Вспоминался старик-баюн**, шедший с обозом в Сибирь из-за Уральских гор. И тот, с крестом на шее, много чего наговорил про золотую пряжку из древнего кургана. Несколько раз отступался Иван от желания выкупить пленных, читал про себя молитвы, чтобы не лезла в голову нелепица. Но то и дело невольно оборачивался ко князцу.

— Посади ты его на телегу! — потребовал от атамана. — Видишь, еле идет. не привычный к пешей ходьбе.

Меньше чем за десять рублей продать ясырей атаман Василий не соглашался. Григорий как услышал про предложенные пять, объявил, что сам ляжет под кнут и примет муки Христа ради. Так, в раздумьях и спорах, отряд с ясырями добрался до Маковского острога. Навстречу прибывшим вышел седобородый приказчик, осмотрел казенные подводы. Про бунт не спрашивал. Велел Угрюму проводить казаков до гостиного двора, атамана с есаулом позвал ночевать в острог.

Был ясный вечер, Угрюм сидел под частоколом и отмахивал веткой навязчивую мошку. Исполнить наказ приказного он не спешил, равнодушно поглядывая на уставших людей и ясырей. Вдруг вскочил, выпучив глаза на братского князца. Иван отметил про себя чудную перемену в брате.

**Аринцы — кетоязычный народ, ассимилированный тюрками к XVIIIвеку. Предки нынешних хакасов.*

***Баюн — рассказчик.*

Из острожка выбежала Меченка, увидела лицо мужа в коростах, всплеснула руками, тихо и обидчиво заголосила. Угрюм окинул брата рассеянным взором и направился к каравану. Осторожно, со стороны приблизился к братским ясырям, тайком перебросился с ними словом. Повел служилых и пленных на гостиный двор, а вернулся взъерошенным, глаза блестели и бегали.

— Я их знаю! — кинулся к Ивану. — Это балаганцы. И Семейка Шелковников знает, они нам с Пендой много добра сделали и мне помогли. Нельзя их бросать.

— Заплати десять рублей! — хмыкнул Иван, отводя глаза. — И отпусти с миром на все четыре стороны.

— Нет у меня денег! — обидчиво вскрикнул Угрюм.

— А долги есть! — напомнил брат и снова отметил про себя: если младшему чего-то надо, то он не такой уж угрюмый, каким казался с младенчества.

— Ты обещал мою кабалу выкупить! — не отставал от Ивана, не замечая его разбитого лица. — Заплати. Я на промыслы уйду, потом отдам долг вместе с ростом.

Для себя Иван уже все решил, но понять родного брата не мог, оттого медлил.

— Сказано, попросит брат взаймы, дай ему без роста, если есть что дать… И еще сказано, — терпеливо и наставительно поучал младшего, — можешь простить — прости долги его… Да только рухлядь не моя, товарища, а он каждый день может вернуться и потребовать, — усмехнулся и почувствовал, как лопнула короста на губе, засолонила кровь на языке. Он прижал ранку тыльной стороной ладони, но брат и на этот раз не спросил, что с его лицом.

— Раз не пришел к Спасу, то не придет до другого лета! — вскрикнул слезливо и настойчиво.

Иван отвернулся, показывая, что разговор окончен, дождался, когда Угрюм распряжет и отпустит коней, сам занес под навес упряжь. Только после этого вошел в свой тесный дом с разбросанной по полу одеждой и посудой. Стол не был накрыт, Меченка бегала возле печки и показывала, что торопится. Иван вытащил из чулана кожаный мешок со снизкой оставшихся соболей, осмотрел их. «Может, и лучше отдать, пока моль не посекла?» — подумал.

Пощипал подпушек на шкурках, пошел в избу приказчика. Там устраивался на ночлег атаман с братом Григорием. Перед ними и приказным Иван выложил на стол полтора десятка лучших клейменых соболей.

— Подпиши купчую! — сказал сыну боярскому. — Ты у нас и воевода, и подьячий, и таможенный голова! — польстил старому приказному.

— Ясыри-то тебе на кой? — удивился тот. — Сапог добрых не имеешь, — выразительно взглянул на стоптанные ичиги Похабова.

— Перепродам! — Иван заговорщически подмигнул атаману. — К зиме промышленные люди вдвое заплатят.

— Ну, смотри! — с недоумением разглядывал соболей старик и пожимал мос-

ластыми плечами. — Жена то и дело на бедность плачется, доброго сарафана не имеет к Успенью. Где ясырей держать-то будешь? В остроге — не позволю! Чем кормить?

Была составлена купчая. Приказный приложил к ней руку, хоть ничего в том торге не понял. Иван и сам не понимал, что делал. Сердился на брата, мстительно помалкивал о выкупе, но слезную просьбу его исполнял не Христа ради и Его Заповедей, чувствовал на себе чью-то волю: злую, добрую ли, не знал, но противиться ей не мог.

Угрюм, освободившись от дел, убежал к гостиному двору, вернулся только ночью, скрипнув дверью в темноте. Якунька спал, Иван с женой уже подремывал на полатях. Услышав брата, мостящегося на лавке, принужденно зевнул.

— Завтра заберешь моих ясырей! Выкупил я их по твоей просьбе! — Помолчал и раздраженно добавил: — Веди куда хочешь, на корма вам окладов не отпущено.

Угрюм поднялся ни свет ни заря, убежал на гостиный двор, вернулся к полудню, сказал, что Алексеевы со своими людьми и ясырями уплыли по Кети на казенной барке. Меченка постаралась, в доме было прибрано, обед приготовлен ко времени, на Якуньке чистая рубаха. Ни к отцу, ни к дядьке ребенок не шел. Жена, с раскрасневшимся лицом, была приветлива и весела: она еще не знала, что муж потратил долговые меха. Угрюм рассеянно жевал хлеб и все вскидывал глаза на Ивана, пока тот не спросил:

— Чего еще?

— Проводи на Енисей, там выберемся куда надо, а то ведь привяжутся казаки или стрельцы.

Старший Похабов помолчал, претерпевая очередную обиду: ни слова благодарности не было сказано братом.

— Торговых не видать на реке? — спросил строго.

— Нет никого!

— Тогда смоли старый стружок о четырех веслах, что возле гостиного брошен.

Угрюм опять бойко убежал, как не бегал со дня прихода в Маковский. На другое утро Иван отпросился у приказного добыть гусей и уток к Успенью и окончанию поста. С топором за кушаком, с луком, колчаном стрел да с караваем хлеба в мешке, пришел к гостиному двору. Балаганцы и ночевавший там Якунька Сорокин еще спали. Угрюм был на ногах. Он наловил рыбы и пек ее на рожнах. Смоленый стружок стоял на покатах у самой воды.

— Хозяин! — одобрил его работу Иван. — Буди ясырей, пойдем протоками в обход Кеми…— Помолчав, усмехнулся в бороду: — Скажи промышленным людям, будто Ивашка Похабов воровским тесом ходит, — не поверят!

Из избы вышли разбуженные ясыри, хмурые и неприветливые, от печеной рыбы отказались, попили воды из родника, сели в лодку. Якунька Сорокин даже не выглянул, перевернулся на другой бок и снова засопел выдранными ноздрями.

Угрюм услужливо толкнул лодку от берега, сел за весла. Стружок под четырьмя дородными мужчинами просел по самые кромки бортов. Переплыли Кеть, вошли в одну из проток, по которой выбирались заплутавшие стрельцы, прошли под нависшим над водой кустарником. Иван долго молчал, сидя на корме, указывал путь. На лице брата выступил пот. Он распахнул кожаную рубаху, но упорно продолжал грести, налегая на весла всем телом. Наконец Иван пожалел его и встал на шест, проталкивая струг против слабого течения протоки.

Сырость и августовская прель обволокли плывущих, прохлада прибила тучи мошки и слабеющего комара. В иных местах веяло холодом от не стаявшего за лето, черного, покрытого желтым листом снега. Знакомыми местами Иван вел лодку, пока не поднялось солнце. Он не спешил, стрелял уток и гусей, плававших по протокам и понял вдруг, что сбился с пути. Не показывая виду, повел стружок по солнцу, балаганцы и Угрюм не понимали озабоченности передовщика, во всем полагаясь на него.

На равнине между Обью и Енисеем, случалось, блудили и родившиеся здесь остяки. Среди промышленных людей бытовало много сказов про проделки болотной нечисти. Иван перекрестился и плюнул за корму. Слава Богу, светило солнце, и закружить их было трудно. Издавна он приметил сам и от других слышал, что, блуждая по тайге, в лешачьих местах разные ватажки, случается, идут одним путем. Вот и теперь, высматривая среди зарослей, то узнавал приметы мест, где приходилось уже бывать, то сбивался. Вдруг почуял запах дыма и вывел стружок к шаманскому островку с медвежьей шкурой на жердине.

Давненько вывозил отсюда стрельцов, а вот ведь будто ничего не переменилось: та же шкура, тот же балаган и костер, тот же шаман сидел на корточках возле дымокура. Черное бугристое лицо, грива белых волос лежала по его плечам.

— Вечный, что ли? — чертыхнулся Иван.

Лодка ткнулась в берег, Угрюм резво и весело выскочил на сушу, неохотно поднялись и сошли на берег хмурые ясыри, молчавшие всю дорогу. Поднялся с кормы Иван.

— Ну что, пришел? — по-русски прошамкал шаман. Можно было понять, что он ждал казака.

Помнилось, старик был беззубым, теперь бросился в глаза желтый пенек непомерно длинного зуба, торчавшего из запавших губ.

— Пришел! — по-кетски ответил Похабов, не понимая, узнал ли шаман его или все русичи были для него на одно лицо. — Помнишь меня? — щелкнул пряжкой шебалташа, снял опояску и бросил старику на колени, как в прошлый раз.

Шаман принял ее, не отбросил, долго разглядывал золотые бляхи, соединял и разъединял их. Опять заложил между ладоней, закрыл глаза. Угрюм, поглядывая на старика, развел костер у воды, стал щипать набитую птицу. Князец и его родственник молча присели у дымокура. Шаман открыл глаза, взглянул на князца пристально, поднял руки. В одной ладони тускло блестела бляха с головой косатого степняка, в другой — остроголового бородача.

В узких глазах Бояркана дрогнули зрачки, косатый молодец впился в золотые поделки. Шаман самодовольно осклабился, показав пенек длинного желтого зуба во всю его длину.

— Вот и встретились! — прошамкал. — Камлать надо. Хочу спросить духов, как первородный бог сплел ваши судьбы в этой жизни. — Помолчав, деловито предупредил: — Бесплатно камлать не буду!

Иван слегка смутился соблазном узнать судьбу, размашисто перекрестился, опасаясь осквернения колдунами и ворожеями, вызывающими души мертвых, но разбирало житейское любопытство: отчего привязалась к нему эта пряжка? Не берег — не терялась, не крали, золото, а не покупали, не брали в заклад. Теперь объявился князец с отлитым на ней лицом. Лукавое оправдание вертелось в его голове: для братов нет греха узнать, что скажет шаман, а если он что-то подслушает, то не по своей вине.

— Камлай для них! — опасливо приказал шаману, указав глазами на братских мужиков, снова перекрестился, небрежно окликнул Угрюма, возившегося у костра. — Принеси шаману гусей! И дай свой засапожник. Наживешь еще!

Угрюм положил рядом с дымокуром трех забитых птиц, неохотно, но послушно вытащил нож из-за стянутой бечевой голяшки бахила, хотел вернуться к костру, но шаман знаком приказал ему сесть против балаганцев. Он опустился на землю. Старик тяжко поднялся, приволакивая ноги, очертил костью круг, достал бубен из кожаного мешка. Все молчали и ждали. Шаман долго постукивал в бубен пальцами и что-то бормотал под нос. Потом достал палку, обтянутую рыбьей кожей, стал бить в бубен громче, выкрикивать, призывать духов, служивших ему. Наполнившись силой, замотал головой. Под седыми волосами обнажилась тощая шея с крапом шрамов от чирьев. Распаляя себя, старик запрыгал с неожиданным проворством, забегал внутри круга, вскрикивая то сипло, то пронзительно, как раненая птица. Слюна летела из беззубого рта, и отступало темное облако мошки, которая к полудню в полную силу встала на крыло. Вокруг шамана светлым шаром высвечивался воздух без гнуса.

Иван заметил, что Бояркан пристально и холодно глядит не на шамана, а на него. Во взгляде князца не было ни ненависти, ни неприязни, ни страха. Так перед боем смотрят друг на друга опытные поединщики. Шаман бесновался недолго: старость брала свое. Скоро он свалился на землю, полежал без признаков жизни, шумно втянул в себя воздух, отдышался, сел, прижимая бубен к животу.

— Вы братья по смерти! — объявил, не поднимая красных глаз. — Приходите в Средний мир, чтобы убить один другого. Убивший тоже гибнет — таков закон! — Шаман вскинул на Ивана усталые, налитые кровью глаза, ухмыльнулся, обнажив десны. — А если проживете, не убив друг друга, — будет конец вечной вражде!

Он бормотал то по-русски, то по-тунгусски. Бояркан сидел неподвижной горой, поджав под себя толстые ноги. Черная коса толщиной в запястье свисала по крутой, широкой спине. В одно ухо слова шамана ему переводил косатый братский молодец, которого Угрюм называл Адаем, в другое гыркал сам Угрюм. Бояркан водил зрачками от одного к другому, а большая голова на короткой шее оставалась неподвижной.

Иван понял все напророченное кетским шаманом. Открестился бы, отплевался через левое плечо, если бы его речи не совпадали со словами русского старика-песенника, сказанными много лет назад, под Тобольском. Он сердито замотал головой, часто замигал, будто проснулся, и неуверенно перекрестился. Молитва от осквернения вылетела из головы. Бояркан тяжело поднялся на коротких ногах, с важным видом что-то гыркнул себе под нос.

— Хороший шаман! — блеснул глазами Угрюм, сметливо и весело кивнул брату, переводя сказанное князцом. Тихо рассмеялся: — Выходит, мы все вроде как родственники! — Мысль эта ему понравилась, и он, сияя глазами, с улыбкой выговорил ее по-братски.

Князец фыркнул с презрительной насмешкой на полных губах. Взгляд Угрюма дрогнул и погас, восторженная улыбка покривилась и сошла с лица, он опустил голову и поднял ее с тем обычным видом, с которым жил в Маковском остроге.

На Ивана Бояркан взглянул по-другому. Похабов понял, что тот всю дорогу ждал

коварства и подвоха. Теперь недоверие прошло. Князец подошел к чадившему костру, толстыми, короткими пальцами снял с рожна шипевшего жиром гуся, брезгливо разорвал парившую тушку, причмокивая и обжигаясь, стал есть. Все пятеро вместе с шаманом сели полукругом. Угрюм поделил испекшееся мясо. Подкрепившись, Иван вытер руки мхом, бороду рукавом.

— Спроси шамана, как быстрей выбраться к Енисею! — приказал Угрюму

Шаман указал протоку, идущую едва ли не в обратную сторону от прежнего пути.

К ночи похолодало, осенняя стужа прибила назойливую мошку. В сумерках Иван высмотрел сухое, возвышенное место и приказал готовить ночлег по-промышленному Князец сошел со струга и снова сел как важный гость. Иван, глядя на него, тоже лег на мох и бросил топор брату. Угрюм и Адай стали готовить дрова для костра.

Еще не был раздут огонь, а в сыром воздухе запахло дымом. Иван с недоумением завертел головой, шикнул на брата, чтобы с Адаем затихли. Насторожился и Бояркан. Все четверо прислушались. Легкими порывами веющий ветерок доносил звуки людских голосов, похожие на звон серебряного колокольчика. Ни слов, ни смысла сказанного невозможно было понять.

— Русичи?! — взглянул на брата Иван.

Угрюм опасливо заводил глазами, напрягся.

— Чего испугался? — жестко усмехнулся старший. — Пока государев закон не нарушаем. — Мотнул головой, скрипнул зубами, зло добавил: — Пока…

Стан промышленной ватажки оказался в полуверсте от того места, где хотели заночевать Похабовы с балаганцами. На небе замигали первые звезды, когда их струг бесшумно появился чуть ли не возле самого костра. Люди сорвались с мест, испуганно уставились на казачью шапку Ивана. Бежать им было некуда.

— Год кончается, а государева десятина не плачена! — хохотнул казак, догадавшись, что за ватажка остановилась на ночлег. — Не бойсь! Храни вас Господь! Не грабители! — пророкотал мирно, выходя на сушу. — Заплутали, увидели огонек, примите на ночлег, Христа ради!

Промышленных было пятеро. Оглядев прибывших, они успокоились, настороженно подвинулись, освобождая лучшее место, куда не тянуло дым.

— Если Христа ради, то присаживайтесь! — сипло проговорил старший с крапом глубоких оспинок на лице. — Взглянул на балаганцев, высадившихся из лодки: — Чьи будете?

— А разные! — мирно ответил Иван, присаживаясь. — Я Маковского острога служилый. Это гулящий, из промышленных! — кивнул на брата. — Балаганские мужики, — указал на Бояркана с Адаем. — Возвращаются к родне.

Последние слова Ивана вызвали любопытство ватажных, они оживились, стали веселей поглядывать на нежданных гостей.

— И откуда они? — сипло покряхтывая от дыма, спросил рябой передовщик. Заговорил Угрюм. Иван уже не удивился, как брат умел преображаться.

— За порогами Верхней Тунгуски бывали? — спросил он, покровительственно улыбаясь и с важным видом оглядывая промышленных.. — Я-то ее всю прошел до Ламы. Недель пять ходу от устья, за порогами начинаются балаганские степи, там и кочуют народы Бояркана, — указал глазами на князца. — А он их хубун, по-братски — главный родственник или князь. Я среди его народов жил, много чего знаю.

— В степи какой соболь? — разочарованно пожал плечами передовщик.

— Там, где я сказал, он прежде кочевал, — как старший и опытный, ласково глядя на промышленных, качнул головой Угрюм. — Нынче эхириты главного бурятского князца Аманкула вытеснили на другой берег реки Мурэн, по тамошнему значит — Тунгуски или Ангары. Теперь его народ пасет скот прямо за первым порогом, в лесах, на яланных полянах. Я и в тех местах промышлял с Пантелеем Пендой. Хороший там соболь.

Промышленные уставились на Угрюма с разинутыми ртами.

— Так ты с Пендой промышлял? — ахнул передовщик.

— Не только на Ангаре, — упиваясь вниманием, объявил Угрюм. — Я с ним всю Нижнюю Тунгуску прошел. Егорий Похабов, по прозвищу Угрюм.

— Слыхали! — почтительно зарокотали промышленные, подвигаясь к огню.

Кто-то навесил котел на костер, на расстеленную чистую, хорошо выделанную кожу насыпали сухарей и вяленой рыбы. Про служилого с его казачьей шапкой ватажка забыла. Иван вынес из лодки мешок, положил на кожу каравай свежего хлеба, выпеченного в печи, не на костре. Взгляды промышленных на миг были отвлечены. Молодые сглотнули слюну, но разговор о промыслах тут же продолжился.

Иван и балаганцы, подкрепившись хлебом, легли спать, а у костра продолжался приглушенный разговор о промыслах, о дальних, богатых зверем местах. Под невнятный приглушенный лепет этой беседы Иван уснул. Проснулся он в ночи, взглянул на звезды, до осеннего рассвета оставалось не много времени. Промышленные и Угрюм все еще говорили. Поднялись все поздно. По лицам брата и ватажных Иван понял, что

ночью они сговорились. Среди недавно незнакомых еще людей Угрюм держался по-свойски, с важностью первого человека.

— Идем промышлять на Гею, — небрежно объявил старшему брату. — Там нынче кочует родня Бояркана. А мне дают полную ужину.

— Ну и слава Богу! — согласился Иван, поплескал водой в лицо, вытер рукавом мокрую бороду. — Значит, балаганцев к родне проведете? — спросил передовщика.

— Доведем! — весело пообещал тот, шмыгая носом. На изрытом оспинками лице не было ни следа бессонной ночи. — И в Енисейском десятину дадим! Угрюмка сказывает, этим летом рожь там по пятнадцать копеек пуд.

— В Маковском по пятнадцать! — к неудовольствию брата, поправил Иван. — В Енисейском — не знаю. Может быть, по двадцать.

— Все равно выгода. В Дубчевской слободе пашенные рядились по полтине.

Иван мотнул головой, удивленно почесал затылок. Вопреки царским указам торговали и служилые, и пашенные, наживались, кто как мог, грабили друг друга. Сибирь она и есть Сибирь! Булькал котел на огне, распространяя запах вареного мяса. Тот же передовщик с усмешкой на плутоватом лице спросил:

— Оскоромишься заодно с нами, грешными?

— Что уж там! — крестясь, согласился Иван. — Сам грешен.

После завтрака и молитв ватажные стали собираться. Улучив миг, Иван отвел брата в сторону, передал ему свернутую трубкой купчую крепость на балаганцев.

— Что мог, то сделал! — сказал, понизив голос и глядя в сторону. — Дальше твой грех и твои заслуги. Помогай тебе Господь! А я больше ничем помочь не могу.

Помолчав, вскинул на брата тоскливые глаза, тряхнул головой:

— Не пропадешь! Умеешь с людьми ладить, ко всем подстроишься. У меня так не получается. Ну и ладно, кровь одна, а судьбы разные!.. С Богом!

И все! Ни обнять не смог младшего, ни напутствовать, как принято от века среди родственников. Кивнул Бояркану, бросил в стружок лук с колчаном стрел, столкнул лодку на воду, хотел перескочить в нее. Не сводя с казака глаз, князец шагнул в его сторону, Иван взглянул в круглое безбородое лицо, заметил, что глаза у Бояркана карие. Тот подошел ближе, что-то пролопотал. Иван взглянул на Угрюма. Брат, переминаясь и кривя губы, перевел:

— Хубун сказал, что будет тебе братом по жизни, а не по смерти. Буряты говорят: «Кто другу помог — на всю жизнь ему опора. Станем мы теперь побратимами!»

Иван приветливо кивнул князцу, показывая, что понял его, бросил последний взгляд на брата и прыгнул в лодку.

Разные чувства одолевали душу бывшего гулящего, теперь промышленного человека. Как ни трудно было признаваться, но служилый брат с его славой тяготил Угрюма, хотя нужен был ему и он им гордился, пока жили врозь. А потому скрытой радости при расставании было больше, чем подлинной печали. Душа кручинилась по другому поводу, ныли под сердцем две раны: грубый ответ Бояркана на его шутку о родстве: «кто брат, а кто и дархан!» и последний взгляд брата, такой же, как последний взгляд Пантелея Пенды.

Стружок Ивана скрылся в зарослях, а Угрюм все стоял и смотрел вслед. Промышленные, с пониманием, не беспокоили нового связчика, балаганцы молча сидели у костра, а он так страстно спорил в мыслях с братом и Боярканом, что невольно шевелил губами. Ведь это он, Угрюм, пообещал хубуну освободить его, он уговорил брата выкупить их с Адаем. Откуда им знать, чья рухлядь заплачена за их свободу? Да и чья она? Раз монахи спалили его, Угрюмкины, меха, то Пенда должен поделиться с ним своими, клеймеными, которые оставил у Ивашки. Раз так, то брат отдал за балаганцев не свое, а его богатство. Наконец он резко мотнул головой и обернулся к стану. Впереди была другая жизнь. Что бы ни говорил Бояркан по злобе, а добра он не забудет и за свою свободу наградит. Оставалось претерпеть Енисейский острог с его служилыми людьми, а за Енисеем, — воля!

Из всей прежней жизни Угрюма год, прожитый с балаганцами, был самым лучшим. Вот и теперь стоило расстаться с братом, будто отвязались прежние несчастья и тяготы. Не плутая, не надрываясь, ватажка с балаганскими ясырями вышла к Енисею. На устье Каса им встретились торговые люди тобольского гостя Федотки Попова. Как только Угрюм объявил, что промышлял с Федоткой на Нижней Тунгуске, так купцы стали уважительней поглядывать на промышленного в ветхой одежонке. Они рядились по четвертине за пуд ржи, но больше для куража и затравки торга. За лучших соболей: непоротых, с пупками и когтями, которых все равно забрали бы в государеву десятину енисейские казаки, Угрюм сторговал за восемнадцать копеек пуд.

Он велел ватажным купить ржи по двенадцать пудов на человека, вместе с балаганцами, ровно столько, чтобы и полпуда не отобрали таможенные казаки. По пуду соли на каждого и не больше, чтобы не было спора о налоге. Зная енисейские цены на рухлядь, торговался за каждого соболя. Недорого выторговал у купцов большой струг в обмен на малый, который от груза просел по самые борта. Знал, что на обратный

путь, к Тобольску, тяжелый струг для торговых — обуза. Ватажные промышленные не могли нарадоваться новому связчику.

Знал Угрюм и то, как таможенные казаки в Енисейском остроге берут десятину. Лучших соболей и лис он приготовил на поклон воеводе и подьячему, сам ходил к ним с передовщиком. Балаганцев объявил ватажными ясырями, отпущенными промышлять с ним их хозяином Ивашкой. Показал купчую.

Перфильев ватажку не обыскивал, десятину взял под слово, выправил отпускную грамотку промышлять у Ангарских порогов. Ватажные, которых знобило при мысли, что придется иметь дело с острожными начальными людьми, как услышали от Угрюма, что свободны следовать на промыслы и больше их никто не тронет, ахнули и стали величать нового связчика по батюшке.

Угрюм выбрал среди добытой ими рухляди среднего соболя и велел передовщику подарить его в почесть острожному попу. Старанием батюшки острожная Введенская церковь была уже накрыта крашеным драньем. Пятеро ватажных по научению нового связчика день поработали на строительстве храма, отстояли литургию в освященном приделе, исповедались и причастились в путь-дорогу Поп Кузьма принял от них крестоцелование друг другу и обещание первого добытого соболя отдать острожной церкви, с тем и благословил на промыслы. С легкими сердцами и радостью ватажные с ясырями продолжили путь к устью Ангары.

Довольный собой и нынешней жизнью, Угрюм не отнекивался от бурлацкой бечевы, тянул струг наравне со всеми, но сколько мог, оберегал от работ Бояркана. Князец быстро уставал идти пешком, колодой сидел в струге или становился на шест, помогая проталкивать груженое судно против течения.

Прошли скалистое, бурлящее перекатами устье Ангары и долгую песчаную отмель, потянули струг крутым берегом с нависшими деревьями. Бечевник был труден, но казаки атамана Василия оставили после себя тропу, прорубили мешавшие ходу деревья и ветви. Удача не покидала ватагу и самого Угрюма. Ему с неприязнью вспоминалась жизнь в Маковском остроге, Меченка, по которой когда-то томился сухотой. После зимнего перехода из Томского острога он по-другому взглянул в ее бирюзовые глаза. Почему оказалась за братом, а не за Максимом, Угрюм не спрашивал, украдкой наблюдая за ней, заметил, что в женах она не только злобна на слово, как прежде, но и жадна. Если брата не было в доме, он уходил к добросердечной соседке Капе, жене стрельца Колесникова. Нескладная, глупая в пустопорожних разговорах, она была чистоплотной, житейски мудрой и приветливой женщиной. И легла на его сердце неприязнь не только к ней, но ко всему Иванову дому. Оттого невольно затевался нескончаемый спор с братом как продолжение своего рассказа о счастливых чужбинах.

— Бесовские посулы! — отмахивался старший. — Грех жить для чужого народа! Христа еще до Его рождения единокровники гнали и притесняли, а он принял за них муки, на распятье пошел, хотя знал, что предадут, надеялся, вдруг покаются и простятся им прежние грехи. Через Его подвиг Бог всем людям показал, как человек должен жить.

Угрюм фыркал, указывал глазами на Сорокиных:

— Ради этих на крест?

— И ради них! — упрямо рыкал Иван, хотя незадолго матерно поносил того и другого.

Раздосадованный на самого себя, что распустил язык, Угрюм с ненавистью оглядывал грязи верховий Кети, претерпевал тесный острожный быт, злобную жадную Меченку… И всю свою прежнюю жизнь: промышленную, гулящую, торговую — ненавидел. Никакого счастья не сулила она богатому или бедному, ничего того, о чем мечталось с голодного, сиротского детства до бухарского плена. И казалось ему, будто старший брат со всеми русскими людьми в своем упрямом невежестве стоит по одну сторону пропасти, а он, со своим знанием иной жизни, по другую.

Теперь все переменилось: засыпая возле костра после трудного перехода, Угрюм с радостью думал: «Не оставил Бог, послал ангела-вестника в виде балаганцев, призвал к иной жизни, которую чуял и носил под сердцем, сколько себя помнил».

Густо плыл по реке желтый лист, деревья по берегам стояли голые, черные, моросил дождь, просекаясь снежинками. Дышалось легко и привольно, спалось сладко. Ватага прошла устье Тасея. Больше всего Угрюм боялся не узнать этих мест, пройденных зимой, и сбиться на приток, но узнал Тасееву реку и повернул к Ангаре. Добрые ватаги в это время рубили зимовья, готовили в зиму рыбный и мясной припас, а они все шли правым берегом Ангары. Здешние тунгусы никому не платили дань и похвалялись, что ни от кого не зависят. По их сказам узнал Угрюм устье тунгусской реки Илэл*, по которой во времена юности сплыл к Ангаре под началом Пантелея Пенды.

Утрами вдоль берега намерзал лед, уже был слышен шум порога, показались острова. Балаганцы узнали места, близкие к их кочевьям, вскоре встретили первых братских кыштымов. Бояркан велел Адаю взять у них вожей с оленями. Его самого не то что олень, не всякий конь выдерживал. Но Адай с радостью бросил опостылевшую

ему бечеву и сухим путем, верхом на олене ушел к кочевьям на Гею. Тянуть струг без балаганского молодца стало трудней.

Шум порога усиливался. Угрюм велел сделать дневку. Стояли день и другой. Ватажные, боясь зимы, зароптали, соглашались остановиться на промыслы и в этих местах, но Угрюм с умыслом затягивал отдых спутников. Вскоре к их стану прибыли братские всадники с лошадьми в поводу. Первым среди них Угрюм узнал Куржума, брата Бояркана. Хубун с братом и Адаем ускакали к своим кочевьям, три братских молодца запрягли в гужи коней и потянули груженый струг через Шаманский порог, потом вверх по притоку так быстро, что в лодке едва успевали отталкиваться от берега.

Три дня Угрюм пировал на стане Бояркана, садился рядом с князцом-хубуном по правую руку, как друг. Его приодели в дорогой камчатый халат, сапоги, дали островерхую шапку, шитую серебряной нитью. Он весело оглядывал долину знакомой реки. Балаганцы ругали Аманкула, с тоской вспоминали свою степь, а ему и здесь было хорошо. Всей грудью он вдыхал запахи опавших, прибитых инеем трав, скота, войлока и был счастлив, будто вернулся домой.

Радостно встретил дархана заметно постаревший Гарта Буха. Угрюм по-свойски перекинулся словцом с его дочерью Булаг. Она повзрослела и стала еще привлекательней. Если прежде кузнец шутил над смешной девкой из озорства, то теперь увидел в ней женщину. Все те же глаза, опушенные черными ресницами, тонкие брови тянулись к вискам раскинутыми крыльями птицы, пухлые щеки слегка опали, но остренький носик как прежде подергивался при разговоре, то высовываясь, то утопая в них. Булаг недолго горевала о погибшем муже, вышла замуж за другого, богатого скотом, но жизнь ее не задалась. Она ушла от мужа и снова жила у родителей.

На четвертый день слегка опухший от молочной водки Бояркан принялся судить скопившиеся у родни споры и распри. Одним из первых дел было желание племянницы Булаг развестись со вторым мужем. Кривоногий, с засаленной косой и выпяченной губой, он с первого взгляда не понравился Угрюму. На вопрос Бояркана, отчего племянница не желает с ним жить, Булаг коротко и равнодушно ответила: «Злой!»

Бить детей и женщин у балаганцев не принято. силой и страхом жен они при себе не удерживали. Бояркан, важно поглядывая на обоих, попытался дознаться, что за злость мешает жить супругам, но ничего не понял из их путаных слов. Муж тоже ругал Булаг, однако развода не хотел.

— Озогой** у тебя нормальный? — строго спросил его хубун.

— Хороший озогой, лучше, чем у других! — стал похваляться кривоногий муж.

— Снимите с него штаны! — приказал Бояркан своим молодцам. Те со смехом обнажили мужика.

— Нормальный! — взглянув в один глаз на мужскую доблесть, подтвердил хубун. — Живите и не ссорьтесь!

И тут Булаг, стоявшая перед князцом достойно и равнодушно, подперла бока руками, топнула ногой и бойко вскрикнула:

— Не буду с ним жить! Ругается, рот не закрывает, чтоб его мангадхай сожрал. Падалью воняет, как мешок с протухшим жиром… Не буду жить!

**Илэл — Илим.*

***Озогой — мужской член (бур.).*

— Ну, тогда не живите! — сохраняя важность в лице, согласился Бояркан. — Пусть твои родственники отдадут его родственникам все подарки.

На том суд по разводу был закончен, все сочли решение хубуна справедливым и он перешел к другим делам. Булаг как ни в чем не бывало вернулась к костру и стала скоблить ножом паленые бычьи лытки. Угрюм прошелся по стану, присел у костра против Булаг, стараясь говорить как прежде, со смехом, спросил:

— А за меня пойдешь, если бороду сбрею?

Булаг помолчала, не выказывая ни неприязни, ни высокомерия, и со вздохом ответила:

— Ни за кого больше замуж не пойду. Надоело! — подняла голову, взглянула на Угрюма сквозь непомерно длинные ресницы и он увидел в них хорошо знакомую ему тоску.

Как-то ласково и непринужденно его влекла эта молодая овдовевшая и разведенная женщина. Не так, как когда-то Меченка. Та присушила, очаровала до одури, чуть под венец не привела, а разглядел лучше — возненавидел.

Холодало. Угрюм гулял и отдыхал, его ватага строила зимовье, спешно готовилась к зимним промыслам, при этом молила Бога, что послал им такого связчика, как он. Выпал снег. По совести, пора было возвращаться в ватагу и промышлять. Угрюм обещал связчикам прийти к Покрову и все медлил. Ватажные могли обойтись без него, а он для них и здесь, среди балаганцев, делал много полезного: оговорил с

Боярканом и Куржумом, что ватажка сможет зверовать под их защитой сколько захочет без платы. В уме прикинул, что это для промышленных слишком хорошо, и решил от имени князца назначить пустячную дань — десять соболей в зиму.

Купленная Угрюмом кобылка была жива-здорова, принесла двух жеребят, лончака пора было объезжать. Ради добрососедства он опять ковал и налаживал балаганцам утварь. Кое-чему научился у Абдулы и сделал такой рог для охоты на лосей, что молодые мужики Гарты стали предлагать за него быка. Угрюм весело отнекивался: что бык, если с помощью рога он мог добыть несколько лосей. Их мясо и мясо диких оленей почиталось среди балаганцев как самое вкусное.

Угрюм стал ездить на охоту с молодыми мужчинами стана и сразу почувствовал, как к прежнему уважению прибыло другое. После первой привезенной добычи даже Булаг поглядывала на него почтительно.

Кузнецы среди бурят были очень уважаемы. Балаганцы называли Угрюма Дарханом, другого имени у него здесь не было. Но теперь, после помощи Бояркану и добычи лося, они стали называть его Мергеном*. То есть признавали за своего. Угрюм еще короче выстриг бороду и все откровенней поглядывал на Булаг, а она уже не фыркала и не злилась, разговаривала с ним приветливо и доброжелательно.

Первый хороший снег выпал через три дня после Покрова. Угрюм со своего счета дней и праздников сбился, чужого счисление еще не понимал, но рев лосей той осенью продолжался и Угрюм зверовал с двумя братскими парнями. Лось откликнулся со старой гари. Охотники подъехали на его зов. Лес был заколдоблен, лошади по нему не шли. Балаганцы чащи не любили, не любили и пешей ходьбы. Угрюм велел помощникам ждать его на поляне и пошел на рев один, с тунгусским луком: тяжелым, склеенным из трех древесных пластин. Трехгранные наконечники к стрелам он ковал и точил сам. Прислушался. Протрубил в рог. Дождался ответного рева и, похрустывая валежником, пошел на зов. Послышался встречный треск веток, радостно застучало сердце в груди. Охотник уже представил, как порадуется новой добыче Булаг, но вместо лося из ельника выскочил медведь, который портил всю охоту и удачно начавшийся день.

Угрюм заревел, засквернословил, размахивая луком. Медведь даже не приостановился, высоко вскидывая когтистые лапы, мчался на него так, что казалось будто подрагивала земля.

**Мерген — охотник-добытчик. Один из титулов предводителей у бурят.*

Между его вздернутых черных губ желтел оскал зубов, маленькие глаза глядели подслеповато, пристально и зло. Зверь уже не мог не видеть, что перед ним не лось, а человек. «Плохо дело!» — успел подумать Угрюм, до самого плеча оттянул тетиву и едва медведь вскинул голову, перепрыгивая через валежину, всадил тяжелую стрелу прямо под оскаленную пасть.

На мгновение зверь осел всей тушей, заревел, но не успел Угрюм положить на лук новую стрелу, в два прыжка оказался рядом. Лук со стрелой вылетели из рук. оперенный конец стрелы, торчащий из мохнатой шеи, больно ткнул охотника в грудь, смрадно пахнуло из медвежьей пасти. Защищаясь от клыков, Угрюм сунул правую руку в звериное горло, за что-то там ухватился. Вышло это случайно, хоть он и слышал от старых промышленных, что иногда так останавливали разъяренного медведя. Левой рукой Угрюм выхватил короткий рабочий нож, стал неловко тыкать острием в шерсть. Медведь слабеющей лапой отбивался и шкрябал его по одежде. Наконец Угрюму удалось воткнуть лезвие по самую рукоять. Не вынимая ножа, он стал бередить им рану.

Зверь осел ниже, еще раз ударил лапой по лицу и по одежде. Угрюм выдернул руку из пасти, попытался схватить стрелу, торчавшую из медвежьего горла, всадить ее глубже, но рука не могла сжаться. Он взглянул на влажную ладонь и не сразу узнал ее: указательного пальца не было. И как только он это понял, из култышки струей хлынула кровь.

Угрюм еще трижды ударил зверя ножом, почувствовал, что тот выдохся. Обрадовался. Сам попытался зареветь разъяренно и победно, но крика не получилось, вместо него на щеке надулся и лопнул кровавый пузырь. Тут только Угрюм опустил глаза и увидел, что кафтан и штаны изодраны в клочья, по ним струилась кровь. Он удивился тому, что не заметил, не почувствовал, как зверь драл его тело и вдруг ослаб. Хотел подобрать лук, но сильно закружилась голова. Он еще раз взглянул в живые глаза зверя, повернулся к нему спиной и заковылял в обратную сторону своим следом. «Не Ерофеев ли нынче день, когда лешие лютуют перед зимней спячкой?» — подумал, всхлипывая. Деревья закачались перед глазами, он опустился на колени, приложил к лицу тут же окровянившуюся пригоршню снега. Стал гаснуть день, и наступила ночь.

Какие-то видения носились перед ним, потом он услышал ровное дыхание возле уха, почувствовал запах жилья, дыма и женщины, открыл глаза. Мутно завиднелись

решетка юрты и войлок, тлел очаг. Угрюм почувствовал, что лежит на спине раздетый догола и прикрытый мягким, скользким шелком халата. Щекой уловил тепло: не простое, обычное, а исходящее от женщины, скосил глаза. Поджав под себя ноги, рядом сидела Булаг. Голова ее опала на крутую грудь, локон растрепавшихся волос висел перебитым вороновым крылом. Она тихонько посапывала во сне. В той черной ночи, из которой Угрюм только что выплыл, он услышал этот самый звук. Полное обнаженное колено касалось его плеча.

Болело все тело, сильно саднило в паху. Вспомнилось, как он так же вот сидел возле оскопленного Пятунки и показалось, что возле двери кто-то стоит. «Не ангел ли?» — стал вглядываться в темень. Платок ли бабий, кошма ли белая подвешены? Ему же виделся человеческий лик. Угадывались пятна глаз и носа, темнел провал рта, расползшегося в ухмылке, и в нем поблескивали клыки.

Угрюм содрогнулся от страшной догадки. Так вот кем был тот, кому он всю жизнь молился, кто помогал и выручал. Все разом открылось и стало очевидным. Этот клыкастый всю жизнь играл с ним, как кошка с мышью: придавит, увидит, что подыхает, — отпустит и освободит, чуть окрепнет жертва — схватит зубами и бросит. А он, глупый Егорий, до этой самой ночи не понимал и почитал его как защитника и своего единственного спасителя. Открылось! Медведь был наведен на него не случайно. И все несчастия, все чудесные избавления от них стали понятны. «Какая глупая, однако, получилась жизнь?» — всхлипнул он и сглотнул соленую скатившуюся слезу.

Булаг затихла, перестав сопеть, подняла голову, взглянула сквозь припухшие щелки глаз.

— Ожил? — зевнула. — Третий день лечим!

С новым зевком она приподнялась на полных коленях, поправила повязку на его голове, приподняла халат, покрывавший истерзанное тело, потрогала какую-то бесчувственную коросту на груди, потом в паху, где все ныло. Ни щеки, ни нижней губы, впрочем, всего своего лица Угрюм не чувствовал. Не разжимая зубов, прошепелявил:

— Если оскоплен — не лечи! Лучше умру!

Булаг подслеповато склонилась над его животом, стянутым повязками.

— Есть озогой! — сказала равнодушно. — Целый! — И бесчувственно подергала за него мягкой рукой как за какую-нибудь кишку во вскрытой туше.

От этого небрежения слезы струями хлынули из глаз Угрюма, заныло, защипало изодранное лицо, горячо защекотало по вискам. А тень у входа все скалилась и беззвучно потешалась над изувеченным. Прежние мечты о жизни и счастье вспомнились Угрюму по-щенячьи глупыми. Со всей ясностью высветилось вдруг, что богатство, слава, свобода — суета сует, а все пережитое им не стоит и гроша, потому что в его жизни не было самого главного — женщины, той самой женщины, которая приходила в снах, но так и не пришла в яви.

Булаг смутилась от его слез, вскинула длинные брови, как птица крылья в полете.

— Чего ты? — беспокойно потрепала мошонку мягкой рукой. — Раз мужчина, значит, будешь жить.

Застучала кровь в висках и показалось Угрюму, будто его сердце ускакало из ребер в ее руку.

— Уй, да совсем хороший жених! — тихонько рассмеялась она, задрала подол халата на полных ногах, переступила круглым коленом через больного и осторожно присела, чтобы не причинять ему боль.

«Кто же ты?» — промычал Угрюм, вглядываясь в тень у входа. Вроде бы она уже не скалилась, болталась белой тряпкой. От благодарности к молодой балаганской женщине слезы снова потекли из его глаз. И он уже соглашался с посулами того, кто стоял у двери, похоронить прежнюю жизнь, как говорил о каком-то самокресте Абдула-Иван, и родиться к новой.

Глава 5

За неделю до Пасхи в избе Маковского острога умер Матвейка, старый приказный в чине сына боярского. Последние дни он больше прежнего кряхтел и охал, но таскал ноги, и кончины его никто не ждал.

Едва заалело солнце над тайгой, Капа напекла пресных лепешек, раз и другой выглянула из оконца. Над избой приказного дымка не было. Льдины из окон вытаяли, а утренники были холодными. Жалея старика, добрая женщина хотела затопить ему печь, накидала в плошку горящих угольков, распахнула дверь избы — Матвейка лежал на лавке носом в потолок, кафтан, которым был укрыт, сполз на пол.

— Что лыбишься-то? — зычно спросила Капа и зябко передернула плечами. — Встал бы да лоб перекрестил, печь затопил.

На ее оклик приказный бровью не повел. От его улыбчивого молчания Капа сперва обомлела, потом с ревом выскочила в острожный двор и трубно заголосила. Васька Колесников, стряхивая крошки с редкой бороды, кинулся за Иваном. Вдвоем они вошли в избу приказного, смахнули шапки в мертвой тишине, закрестились на образа.

— В Енисейский везти надо! — тихо сказал Иван, будто боялся разбудить стари ка. — Что мы тут? Ни отпеть, ни похоронить с честью.

Капа за их спинами опять протиснулась в избу с выпученными глазами, боязливо взглянула на покойного и стала тихонько подвывать, закрывая рот ладошкой. Меченка с некрасивым, вздувшимся лицом просеменила в кутной угол, потопталась, выглядывая из-за печи, и тихо, как мышь, прошмыгнула за дверь, потом за острожные ворота: побежала на гостиный двор, сообщить новость Сорокиным. Они и повезли старика встреч солнца ногами вперед. Иван с Василием, Пелагия с Капитолиной кланялись удалявшимся саням, закидывали след и опустевшую избу пихтовыми ветками.

Вернулись Сорокины после Пасхи, раньше их не ждали. Сказали, что с честью отпели и предали земле старого приказного, на Страстной неделе помянули кашей и киселем из толокна. Прибрал Господь служилого перед великим праздником, значит, в рай! Девять дней выпадали на Святую неделю, когда мертвых не поминают. По приметам выходило, что покойный выпил свое по себе еще при жизни.

Вскоре по пористому, покрытому лужами льду Кети пришел конный обоз из Томского города. С важностью начального человека в острог прибыл бывший енисейский казак Ермес. Он много лет прослужил в Томском городе и получил тамошний оклад сына боярского. Васька Колесников стал зазывать гостя в свою натопленную избу, но Ермес велел провести его в хоромы приказного, небрежно взглянул на образа, махнул рукой со лба на живот и скинул тулуп, оставшись в коротком зеленом кафтане и плоской круглой шапке, обшитой по краю куницами. За ним в выстывшую избу сына боярского, которая по острожному уставу была на квадратную сажень просторней казачьих и стрелецких, вошла здоровенная баба, лицом и телом похожая на мужика. Глаза ее были неулыбчивы, на подбородке кучерявились волоски. Ермес объявил, что прислан сменить старого приказного, а суровая баба — его жена и сестра родовитого томского казака Бунакова. Ермесиха строго взглянула на Ивана Похабова, а Ермес напомнил:

— С кабалы, что дал твой брат Петру Бунакову, с Ильина дня идет рост по алтыну с рубля каждый месяц. К другому Илье пророку будет двенадцать алтын или тридцать шесть копеек… — Ермес повел глазами к низкому потолку, надул выбритые губы и объявил: — С десяти заемных - три рубля шестьдесят копеек!

Меченка втиснулась в избу приказного вместе со всеми острожными ради новостей Томского города, она приветливо улыбалась, разглядывала новых людей, укачивала на руках новорожденную дочь, так непринужденно раскачивая крутыми бедрами и перекатывая младенца с живота под грудь, что Якунька Сорокин, косясь на нее, озверело шевелил драными ноздрями. Иван на миг растерялся, не сразу догадавшись, о чем речь. Краем глаза увидел, как замерла жена, вздулось и обезобразилось ее лицо. Сдерживая себя, ответил, чуть растягивая слова и жмурясь:

— После Троицы вернется брат с промыслов и рассчитается за все. Он удачлив в добыче!

— Вернется ли, и с богатством ли, един Бог знает, — утробно прорычала Буначиха, нынешняя Ермесиха. — А Петр за него деньги давал под тебя. Рост вернешь с государева жалованья.

Меченка пулей выскочила из избы. Иван старался не попадаться ей на глаза, водил Ермеса по острогу, показывал строения, припас, оружие и казенное добро по описи. Василий Колесников ходил рядом, елейным голосом все пояснял, говорил так сладко и слаженно, что Ивану приходилось помалкивать, пока дело не доходило до бумаг.

Меченка подкараулила мужа одного: вместо лица — чурбан, вместо глаз — дупла, длинный, мокрый нос — сучком. «Кабы дал Бог увидеть ее такой в невестах, — подумал Иван с горечью, — охотней на плаху пошел, чем под венец».

— Голодом нас уморить хочешь? — вскрикнула, прижимая к груди новорожденную. — То за друзей платил, теперь за брата…

— Помолчи! — рыкнул Иван. — Не бабьего ума дело.

— А в обносках ходить — моего ума? — бешено вскрикнула жена, напоказ выставляя грубо залатанную дыру на поневе.

Иван развернулся, не снисходя до перебранки, она вцепилась в его опояску, поволоклась следом, злобно взвизгивая:

— Бекетиха не успела на службы приехать, говорят, от жиру лопается!

— Оттого и лопается, что руки растут откуда надо! — язвительно процедил Иван. — Грязными да оборванными, — кивнул на грубо наложенную заплату, — ни Петр, ни она не ходили.

Жена взвыла, не зная что ответить. Иван стряхнул ее руку с кушака. Знал, теперь

будет носиться, вымещая злобу, пока не остынет. И в другой раз жена укараулила его одного, подскочила с перекошенным лицом, сказать ничего не успела. Иван оглянулся по сторонам и треснул ее по лбу черенком кнута так, чтобы не задеть младенца. Она залилась слезами и поплелась в избу жалеть себя.

Иван Похабов и Василий Колесников сдали острог Ермесу. Тот привез с собой четырех верных ему томских казаков и желал посадить их при себе на оклады. Кроме служилых и Ермесихи в его обозе был длинноволосый еретик-рудознатец с бритым лицом в коротком заморском кафтанишке поверх камзола. По царскому указу он следовал на Енисей. Как ни строг был Ермес, опасаясь проронить всякое лишнее слово, но Василий Колесников выведал у него, что Васька с Гришкой Алексеевы оправдались перед старшими воеводами и теперь служат в Красном Яру у тамошнего приказного Андрея Дубенского. С их слов, томские и тобольские воеводы были недовольны Яковом Хрипуновым, готовили ему замену.

Приняв острог, Ермес оставил в нем своих верных людей под началом полюбившегося ему Колесникова, а сам с грамотами от томских и тобольских воевод и с еретиком-рудознатцем ускакал в Енисейский на поклон и доклад к воеводе.

Ни братья Сорокины, ни сам Иван за свои здешние должности не держались. тяготясь бесславной службой на одном месте. Казаки покидали в сани свои пожитки, усадили Меченку с детьми. Предвкушая гулянье на Троицу и Духов День, по хрусткому льду застывающих и оттаивающих луж они тоже подались в Енисейский острог. Почерневший снег лежал в тени деревьев, обочины вытаяли. На солнечных полянах зеленели мох и брусничник. Полозья саней то и дело скрипели по мерзлой земле, цеплялись за корни. Кони фыркали и прядали ушами, вдыхая запахи весны.

Меченка открыла напоказ лицо с пятном на щеке и шишкой на лбу, насупившись, сидела в санях, дулась за обиды, молчала, прижимая к себе детей. Повеселела, когда показались башни острога и купол церкви. Обоз подъехал к раскрытым воротам. Навстречу прибывшим выбежал Вихорка Савин, за ним едва поспевала жена Савина, следом степенно вышел Максим Перфильев. Он опять был писано красив в кафтане, опушенном по обшлагам и по вороту собольими спинками, с рукавами, болтавшимися до колен, в собольей шапке с красным колпаком, свисшим на плечо. Борода его была ровно подстрижена, лицо белое, из-за кушака торчала атаманская булава. Иван невольно залюбовался молодцеватым товарищем, оглянулся на жену. Прежнего насупленного лица кикиморы не было. Бирюзовые глаза приветливо блестели, губы растягивались в ласковой улыбке: красавица да и только. Таким вот видом и присушивала молодцов, не видавших ее в злобе.

— Милаха! Почто меня разлюбила! — заскоморошничал Максим. Мимоходом об нял товарища и опять к его жене: — Экой красивой бабой стала. Видать, милует тебя Ивашка!

Чуть сдвинулись, мимолетно нахмурились ее брови, смущенно и радостно она прикрыла платком пятно на щеке, опавшую шишку на лбу, заулыбалась бывшему полюбовному дружку.

— Похристосоваться-то дозволишь? — подмигнул Максим товарищу.

— Целуй! — равнодушно отмахнулся Иван, ревниво покосился на переменившуюся жену.

«Не попутал бы бес, — подумал с тоской, — была бы атаманшей. О том, поди, сохнет теперь!»

— Целуй, целуй! — добавил скаредно. — Хошь совсем забери. В хорошие руки отдать не жалко… Поселишь-то нас куда, атаман?

— Другу свою избу отдам! — встал фертом Максим и тут же пояснил: — Изба угловая, за стеной караульня. Беспокойно, но просторно. А я на лавке, в съезжей поживу. Дел много.

— Можно и к нам! Потеснимся! — осторожно поглядывая на мужа, ласковым голосом предложила Савина. Подруги слезно расцеловались. Вихорка словам жены не противился, и она стала приглашать настойчивей.

— Думай! Тебе жить! — кивнул жене Иван. — Я на службах, ты в доме!

Поколебавшись, Меченка выбрала избу братьев Савиных, туда и въехали Похабовы со всем скарбом. Острожная угловая изба была вдвое просторней той, в которой они жили в Маковском. За печкой виднелась медная пушка, заставленная корзинами. Подошвенные бойницы в стене были заткнуты еловыми заглушками на мху. Здесь жили две семьи. Терентий Савин после Пасхи женился на стрелецкой вдове, бездетной, тощей и морщинистой. Под верхней губой у нее темнел провал выпавшего зуба. Среди служилых считалось, что стрельцу повезло, хотя жена была лет на десять старше его.

Где приютились две, там разместятся и три семьи, решили братья Савины. Трем бабам с четырьмя детьми жить можно. Мужья же приходят только ночевать, и то редко. У них служба.

Воевода Яков Хрипунов собрал за своим столом полтора десятка старослужащих и верных ему казаков со стрельцами. Как ни старался казаться веселым, забота и

печаль угадывались в его лице. Тихо переговаривались между собой служилые, о чем-то они уже знали, о чем-то догадывались. Воевода велел налить по первой чарке — во славу Божью. Вставая с мест и крестясь, все собравшиеся благостно выпили. Яков Игнатьевич заговорил:

— Ругает нас, детушки, тобольский главный воевода, корит будто мы с промышленных мзду берем, со здешними народами корыстные торги устраиваем: прижились, дескать, не радеем о государевой прибыли. — Хрипунов вздохнул, свесив голову, и тут же вскинул глаза. — И государь, с его слов, нами недоволен. Велит нынешним летом идти к братам, звать под его милостивую руку… Будто не звали! — усмехнулся в бороду, обидчиво мотнув головой. — Оговорили нас вражьи дети! — блеснул глазами. — Атаман Перфильев прошлый год ходил с казаками по Тунгуске, до самого Шаманского порога, двух-трех днищ не дошел до братов, сотник Бекетов со стрельцами поставил Рыбный острог. А то, что промышленные мимо ходят, не заплатив пошлин, так они прежде мимо Тобольска, Нарыма и Сургута также прошли. Великий Тес перекрыть — все равно что реку загородить: в одном месте держишь, в другом течет!

— Пиши челобитную государю! — зашумели служилые. — Все руку приложим!

— Прежде чем она попадет к царю, — вздохнул Хрипунов, — ее прочтут те же воеводы и дьяки Сибирского приказа. Как они повернут мои жалобы, так государь их услышит… Да и поздно уже. Со дня на день из Томского мне на смену прибудет новый воевода. А я вашими службами доволен. Вот сдам острог и сам поведу вас встреч солнца, к братам. Печенкой чую, где-то там серебро, лежит, нашей хозяйской руки дожидается.

— И кем ты к братам пойдешь? — с недоумением спросил Иван Похабов.

— А казачьим головой! — наигранно подбоченился Хрипунов. — Много лет просил на острог оклад головы и выпросил. Оказалось, для себя. А что? Для старого казака и сына боярского нет чести выше, чем служить казачьим головой!

— Для казака и сына боярского — так! — удивленно пробурчал в бороду Иван. — Для воеводы — не шибко-то!

По лицам собравшихся за столом Иван понял, что только он да Сорокины не знали о готовящемся походе и о том, что Яков Игнатьевич не пожелал идти воеводой в другой уезд.

— Наливай! — приказал Хрипунов прислуживавшей за столом ясырке, чернявой бабе из калмыцких девок. Раскачиваясь с боку на бок на неуклюжих коротких ногах, та умело наполнила чарки крепким хлебным вином.

Голос воеводы зазвучал звонче и уверенней:

— И еще скажу! Выпросил-таки я у государя, чтобы нам на острог дали три чина детей боярских. Не оставлю и других, кто верно послужит мне в походе. И если Бог даст сыскать серебряную руду, без награды не останется никто. — Чуть понизив голос, доверительно добавил: — Найдем серебро — Отечеству послужим. Воевод и бояр забудут, а нас помнить будут.

Ударил в голову хмель, развязались языки, загалдели за столом.

— Меня бери! — уставился на воеводу Иван. — Насиделся возле бабьего подола.

— Да уж тебя-то не обойду! — смеясь, пообещал Хрипунов. Осекся с помутневшими глазами. Вздохнул: — Эх, молодые! Не понимаете счастья, когда жена всякий день рядом: имеем — не бережем, потерявши — плачем. — Тряхнул бородой, по-хозяйски оглядывая застолье.

Он сидел в красном углу на воеводском сундуке, набитом наказными грамотами и казенной рухлядью. Иван поглядывал на Хрипунова и примечал, как тот постарел за зиму: прибавилось седины в бороде, голова втянулась в туловище, по-стариковски поднялись и сузились плечи.

Вдруг оживилось, помолодело его лицо, заблестели глаза. Иван обернулся к двери, куда он смотрел. В горницу вошла Анастасия. В шелковом сарафане, в душегрее, расшитой золотой нитью, в повязке из черных соболей, со снизкой жемчуга на тонкой шее, худенькая, невысокая, с большими грустными глазами, она все так же походила на отроковицу. Девица мимоходом окинула взглядом собравшихся, рассеянно поклонилась всем, тихо села слева от воеводы. Служилые, смущенные ее появлением, притихли.

— Другую за здоровье Анастасии Яковлевны! — с веселым удальством крикнул Максим Перфильев.

— Нет! — ласково и строго возразил воевода. — За здоровье государя нашего Михаила Федоровича, — стал почтительно перечислять полный царский титул.

Служилые люди почтительно свесили головы, напряженно молчали. Ясырка по приказу воеводы наполнила вином братину, Анастасия после отца коснулась ее губами, сморщила носик, просительно взглянула на отца.

— Устала, милая! — воевода с умилением дотронулся до ее тонкой руки. — Ступай с Богом. Постараюсь много не пить. Ладно уж!

Едва сошел лед, с последними, редкими льдинами в Енисейский острог сплыл по

реке сотник Бекетов с отрядом. Со всеми почестями, при всем посадском и служилом люде стрельцы сдали собранный ясак и загуляли. Они еще догуливали и опохмелялись, когда прибыли новый воевода, сын боярский Андрей Леонтьевич Ошанин и отряд березовских казаков под началом молодого атамана Ивана Галкина.

Новый воевода всем своим видом показывал почтение к Хрипунову. Принимая по описи строения и казенное имущество, ласково улыбался, приговаривал, что без советов и наставлений Якова Игнатьевича ему со службой не справиться. Между тем до всякой мелочи терпеливо допытывался, принимал дела долго и дотошно.

Казаки атамана Галкина нисколько не походили на обычный сброд, который присылался из собранных по острогам и городам людей. Держались они скопом, оглядывали здешних служилых по-волчьи презрительно и настороженно, ни в споры, ни в душевные разговоры не втягивались: как инородцы, пили и гуляли только между собой. Молодой немногословный атаман поглядывал вокруг строгими глазами, не кичился и не куражился, но с воеводами держался как с равными. При нем были малолетний брат и раскосая, но русоволосая жена с явной примесью остяцкой крови.

Вскоре разнесся слух, что атаман Галкин в чине сына боярского имеет жалованье выше воеводского. Слух этот смущенно подтвердил Андрей Ошанин. Острожный люд, нетерпимый ко всякой несправедливости, выяснил, что прибывший — сын ермаковского атамана Галкина, а среди его казаков много детей и внуков ермаковцев. С новым атаманом и его заносчивыми казаками енисейцы смирились. Потомки ермаковцев и служилых старой тобольской сотни были народом особым. Они помогали друг другу как родственники, какие бы чины и должности ни занимали. Спорить и ссориться с ними побаивались даже воеводы и царские стольники*. А свои, сибирские, начальные люди тайно или явно всегда их поддерживали.

Хоть атаманская должность была выборной, но атаманский оклад по Енисейскому острогу был один. Письменного голову воевода Ошанин привез из своих доверенных людей. Максим Перфильев опять снял перстень с указательного пальца и передал атаманскую булаву бывшему воеводе Хрипунову, а тот поставил его в оклад подьячего при своем отряде, и, пока сам сдавал острог, Максим собирал людей в его полк.

К неудовольствию нового воеводы Иван Галкин объявил, что пойдет с Хрипуновым искать серебряную руду и подводить под государеву руку новые народы. Как ни льстил атаману сын боярский, как ни прельщал приострожными службами, тот стоял на своем. Стрельцы Бекетова тоже рвались на дальние службы. Гулящие и прожившиеся промышленные люди, которые вышли из тайги без добычи, гурьбой ходили за Перфильевым, просились в отряд охочими без жалованья.

Людей, приведенных Андреем Ошаниным, на приострожные службы не хватало. Сотник Петр Бекетов оставил ему десяток своих стрельцов, из самых вздорных и ленивых, и пятерых казаков. Без этого невозможно было покинуть острог и нового воеводу. Старослужащие острожные люди не переставали удивляться: такого множества казаков и стрельцов на Енисее не было от века, а людей все равно не хватало.

После Святой Троицы новый воевода наконец принял острог и все дела. Спорили из-за острожных пушек. Две из шести имевшихся Ошанину пришлось отдать в полк казачьего головы Хрипунова. На том раздоры были закончены.

**Стольник — низший придворный чин.*

Уходившие на дальние службы и остающиеся при остроге люди быстро помирились, гуляли весело и дружно. Бекетиха жаловалась всем встречным на мужа, который, не успев вернуться со служб, опять уходил от семьи. А десять снаряженных, просмоленных стругов уже стояли под яром против проездных ворот. Среди них покачивался на волне тяжелый коч казачьего головы. За его кормой моталась легкая берестянка.

День пришел, под звон корабельного якоря, подвешенного у церкви вместо колокола, служилые и охочие люди собрались возле своих судов. Из острога с иконами и хоругвями вышел весь здешний причт, старый скитник Тимофей, монахини игуменьи Параскевы. Впереди с медным распятьем шел острожный поп Кузьма. Два казака несли престольную икону Введения во храм Пресвятой Богородицы, обернутую полотенцем и украшенную зелеными ветвями. На берегу начался молебен в честь благополучного отплытия.

Обильно обрызгав святой водой суда и служилых, священник, причт и монахи вернулись в острог. Казачий голова в красном кафтане махнул рукой, бурлаки перекинули через плечи бечевы, шестовые уперлись шестами в илистое дно. Отряд двинулся против течения могучей реки, от века не видавшей такого многочисленного войска. На десяти судах в поход уходили без малого сто человек. На коче рядом с отцом, сидела его любимая дочь. На том же борту вертел носом присланный рудознатец. Жена атамана Галкина шла по берегу, а его молодой брат Осип наравне со всеми тянул струг бечевой. На насмешливый вопрос Бекетова, зачем атаману жена в походе, Иван Галкин также насмешливо спросил:

— А на кой ляд она мне в остроге?

Сотник качнул головой на крепкой шее, повел круглыми глазами, хмыкнул в густые усы и не нашелся, что ответить. Они еще не подружились, но присматривались друг к другу с добром. Галкин не любил пустопорожних бесед, вопросы задавал редко, а тут вдруг спросил Бекетова, указывая на ертаульный* струг:

— У того долговязого, на шесте, которого ты окликнул Похабой, нет ли брата меньшого?

— Есть! Угрюмом кличут, — ответил Бекетов, неспешно вышагивая рядом с атаманом и надзирая за подначальными людьми. — Служить не пожелал, промышляет. Был в бухарском плену. Снова ушел с какой-то ватагой.

— Я его знал! — весело воскликнул атаман. — Надо поговорить со старшим.

— Добрый казак! — похвалил Ивана сотник. — Из ссыльных, воевавших под Москвой.

Одним стругом с Иваном шли его старые товарищи, стрельцы Терех и Вихорка Савины, Васька Черемнинов, Дунайка Васильев, Дружинка Андреев, казаки Якунька Сорокин, Илейка, брат Максима Перфильева. На шесте стояли по жребию, остальные волокли струг бечевой. Якунька сбросил шапку, его длинные волосы взмокли от пота и висели прядями, обнажив отрезанный черенок уха. Казак сопел выдранными ноздрями, сипло и одышливо корил Черемнинова.

— Атаманы и сотники идут налегке — им за порядком надзирать надо! Пятидесятники и десятники — не чин, не званье: одно прозванье. И жалованье у тебя не много больше моего.

Иван морщился, бросал сердитые взгляды на болтуна, но терпел его занудные рассуждения и даже соглашался со вздорным казаком. Васька Черемнинов как пятидесятник желал идти на бечеве через раз, а на шесте, с сухими ногами, стоять чаще. Казаки и стрельцы на такой расклад не соглашались.

Долго тянулся погожий летний денек. Ему, первому в дальнем пути, казалось, и конца нет, но ушло на закат солнце, схлынул лютовавший овод, стали злей комар и мошка. Путники вытащили струги и коч на песчаную отмель, развели костры. Иван Похабов, морщась от едкого дыма, сушил бахилы. Вихорка Савин помешивал веткой в котле с кашей. Другие развели дымокуры и уткнулись в них носами, спасаясь от гнуса

**Ертаул — разведчик, впереди идущий.*

Якунька Сорокин укутал голову кафтаном и валялся на теплом еще песке. Илейка Перфильев весь день шел на бечеве, теперь мокрый и злой, отмахивался от мошки. К костру ертаульного струга подошел Максим, сел напротив Илейки, с участием взглянул на младшего брата, на утомленных людей.

— Хоть бы разулся и просушился! — пожурил Илейку. Помолчав, добавил: — Поди, жалеешь, что не остался в остроге?

Якунька высунул из-под ворота безносую голову, взглянул на подьячего в один глаз и разобиженно прогнусавил:

— Кабы тебя вместо нас да в бечеву!

Максим бровью не повел в его сторону, даже улыбка не покривилась под стриженными усами. Он глядел на брата, который не думал разуваться и только рассерженно посапывал. Перфильев взял его в поход, не спрашивая, где тот желает служить, приставил к стругу Василия Черемнинова, подальше от дружков, с которыми брат слишком часто пьянствовал.

— Нынче атаман Галкин, — кивнул Ивану, — про твоего брательника спрашивал, помнит его по Обдорску и Мангазее. — Сказал и снова уставился на младшего. — Вот ведь, — укорил его, — такой же молодой, а где только не был, чего только не видел!

— Проку-то? Если не поумнел? — проворчал Иван.

Дорогой он приглядывался к Илейке, с завистью думал о том, что не сумел, как Максим, удержать при себе Угрюма. Кабы не брат — подьячий, Илейке переломали бы о спину не один десяток батогов. И все равно они были вместе.

Утром отряд продолжил путь. Много людей — много шума: поругивались между собой бурлаки, начальствующие погоняли нерадивых, а те огрызались. И вот открылось устье Ангары. Далекая грива, видневшаяся из острога на другом берегу Енисея, тянулась до этих самых мест и подходила к Ангаре скальным обрывом. Берег был крут. Как головы и туловища диковинных зверей, из воды торчали огромные желтые камни, гладко вылизанные водой и ветрами. Ангара была шире Енисея, но морщинилась волнами на отмелях и перекатах. По другому берегу тянулась долгая песчаная коса.

При попутном ветре на коче и стругах подняли паруса, но вскоре он переменился, и люди Хрипунова снова впряглись в бурлацкие постромки. Иван Похабов тянул струг бечевой и с восхищением озирал берега, наконец-то ему открылась страна, о которой много слышал от промышленных и служилых. Даже запах и цвет воды здесь были иными. По берегам вздымались в небо стройные мачтовые сосны, каких нет за Енисеем. Здесь даже березы были прямыми, как ружейные стволы, и такими высокими, каких он прежде не видел.

Медленно шел полк. На воеводском коче Максим Перфильев в прошлом году до-

шел до устья Тасея за три дня, нынче шли пятый. Яков Игнатьевич требовал посольских почестей, всяких встречных тунгусов велел вести к нему для разговора и знакомства. С судна он сходил только ведомый под руки казаками и прислугой. Царев человек в своем лице представлял сибирским народам русского государя.

Кум кумом, а Иван Похабов шел в другом конце каравана, не был даже кормщиком на своем струге и старался держаться подальше от головы. Ему, выросшему среди подлинных казаков Дикого Поля, претило всякое внешнее отдание почестей кому бы то ни было. На Дону все были равны, а если кого почитали за подвиги, силу и смелость, то не напоказ. Сибирские казаки, по его соображению, мало чем отличались от стрельцов, но раз уж Бог привел к ним, надо было служить, как принято здесь.

Впрочем, честь честью, а терпеть несправедливость не желали и сибирские казаки. Первыми зароптали тянувшие коч: Филипп Михалев — сургутец и веселый, беззаботный, всегда радостный Агапка Скурихин. Их дружно поддержали все связчики.

На судне при Хрипунове были его дочь, рудознатец и ясырь с ясыркой. Если ясырка прислуживала казачьему голове, то ясырь Яшка, толстый, кривоногий увалень, днями и ночами спал под парусом, вставал только для того, чтобы поесть, и жрал, всем на удивленье, без всякой меры. На него первого осерчали бурлаки, стали корить бывшего воеводу и подьячего, что в ясыре не меньше десяти пудов дерьма, жира и костей, а совести нет. Пусть, дескать, идет в бечеве или хотя бы пешим.

Хрипунову пришлось согласиться с требованием казаков и Яшка, с трудом переставляя короткие ноги, поплелся берегом, он часто отставал, а вечерами, чуть живым от усталости, на карачках заползал по сходням на коч. Казачий голова с важным видом сидел в кресле на носу и оглядывал берега реки, при себе держал присланного рудознатца, которого никакой работой, кроме поиска руд, не отягощал. По его наказу служилые несли потроха от добытых в пути глухарей, тетеревов и уток, если там попадались камни. Хрипунов велел осматривать кишки даже у пойманной рыбы.

Рудознатец вставлял в глаз толстое стекло, брезгливо морщил длинный, влажный нос, но осматривал все, что приносилось. Днями сам шел берегом, откалывал камни от скал, подбирал из-под ног, коряво лопотал по-русски и был всегда чем-то недоволен. Но казаки почитали его как мастера. ремесло уважалось.

На пятый день полк Хрипунова подходил к устью реки, где тунгусский князец Тасейка побил братьев Алексеевых с отрядом. Ертаулы не раз замечали издали промышленных людей. Увидев множество судов, они заворачивали свои струги в протоки, за острова или, бросив их, убегали с пожитками в лес. Но на одном из островов возле широкого устья Тасеевой реки среди бела дня дымно горел костер, на песке лежал перевернутый шестивесельный струг, у костра бездельничали до десятка бородачей, одетых в кожаные рубахи и штаны. Они не только не испугались ни ертаульного струга, ни следовавших за ним судов с тяжелым кочем, но вскочили с мест и стали призывно махать руками. Даже издали некоторые из них показались Ивану Похабову знакомыми. Он приложил ладонь ко лбу, вглядываясь против солнца, и хмыкнул, узнав скандальных братьев Ермолиных. Бурлаки протянули струг выше устья Тасеевой реки, сели за весла и переправились к песчаному острову.

Илейка и Васька Ермолины, дружелюбно улыбаясь, вошли по колено в воду, подхватили казачий струг за борта, другие промышленные помогли вытащить его на песок.

— Иваха! — радуясь встрече, раскинул руки Васька Бугор. Илейка по трезвому обыкновению смущенно улыбался и помалкивал, бросая приветливые взгляды. Со времен казачьего бунта братьев возле Енисейского острога не видели.

— Живы, смутьяны! — беззлобно проворчал Иван Похабов. — Соскучились по Енисейскому кружечному двору?

Илейка в ответ только шире и смущенней заулыбался, Васька загоготал, с удовольствием припоминая пережитое возле острога. Промышленные стали расспрашивать казаков и стрельцов про знакомых служилых и охочих людей, безбоязненно поглядывали на прибывающие суда. Их ватажка была доброй, не воровской. Все подати перед выходом на промыслы они оплатили, а нынешнюю небогатую добычу предъявить не боялись.

На веслах одно за другим суда подходили к маленькому острову: хрустя песком и галечником, выползали на него со всех сторон. Здесь становилось тесно. Казачий голова в бронях и шлеме, опоясанный саблей, узнал братьев Ермолиных, теряя полковничье степенство, поднялся с кресла, стал весело журить их за былое. Промышленные поклонились ему как воеводе, а он ткнул в Ермолиных указательным пальцем с золотым перстнем:

— Этих смутьянов ко мне, на борт!

С коча бросили сходни. Максим Перфильев махнул рукой, приглашая братьев к Хрипунову. Дородный Илейка с младенчески невинными глазами переминался, Васька с удивленным лицом поглядывал на сына боярского в доспехах.

— Ты-то куда собрался, воевода? — спросил, шлепая босыми ногами по сходням. — Война? Или чего ли?

— Был воевода, да вышел! — ответил Хрипунов с такой важностью, будто получил чин царского стольника. — Нынче я — казачий голова! А иду со своим полком под

Шаман-камень. Даст Бог, и дальше поднимусь по реке и поставлю острог!

— Как так? — тупо соображая, замотал головой Васька, перебирая в уме свои познания царских должностей и чинов. Встал на палубе перед Хрипуновым. За ним тихонько поднялся широкоплечий Илейка.

— Какими шалопаями родились, такими и помрете! — снова принялся насмехаться бывший воевода. — Ни приветить государевых людей, ни поклониться ума нет!

Васька гоготнул, оглянувшись на брата:

— Мы с малолетства только перед бочкой на колени падали и то после полу ведра горячего.

Илейка осклабился, повел глазами, показывая желание покланиться если не бочке, то кружке.

— Был воеводой! — удовлетворяя любопытство промышленных, степенно заговорил Хрипунов. — Да, сидя на воеводским сундуке, брюхо стало расти и умолил государя отправить меня казачьим головой в браты, подвести их с другими народами под его милостивую руку, себе славы добыть, государю нашему послужить.

Братья удивленно и недоверчиво гоготнули: верили и не верили сказанному. Промышленные из ватаги, отдыхавшей на острове, снова расселись у дымокура. На коч поднялись атаман Галкин с сотником Бекетовым, присели на борт за спиной казачьего головы.

— Садитесь, — кивнул он Ермолиным, — и рассказывайте, где бывали-промышляли, с какими народами встречались?

— Ха! Все бы рассказали, ничего не утаили, кабы языки не пересохли, — плутовато взглянул на полковника Васька, а брат его потупил глаза.

— Вот батожками-то и развяжем! — шутливо пригрозил Хрипунов.

— Не поможет! — в притворном печальном смущении Васька тряхнул кудлатой бородой и возвел глаза к небу — Судьбинушка злая бьет каждый день, а хмельного не было во рту от самого Рождества…

— Налейте по чарке медвежьим детям! — покровительственно приказал Хрипунов.

Крестясь и кланяясь, с благостным видом братья выпили за здоровье бывшего воеводы. Илейка смежил веки, наслаждаясь жжением в животе, словоохотливый Васька Бугор стал рассказывать.

— А зимовали мы, Яков Игнатьевич, на острове под Шаманскими камнями, в зимовье, что позапрошлый год поставил Максим Перфильев, — кивнул в сторону подьячего. — Доброе зимовье. Оставили мы его целехоньким. С тамошними ясачными тунгусами зимой споров не было, но как вернулся гнус да стал пасти их оленей, дикие разум потеряли, стали меж собой воевать и нас в свои распри втягивать.

Тубинский князец Сойга, с Кана-реки, воюет братских людей и тунгусов, говорит, будто мунгалы велели ему собирать с них ясак. Князец Тасейка убит братами, а его брат, князец Иркиней, и сын Лукашка кочуют уж не на Тасеевой реке, а на Тунгуске. По слухам, вместе с братскими мужиками балаганского племени воюют против братского же князца Аманкула. Иркинейка похвалялся, что убил его, а весной перессорился с Сойгой и стал воевать против него. Кто против кого воюет, за что? Ничего не понять! И решили мы, пока целы, убраться из тех мест.

Передовщик промышленной ватаги, сидевший у костра, прислушиваясь к расспросам, стал было рассказывать, какие в тех местах промыслы, но Хрипунова рухлядь не заинтересовала, он велел налить по чарке всем промышленным и стал говорить для них, чтобы другим людям передали:

— Прошлый год из Томского города наше посольство ходило к мунгальскому Алтын-хану. И шертовал он, через близких людей, нашему царю. Нынче хан и царь за одно, а все прежние мунгальские ясачники и кыштымы теперь в нашем подданстве. О том вы, промышленные, всем народам, какие встретите, говорите, чтобы не было больше между нами ссор.

Промышленные выпили по чарке. Передовщик с проседью в бороде недоверчиво качнул головой.

— Этой весной шаманские тунгусы жаловались, будто не только Сойга, но и кто-то из других князцов, собирает дань мунгальскому хану с прибылью для себя. Оттого будто среди всех раздор. А про то, что изменили нашему царю, говорят так: раньше за ясак давали бисер, ножи, посуду, лучших людей поили государевым вином, а нынче ясак требуют и ничего взамен не дают…

Казаки, стрельцы и охочие люди, сидевшие возле стругов, слушали рассказы промышленных и отмахивались от гнуса. Сначала тихо, потом в голос они зароптали:

— Мы жилы рвем, денно и нощно радеем за государеву пользу, а нас голова, кроме батогов, ничем не потчует!

Разговор со встречной ватажкой затягивался. Хрипунов велел атаману с сотником объявить своим людям, чтобы становились на полудневку: отдыхали, мылись, стирали одежду и пекли хлеб. Казаки и стрельцы переправились на мыс между Ангарой и Тасеевым притоком. Следом за ними туда же переплыли коч Хрипунова и недопившие, недогулявшие промышленные люди встреченной ватаги. Островок

опустел. Иван Похабов, отмахиваясь от наседавшей мошки, с любопытством наблюдал за Илейкой Ермолиным. От злостного недопития тот беспокойно расхаживал между костров. Спина его была прямой, как колода, он кряхтел, сжимал и разжимал пальцы в кулаки, поглядывал на встречных строго и пытливо. Перепади ему чарка-другая — учинил бы драку. А раз он, Похабов, был рядом, то непременно с ним.

На берегу был поставлен шатер. Казачий голова кликнул лучших людей для совета и беседы. Подьячий позвал Ивана Похабова. Тот насмешливо кивнул Илейке и с облегчением ушел от костра. Возле шатра стояли бекетовские стрельцы. Мишка Стадухин орал на праздношатающихся, чтобы не подходили к шатру. Одного из охочих выпроводил, поддав пинком под зад. Тот ради чарки пытался проникнуть на совет незваным. Помолившись на воеводские складни, черненные серебром и выбеленные глазурью, собравшиеся расселись на земле.

— Слышали вести от промышленных? — задумчиво заговорил казачий голова. — И хорошие вести, и плохие. Многие прежние слухи подтвердились и я в сомнении: то ли воевать с Иркинеем, то ли напомнить прежние клятвы и опять звать его с Лукашкой к присяге?

Хорошо бы пойти Тасеевой рекой через Чунский волок, к братам, воевавшим против Аманкула, да привести их к присяге. Опять же шаманских, аплинских тунгусов, давших нам ясак, никак нельзя не защитить… Вот и думаю, как быть? — обвел взглядом собравшихся.

— Разделяться надо! — подал голос Бекетов и поправил пышные усы казанком указательного пальца.

Казачий голова взглянул на него, сотник встал и продолжил:

— Хорошо идти целым полком, всем здешним народам силу показывать, но лучше разделяться. Коч Чунским волоком не провести, значит, через волок надо идти мне со стрельцами.

— Почему стрельцам? — неприязненно вскрикнул Филипп Михалев. — Стрельцы нынешней весной вернулись небедными. Сколько ясака взяли на государя, сколько на себя, кто считал?

— Мы целовальников возьмем от казаков или от охочих людей, — не обижаясь и не оправдываясь, согласился Бекетов, тайком показав кулак Стадухину, который разинул было рот для спора с казаками, но с пониманием шмыгнул носом и страдальчески скривил сжатые губы.

— Казакам бы и идти по Тасеевой, а стрельцам тянуть коч и рожь по Тунгуске! — пробубнил кто-то.

— Атаман Галкин мне нужен! — как о решенном заявил Хрипунов. — Как-то еще поладим с Сойгой и Иркинеем?

Собравшиеся на совет подумали и приговорили, что сотник молвил разумное слово, пусть налегке идет со стрельцами Тасеевой рекой.

— А чтобы разговоров не было, — снова объявил Бекетов, добродушно поглядывая насмешливыми глазами, — возьму целовальников от казаков и от охочих людей, пусть надзирают, что стрельцы берут себе, что государю.

Едва служилые встали, чтобы разойтись, за шатром послышались рык и ругань. Перфильев выглянул из-за полога.

— Ермолины рвутся, Яков Игнатьевич!

— Пусти, — добродушно разрешил Хрипунов.

Вошел Васька Бугор, выпрямился, взглянул на складни, махнул рукой со лба на живот, с плеча на плечо. За ним, с чрезмерно важным видом, протиснул широкие плечи Илейка.

— И чего вам надобно, крикуны? — на потеху собравшимся спросил Хрипунов.

— Батька воевода! Возьми нас на Сойгу охочими. Мы знаем те места, послужим тебе и государю!

— Вижу, не допили! — весело оглядел вошедших голова. — Только у меня одна бочка вина, а в Енисейском, у нового воеводы и у таможенного головы, — много! Ой, прогадаете. Проспитесь и подадитесь в бега!

— Не побежим! — мотнул головой Васька. — В Енисейском за неделю пропьемся, опять придется идти в покруту. Возьми за добычу, как взял енисейских гулящих?

— Добро! — согласился Хрипунов, посмеиваясь вместе с лучшими людьми полка. — Пойдите проспитесь и если к утру не откажетесь, без опохмелки — возьму!

Ясным летним утром, на восходе солнца, Ермолины появились возле шатра Хрипунова. Поднялись они затемно, но лица промышленных были свежи. Илейка со смущенной улыбкой глядел под ноги, Васька хмурился и кряхтел, изображая похмельные муки. От прежних просьб ни тот, ни другой не отказались, но и по чарке не выпросили.

После завтрака и молитв сотник Бекетов с тремя десятками стрельцов, с целовальниками от казаков и охочих людей ушел вверх по Тасеевой реке. Поредевший полк продолжил путь Ангарой. Стрельцы Савины и Черемнинов ушли с Бекетовым. За кормщика в ертаульном струге остался Похабов. К большому неудовольствию стрельцов Дунайки и Дружинки, которых Бекетов оставил при Хрипунове, Иван

принял к себе Ермолиных.

Три недели ертаулы кое-как терпели друг друга. Дунайка помалкивал и воротил обиженное лицо с таким видом, будто знал наверняка, что вокруг него одни обманщики и воры. Разумный, сдержанный Дружинка держался со всеми ровно и особняком, а в Илейку Перфильева будто бес вселился. Тощий и верткий, беспутный и ленивый, он всю дорогу задирал тихого в трезвости Илейку Ермолина. Иван то и дело осаживал брата товарища, жаловался подьячему, грозил, что после первой пьянки Илейка его удавит.

На устье Илима завиднелись островерхие тунгусские дю*. Чтобы не тесниться, вдали один от другого там стояло три тунгусских рода.

— Три урыкита на одном месте, — удивленно хмыкнул Васька Бугор. — По тунгусским понятиям теснота нестерпимая! Это неспроста!

Ертаульный струг остановился, поджидая другие суда. Завидев множество лодок и людей, тунгусы бросились в лес. Хрипунов велел всем сойти на берег, разбить табор, звать беглецов лаской, а если не пойдут, ловить силой. Васька Бугор с отрядом из охочих людей вызвался идти к тунгусам, говорить с ними и аманатить.

— Знаю вас, воров! — недоверчиво пожурил его Хрипунов. — Дам ружья, боевой припас, а вы сбежите!

— Отец родной! — возмущенно закричал Бугор, гулко ударяя себя в широкую грудь кулаком. — Почто думаешь про нас так плохо? Я бы тебе брата оставил аманатом, да он лучше моего тунгусов понимает.

— Знаю вас! — погрозил пальцем казачий голова.

Ивана Галкина с его казаками он держал при себе. К тунгусам отправил четырех казаков под началом Максима Перфильева, с ними отпустил братьев Ермолиных. Получив ручные пищали, припас пороху и свинца, Васька повеселел.

— Ох и надоел ты мне со своим стругом! — скалясь, бросил Ивану Похабову. — А этот шибздик, — презрительно ткнул пальцем в грудь Илейку Перфильева, — того хуже.

Брат подьячего от тычка разинул рот и выпучил глаза, как рыбина на суше. Дунайка громко засопел, обидчиво поглядывая на передовщика, Дружинка захохотал. Зная норов братьев Ермолиных, Иван только ухмыльнулся.

Отряд под началом подьячего скрылся в тайге и вскоре тунгусы стали возвращаться к своим чумам. К ночи вернулись охочие и служилые, привели на стан двух аманатов со связанными руками. После расспросов и бесед с ними Хрипунов снова созвал лучших людей. На этот раз на равных с атаманом, подьячим, старыми сургутскими казаками и стрельцами перед казачьим головой сидели братья Ермолины.

— По словам наших ертаулов, — почтительно кивнул на них голова, — нынче все тунгусы живут по урыкитам. Олени разбежались по тайге нагуливать жир на грибах,

**Дю — эвенкийское название чума.*

мужики постреливают птицу, промышляют рыбу. Мятежные князцы Сойга с Иркинеем, по слухам, сидят где-то неподалеку. Усмирять их надо, пока безоленны? — спросил, внимательно оглядывая собравшихся. — Или как?

— Надо! — загудели казаки, стрельцы и охочие.

— Надо-то надо! — с сомнением качнул головой Хрипунов. — Да вот беда, аплинские тунгусы говорят, что они и шаманские роды претерпели от Сойги так много обид, что рады снова дать нам ясак и жить в мире, как прежде.

Хрипунов замолчал, ожидая, что скажут собравшиеся.

— Под Шаманский камень тоже идти надо! — вздохнул Перфильев. — Без этого никак нельзя!

— Серебро, по нашим догадкам, где-то здесь или там! — поддержал его казачий голова.

Как ни думали лучшие люди, выходило да выпадало на их судьбы, что надо разделяться. Без мира с мятежными князцами братов под царскую руку не подвести, с малыми силами идти к многочисленному и сильному народу — дело безнадежное. Опять же — серебро… Но если Бекетов со стрельцами уже за порогом да Бог его милует, тогда и к братам можно пожаловать.

Как ни жаль было Хрипунову расставаться с надежными казаками атамана Галкина, но он вынужден был послать их по Илиму против Сойги и Иркинея. А как только объявил свое решение, охочие люди в один голос стали требовать, чтобы их тоже послали с атаманом.

— Нам государь жалованья не платит! — ревел Васька Бугор. — Мы только с воинской добычи имеем прибыль. Что нам серебро да мирные посольства?

Казачий голова вынужден был отпустить с атаманом Галкиным отряд вздорных новоприборных людишек. Под кабальные записи дал им ружья, огненный припас и ржи по три пуда на человека. Охочие выбрали Ваську Бугра десятником, целовали крест воеводе, атаману Галкину и друг другу. Из старых стрельцов Галкин позвал за собой только Михея Шорина, часто ходившего в дальние службы.

При Хрипунове остались коч, два струга и сорок человек вместе с дочерью и ясы-

рями. Половина из них была из наверстанных, ссыльных и казаков, присланных из других острогов. Без стычек с тунгусами люди казачьего головы добрались до островов под Шаманским порогом. Рокот падающей воды был здесь так силен, что разговаривать приходилось громче обычного.

Ертаульный струг вел Максим Перфильев. Он с волнением поглядывал на остров, где оставил зимовье, нимало удивился, увидев дымок над знакомым местом, невольно заспешил туда, вырвавшись вперед на версту, и остановился только тогда, когда увидел крышу. Струги и коч были замечены из зимовья, на берег выбежали два казака и замахали руками.

— Вроде Васька с Вихоркой?! — вглядываясь, обернулся к подьячему Иван.

— Вроде они! — настороженно согласился тот. — А с чего бы им здесь быть?

Ертаульный струг с подьячим на носу и Иваном Похабовым на корме на веслах переправился к острову. С других судов служилые наблюдали, как налегают на весла ертаулы, а течение реки проносит их мимо острова. Бывшие там стрельцы побежали берегом к отмели, бросились в воду, подхватили тяжелую лодку с двух сторон, помогли подтянуть ее к суше. Уже по лицам братьев Савиных и Черемнинова ертаулы поняли, что никакой беды с ними не случилось.

— Как очутились-то здесь? С кем? — крикнул Перфильев, высаживаясь на сушу.

— Бекетов к вам послал! — крикнул в ответ Василий Черемнинов.

Не обманул Васька Бугор. Зимовье было целым, промышленные подновили крышу и ворота. Изнутри вдоль частокола драньем и берестой был накрыт навес. Переправился на остров и коч. Зачалив его и вытащив на сушу другой струг, казаки от усталости попадали на песок. Казачий голова сошел на берег без обычных почестей, принял поклоны от бекетовских вестовых и велел им рассказывать, как очутились на острове.

— А дошли мы, Яков Игнатьевич, твоим повелением до Чунского волока! — с важностью заговорил Черемнинов. Вихорка Савин стоял за его спиной и кивал. — Взяли ясак с братских кыштымов, с тунгусских князцов Кохони и Кадыма. А прежде нас служилых в тех местах не было, только промышленные. И сплыли мы по Гее за Шаманский камень под Долгий порог. Там нынче кочуют братские князцы Бояркан и Куржум со своими родами. Они доброй волей дали пятьдесят девять соболей свежих, непоротых, шертовали государю нашему, чтобы быть им под его рукой вечно и неотступно. А допреж нас с братских людей ясак никто не брал.

И казачий голова, и бекетовские вестовые понимали, что такие важные новости не объявляются походя. Хрипунов почувствовал неловкость, слушая про государевы дела, о которых впору отписывать в Москву.

— Так-так! — суетливо закивал, поглядывая на кожаный мешок в руках Вихор ки. — Разобьем табор, поставим шатер, после договорим и ясак посмотрим. Нынче все люди усталые и голодные.

Поговорить с бекетовскими вестовыми со всеми почестями удалось только на другой день. Хрипунов заново встретил их возле шатра, сидя в кресле. Вокруг собрались все прибывшие с ним из Енисейского острога. К этому времени они уже знали, что Бекетов объясачил и доброй волей привел к присяге первые братские улусы. Отправив к Хрипунову вестовых, он с отрядом подался за пороги, к устью Оки-реки. Там кочевали враждовавшие с Боярканом братские роды, и Бекетов хотел учинить между ними мир. Среди тунгусов и братов шли непрерывные войны и распри. Все хотели мира и ждали от русского царя, что он восстановит его, хотя бы такой, как был прежде, при мунгалах.

Вести были добрые.

— Тяжко сотнику Петру! — задумчиво покачал головой Хрипунов. Он понимал, что Бекетов неспроста отправил с вестовыми всех ясачных соболей: боялся держать при себе богатство.

— Тяжко! — согласился Черемнинов. — Много раз ходил к князцам и уговаривал, теперь пошел к их врагам, окинским братам.

С неделю люди Хрипунова расширяли и укрепляли зимовье, ездили к аплинским и шаманским тунгусам, а они доброй волей навещали казаков на острове и как ни тяжко было им видеть порубленные деревья, аплинцы одобряли поставленный бикит, возле которого при нужде могли укрыться от врагов.

И вот поплыл по воде осенний желтый лист, вместе с ним на легкой берестянке показался на реке стрелец Мишка Стадухин. Настораживало уже то, что в лодке он был один. Мишка подгреб к берегу, казаки, черпая сапогами стылую воду, вытащили его лодку на сушу.

— Что случилось, говори давай? — стали расспрашивать стрельца.

Стадухин, мокрый с головы до ног, тяжело дыша, встал на затекшие ноги, накинул на голову малиновую шапку и хрипло потребовал отвести к голове. Сам Хрипунов, не дожидаясь, когда приведут вестового, вышел на берег в халате и опорках.

— Краснояры одолели, батька! — крикнул Мишка. — Атаманишко Васька Алексеев сплыл по Оке на плотах, с наших ясачных братов силой взял другой ясак, аманатов похватал, наше зимовье на устье Оки на саблю взять хотел, огненным боем

от него отбивались. Сотник послал меня за подмогой. Бог миловал, прошел я все пороги молитвами святых заступников, — перекрестился стрелец.

Зарычал казачий голова, в ярости затопал босыми ногами, схватил себя за бороду.

— Опять на глотку наступил, поганец! Ужо встречу — посеку своей рукой. Пусть нас теперь сам государь судит и свой суд вершит.

— Васька за себя постоять умеет! — недоверчиво поскоблил скулу Похабов, косясь на Стадухина.

— Бесовское отродье! — пуще прежнего вскипел Хрипунов. — Ведь это я выпросил у государя и старших воевод, чтобы в Красноярах острог поставить, я посылал туда Андрейку Дубенского с лучшими людьми. Столько сил положил, чтобы снабдить их рожью. Помогают, куда с добром!

Негодовал Хрипунов, а казаки с восхищением слушали вести с верховий реки. Стычка с красноярами казалась им пустяком в сравнении с тем, что стрельцы подводили под государеву руку один род за другим, брали ясак, поминки и почести, которых никто не считал. Не разделяя опасений казачьего головы, почти все служилые и охочие хотели идти на помощь Бекетову. Сидеть на острове, искать серебряную руду и готовить припас в зиму, расширить зимовье, как предлагал Перфильев, желающих не было. Не смущало казаков и то, что нет вестей от атамана Галкина. Они роптали и требовали продолжить путь вверх по реке всем оставшимся отрядом.

— Пробовал я провести через порог этот самый коч, — кричал подьячий, пытаясь вразумить толпу. — Не смог! Здесь надо зимовать, а вверх по реке идти налегке, как Бекетов.

Пуще прежнего накалились страсти на другой день, когда Перфильев объявил, что идет на помощь Бекетову с отрядом в два десятка казаков и назвал тех, кого брал с собой. Завыли от обид братья Савины. Дунайка Васильев качал головой, дескать, опять обманули. Иван Похабов, не услышав себя среди названных, был потрясен. Весь путь от Енисейского острога он молча тянул свою лямку, вспоминая наказы иноков Ермогена с Герасимом о терпении и скромности ветхозаветных святых, но тут его терпение лопнуло. Он взглянул на Максимку так, что тот смутился и пробормотал, оправдываясь:

— Голова не велел брать тебя и Савиных.

Пока Якунька Сорокин гнусаво бранился с толпой обиженных, Иван с братьями Савиными ворвался в зимовье, задыхаясь от гнева, налетел на Хрипунова.

— Я тебе кто? Казак или сын боярский? — закричал, напирая грудью на бывшего воеводу.

Из-за спины Хрипунова тихонько вышла Анастасия, невысокая, худенькая, взглянула на Ивана большими печальными глазами, и он проглотил другие вертевшиеся на языке злые слова. Голова же смотрел на него ласково и виновато.

— Не серчай, кум! — указал на лавку. С первых слов напоминая, что крестил его сына. — Сядь! Поговорим! Ну на кого, кроме вас, мне положиться? — кивнул на Савиных, топтавшихся за спиной Ивана с обиженными лицами. — Оглянись! При мне одни калеки и смутьяны. А как объявится Сойга или Иркинейка… Я-то свое пожил, дело наше общее, хлебный припас, да ее вот — указал глазами на дочь, — защитить некому.

Анастасия в другой раз подняла на Ивана синие страдальческие глаза, взглянула ласково, просительно. Похабов рыкнул, заскрипел зубами, натянул до ушей шапку и выскочил из зимовья. Следом за ним молча вышли смущенные и сердитые Савины, Вихорка с Терентием. Перфильев, окруженный набранными им людьми, громко напоминал обойденным, что в прошлом енисейцы сами, доброй волей, выбрали его атаманом и сложил он атаманство добровольно, пока в полку был другой атаман — Галкин.

— Ночей не спал ради вас, крикунов и смутьянов! — кричал, оправдываясь. — Повелением отца нашего, Якова Игнатьевича, писал челобитные с просьбой наградить вас всех за терпение!

Иван с рассерженным лицом послушал товарища и стал отходить душой. Вспомнил свою правду, зазубренную в застенках Троицкого монастыря, после кремлевского бунта и разбора, вспомнил наставления молодых тогда иноков Ермогена с Герасимом о том, как ловко переводит бес справедливое возмущение в предательство, взглянул еще раз на Савиных и передвинулся из возмущенной толпы к Максимке. Тот все понял по его лицу, кивнул на него:

— Не вам чета Ивашка Похабов. Товарищ мой от самого Сургутского, а я его не беру, потому что здесь нужен, вместо себя вам оставляю. Кто еще убережет зимовье и хлебный припас? Кто защитит аплинских и шаманских тунгусов?

Страсти стали утихать. Крикуны выдыхались, отбрехивались, смиряясь.

— Бекетов сливки снял! — завистливо выкрикнул Якунька Сорокин. — Перфильев молоко допьет, нам пустую кринку вылизывать.

— На всех хватит и сливок, и молока, — оправдывался Максим. — А если без хлеба в зиму останемся, и стрельцам, и мне, и вам будет плохо. На вас вся надежда!

Казаки с Перфильевым и Стадухиным уходили под Шаманский порог двумя

стругами при двух медных пушках.

— Не дадим красноярам братов! — обещали провожавшим и весело грозились. — Наши они!.. Ваську-атамана поймаем и выпорем!

— Вздуйте его за все! — подначивали отплывающих бывшие бунтари, которые за обиды краснояров ломали Енисейские ворота, а после винились перед Хрипуновым. — Нас предал, нашего воеводу бесчестил!

Скрылись струги за скалами порога, оставшиеся на острове стали неохотно укреплять зимовье, готовить рыбный припас. Прошло полторы недели. Гуще поплыл по реке желтый лист, холодными утренниками над стылой водой курился туман. После полудня при ясной погоде караульные заметили в верховьях реки два знакомых струга. Как-то чудно плыли они к острову: на одном, на веслах, виднелось четыре шапки, на другом — пять. Караульные крикнули казаков, те побежали к Хрипунову. Встречать отряд Перфильева вышли все, даже ясыри и бритый рудознатец в коротком заморском кафтане, стояли молча, глядели на приближавшиеся суда, боясь огласить догадки. А как подхватили струги руками за борта, увидели лежавших на днищах израненных казаков. Среди них был и Перфильев.

Анастасия со слезами, которые старалась скрыть, бросилась к нему, тонкими белыми пальцами стала перебирать ссохшиеся повязки на теле. Приметил Иван Похабов и то, как товарищ взглянул на девушку, понял вдруг, что не случайно он так долго ходил в женихах, не по Меченке тосковал, давно высмотрел невесту и терпеливо ждал, когда созреет.

Из другого струга вынесли тело Поспелки Никитина. Радовался стрелец, что казачий голова не оставил его при себе, а уплывал за погибелью.

— Опять Васька? — взревел Хрипунов, вращая глазами.

Максим, превозмогая боль, прошептал одними губами:

— Иркинейка!

Раненых вынесли на берег, кого усадили, кого положили. У Максима были пробиты обе руки. третья стрела угодила в бедро. Скурихин выхаживал туда-сюда, прихрамывая и сгибаясь всем телом, как цапля. Он мог лежать на брюхе, мог стоять, но не мог сидеть. Якунька Сорокин не удержался, съязвил:

— Выпороли тунгусы? Или че ли?

Агапка бросил на него тоскливый взгляд, не ответил. Филипп Михалев принял стрелу в бок, между ребер. Всего же было переранено одиннадцать человек. Мишка Стадухин, без единой царапины, на вопросы обступивших его людей отмахивался, что пушки и ружья привез в целости.

— Луки у них! — тоскливо отвечал раненый атаман. — Дальше наших пищалей стреляют, брони пробивают. Да и по меткости огненному бою не с ними тягаться: от нас только грохот и дым.

Раненые постанывали, оправдывая свое поражение, невредимые смущенно поглядывали на недавно завидовавших им товарищей. Уцелевший Васька Черемнинов гонял желваки по скулам в редкой бороде, заумно бормотал:

— Победы и поражения дает Господь!

Опустил голову и сник минуту назад гневавшийся Хрипунов, стал утешать атамана.

— Знать, погрешили мы против Бога!

— По грехам Он разум у меня отнял! — кручинился атаман. — За Шаманским порогом бывшие наши ясачные князцы Иркиней, Боткей, Лукашка Тасеев подошли со своими людьми, человек до двухсот, обещая ясак дать, приманили к себе. Хотел я аманатов у них взять для верности, а они, забыв государеву милость и правду, на чем клялись, стали стрелять из луков.

Прибывшие начали расходиться по балаганам. Кто мог, пошел сам, других несли или помогали им идти. Максима Перфильева Анастасия велела занести в сенцы зимовья. До самого вечера никто не работал: мылись в бане, ели, отдыхали, копали могилу Поспелке, долбили колоду для покойного стрельца.

Василий Черемнинов где-то добыл чарку наравне с ранеными товарищами и щурился от неутолимого желания выпить другую. Но и одна развязала ему язык.

— Что с того, что у нас две пушки? — ругался, будто его в чем-то обвиняли. — Из них с полусотни шагов в коня не попасть. А тунгус из своего клееного трехслойного лука за сто шагов в гуся не промахнется.

Утром Хрипунов собрал для совета всех бывших на острове казаков, стрельцов и охочих людей. На этот раз никто не кричал, не ярился. После молитв казачий голова сел напротив собравшихся, погладил рукой резной ларец и объявил со строгостью в лице:

— Здесь наказная грамота Сибирского приказа. Ругают нас, что сидим в остроге, ради своей прибыли торгуем с сибирскими народами. И велено нам искать серебряные руды, подводить под государеву руку братские и другие народы, которые ждут нашего закона и порядка, а изменников казнить милостиво, приводить к новой присяге. Про то, чтобы воевать с красноярами, с иными казаками, ничего не сказано. Как они очутились впереди нас? Чьей волей? Не знаю! Прошлый раз исполнились мы праведного гнева против злодеев, а Бог наказал!

Зароптали казаки, возмущенные смутными словами казачьего головы. Мишка

Стадухин гневно бросил под ноги стрелецкую шапку.

— Не оказать помощи товарищам в осаде… Грех неотмолимый!

— Петруху Бекетова в беде не оставлю! — поддерживая стрельца, крикнул Иван Похабов и бросил свою шапку рядом со стадухинской.

Хрипунов, свесив голову, терпеливо переводил печальные глаза с одного на другого, слушал всех, пока не утих шум, затем поднял руку и объявил:

— Царь далеко. Пока наши жалобы дойдут, браты и тунгусы скопом под Енисейский острог подступят. Принудить вас воевать с красноярами — не имею власти! Сотника Бекетова оставить без помощи никак нельзя. Вы знаете, как хитер Васька-атаман.

— Не дадим красноярам братов! — завопили казаки. — Наши они ясачные!

— Ну, что ж! — повеселев, согласился Хрипунов, будто ждал этих слов. — Заводите круг, по своему казачьему обычаю. Решайте, как быть, а я соглашусь с вами. Только помните: дело смутное, за него награды не дадут, а под кнуты положить могут.

Последние слова казачьего головы потонули в шуме голосов и не были услышаны.

— Похабу атаманом! — неожиданно для Ивана закричал Якунька Сорокин.

— Похабу! — поддержали зимовейщики.

— Нельзя Похабу! — пытался перекричать казаков Василий Черемнинов. — Он товарищ атаману Ваське Краснояру…

— Он и Бекетову товарищ! — яростно крикнул Мишка Стадухин. — Как Енисейский громили, он один против Васьки стоял. Не вам чета! — напомнил прошлое.

— С нами был, — поддержал стрельца Вихорка Савин, — когда вы с Васькой да с Грихой енисейские ворота ломали!

Его брат, Терентий, смущенно водил глазами, не встревая в спор.

— Похабу! — поддержали зимовейщиков раненые. — Он в воинском деле искусен.

Противники умолкли, Черемнинов с недовольным видом задрал нос, показывая свое молчаливое несогласие.

— Похабу так Похабу! — согласился Хрипунов, поглаживая ларец с грамотами.

Круг решил идти на помощь Бекетову двум десяткам казаков и стрельцов под началом Ивана Похабова, дал наказ: если смогут мирно договориться с красноярцами — не воевать, если Васька-атаман станет противиться и нападать — бить нещадно.

К вечеру служилые и охочие люди просмолили подсохшие струги, на которых вернулся Перфильев. Пушек Иван брать не стал, вооружил отряд ручными пищалями и луками, хлебного припаса взял на месяц, до холодов.

Едва поднялось над тайгой усталое осеннее солнце и начал рассеиваться туман, казаки подкрепились едой и питьем, получили благословение казачьего головы и после молитв поплыли на веслах к коренному берегу.

Путь через Шаманский камень был известен Василию Черемнинову, Илейке Перфильеву, братьям Савиным, Мишке Стадухину, который возвращался к сотнику. Вызвался идти с Похабовым и Филипп Михалев. Его рана была неглубока и быстро заживала. Их и послал Иван ертаульным стругом.

Высадившись на берег, служилые привычно разобрали бечевы, встали на шесты, призвав в помощь силы небесные: ангелов-покровителей, Богородицу и Николу Чудотворца, скорого помощника всех сибирцев, двинулись против течения реки. Грохот воды усиливался. И вот впервые Иван Похабов увидел Шаманский порог. Река расширялась каменистой отмелью, на глаз был заметен перепад воды. Пенилась и клокотала она у торчавших камней, которые загораживали проход. По словам бывальцев, порог тянулся на четыре версты. Судя по солнцу, русло реки в этом месте выгибалось огромной лукой, но бечевник — пеший, сухой проход правым берегом — был.

Бог миловал. К вечеру первый порог был пройден без стычек с врагами, ружейный и съестной припасы остались сухими. Вскоре два струга вышли к устью притока, на котором Бекетов взял ясак с первых братов. Скалы расступились, сменились лесистыми холмами, открылась долина, которую тунгусы называли Геей. Возле устья притока стоял одинокий тунгусский чум. Никто не вышел из него, никто не убежал в лес. Шум воды был еще силен, но здесь можно было разговаривать без крика. Похабов поднялся на корме в полный рост, указал место на берегу. Казаки потянули туда свои суда на ночлег,

— Обнаглели нашим попустительством! — ярился Мишка Стадухин, указывая Ивану на урыкит. — Идем мстить за добро и ласку, а они не шелохнутся!

— Почему знаешь, что эти, а не другие тунгусы вас воевали? — строго спросил Похабов.

— А вот мы посмотрим, — зло усмехнулся Мишка и обернулся за поддержкой к Черемнинову. — Кожи на чуме должны быть прострелены картечью!

Струги подошли к пологому берегу, куда указал атаман, усталые люди вытащили их на песок, перевернули вверх дном. Задымили костры. Не дожидаясь ужина, атаман повел на урыкит Стадухина, Черемнинова, Илейку Перфильева, который говорил, будто помнит в лицо стрелявших тунгусов.

Из чума вышли дети, женщины и старик. Служилые со злобными лицами обступили их, стали расспрашивать. Дети испуганно жались к женщинам, старик расте-

рянно мигал слезившимися глазами. Мужики рода были то ли на промыслах, то ли бежали. На кожах чума Иван не нашел следов стрельбы. Илейка вертелся юлой, выискивая к чему придраться, схватил черный от сажи чугунный котел.

Вырвав котел из его рук, Иван прикрикнул на служилых:

— Хватит баб пугать! Спросите, когда они пришли сюда. Что видели?

— Уже спрашивал! — хмуро выругался стрелец. — Говорят, будто платили ясак братскому князцу Куржуму. Третий день стоят, ничего не видели, — Мишка недоверчиво пытал старика, а Илейка презрительно хмыкал.

Старик, опознав в Похабове сонинга, успокоился, залопотал, глядя на него изъеденными гнусом глазами, стал указывать вверх по притоку. Там, в полусотне шагов, виднелся круг вытоптанной земли и чернело выстывшее кострище.

«Стоял сонинг Чалуня, — без толмача понял его Иван. — Может быть, он и воевал».

— Говорит, молодых спросить надо! А тех молодых будто бы мы, забрали силой, — добавил Мишка. — А сам будто плохо видит… Брешет, нехристь!

— Все! — строго приказал атаман. — Пошли на стан!

Из патронной сумки, опоясанной шебалташем, он достал горсть бисера, насыпал старику в ладонь, заметил, как зорко блеснули в щелках глазниц зрачки, высматривая золотую пряжку с двумя головами.

Выше стана, вырвавшись из теснины Долгого порога, река разливалась широко и привольно, текла медленно, будто набиралась сил перед новой преградой. После ужина и вечерних молитв Похабов призвал к себе всех ходивших с Перфильевым, стал советоваться, как уберечься от враждебных тунгусов.

— С ними после воевать будем, сотник ждет, к нему надо спешить!

По словам Стадухина, Долгий порог тянулся почти на десять верст, а те версты никто не мерил. Бечевника нет, в иных местах идти надо завозами якоря. А скалы над головой высокие, отвесные. Враждебные тунгусы могут побить сверху камнями. И надумали служилые отправить вершинами гор трех казаков. Как ни трудно без них тянуть струги против беснующейся реки, но польза от ертаулов ожидалась большая: и разведка, и защита, и упреждение от нападений.

— Я смолоду на ноги был шибко прыткий! Бывало, от коня убегал!— стал хвалиться Якунька Сорокин. Ему хотелось лезть в гору или очень не хотелось тянуть струг. Похабов отправил его вперед со стрельцами Савиными. На рассвете они взяли две ручных пищали, большой тунгусский лук и полезли на гору.

Высоко поднялось солнце, когда струги двинулись вверх по реке, к Долгому порогу. Русло Ангары становилось все уже, скалы все тесней сжимали его. Двое сели в легкую берестянку, на шестах стали проталкиваться против течения с завозным якорем на борту. И тут сверху послышался выстрел. Иван задрал голову, увидел ертаулов. Все трое отчаянно махали руками и указывали вниз. Судя по знакам, кто-то плыл через порог.

— Краснояры! — догадался и закричал стрелец Стадухин.

Похабов окинул стрежень взглядом, знаками велел вернуться берестянке, а черемниновскому стругу плыть на другую сторону и поджидать гостей. Они не могли остановиться посередине порога, река несла их прямо в руки енисейцев.

И вот среди бурунов показался плот, связанный надежно и умело. Четверо казаков стояли на двух передних гребях, двое на заднем весле, между ними — кормщик. Посередине на высоких козлах лежали ружья. Плот зарылся в последнюю волну, захлестнувшую гребцов до колен, и закачался на тихой воде. Следом выходил из бурунов другой плот, такой же ладный и крепкий.

Иван невольно залюбовался слаженными взмахами весел и действиями мокрых гребцов, свистнул, махнул рукой. Его казаки в струге налегли на весла, с другого берега к плотам плыл Черемнинов. Уйти им, тихоходным и неуправляемым, было некуда. «Эх, Васька, Васька!» — с тоской подумал Иван. Как поведут себя краснояры, он не знал, рассудил, что встреча все покажет. Кто первый начнет стрельбу, на том грех. Пищали были наготове, тлел трут, сухие фитили гребцы держали за пазухой. Иван стоял на носу струга и поигрывал темляком сабли.

На двух плотах было пятнадцать человек. Как ни мокры были они, но со струга стал различаться малиновый цвет кафтана на передовщике. Иван с недоумением щурился, приглядывался. И вели себя люди на плотах чудно: завидев струги, замахали руками, заплясали, потом схватились за пищали и наставили стволы, но не на Похабова, а в низовья реки. Иван мимолетно оглянулся. Из устья Геи, неподалеку от тунгусского чума, выплыли два струга, битком набитые гребцами и сидельцами. За ними вышел тяжелый плот со множеством людей.

На какой-то миг атаман растерялся, замотал головой, пристальней взглянул на плотогонов, которых принял за красноярцев, и узнал в передовщике коренастого Петра Бекетова с короткой бородой по щекам.

— Так это же стрельцы! — вскрикнул Стадухин.

С плота дали залп из двух пищалей. Веретеном заклубился по воде голубой дым, на речной глади заплясала картечь, не пролетев четверти расстояния до стругов с плотом.

— Загребай! — крикнул атаман правому борту.

Черемнинов уже понял ошибку и разворачивал струг по течению.

Красноярцы гребли слаженно, на каждом весле сидело по двое гребцов. Крыльями птиц они поднимались над водой и опускались. Васька-атаман явно не хотел перестрелки. В запале погони Иван Похабов схватился за загребное весло, Двое красноярских служилых перепрыгнули с плота на струги и они, сидевшие в воде по самые края бортов, стали быстро уходить по течению к Шаманскому порогу. Неуклюжий плот был брошен. На нем спина к спине сидели связанные аманаты.

Иным енисейцам показалось, что это бегство, они радостно завопили, налегая на весла. Похабов обернулся. Он слишком хорошо знал Ваську Алексеева и понял, что это не бегство, а насмешка. Красноярцы не желали кровопролития, а все преимущества боя были на их стороне. Иван бросил весло, ослабили напор и другие гребцы. Безнадежно свесил за борт бороду Филипп Михалев. Дунайка с Дружинкой раз и другой с кряхтеньем гребанули и смирились: поняли — не догнать беглецов. Опустились весла и на черемниновском струге.

Похабов указал в сторону брошенного Васькой плота. Тот боком застрял на отмели ниже устья притока, люди на нем продолжали сидеть без всякого движения. Гребцы струга, то и дело оглядываясь, вяло подгребли к ним, оживились, когда разглядели на плоту красноярского казака. Удивляя енисейцев, тот одиноко сидел в стороне от аманатов и равнодушно посматривал на приближавшийся струг. Василий Алексеев своих людей не бросал. Гадая, какую хитрость придумал атаман, Похабов высмотрел, как ловко он сплавлял пленных. Посередине плота было положено бревно, возле него, спина к спине, сидели два десятка братов и тунгусов.

Струг ткнулся носом в край плота. Мишка Стадухин прыгнул на него, с маху бросился на красноярца и наткнулся на его крутой кулак. Не ожидая от пленного такой прыти, шумно плюхнулся в воду, в другой раз вскарабкался на плот без шапки, мокрый, с дурными глазами. Похабов заорал на стрельца, размахивая веслом, но он мстительно ударил красноярца по лицу. Казак тоже свалился в воду и долго барахтался. Когда его вытянули на плот, увидели, что нога пленного в пеленах, с привязанной к ней отщепленной доской.

Илейка, перегнувшись через борт струга, выловил плывущие шапки, бросил их к ногам тому и другому. Стадухин срамословил. Иван молча оттолкнул его от красноярца, указал на аманатов, чтобы освободил от пут, хромого и мокрого казака вывел на берег, стал расспрашивать. Разбитое лицо красноярца показалось ему знакомым.

— Да Васька я Москвитин! — отвечал тот. — С братом Ивашкой рожь возил в Енисейский..

— Вон что! Дружки Угрюмкины из торговых и промышленных! — признал молодого Иван. — Как в казаках-то оказался?

— Два года как проторговались. Наши барки с хлебом утонули и мы с братом поверстались в Красный Яр, острог ставить, с киргизами воевать! — отвечал казак, небрежно поплевывая кровью с разбитых губ.

— И то правда, давно вас не видел! — кивнул Похабов.

— Шелковниковы торгуют с прибылью, Федотка Попов расторговался в Тобольском — куда с добром! Несколько лавок под ним. С десяток барок отправляет каждый год вам и в Томский…

— Ладно! — проворчал Иван. — Не казак службу выбирает, служба — казака! Скажи, зачем против своих воевали? Стрельцов наших пограбили?

— Мы — служилые! — пожал плечами Москвитин. — У атамана на руках наказные памяти Дубенского и старшего томского воеводы, чтобы идти в браты, подводить их под государеву руку, ясачить!..

Стадухин освободил аманатов, они сошли на берег, не разбегаясь, но присели на корточки у воды, посматривали на казаков и тихо переговаривались. Мишка содрал с тела мокрую одежду, отжал штаны и рубаху, надел их сырыми и прыгнул обратно в струг. Подгребая непомерно длинными веслами, к устью притока подплывали плоты бекетовских стрельцов..

Не задался день, как мыслился с утра. Сотник с атаманом обнялись, сели у разведенного костра. Короткая борода Бекетова вызывала насмешки казаков. Густая, как медвежий загривок, щетина торчала из щек дыбом, на нее, как на полку, можно было положить корку хлеба.

— Ловко ушел Васька! — усмехнулся сотник и расправил мокрые усы по заросшим щекам.

— Что делать будем? — спросил Иван, прежде чем вызнать о стрелецких бедах. — Ваську догонять?

Бекетов поскоблил пятерней густую и жесткую бороду.

— Сдуру да в отместку можно и догнать! А если по разуму, то утром я на твоих стругах поплыву к Хрипунову за ржаным припасом. Мне без него никак нельзя. Я на Оке в зимовье трех сидельцев оставил, они там рыбой да кореньями живут. А ты с аманатами разберись. Какие сами уйдут по своим улусам — не держи. Окинские браты без нас обратно не пойдут. Побьют их в пути. Ты их защити и дождись меня.

Разумно говорил сотник, не поддаваясь бесовским страстям.

К вечеру люди просушились. Бекетовские стрельцы наелись хлеба, который у них давно кончился, устало поругивали красноярцев, без прежнего зла выспрашивали Ваську Москвитина, врага со сломленной ногой. Тот отбрехивался за всех уплывших:

— Канский тунгусский князец Тесенник дал нам ясак доброй волей, просил по мочь в войне с братскими людьми, путь указал, вожей послал. С наказными грамотами своего и томского воевод шли мы судами от Канского зимовья до Братского брода пять дней. Оттуда до реки волоклись шесть дней. Лошадьми, говорят, ходу полтора дня. Струги бросили, от Бири до Уды — шли пешими два дня. Там первые братские кыштымы кочуют, они сказали нам, что дали ясак казакам.

Завещано Господом — от своих терпеть… Оголодали мы, чуть живы вышли на Оку. Тамошние браты говорят, дали уже ясак казакам. Брешут, подумали, взяли с них ясак, плывем плотами, а на устье стоит зимовье. Енисейские стрельцы замкнули реку и орут: «Наше тут все!» Это что? По-христиански? — стал поругиваться Васька Москвитин.

— Я те, сын блядин!.. — вскипел Мишка Стадухин, возмущенный вольными речами. — Кто на зимовье шел с огненным боем? Кто орал: «Наше тут все?»

— А что залезли к нам? — огрызнулся красноярец. — У нас наказная память старшего воеводы.

— А у нас — главного, тобольского, да Сибирского приказа! — возмутились стрельцы, вскипая прежними обидами.

— Угомонись! — пресек раздор Бекетов. — Аманатов стыдитесь: расскажут, как царские люди меж собой грызутся.

Служилые у костров примолкли. В стороне своими костерками пленные тунгусы пекли рыбу. Братские мужики без жадности поели ржаной каши из казачьих котлов, безучастно прилегли вздремнуть.

— Ты-то что не ушел с ними? — с неприязненным видом спросил Москвитина Якунька Сорокин.

— Ногу пожалел! — так же неприязненно, с вызовом ответил Москвитин. — Браты поломали! Эти вот, — кивнул на лежавших. — А безногий кому нужен?

— Что-то не припомню тебя среди краснояров? — прищурился на казака Бекетов.

— Знать, не геройствовал против христиан, — с важностью ответил тот. — И буйных удерживал от кровопролития.

— Ишь как заговорил! — опять засрамословили стрельцы. — Умел грабить, умей ответ держать!

— Да кабы не Васька-атаман, мы бы ваше зимовье за час на саблю взяли, — Москвитин презрительно скривил губы с подсохшей коростой, чем опять вызвал возмущенные выкрики. — Он удерживал от кровопролития!

— Наши струги отбил… Другой ясак взял с окинцев, аманатов захватил силой! — проворчал Бекетов, пристально разглядывая казака. — Как теперь новый мир делать с эхиритскими родами? Они нас добром к себе приняли.

— От Красного Яра до них ленивый за месяц дойдет, — все подстрекал к спорам ершистый казак. — А вы сколько шли? — вскинул насмешливые глаза.

Стрельцы и казаки примолкли, не зная, что ответить на каверзный вопрос, которому из острогов была передана мунгалами через русского царя здешняя земля и кому со здешних народов брать ясак.

— Из Енисейского по жребию казаков посылали, чтобы Красный Яр строить, рожь вам возим, чтобы нас защищали!.. Защитили! — с укором пробубнил Стадухин.

Иван Похабов лежал на боку у костра, равнодушно поглядывал на переругивавшихся, радовался, что стычки с Васькой не произошло. Бог миловал, и все обошлось миром.

— У Бояркана с Куржумом зачем аманатов взяли? — продолжал расспрашивать красноярского казака Бекетов.

— Мы к ним с добром шли, звать под нашего царя, — пожал плечами Москвитин. — А они против нас войско выставили. В бронях, с луками, с пиками вышли к реке, троих ранили, мне ногу переломили дубиной. Кабы мы аманатов у них не взяли, они бы до самого устья на конях за нами гнались и стреляли бы из луков.

Казаки и стрельцы снова примолкли. Молчавший до тех пор Похабов зевнул, показывая, что говорят и спорят о пустяках.

— В зимовье под Шаманским камнем полтора десятка раненых казаков, Хрипун с дочкой, с немцем и с ясырями. Я Ваську Алексеева знаю. Озлобится, в раж вой дет — не только зимовье разнесет, в недобрый час кровь пустит… И все потому, что воеводы и московские дьяки меж собой не договорились, кому и где ясачить…

Казаки со стрельцами молчали. Окинские браты стали готовиться к ночлегу: сложили горку из камней, вокруг нее развели большой костер. Балаганцы держались особняком, поглядывали на них неприязненно. Тунгусы сидели на корточках, уткнувшись носами в дымокуры. Бекетов оставил Москвитина, пошел к ясырям. Бойко залопотал, обращаясь то к одним, то к другим. Ему охотно отвечали. В незнакомой речи слышались обиды и жалобы.

Черная, стылая гладь воды подернулась зябким туманом. Некоторые казаки и стрельцы уже мирно всхрапывали, вытянув ноги к костру. Трое с пищалями ушли в караулы. Поговорив с пленными, вернулся Бекетов, присел рядом с Похабовым, привычно вытягивая ладони к огню, взглянул на Ивана:

— Сами они не разойдутся. Думаю, надо сделать так: мы утром сплывем к зимовью на ваших стругах, возьмем рожь и сразу вернемся. А ты с честью вернешь Бояркану его людей. Окинских братов защити от здешних. Встретимся, я их у тебя заберу и поведу обратно. Мимо не проеду.

— Не разминемся! — согласился Иван.

— Даст Бог отбить свои струги у Васьки, твои я у зимовья оставлю. А если не отобью, то мне без стругов никак нельзя, новые делать некогда.

— Да уж, сплывем как-нибудь, плотами! — сонно пробормотал Иван и спросил, позевывая: — Чем отдариваться за Васькины грехи?

Откинул полу кафтана, тускло блеснула золотая пряжка шебалташа. Высыпал из патронной сумки бисер на ладонь.

— Все, что осталось!

— Казенной рухлядью одаривай! — приказал сотник. — Чем еще? Оправдаемся! — Покосился на пряжку. — А эту безделушку тебе бы снять: за угрозу могут принять, а тебя за царского палача и убивца.

Сырым туманным осенним утром, когда так не хочется отрываться от костра, стрельцы столкнули на воду струги, покашливая, ежась от стужи, сели за весла. Монотонно шумели пороги.

— Погоди, хоть туман рассеется! — попробовал удержать товарища Похабов.

— Я Шаманский камень уже не раз туда-сюда, — молодецки глянул на атамана Стадухин. — И ночью проведу!

Он шел кормщиком на первом, ертаульном струге. Братьев Савиных и Черемнинова Бекетов оставлял в отряде Похабова для посольства, махнул на прощание Ивану, кивнул, напоминая взглядом уговор. Струги стали растворяться в тумане. Взошло солнце, потеплело. Осенний денек обещал быть ясным. Иван спросил тунгусов, кто из них хочет уйти в свои кочевья, одарил за обиды остатками бисера, накормил кашей и отпустил. Окинцы не шелохнулись. Браты Бояркана сидели с важными, насупленными лицами. Их предстояло вернуть с честью.

— Вам надо идти в посольство! — Похабов напомнил наказ сотника стрельцам Савиным и Черемнинову. — Вы в улусах Бояркана бывали, князцов знаете.

Черемнинов, думая о своем, хмуро покачивал головой:

— Семерых берестянка не выдержит! А браты на бечеве пешими не пойдут!

— Не пойдут! — согласился Похабов. — Посадите их в почесть и тяните бечевой. Обратно налегке сплывете.

Он вытряхнул из мешка десять соболей, оставленных Бекетовым, потряс их, разглаживая примятый мех.

— Отдадите за обиды! — строго обвел взглядом стрельцов. — А ответных даров не требуйте. Отпустят с миром, и слава Богу. Не отпустят — через три дня придем на помощь.

При саблях и топорах, Черемнинов и Савины бросили в легкую лодку две пищали, лук со стрелами, взяли хлеба и квасу в дорогу. Старшего из братов посадили в середину шаткой берестянки. Другие, опасливо косясь на него, сказали, что пойдут пешими. Василий встал на шест, Савины привычно впряглись в бечевы и потянули лодку против течения к устью притока. Трое молодых балаганцев в остроконечных шапках и камчатых халатах, переваливаясь с боку на бок на коротких ногах, заковыляли следом. Толстые черные косы качались по дородным спинам от плеча к плечу. Иван перекрестил удалявшихся людей и занялся другими делами. Окинцы поглядывали на казаков злыми и голодными глазами. Для них хлеб — забава, рыба — не еда, надо было добывать мясо. Идти на мясной промысел вызвались Якунька Сорокин с Илейкой Перфильевым. С ними просились еще четверо, но атаман их не отпустил, заставил караулить табор, ловить рыбу, строить укрепление.

Из разобранных плотов он решил поставить две стены со стороны реки, подход от леса велел завалить зесекой. Немирные тунгусы, разбившие отряд Максима Перфильева, могли напасть в любой миг. Ни в лесу, ни на открытом месте полутора десяткам казаков устоять против них было не по силам.

— Ну вот, как всегда! — пробуя пальцем лезвие топора, прогнусавил Дунайка Васильев и поднялся на работы. — Стрельцов — тарасун пить, брательника подьячего со ссыльным — по лесу гулять, а меня — строить засеку!

Нападение — дело обыденное, к нему казаки были готовы. Недоброе предчувствие томило грудь атамана, он боялся за Илейку с Якунькой и даже жалел, что отпустил их на промысел, но беда пришла с другой стороны.

На следующий день к вечеру на устье притока показалась берестянка. Двое стрельцов неспешно подгребали веслами, течение несло их к засеке. Василий с Терентием сидели в лодке без шапок и чем ближе подходили к табору, тем беспокойней глядели

на них встречавшие. Кинулись к воде вытащить лодку на берег и закрестились, заглядывая в нее, скинули шапки. По лицам казаков атаман понял, что случилось. Неспешно вышел из засеки, опустил взгляд на днище лодки. Там на спине лежал Вихорка. Лицо его было белым и чистым, горло и зипун залиты черной, ссохшейся кровью. Убитого вынесли на берег, Терентий опустился перед ним на колени и тихонько завыл, сжимая голову руками.

Иван вскинул глаза на Черемнинова, их тесно обступили казаки. Сутулясь, гоняя желваки по скулам, Василий заговорил:

— Прибыли к братам. Они нас увидели с выпасов, призвали подмогу. Прискакал князец в доспехах, Боярканов брат, при нем толмач с драной мордой. Браты похватали аманатов под руки, давай нас дубьем охаживать. Еле отбились. Князец своих людей плетью разогнал, я ему через толмача говорю: «Погрешил против тебя Васька-атаман. Воровством твоих людей взял, а мы их по правде государя нашего возвращаем, потому что вы ему шертовали на вечное холопство».

Похабов сжал зубы, подозрительно сузились его глаза.

— Соболей дал? — спросил жестко.

— Как не дать? — сердито засопел Черемнинов. — Дал! И доброе слово молвил. А браты опять на нас с дубьем. «Ладно, думаю, пострадаем за друзей-товарищей во славу Божью». Князец снова их плетью… Отогнал. Живыми бы уйти, думаем, какое там почетное посольство. Сели в лодку, саженей на двадцать отплыли. Вихорка и захрипел. Одну только стрелу пустили вслед, а она ему в горло… Кровью истек в пути.

Вновь накрыла землю осенняя ночь. Сырая стужа поползла по речной глади, подступалась к кострам в засеке. Над головой ярко светились низкие, крупные звезды, то и дело срывались вниз, кремешками чиркая по небу. Потрескивал костер. Едкий дым то стелился по земле, то с искрами уходил ввысь. Мерно и приглушенно слышался перестук топоров. Казаки тесали крест, долбили расщепленную надвое лиственную колоду. Крест делали небольшой: чтобы душе не надрываться, волоча его на Великий Суд, и не малый: чтобы виден был всем плывущим.

Околевшего покойного раздели и обмыли, его тело с повеселевшим лицом лежало под звездным небом. Товарищи в черед читали молитвы, какие кто знал и помнил. Подремывал атаман, думая о предстоящем посольстве к Бояркану. Тот ли это князец, которого он выкупил у Васьки с Гришкой, или другой? А идти надо. И не мстить за убийство товарища нельзя, и нельзя начинать войну ради мщения. С душевным теплом Иван вспоминал Савину. Жалел ее, что овдовела с двумя детьми. Такая женщина в Сибири не пропадет, но жаль было и ее, и Вихоркиных сыновей.

Атаман впадал в дрему, обрывки глупых снов пробегали перед взором, стихал в ушах монотонный шум порогов и перестук топоров. Иван снова открывал глаза и прислушивался: рокотала вода на камнебоях, позванивала сталь и трещала щепа, слышалось бормотание молитв над телом. К рассвету его сердце остыло и унялась ярость. Теперь надо было выспаться и идти в посольство.

К полудню тело стрельца Вихорки Савина предали земле на устье речки, которую даже тунгусы называли по-разному. Поставили крест, поклонились ему до земли. Крестясь и кланяясь, обошли могилу три раза. Помянули покойного тем, что было и вернулись к делам дня. Похабов объявил:

— К братам со мной и с Васькой пойдут четверо, кто желает за правду постоять. Другие останутся окинцев защищать, ждать стрельцов. — Взглянул на Терентия Савина, добавил: — Ты останься, пока не уймется ярость в сердце!

Добровольцев оказалось восемь, все были готовы заодно с атаманом сложить голову, но за товарища отмстить. Иван пытал их тайные помыслы, оставил вместо себя в засеке Тереха Савина. Ругать Москвитина и собачиться с ним запретил всем настрого.

Ранним утром добровольцы попрощались с товарищами и ушли тем же путем, что прежнее посольство. Потянули бечевой берестянку с черными пятнами засохшей крови. Они поднимались по притоку весь день, к ночи могли бы дойти до братских выпасов, но заночевали, чтобы отдохнуть перед встречей и явиться до полудня. Дым костра был замечен. Раз и другой показывались в сумерках всадники, но близко к стану не подъезжали, а ночью не беспокоили.

Поднялись казаки хмурым осенним утром, раздули тлевший костер, умылись. Помолясь Господу, просиявшему во Святой Троице, заступнице Богородице, да Николе Чудотворцу, подкрепились едой и питьем. Уходить от костра не спешили, пока не разгулялся денек. Но вот схлынул с реки туман, в сырой желтой листве берез и осин заблестело солнце.

— С Богом, братья! — поднялся атаман и залил костер из котла.

Казаки продолжили путь. Падь притока расширялась просторной долиной, берега ее были пустынны: без кустика, без деревца, земля на склонах сильно вытоптана и потравлена скотом. Здесь и поджидали посольство всадники. Полсотни братских мужиков сидели верхами на лошадях. За их спинами, крест-накрест, торчали концы

луков и колчанов со стрелами. Многие были с пиками, иные поперек седел держали дубины. Посередине и впереди полусотни на черном жеребце выделялся дородный князец в броне и в островерхом шлеме. По правую руку от него в высоком седле сидел поджарый, как тунгус, знатный воин. Робкое осеннее солнце блистало в его латах и шишаке. На боку молодца висела сабля. Их кони били копытами, грызли удила и пускали тягучую слюну до земли.

В дородном князце Иван узнал бывшего ясыря, выкупленного у Васьки с Гришкой. Встреча с ними меняла его расчеты и думы о посольстве. Обернувшись к казакам, Похабов велел запалить фитили на пищалях, укрыться за лодкой и ждать его. Придерживая саблю рукой, он сделал полтора десятка шагов к всадникам, остановился и выкрикнул:

— Поговорим, хубун?

Дородный князец понял его, может быть, узнал, тряхнул поводьями, вороной жеребец, выгибая шею и пританцовывая, зарысил к реке. За князцом на крепкой кобылке последовал молодец без оружия, в шелковом халате, в островерхой лисьей шапке с пышным хвостом, свисающим на плечо. Оба придержали коней в пяти шагах от Похабова. Атаман и хубун впились в глаза друг другу. Зрачки Бояркана в оплывших щелках глазниц поблескивали настороженно и неприязненно, широкое лицо было посечено первыми морщинами, приплюснутый нос показался Ивану слегка горбатым.

Толмач глядел на казака ласково. Нос его был свернут набок, лицо изодрано красными рубцами шрамов. Между ними топорщилась щетина. Нижняя губа толмача свисала на подбородок, обнажая ряд зубов и десну. Длинные волосы не были заплетены в косу, как у братских мужиков, но собраны на затылке в пучок, как у тунгусов. Удивили Ивана и светлые глаза толмача. «Видать, из ублюдков», — подумал мимоходом и снова перевел взгляд на князца.

— Здравствуй, хубун, коли узнал! Вот и довелось встретиться!

Толмач прижал пальцами нижнюю губу к десне, прогыркал, не сводя глаз с Ивана. Дородный князец взглянул на атамана пристальней, зрачки его потеплели, он крякнул, перекинул толстую ногу через голову жеребца и тяжко соскользнул на землю. Следом спешился толмач. Ко всему уродству он был еще и хром.

— Пусть удача прибудет с тобой в той земле, куда ты направляешься! — прошепелявил толмач приветствие князца, прижимая пальцами нижнюю губу. И добавил, блеснув голубыми глазами: — Хубун узнал тебя, брат!

Слова его Иван понял по-своему, как напоминание о камлании кетского шамана.

— Хотелось мне, брат, жизнь прожить, не срубив твоей головы! — заговорил без ярости и гнева. — Да вот уж бес меж нами распрю сеет. Зачем ты убил моего товарища?

Толмач залопотал, князец спокойно и внимательно смотрел на Похабова, ни одна жилка не дрогнула на его лице, будто толмач скрыл в словах атамана угрозу. Промелькнула на лице князца тень печали, и он ответил ровным голосом, а толмач прошепелявил, шлепая непослушными губами:

— Я не хотел его убивать! Отец захваченного силой сына пустил стрелу. Стрелял в лодку, попал в казака. Не человек тому виной, злой дух.

Иван кивнул, соглашаясь со сказанным. В словах князца не было покаяния.

— Ты шертовал нашему царю, — укорил его. — Убийства судит сам царь, не я. А я пришел, чтобы взять убийцу и отвести царю на суд.

Толмач переводил сказанное, князец при этом, не отрываясь, смотрел в глаза Ивана. Когда толмач умолк, он скривил толстые губы в язвительной усмешке.

— Говорили, людей у царя много, а он с одним буйным мужиком управиться не может! Пусть казаков правильно судит. Своих мужей я сам рассужу!

Толмач с унылым видом еще не закончил лопотать, а князец резко и гортанно рыкнул:

— Сарь-сарь! Между собой деретесь, грабите, а нас зовете жить мирно!

На эти слова Иван не сразу нашелся, как ответить. Легкий низовой ветерок дохнул с реки, шевельнул лисий мех на шапке толмача. Тот, прикрыв рот ладонью, пугливо переводил взгляд с одного на другого.

— Воры у всякого народа есть! — резче сказал Иван. — Наш царь наших воров накажет строже, чем твоих.

— Своих людей на ваш суд не дам! — твердо заявил князец. — А на добро добром отвечу и выкуплю случайное убийство… Иди со своими людьми в мою белую юрту. Будешь гостем!

Он развернулся широкой спиной к Похабову, показывая, что разговор закончен. Переваливаясь с боку на бок, пошел к всадникам. Жеребец, тряхнув длинной гривой, шумно вздохнул влажными ноздрями и двинулся следом за ним. От всадников отделились четыре молодца, подскакали к князцу, спешились, почтительно подхватили его под руки и усадили в седло. Иван пристально смотрел вслед, не понимая, о чем они договорились.

— Здравствуй, брат! — прошепелявил за плечом толмач. — Не узнал меня?

Иван резко обернулся. По драным щекам толмача текли слезы, глаза смотрели с

укором.

— Угрюмка? — ахнул Похабов, вглядываясь в чужое, незнакомое лицо.

Ничего, кроме глаз, не осталось от прежнего непутевого брательника, да и глаза были не те, что прежде. И узнавал, и верил и не верил Иван, что под драной личиной скрыт тот самый беспомощный брат, которого он согревал теплом своего тела под печкой в разбитом Серпухове. Умом все понял, но не смог обнять. Смутился. «Ни к чему это, на глазах товарищей и врагов!» — подумал, оправдывая себя.

Два всадника безбоязненно подъехали к лодке и казакам, в их лицах не было ненависти. Иван кивнул Черемнинову, тот в ответ развел руками.

— Зовут на пир! — прошепелявил толмач. — Не бойся, хубун не обманет.

— Поговорить хотят, прежде чем дать виру*, — согласился Черемнинов. Надежда решить спор мирно радовала его.

По знаку атамана казаки защипнули фитили. Верховые поехали впереди них шагом, указывали путь, за ними ковылял толмач с кобылкой в поводу. Рядом с ним шел Похабов.

— Кто тебя так разукрасил? — спросил наконец.

— Медведь прошлый год подрал!

— Ты у братов в холопах или выкрестился? — тут же спросил Иван, не любопытствуя о схватке с медведем.

— Вольный я! — вздохнул толмач. — Крест ношу, — вынул из-под халата и показал носильный кедровый крест на гайтане. — Да и нет у них никакой веры. — Снова прижал губу рукой. — Старым, черным, шаманам изверились, а желтым, славящим Бурхана, не доверяют… Я их к нашей вере склоняю! — добавил с жалкой гордостью и заговорил, исподволь оправдывая себя и братов:

— Прошлый-то раз, когда енисейцы Бояра пленили, он ехал в острог доброй волей. Кабы миром да лаской, они бы давно в подданстве были. Аманкул, бывший главный бурятский хан, булагат с их кочевий выгнал, они сюда, ближе к казачьему острогу, неволей пришли…

В шепелявом говоре брата атаману почудился укор всем служилым. Он едко усмехнулся в бороду, посмотрел в глаза Угрюму, перевел взгляд на изуродованные щеки и опять не узнал его.

— Бог не дал! — ответил коротко.

Толмач продолжал говорить, а Иван внимательно слушал и начинал понимать, что случилось за Шаманским порогом.

— Прежде мунгалы спокойно жить не давали, но был порядок. Теперь мунгалы никого не трогают. Тунгусы Аманкула убили, все всех грабят, хуже прежнего стало. Пришли стрельцы, обещали сделать порядок и вернуть булагатам прежние выпасы в степи. Бояр дал им ясак. Стрельцы уплыли, приплыл Васька-атаман. Хотели с ним миром договориться, а он давай орать, что прежний ясак, в Енисейский острог, неправильный, надо давать в Красноярский. Наши люди его казаков не били, но выехали конными и к себе не пустили. Он обратно ни с чем поплыл, аманатов силой взял.

— Мои выкуп дали?

— Дали! Десять соболей добрых. Сам видел. Но после стали просить награду в почесть. А как увидели, что булагаты осерчали, испугались, потребовали аманатов, чтобы уплыть. Тут пастух и стрельнул из лука… Бояркан его в яме держит, но вам не даст. Отдать не раба, родственника, хоть бы и бедного, большое бесчестье! — Толмач взглянул на атамана так, будто намекал на какое-то свое бесчестье в прошлом.

Насколько шагов они шли молча, затем Похабов мотнул бородой и строго спросил брата:

— Знаешь, сколько с меня взяли роста с твоей кабалы? Больше половины годового денежного жалованья. Меченка чуть не сдохла от обиды и бесчестья… — Усмехнулся,

**Вира — плата за убийство.*

заговорил теплей, поглядывая на белую юрту: — А ведь мы с тобой впервые поговорили как родственники. Прежде-то ты все бычился, фыркал, завидовал. А чему? Я ведь на жалованье пешего казака. Ты с промышленными в неделю прогуливал больше, чем я за год.

— Отдам! — сипло прошепелявил Угрюмка, замыкаясь, и долго ковылял молча.

Иван раздраженно махнул свободной рукой без надежды вразумить младшего.

— Живи как знаешь! — обронил жестко.

Толмач стал прихрамывать сильней, зашагал торопливей, на ходу бросал гортанные звуки встречавшим людям, будто распоряжался. Возле белой юрты горели костры, косатые мужики свежевали бычка и двух баранов, женщины в белых тюрбанах с закатанными рукавами халатов перебирали внутренности, срезали мясо с костей, бросали в котлы и поддерживали огонь. Явной неприязни к казакам никто не показывал.

Филипп Михалев забежал вперед, удивленно взглянул на атамана, рыкнул с хрипотцой:

— Чего опять удумал? Покаются браты за убийство — и ладно!

— Выкуп пусть дадут за Вихорку! — жестко блеснул глазами Похабов.

— Понятно! Без этого нельзя! — согласился казак, опять торопливо забегая вперед. Опасливо взглянул на бляху шебалташа. — Снял бы! — проканючил жалобным голосом. — Одна голова сильно на князца походит! Глаза запавшие, как у мертвого. Не обидеть бы?!

— Они все на одно лицо! — скрипнул зубами атаман.

Осенний денек после полудня так разгулялся, что оттаяла мошка, ласково и сонно полезла в глаза и уши. На братском стане приятно пахло скотом, парным молоком и сохнущей травой.

— И чего бы не жить мирно! — вздыхал под боком Филипп, оглядывая окрестности и лес в дымке. — Земли без края всем хватит.

— Будто на Руси земли мало! — огрызнулся Похабов. — Ни мы меж собой мирно жить не можем, ни они.

Он опять вспомнил Ермогена с Герасимом. Перекрестился, вздохнул и подобрел. Расправились складки на переносице, выровнялись насупленные брови, заблестели глаза. Казаков позвали в юрту. Войти с топорами и пищалями атаман не решился. Велел составить ружья возле войлочной стены и посадил при них трех казаков. С двумя вошел внутрь.

Кочевой дом был богат: стены завешаны цветным шелком, земля застелена войлоком и коврами. Посередине тлел очаг: не для тепла, а от чужого сглаза и навета. На красных кожах, расстеленных возле него, парило вареное мясо. Горками был навален на плошки творог, на плоских блюдах лежали лепешки, в кувшинах — кислое молоко.

Только на первый взгляд братья Бояркан с Куржумом казались совсем разными. Приглядевшись, Иван стал примечать их внешнюю схожесть. «Подлинные братья и в беде, и на пиру», — позавидовал Бояркану, бросил мимолетный и тоскливый взгляд в сторону толмача. Угрюм сидел по правую руку от Куржума после его сыновей. По той стороне расставляла чашки и чарки крутобокая братская бабенка. Подложив мяса, она придвинула блюдо толмачу. Уходя, опустила руку на его плечо, а тот с благодарностью обернулся. Приметив скрытую от чужих глаз ласку, Похабов подумал: «Женихается!» На душе стало еще тоскливей, будто сидел на поминках брательника. Бояркан истолковал его печаль по-своему и с важностью заговорил через толмача:

— Пришел бы ко мне другой казак, прогнал бы! Но с тобой так поступить не могу. Не есть мне свежего мяса, если злые духи принудят отрубить тебе голову.

Ни Василий Черемнинов, ни Филипп Михалев не поняли смысла сказанного. Оба подумали, что князец высмотрел золотую пряжку шебалташа. Глупое упрямство атамана, нежелание снять его возмущало их.

— Ты уже отрубил мне руку! — склонил голову Иван. — Твои люди убили моего товарища!

Бояркан тоже опустил большую голову на короткой шее, тяжко и глубоко вздохнул.

— Я этого не хотел. Атха шутха*! Злой дух стрелой правил! Или так судьбой было предназначено. — Он помолчал с печалью на лице, поднял голову и степенно заговорил: — У каждого человека есть предки, у каждого дела должно быть продолжение. Я дам родственникам убитого двух кобылиц, а убийцу накажу сам. На то я и хубун! Добро же вовеки не должно забываться. Мы с братом, — кивнул на внимательно слушавшего Куржума, — дадим тебе по два коня.

Черемнинов с Михалевым удивленно взглянули на атамана. Кони для отряда были обузой, но это вира, и взять ее надо.

— Разве Бекетов заберет или тунгусы купят? — скороговоркой пробормотал Василий.

— Коней для себя взять не могу, — отказался Иван. — Мы — служилые люди, все, что нам дают, то дают через нас царю. А за добрые дела меня Бог наградит!

Такой оборот князцам не приходил в голову. Выслушав толмача, они удивленно переглянулись. Бояркан, щуря глаз, переговорил с Угрюмом о своем.

— Трех коней и кобылицу дам родственникам убитого! — объявил в другой раз и взял с блюда кость с разваренным мясом. Все люди, что сидели за расстеленным столом, потянулись к еде.

Иван заметил, что толмач ест стыдливо: отворачивается, придерживая рукой нижнюю губу. Старый, беззубый шаман в кожаной рубахе до пят, обвешанной бляхами и хвостами зверьков, маленьким ножом теребил баранье ребро, отправлял куски мяса в рот, смешно сминал лицо в морщинистый кулачок, при этом поглядывал на пирующих снисходительно и важно.

Когда первый голод был утолен, гостям, старикам и князцам налили в чарки архи**, остальным подали кислое молоко. Бояркан поднял чарку, старый шаман что-то тихо пролопотал, не переставая жевать. Толмач молча поглядывал на него. Хубун, почтительно выслушав шамана, степенно кивнул и заговорил:

— Эсэгэ Малаан, сын Вечно Синего Неба, дает нам жизнь, душу и судьбу. Жизнь и

душу мы не можем не принять, а как исполним свою судьбу — зависит от нас самих. Если мы не отрубим друг другу головы в этой жизни, наши потомки будут жить в мире. Так пусть, хазак-мангадхай***, — насмешливо взглянул на Похабова, — моя голова будет твоей заботой, а твоя — моей! Тогда наши предки и наши внуки будут довольны нами.

Выпитое вино обожгло горло, ударило в голову. Иван заметил, как захмелели его товарищи. Лица их зарумянились, движения стали плавны и неточны.

— Опять про головы! — проворчал под боком Филипп. — Не нравятся князцу твои личины.

После выпитого и съеденного стало жарко, Иван расстегнул злополучную пряжку, сбросил шебалташ, распахнул кафтан, потряс головой, стараясь вытрезвиться. Князец указал глазами налить по второй чарке, но он воспротивился:

— Нам, по нашей вере, хубун, сорок дней после гибели товарища нельзя веселиться.

Бояркан удивленно шевельнул бровями, качнул тяжелой головой:

— Принуждать пить арху — большой грех!

— По три чарки можно бы и выпить, — обиженно пробормотал Черемнинов. — Вихорка любил погулять.

Атаман ухом не повел на недовольство товарищей. Бояркан же приказал:

— Тогда будем есть!

Кувшины с молочной водкой убрали. Пир продолжался до вечера. Накормив гостей до тяжести в теле, князцы отпустили их на ночлег. Трое вышли за полог и увидели товарищей при пищалях не только сытыми, но и в изрядном подпитии. Корить их Иван не стал, повел в юрту следом за припадающим на ногу толмачом.

Утром братский мужик пригнал к ней четырех лошадей в недоуздках. Казаки повели их к реке. Лодка была цела, одеяла и котел никто не тронул. Бояркан не показывался, чтобы проститься. Вместо него подъехали верхами Куржум с толмачом. Толмач отозвал атамана в сторону. При старшем брате Куржум во время пира почтительно помалкивал. Если его о чем-то спрашивали, отвечал тихо. Теперь он заговорил с Похабовым сам. При этом глядел в глаза пристально, без приязни.

**Ахта шухта — бытовое бурятское ругательство.*
**Архи — молочная водка двойной перегонки, тарасун.*
**Хазак-мангадхай — казак, русич (бур.).*

— Нельзя не заплатить за добро, если родился со своей славой от именитых родителей! Толмач сказал, — кивнул на изуродованного спутника, — чтобы я не давал даров при всех. Ясак пусть заберет царь, лошадей — родственники убитого, а ты возьми это! — князец снял с шеи тяжелую серебряную цепь. Позвякивая, она змейкой скатилась и увесисто свернулась в ладони атамана. Похабов удивленно взглянул на серебро.

— Гривенницы полторы?! — качнул рукой. Вскинул на князца любопытные глаза: — Руду где добываете?

— Кто имеет богатство, тот покупает, что ему надо. Кто не имеет, тот делает сам! — прошлепал губами толмач, переводя ответ князца.

Иван задумался, пытаясь понять сказанное, хотел спросить иначе, но Куржум уже развернул коня.

— Где они добывают серебро? — пытливо переспросил толмача, пошевеливая пальцами, отягощенными цепью.

— Мунгалы привозят! На соболей меняют! — ответил тот и опасливо обернулся, бросив взгляд на спину удалявшегося князца.

Ссыпав цепь в патронную сумку, Иван снова поднял глаза на брата.

— Прощай, что ли! Спаси и вразуми тебя Господь!

Развернулся спиной к всаднику, пошел к лодке. Угрюм торопливо повернул кобылку и пустил ее рысцой за жеребцом Куржума.

Четверо казаков сели на неоседланных коней, остальные сложили в лодку оружие, взяли весла и оттолкнулись от берега. В пути они не раз менялись местами, устав сидеть на спинах лошадей и в шаткой берестянке. На засеку нападений не было. В карауле стоял Дунайка Васильев, ожидая от изменивших ясачников неминучей беды и очередного коварства. Увидев всех живыми, да еще с лошадьми, искренне обрадовался.

— Что Илейка с Якунькой? Мясо добыли? — первым делом спросил атаман.

— Коз таскают каждый день! — скривился караульный. — А что их не добыть? Они к самой засеке подходят. Братские мужики козлятину едят с брезгливостью, рыбу и птицу в рот не берут.

Похабову в ответе стрельца почудилось что-то недоговоренное. Черемнинов и Михалев перевернули берестянку, по бревну с зарубками полезли в засеку со стороны реки. Иван обошел укрепление, осмотрел его. Оставленные им люди не теряли время даром и укрепились надежней прежнего. Илейка с Якунькой с утра были живы, никто на них не нападал. Казаки весело приветствовали вернувшихся. И опять что-то в их

лицах насторожило атамана. Лазом, между заостренных веток, он поднялся к караульному, пытливо уставился на него:

— Говори! — приказал строго.

Дунайка посопел с недовольным видом, поводил по сторонам недоверчивыми глазами, промямлил как о пустячном и всем известном:

— Думаем, доброе мясо они тунгусам продают, а нам коз таскают, — завистливо выругался: — Соболишек добыли и шубный лоскут. Мы день и ночь топорами машем. Караулим… А они, по твоему наказу, богатеют.

Козы действительно выходили из леса, их можно было добыть, не отходя далеко от засеки. Якунька с Илейкой вернулись в сумерках. К злобному неудовольствию всех, служилых и аманатов, опять приволокли двух коз. Иван Похабов встретил их строго. Якунька истолковал это по-своему и стал спрашивать про посольство.

— Ты сперва расскажи, как зимних соболей до снега добываешь? — прорычал Иван, глядя разъяренными глазами в изуродованное лицо казака.

— Так и добываем! — мгновенно озлобившись, вскрикнул Сорокин. — Они скок-скок на пенек, поглядеть, кто идет. Мы из лука тупой стрелой по дурной башке — и в мешок…

Илейка безбоязненно поглядывал на сердитого атамана непокорными глазами, показывал, что ему, брату подьячего, никто не указ. Дунайка со вздохом покачал головой, порылся среди одеял и бросил к ногам атамана легкий мешок.

— Не тронь! Не ты добыл! — вскрикнул Якунька и кинулся наперехват. Нос с выдранными ноздрями искривился клювом. Мешок бесшумно распластался на вытоптанной земле. Иван наступил на него ногой, другой оттолкнул казака.

С возмущенным видом на него бросился Илейка Перфильев и отлетел, наткнувшись на увесистый кулак. Похабов развязал мешок, вытряхнул десяток соболей и шубный лоскут из шести сшитых спинок. Подергал подпушек.

— Старые. Давно не скачут по пенькам! — ткнул в лицо Якуньки шубным лоскутом. — Где взял?

— Где дали, там и взял! — затрясся тот от ярости.

— Где взял? — грозно крикнул атаман, нависая над ним.

Илейка как затравленный зверек окинул быстрым взглядом казаков, те насупленно молчали, смотрели под ноги, никто не желал вступаться. Он стал слезливо размазывать кровь по лицу, бормотать угрозы.

Иван схватил Якуньку за шиворот и за кушак, перекинул через стену из бревен разобранных плотов. Сам с кошачьей ловкостью перескочил через нее. Якунька, не успев встать на ноги, снова был схвачен. Атаман поволок его к реке. Илейка, высунув голову из-за стены, матерно, с визгом вопил. Якунька орал и лягался, обзывал атамана воеводским холуем.

Похабов приволок его к воде, вошел выше колен и притопил казака вниз лицом. Половина служилых наблюдала за ними из-за стены, Черемнинов, Васильев и Михалев вышли на берег.

— Нет у тебя права в воду сажать без нашего суда! — закричали из засеки.

Иван перехватил барахтавшегося за волосы, дал ему высунуть голову и сделать вдох. Якунька закашлял, давясь и отплевываясь, предсмертно завопил.

— Где взял? — еще раз макнул его Иван.

— Тунгусы! — захлебываясь, признался Якунька.

— Мясо продали?

— Обманом взяли! Не торгом! — крикнул Сорокин, слабея в руках атамана. Тот выбросил его на берег. Мокрый, яростный, раздвинул смущенных казаков, пробрался в засеку.

— Говори! — склонился над Илейкой.

— Ты что, сбесился? Столько лет вместе служим? — завизжал побитый. — С братаном товарищи…

— Говори! Не то утоплю! — прохрипел Похабов.

Илейка, поскуливая, испуганно оглядывая казаков, затараторил:

— Обещали тунгусам братских людей с притока выпроводить на прежние их выпасы! Кому от того убытки, а?

— Голова! — с восхищением взглянул на мокрого Якуньку Дунайка Васильев. — Надо же такое удумать!

Казаки и стрельцы стали принужденно посмеиваться. Филипп-сургутец удивленно оглаживал бороду:

— Бояркан со своими мужиками только и думает, как в степь уйти. Вот ведь! А тунгусы за это еще и платят.

— Чему смеетесь? — прикрикнул на них Иван. — Те тунгусы Максиму Перфильеву, братану его, ясак дали за этот год!

Со стены кулем свалился в засеку Якунька, стал стягивать с себя мокрую рубаху и штаны.

— Велика беда! — гнусавил, оправдываясь. — Добром взяли, не силой. Да у них этих соболей… Лыжи спинками оклеивают.

— Ты взял обманом, а они Петрухе с его стрельцами припомнят. Мы-то уйдем, а им здесь в зиму оставаться, — сдержанней стал корить мокрого казака атаман. Сам сел, развязывая бечеву на промокших бахилах.

При общем насмешливом молчании Сорокин с Похабовым переругивались и сушили одежду у костра. Дунайка с Василием принесли с реки котел с козлятиной и водой, повесили над огнем. Окинские аманаты тесной кучкой сидели в стороне, неприязненно поглядывали на котел с мясом и на служилых, презрительно щурили глаза.

— Мы засеку рубим, в караулах каждый день, — рассудительно, от имени всех служилых, вразумлял обиженных казаков Дунайка. — А вы бездельничаете, по лесу шляетесь, соболишек на себя добываете. Делиться надо! Не по-христиански это!

Терех Савин с безразличным видом сидел с вымороженными рыбьими глазами. Иван подхватил свое одеяло, бросил на землю рядом с ним.

— Все молишься? — спросил участливо.

Терех кивнул, вздохнул, почмокал высохшими губами.

— Жаль, со своей повенчался! — пробормотал. Прокашлялся, добавил чище: — Мне бы на Савине жениться. И племянники родные, и баба хороша.

— Хороша! — согласился Иван и вздохнул, вспомнив жену товарища.

Утром атаман объявил, что сдаст отобранных соболей подьячему в счет ясака за следующий год, и велел известить о том обманутый тунгусский род.

— Будто тунгусы сидят на месте и ждут? — съязвил Илейка. — Их след уже простыл. Они, может быть, лет десять здесь не появятся.

Казаки одобрительно заухмылялись. Хитроумие Якуньки и Илейки восхищало их. Иван чувствовал, что на него злобятся не только побитые, но и те, кто еще недавно жаловался на них.

На другой день к вечеру выше порога показалось два струга. Судя по посадке, они были тяжело загружены. Бурлаки налегали на бечеву, всем телом низко пригибались к земле. Похабов велел своим людям помочь стрельцам и сам вышел им навстречу. Казаки повели четырех коней, полученных от Бояркана. Завидев конных казаков, стрельцы остановились, подтянули струги к берегу. Издали видно было, они так измотаны, что если бы не засека и костры, попадали бы от усталости там, где стояли. Сам сотник, чисто выбритый, в пышных усах, вышел вперед. В его насмешливых глазах Ивану почудилась тревога.

— Что нового под Шаманом? — спросил.

— Много всего, — ответил сотник уклончиво и смущенно. — На ходу не расскажешь. Впрягай-ка коней, гужом скорей до стана дойдем, там и поговорим.

— Скажи хоть, догнал ли Ваську? — нахмурился Иван.

— Не догнал, слава Богу! — строго ответил сотник. — Если бы застал его в зимовье, не знаю, что бы сделал… После расскажу! — досадливо отмахнулся... — Ты подложи что-нибудь под шлею! Хоть бы свою шапку, — крикнул, посматривая, как стрельцы впрягают в струги коней. И обернувшись к Похабову:

— Человеку больно — орет. Скотина безмолвно муки принимает. — Сотник явно не хотел говорить о делах за Шаманским порогом, и это настораживало атамана.

Гужом они привели струги к засеке. Следом приплелись уставшие стрельцы. Казаки распрягли и отпустили лошадей, вытащили лодки на сушу, крепко привязали их, попадали у костров, стали разуваться и сушиться. На расспросы устало мотали бородами, вздыхали да кивали на сотника. Иван терпеливо ждал, когда начнется разговор.

Наконец Бекетов вскинул на него ясные глаза. Казаки и стрельцы притихли.

— Приплыли мы к острову, едва не застали там краснояров. Мои струги они бросили, загрузили рожью полковничий коч, поплыли вниз. Можно сказать, мы корму видели. Хрипунов рожь и коч добром не дал. Дрался с Васькой на саблях, — Бекетов со вздохом опустил голову на крепкой шее, печально усмехнувшись, пробормотал: — Упрям, старый!.. Васька его ранил. Лежит теперь наш голова в зимовье.

При нас отправил следом за краснoярами семерых раненых и Максимку Перфильева. Не воевать! Куда уж им. Упредить воеводу Ошанина в Енисейском, чтобы поджидал бунтовщиков. А то опять острог на саблю возьмут… — Чего-то недоговаривая, сотник виновато взглянул на Ивана. — Мимо Енисейского никак не проплывут. Им надо на весь Красный Яр рожь в зиму забрать. — Бекетов помолчал, глядя на жаркое пламя костра, пожал широкими плечами. — Правильно приказал, старый. Пусть Максимка упредит воеводу, а тот сам думает, по какой правде Васька наших ясачников грабил и нас громил.

— Что там было-то? — заволновались казаки, с любопытством расспрашивая стрельцов. — Зимовье краснояры взяли?

— Что его брать? — усмехнулся в густые усы Бекетов. — Полтора десятка израненных — не защита. Пришел, объявил, что оголодал и возьмет под запись рожь на обратный путь до Енисейского. Голова разъярился, по слухам, вызвал атамана на Божий суд. Васька его и пришиб. Отлеживается теперь, вас ждет. Вы вот что! — опять вскинул затуманенные глаза на Похабова. — Нас не шибко ругайте. Мало вам ржи

осталось, но и мы меньше взять не могли. К тому же в зимовье семь ртов убыло. Если что, вы сплывете в острог или нартами уйдете. А нам без припасу в зиму — умирать голодом… Мы все взвесили и записали. Половину пороха вам оставили…

Иван слушал оправдания сотника, но они не доходили до него. Он думал о Хрипунове, стал выспрашивать про него. Стрельцы отнекивались. Дескать, сами не видели, по слухам говорить — только смуту заводить.

— Сплывете, все узнаете! — тоскливо и неохотно отмахнулся от расспросов Бекетов, опять начиная оправдываться: — Наши струги краснояры бросили. На одном ушел Максимка. Другой тянуть через порог для вас нам было не по силам. И так на карачках ползли. Слава Богу, вода малая. Иначе не вытянули бы и этого.

Бекетов взял с собой Василия Черемнинова. Тереха Савина не позвал. Тот, печальный, и не просился в его отряд. Стрельцам Дунайке и Дружинке он велел остаться при воеводе. Холодным утром служилые сходили на могилу Вихорки Савина. Помолившись, стрельцы со стругами пошли к Долгому порогу, повели за собой коней и окинских братов, которые казакам изрядно надоели. Похабов велел своим людям разобрать засеку и вязать плоты. На другое утро, взламывая лед заберега, казаки столкнули их на воду, с молитвами вывели на стрежень. Тумана не было. Из-за лесистых гор всходило ясное солнце, студеный пар клубился над водой.

Путь был знаком. Божьей милостью первый плот под началом Ивана Похабова выскочил на спокойную гладь. Уставшие казаки бросили греби. Мягко покачивая на волне, их развернуло поперек течения. Иван начал было читать благодарственные молитвы, и вдруг на его глазах с Терехиного плота пулей слетели в воду гребцы, стоявшие на передних гребях. Сам Терех и казаки с кормового весла попадали на четвереньки, но удержались. Незримо для глядевших со стороны их плот зацепил за камень крайним бревном, но не развалился, и кладь осталась целой.

— Без вреда никак нельзя! — бормотал Похабов, накладывая на грудь крест за крестом.

Остров с зимовьем встретил плывущих уныло. Береговой кустарник пожелтел и опал, облетел лист с осин. На берег вышли двое зимовейщиков, помахали прибывшим так, будто вчера только расстались, поплелись к песчаной косе, в конец острова. Туда и подгребали плотогоны. Иван прыгнул на сушу с бечевой в руке, сунул ее встречавшему казаку. Тот принял конец с таким видом, будто это змея, скривился, заохал. Похабов вспомнил, что он из раненых. Зипун на казаке был в подпалинах, неопоясанный, шапчонка и борода смяты. Иван уперся пятками в песок, удерживая тяжелый плот. Якунька Сорокин бросил шест, намочив ноги, выскочил на берег, тоже схватился за бечеву. Едва плот причалил к косе, казаки стали выносить на сушу ружья и припас. Иван спросил встречавшего:

— Как голова?

Тот пожал плечами, неуверенно просипел:

— Вроде живой, моргает. Дочка к нему никого не пускает.

— Что было-то? — загалдели казаки, гурьбой окружив раненого. Всем им не терпелось узнать больше, чем сказали стрельцы.

— Краснояры приплыли на бекетовских стругах. Мы думали, свои, — как о не стоящем любопытства насупленно буркнул казак. — Выползли встречать… Кого там? Десяток калек. Васька мимо нас к голове, за грудки его: «Рожь давай в пеню за напрасные муки моих казаков!» В зимовье они и повздорили, схватились на саблях. Их растащили. Ясно, атаманы по неправде порубятся, а нас будут кнутом пытать.

Краснояры при свидетелях открыли амбар, стали таскать рожь на коч. Васька дал Перфильеву заручную грамоту: сколько чего взял. А Хрипун все рвался на него, лаял всяко разно, звал на Божий суд. Сколько его ни отговаривали, сколько дочь ни плакала — настоял-таки. Наутро при всех и получил рану! — виновато отводя глаза, шмыгнул носом казак. — Бились на саблях. Васька-то — понарошку, хотел утомить Хрипуна. А тот его ранил, кровь пустил. Васька озлился и звезданул нашего саблей плашмя по лбу. Наотмашь вышиб умишко-то. Ни жив ни мертв который день лежит… А Перфильев с людьми, кто покрепче, уплыл за красноярами на струге.

Опасливо заглядывая в глаза Похабова, казак сглотнул слюну, дернул острым кадыком под редким клином бороды.

— Как зимовать-то будем? Сплыть бы со льдами в Енисейский, хоть на плотах?

— Не успеть! — оглянулся на реку Похабов. — Не сегодня, завтра шуга пойдет.

Остров обезлюдел и подурнел. Иван поспешил в зимовье, караула не приметил. Казаки ютились в тех же, летних, балаганах. Над баней курился дымок. У ворот зимовья, опираясь на палку, его встретил старый енисеец, ходивший с Перфильевым.

— А! Вернулся? — пробормотал вместо приветствия с таким видом, будто Иван был в бегах. — А воду в баню таскать некому. Вели своим взять ведра.

Похабов торопливо кивнул ему, с волнением вошел в избу. В сиротском углу на лавке валялась не прибранная с ночи одежда, на ней, лицом вверх, лежал Яшка-ясырь. В кутном углу за печкой дремала ясырка, закрыв лицо платком. Она не дрогнула, не

двинулась с места, даже не взглянула на Ивана. На печи с открытыми глазами валялся рудознатец, молча повел носом на атамана, зевнул, закрыв рот ладонью, снова уставился в низкий потолок.

Хрипунов лежал на лавке, ногами в красный угол, лицом к иконам. У изголовья, склонившись, сидела исхудавшая дочь. «В чем душа держится?» — окинул ее жалостливым взглядом Иван. Она обернулась, подняла на него опухшие, исплаканные глаза, поднялась, ткнулась лицом в грудь, худенькие плечики беззвучно затряслись. У Хрипунова было бледное, безучастное лицо. Некогда пышная борода сосулькой свисала набок, лоб был повязан шелковой тряпицей. Ласково отстраняясь от Анастасии, Иван зашел от красного угла, заглянул в глаза раненому. Они были мутными, незрячими, потерявшими цвет и Похабов понял, что кум не жилец. Но Хрипунов увидел его, смиренно шевельнул бровями, дескать, что поделаешь? Оставил Господь!

— Даст Бог, встанешь еще! — шепнул Иван, смущенно отводя глаза.

Истончавшие губы в усах дрогнули. За спиной заскрипели половицы, это из-за печи вышла заспанная ясырка с ковшом, до краев наполненным брусничным соком. В ее черных глазах томился ужас. Они с Яшкой прижились в богатом доме воеводы и думали так свой век скоротать. И вот, все рушилось. На волю идти им было некуда, хоть ложись и помирай вместе с хозяином. Хрипунов шевельнул пальцами, досадливо выпроваживая ясырку, набрался сил, усмехнулся:

— Воздастся вору! — просипел с мстительной хрипотцой. — Ужо помру, его го сударь повесит!

Анастасия тихонько заголосила, затирая глаза кулачками. Казачий голова устыдился, завздыхал.

— И уходить-то нельзя! — опять тоскливо шевельнул бровями.

— Куда там? — громким голосом поддержал его Иван. — Вот-вот шуга пойдет. Недели четыре нартами тебя волочь — не выдержишь!

Хрипунов печально выслушал его, набрал в грудь воздуха.

— Нельзя уходить! — повторил строже. — Обнадежили тунгусов, шаманских и аплинских. Бросим — не простят нас! Разве Галкина дождаться. — Помолчал и снова глубоко вздохнул. — А серебро так и не нашли!

— На все воля Божья, Яков Игнатьевич!

Но тот нетерпеливо остановил его движением пальцев и бровей, поманил к себе. Иван склонился.

— Настю не оставь, кум! — просипел. — Невеста она Максиму Перфильеву. Ему отдашь. На тебя только полагаюсь, некому больше зимовье защитить. Бери все бремя власти. думай, как зимовать.

Хрипунов замолчал, одышливо вздымая грудь и закрыл мутные глаза. Полежав молча, отдохнул. Иван уже собирался выйти, он снова открыл глаза с блеснувшей искоркой жизни. Взглянул на Похабова.

— Я Максимку в Енисейский послал, а то Васька опять возьмет острог на саблю. — Губы казачьего головы зазмеились, в горле заклокотал злорадный смешок. — И пусть бы! Ошанин в Томском его защитил, вины против меня обернул, чтобы на воеводство сесть. Его бы салом да по мусалам!.. Но я не взял греха на душу.

Опять завсхлипывала Анастасия, всхлипнул и Иван, смахивая накатившуюся слезу:

— Не помирай, кум!

— И то! — с надеждой согласился Хрипунов. Полежал молча и простонал, закрывая глаза: — Ступай! Кости болят!

Иван взял ключ от амбара, вышел. Казаки возле балаганов жгли костер и варили кашу, вереницей таскали ведрами воду в баню. Хмурилось небо, пахло свежим снегом и стылой сыростью реки. Похабов окликнул Савина. За Терехом увязался Якунька Сорокин. Приковылял, опираясь на палку, Васька Москвитин — краснояр. Толпой все пошли смотреть хлебный припас.

Иван отпер замок, распахнул дверь. Якунька присвистнул, глядя на оставшиеся мешки.

— Надо было считать, что стрельцы взяли! — укорил атамана.

А тот, сморщив переносицу, торопливо перебирал, сколько ртов в зимовье и на какое время хватит хлеба.

— До Рождества дотянем — хорошо! — тоскливо пробормотал Терех Савин.

Похабов закрыл скрипучую дверь, запер ее на замок.

— После бани будем народ собирать, думать, как жить и службы служить?

— Народу-то? — хмыкнул Сорокин. — Наших чертова дюжина с краснояром, перфильевских — пять калек да зимовейщики.

— Двадцать три! — посчитал в уме Иван.

— Ясырей-то воеводских за что кормить? — вскрикнул Сорокин, указывая на неизбежный раздор среди казаков. Москвитин смущенно опустил голову, понимая, что пережить зиму среди енисейцев ему будет трудно.

Сход собрался быстро и охотно. Казаки расселись возле ворот зимовья на тесаные бревна, прихваченные белым инеем. Этот лес на избу начинали готовить вскоре после прибытия отряда на остров. Иван неприязненно оглядел два десятка человек: старых, енисейских, новоприборных, присланных из других острогов, довериться мог только Филиппу Михалеву, Тереху да Дружинке с Дунайкой.

— Глаза бы на вас не смотрели! — невольно выругался. — Да деться некуда: голова болен, Перфильев уплыл, теперь я за вас в ответе перед Господом.

— Мы тебя на поход атаманом выбирали! — вскрикнул непокладистый Якунька Сорокин и важно обвел драным носом два десятка хмурых людей, припомнив купание в реке и отобранных соболей. — Твое атаманство кончилось, ты теперь такой же, как все! — Набрал в грудь воздуха так, что встопорщился распахнутый зипун. — Тереха Савина хотим! — крикнул, пыжась. — Ему покоримся!

Несколько голосов неохотно поддакнули.

— Ага! — с укором тряхнул бородой Филипп Михалев. — Терех молчком, в печали, самочинно выпьет вино, что у головы, на том атаманство кончится. Как брата похоронил — ходит что тень.

Недовольно закряхтели казаки. Никто не нашелся, как возразить. Сургутец угадал не в бровь, а в глаз.

— Тогда тебя в атаманы! — вскрикнул Якунька, грозно и непокорно вращая белками глаз.

— Не пойду! Мне живым вернуться надо. У меня двое сыновей в Енисейском меж дворов скитаются.

— Скитаются! — безнадежно передразнил казака Якунька. — У тебя свой дом, а сынам скоро в службу!

Сидевшие казаки неуверенно зароптали, разговор, которого все ждали, переходил в обыденные дрязги. Якунька сел, не зная, что сказать. Поднялся Филипп Михалев.

— Как ни правил нами атаман, но правил. Посылали Бекетову помочь, не шибко-то, но помогли. Вихорка погиб, однако. Зато мы вернулись не переранены, как с Перфильевым. Оно бы, может быть, и лучше было, если бы из зимовья не уходили, однако на все воля Божья. Не атаманским указом шли за Шаман-камень, сами приговорили, — напомнил общее решение.

На старого казака зашикали, чтобы говорил короче и ясней.

— Пусть и дальше Ивашка правит, пока голова не встанет или пока не вернемся, если Бог даст! — закончил он и сел.

Иван безучастно поглядывал на говоривших и споривших, не оправдывался, в их разговоры не вступал. С тяжестью под сердцем понимал: что бы они ни приговорили, то все равно ему быть на наказном атаманстве благословением казачьего головы. Когда казаки доброй волей согласились, что быть ему, подумал, что так, по их приговору, будет легче. Поднялся, поклонился на четыре стороны, надел шапку.

— Сегодня и завтра отдыхаем, после делимся: кому рыбный и мясной припас в зиму готовить, кому новую избу рубить. — Кивнул на бревна, на которых сидели казаки: — Половина уже есть! А уходить нартами Хрипунов не велит. Зимовать будем!

Легче всего было ловить рыбу. За неделю наморозили ее полный лабаз. Едва встал лед на реке, Якунька Сорокин с Илейкой Перфильевым отпросились на коренной берег, за мясным припасом. Иван подумал и послал с ними Дунайку Васильева. Вернулись они через три дня с мешком набитой птицы и опять с козами, слышали от тунгусов, что лучи-русичи где-то рядом, стали проситься искать Галкина.

Не столько в надежде найти казаков, сколько по желанию избавиться от двух крикунов и смутьянов Иван отпустил их. Они просили выдать полный пай из оставшейся ржи, Похабов предусмотрительно выдал только половину.

Утром на Михайлов день тихо умер Яков Игнатьевич Хрипунов. Дочь его ненадолго отошла от живого еще отца, когда вернулась с чашей воды, чтобы обмыть рану, казачий голова просветленным взором глядел в потолок. Лицо его будто разгладилось после долгих дум и помолодело. Живые глаза с чистыми, как первый снег, белками светились, будто наконец бывший воевода понял что-то важное.

— Отче? — удивленно окликнула его Настена, склонилась и выронила чашку, с криком припала к груди отца и не услышала стука сердца.

Похоронили Хрипунова рядом с Поспелкой Никитиным. Иван и Анастасия выставили на помин души остаток винного припаса, накрыли стол со всей возможной щедростью. Помянув покойного, казаки частью разошлись по холодным балаганам, другие остались на ночлег в избе. Атаман выселил из кутного угла ясырку, положил возле печки Настену, сам лег поблизости от нее на лавку.

На другую ночь в избу набилось еще больше народу. Настена завесила угол одеялом. Оставаться наедине с девкой Ивану было неловко. Девушка поняла это по его лицу и взмолилась:

— Не оставляй меня, дядька Иван! — жалобно взглянула на него большими исплаканными глазами. Похабов отказать ей не мог и стыдливо лег на прежнее место, теперь

завешанное от глаз, напоказ высунул ноги к двери, слушал перебранки казаков, терпел их насмешки и незаслуженные намеки.

Рудознатец, вызывая недовольство, ничего не делал, день за днем лежал на печи: ел да спал. Терпели его ради государева оклада, который на него был дан, по молчаливому уговору не гнали на работы до сороковин после упокоения казачьего головы. После того пришлось бы ему нести службы наравне со всеми, но хитроумный латинянин, назло всем, тихо помер до сороковин. Без обмывания и отпевания его закопали в конце острова против обледеневшей косы. По общему требованию атаману пришлось выставить остатки вина, хранимые к Рождеству.

Ясыря Яшку-дармоеда казаки терпели ради памяти о новопреставленном сыне боярском, но нещадно заставляли таскать лес. И он работал, как конь. Ни на какие другие работы ясырь не был годен.

На Савву Стратилата наконец-то поставили вторую избу. Срубили ее вдвое меньше той, на которую готовили бревна с осени. Сложили очаг из речного камня по-белому. Дым вывели через лесину с выгнившей сердцевиной, обмазав ее изнутри толстым слоем глины. Едва избенка прогрелась, туда переселились Иван Похабов с Анастасией и ясырями, Филипп с Терехом, Дружинкой и Дунайкой да Васька Москвитин. Как ни тесно было девятерым на трех квадратных саженях, но Похабов позвал красноярца в свою избу. В зимовье жили просторней.

Ударили морозы. Тунгусы отсиживались по меноэнам* и от безделья промышляли пушного зверя. Пока меха не были проданы и обменяны, надо было взять с них ясак за год. Иван отправил семерых казаков к аплинским и шаманским родам, троих бывальцев — ко князцу Бояркану. Остальные несли караулы и промышляли мясной припас к Рождеству.

Рожь кончалась, квас уже не ставили, хлеб пекли раз в неделю, сквернились рыбой в скоромные дни, варили заболонь. Яшка-ясырь бегал по острову с дурными от голода глазами, выл по ночам и катался по полу. В последний день перед кончиной из его раскрытого рта обильно текла слюна. Из боязни заразы ясыря вытолкали в баню, там он и умер: съел ли уснувшего осетра с визигой или еще какую отраву, этого никто не знал. Хоронили Яшку как единоверца, а помянуть новокреста было нечем.

Ни об ушедших к Галкину казаках, ни о нем самом новых слухов не было. Семеро новоприборных во главе с енисейцем вернулись от тунгусов с ясаком. Перед самым Рождеством пришли казаки от Бояркана. На расспросы осторожный Филипп пучил глаза, крестился и махал руками. Браты, по его словам, ничего им не дали, а Бояркан обещал сварить в котлах, если заявятся еще раз.

Не понимая, чем они разозлили князцов, Иван недоверчиво пытал вернувшихся и думал: «Самому идти надо!», но боялся оставлять Настену с голодными, озверевшими людьми. Она почуяла его душевные муки, подошла с несчастным лицом, губы ее дрожали, на ресницах искрились слезы.

— Не оставляй меня, дядька Иван! — опять попросила.

— Не оставлю! — обреченно вздохнул он, помня наказ умиравшего кума.

Праздник есть праздник! На Страстной неделе повеселела и сиротка. Вместе с ясыркой выскоблила свою и запущенную старую избу зимовья, празднично суетилась возле печи. На рождественский пирог ушла последняя рожь, но стол ломился от мяса и рыбы. Обстиранные, помывшиеся да в чистой избе празднично улыбались зимовейщики. После молитв во славу Божью пили брусничный сок с водой, ели, а говорили мало. И казалось Ивану, будто служилые, жившие в старой избе, томились его присутствием: начинали петь, чтобы показать Господу радость, и сбивались, затухая голосами, пробовали плясать и не увлекались.

Едва Иван и жившие с ним разошлись, в старой избе вдруг разгулялись, запели привольней, среди ночи кто-то стал стучать в дверь. Иван отпер, выглянул босой, в одной исподней рубахе. Клубы студеного воздуха хлынули через порог к горящей лучине. В свете низких звезд и северного неба перед избой топтались пятеро казаков, лиц которых он не узнавал.

— Круг приговорил, чтобы ты отдал нам одну девку! Хоть бы ясырку! — неловко ворочая хмельным языком, объявил новоприборный из Нарымского острога. — Вам, пятерым, две — несправедливо!

**Меноэны — зимние стоянки.*

— Я те покажу справедливость! — взревел атаман. Потом не мог вспомнить, как в руках оказалась сабля, выскочил босым на снег, завертелся чертом, рассыпая удары плашмя да тылом. Закрывая головы, новоприборные разбежались. За своей спиной Иван увидел Ваську Москвитина с саблей, Тереха с топором. В проеме распахнутой двери, сутулясь, стоял Филипп с пищалью в одной руке, с горящей лучиной в другой.

Вернувшись в избу, Иван бросил на лавку саблю, стал обуваться, желчно выругался:

— Пьяны!

— Намекали, что с осени поставили квасить ягоды! — зевая, пробурчал Филипп.

— Дядька Иван! — всхлипнула Настена, закусив губу. — Все из-за нас?

— Не из-за вас! — строго оборвал ее Похабов. — Бесы дураков подстрекают. Мне как атаману надо было их батогами вразумлять, да почаще! А я, грешный да жалостливый, терпел всем во вред. — Он размашисто перекрестился, вспомнив своих иноков-наставников. — В Писании сказано: «Аще добро твориши, разумей, кому твориши…»

— Не ходи к ним! — тихо, но настойчиво потребовал Филипп, а Терех с Дружинкой в один голос стали упреждать:

— Завтра, больные, станут покорны! Нынче только драку учиним!

Иван сбросил ичиг, тряхнул бородой:

— И то правда! — Заныли остуженные ноги, будто только сейчас встал на снег. — На Рождество попускаю греху тайнопития и тайноядения… Завтра дух вышибу из голодранцев!

— А лучше и безгрешней после Святой недели! — с готовностью поддакнул осторожный Дружинка.

На другой день утром через реку на остров переправились две оленные упряжки. Тунгусы топтались у ворот зимовья, пока к ним не вышел атаман. Толмача из старой избы он звать не хотел. Там еще не топили печь. После разгульной ночи все спали вповалку. Иван стал пытать прибывших тунгусов. С пятого на десятое, да с помощью пальцев понял, что посланные им для ясачного сбора казаки взяли по одиннадцать соболей с каждого взрослого мужика и еще подарки в почесть. А за порогом, с аплинских родов, просили всего по семь, да еще бисером одарили.

Невымещенная злоба ночи вскипела в жилах атамана.

— Пошли за мной! — позвал тунгусов в избу, усадил их возле очага, велел Настене угостить.

— Собирайся! — приказал верным служилым. Его прищуренные глаза горели, лицо пылало. — Однако придется погрешить на Святой неделе!

Пятеро вошли в зловонную избу. Караула на нагороднях не было, выстывшее жилье воняло перегаром и потом, на столе валялись объедки и остатки еды, по лавкам и на полу, кутаясь в одежду, спали казаки. Иные уже проснулись, кашляли, но разводить огонь не спешили, глядели на вошедших с несчастным видом. Иван опознал одного из пятерых приходивших ночью, поддал ему под бок ичигом, начал раскидывать и ощупывать мешки. Вскоре нашел что искал и вытряхнул у порога соболей.

— Не тронь! — сипло завыли из углов. — Наторговали!

— Служилым торговать запрет! — оборвал возмущенные голоса атаман, заталкивая соболей обратно в мешок.

— Ты что, совсем дурак? — вскочил нарымец. — Все торговали и торгуют против указа, и воеводы тоже. Кто бы служил за одно государево жалованье?

Иван захрипел, сдерживая рвавшиеся с языка слова, но не ответил, вышел с мешком в руке. За ним, хмуро поглядывая друг на друга, молча вышли товарищи.

Тунгусы, скинув парки, сидели на полу. Настена с раскрасневшимся от жара лицом угощала их разогретыми мясом и рыбой, выставила бруснику в деревянных плошках.

— Васька, присмотри за упряжками! — входя, приказал атаман.

Москвитин с пищалью на плече, с топором за кушаком пошел к оленям, Филипп печально качал головой и глядел на атамана с укором.

— Что? — рассерженно спросил он казака.

— Нельзя отдавать соболей тунгусам! — поморщился сургутец, досадливо теребя бороду. — Горячая голова! Не по тебе атаманство!

Сжав зубы, стараясь выглядеть спокойным, Иван вытряхнул соболей перед гостями.

— Ваши? — спросил, щурясь.

Не переставая жевать, тунгусы вытерли пальцы о меховые штаны, повертели в руках собольи шкурки, осмотрели надрезы. Закивали — наши!

— Ошиблись казаки! — подвигая им рухлядь, прохрипел Иван. Сморщил лоб, стараясь вспомнить, как это сказать по-тунгусски. — Считать не научились!

Гости поняли его и повеселели. Старший, круглолицый, с двумя дырками вместо носа, бросил снизку соболей на колени Ивану, показывая, что дарит в почесть. Его зыркающие по сторонам глаза то и дело останавливались на большом котле. А их было выставлено три: много посуды осталось от покойного Хрипунова.

— Подари им котел да что из посуды! — досадливо попросил Настену Иван.

Девушка с радостью ополоснула и протерла выскобленный котел, показала знаками, что чарки, из которых пили, гости могут забрать с собой. Тунгусы поднялись с радостными лицами, поблескивая черными бусинками глаз, стали одеваться.

Едва выехали на лед их упряжки, Филипп крякнул, отводя глаза, и укорил атамана:

— Вот тебе и запрещенный торг!

— Все при всех пересчитаю и сдам воеводе как поклоны! — поперечно вспылил Иван, но укор старого казака запомнил.

На третий, Степанов, день он не стал устраивать дознание о тайнопитии и ночном бунте. В этот день не тайком, а напоказ десять казаков стали готовить лыжи и нарты, куда-то собираться. Они укладывали котлы, одеяла, ружья, к атаману не обраща-

лись, а тот в пику ни о чем их не спрашивал. Молчали Филипп, Терех и Дружинка. Как атаман Похабов должен был их остановить и принудить к службам, но ничем другим, кроме драки и крови на Святой неделе, это противостояние кончиться не могло.

Утром в малую избу робко постучали. Сунув ноги в ичиги, подхватив саблю, Иван отпер дверь. У порога топтался караульный стрелец Дружинка. Борода и шапка его были белы от куржака, ствол пищали подернулся причудливым узором изморози.

— Ушли! — пролепетал выстывшими губами.

— Куда? — не сразу понял Иван.

— Почем я знаю, — отвел виноватые глаза стрелец. — Ушли через реку нартами. На промыслы, наверное.

— Сейчас выйду! — захлопнул дверь атаман.

Изба к утру и без того выстыла. За одеялом в углу чуть слышно молилась Настена. Она поднялась рано. После молитв, откинув полог, вышла к атаману одетая: маленькая, сухонькая, в полутьме рассвета похожая на старую монашенку.

— Я затоплю, дядька! — махнула ручкой. — Ты иди, если надо!

Все семеро ходивших за ясаком и еще трое казаков самовольно ушли из зимовья. Иван догадывался, что в Енисейский острог жаловаться. «Может быть, так и лучше», — подумал.

Глава 7

Просыпаться Угрюм не спешил: у здешних народов не было принято выскакивать из-под одеяла, как караульные казаки или промышленные. Балаганцы и тунгусы не будили близких грубо и резко, боялись, что вышедшая из спящего тела душа не успеет вернуться на место и человек потеряет разум. Прежде чем встать, у них в обычае долго потягиваться и ворочаться. Угрюм улыбнулся, не открывая глаз. Он наслаждался ласковым и осторожным поглаживанием женских рук, теплом очага. «Разбуди-ка меня тычком, — мысленно посмеивался над опасениями жены. — Еще и полудурком стану!» Своего увечья он уже не стеснялся, после войны в улусах было много калек.

Угрюм сладко зевнул, потянулся. У него под боком, раскинув руки, сопел сын. Почувствовав шевеление, он захныкал. Из-под толстого овчинного одеяла приподнялась на локте теща и осторожно взяла ребенка в свою постель. Между стариков сын утих, снова засопел. Они любили внука, дай им волю, с рук бы не спускали.

Угрюм встал, молча обулся. Жена подала прогретый у очага овчинный тулуп. Он накинул малахай, открыл дверь, завешанную изнутри войлочным пологом. Солнце уже поднялось, вокруг сколько хватало глаз была степь с желтой поникшей травой, присыпанной снегом. Угрюм скинул малахай, три раза перекрестился и поклонился на восход. Студеный ветерок жег лицо. Табун пасся поблизости от жилья, ночью он подходил к самому дому, и земля вокруг была дочерна перекопычена.

Жеребец задрал голову на долгогривой шее, угрожающе заржал, стал похрапывать, грозно поглядывая на жеребушку, зарысившую к хозяину. Заиндевевшей мордой она ткнула Угрюма в грудь, он вынул из рукавицы присоленный кусок лепешки, кобылка щекотно взяла ее губами с ладони, захрустела молодыми зубами. Эту лошадку Угрюм растил для сына и объезжать ее еще не пробовал.

Он заарканил двух сильных коней, зануздал и повел к дому. Шестистенный гэр*, в котором зимовала семья, был сложен из жердей, обмазанных глиной. Снаружи он казался старым и ветхим. Вид его вызвал самодовольную улыбку на шрамленом лице Угрюма. Осенью, когда куржумовские родственники делили выпасы, здесь никто не хотел зимовать. Обедневший Гарта Буха тоже воспротивился было такому дележу, но его родственник, потерявший на последней войне руку, язвительно напомнил, что у него зять хоть и бэртэнги**, но дархан с двумя руками. Все смеялись, обидев старого Гарту, смеялся и Куржум.

Последнее время над Гартой часто посмеивались: кто добродушно, а кто и зло. Дескать, сильно умен баабай***: не в бою раба добыл, не купил — дочкой заманил в работники. Притом многие родственники завидовали, что стадо Гарты при кузнеце увеличилось вдвое.

**Гэр — дом (бур.). **Бэртэнги — покалеченный (бур.). ***Баабай — отец, предок (бур.).*

Старик мстил насмешникам, по природному своему упрямству объявил Угрюма не работником и не полюбовным молодцом дочери, а ее мужем и своим зятем. Через две недели после обидного дележа выпасов он навестил Куржума и посмеялся над всеми. Сами выпасы в этих местах были хороши, это знали все. Ветхим и холодным был гэр, но зять утеплил его изнутри, плотно подогнал дверь, сделал окно, в два слоя затянутое бычьими пузырями, сложил чувал с вытяжной трубой. Теперь ветхая хижина даже при сильном ветре не наполнялась дымом. Стоило развести огонь, в ней становилось тепло даже на полу, застеленном шкурами и кошмой.

Однорукий гаатай* не поверил хваставшему родственнику и приехал посмотреть его жилье. Сердито посапывая, посидел у чувала, погрелся, поел и лицо его от зависти стало черней желчного пузыря. Не глядя на Угрюма, он сказал Гарте:

— Скажи дархану, пусть приедет ко мне, утеплит мой дом, а то сильно дует по полу, очаг дымит, старуха плачет, дым ей глаза выедает.

— Я ему не хозяин! — насмешливо и важно ответил однорукому Гарта Буха. — Если чего надо — сам проси моего зятя.

Родственник, набычившись, поднял на Угрюма узкие, окровавленные глаза:

— Сделаешь? — окликнул резко.

— Некогда! — как можно равнодушней ответил Угрюм. — Своих дел много.

— Свои дела сделает, поедет Куржуму помогать! — мстительно усмехнулся тесть, пощипывая седые кисточки усов.

Однорукий уехал не прощаясь.

— Нажили врага! — опечаленно вздохнул Угрюм.

— Лучше нажить одного, чем многих! — жестко сказал тесть.

Вспоминая о житейских делах года, Угрюм самодовольно посмеивался.

Он привел двух коней к дому, привязал к коновязи, заседлал высокими, как табуретки, степными седлами. Ночью был ветер, возле жилья топтался только табун, а скот ушел. Предстояло найти его и пригнать.

Он вошел в жаа гэр**. Здесь было уже жарко. Старики поднялись, пахло вареным мясом. Угрюм подумал вдруг: «Что за день нынче: постный или мясоед?» Вспомнить русское счисление не смог, да и невозможно было жить среди бурят по своему уставу. Разве под Рождество или Пасху, на Страстной неделе, он иногда голодал во славу Божью.

— Коней привел? — спросил тесть, прихлебывая жирный отвар из чашки. На деревянном блюде парило мягкое, разваренное для стариков мясо. Сидя полукругом возле огня, домочадцы пили, но не ели, ожидая его, Угрюма-дархана.

Как справедливо говорят тунгусы, ты хозяин своему слову до тех пор, пока не выговоришь его. Гарта сокрушался, что солгал однорукому родственнику, будто зять обещал подновить юрту Куржума. Не прошло и месяца, к ним приехал вестовой. Князец звал к себе дархана. Работы у него Угрюм не боялся. Не хотелось, конечно, отрываться от дома, но Куржум без награды не оставлял, даже когда сердился. Как ни был он зол на казаков, но, вернувшись в улус, одарил и за халат, и за шапку, и за поездку в зимовье на Тутуру.

Понимая здешние нравы, Угрюм на глаза князцу не лез, если его о чем-то спрашивали, отвечал осторожно, знал: что простится самому захудалому балаганцу, не простится ему, претерпевшему за братов и за Куржума с Боярканом столько, сколько не терпел ни один из их родственников.

Куржум встретил Угрюма приветливо, но большие черные глаза блестели насмешливо и зло. В теплой белой юрте у очага, свесив тяжелую голову, сидел тучный Бояркан. Он был печален и задумчив, на приветствие толмача едва кивнул. Угрюм отметил, что черного шамана нет. В юрте был желтый боо с гладко выбритой головой, вислыми щеками. Его глаза, запавшие как у покойника глубоко под лоб, едва разлеплялись узкими щелками и подрагивали ресницами.

**Гаатай — вредный, раздражительный (бур.).*

***Жаа гэр — маленький домишко (бур.).*

Женщины усадили прибывшего толмача и дархана против братьев и боо, налили ему в чашку жирного и горячего мясного отвара. Угрюм взял ее в ладони, якобы отогревая их после поездки. Хоть он и проголодался в пути, еда на ум не шла: опасливо гадал, зачем позвал Куржум, зачем здесь Бояркан? И почему в юрте только четверо мужчин? Он сделал несколько маленьких глотков, отщипнул мяса с ребра, пожевал, взглянул на Куржума вопросительно, кашлянул.

— Рассказывай, — с язвительным смехом приказал тот, — что тебе говорят черти про казаков? От мяса — мясо бывает! — кивнул на блюдо. — От отвара — отвар!

В последних словах Куржума был намек на неразрывную, кровную связь толмача с казаками. Слово «черти» Куржум сказал по-русски, имея в виду духов, а Бояркан, не поднимая головы, исподлобья бросил на Угрюма быстрый и пронзительный взгляд. По бурятским поверьям, кузнецы, как шаманы, сносились с духами. Угрюм все понял, но пожал плечами и взглянул на Куржума непонимающе.

— Как расстался с казаками, больше с ними не встречался, — ответил. — Даже промышленных людей не видел.

— Разве не донесли тебе черти, что ко мне пришли казаки из крепости, где живет их главный мангадхай, и потребовали ясак?

Угрюм помотал головой, показывая, что ничего не знает об этом.

— Семь дней сидят в моей плохой юрте и ждут! — хищно усмехнулся Куржум, не сводя с него немигающих глаз. — А я думаю, то ли убить их, как они убили сорок три моих воина, то ли побить, то ли дать ясак? Мне нужен твой совет. Говори давай!

Шрамы на губах Угрюма побелели. Он пугливо сглотнул слюну, бросил боязливый взгляд на потупившегося Бояркана, затем на желтого боо непонятной породы. И так как Куржум не спускал с него жгучих глаз, пролепетал:

— Почем мне знать, как с ними поступить… — Поколебавшись, добавил: — Убьешь их, другие убьют твоего сына!

Куржум торжествующе захохотал.

— Я отобрал у них сына и убил пятерых мангадхаев с тунгусами! — посмеявшись, снова вперился испытующим взглядом в дархана: — А если бы они пришли за ясаком к тебе? — строго спросил по-русски.

Обмирая пуще прежнего, Угрюм зябко поежился, набрал полную грудь воздуха:

— Дал бы! — выдохнул и заерзал на кошме, торопливо и сбивчиво оправдываясь: — Двое стариков, жена, сын, сам — калека. Куда мне против них?

— А если бы был хубуном, как я? — продолжал пытать его Куржум.

Бояркан тоже поднял глаза, ожидая ответа. Желтый шаман так и впился в него невидимыми зрачками через щелки глубоко запавших глаз. Угрюм понял, что отвечать все равно придется, покряхтел, залопотал, путая булагатские и тунгусские слова:

— Если придут хазак-мангадхай, вас они, может быть, и простят, а меня повесят. Их царь милостив к чужим и строг к своим… Если бы меня не трогали, как вас: живи и живи, только ясак плати, — я платил бы и жил… Что семь соболей с семьи? Тунгусы за бычка дают пятнадцать. А если бы кто напал на меня — я бы казакам пожаловался. Пусть они воюют — это их дело, им царь велит защищать вас.

— Отпусти! — хрипло приказал брату Бояркан.

Куржум обернулся к нему с переменившимся лицом, спорить со старшим, да еще при чужаках, не стал.

— Ешь давай! — взял с блюда ребро с вислыми гроздьями желтого жира и протянул Угрюму. — Далеко ехал, проголодался. — Его гладкое, безбородое лицо судорожно подергивалось. Он развалился на подушках и велел принести молочной водки.

Угрюм выпил чарку и другую. Тарасун был на редкость вонюч и горек. Тяжело закружилась голова, но тревога немного отлегла от сердца. После еды и выпитого по лицу Куржума стало понятно, что он справился с обуревавшими страстями. Глаза его прояснились, князец вытер жирные пальцы шелком и громко сказал:

— Ладно! Пусть никто никогда не скажет, что младший брат ослушался старшего! — Легко, как тунгус, поднялся на ноги, следом вскочил Угрюм. Покряхтывая, тяжело и неохотно встал Бояркан. Желтый шаман лежал на подушках с закрытыми глазами, отрыгивая воздух из кишок. Не проронив ни слова, братья вышли из юрты. За их спинами плелся Угрюм.

Ярко светило солнце, клонясь к закату, морозный воздух, запахи сухой травы, конского пота и навоза освежили голову. Белая юрта стояла на продуваемом пригорке, в стороне — еще три добротных и просторных из серого войлока. Под пригорком — рубленный шестиугольником гэр или загон с плоской крышей. Возле него на потниках сидели два косатых молодца в тулупах и лисьих шапках.

— Выводи! — приказал им Куржум.

Караульные послушно вскочили, откинули войлочный полог и вытолкали из-под крова трех бородатых русичей в суконных зипунах без шапок и оружия. Сперва Угрюм принял их за промышленных людей, но вскоре узнал казаков, хотя этих служилых никогда не встречал. Свежий ветер шевелил растрепанные волосы и бороды. Все, что им было наказано, они уже передали Куржуму и его мужикам. Показывая достоинство пославшего их атамана и государя, все трое дерзко приосанились, отряхивая зипуны, молча и строго смотрели на князцов, спокойно ждали их ответа.

— Хотел убить — да брат не велит! — злобно скалясь и постукивая плетью по ладони, сказал им по-русски Куржум. — Хотел побить! Но мои воины стыдятся бить пленных и безоружных! А без подарка и привета отпустить вас не могу. — Он вдруг взглянул на Угрюма так, что у того затряслись колени, и протянул плеть: — Побей сам! Все равно, говоришь, они тебя повесят или кнутом забьют!

Последние слова были сказаны так, что у Угрюма пропала всякая охота отнекиваться. Он принял плеть, широко расставляя ноги, переваливаясь с боку на бок, двинулся к казакам. Ткнул кнутовищем в бок одного, слегка хлестнул нераспущенной плетью другого и третьего.

— Ходи себе, давай! — прошепелявил.

Казаки презрительно и брезгливо взглянули на него.

— Спаси тебя Господь, князец, за щедрый поклон! — злобно кивнул Куржуму старший, с проседью в бороде. — Государь наш милостив! Принесешь ясак с покаянием, может простить.

Они развернулись и без шапок, в одних зипунишках безбоязненно двинулись на закат дня. Мерзлые корни выщипанной травы зашуршали под их ичигами. Угрюм на непослушных ногах вернулся и угодливо подал плеть. Заметил, что желтый шаман стоит за спинами караульных. Бояркан презрительно взглянул на дархана. Куржум, прини-

мая плеть, рассмеялся, и Угрюм жалко улыбнулся ему.

Бояркан со своими молодцами тут же уехал. По приказу Куржума караульные вынесли из избы, где держали казаков, их шубные кафтаны, одеяла и чугунный котел, растолкали все добро по кожаным мешкам, закрепили их подпругой на спине молодого, сильного мерина. Ночевать на стане Куржум кузнеца не приглашал.

Угрюм вскарабкался на своего коня, накормленного, но нерасседланного и двинулся по следам в ту же сторону, куда ушли казаки. Солнце к закату наливалось темной кровью, тени на снегу вытягивались и указывали путь. Он догнал казаков у буерака. Они выкопали яму в снегу, развели костер под склоном и готовились ночевать. При них были лыжи и нарты, припрятанные на подходе к стану. Головы служилые покрыли кто шкурой, кто рубахой. Угрюм подъехал к яру. Вдыхая тепло костра, крикнул вниз, махнул рукой, подзывая к себе. Трое быстро вскарабкались к нему по мерзлому глинистому склону.

— Это ты, урод? — схватил коня за узду старший. Лицо его было сухощавым, в морщины въелись грязь и сажа. При заходящем солнце он выглядел крепким стариком. Другой казак, с бородой в подпалинах, с цепочкой мелких сосулек над губами, уже ощупывал мешки на мерине.

— Быдарки бызьми! — пробубнил Угрюм смерзшимися губами и кивнул на мерина в поводу. Он обернулся к крупу своего коня, чуть приподнявшись на стременах, чтобы отвязать от седла повод узды мерина.

Тот, что с сосульками в бороде, одной рукой перехватил повод, другой так потянул на себя седока за рукав тулупа, что Угрюм кулем свалился на землю. Его конь заржал, встал на дыбы, скакнул в сторону с волочившейся по земле уздой.

Казаки деловито вытряхнули Угрюма из тулупа. Не найдя под ним ничего стоящего, без злобы дали толмачу пинка под зад, отправив ловить своего коня. Старший надел тулуп, сделал блаженным лицо и стал спускаться к костру. Двое других побросали вниз мешки с котлом и одеждой. Мерина, вращавшего испуганными глазами, они тоже наградили тычком, чтобы бежал к хозяину.

Угрюм поднялся, подобрал затоптанную шапку, заковылял к ждавшему его коньку, вскарабкался в высокое седло, стряхнул снег с меховой рубахи. Догнав мерина, побежавшего в обратную сторону, привязал его повод к седлу и торопливо зарысил к дому. Не было на душе ни тоски, ни обиды, ни злости — одна мерзость. Оглядывая темневшую степь, он пробовал читать молитвы, которые знал, но быстро сбивался и начинал заново: «Бог милостивый, Боже милосердный…» — дальше не шло на ум, и все казалось, что в этой степи, как ни удобна она для выпасов, кроме тоски и уныния, ничего другого не может быть.

Так он рысил, бормоча что-то под нос, пока не увидел в полутьме свой вольно пасущийся табун. Жеребец, задрав голову, выбежал навстречу, узнал хозяина, потряхивая гривой, всхрапывал, поглядывая на незнакомого мерина. Жеребушка доверчиво ткнулась мордой в колено хозяина. Угрюм погладил ее, угостить было нечем. Вдыхая всей грудью дымок очага, он подъехал к дому.

«Вот они: и родина, и народ, и все, что нужно человеку!» — думал веселея. Соскользнул с седла и почувствовал, как продрог в пути. Домочадцы, услышав всадника, гурьбой выскочили из дома. Тесть вытащил из окоченевших рук зятя повод, стал расседлывать коня. Полураздетая жена переминалась с ноги на ногу у двери. Из-за ее спины выглядывала теща.

— Давай заходи скорей, грейся у огня!

Он протиснулся в дверь. Булаг легонько коснулась его выстывшего плеча, сметая с него снег или пыль, скрытно лаская. «Вот она, родина! — опять подумал он, оправдываясь перед кем-то, хихикающим за плечом. — Другой нет!»

Его кормили и поили. Сидели кружком, ждали рассказа. Понимали, что поездка была не простой.

— Тулуп потерял! — пожаловался он.

— Другой сошьем! — утешила теща.

— Что племянник? — осторожно спросил тесть, глядя на огонь.

— Советовался! — вздохнул и кручинно опустил голову Угрюм. — Наверное, с казаками и с тунгусами воевать будет. Пятерых уже убил. Над многими бурятскими родами хочет быть хааном. Казаки его победят, простят и наградят, а меня за его войну казнят смертью!

Все молчали, глядя на огонь. Жена подала ему на руки сына.

— Это тебе духи сказали? — спросил тесть.

Угрюм хотел объяснить, что и без духов все понятно, но вздохнул еще раз и кивнул. Старик долго молчал, покусывая седой ус, потом сказал, покачивая головой:

— Кочевать надо! Только куда? На полдень, на другой берег Мурэн — аманкуловские роды мстить будут. На восход — икирежи. Мы их с пастбищ прогнали. Дальше — мунгалы. Грабить будут нас, пришельцев. Без роду, без племени плохо жить.

Из сказанного старым Гартой выходило: ничего поделать нельзя, надо смириться с судьбой и ждать.

— На Мурэн возле Далай* есть устье Иркут-реки, где собирается много народов. Я там хорошо жил. Кузнец всем нужен, — мягко возразил Угрюм.

Эта мысль пришла ему в голову как-то разом, осенила, увлекла — и на душе полегчало.

— В одиночку не прожить! — упрямо повторил тесть и хмуро добавил: — Вдруг не будет войны!

Угрюм пережил в братах еще одну зиму. Тому, что казаки его побили и обобрали, он был даже рад. Не обеднел, потеряв тулуп да кое-какие подарки от князца, зато не мучился, что по его приказу оскорбил единокровников. Мало-помалу забывались страхи и опасения. В семье царили мир и покой, скот множился.

**Далай — море (монг., бур.).*

На исходе была весна, подступало жаркое лето. Доносились смутные, противоречивые слухи с других станов. В улусах была какая-то суета. Но все это проносилось стороной от дома Гарты Бухи. И вдруг нежданно на его выпасах появился Куржум с сотней дайшей, вооруженных луками и пиками. Среди братских мужиков Угрюм высмотрел полтора десятка тунгусов разных племен. У одних волосы были распущены по плечам, у других стянуты на затылке конским хвостом.

Тесть встретил именитого племянника с большим почтением: заколол двух бычков и десять овец. Балаганцы пировали два дня, говорили юрол* баатару и друг другу. Угрюм ковал их коней и наконечники стрел, затачивал ножи и пальмы, чувствовал себя на пиру чужаком, хотел сесть на коня и куда-нибудь скрыться.

Едва съехало войско Куржума, тесть, с важным видом сидевший на пирах рядом с племянником, приуныл.

— Казаков воевать поехали! — сказал, опасливо и брезгливо оглядываясь — Бузар, бурхи**!

Земля вокруг стана была вытоптана и загажена. На пару с зятем он перевез юрту на другое место, но и там, на новом стане Гарта не повеселел: сидел у кизячного костерка, покусывал седой ус и думал. А у зятя все валилось из рук: предупредить казаков в остроге он не мог. Да и не поверили бы ему, но Куржум в отместку под корень извел бы семью Гарты Бухи. Хорошо еще, что не заставил дархана ехать за собой. Неспроста так жгли кузнеца его веселые и насмешливые взгляды.

Угрюм подсел к тестю. Мужчины помолчали вдвоем, глядя на тлеющее желто-синее кизячное пламя. Тесть поднял голову, взглянул на зятя жалостливо:

— Наших побьют — жалко! Наши победят казаков — плохо!

Дней десять прошло в томительном ожидании. Угрюм так и не обустроил кузню на новом месте. Булагатское войско возвращалось тем же путем. Все дайши были веселы и возбуждены, впереди ехал Куржум в блестящих латах. Тунгусы гнали за войском табун лошадей и стадо бычков. Молодцы вели в поводу груженых коней. На их спинах, связанные попарно, шевелились и клацали мешки, пищали, бердыши. Многие воины были опоясаны казачьими саблями.

И снова не проехал мимо родственника Куржум, остановил резвого жеребца. Двое молодцов соскочили с коней, ссадили его из седла, другие постелили на землю кошму, оказывая князцу ханские почести. На стане опять резали скот. Переговорив с Гартой, Куржум поманил к себе жавшегося в стороне Угрюма. Сильно прихрамывая и сутулясь, он встал перед князцом, почтительно склонил голову.

— Ты мне помог, дархан! — весело блеснули большие черные глаза. Князец был в добром расположении духа. — Хороший совет дороже серебра. Мне не понравились твои слова, что ста бурятским воинам не победить десять казаков, — улыбка покривилась на тонких губах с кисточками черных усов. — Хотя один мой воин может драться с тремя казаками! — добавил с важностью. — Но я принял твой совет и придумал хитрость: пятьдесят два казака упали к моим ногам, не успев взять в руки оружие.

Угрюм потупился, не зная, что сказать Куржуму: ни поздравить с победой не мог, ни укорить за пролитую кровь. Топтался на месте с растерянным лицом.

— Я-то при чем? — пожал плечами. — Ты знаешь повадки казаков лучше меня. Я никогда не был казаком! — угодливо прошепелявил и вовремя спохватился, чтобы не припомнить князцу зимовье на Тутуре.

Куржум самодовольно кивнул, поманил одного из своих молодцов, что-то сказал ему. Несколько дайшей принесли к юрте Гарты Бухи и сложили кучей два котла, зипуны, привязали пять лошадей, отогнали в его стадо трех коров и бычка.

Снова войско Куржума пило и ело. Угрюм ковал, чистил стволы пищалей, точил ножи, делал свою работу равнодушно и хмуро, не поднимал взгляда, чтобы не видеть глаз Булаг, узких и длинных, как вскинутые крылья морской птицы.

**Юрол — благопожелания.*

**Бузар, бурхи — нечистоты, грязь (бур.).*

Снова схлынуло войско Куржума, оставив после себя грязь и перекопыченную землю. Тлели костры его станов, повсюду валялись обглоданные кости, сильно пахло

людскими нечистотами. Надо было кочевать. Пройдет много лет, прежде чем земля скроет эти следы и очистится.

По хвастливым рассказам балаганцев Угрюм понял, что они вырезали острог под Падуном и, почувствовав себя непобедимыми, грозили перерезать всех казаков, ангинских и удинских бурят вместе с тунгусами Можеула, а самого тунгусского князца сварить в котле живьем.

Угрюм стоял возле затухающего горна, пока не скрылись за облаком пыли последние из всадников, потом поплелся к юрте, упал на овчинное одеяло и лежал без мыслей, без чувств, то и дело впадая в сон без сновидений. Подходила Булаг, присаживалась рядом. Тихо переговаривались у очага старики.

Растолкал Угрюма тесть Гарта Буха.

— Кочевать надо! — сказал хмуро и жестко, как о решенном.

Глубокая морщина залегла на его приплощенной переносице, поблескивали глубоко запавшие глаза.

— Куда? — равнодушно и отчужденно спросил Угрюм.

— Хоть куда! — резко ответил тесть. — Всю траву вытоптали. — Он помолчал и вдумчивей добавил: — К мунгалам идти надо. У них порядок. Ясак плати и живи со всеми в мире. — Гарта Буха покусал седой ус, поглядывая на зятя с сомнением: стоит ли делиться мыслями. — Племянник сказал, Алтын-хан казачьему царю служит. Он и прежде был самый сильный, главный хан среди мунгальских царевичей, теперь, с казачьим царем, стал еще сильней.

Эта весть оживила Угрюма. Он приподнялся на локте, затем сел.

— Знаю, где есть выпасы, торги и всегда много народов. Там и ремеслом, и промыслом, и скотом жить можно. Если доберемся, голодать не будем.

— Плохо без родственников! — доверчивей вздохнул тесть. — Но за их грехи все потерять и быть убитым... — бросил взгляд на внука, похожего на него, на вновь округлявшийся живот дочери. — То, что задумал Куржум, — война без конца. Хуже всего — это война с бурятами.

Угрюм чуть не обнял тестя. Все эти страшные дни домочадцы казались ему чужими, а сам, среди враждебных народов, будто был выставлен на посмешище. И вот он снова почувствовал опору: эти люди и были самым дорогим, что сумел нажить, — и его народом, и его родиной. Приняв на руки сына, он стал баловаться с ним и обсуждать с тестем, на какого коня что грузить.

На другой день женщины начали готовить припас в дорогу: сушить творог и мясо, сбивать масло. Одежда и постели были уложены в мешки. Мужчины разобрали юрту, распределили все пожитки на пять сильных лошадей. Четырех коней оседлали, семь повели в поводу. Кобылы шли вольно. Гарта Буха переживал не лучшие времена, но его семья и сейчас была небедной. На пару с зятем он погнал на полдень полсотни коров и бычков, отару овец. Семья продвигалась медленно, подолгу выпасая скот, обходя стороной кочевья родственников и врагов. Юрту не ставили, на ночь делали навес из кошмы.

Балаганская степь сменилась лесами, неудобными для выпасов. Кочевники вышли к реке Мурэн, погнали табун, стадо и отару, то удалялись от обрывистого берега, то приближались к нему. По пути они встречались с двумя промысловыми ватажками, которых не испугала весть о разорении острога. Угрюм узнавал места, по которым когда-то шел с монахами и с Пантелеем Пендой. Вспомнил и заросшее камышом устье притока, где Синеуль долго и страстно охотился на бабра.

Между рекой и черновой тайгой было просторное редколесье, где лошади, полсотни коров и овцы могли кормиться целый месяц. Если бы здесь не ложились глубокие снега, которые Угрюм хорошо помнил, можно было и зазимовать. Он поднимался в стременах, высматривал другой берег, не видел там ни скота, ни людей, и страх вползал под сердце. Места, в которые он зазвал тестя, оказались не такими уж благодатными. Промышлять в пути было некогда. Птицу и рыбу мог есть он один: у балаганцев такая пища вызывала отвращение. Отара в пути убыла на четверть. Угрюм понял вдруг, что в этих местах без запаса сена со скотом им не перезимовать. Без его ремесла семье не выжить, а ремесленник нужен там, где есть люди. Идти дальше на восход правым берегом к верховьям Зулхэ к враждебным ангинским бурятам тесть не желал.

— Здесь я зимовал! — Угрюм указал ему за реку. — Там всегда был народ, торговали, ясак везли. Сейчас никого не видно.

— Будут еще! — успокоил его старик. Он тоже бывал в этих местах. Оглядев пологий берег наметанным глазом скотовода, с недовольным видом поцокал языком. — Деревья растут густо, мешают ветру чистить землю. Если будет много снега, придется возвращаться.

То, что братская степь рядом и, при бедах, всегда можно вернуться, утешало обоих мужчин, а женщины во всем полагались на них. Булаг была тяжелой, ходила с трудом, переваливалась с ноги на ногу, откидывала назад тело, придерживая живот.

В долине притока с заросшим камышом устьем на сухом месте они поставили юрту. На другой день была радость. Булаг родила второго сына. Тесть зарезал самого упитанного валуха и стал разделывать его. Угрюм, с сожалением поглядывая на поредевшую отару, взял лук, сайдак со стрелами, сел на коня, собираясь осмотреть знакомые места, надеялся подстрелить дикого поросенка. Проехав камыши, поднялся на яр реки и пустил коня рысцой, поглядывая на устье Иркута. Свежий ветер с запахом чистой, речной воды вдруг пахнул в его лицо дымком. Угрюм стал внимательно осматриваться, то и дело привставал в стременах. Объехав поворот реки, с волнением окинул взглядом устье притока и скрытый береговыми зарослями остров, на котором когда-то зимовал, придержал коня, переводя его на шаг.

В лицо опять пахнуло дымом, на этот раз явно. Угрюм осмотрел берег и у кромки воды заметил на окатыше небольшую лодку-берестянку. Она была грубо сшита, но сделана явно не тунгусами: в изгибе бортов, в остове с вырезанной на счастье конской мордой было что-то извечно русское. Послышался шорох, под яром посыпались мелкие камни. К берестянке спустился старик в кожаной рубахе, мешком висевшей на костлявых сутулых плечах. Редкие седые волосы двумя пучками лежали на его ключицах, обнажая черную от загара, тощую шею и сморщенный затылок. Шапку старик нес в руке. За его кушак со спины был заткнут походный малый топор.

— Эй! — окликнул его Угрюм и тут только заметил торчавшую из яра колоду. Из нее и веяло дымом. Он соскочил с коня, в несколько прыжков оказался на краю яра, скатился вниз, когда старик столкнул на воду берестянку и пытался влезть в нее. Наконец тот оглянулся, увидел пришельца и распрямился. Белая борода свисла сосулькой, глаза переливались выцветшей синевой.

—Ты кто таков? — беззубо прошепелявил старик, сморщил лицо иссохшим грибом и почмокал сжатыми в трубку губами.

—Михейка Омуль? — ахнул Угрюм. — Ты все еще живой?

—А то как же? — с важностью заявил старик и добавил с достоинством: — Давно здесь живу, меня многие знают!

— А меня нынче никто не узнает! — пожаловался Угрюм. — Ведь мы с тобой в этих самых местах промышляли.

Он назвал свое крестильное имя и прозвище, но ни одна морщинка не дрогнула на лице старика, только шевельнулись иссохшие стерляжьи губы:

— С кем только не промышлял, поди, уж все померли... А я при батюшке Герасиме грехи отмаливаю, — вздохнул и возвел глаза к небу. — Нагрешил! Не без того! Но батюшка сказал, что нынешней жизнью выслужил себе помин за обеднями беспрестанно и за панихидами и Псалтырь говорить до сорока дней!

— Где он сам-то? — взволнованно спросил Угрюм, понимая, что толковать с Михейкой о былом бесполезно.

— Он за всех нас перед Господом радеет! — набожно перекрестился старик и кивнул под яр. — Хочешь увидеть — дождись! А сейчас к нему не ходи, не мешай! Я рыбку и кашу у входа оставил, после поест.

Угрюм обернулся куда указывал старик. На аршин под берегом видна была крепкая дверь из полубревен, стена в квадратную сажень, с маленьким оконцем. Вся остальная келья была врыта в глину. От землянки к воде спускалась тропинка со стертыми и обвалившимися ступеньками.

— Посиди! — старик указал глазами на лавку под окном и перекинул ногу в берестянку. — А мне в зимовье надо.

Он оттолкнулся от берега кетским, двухлопастным веслом и поплыл на другую сторону реки. Угрюм поднялся к келье, сел, зажав лук между колен, долго наблюдал за переправой, как течение быстро сносит лодку, и удивлялся какой-то неподдельной важности, появившейся в лице старого промышленного. Тот приткнулся к другому берегу возле мыса, где река круто меняла направление, посидел, отдыхая, встал и бечевой потянул лодку к Иркуту.

— Ничего не помнит, старый! — пробормотал Угрюм и почувствовал вдруг, как приятно говорить по-русски. Увлеченный, не услышал растворившейся двери.

— Ну, вот и прибыло жителей в моем городе! — раздался знакомый голос, тихий и

ласковый.

Угрюм обернулся, встал, скинул шапку, поклонился. На первый взгляд ему показалось, что Герасим за все прошедшие годы не переменился. Разве глаза стали ясней и будто зорче. Но, вглядевшись в его лицо пристальней, заметил сетку морщин вокруг глазниц, серебряные нити в бороде.

— С праздником! — снова улыбнулся Герасим одними глазами.

— С праздником! — опять поклонился Угрюм и тут же спросил: — А с каким?

— С Воздвижением Честного и Животворящего Креста Господня! - с чуть приметной горечью в голосе напомнил монах и добавил с грустной насмешкой: — Эх ты, Егорий от семи хворей!

— Узнал меня? — удивился Угрюм. — Я думал, с нынешней моей драной мордой никто не признает.

— Лицо каждый день меняется! — присел на лавку монах и взглядом пригласил гостя сесть рядом. — Душа не так скоро. Бывает, не к лучшему!

Угрюм, робея, присел па краешек скамьи, приткнул к стене лук и колчан со стрелами.

— Сквернишься, не молишься? — вскинул на него глаза Герасим.

— Молюсь!.. Почти каждый день! — горячо оправдываясь, прошепелявил Угрюм. — Бывает, про себя, но все равно... Ты-то здесь столько лет уже? И Михейка... Едва узнал его. Глазам не верю.

— Городу здесь быть! — отметая пустячное и суетное в сбивчивых вопросах пришельца, объявил монах. – А нам назначено место намаливать и строить!

— Кем назначено? — спросил было Угрюм и поперхнулся на полуслове: — Раз назначено, значит сбудется! Что себя мучить?

— Кабы так, — усмехнулся Герасим. — Господь задумал, на нас полагаясь. Исполним волю Его — будет! Станем, как скоты, ради брюха жить — огорчим Отца Небесного...

— Ты читать-то научился ли? — монах досадливо взглянул на гостя.

— Нет! — признался он. — Не дал Бог к тому ума. Молитвы помню: начал, богородичные, ангелу-хранителю.

— А мне дал Господь видеть город, который здесь будет срублен Похабовыми за грехи ваши. Иной раз слышу колокольный звон, а то и хожу но улицам в разные времена. То благостно глядеть, а то, прости, Господи, проснешься в слезах и давай молиться за грешное ваше потомство. — Он опять вздохнул и кручинно покачал головой.

— Чудно! — заерзал на лавке Угрюм, почесал грудь, взглянул в сторону острова. Над ним уже курился дымок, видимо, старый Омуль добрался до зимовья и затопил печь. — Два сына у меня. Последний сегодня только, на Воздвиженье, родился. Не дай Бог, всю жизнь будет бродяжничать, как я. Окрестил бы ты их, батюшка? А то ведь некому?

— Крещение — есть великое таинство! — тихо сказал монах, глядя на многоводное русло реки. — Его совершает священник с Причастием Святых Тайн, после литургии. Я же только утреню, вечерню могу вести, молебен, панихиду да за вас молиться.

— Промышленные сами крестят, — заспорил было Угрюм, думая, что Герасим отказывает за грехи.

— Они и лешему, и водяному требы творят! Мне по чину много чего не дозволено! Что не съездишь в острог, где есть поп? — спросил не оборачиваясь.

Угрюм засопел кривым, порванным носом. По его соображению, монах говорил нелепицу. Если весной со льдом поплыть в Енисейский, то обратно только к зиме вернешься. А скот? Хозяйство? Семья? Вслух же сказал:

— Война там! Казаки в прошлые годы полсотни братов перестреляли, а те нынче Братский острог вырезали. Скоро казаки вернутся, и опять польется кровь.

Монах никак не посочувствовал, не вошел в его беды, только шевельнул бровями, будто догадка пришла на ум.

— Ивашка Похаба обязательно придет с мщением! Неспроста нас Господь свел еше молодыми. Промысел Божий уже тогда сбывался, ради него блуждали и страдали во славу Божью, — обернулся к Угрюму, взглянул на него пытливо и

насмешливо, встал, показывая, что разговор окончен. — Давай хоть перекрещу! — предложил весело. — Может, часовенку или избу срубишь во славу Божью?

— Народ бывает ли там, как прежде? — приняв благословение, кивнул за реку Угрюм.

— Последние два лета совеем мало, — ответил монах. — Разве промышленные ватажки… Считай, и проповедовать-то некому. Этот год, после Троицы, был саянский князец Янлоха. Спрашивал о вере, о казаках. Он кочует где-то близко, в долине Иркута. Жаловался, выпасы у него плохонькие, бросовые, а все равно обижают его и мунгалы, и братские люди...

— Если промышленные Иркутом ходят, значит, воровской тес проложили! — торопливо заговорил Угрюм, стараясь задержать Герасима. — Казаки узнают, придут, но не здесь, а там, на острове острог поставят, чтобы мимо никто не проходил. И торг на той стороне был. Там надо часовню рубить! — махнул рукой за реку.

— Нет! Здесь будет город! — коротко ответил монах. — Бог милостив! Не пропадешь! — махнул рукой и скрылся за дверью.

Угрюм постоял, оглядываясь то на реку, то на келью, подхватил лук, колчан со стрелами, полез на яр, где был отпущен конь. Недалеко один от другого виднелись два крутых поворота реки. Помнилось, что возле верхнего рубили с Пендой лес на зимовье и течение выносило плот едва ли не к другому берегу. Прикидывал, сколько плотов надо связать, чтобы до снега переправить скот. Берестянка скитников облегчала его заботу. С другой стороны, после Михайлова дня река все равно покроется льдом и можно будет переправиться без трудов. А сколько снега навалит к тому времени — неизвестно.

На обратном пути к стану из камышей выскочил и настороженно уставился на Угрюма матерый вепрь. До него было шагов тридцать. В другой миг он резко развернулся боком, раздумывая, укрыться или обойти стороной коня и человека. Угрюм пустил стрелу из лука, целя под лопатку, пониже вздыбившегося загривка. Тяжелый, кованый и заточенный наконечник вошел в плоть не меньше чем на ладонь. Кабан резко развернулся на месте и бросился на коня. Тот вздыбился, скинув седока. Падая в болотину, Угрюм увидел, что кабан с торчавшей из бока стрелой сбил лошадь с копыт и ударил еще раз. Конь судорожно засучил копытами, кабан же отбежал на десяток шагов и упал набок, стрелой к небу.

Угрюм поднялся на подрагивавших ногах. Ясно вспомнился подравший его медведь. У коня были перерезаны жилы по суставам и вспорот живот. Угрюм, прихрамывая, зашел со спины, прижал коленом к земле гривастую конскую морду, с жалостью перерезал горло засапожным ножом, затем опасливо подошел к кабану. Зверь был мертв. Угрюм потыкал его палкой, похлестал по раскачивавшейся стреле, склонился и вонзил нож в бок, напротив сердца. Зверь не дрогнул. Тогда Угрюм перерезал крепкую щетинистую кожу на горле, чтобы выпустить кровь.

«Воздвижение! День постный!» — подумал покаянно. Дорого досталась первая добыча на местах прежних промыслов. Но мяса кабана и коня должно было хватить надолго. Сняв седло, он поплелся к стану, звать тестя. Одному и до ночи не освежевать две туши. Угрюм шел и думал: «К чему все это в день рождения второго сына — Вторки?»

Строить часовню он так и не взялся, но и не отсиживался, бездельничая при пасущемся стаде. Без малого две недели валил и шкурил лес на повороте реки. Ладони его покрылись кровавыми мозолями, ныла спина — отвык от прежней многотрудной жизни промышленных людей, да и силы были уже не те. Изредка встречаясь с Михеем, Угрюм оправдывался перед стариком, придут, мол, другие, из просохшего леса соберут часовню. Он переправлялся на остров на берестянке, чтобы осмотреть выпасы на другом берегу Ангары. Зимовье было то же, поставленное наспех после пожара. Нижние венцы прогнили до трухи. Пока не встала река и скот отъедался прибитой заморозками травой, Угрюм наспех подлатал избушку, забил щели мхом.

—Часовню-то будешь ли рубить? - забывчиво переспрашивал Михей.

— В другой раз! — отмахивался Угрюм, неуверенно обещал: — К весне, если вернусь, сделаю!

Все чаще и явственней напомнила о себе зима. Как-то вечером заморосило, а ут-

ром выбелило все вокруг. Снег падал весь день, скот с мокрыми спинами подступил к юрте, отара сбилась в тесный круг, пережидая непогоду, кони лениво разгребали снег копытами, неохотно щипали мокрую, иссохшую траву. Снег растаял уже на другой день, но тесть стал чаще говорить о переправе. Бог милостив, осень выдалась бесснежной, но морозной, река встала рано, и, едва окреп лед, Угрюм с тестем снова загрузили домашний скарб на коней. Переправив скот через реку, дали ему отъесться осенней травой среди редколесья пологого берега. Опасливо поглядывая на темные тучи, семья заспешила к холмам, в верховья Иркута.

Ни Угрюм, ни Гарта Буха этими местами не ходили, понаслышке знали о просторной и благодатной долине в верховьях притока, но чем дальше поднимались по Иркуту, тем больше сужалась теснина, выше поднимались по берегам крутые горы. Холодало, но Бог миловал, большого снега все еще не было. Никто не корил, не мучил Угрюма расспросами и сомнениями, но на почерневших лицах домочадцев стыл страх. Лес становился все гуще. Обнадеживала тропа, по которой явно гоняли скот. Тесть не поднимал на зятя пустых, будто вымороженных глаз. Всех мучило чувство, что они глубже и безнадежней втягиваются в западню. Травы не хватало, бычки и кони грызли кустарник. А горы становились еще выше, тайга еще непроходимей. И только тропа в иных местах расширялась, указывая, что по ней прогоняли стада вдесятеро большие, чем имела семья Гарты. Закружила на месте одна овца, потом другая, их зарезали и с брезгливостью съели. Наконец, оглядывая заснеженные горы, тесть сипло выговорил:

— Если не выйдем к людям, другой зимы нам не пережить! — Помолчав, добавил: —Придется возвращаться нищими.

Но долина стала расширяться, открылась просторная, окруженная хребтами падь. На ее вырубленных и выжженных людьми склонах показались выпасы без снега. Появились следы недавней пастьбы. Угрюм перекрестился, не снимая с руки тяжелой рукавицы, ожили глаза тестя. Встречи с людьми долго ждать не пришлось. Уже на другой день после полудня впереди показалось десять всадников с луками и пиками. При каждой оседланной лошади было по одной, а то и по две заводных. Видимо, путь всадникам предстоял дальний. Скота при них не было, и это насторожило Угрюма. Когда до встречи с ними оставалось шагов сто, тесть просипел, вжимая голову в плечи:

— Мунгалы!.

Всадники окружили навьюченный караван, на приветствия и славословия Гарты Бухи не повели ухом, переговорили между собой весело и непонятно. Угрюм понимал разве одно слово из десяти, но и по тем почувствовал насмешку над его семьей. Лицо тестя стало серым, застывшим в ожидании беды. Двое всадников ощупали навьюченный на молодого коня тюк с войлоком от половины юрты. Не успел Угрюм глазом моргнуть, один из них чиркнул ножом по подпруге и обрезал недоуздок. Тюк свалился на землю, конь заплясал, со ржанием вырываясь из незнакомых рук. Захрапел жеребец, Угрюм обернулся и увидел на его гривастой шее волосяную веревку.

Деловито переговариваясь, всадники двинулись дальше, погоняя и нахлестывая плетьми упиравшихся коней. Двое лихо свесились из седел и подхватили с земли по овце. По дряблым щекам теши текли слезы, глаза жены сузились, брови опали крыльями морской птицы, закончившей взмах. Мунгалы, не оборачиваясь, скрылись за поворотом застывшей реки. Не было от них ни угроз, ни побоев, ни требований. Семью так равнодушно ограбили, будто обломили ветки безмолвного дерева. Жаль было жеребца и молодого, сильного коня, жаль овец. Томил душу ужас, застывший в глазах женщин. Мужчины, не сумевшие защитить их, стыдливо молчали. Угрюм неловко спешился, осмотрел сброшенный войлок.

— Отдохнем? — спросил тестя. Надо было перевьючить груз на другого коня и залатать перерезанную подпругу.

Женщины не слезали с коней, дав им волю щипать сухую, поникшую траву со снегом. Разбрелась поредевшая отара. Перегрузив войлок, кочевники продолжили путь и вечеру увидели на открывшемся склоне просторной пади пасущийся скот и остановились на ночлег.

На другой день Угрюм решил в одиночку ехать к людям. Тестя он оставил с

женщинами и детьми, выбрал старого коня, которого не так жалко потерять, оседлал его чем похуже и направил к видневшемуся стаду. Вскоре он был замечен, навстречу выехали двое верховых мужиков. Поперек их седел лежали дубины, на запястьях висели тяжелые плети. Всадники остановились с непроницаемыми липами и преградили Угрюму путь. Одеты они были просто, по-братски, но волосы их не были убраны в косы. Оба пристально разглядывали изуродованное лицо гостя. Под одним из них Угрюм узнал седло, из своих первых, неумело сделанных много лет назад. С тех пор оно не раз чинилось и латалось, но служило до сих пор.

— Я делал! — опасливо улыбаясь, указал на седло рукой. Всадники взглянули на него с недоумением;

— Дархан?

Угрюм закивал. Лица погонщиков оживились, стали приветливей.

— Езжай туда! — указал плетью один из них. Другой подвел своего коня, показывая, что хочет проводить гостя на стан, и стремя в стремя зарысил рядом с Угрюмом к кочевому жилью.

— Вдруг ты брат того дархана? — спросил, обернувшись на скаку, то и дело придерживая своего сильного коня, вырывавшегося вперед. — Отчего лицо другое?

—Медведь такое сделал! — криво усмехнулся Угрюм.

Пастух в засаленном тулупе, с блестевшим, будто смазанным жиром лицом откинулся и захохотал.

С реки, где осталась семья Угрюма, видна была только малая часть просторной пади. Теперь она открылась во всю ширь между пологих горных хребтов с лесом на вершинах. Среди обдутой ветрами желтой травы чернели круглые плешины утугов*, грубо огороженных поваленными деревьями. На безлесной сопке стояли пять юрт и рубленый гзр с плоской крышей. Возле него высились обсиженные воронами лабазы. Мужик с масляным лицом крикнул; «Выходи!» Из юрт выскочили босоногие ребятишки в длинных рубахах, выглянула женщина в островерхом колпаке, стыдливо прикрыла лицо воротом халата.

— Дархан приехал! — объявил сопровождавший Угрюма всадник.

Селение оживилось. Женщины стали выбрасывать из юрт котлы с оторванными ушами, понесли хозяйственную утварь и украшения. Угрюм только посмеивался, сидя в седле.

— Много работы, быстро не сделать! — Чтобы не разочаровывать жителей, он важно и добродушно уверял их: — Пока не налажу все, не уеду! Покажите, где можно

поставить мою юрту и пасти мой скот.

Он снова окинул взглядом селение и обернулся к самой большой и богатой юрте. Над ней курился дымок, но никто даже не выглянул из-под навешанного полога.

**Утуг — отстой для скота и овец.*

—Хубун здоров? — с почтением спросил Угрюм окруживших его женщин и стариков. — Как его славное имя? Кто его предки?

— Болен! — коротко ответил сопровождавший гостя мужик, и лицо его стало хмурым: — Яндокан его имя!

Угрюм спешился и поклонился в сторону большой юрты, чтобы соблюсти приличие и не нажить врагов. Соскочил с коня и мужик, приведший его в селение. С короткими, колесом торчавшими из-под шубейки ногами он сразу стал низкорослым и непомерно широкоплечим. Раскачиваясь на ходу так, что едва не касался земли длинными руками, прошел к большой юрте, скрылся за войлочным пологом, а когда вышел, объявил:

— Яндокан сегодня не может говорить с тобой. Как будет здоров, так поговорит. Ставь свою юрту где хочешь! — повел вокруг сложенной вдвое плетью и спросил: — Сколько у тебя скота?

Угрюм ответил. По толпе стариков и женщин прокатился смешок: по их понятиям, он был беден для уважаемого дархана. Кобыл и меринов ему предложили запустить в табуны рода, телок и коров — в их стада.

Довольный поездкой, Угрюм вернулся к своему стану. Его усадили у костра, дали творогу и разваренного сушеного мяса с сильным душком. К вечеру на пару с тестем они поставили юрту возле селения, отогнали свой скот и коней в стада и табуны.

Десяток отощавших овец довольствовались остатками травы возле жилья. Утром, когда еще все спали, Угрюм сложил из камней горн и развел огонь. Он еще не был готов к работе, а жители опять понесли сломанную домашнюю утварь.

Два дня кузнец работал от темна до темна. Как мог, ему помогал Гарта Буха. Но старику хватало работы по дому. Куча сломанных вещей убыла на треть. Приковылял все тот же колченогий мужик с блестевшим от жира липом, постоял, глядя на работу кузнеца, и сказал:

— Хубун зовет!

Этого приглашения Угрюм с Гартой ждали с нетерпением, без него и работа, и скот, запущенный в чужое стадо, и жизнь в селении — все было ненадежно и даже опасно. Угрюм оттер снегом перепачканные сажей руки, следом за тестем пошел к большой юрте. Посередине ее горел очаг. Освещалась она только через вытяжную дыру и светом огня.

Когда глаза привыкли к полумраку. Угрюм увидел князца, обложенного подушками. Голова его была покрыта островерхой шапкой, шитой серебром, лицо казалось болезненным, опухшим. Пришельцы поклонились ему, тесть почтительно спросил, здоров ли он и множится ли его скот. Князец раздраженно и неохотно ответил:

— Все было хорошо, пока не взбесились кони. Пришлось на полном скаку прыгать на камни, — указал кивком на пустой рукав халата и предложил сесть по другую сто рону от очага. За его спиной сидели две женщины. Обе были покрыты островерхими колпаками, обшитыми соболями.

Сначала князец показался Угрюму человеком в годах, чуть моложе тестя, приглядевшись, он понял, что тот молод, но лицо его было сильно побито. Опухоль и синева еще только начали спадать. Тесть, как старший, стал рассказывать о себе: какого он роду-племени, где его кочевья и какая беда привела его семью в эти края. Гарта Буха не счел нужным что-то скрывать. Потупив глаза, сказал и о том, что его родственники перебили казаков острога, а он с зятем не участвовал в войне и не хочет страдать за свою родню. Угрюм опасливо поглядывал на Яндокана: не осудит ли бегство. Но припухшее лицо князца от слов старого балагапца стало приветливей, он негодующе фыркнул:

— Атха шухта! Не понимают своей удачи жить рядом с казаками!

И велел женщинам угостить пришельцев.

Когда тесть, опустив глаза, стал жаловаться, что у него неподалеку отсюда отобрали жеребца, князец скрипнул зубами и пробормотал:

– У меня отобрали десять лучших коней! Нет больше порядка на этой земле!

Догадка осенила Угрюма: уж не был ли князец избит теми же мунгалами, которые ограбили его семью?

Яндокан сказал, что бывал у боо Герасима с Михеем, с уважением говорил о них и их вере, ругал черных и желтых шаманов, которым одни верят, другие не верят. Разговаривал с ним тесть, Угрюм старался почтительно помалкивать и только напоследок спросил:

– Ходят ли здесь промышленные люди?

– Ходят! – как о пустячном ответил князец и махнул здоровой рукой в верховья Иркута. – Каждый год ходят, хороший товар привозят.

Прошла неделя, о кузнеце услышали другие роды, к нему стали приезжать, и платили больше, чем здешние жители, приютившие безродного дархана с семьей. Угрюм работал с удовольствием, вспоминал, как выручало его ремесло и в плену, и на чужбине, понимал, что не выжить бы ему в Сибири, не научись он ковать железо и плотничать. Жизнь семьи налаживалась, овец в отаре прибывало, Угрюм с Гартой уже стали подумывать, не остаться ли с Яндоканом до лучших времен, когда закончится война балаганцев с казаками. Они знали, что Яндоканов род тоже ушел от своих соплеменников из-за распрей. Их родовые кочевья были далеко к закату, здесь родни не было, поэтому мунгалы грабили их чаще, чем других, а буряты притесняли.

Где-то под Рождество, когда работы стало меньше, Угрюм обнес кузницу стенами из жердей и накрыл крышей, в тепле работать стало приятней. Как-то раз к нему пришел сам князец в лисьей шубе нараспашку, за наборную опояску халата был заткнут напоказ кривой кинжал, на груди висела серебряная пластина с узорами.

Угрюм поклонился ему и, так как князец молча осматривал кузницу, продолжил работу. Важный гость простоял долго, глядя, как старые, стертые подковы под молотом мастера превращаются в наконечники стрел. Наконец поднял руку, желая говорить. Угрюм отложил молот, князец вынул из-за пазухи литой серебряный крест, протянул и сказал:

– Сделаешь из него десять боевых тунгусских наконечников к крепким моим стрелам для тяжелого моего лука!

Угрюм повертел в руках чужой, нерусский крест, лихорадочно соображая: «Раз стрелы понадобились тунгусские, беззвучные, да еще серебряные, значит князец задумал мщение».

Яндокан, помолчав, продолжил:

– Стрелы должны быть прямые и тяжелые, в три локтя длиной, наконечники к ним – острые, чтобы пробивали войлок!

Угрюм рассеянно закивал, пристально разглядывая крест. Как ни вышаркано было серебро, однако на нем можно было разглядеть распятье, Спаситель был с косой и в халате.

– Мне нельзя рубить крест на наконечники, – смущенно указал глазами на распятье, – руки отвалятся!

– Пусть тесть рубит! – строго приказал князец.

Стрелы с серебряными наконечниками, явно нужны были для мщения, а если князец пришел в кузницу один, значит, не хотел, чтобы сородичи знали о заказе.

– Сделаешь тайно! – подтвердил он догадку дархана. – Хорошо сделаешь, дам жеребца!

«Все равно крест не наш, чужой! – кивая, думал Угрюм. – А тестю что? Он – нехристь!»

Гарта Буха в селении Яндокана повеселел и помолодел, его сутулившиеся плечи распрямились. Иногда он помогал зятю в кузнице, но больше работал по дому: увеличивавшуюся отару уже приходилось выпасать. Повеселели и женщины, с их лиц будто смылся кислым молоком затаенный страх, осевший в глазах после победы Куржума над казаками. На Угрюма все они смотрели как на хозяина и главную опору семьи, во всем ему помогали и ласкали. Он осторожно поговорил с тестем о заказе хубуна и Гарта согласился, что Яндокан собирается мстить мунгалам, а значит оставаться в селении опасно. Опять надо было кочевать.

Угрюм сделал тайный заказ, сам ходил по лесу, выбирая прямые рябиновые и березовые побеги, нарезал их с запасом, отобрал лучшие, просушил и выскоблил, сравняв сучки и изгибы. Вдали от чужих глаз из своего клееного трехслойного лука он пустил стрелу, она пробила войлок с двадцати шагов и впилась в кору дерева.

Зима была на исходе, в полдень на солнцепеках оттаивала земля и капало с кровли. Угрюм выждал, когда князец будет один, подошел к нему и с поклоном сказал, что заказ выполнен, можно смотреть. Яндокан бросил ему отмятую козлиную шкуру:

– Принесешь рано утром, когда все спят!

Ночью шумел ветер, вздрагивал войлок. Угрюм поднялся первым, раздул очаг, оделся, подхватил козлиную шкуру со связкой стрел и пошел к большой юрте. Над ее вытяжным отверстием уже курился дым. Угрюм пошаркал ичигами у входа, покашлял, спросил:

– Не спишь ли, Яндокан-баатар! Дархан пришел пожелать тебе крепкого здоровья!

Дрогнул полог, показалась женская рука, высунулась голова в колпаке, обшитом черными соболями, молодая женщина с гладким смуглым лицом приветливо взглянула на раннего гостя, шире откинула полог, приглашая войти. Высоко задирая ноги, Угрюм переступил через порог, скинул тулуп, комом поставил его у входа. В юрте было тепло, князец неспешно чествовал утро нового дня, сидя возле очага, попивая горячий напиток из трав и молока.

Угрюм положил у его ног козлиную шкуру, князец покосился на нее. Молодая жена принялась за прерванное гостем дело: стала заплетать косу на затылке Яндокана. Когда она надела на голову мужа островерхую шапку, хубун пошевелил головой на крепкой шее, вытянул из шкуры стрелу, осмотрел ее, потом другую и третью.

– Хорошо сделал! Дам молодого жеребца и кобылу!

– Опробовал! – радостно похвалился Угрюм. – С двадцати шагов пробил войлок. Ты и со ста шагов прострелишь! – вкрадчиво польстил.

Полные губы князца дрогнули, он поднял на Угрюма зрачки, блеснувшие в щелках глаз, впился в него испытующим взглядом и предложил:

– Оставайся в моем селении навсегда. Будем мы богатыми, и ты не будешь бедствовать!

Угрюм смущенно опустил глаза, замялся. Он не мог сказать, что ослепленный яростью, как Куржум, Яндокан мало думает, чем его злость обернется для народа. Оставаться под его покровительством не хотелось.

– В твоем селении я сделал всю работу, – стал оправдываться. – Издалека уже приезжают, зовут там поработать…

Князец не стал ни уговаривать, ни настаивать:

– Земля большая, сам выбирай где тебе лучше. Только одному везде плохо!

– Как узнаем от промышленных людей, что Куржум помирился с казаками, вернемся к нему! – пояснил Угрюм, чутко прислушиваясь к голосу князца. Со своей сиротской долей вмешиваться в распрю с мунгалами ему не хотелось.

День был хмурый, пахло снегом, после полудня пошел дождь, к вечеру стал просекаться мелкими снежинками, но в снег так и не перешел. Ночью ветер разогнал облака, и выдалось ясное утро. Поглядывая на почерневший лед Иркута, тесть сказал Угрюму:

— Если уходить, то сейчас!

Зимой они много говорили о летней перекочевке, и дело было решенным. Солнце поднялось над горами, закурился пар над мокрым войлоком юрт, над южными склонами гор с отопревшей землей. Весь день семья дархана сушила, скатывала войлок, разбирала, связывала и укладывала остов юрты. Жителям стана они говорили, что идут к братскому князцу Нарею, в верховья Иркута. Обмана в их словах не было. Люди этого князца не раз приезжали в улус Яндокана, звали дархана поработать у них.

На другой день Угрюм с тестем навьючили лошадей, привели коров, бычков и телок из стада, неспешно выпасая в пути погнали на полдень. Долина реки снова сузилась, черновая буреломная тайга подступила к берегам. Скотопрогонная дорога то и дело уходила в сторону, спрямляя извилистый путь Иркута. Новая зелень еще только набирала силу у самых корней. Горы становились выше, но теперь это не пугало путников. От приезжавших зимой людей и Яндокана они знали, что Нарей выпасает свои стада на самом краю просторной и благодатной долины, жить и кочевать по которой почли бы за счастье все здешние народы. Но как всякое благое место на земле, долина была занята, получить в ней свой улус и удерживать его за собой мог только сильный, многочисленный и воинственный народ.

Так они шли с неделю, и открылись раздольные поляны выпасов князца Нарея. И снова все повторилось, как было зимой. Только теперь они подходили к стадам безбоязненно: с некоторыми людьми были уже знакомы, другие слышали о семье кочующего дархана. Нарей, толстый, веселый князец с плутоватыми глазами, принял их ласково и шумно, щедро угостил Гарту с Угрюмом, говорил, что работы им хватит на все лето. Они опять поставили юрту рядом с его селением и немного в стороне, у кромки леса. Угрюм сразу принялся делать навес над тем местом, которое выбрал под кузницу, начал складывать горн. Рядом с ним с утра до вечера толклись ребятишки и росла гора поломанной, сносившейся домашней утвари.

Ковал он непрерывно почти месяц. Только после этого стали появляться дни для отдыха. Отара Гарты Бухи так умножилась, что тесть каждый день выпасал ее. Пастбища Нарея были просторней и ровней выпасов Яндокана, но улус его со всех сторон теснил лес. Мужики Нарея с завистью говорили о просторных выпасах в долине, а Гарту как чужака оттесняли к лесу.

Занятый работой, Угрюм мало вникал в жизнь и заботы здешних людей. Зато тесть вызнал многое. Как щедро ни платили за работу его зятю, он понимал, что благополучие и удача князца Нарея с его людьми зависят от бурят и мунгал, кочевавших в долине. Если они не приезжали и ничего не требовали, его народ жил счастливо, если начиналась война с киргизами или калмыками либо усобица между мунгальскими царевичами, соседи, не спрашивая, забирали у рода коней, скот и молодых парней, могли прихватить и кузнеца, если он им понадобится.

Когда работы стало меньше, старый Гарта с зятем навестил Нарея. Сказав слова благодарности и благопожеланий, он стал выспрашивать о свободных выпасах и кочевьях.

— В одну сторону долина, — махнул князец на закат, — в другую Далай-Байгал! — указал на отрог хребта, густо заросший ельником. Он был доволен работой дархана. — Дорога туда широкая, не заблудитесь. Тунгусы там сильно злые. Зимой, в холода, они спускаются с гор. Торговые и промышленные люди ходят за Байгал-далай,

но свой лучший товар продают мне. А выпасов там всего на сто голов. Расплодится сто одна — все падут от бескормицы и вы погибнете вместе с ними.

Запали Угрюму на ум слова Нарея про сто голов скота: роду не прожить, а семье можно. Он помнил исток Ангары — скалистый, горный, непригодный для жизни скотовода. Там и промышленные долго не задерживались, потому что за каждым соболем надо было лазить по крутым склонам гор.

«Выпасы на сто голов — это уже хорошо, — думал. — Да птица, зверь, рыба, которую жена, тесть и теща не едят, но станет голодно, смогут поддержать жизнь и такой едой».

Распрощавшись с людьми Нарея и с самим князцом, Угрюм погнал свой табун, стадо и отару на полдень, вверх по притоку Иркута. Здесь был прорублен бечевник. На узких, разбитых тропах с гатями и с колеей волока стругов видны были следы лошадей и скота. Стадо и отара то и дело увязали в болотине. Лютовал овод, но не так сильно, как за Енисеем. И комар здесь был не так зол, как в низовьях Ангары. Тайга с зеленым вислым мхом на деревьях пугала. Скот голодал, то и дело сбиваясь в кучу. Ревели быки и коровы. Но тяжело идти было только два дня.

Вдруг стало больше света, пахнуло в лица влажной свежестью и открылся байкальский залив, окруженный высокими горами с густым лесом на склонах. Низинные заливные луга зеленели свежей травой. Скот привольно разбрелся по ним, увязла в траве отара. Мужчины сняли поклажу с коней и начали устанавливать юрту. Здесь можно было стоять без всяких забот не один месяц, кормов всем хватит.

Угрюм жадно всматривался в берега Байкала, не такие крутые, какими видел их возле истока Ангары, и не так близко подступавшие к воде, как там. Глядел на причудливый хребет, уходящий в воду мелководного залива, похожего на култышку, и чувствовал, что где-то здесь ему хотелось бы прожить с семьей всю свою жизнь. Больше никого ни видеть, ни знать он не хотел.

Глава 8

Не в добрый час прибыл в Енисейский острог новый воевода Андрей Племянников, едва принял должность, получил государев указ восстановить Красноярский острог. Сибирский приказ велел собрать и вернуть в Красный Яр прежних, разосланных по службам красноярских казаков, но одни ушли на дальние службы с Бекетовым, другие с Галкиным и Перфильевым. Иные, с енисейскими окладами, служили на Лене-реке у всесильного воеводы-стольника Головина.

Сын боярский Племянников еще не успел приглядеться к старым служилым людям, а из Братского острожка, от Василия Черемнинова, с недоброй вестью прибыли вестовые казаки. Пятидесятник просил помощи, доносил, что среди братов и тунгусов учинилось непослушание: ясак давать не хотят, енисейских служилых людей Ивашку Колмогора, Буторку Антонова да толмача Мишку Тарского Куржум с Боярканом держали у себя две недели, всякое насильство им чинили.

Оголяя енисейский гарнизон, новый воевода стал собирать полсотни стрельцов, казаков и прибранных новоявленно*. Иван Похабов, узнав, что Братский острог опять в осаде, вызвался идти на помощь: тамошние князцы были ему знакомы. Но казаки и стрельцы вдруг припомнили ему обиды под Шаманским порогом и били челом воеводе, чтобы им быть под началом старого стрельца пятидесятника Дунайки Васильева. Спорить с казаками воевода не стал. Иван Похабов был скорей удивлен, чем обижен отказом, но Дунайка при встречах с ним воротил нос, напускал на себя важный вид, на лице его блуждала торжествующая ухмылка: на этот раз, дескать, не проведешь!

— Без службы не останешься! — посмеялся воевода над незадачливым сыном боярским, отправил перемену в Братский острог и стал собирать с ближних служб красноярских переведенцев. Как и в прежние времена, Сибирский приказ возложил на енисейцев обязанность своими силами снабжать хлебом Красный Яр. Когда-то против этой повинности, а не против самого острога боролись и отписывались енисейские воеводы.

— Краснояры так Краснояры! — равнодушно согласился Иван Похабов. Воевода приказал вести рожь вверх по Енисею. В такой службе было мало чести, а прибыли и вовсе никакой. — Идти-то с кем? — спросил. — Если я десяток гулящих у острога наберу, то хорошо! Больше не сыскать.

На этот вопрос новый воевода не смог ответить сразу, повздыхал, спросил подьячего, сколько собрано красноярских переведенцев, и согласился с Иваном, что надо кликнуть охочих гулящих людей.

Но Бог не без милости, казак не без удачи! Разбитыми гатями и топкими тропами из Маковского острога к самой нужде пришли три десятка ссыльных

черкасов и литвинов. Воевода на них надеялся, но ждал не раньше осени, а потому радостно встретил и ласково принял длинноусых шляхтичей.

**Прибранные новоявленно — прежде не служившие.*

Прочитав наказные грамоты Сибирского приказа и тобольского воеводы, Племянников позвал Похабова.

— Вот тебе и люди! — сказал, облегченно крестясь на образа. — Там война с Польшей! — указал глазами на закат и потряс полученными грамотами. — Этих наш государь пленил и сослал в Сибирь не навечно. Если послужат на совесть — отпустим на родину…

Вид у ссыльных был утомленный и тоскливый. Иван разглядывал их с неприязнью. Для него русские православные люди, служившие латинянам, были хуже еретиков.

— Помню табачников! — желчно усмехался, вспоминая вольную юность. — Крикливы, заносчивы! Отдохнут, отъедятся, покажут еще себя.

— Куда им деваться? — жестко и опасливо взглянул на него новый воевода. — В воинском деле искусны. Не за нашего государя, так за свою шкуру будут воевать.

Похабов холодно посмеялся. Воевода был прав. Бежать со здешних служб можно было только на дальние государевы, как бежали из Тутурского зимовья Илейка Перфильев да Ивашка Ребров с Ивашкой Сергеевым. После нападения на него Куржума спаслись и сплыли к воеводе Головину Мишка Стадухин с Алешкой Оленем.

Пока ссыльные отдыхали красноярцы и гулящие конопатили, смолили и грузили барки под началом Похабова, Иван не отлучался из острога дальше причала и вдруг пропал его шебалташ. Он хватился утром: хотел привычно опоясаться — нет ремня с золотыми бляхами. Помнил, что прошлым утром надевал, снимал ли вечером — запамятовал. Если утерял золотую пряжку, то где-то возле острога в людных местах. Раз ее никто не возвращал, значит, не нашли или присвоили. «Ну и ладно, — подумал с облегчением. — Видать, на ветер камлал кетский шаман».

Три тяжелых барки, груженных рожью, бурлацкой бечевой и парусом пошли против течения реки к Красному Яру. Ссыльные шляхтичи держались скопом, в споры и душевные беседы с красноярцами и охочими людьми не вступали, дымили трубками, злобно отбивались от гнуса, тянули барки, не отставая от привычного к этому делу сибирского люда.

На первый ночлег отряд остановился у заимки Галкиных, бурлаков встретил младший брат атамана Осип. После службы он был на льготе и управлял ясырями, пахавшими землю под озимь. А земли у Галкиных было десятин двести. За две недели отдыха молодой казак переругался с ленивыми ясырями и захребетниками, встрече с енисейцами был несказанно рад, стал жаловался Ивану, что ясыри грозят его убить, а у него уже нет сил терпеть их. Осип боялся, что сам схватится за саблю и порубит всех. Пожилой бурлак из гулящих енисейских людей стал степенно корить молодого казака, что тот не умеет править работными:

— Это тебе не служилые! К тому же новокресты. К ним подход нужен, с добром да с их выгодой. Я пока дошел до Енисейского из-под Устюга, в двух слободах работал по найму, знаю, как хозяйством правят!

Гулящий устюжанин был не молодым, но и не ветхим еще мужчиной: прихрамывал, шепелявил, потому что потерял треть зубов, зато поглядывал вокруг умудренными жизнью глазами и уже подумывал о старости. Осип, услышав не обидные, но и не лестные для себя слова, взглянул на бурлака пристально и строго.

— Кто таков? — спросил Ивана Похабова.

— Не пьяница, не игрок, работал у старца Тимофея в скиту, подрядился бурлачить доброй волей, — равнодушно ответил сын боярский.

Глаза Осипа плутовато блеснули. Как кот, почуявший поживу, он соскочил с хозяйского места в красном углу, присел на лавку рядом с устюжанином.

— Вот и останься вместо меня! — предложил с жаром. — Правь заимкой, коли умеешь. А мы с братом подати за тебя заплатим и жалованье хлебом положим!

— Так я тебе и отдал бурлака! — рыкнул Иван на соблазнителя. — По-доброму мне бы еще десяток таких, как он.

— А я вместо него пойду! — ничуть не смущаясь, предложил казак. — Поручную грамоту составим при свидетелях, а утречком его тягло на себя возьму. Давно хотел посмотреть Красный Яр.

Похабов не нашелся, как возразить. Поменять пожилого на молодого он был не прочь, пробормотал насмешливо:

— Ой, смотри! Вернется атаман, всыплет батогов по-братски!

Иван думал, что осерчавший на ясырей казак балагурит. Но нет! Осип провел устюжанина по полям и покосам, показал постройки, конюшню, скотный двор. Утром они составили поручную запись, на восходе солнца бравый казак уже шел в бечеве, а вчерашний бурлак смотрел вслед каравану с высокого берега.

Два десятка бывших красноярских служилых, возвращавшихся к прежнему месту службы, три десятка ссыльной литовской шляхты, енисейский сын боярский с казаком Галкиным и семеро охочих людей то парусом, то бечевой продолжали тянуть суда с рожью к большому енисейскому порогу.

Гулящий Ивашка Струна, выходец из калмыков, шел одной баркой с Похабовым. Его большой, губастый рот с желтыми, конскими зубами был всегда раскрыт, маленькие и злые медвежьи глаза пристально обшаривали берег.

— Печенкой чую! — визгливо крикнул Похабову, облизывая толстые губы. — Конные люди идут за нами. Глянь! Глянь! — указал на береговые заросли. — Ветра нет, а кустарник шевелится!

Охочий объявился в Енисейском остроге недавно. Он беспрестанно ругался тонким, как звон струны, голосом, имел дурную славу игрока, смутьяна и пьяницы. Никто из гулящих поручиться за него не хотел, Похабов взял его из нужды и от безлюдья. Крест на шее Струна носил, но в церковь зашел только для крестоцелования, будто по принуждению исповедовался и причастился в путь, на верность товарищам по походу приложился вывороченными, сомовьими губами к Честному Кресту и Святым Благовестам. Поп Кузьма поглядывал на него с тоской, а перед выходом шепнул Похабову:

— Зело хитер и коварен! Смотри за ним в оба!

Сын боярский недоверчиво оглядел кустарник берега, ему тоже показалось, что ветки ивняка шевелятся, будто под ними идет толпа или едут верховые.

— Может, и следят! — согласился с охочим. — Если нападут, то ночью или около порога.

Не ошиблись ни Похабов, ни Струна. Возле большого порога при шуме воды на песчаную отмель выскочило до сотни всадников. Пригибаясь к гривам, они понеслись на бурлаков, на скаку стреляли из луков. Наметанным глазом красноярцы высмотрели среди них и киргизов, и тубинцев, и моторцев, и кашинцев.

Ссыльные черкасы и литвины, не дожидаясь команды, похватали пищали и укрылись за баркой. Пока красноярцы зажигали фитили, они дали залп по всадникам, приложив к запалам раскуренные трубки. После залпа вставили тесаки в стволы, бесстрашно вышли из-за барки в мокрых штанах и встали шеренгой. Выскочившие из порохового дыма всадники напоролись на их клинки, сбились в кучу. Тут дали залп красноярцы.

Бой длился недолго. Нападавшие после второго залпа развернули коней, поредевший воровской отряд отхлынул и помчался к лесу, преследовать его Иван не велел. Ржали раненые кони. Одни, потеряв всадников, носились по отмели, другие метались, волоча за собой убитых.

Служилые переловили коней, взяли ясырей из раненых. По общему решению всю добычу отдали ссыльным. И только Ивашка Струна визгливо орал, доказывал, что он первым упредил о нападении и первым бросился на воров. Охочие, служилые и ссыльные смеялись:

— Было дело! Упреждал! И бросился первым, бесстрашно. Но только с шестом!

— Да шест против конных верней пищали! — бесновался Струна и брызгал слюной.

Ссыльные, увидев раздор из-за добычи, доброй волей отдали ему легкораненого ясыря. На том Ивашка успокоился. Остальное черкасы и литвины поделили между собой добычу по своему обычаю. На месте Красноярского острога они без труда продали ясырей и лошадей, сдали рожь воеводе, прибывшему из Томского города. Красноярские переведенцы остались под его началом. Ссыльные и охочие, помолясь Святой Троице, Богородице, Николе Чудотворцу и своим святым покровителям, поплыли вниз по реке на легких, разгруженных барках.

Осип Галкин сдружился в пути со ссыльными, плыл среди них, ночевал у их костров. Чем ближе подходили барки к заимке Галкиных, тем чаще он вспоминал оставленного устюжанина, посмеиваясь, обещал устроить всем богатое застолье, если, конечно, ясыри и работные не разбежались и не сожгли, не разграбили заимку. Осип ничуть не сомневался, что охочий, которого сменил в отряде, все лето чесал брюхо и бездельничал на его кормах.

Барки пристали к берегу в устье речки, по берегам которой был земельный надел атамана. Оставив возле них небольшую охрану, Похабов разрешил всем отдыхать на заимке. Осип с важным видом принял поклон устюжанина: втайне был рад и тому, что тот не в бегах, приказал топить баню, готовить стол для товарищей и пошел проверять хозяйство. Вернулся он с удивленным и веселым лицом, когда в бане парились литвины вперемежку с охочими. Оглядывая служилых, казак восторженно поднял палец к небу и почтительно уставился на устюжанина:

— Первый раз вижу гулящего не вора, а работящего хозяина. И чего тебе, такому справному, в Устюге-то не сиделось?

Устюжанин, услышав похвалу, повеселел, горделиво приосанился, но от нечаянного вопроса сник, пробормотав что-то о судьбе. Пытать его о прошлой жизни Осип не стал.

Он был так доволен хозяйством, что почел за счастье передать его в умелые руки. На радостях достал из тайного погребка бочонок с ягодным вином, выбил пробку, попробовал вино сам, дал попробовать устюжанину, крякнул от удовольствия и предложил:

— Оставайся совсем! А я в острог, на службы!

Люди Похабова досыта наелись баранины и ржаной каши, напились квасу и вина, которое разливал и подавал бывший бурлак. Все хорошо отдохнули под кровом и утром отправились дальше. Когда они прибыли в острог, берега Енисея уже вызолотились желтым листом. Подступала осень.

Перед Крещением, в самый разгар зимних праздников, когда от веселья отяжелела голова, Ивану приснилось, что полез за печь, а там — шебалташ. Проснулся он до рассвета, на полатях, жена лежала под боком, дети спали. Уже и думать забыл о чудной безделушке, но снова встали перед глазами бесовские бляхи, которые носил много лет. Уснуть Иван не смог, ворочаясь, дождался, когда поднимется жена и затопит печь. Она раздула огонь, поставила под образа сына и дочь, велела мужу читать молитвы начальные. Иван неприязненно отмахнулся:

— Сама читай! — и с горящей лучиной полез за печь.

Он убрал старый шушун, отодвинул седло, все заплесневелое, давным-давно брошенное женой в кучу. Заглянул в щель, там тускло блеснуло золото. Сон был в руку.

— Ни дна тебе, ни покрышки! — тихо выругался, вытаскивая шебалташ с позеленевшей кожей. «Вот же пристал! — подумал с тоской. — Нет, не на ветер камлал кетский шаман. Знал, что говорил!»

И томило его душу недоброе предчувствие до самой весны, а она застала сына боярского на Тасее. Прошел лед. По наказной памяти воеводы Похабов повернул от устья Тасееевой реки в Рыбное зимовье на Ангаре. Другой год здешние тунгусы исправно платили ясак и не заводили смут. В зимовье, на высоком скалистом берегу, жили два старых стрельца и казак Лапа Гаврилов. Служилые радостно встретили Похабова с его людьми, натопили баню. Угощая приевшейся до оскомины рыбой и ухой, осторожно сообщили о смутных слухах.

— Верь не верь, что слышали от верных ясачников, то говорим, — потупился на скобленую столешницу Лапа при молчании товарищей. — Будто два казака, посланные зимой Дунайкой Васильевым с его отписками в Енисейский острог, до нас не дошли. Одни говорят, померли в пути, другие — будто их тунгусы пограбили.

— А наши тунгусы будто слышали про это от аплинских! — поддакнули стрельцы. — Что правда, что не правда — разбери-ка?

— Скажу воеводе про слухи. Пусть думает, — отдуваясь после бани, пообещал Иван. Распаренный, румяный, не спешил хлебать уху, а попивал квас, утирал лоб рукавом рубахи. Подумав, спросил: — А где они сейчас, те тунгусы?

— Ищи ветра в поле! — в один голос зашумели годовальщики

Иван с тремя спутниками отдохнул, принял ясачные меха и поплыл вниз на легком, четырехвесельном стружке. Косяками носились над рекой утки и гуси, кормились на отмелях и у берегов. Казаки стреляли из луков только тех, что были перед судном, за добычей не гонялись, а вечерами пекли тушки на углях костров впрок, на весь следующий день.

Неподалеку от острога, на Енисее, возле островов, со струга заметили спешно догонявшую их берестянку с одним гребцом. Иван велел казакам пристать к берегу и ждать. Вскоре они узнали в лодке того же Лапу Гаврилова из Рыбного зимовья. Он подгреб к стружку, схватился за борт, не переводя дыхания, заговорил:

— Только вы уплыли, через день пришли к нам тунгусы с жалобой, будто браты не велели им давать ясак в Енисейский, а приказали платить Куржуму, Котуге и Коногору, грозили побить, если ослушаются и похвалялись, что всех казаков в Братском они перебили, никто живым не ушел!

Лапа замолчал, вглядываясь в лицо сына боярского, тот недоверчиво кряхтел и чесал бороду:

— Надо, однако, к воеводе плыть!

Загудел Енисейский острог от страшной вести, хоть и не было очевидцев. Десяток служилых, казачьи жены, церковный причт, мужской и женский скиты передавали друг другу похвальбу братских мужиков. Одни молились, другие подвывали с растерянными, отчаявшимися глазами, третьи просто молчали. От тех слухов воевода Андрей Племянников за несколько дней постарел и осунулся. Никаких других вестей от Дунайки не было, ясак он не присылал. Бездействовать и ждать посыльных из Братского острога становилось опасно. Все понимали, если слух подтвердится, то нынешнему воеводе за его медлительность придется ехать в Москву в цепях.

По другим слухам, с Кети в Енисейский острог шел новый отряд пленных ляхов и черкасов. Сын боярский Николай Радуковский спешно собирал с ближних служб казаков и стрельцов, оголял посты на тайных путях промышленных людей. Иван Похабов по наказу воеводы снова кликнул охочих из гулящих и промышленных людей.

Выбирать не приходилось: брал всех, кто соглашался идти в Браты без жалованья, за прокорм в пути и боевую добычу.

— Полтора десятка! — ввалился он в съезжую избу, торопливо перекрестил лоб, откинулся на лавку. Добавил с неприязнью: — Отъявленная пьянь и голь: крест на шее, плошка да ложка.

— И то! — поднял красные от бессонницы глаза воевода. Виновато вздохнул, тоскливо взглянул на темные образа. — Бери под свое начало! — Помолчав, добавил: — Зря я прошлый год послушался казаков и стрельцов! Опять же, послал бы тебя против их воли — тяжко бы было с ними…

— Тяжко! — согласился Иван. — Я бы и не пошел наказным атаманом! Наатаманился еще при Хрипунове.

— От ссыльных приходили выборные, просили в атаманы Осипа Галкина, — тверже взглянул на него воевода.

— Добрый казак! — похвалил Иван. — Умел с ними ладить, когда в Красный Яр ходили. А мне охочих кому другому отдать нельзя. Обидятся! Сам заманил, самому вести!

— Вот это правильно! — встрепенулся воевода. — По-христиански!.. А служилых людишек, которых я собрал с ближних служб, пусть ведет пятидесятник Черемнинов. Он недавно из Братов, знает, кого казнить, кого миловать и как к острогу подойти.

Иван кивнул, соглашаясь, что служилых должен вести Василий. Болезненно улыбаясь, воевода с облегчением пошутил:

— А что синяк под глазом?

— Так я же в кабаке прельщал людей идти на братов! — поморщился Иван.

— И то! — опять взглянул на образа воевода. — Со ссыльными и охочими сотня набирается… Пишу вот в Томский, — потер перед носом пальцы, испачканные чернилами. — Прошу прислать служилых. Атамана Галкина на Лене переменить некем. Перфильев другой год без перемены. Острог остается без гарнизона. Самому в караулы ходить придется. Вся надежда на сотника Бекетова, если вернется к осени.

Черемнинов собрал всех служилых, кто мог тянуть бечеву. В его отряде оказались Филипп Михалев, Михейка и Якунька Сорокины. С толпой гулящих людей в Енисейский острог пришел младший брат Сорокиных, Антип. Был бы при остроге впусте оклад служилого, поверстали бы и его, но не было окладов. Антипа взял в отряд Иван Похабов, прибрал так же Ивашку Струну, Ваську с Илейкой Ермолиных, вернувшихся с промыслов с бедной добычей. Братья были зловредными людишками, но Иван их хорошо знал, а приходилось брать даже никому не известных людей, таких он опасался больше, чем знакомых смутьянов.

Дымили костры на берегу. Ссыльные, служилые и охочие смолили струги и барку. Суда были сплошь плохонькие, разбитые переходом из Тобольска, снасти того хуже: веревки рваные, паруса сопревшие. Выбирали лучшее, воевода с подьячим про запас ничего не таили.

Иван издали высмотрел в отряде Черемнинова Филиппа Михалева. Они давно не виделись, оба уклонялись от встреч, а если нечаянно сталкивались — приветствовали друг друга, но в разговоры не вступали. Стеной стояла между ними Савина. Может быть, знал Филипп о ее грехе, может быть, Ивану только казалось, что знает. На этот раз, подходя к отряду Черемнинова, он поприветствовал всех общим поклоном, а старого казака — отдельно. Тот ответил как обычно: ни хмуро, ни весело.

— И ты воевать? — хотел пошутить Иван. — От молодой-то жены?

— А то как же? — строго ответил Филипп, слегка смутив Ивана. — Нам Бог велел служить до сноса.

— Вдруг острог цел! — присел рядом с ним Похабов, хотя начатый смехом разговор не получался. — Всякое бывает: пропали вестовые в пути, вот и ходят ложные слухи? Обратно придется на лыжах идти или там ждать весны!

— Ничего, перезимуем! — дружелюбно пробурчал Филипп.

Иван посидел еще, не зная, что спросить, гадал про себя: «Неужели доброй волей от Савины уходит или ему с ней несладко?» О себе же подумал с усмешкой: «Дал бы Бог такую жену, наверное, напросился бы куда-нибудь в слободу, в тихое место, вдруг и землю пахать бы стал?» Ныла под сердцем тоска по неудавшейся семейной жизни. Неделю всего-то пробыл в остроге. Две ночи пьянствовал, три — жена провела у скитниц на всенощных бдениях. За бедность уже не корила, но выставляла напоказ всякую нужду: ходила в латаном сарафане, скрывала лицо черным платком, о детях больше заботилась жена Терентия, чем она. Не скандалила, помалкивала, на вопросы отвечала односложно и равнодушно: «да» и «нет». Притом совсем не набожно и не благостно щурила бирюзовые глаза. После долгой разлуки, со скрытым злорадством объявила мужу в супружеской постели, что восчувствовала призвание к монастырской жизни. Как ни плоха была в прежние годы, но в нынешнем обличье стала для Ивана еще хуже.

Поговорив с Михалевым о пустячном, он так и не решился спросить про Савину.

Помолчав, встал и направился к своим стругам.

Хлебный оклад воевода давал отряду на год. Если Дунайка с годовальщиками окажется жив, то Похабов с охочими должен был вернуться с ясаком. Если слух подтвердится, велел сыну боярскому Николе Радуковскому казнить изменников с милостью: привести к покаянию, повиновению и новой присяге. Народы, прежде не платившие ясак, приводить под государеву руку.

После обычного молебна об отплытии атаман всех отрядов Радуковский надел шапку и махнул рукой. Первыми двинулись струги Черемнинова, за ним пошли барка и струги ссыльных Осипа Галкина. Замыкал караван Иван Похабов с охочими людьми. Далеко впереди отряда неслась молва о сотне казаков, идущих к острогу. Верные тунгусские роды спешили навстречу, под их защиту, мятежные бежали. И чем дальше уходил отряд, тем меньше оставалось надежд, что Дунайка Васильев со своими людьми жив.

На устье Илима к каравану вышел с повинной тунгусский князец Иркиней. Зная его коварство и вероломство, старые казаки глядели на тунгусское посольство настороженно и неприязненно. Иркиней с пятью мужиками безбоязненно подъехал на оленях к бечевнику. На его испещренном татуировкой лице сияла невинная белозубая улыбка, поверх шелковой рубахи среди жаркого лета на плечи накинута соболья шуба. Наметанным глазом Иркиней высмотрел среди казаков атамана, подъехал к барке, к важно глядевшему на него сыну боярскому, вынул из кожаного мешка связку черных соболей, встряхнул, подал Радуковскому и указал пальцем на язык.

Сын боярский кликнул толмача Митьку Шухтея из гулящих людей Ивана Похабова. В Енисейском остроге Митька похвалялся, что может говорить с тунгусами и братами. Жалованья он не получил, но после похода воевода обещал толмачу выхлопотать оклад. Митька радостно бросил бурлацкую бечеву, побежал на зов Радуковского. Ивашка Струна обидчиво поглядел ему вслед сузившимися глазами.

— Я по-калмыцки и по-киргизски толмачу, что с того? — просипел, оглядывая утомившихся бурлаков.

Солнце палило во всю силу, у воды лютовал овод, ревел, носясь над головами, радужно облипал на спинах и плечах бурлаков. Подтянув суда к берегу, они отмахивались от гнуса, топтались на местах, не зная, сколько придется стоять. Тунгусы тут же развели дымокуры и уткнулись в костерки татуированными лицами. К ним жались олени, всовывая морды в клубы дыма. Как ни дымили трубками ссыльные, гнус жрал их пуще енисейцев. Отмахиваясь в две руки, они по примеру тунгусов побросали постромки и стали раздувать дымокуры. За ними начали разводить костры другие бурлаки.

Разговор на барке тянулся долго. Иван ждал, что Радуковский позовет его и Черемнинова — людей бывалых в этих местах, но тот не звал. Наконец на берег сошел Иркиней без шубы, за ним Митька Шухтей, следом спустился по сходням атаман в раскаленной солнцем кольчуге. Иркиней оставил двух вожей из своего окружения, остальные его мужики сели на оленей и скрылись в лесу. Радуковский подошел к дымокуру, в который уткнулись лбами Похабов с Черемниновым.

— Илимского князца Иркинея знаете? — спросил, присаживаясь.

— Как не знать? — кашляя и шмыгая носом, просипел пятидесятник. — В этих самых местах привечал нас с Хрипуновым и атамана Перфильева. И не илимский он, тасеевский!

— У тунгуса вся тайга — родина! — пояснил Радуковскому Иван.

Тот смахнул рукавицей с горячей кольчужки облепивших плечи оводов, вскинул глаза на Черемнинова:

— Хочет снова служить царю, дал ясак за два года и вожей. Говорит, слышал, будто острог вырезан, а заводчик смуте балаганец Куржум. С ним Кадым, зять его.

Пятидесятник, вытирая рукавом слезы, застилавшие глаза от едкого дыма, добавил:

— Может, и Кандукан с Оки с ними, шаткий был князец.

— Разберемся! — Радуковский шлепнул себя по щеке рукавицей. Не выдержав атаманского степенства, тоже сунул нос в клубы дыма. — А еще сказывает Иркиней, что Куржум с окинскими и удинскими братами и с мунгалом Едокой в ссоре. Будто его, Иркинея, в яме держал, потому что отказался помогать в войне. — Атаман прокашлялся и добавил: — Если не лжет, у нас есть подмога, и большая!

— Если не лжет! — выругался Черемнинов. — Таких изменников, как Иркиней и его покойный брат Тасейка, свет не видывал. Лукашку, сына его, надо было аманатить!

Солнце висело в зените и палило нещадно. Караван продолжил путь к Шаманскому порогу. К вечеру подул ветер, разогнал гнус. По крутым берегам качали верхушками высокие, стройные сосны с редкой примесью лиственниц. На третий день при гулком рокоте воды на пороге суда подошли к острову, на котором был похоронен Яков Хрипунов.

Пожарище на месте бывшего зимовья густо заросло осинником. Иван Похабов с Филиппом Михалевым, не сговариваясь, пошли искать могилы казачьего головы и

убитого стрельца Поспелки, но нашли только обновленный Перфильевым крест. Обошли его трижды, крестясь и кланяясь, сели у изголовья казачьего головы.

— Спишь, кум! — при шуме воды пробормотал Иван. — Ну и спи! Настена хозяйка добрая, в женах славная, внука тебе родила, а я ему — крестный. Поди, не раскумимся, раз уж ты помер?

Филипп молчал, клоня к заросшему холмику седеющую голову, думал о своем. Не получалось у них с Похабовым душевных воспоминаний о зимовке на этом самом острове. Чудилось Ивану, будто между ними стоит Савина с виноватой и смущенной улыбкой.

Все, кто ходил через Шаманский порог, в голос уверяли атамана, что невозможно провести барку среди камнебоев, а тут еще снасти вконец изорвались, паруса, залатанные сырыми кожами, то и дело расползались по швам. Проходы между камней были мелкими. Река на пороге кипела, бушевала и пенилась, далеко по округе разносился ее грохот.

С бывалыми людьми на ертаульном струге Радуковский подошел к камнебоям, осмотрел бурлящий поток и согласился, что дальше можно идти только на стругах. Вернувшись, он оставил на острове барку, десяток ссыльных черкасов и казака Филиппа Михалева. Только тут Иван разглядел, что он плох. Подозревая в неприязни к себе, не заметил, что у Филиппа будто вымороженные глаза, не только с Иваном, но со всеми служилыми старый казак разговаривал неохотно, всякую свободную минуту старался уединиться и полежать. Черемниновские люди давно приметили, что Михалев шел на бечеве, превозмогая недуг.

Семь десятков ссыльных и служилых, охочие люди Ивана Похабова с вожами Иркинея двинулись дальше. С молитвами они провели струги через порог, подошли к месту давней засеки и остановились на ночлег. В поднявшемся березняке Иван отыскал могилу Вихорки Савина. Холмик зарос деревьями, но почерневший крест был цел.

В низовьях реки, на которой был убит Вихорка, стояло три тунгусских чума-дю. Увидев множество стругов и служилых, жители урыкита бросились в лес, в чумах остались их нехитрые пожитки и старики со старухами. Черемнинов с вожами Иркинея и Митькой Шухтеем подошел к стану, заглянул под пологи кочевых балаганов. Вожи назвали мирный род, плативший ясак в прежние годы. Сказали, что в верховьях реки, где выпасы бедные, кочует какой-то братский род, который никому не платит ясак.

Гоняться за здешними тунгусами и братами было некогда и некому. Караван судов пошел под Долгий порог. После полудня Похабов заметил, что у Ивашки Струны лицо синее, как у утопленника. До сих пор большого непорядка в отряде не было. Ругались, иной раз дрались из-за пустяков. Ивашка Струна тайком попивал настой табака и, дурной, задирал Илейку Ермолина. Тот трезвый, до поры снисходительно терпел его.

— Что, крикун? — жалостливо глядя посмеялся Иван над выходцем из калмыков. – Поганый язык выпросил-таки гостинец морде?

Струна бросил на него разобиженный взгляд, шевельнул насупленными бровями. Губы его были разбиты и поджаты. Похабов снова хохотнул, сочувственно покачав головой. В мелочные споры подначальных людей он не входил, их обид друг на друга не разбирал: был доволен уже тем, что они не отстают от отряда. И вдруг заметил больше, чем разбитое лицо Струны. Васька Бугор глядел на него с ненавистью. Илейка сжимал и разжимал кулаки, скрежетал зубами, как при сильном недопитии, другие охочие, вчера еще заискивавшие, поглядывали на сына боярского неприязненно и зло. Только толмач Шухтей да Антипка Сорокин опасливо жались к нему.

Так они шли день и другой. А вечером при грохоте воды будто прорвало плотину: охочие люди обступили Похабова, Васька Бугор сипловато заревел:

— Чего ради терпим? Другой месяц тянем струги за один прокорм.

— Почто не погнались за беглыми тунгусами? — комаром пропищал Ивашка Струна, прижимая ладонью коросты на губах. Хоть и бит Ермолиными, но был заодно с ними. — Почему не вызвался ясачить братов, про которых вожи говорили?

— Атамана спросите! — мирно ответил Иван и указал глазами в сторону костра Радуковского.

— А ты кто? — громче заревел Бугор, перекрывая рокот порога. — Сходи да спроси! Пусть нас ертаулами пошлет! Вдруг чего добудем!

— Спрошу! — покладисто согласился Иван, поднялся, к разочарованию разъярившихся людей, подумал с опаской: «Если отпустить одних, передерутся между собой». Он подошел к атаманскому костру в нужное время. Радуковский, завидев его, нетерпеливо помахал рукой.

— Как раз про тебя говорим!

Рядом с атаманом кружком сидели Василий Черемнинов, Осип Галкин, Михейка с Якунькой Сорокины.

— Надежды нет, что Братский острог цел! — пояснил атаман Ивану. — Говорим, что Куржум не дурак и ждет нас.

— Совсем не дурак! — согласился Похабов, скрывая близкое знакомство с князцом. — На Тутуре в аманатах был, наш язык знает!

— Как бы нам на засаду не наткнуться! Надо ертаулов послать!

— Мои охочие рвутся, аж буянят! — Иван придвинулся к атаману и добавил: — Ссыльных лучше при стругах оставить, а нам бы налегке уйти!

— Почему ссыльных? — обидчиво вскрикнул Осип. — Да они в бою не в пример кое-кому из старых казаков, не то что гулящим. — И съязвил: — Среди твоих, поди, половина не знает, как пищаль заряжают!

Иван кивнул с пониманием. Спорить не хотел, а своих выгораживать не старался. Если при стругах заднюют ссыльные, с ними должен будет остаться и Галкин.

— Войны всем хватит! — осадил Осипа Радуковский. — Как бы не случилось, что мы подойдем к острогу, а Куржум — к нашим стругам. Тут-то и надо постоять крепко, как умеют твои люди! — строго взглянул на Галкина. Тот сник, понимая, что сын боярский прав. Радуковский продолжил, поглядывая то на Похабова, то на Черемнинова: — Наберите из своих людей по десятку, пусть каждый возьмет вожа. Пойдете двумя отрядами. А тебе, — строго взглянул на Ивана, — пятидесятника Черемнинова слушать. Он недавно здесь был, знает, кого казнить, кого миловать. Нельзя невинных побить!

Похабов вернулся к своему костру, присел с озабоченным видом, глубокая морщина пролегла по переносице между бровей.

— Ну что? — обступили его охочие.

— Пойдете ертаулами, десять человек, остальные будут караулить струги.

— Давно бы так! — веселея, вскрикнул Васька Бугор. — А то идешь себе по бережку, будто в штаны наложил. На кой нам такой атаман: кашу есть да воздух портить…

И эти обидные слова стерпел Похабов, вспоминая наставления о христианском милосердии, но со скрытым злорадством объявил:

— Сами решайте, кому идти, кому остаться!

Сказал и равнодушно разлегся на подстилку из бересты, надел на голову сетку из конского волоса, укрылся кафтаном, не желая слушать споров. Августовская ночь была тепла, беззвучно ползала по сетке мошка, оттого казалось, будто сонно гаснут и вспыхивают звезды.

Охочие утихли ночью, кидали жребий, ругались, тихонько дрались, на рассвете бодро поднялись и раздули костер. Ивашка Струна был со свежими царапинами на носу, но весел. Двое гулящих, пришедших в Енисейский острог весной, смущаясь синяков и ссадин на лицах, глядели на Похабова с укором.

— Разобрались? — равнодушно спросил он. — Кто пойдет?

Бугор стал перечислять самых отъявленных скандалистов, среди них Ивашку Струну. Назван был в ертаулы и Антип Сорокин, ничем не выделявшийся среди бурлаков.

Подкрепившись молитвой, едой и питьем, десяток служилых и десяток охочих людей под началом пятидесятника Черемнинова и сына боярского Похабова получили наставления атамана, взяли оружие и пошли в гору, в обход порога. Впереди шли тунгусские вожи со связанными за спиной руками. Они двигались осторожно, высматривая засады и взведенные самострелы.

Скатилось на запад солнце. Дойти до острога к ночи отрядам не удалось. Вспоминая Ермакову гибель, уже в сумерках служилые и охочие нашли бурелом, через который беззвучно не пройти ни зверю, ни тунгусу. Ночевали они без костров, меняя караулы, переговаривались шепотом. Ночь выдалась безлунной и темной, порывы ветра качали верхушки деревьев, гнали по небу облака. Несколько раз начинал накапывать дождь, но, по молитвам, так и не пролился в ливень.

Едва подали голос сонные пташки, ертаулы подкрепились хлебом и двинулись дальше. Оба отряда шли размеренно, перебрасывая с плеча на плечо ручные полупудовые пищали. Тунгусские вожи стали двигаться осторожней: мелкими и быстрыми шажками бесшумно вырывались вперед, останавливались, замирали, прислушивались. Отряды снова вышли к реке. Иван стал узнавать приострожные места. До полудня открылась гора с вырубленным лесом, с черными, обгоревшими надолбами на склоне. За ними темнела гарь бывшего острога, избы и амбар, осевшие грудой головешек.

Отряды разделились. Тот и другой до полудня не выходили на открытые места, осматривали окрестности, прислушивались. Затем по уговору Черемнинов со служилыми пошел к сгоревшему острогу лесом, а Похабов с охочими двинулся напрямую, берегом, яланными полянами и просеками. Никто на его отряд не напал.

Охочие люди с вожем и сыном боярским поднялись на гору, крестясь и кланяясь на восток, подошли к сгоревшим надолбам. Черными зубьями они торчали из выжженной земли. Возле них, там, где Перфильев принимал и угощал куржумовских братских мужиков, буйно поднялась трава, в ней тонкие человеческие кости. Кости были и среди головешек острога. Черные, обгоревшие, они рассыпались от прикосновения.

Из леса тихо вышел отряд Черемнинова. Вожам развязали руки, они присели на кор-

точки, равнодушно поглядывая на русичей-лучи, крепкими зубами покусывали стебли травы.

— Похоже, выманили Дунайку из острога! — тихо сказал пятидесятнику Иван.

— На мякине провели! — насмешливо просипел Ивашка Струна. — Я все их хитрости знаю!

— Вот ведь! — перекрестился Похабов, не оглядываясь на Ивашку. — Дунайка, сколько помню, всегда всех подозревал в хитростях…

— Видать, чуял судьбу, да не с той стороны! — вздохнул Черемнинов, тоже перекрестился, взглянул на солнце. — Хоронить поздно, и не стоит до подхода всех наших людей. Атаман ждет!

— Я думаю, подъехали князцы с десятком мужиков, показали мешки с ясаком, — презрительно, как о чужих, и неприлично громко завизжал Струна. — Одарили тех, кто вышел к ним, стали мясо варить, — кивнул на кости в траве, — зазвали на пир. Казаки на подарки падки. Доверились, выпили по чарке, размякли душой, целоваться полезли, — Ивашка скривил толстые губы, цыкнул сквозь зубы. — Аманатов не обыскали, усовестились после подарков, как это за вашими водится…

— Попищи тут! — прикрикнул на него Черемнинов. — Осерчают покойники, придут ночью, ятра оторвут!

Струна осклабил большой, губастый рот в редкой, как у братского мужика, бороденке.

— Не оторвут! — злобно пискнул. — Руки короткие и обгоревшие!

На разговорившегося спутника со всех сторон зацыкали свои же охочие люди, боязливо крестились, озирая окрестности. Служилые потянулись по склону к реке, за ними, накрываясь шапками, стали спускаться от пожарища другие ертаулы. На берегу они обмылись водой, сели кружком.

— До ночи к своим не успеть! — громко сказал Черемнинов. — Где ночевать будем?

— Подальше отсюда! — зароптали служилые и охочие, неприязненно поглядывая на Ивашку Струну. Тот презрительно ухмылялся и скалил зубы.

Решили возвращаться тем же путем наперекор Струне, предупреждавшему, что если браты их высмотрели, то ждут на старом стане. Отряды шли быстро, к сумеркам добежали до бурелома, осмотревшись, развели костер. Все были молчаливы и хмуры. Васька Бугор до полуночи ворочался с боку на бок, бормотал, зевая:

— Кожей чую, покойники за нами идут! Обиделись, что бросили их!

— Ты бы к ночи-то!.. — боязливо укоряли служилые.

— Ивашка Струна — язык поганый! — приглушенно выругался Похабов, сидя у костра бок о бок с Черемниновым. — Но он прав! — вскинул усталые глаза на товарища.

— Судьба! — вздохнул пятидесятник. — Чуял Дунайка, что примет погибель от коварства, не знал, от кого и где! — Василий зевнул, крестя рот, и лег ногами к огню.

Менялись караулы. Ночь прошла спокойно. На другой день после полудня ертаулы вернулись к отряду под порогом. Нападений в пути не было.

Бог миловал, Никола Чудотворец, покровитель сибиряков, прямил сводному полку Радуковского. Без нападений и воинских стычек люди протянули струги через Долгий порог, подошли к сожженному острогу. В виду гари атаман велел укрепиться засекой и ночевать, а утром, оставив на стане десяток ссыльных, повел людей к черневшему пожарищу. Похабов велел остаться при струге Струне.

— Чтобы не болтал нелепицы!

— Ну и ладно! — ухмыльнулся зловредный гулящий. — Досплю! — потянулся к одеялу.

— Я тебе посплю! — пригрозил Иван. — Бери топор, укрепляй засеку, не то оставлю в караульных!

Ивашка неприязненно сверкнул глазами, но спорить не стал.

Литвины, черкасы, казаки и охочие были уже на горе. Увидев человеческие кости в траве, снимали шапки, крестились, кланялись на восход. Похабов подошел одним из последних, тоже скинул шапку, постоял молча, вспоминая, каких трудов стоило людям Перфильева поставить острог вокруг изб.

— И спешить надо, — осеняя себя крестным знамением, громко объявил Радуковский. — И уйти, не похоронив убитых, нельзя. Бога прогневим!.. Вот здесь копать могилу! — указал место. — Всем, имея христианское сострадание, собирать кости, тесать крест, колоду… Или сколько их понадобится. — Склонился, раздвинув руками высокую траву, первым поднял тонкую человеческую кость: — Господь милосердный разберет, чья!

Люди сложили оружие и молча разошлись, каждый по зову души: собирать ли кости, тесать ли крест и колоду, копать ли могилу.

— Здесь камень! — кивнул на указанное атаманом место Черемнинов. — Мы

брали глину ближе к реке. Там копать надо!

Вечером все прибывшие к сожженному острогу сидели у костров, поминали покойных кашей и ухой, тихо разговаривали.

— Много голов проломленных! — тоскливо оборачивался к желтому кресту на горе пятидесятник Черемнинов. — Наверное, опоили чем-то, потом били, как скот?!

— Нече нехристей за дураков держать! — злорадно просипел Ивашка Струна, будто поучал покойников. — Они на всякие коварства горазды!

У костров притихли. Похабов недовольно крякнул и метнул на Ивашку недобрый взгляд. Якунька Сорокин, то и дело ссорившийся со Струной, наставил на него нос с выдранными ноздрями.

— Своих, охочих поучай! — процедил гнусаво. — А погибшие не тебе чета, больше десяти лет были на енисейских службах.

— Утром выходим! — властно прекратил раздор Радуковский. — Через гору пойдем пешими! Не может того быть, чтобы Куржум нас не ждал. Десяток своих людей оставим здесь, при стругах, в засеке.

Утром Осип Галкин оставил в засеке десяток своих ссыльных. Радуковский дал им наказ: с рвением караулить струги и хлебный припас, а будет возможность, искать кости в траве и среди головешек. Вдруг не все похоронили.

Шесть десятков служилых и охочих взяли на плечи по пуду ржи, соль, крупы, оружие, топоры и двинулись в гору, в обход Падунского порога. Впереди шли вожи Иркинея. На этот раз руки им не связывали, но следили за каждым шагом и убегать вперед не давали.

Солнце катилось к зиме, заметно убавился день. Отлютовал и пропал овод, комар стал ленив, но гуще и злей роилась мошка. Шесть десятков казаков и охочих не могли двигаться без шума и Радуковский решил послать вперед Василия Черемнинова с его людьми. Узнав об этом, охочие Ивана Похабова зароптали. Пуще всех шумели Ермолины с Ивашкой Струной.

— Воевать звали или рожь таскать?

Пятидесятник Черемнинов неожиданно поддержал смутьянов:

— Пусть со мной идут, — кивнул на Ермолиных с Ивашкой. — И толмача дай, на всякий случай.

Названные им люди с готовностью переметнулись в ертаульный отряд. Семнадцать человек с тунгусским вожем ушли, пока другие отдыхали. Остальные, отстав, двинулись по их следу. Солнце покатилось на закат. К вечеру налегке прибежал Антип Сорокин, отдуваясь и вытирая шапкой мокрый лоб, сообщил:

— Пять юрт за порогом! И скот. При нем люди воинские: в куяках, с луками, с пиками.

— Нас ждут! — усмехнулся Радуковский.

Крадучись, отряд продолжал путь, пока не наступила ночь. Спали без костров. Едва рассвело — подкрепились всухомятку и снова пошли, встретились с ертаулами, когда поднялось солнце. Люди Радуковского залегли на краю леса. Братские мужики хоть и были вооружены, но вели себя вольно, не зная о казаках. Если и ждали их, то с реки, надеялись увидеть струги издалека. Браты пасли скот и жили обыденной кочевой жизнью. К Радуковскому на четвереньках подполз Митька Шухтей.

— Тунгусский вож говорит, не здешние это браты! — доложил волнуясь.

Атаман долго оглядывал окрестности. Ссыльные Осипа Галкина равнодушно отдыхали после ночного перехода. Струна метался от Похабова к пятидесятнику, пискливо убеждал, что первыми на погром должны идти люди многоопытные, в воинском деле искусные, а не те, кто давно служит. Радуковский оторвал взгляд от юрт и выпасов, неприязненно оглядел Ивашку:

— Отсюда на погром отправятся ссыльные Осипа! Остальные двумя отрядами налегке обойдут юрты лесом и сделают засады, чтобы никто не ушел живым.

Казаки и охочие побросали мешки, по знакам Черемнинова и Похабова побежали за ними лесом, вокруг пастбищ. Среди первых несся Ивашка Струна, тяжело дышал и зловеще скалился. Когда отряды подошли к краю леса, против холма, где стояли юрты, с другой стороны уже слышалась стрельба. Братские всадники, вырвавшись от Осипа Галкина и его людей, помчались на полдень и попали под ружья Похабова с Черемниновым. Васька Бугор убил коня под одним из беглецов. Тот рухнул наземь, перевернулся через спину, успел выскочить из седла и, пока поднимался на ноги, был скручен Илейкой.

Подмога братским мужикам не подходила. Горело пять юрт, ссыльные сгоняли разбежавшийся скот. Струна, алчно зыркая по сторонам, успел что-то высмотреть, кинулся в кустарник и выволок братскую девку. Она не противилась, только сжимала посиневшие губы, черная коса волочилась по земле, белели полные девичьи колени. Ивашка нес ее, взвалив на плечо, как мешок.

Похабов велел Антипу Сорокину влезть на дерево и оглядеться. Тот забрался на высокую сосну, крикнул оттуда, что братских отрядов не видно. Ловко, как белка,

спустился вниз, стал шарить за воротом, вытряхивая сучки и хвою.

Похабов повел своих людей к братскому стану. Возле чадящих углей на месте бывших юрт валялось пять мужских тел, кучкой сидели притихшие бабы и дети. В стороне глядели под ноги трое связанных мужчин. Илейка Ермолин, похваляясь добычей, подтолкнул к ним своего ясыря. Василий Черемнинов высмотрел среди пленных и окликнул одного из мужиков, взял его за рукав халата и повел к атаману.

— Этот окинский! — сказал. — Бывших верных князцов Култуза и Алдея родич!

Сын боярский строго посмотрел на пленника, подозвал Шухтея, велел спросить, отчего мужик оказался на здешнем стане.

Митька стал переминаться с ноги на ногу, чесаться, бормотать какую-то нелепицу. Ясырь его явно не понимал. Толмач вдруг вскипел:

— Да у них в каждом роду свой язык! Я один только знаю!

— Ничего ты не знаешь! — выругался Радуковский. — Спроси у вожей, понимают ли братов?

Шухтей спросил. Один ответил, что понимает. Митька стал говорить ему по-тунгусски, тот передавал сказанное атаманом братскому мужику, затем снова Митьке. Кое-как узнали, что пленный имел здесь свояков по жене. Приехал, чтобы обменять коней по прежнему уговору, сказал, что главные над здешними мужиками князец Контури и балаганец Куржум. По словам пленных, их князцы, не дождавшись казаков, ушли на Оку воевать тамошних верных казачьему царю Алдея и Култуза. Здесь оставлены были только сторожевые юрты.

— Бояркан с Куржумом и окинец Кодогон заодно! — напомнил Черемнинов. — Бояркан сколько хотел, столько давал ясак, Куржум моих служилых бил.

Радуковский выслушал пленного окинца, велел дать ему коня и отпустить, чтобы сообщил сородичам о мести казаков и о том, что ясырей они готовы отдать за выкуп. Окинец с радостью ускакал от сожженного стана. Радуковский велел до выкупа держать ясырей при нем, чтобы никто их не обижал.

На другой день служилые и охочие на захваченных лошадях и пешими двинулись к Оке. Шли они медленно: гнали захваченный скот. Радуковский высылал вперед ертаулов и вожей. Они то и дело встречали кочующих тунгусов, которые уверяли, что не воевали с казаками, ясак давать боялись и жаловались на братов. Василий Черемнинов сам уже путался, какие роды были верны острогу, какие изменяли.

В середине августа, на Успенье Богородицы, к отряду вернулись все ертаулы. Они сопровождали окинских князцов Мунгала и Култуза. Окинцы привезли ясак за нынешний и прошлый годы, сказали, что острог они не жгли, казаков не грабили. Это сделал Куржум с балаганцами. Он и с них требовал ясак, выпасал свой скот на их пастбищах, а услышав про казаков, отобрал у окинцев скот и ушел вверх по Оке. Князцы просили Радуковского поставить острог рядом с их улусами, а не на прежнем месте, предлагали выкупить ясырей за скот.

Ивашка Струна и Васька Бугор настороженно прислушивались к переговорам. Как только услышали про выкуп, заволновались, призывая служилых к справедливости:

— Пусть соболями дают или серебром! На кой нам их быки?

— Тунгусы купят! — подсказывали казаки.

Коней для погони окинцы дать не могли: балаганцы угнали их табуны, оставив только лончаков — жеребят-двухлеток и старых кобыл. Свободных седел у них не было. Радуковский оставил на устье Оки добытый при погроме скот и на лошадях, которых захватили, погнался за Куржумом. На каждого верхового в его отряде было по три пеших. Сменяя друг друга, они бежали, держась за подпруги оседланных коней. Кому не доставалось подпруги, хватались за хвосты. Одного из новоприборных злая и резвая бурятская лошадка так лягнула в живот, что пришлось оставить его у костра.

Судя по следам, государевы изменники гнали много скота, шли медленно, но догнать их не удалось ни на третий, ни на четвертый день. Отряд вымотался и оголодал. У Василия Черемнинова подергивалась голова на тонкой шее, у иных служилых опухли ноги, Радуковский мотался в седле, засыпая на ходу, ссыльные то и дело отставали и только охочие люди, для которых вся выгода пройденного пути была в добыче, рвались вперед. После полудня четвертого дня атаман Радуковский свалился с коня, затравленно оглядел свое растянувшееся на версту войско и сказал:

— Все!

Рядом с ним попадали охочие люди. Тяжело дыша и превозмогая себя, зароптали:

— За что все лето мучились? За прокорм? При ските, у монахов, больше бы заработали.

— Ну и гонитесь за бунтовщиками сколько душе угодно! Что отобьете — то ваше. Кого побьют, переловят — Бог судья: я вас не посылал!

К стану приволоклись последние из служилых, упали на землю, с тоской глядя в небо, шевелили губами в беззвучных молитвах. Радуковский окликнул всех:

— Думайте, братья, можно ли дальше идти?

Большинство решило, что дальше только бесславная гибель!

— Со дня на день снег пойдет. Зимовать придется! — разумно заявил Василий Черемнинов. — Острог надо ставить. Не то вернутся изменники, голыми руками нас возьмут и передавят, как мух.

Большинству людей стало ясно, что по-другому поступить нельзя. Думать о зиме не хотели одни смутьяны из охочих и начали укорять служилых в трусости. Радуковский понял, что переспорить их невозможно, и с досадой обратился к Похабову:

— Что скажешь, сын боярский?

Иван понимал, что дольше преследовать Куржума опасно и глупо, но отказаться идти со своими людьми не мог, иначе всю оставшуюся жизнь ему пришлось бы терпеть насмешки от тех, кому выпадет вернуться живым.

— Дай нам коней! — прохрипел, неприязненно морщась. — Кто желает, пусть идет с нами, кто ослаб — пусть возвращается!

— Правильно говоришь! — поддержали его Струна и Василий Бугор. — И потом доли в нашей добыче пусть не требуют.

— Кони-то наши! — напомнил Осип Галкин. Его ссыльные были вымотаны больше старых енисейцев, привыкших к тяготам таежной жизни.

— Коней вернем с прибавкой! — заверил Бугор. — А пропадем, замолвим за вас слово перед Господом!

Митька Шухтей, охая и постанывая, тут же переполз ближе к Радуковскому, трое охочих опасливо передвинулись туда же, зато от служилых перешли в отряд Похабова Михейка и Якунька Сорокины. Иван взглянул на них, на их младшего брата Антипа, с удивлением подумал: «Ни ростом, ни дородностью не уродились, а вот ведь будто двужильные». Отряд у него подбирался хуже прежнего: смутьян на смутьяне.

Ока, приток Ангары, широка и многоводна. До каких пор могли уходить по ней балаганцы и куда, никто не знал. Радуковский велел своим людям отдыхать, потом рубить лес и вязать плоты. На устье Оки, неподалеку от сожженного бекетовского зимовья, он задумал поставить острожек и в нем зимовать. Отряд Похабова, не теряя времени, сел на отдохнувших лошадей. От иркинеевских вожей его люди отказались: те не знали здешних мест.

На другой день отряд охочих людей вышел на тунгусский урыкит из двух чумов. Бабы и дети тут же кинулись в лес девять мужиков с луками и рогатинами убегать не стали, встретили казаков безбоязненно и, как показалось Ивану, с радостью. Лица их были покрыты татуировкой родовых знаков, по спинам висели хвосты волос, как у тасеевских тунгусов. Ермолины говорили с ними свободно и узнали, что Куржум с сотней воинов, со стадами скота прошел здесь два дня назад и забрал всю рухлядь, которая была у семьи. До ближайшего брода со скотом балаганцы будут идти долго, скорей всего переправятся и другим путем вернутся к Ангаре или будут кочевать возле гор, пока не встанет лед. Иначе им в свою степь не уйти. Отряду стало известно, что в верховьях Оки воюют большие отряды мунгал и киргизов. Спасаясь от них, род уходил в низовья реки, но был ограблен балаганцами.

Выспросив путь, казаки и охочие потребовали от тунгусов вожа. Посовещавшись между собой, мужики указали на беззубого старика с седым пучком волос на затылке. Одарить их было нечем, кроме горсти бисера. Похабов вытряс из патронной сумки остатки и отряд двинулся дальше. Старого тунгуса посадили на коня без седла, вместе с ним выслали вперед трех ертаулов.

Хлеб давно кончился. Ночью ловили рыбу, пекли на весь следующий день. Едва рассветало, седлали лошадей, шли по тропе, выбитой сотнями копыт. К полудню ертаулы вернулись. Куржума они не догнали, но нашли пять балаганских покойников, брошенных в прибрежном лесу.

— Один возле другого, среди камней! — весело пищал Струна, показывая обломок стрелы. — Травой и прутьями присыпаны… По всему видать, киргизы напали! Я их знаю, — весело оскалил зубы.

Похабов перевел взгляд на хмурого Илейку Ермолина, ходившего ертаулом.

— Говори! — приказал ему.

— По следам выходит, будто их ждал в засаде небольшой отряд. Напали неожиданно и ушли, если и угнали скот, то немного, потому что балаганцы преследовать не стали.

— Почем знаешь, что это были киргизы, а не мунгалы? — Иван снова обратился к Струне. Тот опять показал обломанную стрелу.

— Да я среди них жил! В плену был! — ударил себя кулаком в грудь. — Киргизская стрела, не мунгальская.

—Ты что, и среди мунгал жил? — строго спросил Похабов, не доверяя охочему. Тот на миг смутился и раскричался, что мунгалы таких стрел не держат. Слушать его Иван не стал, начал выспрашивать вожа. Как только вернулись ертаулы и отряд перестал двигаться, старик слез с лошади, молча сидел на корточках.

— Или киргизы, или мунгалы! — ответил, шамкая беззубым ртом. — Может быть, тубинцы!

Похабов выслушал его, переспросив несколько раз, вздохнул, объявил со строгим видом:

— Мунгал воевать нельзя! Атаман Никола не велел, а ему воевода наказ дал! Ослушаемся, государь нас не помилует!

По лицам охочих и служилых он понял, что про долг возмездия за сожженный острог они не думают, у всех на уме добыча: скот, ясыри, меха, камчатые халаты и оружие.

— Это когда было? — отмахнулся Васька Бугор. — Нынче, может, киргизы опять шертовали, а мунгалы отложились!

— Кто со скотом, за тем и надо идти! — неуверенно поддержали его несколько голосов.

— Этыркэн! — обратился Иван к тунгусскому вожу. — Через реку… — помотал головой и сплюнул от бессилия вспомнить, как спросить про брод. — Гарса*, — вспомнил по-бурятски.

Вож поднял на него красные, равнодушные глаза. Илейка Ермолин повторил вопрос. Старик махнул рукой в верховья реки, сказал, что до ближайшего брода два дня идти пешим, день ехать на оленях.

— Вот тебе и далеко! — Похабов обвел взглядом свое войско. — Надо спешить! Если балаганцы переправятся — их не догнать! Считай, упустили!

Тунгус снова вскарабкался на хребет лошади. Казаки и охочие поддали пятками под бока своим коням и двинулись вперед без разведки всем скопом. Через день, до полудня они услышали шум боя: крики, ржание лошадей и лязг сабель.

**Гарса — брод, переправа (бур.).*

Иван стал торопливо расспрашивать полусонного вожа, где брод. Тот указывал рукой на открывшуюся песчаную отмель, косо рябившую мелководьем едва ли не до середины реки.

— Успели, слава Богу! — перекрестился Похабов, взглянул на Струну насмешливо и строго: — Похвалялся, что многоопытен в коварствах?! Бери двух ертаулов, вы смотри, что там и кто? — кивнул в сторону доносившихся звуки боя.

Тот окликнул товарищей и ускакал к лесу. Вскоре все трое вернулись.

— Браты дерутся с киргизами и с тубинцами, — приглушенно просипел Ивашка. Лицо его было красным, пот тек по щекам, видно, он не поленился и сбегал на край леса. — Скот разбрелся. С нашей стороны голов сто.

— По десять соболей за быка! — завистливо напомнил Якунька Сорокин и подернул повод.

— Выше по реке есть еще броды? — спросил Похабов у вожа.

Старый тунгус равнодушно отвечал, что дальше по реке много переправ. Усталость, желчно въевшаяся в лица людей, пропала, блестели глаза, возбужденно переговариваясь, они уставились на сына боярского.

— Здесь ждать надо! — неуверенно сказал он. — Если балаганцы отобьются, то погонят свои стада сюда…

— Жди ветра в поле, у моря погоды! — непокорно взревел Бугор, воровски зыркая по сторонам.

— Скот отбивать надо, пока дерутся! — яростно поддержал его Струна.

— На конях нас побьют! — заспорил Михейка Сорокин. — Они у нас плохонькие, и людишек мало.

Все три брата Сорокины держались вместе. Михей соображал медленно, но верно. Оба брата почитали его не только за старшего, но и за умного, но этот совет вздорному Якуньке не понравился. Он выругался, метнув на брата злой взгляд, засопел хищным носом.

— На кой нам их воевать? Пусть воюют с кем хотят! Нам скот угнать надо!

Иван окинул оценивающим взглядом своих людей и понял, что удержать их уже не сможет. Михейка тоже сник, поддавшись всем.

— Полдюжины в засаду, — брызгая слюной, визгливо распоряжался Струна. — Четверо скот отгонять. Остальным после залпа выскочить, постучать топорами, саблями — и обратно, к засаде…

— Дело говорит! — непокорно загалдели казаки и охочие, глядя на сына боярского. — Что мир решил, то Бог положил!

Старый тунгус сполз с лошади, сел на корточки под деревом. Иван безнадежно махнул рукой, смиряясь с общим решением. Захотелось и ему прилечь рядом с вожем.. Его люди тут же сгрудились возле Ивашки Струны, а тот торопливо указывал, кому куда идти, откуда нападать и где делать засаду.

Старого тунгуса оставили возле переправы, остальные люди отряда начали продираться верхами сквозь чащу прибрежного леса, выехали на опушку, остановились, скрываясь за деревьями. На широком, пологом, открытом склоне холма сотня балаганцев яростно отбивалась от наседавших разномастно одетых всадников, вооруженных дубинами. Но махали они ими яростно и умело. Среди балаганцев выделялись трое в блестящих доспехах и шлемах.

— Браво дерутся те, что в куяках! — стремя в стремя приткнулся к Ивану Похабову Илейка Ермолин. Его большие руки суетливо перебирали повод ременной узды, а он то и дело выскальзывал из толстых пальцев.

Скот балаганцев разбрелся по сторонам и мирно жевал траву, поглядывая на бившихся людей, коровы паслись возле леса, мешая засаде.

— Гони! — приказал Ивашка Струна.

Четверо енисейских гулящих, воровски пригибаясь к седлам, стали сбивать коров в стадо. Они шарахались от всадников в поле, но охочие, размахивая батогами, сумели завернуть их к реке. В запале боя балаганцы заметили кражу. От бившихся отделился десяток воинов, пустил лошадей к лесу. Казакам и охочим ничего не оставалось, как спешиться и дать залп. Похабов, Ермолины и сам Струна вскочили на коней, с гиканьем ринулись в пороховое облако и едва дым поредел, врезались во всадников. Похабов разглядел, что это не балаганцы, а тубинцы или киргизы. Их черные лица белозубо скалились, на запавших глазах подрагивали ресницы.

Иван сшиб двоих с коней, свистнул, как было оговорено, краем глаза увидел ревущего Бугра. Он маятником рассыпал удары топора с одного плеча на другое. Нахлестывая под собой кобылку, Струна уже мчался к лесу. Но тубинцы или киргизы не поддались на его уловку, не погнались, а помчались в обратную сторону. Сидевшие в засаде перезарядили ружья.

В лес вернулись все четверо: не убиты, не ранены. Коровы были угнаны к реке. Погонявшие их охочие скрылись из виду. Под Струной топталась и жалобно ржала отощавшая кобыла, из ее крупа торчала стрела. Вместо ожидаемой погони киргизы отбились от балаганцев и стали отгонять их табун в другую сторону.

Похабов издали узнал Куржума и Бояркана. Сухощавый Куржум что-то кричал, размахивая саблей. Его люди перестали преследовать киргизов и погнали оставшийся скот к броду. С ними уходил Бояркан и другой, незнакомый Ивану, князец в латах. А три десятка воинов во главе с Куржумом с кличем «Бароо-бара!» пустили коней на засаду, к узкой полосе прибрежного леса. По оклику сына боярского все бывшие рядом с ним спешились, дали стройный залп по нападавшим, но большого урона всадникам не нанесли. Казаки и охочие торопливо вставили тесаки в черные от пороховой сажи стволы и приняли первый удар балаганцев, выскочивших из порохового дыма. Те отхлынули, стали носиться по поляне, стреляя из луков. Енисейцы прятались от стрел за деревьями и торопливо заряжали пищали. Куржум снова собрал разбежавшихся дайшей, опять закричал: «Бароо-бара!» Размахивая саблей, в первом ряду кинулся на засаду, а погоняемый его воинами скот был уже на середине переправы. Уходивших за реку прикрывал Бояркан с косатыми молодцами.

Другой залп из пищалей свалил трех коней. Всадники опять отхлынули, но, погоняемые Куржумом, пошли на третий приступ. Князец на резвом скакуне несся впереди всех. Струна то ли успел первым перезарядить пищаль, или не стрелял вместе со всеми. Прогрохотал его одиночный выстрел, за который Похабов чуть не огрел его кулаком и Куржум, в блестящих латах, завалился на круп коня, соскользнул на землю, с задранной к стремени ногой поволокся за испуганным жеребцом.

Струна дурным голосом завизжал, чтобы не стреляли в жеребца, но тот кувыркнулся через голову, оступившись или угодив копытом в нору. Киргизы с отбитым табуном скрылись. Нападавшие на засаду балаганцы бросили убитого Куржума с барахтавшимся жеребцом и пустили своих коней к броду.

В пылу боя Похабов потерял из виду Бояркана и вдруг увидел его с тремя молодцами возле песчаной косы брода. Другой князец со своими людьми носился по берегу, загонял в воду последнее стадо коров. Его воины вели в поводу пять знакомых истощенных лошадей.

Пока Иван соображал, отчего они так похожи на коней его отряда, отчаянно завыл Якунька Сорокин, указывая на седло, сделанное из кожаного мешка. «Отбили своих коров!» — понял Иван, вскочил на коня и пустил его галопом на Бояркана. Князец обернулся на окрик, узнал Ивана, повернул навстречу своего черного скакуна.

Кони сшиблись. Сильный жеребец князца с хеканьем ударил грудью ослабшего конька под Иваном. Тот не удержался на ногах и с жалобным ржанием опрокинулся. Похабов успел выскочить из седла, перевернулся через голову и вскочил с обнаженной саблей в руке. Над ним грузно навис Бояркан, его глаза глядели пытливо и насмешливо.

— А, ерээбши, дуумгэй!* Дарова, пырат! — старательно выговорил по-русски и хохотнул, подрагивая одрябшими щеками.

К нему на помощь мчались полтора десятка дайшей. Он резко крикнул, чтобы те занимались своим делом, и они вернулись к отгоняемому стаду.

**А, ерээбши, дуумгэй! — Ты пришел, младший брат! (бур.).*

— Яба гэмээ эдлэг!* — рыкнул, не отрывая глаз от Ивана. Махнул саблей и обрушил на него удар такой силы, что у сына боярского заныло запястье и рука едва удержала саблю. Но клинок князца переломился и звякнул о камни. Жеребец

отпрянул. Теперь хохотнул Похабов:

— Не сносить нам голов, ахай**!

Мысленно он уже сделал прыжок, нанес удар, конь с подрезанными сухожилиями и сам Бояркан лежали у его ног, но, неожиданно для себя самого, Иван опустил саблю.

— Уходи! Яба ошогты!*** — прохрипел, сверкая глазами.

Князец еще раз хохотнул, поднял жеребца на дыбы, развернул на задних копытах и помчался по песчаной косе. Дородная спина в броне отдалялась от берега. По стремена в воде его ждали последние косатые молодцы, прикрывшие отход балаганцев. Вслед князцу прогремело два отдаленных выстрела. К Ивану галопом мчались запыхавшиеся Ермолины и Струна.

— Чего ты? — ревел Бугор, размахивая топором. — Мы из-за тебя не могли стрелять.

Струна змеей соскользнул из седла на землю, упал на живот, положив ствол пищали на камень, ткнул тлеющим фитилем в запал. Прогремел выстрел. Рассеялся дым. Охочий отчаянно завизжал и бросил шапку оземь. Спешившись, безнадежно выстрелили Ермолины. Их выстрелы тоже не нанесли вреда балаганцам. Несколько стрел, пущенных в ответ, на излете воткнулись в землю. Скот уже выходил на другой берег.

— Чего я? — рассеянно обернулся Иван. — Мой конь цел ли?

— Конь-конь! — слезливо провизжал Струна. — Пять наших коней угнали и весь скот, четверых убили и старого тунгуса… Разбогате-ели! — Шумно высморкался на землю.

Из леса шли Сорокины. Они не спешили, несли пищали на плечах, лица их были злы, глаза метали искры.

— Вы-то куда на своих клячах? — укорил Ермолиных Михейка.

Иван поймал коня, повел его в поводу к лесу. Старый тунгус так и сидел под деревом со стрелой в груди. Тела четверых охочих лежали на берегу Оки. Они не успели далеко угнать отбитый скот и были убиты стрелами.

Нехорошим было молчание у костра. Бугор кряхтел, Илейка, хоть и трезвый, глядел на Похабова пристально и рассерженно, Якунька Сорокин сопел драным носом, Михейка поглядывал на товарищей злобно и презрительно, косился на Струну. Тот перебирал окровавленные халаты, снятые с убитых, разглядывал доспехи Куржума.

Костер жгли, не таясь и чувствовал сын боярский, что его люди стали опасны, как пороховница, которой не хватает искры, чтобы взорваться.

— Хоронить убитых надо! — напомнил тихо. Никто не говорил про завтрашний день. — Не до гробов, хоть крест поставить, чай не дикие! — добавил мягче, опасаясь словом или взглядом вызвать негодование.

— Живыми бы до Радуковского дойти! — не отрывая глаз от шлема, украшенного серебром, пискнул Струна. Вскочил без надобности, схватил охапку сухих веток. Пламя костра взметнулось в небо, прочерчивая искрами сумерки вечера.

— Что орешь? — закричал на него Якунька Сорокин, сверкая глазами. — Ты ясырку добыл и латы с покойника снял.

— Один шишак доброго коня стоит! — поддержал брата Михейка. — А за пять коней всем поровну платить, что ли?

— Бог дал! — яростно заверещал Ивашка Струна. — У тебя жалованье! У меня да у них — кивнул на покойников, положенных в стороне, — добыча!

— Пока убитых не похороним — никуда не пойдем! — тверже приказал Похабов. — В дозоре ночью сам буду стоять. Вам копать могилу, тесать крест. Завернем покойных в бересту, поди, простят нас, грешных.

И снова никто не отозвался на его слова. Все тупо и злобно глядели на огонь.

**Яба гэмээ эдлэг! — Ну и пусть пеняет на себя! (бур.).*
***Ахай — старший брат (бур.). ***Яба ошогты! — Ну и уходи! (бур.).*

— Все равно звери откопают и сожрут! — проворчал Михей. — А мы полдня потеряем. Прости, Господи! — размашисто перекрестился.

— Наше дело похоронить, дальше как Бог даст. По грехам! — принужденно зевнул Иван, сдерживаясь, чтобы не сорваться на крик.

Его люди привычно приготовили ночлег, легли уставшие после погони и боя. Ворочались, вздыхали, смотрели на высыпавшие звезды. Похабов завернулся в шубный кафтан, прихватив пищаль, отступил во тьму, раздул трут из сухого березового гриба, сел под деревом, прислушиваясь к звукам реки и ночного леса, к звукам мирно пасущихся лошадей. Несколько раз в ночи он выходил к костру, подбрасывал дров на угли, грелся, снова уходил в темень и дотянул до рассвета. Разбудив товарищей, сам завернулся в шубный кафтан и лег доспать. Сквозь чуткий сон слышал скрежет железа и перестук топоров.

К полудню он поднялся. Могила в полтора аршина была отрыта. Глубже лежали большие камни. Из комлей толстых изгнивших берез ватажные вытряхнули труху, вложили убитых, почитали над ними кто что помнил, предали земле, поставили крест и

поели на помин душ печеной рыбы. Люди уже седлали отдохнувших лошадей, чтобы двинуться в обратный путь, но на переправе реки показались два тунгусских мужика на оленях. Они прошли бродом, поднялись на берег, повернули на дым костра, молча спешились у огня и присели на корточки.

— Вот мы и пришли! — поздоровались на свой манер.

Казаки и охочие оживились, тоже присели возле затухающего огня, догадываясь, что это вестовые от балаганцев.

— Что пришли? — поторопил их Илейка.

Старший из тунгусов с важным видом спросил:

— Что хотите за балаганских мертвецов?

Казаки и охочие плутовато переглянулись, Якунька Сорокин вскочил, придвинулся к послам, весело вскрикнул, бросая шапку на землю:

— Десять бычков за двух дайшей, а за баатара — двадцать!

— А неделю ждать тех бычков не хочешь? — тихо выругался Похабов и приказал Илейке: — Скажи, за покойников выкуп не берем, пусть даром увозят!

Казаки и охочие неуверенно заспорили и тут вспылил сын боярский:

— Я за вами шел! Я вас слушал, не перечил! Теперь меня слушайте! Хотите передохнуть? Бог вам судья! — перебросил повод через голову коня и сел в седло. — Кто со мной, пошли? — поддал пятками под тощие бока. — Кто хочет околеть — оставайся!

Через сотню шагов он оглянулся. Три всадника догоняли его, еще трое садились на коней. Возле поворота реки он снова обернулся. Растянувшись на полверсты, за ним следовал весь отряд, но никто не подъезжал стремя в стремя, никто не показывал верности атаману.

День, два и третий все ехали молча, перекидываясь словом лишь по надобности. Замечал Иван, что подначальные люди сторонились его, зловеще помалкивали, переговариваясь только между собой. Он рассерженно прикидывал, на какое коварство они могут решиться. По его разумению, ничего другого, как обвинить его перед атаманом в своих же неудачах, они не могли и не смели.

На пятую ночь казаки и охочие не разговаривали даже между собой, делая вид, что не замечают сына боярского. А тот, напоказ, не желал ни знать их, ни говорить с ними. Назначив караул, сам себе напек рыбы, поел и лег у костра. Под утро сон стал тяжек: заныли кости, сдавило грудь. Иван открыл глаза — сон ли это? На него навалились всей толпой, пеленали шубным кафтаном, скручивали ремнями руки.

Громче всех визжал Ивашка Струна:

— Князца заступил, чтобы стрелять не могли, отпустил живым! Покойников даром отдал! Супротив Бога не отмстил за своих убитых! Изменил нам атаман, братья, изменил!

Иван только щурился и презрительно цыкал сквозь сжатые зубы.

— Поплюй-поплюй! Вот посадим в воду — до скончания века будешь отплевываться. Перед очами Господа икнешь!

И напала на Ивана Похабова тупая, равнодушная тоска: ни вразумлять уже никого не хотел, ни Бога молить. Михейка с Якунькой Сорокины что-то лопотали ему в лицо, оправдывая себя, скалился Струна, рычал Бугор, сопел Илейка, что-то выговаривали другие. Он же, связанный, сладко зевнул, шевельнулся, потянувшись в пеленах, и снова уснул. Его тормошили, грузили на коня, попинывали — он все равно не открывал глаз, сонный мотался в седле, как мешок с трухой.

Очнулся только на устье Оки. Увидел врытые в землю надолбы, часть острожной стены, балаганы и землянки, вокруг которых курился дым, тряхнул головой, поправляя несуразно надетую чужими руками шапку, выпрямился в седле со связанными руками, усмехнулся. Не решились-таки самовольно утопить сына боярского, духу не хватило. Равнодушно оглядел пленивших его людей. Их прежний пыл пропал, ярость выстыла, как зола брошенного костра. Понуро стояли они перед атаманом Николой Радуковским, принужденно выкрикивали против Похабова какую-то нелепицу и сами смущались своих слов.

Ему развязали руки. Он слез с коня, молча и долго растирал затекшие запястья, выгибал спину, никого не винил, ни в чем не оправдывался. Василий Черемнинов, с любопытством поглядывая на старого товарища, отвел его в балаган. Служилых Сорокиных увели в другой, охочим велели сидеть у костра. Порознь всех накормили хлебом и дали отдохнуть. А к вечеру, вонявших потом и золой, стали пытать атаман с пятидесятником и целовальник от охочих. Выслушали всех, вины Похабова не нашли, кроме одной: не вымолил у Бога удачи или недоглядел за теми, кто грехами своими вызвал Его гнев.

За утерянных коней приговорили взыскать со всех поровну. За убитых братских мужиков, за их коней и Куржума Радуковский обещал просить награды у воеводы. А тот пусть напишет в Сибирский приказ государю. Погибших товарищей оставили на совести ертаулов: пусть Бог взыщет с каждого свое. Со Струны взяли убытки добытым в бою серебром. Ермолины лишились коня. Иван неуверенно предложил

золотую пряжку от шебалташа. Ее не приняли, хотя по цене на вес она превышала долг. Пришлось отдать добрый суконный кафтан, оставшись в рубахе и шубе. Другие охочие люди обязались отработать долг на строительстве острога.

Суд товарищей приняли все, но зло между бывшими ертаулами осталось. Похабов никого не корил, видеть никого из них не хотел. Сорокины и охочие сторонились его как черт ладана. Раз и другой атаман Радуковский напомнил о христианском милосердии к ближнему, о терпении и братстве. Не помогло. Он призвал к себе Похабова и сказал:

— Двум сынам боярским тут делать нечего! Да и зачем дразнить твоих голодранцев? Плыви в Енисейский с грамотами воеводе. Вдруг успеешь до ледостава. До зимовья под Шаманским порогом Черемнинов тебя проводит. Обратным путем с оставленными там людьми привезет хлеб.

Черемнинов с Похабовым в тот же день промазали смолой струг, собрали пожитки в дорогу. Утром, после молитв, Иван получил грамоты для енисейского воеводы, опоясался саблей, сунул за кушак топор, закинул на плечо пищаль. Пятидесятник, смахивая с редкой бороды блестки чешуи, поспешил за ним. У реки Похабов перевернул лодку, столкнул ее на воду, бросил на корму шубный кафтан и пищаль, обернулся на шарканье ног за спиной. К реке понуро шли братья Ермолины и Михейка Сорокин. Кряжистый Илейка, как лодка весла, раскидывал в стороны длинные руки с широкими лопастями ладоней, смущенно оправдывался:

— Не гневись на нас! Бес попутал!

— С кем не бывает, когда Бог спит! — басисто поддакивал брату Бугор. Михейка Сорокин переминался, водил по сторонам глазами, молчал, показывая, что сожалеет о случившемся.

— Бог простит! — процедил сквозь зубы Иван, уселся в струге, проворчал под нос: «Помяни, Боже мой, во благо мне, что я сделал для народа сего!»

— Раньше бы так! — злорадно хмыкнул в бороду Черемнинов, взял весло и обернулся к провожавшим: — Вдруг и взял бы кого с собой. Острог рубить легче, чем брести в бурлацкой бечеве, зато нам идти обратно с хлебом, а вам его ждать!

Илейка безнадежно тряхнул руками, не о том, дескать, говоришь, пятидесятник. Обернулся к лодке широкой прямой спиной, зашагал к острогу. Бугор с Михейкой постояли, глядя на удалявшийся струг, и пошли следом за ним.

— Смотрю я на тебя! — ухмыльнулся пятидесятник. — Проку от твоей шапки никакого.
Уродился казаком, казаком помрешь, хоть тебе дворянский, хоть боярский чин дай!

Иван тоскливо взглянул на старого товарища. Нечего было сказать ему, поверстанному в Тобольске в стрельцы, которые ничем не отличались от таких же поверстанных там в казаки. В тот год на воеводстве сидел царский зять, сын крымского хана, наверное путал казаков со стрельцами. Уже забывалось, кто есть кто, одно с другим перемешалось накрепко.

— В Диком Поле все по-другому! — пробормотал Иван, неохотно оправдываясь и разглядывая удалявшийся берег. — И казаки, и стрельцы, и дворяне!.. — помолчав, добавил: — Там все равны! Далась тебе моя шапка?

Пятидесятник опять ухмыльнулся, метнув быстрый взгляд поверх его головы.

Оставленные под Шаманским порогом черкасы и литвины за тунгусами не гонялись, в их распри не входили, но по-хозяйски обжили остров. Рубить зимовье, по примеру сибиряков, они не стали: наподобие корзины сплели из прутьев остов избы и обмазали его глиной. Жилье построили быстро, не надрывались и не дразнили тунгусов поваленными деревьями. Жили на острове беззаботно и весело: с хорошим запасом мяса и рыбы. Было у них и ягодное вино, из которого через ствол пищали они курили водку в обмазанном глиной котле. Пятидесятник Черемнинов, как увидел запас вина, так возлюбил ссыльных больше, чем родственников. Пересчитав остатки хлеба, он изумился бережливости островитян и загулял.

Иван выпил чарку и другую, тоже подобрел. Задерживаться он не мог: поторапливали осень и Филипп-сургутец. Старый казак был так плох, что едва ходил, опираясь на палку.

— Все болит! — жаловался Ивану. — Наверное, помру. Хоть бы до Енисейского добраться, сынов благословить, с женой проститься… Гаврила на другой год в службу пойдет, Анисим — за ним, в следующий.

— Мне бы только довести, Савина тебя выходит! — грубовато обнадежил товарища Похабов. Михалев взглянул на него с укором и скрытой надеждой. Иван поежился, передернув плечами: — Помоюсь в мыльне да рубаху постираю, завтра и поплывем!

Чуть покачиваясь от выпитого, он ощупал не просохший еще струг, но пятидесятник его остановил:

— Не дам! Мне нужны! Сплавляйся на барке. А что? По течению же?! — вытаращил на Ивана хмельные глаза.

Похабов затряс было бородой: что за нелепицу говорил Васька? Считай, одному на тяжелой барке плыть. Но, взглянув на два оставленных Радуковским струга, прикинул, сколько в них загрузят ржи, сердито попинал рассохшийся борт барки, вытянутой на сушу:

— Вели ссыльным проконопатить и просмолить! Ты у них за главного!

Пока он мылся и стирал одежду, островитяне просмолили барку и вытесали запасное весло. Утром, после молитв, уже слегка хмельные, они помогли столкнуть ее на воду, бросили Ивану берестяную корчажку с вином. Он усадил на корме Филиппа, махнул провожавшим, стал отгребать от берега. Течение подхватило тяжелое, неповоротливое судно и понесло к Енисейскому острогу. Опираясь на пищаль, на берег вышел Черемнинов, качнулся, споткнулся и повалился на землю.

Иван рассмеялся, отхлебнул из фляги, кивнул Филиппу:

— Моли Бога с Николой, а я править буду! Не застрять бы нам на отмели! — опасливо перекрестился. — Вдвоем барку не столкнуть!

— Какой из меня помощник? — вздохнул старый казак, поднимая к небу выцветшие, больные глаза. Прислушиваясь к плеску воды, добавил с печалью: — Может, и выходит жена, если Бог даст доплыть до острога, а если встретит скитник Тимофей — все, отжил! Сон мне был! — смиренно помолчал с печальной улыбкой на губах: — Тоже хорошо. Отпоет по уставу.

Иван пошевеливал то одним, то другим тяжелыми веслами, не давая течению развернуть судно, старался помалкивать, хотя ледок, бывший между ним и Филиппом, таял. Опять они говорили дружески и душевно.

— Жаль! — снова вздохнул старый казак, расправляя седую бороду крючковатыми пальцами. — Раньше не замечал всего, как теперь: солнышко блестит, травка желтая, мох зеленый, вон, снежок под деревом белый… Хорошо-то как, Господи! — опять поднял глаза к синему небу. Денек был погожий.

— Что же ты больной доброй волей за атаманом пошел? — грубовато укорил его Иван.

— Чуял хворь! — согласился Филипп. — Но не мог не пойти. Как-то покойная жена сильно болела, подняться с печки не могла, дети еще малы, а мне в ту зиму надо было идти на дальнюю службу. Перфильев сказал: если пойдет кто вместо тебя, оставайся при остроге, в караулах! Дунайка тогда только вернулся, не отгулял своего и ушел вместо меня. Царствие Небесное! — Филипп перекрестился, всхлипнув. — Как я мог не пойти ему на помощь?

Доплыть водой они успели! Но Ангара вынесла барку в Енисей вместе с шугой и салом. Грохотали, скребли по льдинам весла. Чуть жив от усталости, Иван пробивался сквозь них, проталкивая судно к левому берегу. В пути два раза садился на мель, но с Божьей помощью снимался своей смекалкой и теперь, уже возле острога, очень стыдился быть затертым и раздавленным льдами.

Филипп молчал, водил по сторонам виноватыми глазами, мысленно молился, ничем другим не мог помочь измотанному товарищу. Неподалеку от устья речки, где заимка Галкиных, Иван пробился-таки к черной полынье, тянувшейся за островом, немного приблизился к берегу, увидел всадника, закричал, размахивая руками. Всадник пустил коня галопом и скрылся в лесу, но вскоре вернулся еще с двумя. Люди спешились, стали бросать на барку веревку, добросить не смогли. Один помчался в острог, другие следовали берегом, опасаясь, что льды прижмут барку, а если перевернут или раздавят, вдруг и спасут кого.

Не раздавило. Подтянуть барку к берегу удалось только возле самого острога. На помощь сбежались служилые и гулящие, десятки рук удерживали судно, чтобы лед не унес мимо причала. На яр высыпали бабы и дети. Тяжело дыша, Иван навалился грудью на борт, руки повисли плетьми, не было сил перекреститься. Отдохнув, он поднял голову, увидел инока Тимофея в монашеской рясе, без вериг. По дряблым, но румяным щекам монаха катились слезы. За старцем, перепуганными пташками, топтались сын с дочкой. Взглянул на них Иван, и сердце облилось кровью от жалости к своим детям. Зябко сучили они ногами в дырявых чунях, на плечи были накинуты ветхие шубейки. В глазах еще метался пережитый страх.

«Ни чарки не выпью, пока не накормлю их, не одену!» — зарекаясь, снова уронил голову на борт и тяжко всхлипнул.

— Живой тятька! Живой! — услышал радостный щебет детских голосов и частые удары по железу в острожной церкви. Колоколом она так и не разжилась. Кто-то уже вскарабкался на барку, подхватил Похабова под руки. Как в тумане он увидел Савину с выбившимися из-под плата волосами. Она глядела на него не мигая, со страхом и радостью. Иван шевельнулся, устало высвобождаясь из дружеских рук, поднял саблю, мешок с ясаком, кожаный мешочек с грамотками, челобитными, отписками, спустился с барки, нетвердо встал на землю и поплелся к детям.

Терентий Савин что-то говорил ему, тормошил, он не слышал. Проходя рядом с Савиной, прилюдно обнял ее. Она вскрикнула, всплеснув руками, увидела поднятые

над бортом живые мощи мужа. Сыновья Филиппа, Гаврила с Анисимом, осторожно приняли отца, понесли к дому.

Накрыв руками худенькие плечи детей, Иван поплелся с ними к острогу, несуразно волок за собой кожаные мешки, то и дело спотыкался о ножны сабли. Терентий бодро шагал рядом, помахивал его походным топором, перекидывал с плеча на плечо его пищаль. Он о чем-то говорил. Иван слышал, но не мог понять, о чем. Последние три ночи без сна утомили его хуже голода.

Из острожных ворот вышел сотник Бекетов с бритым лицом, в пышных усах, прямой и крепкий, как колода. С его широких плеч мягкой волной стекала соболья шуба, шапка из головных, черных соболей была лихо заломлена на ухо.

Иван шевельнул бородой на приветствие товарища, молча передал ему опечатанный мешок с ясаком, письма Радуковского, поднял глаза на образ над воротами, растопыренными, негнущимися пальцами махнул рукой со лба на живот, с плеча на плечо. Ни баня, ни служба, ни жена — ничто уже не шло в голову. Туманно блазнилась только теплая печь. Ласкали душу льнувшие к отцу дети: Якунька до подмышки, Марфушка до золотой пряжки шебалташа.

Он проснулся среди ночи на теплой печи, услышал ровное детское дыхание под боком, посапывание и похрапывание на полатях и на лавке, с удивлением почувствовал себя отдохнувшим, поморщился и закряхтел, стараясь вспомнить, в чьей избе. Лежал с открытыми глазами, стараясь не шуметь, не мешать сну других, долго ждал рассвета, а тьма не редела. В дверь громко застучали.

— Терех! Иван! — окликнули. Клацнул о крыльцо приклад пищали. Это был караульный. — В посад зовут! Филипп помер!

— Ох ты, Господи! — сонно и шепеляво зевнул голос Терехиной жены на полатях. — Прибрал-таки болезного!.. Ивана будить надо!

— Не сплю! — отозвался он. — Проснулся отчего-то!

— Так и пора! — в голос зевая, усмехнулся Терентий. — Вечер, ночь, день и другой вечер спал. Утром хотели силком будить! А тут вон что.

— Не жилец был! — поддакнула мужу Тренчиха, спустилась с полатей, полезла в печь за угольком. Скоро тесную избенку осветила смолистая лучина.

— Голодный, поди? — посочувствовала Ивану. В темноте лицо ее казалось совсем старым.

— Собаку бы съел! — признался он и перекрестился на мерцавшую в углу лампадку.

— Перекуси да пойдем! — Тренчиха подала ему ломоть хлеба и стала убирать под платок растрепавшиеся волосы. — Товарищ ваш, из старых, надо проститься по-христиански.

— Моя-то где? — промычал Иван набитым ртом.

— А все молится, — одевшись, притопнула ичигом хозяйка. Приглушенно выругалась, проворчала под нос: — Шалава! Детей на меня бросила. — Снова зевнула, крестя
рот: — Ох, Осподи! Руки стали болеть. Надо покойника помыть. Не остыл бы.

Мало кому из служилых выпадала такая честь: отпевали Филиппа непрестанно два дня и две ночи. С разгладившимися морщинами, с улыбкой на губах, он лежал на столе выстывшей избы, самодовольно подглядывал за всем происходившим сквозь щелки опущенных век. Возле покойника Иван встретил свою жену, Пелагию. Как когда-то в Кетском остроге, блестели бирюзовые глаза, влекущая улыбка блуждала на губах. После разлуки не к месту заныло сердце от воспоминаний и несбывшихся надежд. Опустив полные, покатые плечи, некрасиво горбясь, возле тела сидела Савина. Она не голосила, как принято, только тихонько вытирала слезы и хлюпала мокрым носом.

Пелашку, читавшую Псалтырь, сменила скитница Степанида. Иван помолился и смущенно вышел в сени. Рассветало. Он еще не был в бане и чувствовал прогорклую вонь одежды. Рубаха ссохлась и царапалась, как береста. Наверное, давно уже его поджидал воевода с докладом. Меченка вышла следом. Иван остановился, чтобы приветить жену, но не успел слова сказать, ее губы искривились, глаза сузились:

— Все знаю! И Филипп, земля пухом, подглядывает, кабы при нем не стали прелюбодействовать!

— Тьфу на тебя, кикимора болотная! — выругался Иван, нахлобучил шапку и зашагал к проездным воротам острога.

Только после похорон он зашел в свою острожную избу и увидел привычное запустение. В бочке был лед, в квашне засохло и позеленело тесто. По столу бегали мыши. Ни у диких, ни у промышленных людей в жилье он никогда не видел такой грязи. Тоскливо и зябко глядели из красного угла лики святых, а их было выставлено много. Иван вздохнул, перекрестился, разжигать печь не стал, но вернулся к Терентию и предложил с тоской в глазах:

— Перебирайся в мою избу, там просторней. Все равно дети у вас живут! —

будто посолонил рану Тренчихе. Она соскочила с лавки, виновато поглядывая на Якуньку с Марфушкой, вскипела:

— Уж говорила ей, нельзя одной ногой здесь, другой там. Ладно нас — детей мучит! Утащит силком в скит, они прибегут, бедненькие. Плачут.

— Мамка за нас молится! — насупившись, буркнул Якунька.

Запечалилась, всхлипнула дочь. Иван подхватил ее на руки, прижал к груди.

— Молится! — сдерживаясь, проворчала Тренчиха, громыхая ухватом по горшкам в печи. — Доходит ли до Господа молитва от такой засранки?

Неделю Иван прожил при остроге, у Терентия, дети были при нем, а он все ждал, когда Меченка вычистит и протопит свою избу. Не дождавшись, получил жалованье деньгами, хлебом, солью, крупами. Одел детей, купил поношенный кафтан. Так как Терентий с женой, не желая склок и хлопот, в его избу не пошли, весь жалованный съестной припас ссыпал в их ларь. Затем по наказу воеводы ходил с тремя казаками на Сым, устье которого опять отошло к Енисейской волости. Волостные остяки присылали вестовых, будто к ним переправились тунгусы с правого берега. Вернулся к сороковинам Филиппа, отстоял панихиду, помог Савине приготовить дом к поминкам. Она жила в михалевской избе с двумя пасынками, входившими в служилый возраст, и своими сыновьями-погодками. Старший, Емелька, был ровесником Якуньки Похабова.

Сыновья Филиппа из-за долгих отлучек отца и болезни матери привыкли хозяйствовать. Оба уродились с умелыми руками: делали на продажу сани, нарты и лыжи, выделывали кожи, шили сапоги, запахивали под озимую рожь десятину на Касе. Младшие, Вихоркины сыновья, души не чаяли в старших сводных братанах, во всем им подражали и все почитали Савину как мать. Семья жила дружно. Глядя на них, Иван понимал, что их дому без Савины не быть.

Но светлой была его печаль, душа таяла в чистой избе старого товарища. Разошлись гости, а он все сидел, не заметил, как на полатях уснули Вихоркины сироты, а с ними и Якунька. На печи давно прикорнула дочь. Савина не дала будить детей, неспешно прибираясь в доме. Иван уже несколько раз хватался за шапку, и все что-то его останавливало, все никак не мог оторвать зад от лавки.

— Оставайся у нас! — юношеским баском, но с детской искренностью предложил старший Филиппов сын. — А то возле мачехи уже крутятся всякие шибздики и голодранцы. А она — хорошая, мы ее никому не отдадим! И сынов ее, наших брательников, не отпустим! Нече дом портить.

Иван смутился от слов юнца, заерзал по лавке, закашлял запершившим горлом. Савина молчала, не поднимая глаз. Из другого угла на него выжидающе посмотрел Анисим, младший Филиппов сын, и пролепетал, оправдываясь:

— Сперва Бог хворую мамку прибрал, потом и тятьку…

Ничего не сказал юнцам старый казак, но остался с Савиной, которую тяготило вдовство. Утром она поднялась затемно, раздула и растопила стынущую печь, склонилась над лавкой в кутном углу, снова юркнула под Иванову шубу, прижалась щекой к его груди.

— Ну и грешница, ну и прелюбодейка, Осподи! — всхлипнула. — Двух мужей похоронила и опять за свое… Третий раз под венец ни за что не пойду!

— Не божись! — пристрожился Иван. — Пелашка грозит постриг принять… Говорила, будто скитницы требуют моего согласия. Все равно, как не было с ней жизни, так и нет.

Поднялись старшие сыновья Филиппа, загалдели Вихоркины погодки, послышался голос Якуньки. Они расшалились впятером, полати заходили ходуном: детское горе как летняя гроза — брызнули слезы и снова в глазах солнце. Зевая, неприязненно хмуря брови, слезла с печи Марфушка. Савина смущенно оторвалась от Ивана, поправила выбившиеся волосы, подхватила девочку на руки, не удержалась, поцеловала в румяную щечку, положила под тулуп к отцу.

Вздохнула, зевая и крестя рот:

— О-Ооспoди! Дал бы Бог дочку, помощницу. Все мальчишки да мальчишки!.. Сорванцы!

Она поплескала в лицо из ушата со сгоревшей лучиной, встала под образа на молитву. Притихли сыновья и пасынки, стали спускаться с полатей, вставали рядом с ней. Как ни стыдно было Ивану объявлять себя в доме покойного товарища, но надо было подниматься. Он кашлянул раз, другой, рыкнул, прочищая связанное горло, зевнул, перекрестился, укрыл уснувшую дочь и сел.

— А дядька Иван все у нас! — без осуждения приветствовал его Филиппов Гаврила.

— Умаялся вчера, — смущенно пробормотал Иван. — Заночевал.

— Места хватит! — одобрил старший. — Совсем оставайся. Большая семья бедной не бывает!

— Тятька прошлый год двух ясырей привозил, — твердеющим голосом поддержал

брата Анисим. — Лодыри: жрать да спать. Поменяли у купцов на хлеб.

— Тятьку-то помянул — перекрестись! А то и заупокойную почитай! — ласково укорила пасынка Савина. На ее глазах блестели покаянные слезы.

Анисим послушно перекрестился и поклонился на красный угол, закрестились младшие, Вихоркины. Рядом с ними молился Якунька. Иван тяжко вздохнул и понял вдруг причину своей давней, привычной тоски. Он был в семье, чуждой вольному казаку, но которую стремится создать всякий мужчина. Но не всем это удается. По грехам, не удалось и ему.

День был гульной, вольный. Иван с пятью малолетками навозил из лесу дров, нарубил их в запас. Полдничали поздно. Он сидел с дочерью на коленях, степенно черпал ложкой разваренную кашу, радостно думал о том, что снова останется с детьми на ночь и будет сидеть возле печки, с дочерью на руках, окруженный пятью нечужими мальчишками, станет рассказывать всякие небылицы, запомнившиеся от деда. Он то и дело ловил на себе ласковый взгляд Савины и не мог вспомнить, был ли когда-нибудь так счастлив, как в этот, сорок первый по кончине товарища, день в его доме. Но к вечеру принесла нелегкая Меченку. Она ворвалась, громко хлопнув дверью.

— Сколько ждать! — закричала на детей, сверкая разъяренными глазами. Никого, кроме них, замечать не желала. — Может, совсем останетесь в блудилище?

— Останемся! — сдерживая гнев, рыкнул Иван. Он готов был удавить жену, напомнившую ему об обыденной жизни, но взглянул на детей и сдержался. «Кто я? — подумал с тоской. — Месяцами, годами на службах. А она, какая ни есть, мать. И всегда рядом».

Филипповы и Вихоркины сыновья стыдливо помалкивали. Марфушка захныкала, Якунька стал покорно одеваться. Иван тоже схватился за шапку, накинул кафтан, обернулся к Савине. Глаза ее были широко раскрыты, в них мерцали страх и боль.

— До острога провожу и вернусь! — сказал, оборачиваясь к двери.

Едва спустились с крыльца, Якунька молча сиганул в сторону, забежал за амбар и перепрыгнул через заплот. Пелашка окликнула его, хлюпнув носом, зашагала широко, не оборачиваясь, молча тащила за собой дочь. Та едва успевала переставлять ноги, то и дело оборачивалась к отцу, ожидая от него помощи.

— Куда ведешь? — хрипло и грозно спросил Иван. — В грязную нетопленую избу? Или по соседям, как кукушка?

Пелагия не отвечала, лишь круче отворачивала лицо на бок. Дочь вдруг заревела в голос, повисла на ее руке, осев на снег. Иван понял, что жена поволокла ее не в острог, а к скиту. Тут только она обернулась к мужу с некрасивым, разъяренным лицом.

— Не мучь детей, кикимора! — крикнул Иван, подхватывая дочь. Отобрал ее силой, прижал к груди, она, всхлипывая, крепко обхватила его шею.

Пелагия взвыла, как бывало в прежней жизни, кинулась, чтобы вцепиться ему в бороду. Иван оттолкнул ее плечом. Не бил, как в молодости. «Много чести!» — подумал с ненавистью.

— Антихрист! — трубно крикнула она, захлебнулась слюной, закашляла. — Нищий голодранец, дурак в дурацкой шапке!

Дочь заревела громче, уткнувшись в шею отца. Пелагия выругалась, озираясь, плюнула под ноги мужу, побежала за острог, на болото. «Тимофею и скитницам жаловаться!» — с облегчением подумал Иван и понес обратно плачущую дочь, неумело успокаивая ее. Увидев их, Якунька выглянул из-за глухой угловой башни, посмотрел вслед матери и осторожно двинулся за отцом.

— Ну, не реви! — гладил дочь Иван. — Повздорили с мамкой. Мы всю жизнь с ней спорим. Что с того? Спать со мной будешь. Тетка Савина накормит.

— Мамку жалко! — прерывисто вздыхая, дочь зашмыгала носом. Ее жаркое дыхание грело Ивана под бородой, горячие слезы щекотали шею.

— Добрая ты! — вздохнул он всей грудью и крепче обнял дочь. — А лицом в мать. Красавицей будешь. Судьбу бы тебе еще вымолить добрую.

Якунька шагал под боком и молчал, посапывал носом, прислушивался к бормотанию отца.

— А чей хлеб будем есть у тетки Савины? — спросил вдруг не по-детски настороженно и строго.

— Мой, конечно! — удивленно буркнул Иван. — Не монастырский же. И у Тереха мой ели, и здесь. Не нищие, слава Богу! Мы — люди служилые, с государева жалованья живем, с оклада.

На третий день Пелагия все же выкрала дочь, но два дня Иван прожил счастливо и долго те воспоминания грели его душу у костров. Вскоре он стал собирать обоз на Маковский острог за рожью, по наказу воеводы должен был проверить там амбары и ясачные книги, осмотреть гостиный двор. Торговые снова жаловались на маковцев. Загружая обоз, Иван столкнулся со скитницей Стефанией Кошелевой, которую знал давно. Монашенка испуганно взглянула на него, отскочила как от чумного, крестясь, понеслась в обратную сторону. С ней у Ивана никогда не получалось разговоров, не слишком-то удивила и эта встреча. Но вот он поклонился игуменье Параскеве Племянниковой, с которой был в добрых отношениях, а молодым даже увивался

возле нее с тайными помыслами. Скитница взглянула на него строго и неприязненно, не ответила на поклон. Старый поп Кузьма, белая борода, и вовсе раскричался у амбаров, в подклете новой, строившейся церкви:

— Покойник еще в земле не остыл, а ты, блядин сын, при живой жене вдову товарища ко греху склоняешь! Анафемское отродье!

— Что орешь, батюшка? — вспылил Иван. — Моя ли вина, что Пелашка ни пострига не принимает, ни со мной не живет? Что мне, удом лед долбить или ясырку тискать?

Стоило ему напомнить про дикарок, лицо попа побагровело, он разъярился пуще прежнего и вперился в Ивана ненавидящим взглядом. Добрая половина посада жила с невенчанными ясырками. Иные казаки продавали их друг другу: кто на время, а кто совсем, самые беспутные жили с двумя сразу и даже похвалялись этим.

— У нас шесть детей! — стал оправдываться Иван.

— Вавилон, истинный Вавилон и Ассирия! — затопал ногами старый поп, будто ему присыпали солью рану. Мотнул четками, как кистенем: — Ты за себя ответ держи, на других не кивай! Братья Иосифа тоже оправдывались и на других указывали, когда не убили младшего, а только продали и отца обманули…

— Оговорила, курва лупоглазая! — обругал Иван жену и ушел от разъяренного попа.

Он вернулся из Маковского с рожью через две недели. Дочь и сын жили у Савины, в доме было чисто и тепло, пахло хлебом. Посередине стола стояла плошка с мороженой брусникой, каравай свежего хлеба был прикрыт чистой тряпицей. Едва он вошел в дом, Вихоркины сыновья кинулись к нему как к родному. Якунька дичился, но тоже был рад встрече и убежал вместе со старшими, михалевскими, топить отцу баню.

И снова сидел Иван возле печи, сушил бороду и волосы. Любовался дочерью, поглядывал на Савину. «Вот оно, истинное счастье!» — думал. И всякие мучившие его прежде помыслы о дальних службах, о неведомых землях казались ему глупыми и пустячными.

Глава 9

На бесславных службах спокойно, безбедно и даже счастливо Иван Похабов прожил в доме Савины четыре года. После десяти лет в чине сына боярского при воеводе Осипе Аничкове к его прежнему казачьему окладу государь милостиво добавил три рубля. Новый воевода много строил: расширил острог до восьми башен, обновил посадскую Богоявленскую церковь, пристроив к ней новый придел. От имени всех енисейских служилых и посадских людей он отправил царю заручную челобитную, спрашивая высочайшего согласия построить церковь Михаила Малеина, небесного покровителя царя Михаила. Монахиням с их многочисленными вкладчицами, работницами, нахлебницами, калеками и старухами этот воевода помог заложить женскую Христо-Рождественскую обитель. Его наставлениями, а то и понуждением по праздникам и воскресеньям после литургии грешные енисейцы валили и тесали лес в верховьях реки, плотами сплавляли к острогу, таскали на сухую возвышенность среди болота, к скиту старца Тимофея. В обители с шестью монахами ютилось много дряхлых промышленных, служилых и калек.

К этому времени от старой стрелецкой сотни в Енисейском остроге остались одна память да полтора десятка старослужащих казаков, которые иногда называли себя стрельцами. Остальные разбрелись по Сибири и получали казачье жалованье. Острог обновился ссыльными и присланными, гарнизон уже насчитывал до трехсот человек, а при самом остроге, как и прежде, нес службу десяток старых и увечных казаков.

Якунька Похабов к шестнадцати годам был зачислен в выбылый казачий оклад и ушел на первую службу с атаманом Перфильевым в Братский острог, поставленный Николой Радуковским. Петр Иванович Бекетов с бывшими стрельцами, казаками и прибывшими людьми зимовал на устье Олекмы. В его отряде служили Гаврила и Анисим Михалевы, Емельян Савин — старший сын погибшего Вихорки. Ивашка Струна прибился к Бекетову охочим человеком, ходил с ним в походы и, по слухам, был поверстан в выбылый казачий оклад. Младший сын Савины и Вихорки Савина, Вторка-Петр, на заимке своего дяди, Терентия, пахал землю. Михалевский дом пустел, время от времени наполняясь шумом молодежи, прибывшей со служб или с заимки.

Пелагия все эти годы ходила в послушницах при женском монастыре. Отчего не приняла постриг — никто не знал: то ли из вредности, чтобы не дать повенчаться Ивану с Савиной, то ли по грехам.

В начале сентября Иван Похабов получил денежное жалованье, рожь, соль, крупы, ссыпал их в ларь михалевского дома. Савине и дочери купил в зиму шубейки и теплые сапоги, два битых ефимка зашил в подкладку кафтана, на черный день. Он уже собирался на новую службу, когда услышал, что в острог прибыл атаман Перфильев. Бросив дела, побежал в съезжую избу и столкнулся с атаманом в такой дорогой шубе

из черных лис, что не узнал его лица. Зажмурился, не поверив глазам, помотал бородой, отступил на шаг и только тогда разглядел, что это Перфильев, да не тот.

— Е-е-е! — воскликнул удивленно. — Илейка? Беглый? Ты, что ли?

— Был Илейка, да вышел! — с важностью ответил младший Перфильев. — Нынче атаман Илия! Поликуемся, что ли? — смешливо потянулся к Ивану.

— Это как же ты атаманство набегал? — обнял молодца и снова с восхищением оглядел его Иван. — А Пенда с Ермогеном где? А Иваны, что с тобой бежали?

— Все расскажу! Ничего не утаю, приходи нынче к братанихе.

Долгие расспросы-переспросы атамана воеводой и подьячим, скрип перьев, молчаливое ожидание, когда прикусивший язык писец кивнет, чтобы продолжить, слушать все это Похабову быстро надоело, да и некогда было. Его подначальные люди при попе и целовальнике считали мешки с красноярской рожью.

Со своими делами он управился только к вечеру, отряхнул кафтан, двинулся напрямик к Настене с крестником. Илейка с красным, распаренным лицом, в красной шелковой рубахе сидел под образами. В бороде его поблескивали капли влаги, из-за уха торчал березовый лист, слипшиеся мокрые волосы были расчесаны на ровный пробор. За столом уже собрались лучшие люди острога: подьячий, поп Кузьма, бессменный таможенный и кабацкий голова Ермес, сын боярский Никола Радуковский. Иван торопливо перекрестился, по-свойски плюхнулся на лавку, с маху выпил чарку, поднесенную Настей, проглотил блин, не заметив ни крепости вина, ни вкуса закуси, и в оба глаза глядел на бывшего беглеца.

— Ермоген нынче в острожке, на устье Киренги, намаливает место под город! — помня вопросы сына боярского, степенно отвечал ему Илейка. — С Пантелеем они разошлись… Того в прошлые годы я видел в Якутском остроге, а последний раз на реке Индигирке, где он промышлял. А ту реку прежде него нашел я и был там первым.

Семейка Шелковников — торговлю бросил: на устье Куты, при солеварне, был в целовальниках, потом поверстался в казачий оклад. Ивашка Ребров служит на Лене. А другой Иван, Сергеев, без вести лет уж пять. Даст Бог, вернется.

Больше Похабов ни о ком не спрашивал, слушал рассказы бывальца и очевидца о дальних, неведомых землях, пил не пьянея, ел не насыщаясь, пока не почувствовал, что расперло живот. Он откланялся и поплелся домой. Голова была свежа, а ноги заплетались, шел, покачиваясь, и все хмыкал в бороду. Илейкины сказы растравили давно унявшийся зуд. Где-то под костьми, глубоко упрятанные, полузабытые, томили душу несбывшиеся помыслы молодости о подвиге во славу Божью, за свой народ.

— А подь ты! — плевал через левое плечо. — Хорошо живу! Лучше никогда не жил! Да и поздно уже бродяжить.

— Ты чего это загулял? — смеясь, встретила его Савина.

Иван молча скинул кафтан, сел против печки, насупившись, долго глядел на угли в каменке, скоблил пятерней грудь под распахнутым воротом рубахи. Спохватившись, ответил заплетавшимся языком:

— Илейка Перфильев вернулся с полуночных стран. В прошлые годы бежал туда от меня. Максимка сколько трудов положил, чтобы оправдать его… — Помолчал, вздыхая, вскинул на Савину мутные глаза: — Мне куда уже? И с тобой хорошо! Чего еще? — пробормотал не уверенно и замотал головой. — Блажь! Прости, Господи!

Со светлой печалью о несбывшемся он ушел на службу до Филипповского поста, а вернулся после Пасхи. Его подначальные люди тут же разбежались по домам. Иван бросил у острожных ворот пустые нарты, с мешком ясачной рухляди пошел к воеводе, но дойти до съезжей избы не успел, его догнала постаревшая, сморщенная Тренчиха и вцепилась в рукав.

— Твоя-то, шалава, Марфушку замуж отдала! — прошамкала, гневно сверкая глазами.

— За кого? — ахнул Иван.

— За Савоську, сына ляха Нужи!

— Как можно отдать замуж без благословения отца? — вскрикнул Похабов, встряхивая старуху за плечи.

— Продала родную дочь? — догадался.

— Ходят и такие слухи! — оглядываясь по сторонам, подтвердила Тренчиха. — Ведьма она и есть ведьма!

Он оставил на полуслове жену товарища, ворвался в съезжую избу, швырнул на лавку мешок с ясаком, не поклонившись на образа, схватил подьячего за ворот.

— Говори! Продали мою дочь?

Воевода Осип Аничков с побагровевшим лицом поднялся на помощь перепуганному подьячему, усадил на лавку сына боярского, бешено вращавшего глазами, стал вразумлять:

— Подумай, кому бы я позволил без твоего согласия продать твою дочь? О чем кричишь? — Обернулся к крепостному столу. Приказал подьячему: — Открой крепостную книгу, покажи записи! — И к Ивану: — Ты же грамотный, читай! Со времени

твоего ухода проданы три ясыря, две ясырки. Вдова гулящего, хлебного оброчника Чекотеева продала дочь десяти лет бывшей сотничихе Фирсовой, жене Шоринской. Все! А что там болтают по подворотням, тому я не ответчик.

Иван тупо уставился на исписанную страницу прошнурованной книги, поводил пальцем по строкам, читая вслух. Остыл, смутился.

— Прости, Христа ради! Бес попутал! — повинился перед подьячим. — Не оторвал ворот?

Он сдал ясак, сбивчивым, пьяным языком рассказал о волостных новостях, передал челобитные ясачных родов, запоздало положил поклоны на образа, сутулясь, поплелся в посад к Савине. Она знала о его возвращении и топила баню. На пути ему встретился молодой казак Дмитрий Фирсов, старший сын утонувшего сотника. Митька приветливо откланялся сыну боярскому:

— Как служилось, дядька Иван? Гляжу, идешь невесел?

— Слава Богу! — отмахнулся от печальных мыслей Похабов, взглянул на статного молодца, вспомнил, что уже не первый год служит и младший сын Поздея Фирсова, Никитка, родившийся после гибели отца. Вздохнул, прикидывая, сколько лет прошло, вспомнил про кабальную запись: — А чего твоя мать решила купить дочку у гулящих?

— А пожалела! — рассмеялся молодой казак с густым кучерявым пухом по щекам. — Вдова собралась замуж за казака, а тому на службу. Отчим просил мать родить ему дочку, да не дал Бог, вот и решила обрадовать, как вернется.

Только на другой день, обласканный Савиной, Иван пришел в себя от ошеломившей его новости и укорил Петруху Савина:

— Уж лучше бы ты женился на Марфушке, раз ей приспело.

Вторка густо покраснел, опустил глаза, обидчиво отворотил лицо, становясь еще больше похожим на отца. Справившись со смущением, пробубнил баском:

— Поди, прокормил бы, свой хлеб ем. А поп сказал — нельзя с ней венчаться! Одним домом жили. Родственники!

Петруха-Вторка заскрипел зубами, лицо покрылось пятнами:

— Савоська все крутился возле нее. Мы с Емелькой и с Аниськой два раза морду ему били. Хоть бы что. Совести у него нет. А тетка Пелашка его сильно привечала. Что тут поделаешь?

Савоська, пронырливый сын пленного ляха, был записан в посад колесником, имел славу смутьяна и придурка, делал колеса к телегам и телеги, тайком курил и продавал вино. О его тайнокурении знали в посаде и в остроге, но он умудрялся дружно жить с кабацким головой Ермесом, как-то сговаривался с ним. Кого-то за тайнокурение клали под кнут, а над Савоськой смеялись и били только под горячую руку.

— Много про все это говорят, — Савина досадливо отмахнулась от расспросов Ивана. — Сказывают всякие небылицы.

— Расскажи! — потребовал он.

— Грех такие нелепицы передавать. Сам знаешь! — поджала губы Савина.

— Нам — все грех! А с них все, как с гуся вода, — проворчал Иван. — Дали бы попу ефимок, обвенчал бы Марфушку с Петрухой. Савоська кому надо дает, и ничего, рука не отсыхает. — Помолчав, обернулся ко Вторке: — Матери грех, так ты скажи, о чем люди говорят.

— Нет уж! Лучше я сама! — засуетилась Савина, боязливо крестясь. — Одни говорили, что Пелагия продала дочь и сделала вклад в женскую обитель…

— Брешут! Проверил! — хмуро буркнул Иван.

— Еще говорят, — смущенно опустила глаза и пролепетала, — будто твоя, венчанная, в блудной связи с молодым Савоськой, дочь за него отдала, чтобы свой грех прикрыть. Она же не стареет… Другие говорят — ведьмачит, — прошептала с несчастным лицом и часто закрестилась на образа в красном углу. — Захочет, и моих кобелей уведет! — кивнула на Вторку.

Лицо парня опять налилось краской.

— Так то же грех великий. Камнями забьют! Не поверю! — замотал бородой Иван. — Забрюхатил, гаденыш, Марфушку… Она же добрая, ласковая, не в нее, в стерву. Вот и отдала поспешно!

— И так говорят! — покладисто согласилась Савина, а Вторка уронил голову на руки.

— Да и девке пятнадцать лет уже. Моложе отдают. Ты дочь-то навести! — Савина ласково прильнула грудью к плечу Ивана. — Одари ее! Не ругай! Не надо. Итак, бедной, плохо.

— Зайду! — вздохнув, согласился Иван.

— Сегодня зайди! — настойчивей попросила Савина. — Нынче Савоськи дома нет. Не повздоришь!

Дочь свою Иван встретил в церкви. Окинув ее взглядом, всхлипнул: не успела войти телом в девичью пору, а голова покрыта по-бабьи, волосы заплетены в две косы,

лицо в темных пятнах, плечи покосились, явно брюхата, но покрыта венцом. Взглянул Иван на Меченку, беспечально певшую на клиросе, про себя отметил, что та и правда не стареет: хоть за молодого отдавай.

Постояв рядом с дочерью, мирно отошел в правое крыло, к мужчинам. Меченка обернулась с клироса, одарила мужа мстительным и победным взглядом, запела громче, по обыкновению изгибалась змеей в такт пению, вздрагивала телом, набирая воздух в грудь, при этом так выпячивала зад, что смущала холостых.

Отстояв службу, Иван подхватил дочь под руку, вышел с ней на крыльцо. Вместе положили поклоны на храмовую икону, не сговариваясь, пошли к дому Савоськи.

— А самого сегодня дома нет! — боязливо прощебетала Марфа.

Иван не понял, то ли радуется этому дочь, то ли оправдывается. Опасаясь обидеть, не выспрашивал, как вышла замуж и почему не дождалась благословения отца. Вдвоем они вошли в добротный посадский дом. Он был небеден. Дочь просеменила в сени, вернулась с деревянным подносом, на нем — чарка с водкой, хлеб, квашеная капуста, оставшаяся с зимы. «Запаслив зятек!» — подумал Иван, перекрестился, выпил, поцеловал дочь, положил на блюдо выпоротые Савиной ефимки. Марфа смущенно поклонилась. Клацнула дверь. По-хозяйски вошла в дом Пелагия, по ее виду Иван понял, что живет с молодыми.

— Мог бы и одарить дочь! — хмыкнула, не заметив денег на подносе.

— Тятька меня всегда баловал! — обидчиво вскрикнула Марфа и показала матери-деньги.

Меченка завистливо проворчала:

— Меня так не дарил!

— Не за что было! — прохрипел, не сдержался Иван и схватился за шапку. Зол был на Меченку, боялся переругаться с ней при дочери. На душе клокотала обида и понесли ноги в кабак.

Он вошел, оглядел сидевших за столами. Ни выпить, ни поговорить было не с кем: все новые, молодые. Сел в углу, поерзал по лавке, опрокинул в рот чарку, встал, не промолвив ни слова, пошел к Савине. Ласки и уговоры доброй вдовы подействовали: Иван смирился, стал вслух думать о старости, которая была на пороге и вдруг у него появилась возможность осесть на одном месте.

Воевода позвал сына боярского в съезжую избу, загадочно улыбаясь, усадил против стола. Его гладкое, круглое, выбритое лицо пламенело нездоровым румянцем со светло-серыми плешинами, под редкими усами змеились пухлые, сочные губы. Он бросал на Ивана смешливые испытующие взгляды и потирал руки.

— На Енисейских притоках Дубчесе и Тунгулане бывал? — спросил, посмеиваясь.

— Как не быть? — пожал плечами Иван и подумал, что опять начались споры с мангазейскими казаками.

— Слободу на нашей стороне знаешь?

— Ворогову, что ли? — вскинул глаза Иван. — Как не знать!

— Пять лет уже стоит, — непонятно чему посмеиваясь, проворковал воевода. — Основали промышленные люди Иван Ворогов и Григорий Цыпаня. Слободчик* Ворогов тягло бросил, подался в бега из-за долгов, Гришка помер. Государев завод на всех слобожан дан, семена шлем каждый год, а прибыли с государевых десятин нет. Нынче пашенные слобожане выбрали старостой Цыпаню Голубцова. Он приехал ко мне, просит безоборочной льготы на десять лет, плачет, что слобода бедная, содержать приказчика, писаря, казаков нет мочи, просит грамотного приказчика на свой хлеб. Я ему и говорю: есть сын боярский, грамоту знает, без писаря обойдется, к тому же старый рубака, если понадобится, твоих пашенных защитит. А места там тихие, сам знаешь. Разве промышленные расшалятся или мангазейцы станут задирать… Не служба — мед! Всю зиму на печи пролежишь! — воевода опять рассмеялся, подмигнул и потер руки.

— А что, — помолчав, согласился Иван. — Старость не за горами.

— Вот и служи мирно! — Кровь отхлынула с лица воеводы, поблек румянец на щеках, выдавая скрытую хворь. Он взглянул на Похабова пристально и добавил с каким-то намеком: — Коли ты сын боярский, то войди в государеву выгоду и в мою, воеводскую, тоже… Перезимуешь по-царски! — добавил, как о решенном. И полюбовную вдову возьми, там вас никто корить не будет, попа в слободе нет.

Иван не стал оправдываться, кивнул, показывая, что готов послужить слободчиком. Едва вместе с воеводой вышел на крыльцо съезжей избы, со многими поклонами к ним подбежал улыбчивый пашенный с вислой сосулькой бороды.

— Староста, Цыпаня Голубцов, — указал на него воевода.

Слобожанин в плохоньком зипунишке угодливо закивал, его плутоватые глаза забегали и показалось Похабову, что они с воеводой поглядывают друг на друга, будто в сговоре. Служба в слободе считалась у казаков самой легкой. Государева жалованья за нее не давали, приказчик жил на содержании вольных пашенных

людей, надзирал за порядком запашки государевой земли, посева, жатвы и сушки государева зерна. Беломестные казаки, если они были, тем лишь отличались от слобожан, что не запахивали государевой десятины, а только свою землю.

Со светлой печалью под сердцем Иван вернулся в дом Филиппа Михалева. В нем было тихо и пусто.

**Слободчик — организатор, основатель и руководитель слободы.*

— Ну вот! — грустно улыбнулся Савине. — Дети выросли, мы постарели! Поплывешь со мной за триста верст? Будем жить без разлук. Глядишь, в покое и в сытости встретим старость.

Савина навестила сына на заимке Тереха, простилась с Капитолиной и соседями. Иван с Цыпаней просмолили барку в пять саженей, загрузили рожью для озимого посева. Похабов снес в барку немногое нажитое добро и зимнюю одежду, с тремя казаками, отправленными на Сым, поплыл к Вороговой слободе в полуночную сторону. Она была самой северной из пашенных деревень и заимок Енисейской волости.

Не огороженному тыном селению из четырех дворов подчинялись четыре небольших деревеньки, где в один двор, где в два. Завидев барку на воде и Цыпаню Голубцова, к прибывшим выбежали приветливые пашенные слобожане, быстро перетаскали семенную рожь в амбар, пожитки приказчика — в избу. Она была натоплена и вычищена, пахла дымом и мышами. Слобожане стали ласково, Христа ради, зазывать к себе прибывших подкрепиться с дороги. Их властно осадил староста:

— Дайте людям отдохнуть! Путь был не близок. А обед мы им пришлем.

Прошел день и другой. Иван верхом на коне объехал деревни и поля. На бедный, как говорил воевода, здешний пашенный народ не походил, хотя при приказчике все только и говорили о скудости земли. «Кабы не тайга-матушка, — жаловались, — с голоду бы перемерли». Иван осмотрел поля, приметил, что против одной государевой десятины слобожане запахивали по семь-восемь своей вместо пяти положенных законом. Под покосы землю никто не мерил: косили кому сколько надо, при каждом дворе, на ручьях, стояли мутовчатые маленькие мельницы, налогов с них не платили. Высматривая все это, стал замечать Иван, что староста сердится, неохотно отвечает на его вопросы и все толкует:

— На что тебе вызнавать нашу бедность? Живи себе, прокормим как-нибудь, а со своими делами сами управимся.

— Как же? — мягко возражал Иван. — У меня наказная память воеводы. Велено осмотреть поля и жилье, следить, чтобы вовремя вспахали государеву землю, чтобы засеяли зерном при мне, а после урожай наказано сверить, для государевой пользы. За пашенными следить, чтобы не блудили, не пьянствовали, в карты и в зернь не играли.

— Паши не паши! — устало противился староста. — Все тут же сорняком зарастет. И тайга, и тундра рядом, прет из них дикое семя. Пуд ржи посеешь — полпуда пожнешь…

Весь обратный путь Цыпаня был хмур, отвечал на вопросы обидчиво, но вечером, с улыбками и поклонами, принес полуведерный жбан вина. Другой слободской мужик привел овцу, принес пуд перемолотой ржи и коровьего масла.

На Троицу все гуляли широко и сытно, забыв про убогую бедность, на которую жаловались. Приходили, кланялись, поздравляли приказчика с хозяюшкой. Похабов два дня пьянствовал, веселился со всеми, на третий опохмеляться не стал. Отлежался, дал слобожанам отгулять неделю, а после, сперва ласково, затем строже, начал принуждать, чтобы все готовились к запашке под озимь. И чем строже требовал сын боярский то, что наказал воевода, тем неприязненней поглядывали на него пашенные. Пришел Цыпаня, уставший от гульбы, поставил на стол флягу с вином, повздыхал, качая головой, взглянул на Ивана мутными, злыми глазами, попросил:

— Не мешал бы ты нам жить как знаем!

Принудил-таки Похабов слобожан вспахать государевы десятины, не дал им семенной ржи, но при себе заставил засеять поля. Пашенные в отместку перестали давать ему пропитание. Собрал их Иван, объявил сам, не через старосту, с какого дома когда и сколько будет брать ржи, масла, овощей. Мясо и рыбу решил добывать сам.

Пришла осень. Иван с Савиной жили уединенно, окруженные всеобщей неприязнью, никто к ним не заходил, не кланялись, как прежде. Свое оговоренное пропитание приказчик забирал чуть ли не силой, а каждый пашенный дом имел от десяти до тридцати насельников. При хозяине и его семье, как при монастырях, ютились нахлебники и захребетники, податей не платившие, но все работали, никого даром не кормили. В зиму ловили рыбу, промышляли зверя и мех, втридорога продавали рожь и масло воровским ватагам. Против государева указа каждый дом курил вино и продавал беспошлинно. На все это Иван глядел сквозь пальцы, но урожай с государевых десятин хотел взять сполна.

Два раза в зиму пашенные бунтовали, подступая к приказной избе с кольем, но скоро поняли, что Похабова не запугать, притихли. Ранней весной, едва сошел снег с

полей, Цыпаня приехал с письменным наказом от воеводы: слободскую службу сдать, вернуться в Енисейский острог.

— Ну вот! — пожаловался Иван Савине. — Не увидим, как заколосится наша рожь! Может быть, так и лучше.

Завидев сборы, явился в дом Цыпаня с глазами будто маслом смазанными, ласково поглядывая на приказчика, поставил на стол кувшин с вином, положил снизку соболей.

— Не обижай нас! — пролепетал, скрывая гневные огоньки во взоре. — Не покидай со злом!

Похабов соболей не взял, не стал пить вина, чем пуще прежнего рассердил слобожан. Они опять окружили дом, вопили, угрожая: «Утопим дворянского выблядка!»

— Убьют ведь по дороге! — переполошилась Савина.

— Не убьют! — жестко усмехнулся Иван.

Он выбрал казенный стружок о четырех веслах, силой забрал у старосты двух лошадей. Когда в струг были погружены те же пожитки, с которыми они приехали, скрутил старосте руки за спиной.

— Все равно поедешь, жаловаться. Так лучше вместе!

Приказал завывшей жене старосты принести тулуп и еды в дорогу.

— Аманатом в острог беру! — объявил столпившимся слобожанам. — Увяжетесь за мной или шалить станете дорогой — зарублю Цыпаню! Потом вам головы отсеку.

Поняв, что задумал приказчик, староста успокоился:

— Твоя правда! Все равно к воеводе ехать!

Перфильев с Якунькой Похабовым еще не вернулись из Братского острога, но в Енисейском были атаман Иван Галкин и Петр Бекетов в новой должности казачьего головы. Начинали выходить из тайги промышленные ватаги. Торговые, посадские люди

Енисейский острог встретил Похабова плохими новостями. Еще на подъезде к посаду он узнал, что воевода Осип Аничков умер и похоронен во временной могиле. В холода гроб с его телом собирались везти в Тобольск. Не обошла беда и Меченку. По доносу зятя на колдовство она сидела в женском скиту на цепи.

Поначалу, услышав последнюю новость, Иван только сплюнул, но под сердцем заныла старая рана: «Сожгут ведь старую дуру!» И как ни старался озлить себя, вспоминая перекошенное злобой лицо Меченки, стояла перед глазами растерянная, перепуганная девка, кинувшаяся к нему за помощью возле студеной проруби.

Он не помнил, как разгрузил струг. Вернувшиеся со служб Гаврила с Анисимом перетаскали пожитки в дом. На их вопросы Иван отвечал сбивчиво, знакомых не узнавал. Савина взяла его за руки, ласково и пристально заглянула в глаза.

— Изведешься ведь! — всхлипнула. — Мало ли что люди болтают. Сходи, узнай!

Была и другая новость: на перемену умершему воеводе прислали сына боярского Федора Уварова. Говорить с приказчиком снятым со службы в слободе ему было некогда.

и кабацкие откупщики с прислугой радостно встречали их. Из Березова и Тобольского городов в Енисейский прислали по полусотне новоприборных казаков с тамошними, березовскими окладами. Как всегда по такому прибору добрых казаков никто не давал и это были вздорные людишки, от которых воеводы хотели избавиться.. Иван потолкался среди них и возле съезжей избы встретил Бекетова. Старые друзья с радостью обнялись.

— С тобой мое головство я еще не обмывал! — шевельнул седеющими усами казачий голова. — Дождись! Ваську Колесникова, репейное семя, выпровожу, потом поговорим!

Иван дождался товарища, одиноко сидя возле коновязи. Наконец тот появился, оглянулся по сторонам, выискивая друга взглядом. Придерживая сабли, сыны боярские пошли за ворота, степенно положили поклоны на образа Божьей Матери Знамение с внутренней стороны острога, снаружи — на Спаса и двинулись в кабак.

— Бекетиха нынче злющая! — смущенно оправдался Петр, что не зовет товарища в дом. — Давно гуляю!

Кабак был полон народу. Казачий голова высмотрел атамана Галкина, направился к нему. На лавке подвинулись.

— Слыхал про свою? — спросил, едва уселись. — Дело темное, крученое.

Пелашка на зятя подала донос, что вино курит… Будто кто этого не знал. А тот на нее, в отместку, — за колдовство! Будто высмотрел, что в бане хлебом пот с себя стирала, чтобы его накормить и присушить. Озлобился дурак! Ладно, если здесь, в обители, тяжбу решат, за колдовство могут и в Патриарший приказ повезти с приставами. А уж там-то спросят, зачем зять на голую тещу пялился? А как покажет она, под кнутами, что он и с ней, и с дочкой сожительствовал? Так и затянет ублюдка на свой костерок: вдвоем-то и там веселей!..

Заметив, что сильно опечалил товарища, казачий голова спохватился:

— Зато дочь твоя внука родила! Даст Бог, не в них, в тебя пойдет! Казак! Пока половой не принес полуштоф, атаман Галкин налил товарищам из своего кувшина.

— С дедовством, что ли? — кивнул Похабову.

Выпил Иван за свое дедовство, не поперхнулся, не ударило вино в голову. Стояла перед глазами Меченка с бирюзовыми глазами в слезах. Мысленно корил ее: «Добесилась? Дозлобствовалась, стерва?» А жаль было дурную бабу, хоть вой. Понимая его печаль, Бекетов скосил на столешницу круглые глаза, сказал приглушенно:

— Подступался я к новому воеводе про твою… Не до того ему и не по чину вмешиваться в дела обители. Вот ведь, шельмец, — опять ругнул Савоську, — хитро выбрал время для доноса.

— Нынче все плуты волчками вертятся! — поддержал Бекетова старый атаман Галкин. — Их время! Васька Колесник, — кивнул казачьему голове, — с моей легкой руки в пятидесятники вышел.

— Умеет! — вздохнул Бекетов.

— Что Васька? — встрепенулся Иван.

— Государь получил от наших никчемных людишек тайком отправленную ими челобитную. А заводчик ей — Васька. С его слов государь нас ругает, что прижились, о службах не радеем, живем ради живота и корысти, да так обидел Аничкова, что тот помер. А ведь столько всего построил, скитники и попы за него день и ночь молятся. И прислал государь нам в помощь этих вот. — Галкин обвел трезвым, немигающим взглядом новоприборных березовских и тобольских казаков, между которыми завязывалась драка.

— Народу много, а Перфильева в Братском менять некем, — сокрушался Бекетов. — Не этими же! — с презрением кивнул на гулявших. — А Ваську Колесника с сотней служилых и охочих по государеву указу воевода обязан отправить на Ламу для прииска новых земель и народов.

В кабак протиснулся Цыпаня Голубцов, пошарил глазами по толпе пьяных служилых, заметил Похабова, осклабился, потеребил вислую бороденку, просеменил к нему с ласковой и плутоватой ухмылкой. Встав за спиной галкинского казака, сидевшего против Ивана, съязвил:

— Что, Иван Иванович, не дождался воеводы? А меня, грешного, он принял и дает нам десять лет безоборочной пашни. Как жили, так и будем жить!

По лицу Похабова сидевший против него казак атамана Галкина о чем-то догадался, не оборачиваясь, схватил за грудки гундосившего под ухо старосту, перегнул через свое плечо так, что бороденка слобожанина свесилась на середине стола. За все свое прежнее терпение Иван, не поднимаясь, хрястнул его кулаком по лбу. Цыпаня отлетел к двери, служилые захохотали. Среди березовских разгоралась драка. Староста со злым, перекошенным лицом выскочил за дверь.

— Вот ведь людишки! — брезгливо поморщился Иван. — Что этот, что Ермес с Савоськой. Воеводы меняются, а им хоть бы хны. И что так?

— Непонятливый! — презрительно хохотнул Иван Галкин. — Воеводы с их рук кормятся.

— Этот только при мне два раза ходил с поклонами, на тебя жаловался, — усмехнулся Бекетов и вскинул глаза на Ивана. — Иди-ка ты в Братский, на смену атаману Перфильеву! Людей дам каких найду! — снова окинул тоскливым взглядом тобольских и березовских переведенцев.

— В Братский так в Братский! — согласился Иван. — Не впервой. Как бы Меченку вызволить из скита! Сожгут ведь, дуру!

— Она не стрижена! — подмигнул Бекетов. — Требуй у воеводы своего, мирского суда. — Цыкнул, шевельнув усами, буравя Ивана пристальным взглядом. — Первый кнут доносчику… А нынче при остроге оклад палача не впусте. — Дал совет и весело заговорил будто о другом, но все о том же: — Ты на Лене не был, не помнишь, со стольником Головиным через Енисейский проходил служилый Босаев. Убивец и казнокрад, он был в бегах от воеводы. Его поймали под Илимским, по грехам должны были отправить в Москву, а Оська Аничков, Царствие Небесное, предложил ему вместо виселицы послужить в окладе палача. Если его хорошо попросить, он твою Марфушку одним ударом овдовит, — казачий голова возвел глаза к потолку и смиренно перекрестился.

Иван хрипло вздохнул, крякнул, поднялся, поблагодарил товарищей за угощение, стал протискиваться между лавкой и стеной к выходу. Свежий ветер с реки трезвил

голову, сумеречно темнел вдали другой берег. Дурная голова да непослушные ноги пронесли его мимо михалевского дома, к женской обители. К вечеру в посаде было пустынно: жители рано запирали ворота и ставни окон, настороженно переживали беспокойные ватаги промышленных людей, которые выходили из тайги. Иван остановился против крепких, тесовых ворот Савоськи, постоял, упершись руками в бока, и решительно пошел на них, заколотил кулаками, стал бить каблуками сапог. Залаяли собаки за забором.

Иван оглянулся, никого не увидел и, с неприличной для его бороды прытью, перемахнул через тесовый, положенный городом заплот, оказался в чистом дворе, застеленном плахами. Сенная дверь приоткрылась, из-за нее высунул стриженую голову ясырь, удивленно полупал на гостя щелками глаз. Иван оттолкнул его, протиснулся в сени. Ясырь пронзительно завопил, со стенного штыря свалилось коромысло. Распахнулась дверь в дом, в рубахе без опояски в сени выскочил Савоська с бердышом. Иван схватил коромысло, в один удар отбил отточенное острие, оказался лицом к лицу с зятем, схватил его за горло, дважды стукнул темечком о стену, закричал:

— Сукин сын, чего ради тещу оговорил?

Савоська захрипел, хватаясь за руки тестя. Выскочила дочь с распущенными волосами, повисла на плече отца, заголосила:

— Отпусти его, тятька! Добром уговорю освободить мамку!

В глубине дома запищал младенец. Разом пропали злость и ненависть к зятю. Иван взглянул на дочь, хрипло простонал, бросил Савоську, с другой руки стряхнул ясыря, в два прыжка соскочил с высокого крыльца, скинул закладной брус с калитки и почувствовал за спиной опасность. Завопила дочь, он присел, сложившись складным аршином, обернулся к крыльцу. Савоська силился метнуть в него бердыш, на его черенке всем телом висела Марфа и кричала:

— Тятька уйди, Христа ради!

Он ушел, хлопнув воротами. Из соседних домов выбегали с вилами, дубинами, саблями. Через весь посад несся Гаврилка Михалев с оглоблей, за ним, переваливаясь с боку на бок, катилась Савина.

— Не побили, дядька? — подбежал Гаврилка без шапки, зыркнул за спину Ивана.

— Не побили! — проворчал он. — Вот бы еще до свадьбы отходил Савоську этой оглоблей.

Подбежала Савина, одышливо повисла на его руке.

— Ой, чуяла, быть беде в вечеру. Гаврюху просила, сходи в кабак, вытащи нашего. А он — стыдно, мамка! Вот те и стыдно — взглянула на пасынка с укором. — Целый хоть? — стала слезливо ощупывать Ивана.

Новый воевода, сын боярский Федор Уваров, позвал Похабова только на четвертый день. С чисто выбритым лицом, со стрижеными усами, в коротком жупане и богатой собольей шапке из черных собольих спинок, он поставил перед собой снятого слободского приказчика, строго, не мигая, вперился ему в переносицу петушиными глазами. За столами съезжей избы сидели Бекетов, Ермес и новый подьячий Василий Шпилькин. Воевода пытливо и недоверчиво стал выспрашивать Ивана о всяких пустяках слободской жизни, с умным видом плел нелепицу, поучая, как надо было вести дела. Похабов отвечал кратко и односложно, глаза его становились все уже и злей, брови опускались, грозно углублялась складка между ними. Когда воевода спросил, сам ли Иван наблюдал за жатвой, Бекетов выкрикнул с места:

— До жатвы отозвали! Откуда знать, сколько ржи взяли с государевых десятин.

Воевода, дав явную промашку, величаво и плутовато ухмыльнулся, Иван же рыкнул скрежещущим голосом:

— Ничего не пойму! Все знают, что слобожане и посадские втайне вино курят и продают, — метнул злой взгляд на важно восседавшего Ермеса, — одни только воеводы, сколько их ни меняют, ничего знать не хотят!

Ермес вскочил, негодующе зашепелявил, как всегда, когда злился или волновался:

— Говорить, да не заговаривайся! Много вас есть винить меня! Государь мерную чарку прислал, мое вино выгорает ровно, наполовину.

Иван безнадежно отмахнулся:

— Я ему про тайнокурню, а он про мерную чарку! — обернулся к потупившемуся Бекетову.

Воевода, поубавив спеси, взглянул на Ивана разобиженно, как побитый кот.

— И правда, ничего не понял! — сказал непонятно к чему.

Бекетов сухо застрекотал:

— Сын боярский Иван Иванович Похабов Ангарские пороги проходил три раза.

— Оттого такой понятливый! — сварливо проворчал воевода, бросив на Ивана укоризненный взгляд. — Пусть тогда идет на смену годовальщикам атамана Перфильева… И дальше, для прииску новых землиц, как государь велит! За Ламу и куда подальше, к ядреной матери! — опять обмолвился несуразицей.

— Сотню пусть Колесников ведет! — добавил настойчивей и строже. — А это-

му, — брезгливо оттопырил губу в сторону Ивана, — собери кого-нибудь.

Похабов с Бекетовым взглянули друг на друга и молча сговорились не спорить. Воевода обернулся к подьячему:

— Сделай наказную память: сменить годовальщиков в Братском остроге и идти для прииску…

Иван вышел. Ни служба, ни капризный воевода не шли на ум, не тревожили сердца. камнем тяготила его Меченка. Хоть и обещала дочь уговорить мужа отказаться от доноса, слухов о том по острогу не было. Бекетов вышел, покряхтывая и отдуваясь:

— Уговаривал располовинить сотню, почти убедил и вдруг попала вожжа под хвост: воевода всех новоприборных отдал Ваське. Зря ты про винокурню, — досадливо поморщился. — Соберу тебе десятка три служилых и ссыльных. Мало! Где еще взять — ума не приложу! Может, опять гулящих кликнешь? — вскинул круглые глаза с туманящими взор красными прожилками. — Ох, и помаемся мы с этим! — добавил тише и кивнул на дверь, за которой слышался голос воеводы. — Не пойму, стравить тебя с Васькой хочет или что?

И ты хорош! В бороде заиндевело, а ума не прибавилось!

— Таким уж уродился! — огрызнулся Похабов, раскидывая руки. — Не я судьбу выбирал, она меня нашла! — перекрестился, вспомнив иноков Ермогена с Герасимом.

— Ну и ладно! — Бекетов покладисто потянул его из сеней съезжей избы. — Хотел себе оставить волжских ссыльных, тебе отдам. Один Оська Гора троих стоит, но все пьяницы, игроки, от блудных ясырок батогом не отгонишь… Хватит о делах! — тряхнул головой. — Настя Перфильева велела напомнить, у крестника именины.

— Как не прийти! — рассеянно кивнул Иван.

Бекетов поснимал с ближних служб полтора десятка молодых переведенных и новоприборных казаков, набрал полдесятка калек из старых стрельцов, прибавил к ним десяток ссыльных во главе с десятником Федькой Говориным. Среди них выделялся дородный верзила Оська Гора. Он был на голову выше Ивана, наполовину шире его, слегка сутулился от тяжести роста, с лица дородного казака не сходила младенческая улыбка, глаза глядели по-детски восторженно.

— И чем же ты государя прогневил? — разглядывая молодца, спросил Иван Похабов.

— А купцов грабили! — простодушно признался тот. — Обещал государь повесить, но смилостивился и прислал сюда!

Ссыльные беззаботно хохотали:

— Из-за Оськи царь не нашел для нас всех толстой перекладины на виселицу.

Среди старых казаков, собранных Бекетовым, беззаботно и весело поглядывал на Ивана Агапка Скурихин. Они не виделись несколько лет, а до того встречались мельком. Похабов отметил про себя, как постарел Агапка: рыжую бороду просекла седина, конопатое лицо — морщины, но так показалось только с первого взгляда, чуть приглядевшись к старому товарищу, он увидел все того же неунывающего Агапку.

— Ты-то куда, хромой? — весело приветствовал его. — Помню, хвастал, хорошо живешь на заимке?

— Что с того, что хром? — беззаботно смеялся Скурихин. — Зверя в тайге промышляю, отчего бы не послужить?

Из расспросов Иван понял, что сын, прижитый Агапкой от ясырки, хозяйничал на скурихинской заимке. Служилых окладов и пустующих мест в посаде по Енисейскому острогу для него не нашлось. Агапка оставил на сына заимку и пошел в службу, чтобы не платить податей.

Похабов выбрал струги из острожных судов, от которых отказался Колесников, велел своим казакам конопатить и смолить их. На берегу к нему подошел Михейка Сорокин, весело поприветствовал, не поминая былого.

— А мы теперь на Лене! — сказал, оглядывая молодых казаков. — Все трое братьев! Нас двоих Курбатка прислал в Енисейский вестовыми, — кивнул на Антипа, переминавшегося в стороне от стругов. — Пора возвращаться, но с Васькой Колесниковым не пойдем: перегрыземся при его атаманстве, хочу с тобой идти. И купцы просятся заодно.

— Кто такие? — коротко спросил Иван.

— Тобольские гости Севиров с Поповым. Федотка Попов тебя знает, говорит, с братом твоим промышлял. Товаров у них на полторы тысячи. В Енисейском торговать не хотят, на Лене им прибыльней.

— Помогайте тогда! — указал на костры Похабов.

—

Василий Колесников с сотней ушел вперед. По обычаю его отряд проводили всем острогом. Про Пелагию никто ничего не знал, а дочь не давала вестей. Иван Похабов озлился на всех, и на скитниц тоже. До выхода отряда оставались последние дни, а он бегал от церкви к скитникам и пытался узнать, где Меченка. Как назло, никто из монахинь на людях не показывался, а вкладчицы, завидев его, разбегались. Наконец-

таки он поймал инокиню Стефанию, но, сколько ни бился, она только открещивалась. Иван и вовсе разъярился, побежал к игуменье Параскеве. На его оклик она не вышла, но из келий повыскакивали полдюжины старух, кто с батогом, кто с клюкой, с криками, приговорами, молитвами стали отгонять сына боярского от женской обители, как набредшего медведя.

— Вы что, бабки? Ополоумели? — взревел Похабов, отбиваясь от батогов. Крикнул в голос: — Матушка Параскева! Покажи мне жену венчанную! Если пострижена — отступлюсь! Нет — пусть сама скажет, чтобы я ушел!

Слушать его никто не хотел. Раз и другой он окликнул Меченку и вдруг, чуть ли не из подземелья, услышал ее голос, кинулся на него, выломал ветхую дверь в келейку и увидел Пелагию: страшную, согнутую в дугу старуху. Истончавшие кисти рук и черные ступни торчали из деревянной колодки.

— Иванушка! — заголосила она, заливаясь слезами. — Не бросай, Христа ради!

Он вытолкал из келейки скитниц, заперся, изрубил саблей колодку. Дверь за его спиной ходила ходуном. Похабов, как мешок, забросил на плечо бессильную, исхудавшую послушницу, вырвался из кельи. Перед ним, впереди всех старух, стояла разъяренная игуменья, глаза ее горели, она загораживала проход. Похабов никогда не видел на ней такого злобного лица, а увидев, разъярился пуще прежнего и двинулся напролом. Кто-то драл его за бороду, хватал за кафтан и волокся по земле, кто-то цеплялся за бессильно повизгивавшую Меченку. Пробился-таки сын боярский за болото. Вслед ему неслись проклятья и угрозы, он не отвечал, поставил на ноги исцарапанную, растрепанную Пелагию.

— Куда тебя? — спросил неприязненно.

— Не знаю! — содрогаясь всем телом, бывшая жена неловко смахивала волосы с лица.

— Не к Савине же! — жестко крикнул он. — И не к Савоське! — выругался сплюнув. И так как Пелагия ничего не могла ответить, заявил: — К Тереху, в острог отведу. Тренчиха, как ни зла на тебя, а пожалеет! Не выдаст!

Он повел ее другой стороной от посада, под стеной, по яру. Калитка была не заперта, старый воротник, в тулупе до пят, дремал, привалившись спиной к стене проездной башни. Открыл сонные глаза, узнал Ивана, равнодушно окинул взглядом женщину, впустил их и снова задремал.

— Прими, Христа ради! — поклонился Иван Тренчихе, высунувшейся из оконца, подтолкнул бывшую жену к двери тесной острожной избы, буркнул вслед: — Сами разбирайтесь, кто что на кого доносил! — С облегченной душой зашагал к михалевскому дому. Солнце клонилось к закату, посадские люди накрепко запирали ворота и спускали с цепей собак.

Струги были готовы к выходу. Стараниями казачьего головы отряд получил десять новых мушкетов вместо старых, разбитых пищалей. Боевой и съестной припасы были отсчитаны и положены особо. Купцы со своими работными людьми уже дожидались выхода. Поторопить бы подьячего да уйти поскорей от всех бед и склок, но нельзя было обидеть крестника с Настей.

Похабов объявил выход после Иоанна Богослова пшеничника, принял крестоцелование от служилых, ссыльных и охочих, вышел из церкви, тут его окликнул стрелец старой тобольской сотни Алешка Олень.

— Чего тебе? — спросил Иван, задирая голову к шатровой крыше караульной башни.

— Иди, говорю, ближе! — с видом заговорщика склонился Олень. — Пелашка твоя там! — просипел, указывая рукой под себя и вбок, где была врублена в стену новая тюрьма.

— Чего? — вскрикнул Похабов и в несколько прыжков влетел на смотровую башню.

— Он что удумал, этот наш новый воевода? — двинулся на него Алешка с перекошенным лицом. — Он нами, старыми казаками, пренебрегает? Зря! Зря! Мы и воевод, бывало, пороли!

— Что Пелашка? — тряхнул его Иван.

— Воевода велел забрать от Тренчихи и посадить в тюрьму на цепь! — Олень оскалил щербины в бороде. — Нами пренебрегать, — ударил себя кулаком в грудь.

— Открой тюрьму! — приказал Похабов.

— Сам открой! — опасливо оглянулся бекетовский стрелец. — Отбери у меня пищаль, свяжи руки и открой! — повесил ружье под самую кровлю из дранья, обхватил столб, подставив ладони. — Буду стоять, издали не поймут, что связан.

Некогда было ни спорить, ни корить стрельца. Иван выдернул ключ из-за его кушака, концами слегка стянул подставленные руки, скатился вниз, распахнул низкую тюремную дверь. Поджав под себя ноги, Пелашка смиренно сидела на скамье. От щиколотки на земляной пол свисала кованая аманатская цепь.

— Всю жизнь мне с тобой маяться, что ли? — вскрикнул Иван, сбивая цепь

обухом топора. Выволок бабенку из темницы, краем глаза увидел Бекетова, стоявшего на крыльце съезжей избы. Размахивая руками, к Ивану бежал новый подьячий Шпилькин, что-то кричал.

— Уйди, кровь пущу! — пригрозил Похабов.

Воротник со смущенной улыбкой топтался на месте, показывая глазами, чтобы тот скорей уходил из острога. Выволок Иван Пелашку за ворота, не перекрестившись на образа, торопливо поволок к реке. Бывшая жена едва успевала переставлять босые ноги, со стонами моталась за его спиной. У костра возле стругов отряда кружком сидели казаки и охочие, скучавшие бездельем и безденежьем. Похабов с черным озлобленным лицом толкнул к ним Пелашку.

— Караульте! Даже если воевода попробует отнять — не давайте! Вы мне крест целовали, а это моя венчанная… Кикимора! — приглушенно ругнулся и быстро зашагал к яру. Не к добру стоял на нем монах мужской обители Варлаам, в скуфье и рясе. Свежий речной ветер шевелил длинную, в пояс, бороду скитника, трепал волосы по плечам.

«Беда одиноко не ходит!» — скрипнул зубами Иван. Монах пристально глядел на него и явно что-то ждал.

— Чего тебе? — поднявшись, грубовато поклонился ему Иван.

— Отче Тимофей зовет, — кратко и миролюбиво ответил тот, не поднимая глаз.

— И ему надо постыдить меня? — проворчал Иван.

Старый скитник Тимофей прежде приходил сам, когда о нем заговаривали, чтобы к себе звал, такого Похабов не помнил, подумал злое, но не пойти не мог, а идти пришлось недалеко. Тимофей ждал его под стеной острога, возле Мельничной речки. Увидев Ивана, поднялся и низко поклонился, чем смутил сына боярского хуже последних бед. На монахе не было прежних вериг, и одет он был опрятней обычного, в черную суконную рясу. Все так же ласково светились его глаза, но что-то переменилось в них: не поблекли, а будто запали глубже под лоб.

— Здравствуй, батюшка! Христос с тобой! — сдерживая клокотавшую в горле обиду, поклонился ему сын боярский.

— Слыхал я, Иванушка, уходишь, и далеко! — торопливо заговорил старец. — Вдруг Герасима-дьякона встретишь. — Иван с недоумением уставился на монаха. Он ждал укоров. — Так скажи ему: не дожить мне до Рождества Христова. Я его через тебя благословлю и пусть к владыке, в Тобольский съездит. Пора уже!

— Передам, если встречу! — растерянно залопотал Иван. — А что помирать-то? Пожил бы.

Старец отмахнулся, не считая нужным говорить о таких пустяках, вскинул руку, широкий рукав рясы сполз до локтя в подряснике. Сын боярский принял благословение, низко поклонился скитнику и сопровождавшему его монаху.

— Николе Угоднику молитесь и будет вам путь добрый! — напутствовал Тимофей. — Он за нас, за сибирцев, перед Господом первый заступник. Да Богородица за всю Русь!

Варлаам подхватил старца под локоть, мелкими шажками, сутулясь, тот побрел под острожной стеной к скиту. Только теперь Иван понял, как Тимофей болен и немощен, смахнул навернувшиеся слезы, поникший, смиренный, поплелся к дому Перфильева.

На именины сына, Ивана Перфильева, Анастасия пригласила лучших людей острога. Звала и воеводу с подьячим, но те не пришли. Ивана как крестного отца она посадила в красный угол, под образа, по другую сторону от именинника — старого попа Кузьму. Священник пригладил седую бороду, сел, ожидая начала трапезы, осуждающе сощурился на Ивана, рассерженно рыкнул басистым горлом. Слева от крестного отца должен был сидеть Бекетов, но он задерживался и к Ивану на место казачьего головы придвинулся Ермес — таможенный и кабацкий голова. Застолье началось. Все поднялись на молитву. Поп Кузьма набрал в грудь воздуха, раскатисто запел: «Величаем тя, Апостоле Христов и Евангелисте Иоанне Богослове, и чтем болезни и трубы твоя…» Почитав «Отче наш», размашисто благословив стол, старый острожный священник напомнил слова Иоанна Богослова «Бог есть любовь!» и опять осуждающе покосился на Похабова, но ради праздника не выговорил ему.

С опозданием пришел Бекетов, сел, не по заслугам, после кабацкого и таможенного головы, то и дело бросал на Похабова взгляды со значением и намеком, хотел о чем-то предупредить, но гости поднимали чарку за чаркой, величали кровного отца и сына, дом и славную в женах мать. Величать крестного отца вслух побаивались: слишком много смуты было от него на последней неделе.

Сидевший между товарищами Ермес не давал им перекинуться словцом. В свой черед он поднялся с чаркой, с благочестивым лицом напомнил собравшимся, что при славном воеводе служилые и посадские люди острога били челом государю, чтобы поставить в честь его небесного покровителя святую церковь Михаила Малеина. Милостивый и справедливый государь, по скромности своей, просьбы енисейцев не одоб-

рил, но и не отклонил, написав в ответ, что не запретит, если сами жители, своими трудами поставят церковь, но из казны денег на нее не даст.

История эта была всем известна, гости тупо слушали восторженные речи таможенного головы, терпеливо ждали, когда он умолкнет. Ермес хвастливо напомнил, что дал на строительство храма Михаила Малеина пятьдесят рублей, и обвел всех собравшихся соловым взглядом. Забыв про именинника и его святого покровителя, макнул нос в чарку, сел. За столом раздался приглушенный и облегченный вздох. Гости заговорили между собой. Ермес повернулся к Ивану выбритым лицом, спросил:

— Ты сделал вклад?

— Не за что! — буркнул сын боярский, хотя мысленно хотел сказать: «Не на что!» Глаза Ермеса вспыхнули, змеясь, дрогнули тонкие губы.

— Как не за что? — переспросил вкрадчиво.

Похабову бы отговориться, спереть свою оговорку на нерусское ухо, он же, неприязненно взглянув на Ермеса, шмыгнул носом.

— Я нынешнего царя на царство сажал! — проговорил тихо, слегка выпячивая грудь. Ермес, не мигая, глядел на него блеклым водянистым взглядом, старался понять смысл сказанного. — А его милости у меня на спине. Сам видел! — дернул бес за язык.

Ермес льстиво заулыбался, обернулся к Бекетову, стал что-то говорить ему, кивая на Похабова. Казачий голова строго взглянул на товарища. Едва стали расходиться гости, Иван выскочил из избы, за ним вышел Бекетов.

— Совсем сдурел, исповедуешься злыдню? — казачий голова хмуро кивнул вслед Ермесу, с осуждением покачал головой и безнадежно вздохнул: — Ну и дурак! Таким, видать, и помрешь. С Пелашкой заварил кашу — как расхлебывать? Духовные тебя хают, воевода грозит отставить от похода.

— А кого пошлет? — Иван поднял на товарища хмельные глаза.

— Меня посылает сменить Максимку.

— Не по чину голове быть приказным в остроге!

— Не по чину! — согласился Бекетов и тихо выругался, бросив на Ивана трезвый рассерженный взгляд. — Спровадить бы тебя поскорей… Пелашку-то куда денешь? — спросил с укором. — Или с двумя бабами будешь жить?

Будто ножом полоснул по сердцу старый товарищ, о том только и думал Иван, сидя за столом.

— Савину не брошу, — пробормотал, — а эту деть некуда. Вот же навязалась, стерва! — обругал жену.

— Чем могу, помогу! — строго упредил казачий голова. — Для казака самый тяжкий грех — бросить товарища в беде. Но берегись воеводы: заносчив, мстителен, озлил уже всех против себя. Мои старые стрельцы грозят против него круг завести. Едва удерживаю! Чую, быть беде!

На том товарищи расстались. Проснулся Иван затемно, шевельнул сухим языком. Вечером признался Савине, что опять отбил Пелагию и она ночует с его казаками. Савина обиженно примолкла, не укорила, только полная грудь стала вздыматься чаще, со сдавленными стонами.

— Ну не мог я по-другому! — стал оправдываться Иван. — Как бы сыну в глаза взглянул коли его родную мать в цепях бросил?

— С собой возьмешь? — тихо спросила она.

— А куда ее? В Братском Якуньке отдам — пусть сам с ней возится.

— Красивая да моложавая, — вздохнула Савина, прерывисто сдерживая слезы. — На нее юнцы засматриваются. Меня-то возьмешь ли?

— Как не взять? — с благодарностью обнял ее Иван. — Говорили же, вместе пойдем. Поладите как-нибудь, подруги же.

Вспомнив этот разговор, он перевернулся с боку на бок, простонал.

— Квасу? — с готовностью прошептала Савина.

— Хорошо бы! — зевнул и услышал, как застучали в ворота. Яростно залаяла собака. — Кого принесло за полночь? — проворчал Иван, сел, спустив на пол босые ноги, подхватил саблю, стряхнув с нее ножны, вышел с непокрытой головой. Серело небо, близился рассвет, с реки наносило духом стылой воды. Из-за ворот послышался знакомый голос:

— Ивашка! Это я, Алешка Олень! Бекетов послал.

— Чего тебе? — Похабов скинул закладной брус с калитки.

— Ермес объявил на тебя государево слово и дело за непристойные слова о царе на вчерашнем пиру. Голова велел, чтобы ты уходил прямо сейчас, без молебна, с воеводой и Ермесом мы сами управимся.

— Кто там? — сонно спросила Савина, когда он вернулся в дом и бросил саблю на лавку.

— Собирайся! — коротко приказал Иван. — Уходим в Братский.

Зарумянилась дальняя грива на другом, пологом берегу Енисея. Караван готов был

к выходу. Служилые, купцы, попутчики Сорокины из Ленского острога — все томились ожиданием и поругивали Похабова за задержку. Острог на яру зловеще молчал. Ни колокольного звона, ни благословения церковного причта, но на башнях мелькали казачьи шапки, у проездных ворот толклись люди. Снова прибежал Алешка Олень, его глаза горели, ноздри раздувались. Он принес и передал Ивану наказную память воеводы.

— С Богом! — напутствовал. — Не ждите! Сами управимся!

— Что там? — обступили его служилые, понимая, неспроста выход тороплив и суетен.

— Петруха Бекетов воеводу на цепь посадил за непочтительные слова о старших воеводах. Ишь чего удумал? — выругался Олень. — Нас, старых казаков, уравнять с новоприборными, не почитать за службы и заслуги! Заорал было, затопал: «Я здесь царь и Бог! Никто мне не указ!» А голова ему: «И князь Осип Щербатов не указ?» Мы воеводу под руки хвать!.. Мир поднимется и царь поклонится! Не таких ломали! А вы уходите! — кивнул на реку. — Чтобы к полудню ни слуху ни духу! Долго воеводу на цепи не удержать. Надо успеть суд судить! — подмигнул Похабову.

Тот понял намек, перекрестился на купол острожной церкви, нахлобучил шапку и махнул рукой. Первый струг двинулся против течения реки. Звонким голосом запел шестовой: «Святителю Отче Никола, моли Бога о нас!»

Выходил отряд на Николу Вешнего. Переговариваясь между собой, бурлаки сочли это за добрую примету, стоившую обычного молебна об отплытии. Из леса на всю реку разносилось кукование вещуньи-птицы и не было конца веку, который она накуковывала уходившим на Ангару. В остроге вслед им с опозданием робко и смущенно зазвенел колокол, завезенный Осипом Аничковым. Выпадали на Николу дела немирные. Против нового воеводы ополчились гарнизон и добрая половина посада. Чем все закончится — никто не знал.

Бекетов временно сел за воеводский стол, подьячий Василий Шпилькин старым казакам не перечил. В тот же день к Федору Уварову в тюремную камеру были подсажены таможенный голова Ермес и Савоська.

Портить празднование почитаемого в Сибири святого Бекетов не стал, но на другой день велел собрать всех острожных жителей мужеского пола. Воевода буйствовал на цепи до сумерек, к ночи смирился. Переночевав вместе с Ермесом и Савоськой, заколотил сапогами в тюремную дверь. На карауле опять случился Алешка Олень. Он отпер тюрьму, хотел подразнить сына боярского, но тот взглянул на караульного без прежней спеси и заявил, потряхивая цепью:

— Скажи голове, хватит! Бес попутал, что взбеленился против старого казачества. Пусть забудет мои злые слова и грехи, все одно вместе служить!

Бекетов, умученный воеводством, которое пришлось принять на себя, Федора Уварова вскоре освободил. Воеводе поставили кресло на крыльце съезжей избы, собрались казаки и посадские. Из тюрьмы вывели Ермеса и Савоську. Палач Босаев стоял в стороне, за углом избы, скрываясь от взглядов служилых и посадских. Несуразный: широкоплечий, коротконогий, с длинными руками, которыми, не сгибаясь, мог чесать колени, он смущенно поглядывал на выкреста.

— Ермес объявил государево слово и дело против сына боярского Ивана Похабова! — зычно крикнул Бекетов, озирая толпу. — Не нашего ума такие дела судить, но надобно со своими приставами и кормами отправлять его в Москву, а он там вдруг и откажется от прежних слов. Кто за него поручится? Похабов на дальних службах, свидетелей нет. По закону русскому, мудрыми нашими государями и патриархами благословленному, первый кнут доносчику. Покается — простим, нет — пошлем к старшим воеводам.

— Ты сфитетель! Рядом ситель! — закричал Ермес, сильно картавя от волнения.

Ручаться за кабацкого голову никто не желал. Толпа злорадно загоготала, сдвинулась тесней.

— Нажился на нашем жалованье! — весело выкрикнул старый стрелец.

— Покайся, чем вино разбавлял! — окликнули с другой стороны. — Горло дерет, а голову не берет!

Двое казаков весело сорвали с таможенного и кабацкого головы кафтан, нашарили под шелковой рубахой крест, показали собравшимся людям. Толпа одобрительно заурчала. Бекетов кивнул палачу. Тот, не склонив плеча, вынул из-за голенища кнут, тряхнул им, взбив на земле облачко пыли.

— Стегни жалеючи! — предупредил казачий голова. — Выкресты — народ хилый. Не помер бы!

Палач, выступив вперед, махнул длинной рукой. Ни услышать, ни разглядеть кнута никто не успел. Ермес выгнулся дугой, взвыл дурным голосом и забился в руках приставов. Едва он умолк, подвывая и всхлипывая, Бекетов, сочувственно шевеля густыми усами, спросил:

— Откажешься?

— Нет! Саря рукаль! — слезно заорал выкрест.

Казачий голова развел руками:

— На нет нашего суда нет! На цепь его до ближайшего обоза на Маковский!

Завыл, забился в руках казаков буйный посадский Савоська. Теща бежала, дело о колдовстве запахло если не костром, то московскими застенками и заплечными мастерами Патриаршего приказа.

— Оговорил тещу в отместку! Грешен! — заорал, вращая вылупленными глазами. — Бес попутал!

Бекетов опять развел руками:

— За ложный донос три кнута, это по-божески!

Об этом в отряде Ивана Похабова узнали от вестовых только через год. Уже возле галкинской заимки подул попутный ветер, на стругах подняли паруса. На другой день они переправились через глубокий степенный Енисей, вошли в широкое, плещущее на камнях, перекатах и отмелях, капризное устье Верхней Тунгуски — Ангары. Бурлаки впряглись в постромки, потянули струги бечевником по долгому песчаному берегу. Сын боярский и купцы, поскрипывая сапогами по песку и окатышу, шли налегке, в стороне от бурлаков. Отстав от них на полсотни шагов, гурьбой брели женщины: русские, крещеные и некрещеные ясырки.

Невенчанные жены Сорокиных, тунгусской или братской породы, две ясырки Агапки Скурихина укрывали лица платками так, что виднелись одни только раскосые глаза. Статная Пелагия быстро пришла в себя после колодок и цепей, похорошела и, как в молодости, скрывала только половину лица. Ноги ее были обмотаны кусками кожи, на ветхий черный сарафан она наложила кожаные заплаты.

Грузной Савине идти пешком было трудней всех. Она тяжело дышала, быстро уставала, лицо ее пылало жаром, но шла вместе со всеми женщинами, хотя Иван то и дело предлагал ей сесть в струг, который тянули нанятые им охочие люди. Бывшие подруги держались в стороне одна от другой, но иногда Савина мирно перебрасывалась словцом с Пелагией. Больше им, двоим, поговорить было не с кем: жены Сорокиных и ясырки, сожительствовавшие с казаками, по-русски говорили плохо.

Караван из двух десятков судов растянулся на версту. Места были хорошо знакомы Ивану, он выбирал путь, стоянки и станы, приглядывал за бурлаками, примечал всякие мелочи. Агапке Скурихину бечева давалась тяжело, но он стойко терпел тяготы пути и насмешки молодых казаков, которые никак не могли смириться, что у него, старика, две молодых ясырки, обе заботятся о нем, все спят под одним одеялом и одна явно брюхата. Но их насмешки отскакивали от неунывающего Агапки, как горох от стены. Он поглядывал вокруг молодыми насмешливыми глазами, весело отбрехивался от всяких укоров и домыслов. Иван Похабов, по чину, тоже пытался понять Агапку. Вышагивая рядом с товарищем, натужно тянувшим струг, тихо спрашивал:

— Оно и правда… На кой? Старую бросил, к молодой присох — понимаю! Если при жизни не отмолим грехи — нас с тобой черти в один котел бросят. Но зачем тебе две молодых? Продал бы одну, чтобы люди языки не чесали.

Агапка поднимал на Ивана честные, невинные глаза и весело отвечал. Врал, но так, что сыну боярскому и возразить-то было нечем.

— Одна говорит, у нее есть родня в улусах, в братской степи. По государевому указу ее должно вернуть родственникам!

Оська Гора размеренно волок серединный струг, на бечеве шел первым, никого не замечая, глядя себе под ноги, и все чему-то улыбался, как блаженный. Ссыльные товарищи беззлобно посмеивались над ним, бросали бечеву, отходили в сторону, будто по нужде. Оська не оборачивался, круче ложился на шлею, и струг шел с прежней скоростью, а Федька Говорин, на шесте, еще и погонял:

— Поднатужься, Оська, на твоей бечеве слабина.

Дородный детина с недоумением оборачивался, видел, что тянет струг один, а товарищи хохочут. Оська тоже смеялся, но глядел не только под ноги, не спускал восхищенных глаз с Пелагии. Меченка фыркала, сердилась, как молодая, воротила длинный нос, но сама же забегала вперед, косила бирюзовые глаза на молодца. Под устьем Тасея, смущенно улыбаясь, Оська подал ей сшитые им чирки. Пелагия нахмурилась, взглянула на него строго, но не выдержала, рассмеялась и, к великой Оськиной радости, обулась в обновку. Вскоре, ночами, он сшил ей бахилы. Ссыльные волжане из вольных казаков пуще прежнего потешались над товарищем. Пелагия же, наперекор им, стала по-матерински заботиться об Оське. За Рыбным острожком Михейка Сорокин ревниво донес Похабову:

— Твоя-то, Меченка, вчера кормила Оську с ложки!

— Как это? — удивился Иван.

— Сидят у чуничного костра, голубчики, Оська разевает рот, а она ему кашу накладывает. Все хохочут, а эти двое друг на друга пялятся. Тьфу! — выругался старый казак. — У вас сын Оське ровесник.

Иван крякнул, посмотрел на Михейку хмуро:

— Твоя ясырка тоже тебе в дочки годится!

Сорокин, еще раз сплюнув под ноги, отстал, но не надолго, под устьем Илима опять с негодованием донес:

— Спит твоя с Горой под одним одеялом. Сам видел!

— Пусть спит! — равнодушно отговорился Иван. — Он большой, с ним тепло, — взглянул на Михейку пристально и насмешливо, добавил скороговоркой: — И болтать не будете, что Похаба сразу с двумя бабами живет.

Михейка рассерженно рыкнул, сверкнул глазами, не понимая блудного равнодушия атамана.

Женщины пекли хлеб, готовили еду. Больше всех старалась Савина. Купцы, примечая, как она выбивается из сил, сажали ее в один из своих стругов, которые тянули нанятые ими работные люди. Они не роптали и своего недовольства не показывали, на привалах нахваливали приготовленную Савиной кашу.

Похабов все чаще стал задерживаться возле купеческих стругов. Купцы, Попов с Севировым, одеты были неброско, без соболей и лис: в кафтаны, козловые сапоги, новгородские шапки. Но все на них было удобное и добротное. Они то шагали берегом, то сидели на судах, иногда становились на шесты, чтобы размять жилы.

— Вчера про Угрюмку говорили, — напомнил Федот Попов, оглядывая русло реки. — Сколько лет прошло, как мы с ним сплыли по этим местам, сколько воды утекло, а вот ведь с добром вспоминаю первые промыслы. Всех помню. Об иных уже и слухов нет. Веришь ли, — поднял на атамана умные глаза, — и Москвитины проторговались, и Шелковниковы, я один при достатке, но, бывало, сижу в лавке и в завидую им.

— Семейка Шелковников, слыхал, из целовальников хабаровской солеварни поверстан в казаки, — напомнил Похабов. Заново, не в первый раз, рассказал Попову о последней встрече с Пантелеем Пендой, но про брата помалкивал.

Торговый, рассеянно кивая, терпеливо выслушал его и продолжил:

— Был у меня дом в Тобольском. Сижу, бывало, в лавке, считаю прибыль, а будто кто нашептывает: «Ну высидишь чего-нибудь, дети или внуки промотают, тебя забудут, а их, нищих, будут помнить».

— Бес смолоду всяко прельщает! — равнодушно отмахивался Похабов. — Постареешь, поумнеешь!

В полутора днищах ходу от устья Илима на воде показался струг. Завидев караван, стал подгребать к берегу. Плывшие вниз вышли на сушу. К ним неспешно подошел сын боярский, взглянул начальственно. Лица торговых были испуганными, растерянными, с подживших следами побоев, бороды всклочены.

— Слышь, атаман, чего говорят! — окликнул Ивана казак. — Пятидесятник Колесников на устье Илима их пограбил дочиста!

— Это почему? — удивился Иван. Путники, поддержанные его вниманием, наперебой стали жаловаться:

— Отец, да ты же с нас прошлый год государеву десятину брал рожью… Мы ту рожь в Илимский на продажу везли. Продали ее зимой, поменяли на рухлядь, плыли в Енисейский, чтобы десятинную пошлину дать, а Колесников с людьми все отобрал, ни одного хвоста не оставил.

После грабежа торговые люди успели вернуться на Илимский волок, подать жалобу тамошнему приказному, теперь плыли с жалобой в Енисейский острог. Вникать в их беды Похабов не стал: догадывался, что те не заплатили пошлин на месте и постарались бы проскочить и мимо Енисейского, но бес послал Ваську Колесникова и тот вместо десятины забрал все. Торговые уплыли вниз по реке, караван продолжил путь и через день вышел к Илиму.

— Ну, вот и довели! — объявил купцам Похабов. — Теперь не заблудитесь, на волоке в это время народу много. Понадобятся работные, наймете!

— Хорошо дошли! Дальше бы так! — купцы стали благодарить казаков и кланяться атаману. — Ни поборов не было, ни воровства. Чем отблагодарить, Иван Иваныч?

— А дайте мне пеньковой веревки сколько не жалко! — не стал отнекиваться сын боярский. — Та, что есть, вся сопревшая, а нам через пороги идти.

Оправдываясь, что товар не их, а устюжского купца Усова, Попов с Севировым дали отряду десять саженей веревки, атаману — отрез вишневого сукна, самый ходовой товар в братских улусах. Тронутый подарком, Иван стал советовать:

— Просите Сорокиных, они хорошо знают путь до устья Куты и служилых людей по волоку.

Крутившийся возле купцов Михейка, заважничал, заломался, стал набивать цену:

— Илимский волок тремя реками, да после нам по Лене до Верхоленского бечевой идти против течения! Братским волоком сподручней.

Федот Попов бросил на него быстрый, пытливый взгляд, просить проводить до

Лены не стал. Его суда пошли вверх по Илиму, караван Похабова без них уменьшился вдвое, его струги переправились через устье притока и пошли проторенным бечевником к Шаманскому порогу.

Раз и другой ертаулы донесли атаману, что на поворотах реки видели последние суда Колесникова. Встречаться с пятидесятником Похабову не хотелось, он не торопил своих людей и все же невольно догнал вздорного сослуживца. Колесниковская сотня затаборилась на острове, где умер Яков Хрипунов. Пройти мимо его могилы Иван не мог: Настя Перфильева просила положить за нее поклоны покойному отцу. Но то, что струги его отряда обходили стороной колесниковский караван, Иван Похабов посчитал за удачу. Они пошли левым берегом к порогу, атаман же остановил струг ссыльных и велел Пелашке сойти. Это были первые слова, сказанные бывшей жене от самого Енисейского острога. Стараниями Оськи Горы она не била ноги о камни, целыми днями сидела и валялась на мешках с рожью. Услышав приказ атамана, Оська насупился, обидчиво пробурчал:

— Пусть сидит! Места хватает!

Иван строго взглянул на него, едко усмехнулся, но настаивать на своем не стал, сел в их струг, приказал казакам Федьки Говорина разобрать весла, плыть к острову. Оська окинул Пелагию нежным взглядом, подхватил на руки, посадил на нос струга, взялся за оба загребных весла, закрыв Меченку широкими плечами. Она боязливо выглядывала из-за него на бывшего мужа. Иван сочувственно посмеивался над молодцом и качал головой. Струг переправился через стрежень, приткнулся к песчаной косе в нижней части острова. Из колесниковского табора никто не вышел.

— Васька думает, мы к нему, с поклоном! — желчно ощерился атаман и приказал: — Федька, бери двоих, пойдете со мной! Остальным караулить струг.

Иван слишком хорошо знал спесь старого сослуживца, чтобы ошибиться в предчувствиях. Василий Колесников ждал его, у него была в том нужда, но просить он не желал, хотел, чтобы ему не только помогли, но еще и поклонились. Стороной, мимо табора, пути к могиле не было. Крайний костер, с разбросанными вокруг него одеялами, с грязным котлом, был в трех саженях от хрипуновского креста. На пне, застеленном шкурой, сидел Васька-пятидесятник и не сводил с идущих пристального, немигающего взора. Похабов прошел мимо, одарив товарища таким же молчаливым и неприязненным взглядом, отодвинул ичигом грязный котел, громко проворчал: «Нехристи!», подошел к кресту, скинул шапку, стал креститься и кланяться.

Колесников, сидя на пне, нахохлился как петух. Три ссыльных казака при Похабове следом за атаманом накладывали на себя крест за крестом. Иван трижды обошел могилу, опустился на колени, припал к холмику, затем резко встал и нахлобучил шапку. Новоприборный казак, обиженный брезгливыми взглядами и отодвинутым котлом, с плаксивым лицом подскочил, преграждая обратный путь. На нем был ветхий, во многих местах прожженный зипун, ноги босы.

— Глядите, в чем идем! — сунул Федьке под нос дырявую бахилу.

Десятник, сморщившись, отстранился, фыркнул:

— Надо было в Енисейском собираться, а не пьянствовать!

— А ты нас поил? — выпучивая глаза, поднялся от костра другой казак, тощий и длинный, с козлиной бородой, порыжевшей от подпалин. Дыры на его сермяжном зипуне были стянуты бечевой.

Разойтись миром не удавалось. Прежде чем отшвырнуть зачинщиков, Похабов обернулся к Колесникову. В угоду последним воеводам лицо пятидесятника было чисто выбрито, по подбородку свисали черкасские усы. Не кивая, не приветствуя прибывших, он с важностью спросил:

— Бывальцы, проходившие пороги, у тебя есть?

— У меня все есть! — с вызовом ответил Иван. — Даже две жены.

— Вот и дай нам двух вожей! — рыкнул Колесников, пропустив мимо ушей слова Похабова о женах.

Гонор, с которым он требовал людей, взбесил Похабова.

— А в ноги поклонишься да похристарадничаешь, может быть, дам! — крикнул, распаляясь.

— Еще чего! — ухмыльнулся Василий. — Как аманата посажу на цепь, сам поведешь нас вместо вожа, — обмолвился и захохотал, с важностью оглядывая своих людей. Он шел на Ламу по царскому указу, с которым невольно считались даже воеводы, и своим видом показывал превосходство его сотни перед обычными годовальщиками Похабова. Сдержанно и угодливо хохотнули тобольские и березовские переведенцы. Откуда-то из-за спин по-шакальи тявкнул вечный и вездесущий пес:

— Нас сотня, а вас...

— Коли так, то поклоном не отделаешься! — гневно просипел Иван. — Отсель до косы проползешь на брюхе — дам вожа!

От обидных слов, сказанных при подначальных людях, выбритые щеки Колесникова побагровели, он резво соскочил с пня и со звоном обнажил саблю.

Федька встал с левого бока от Похабова, двое его товарищей со свистом махнули саблями и закрыли им спины. Все понимали: прольется кровь, пойдет разбор при тобольских воеводах, а то и в Сибирском приказе, но очень уж хотел атаман-пятидесятник, покуражиться, показать свою нынешнюю силу и власть.

Большинство колесниковских казаков ничего не поняли, из-за шума воды на пороге даже не расслышали спора, видели по лицам, что атаманы бранятся, потом схватились за сабли. Колесников надеялся помахать и обойдись перебранкой, но не вышло. Зазвенела сталь, ему пришлось отбиваться, он отступил раз и другой, никто из сотни не поспешил на помощь. Похабов же кричал, нанося удары:

— Сморчок тухлый!.. Понравилось пугать промышленных и тунгусов!

На глазах изумленной сотни сын боярский в несколько ударов выбил из рук пятидесятника саблю, сшиб его с ног, плашмя раз и другой вытянул по спине: — За невежливые слова! За спесь!

— Ребра поломал! — взвыл Василий.

— Не бей лежачего! — заорали колесниковские, сгрудившись вокруг пришлых.

Похабов остановился, вытер лоб рукавом, рыкнул, обернувшись к могиле:

— Непутевое место выбрал себе, кум!.. Пошли! — мотнул головой.

Четверо с обнаженными саблями протиснулись сквозь толпу, двинулись в конец острова, к стругу.

— А говорили, у вас порядок! — язвительно смеялся Федька. — То же, что на Волге.

На табор под порогом струг ссыльных пришел в сумерках. Там уже горели костры, сладко пахло дымком и свежим хлебом. Ясырки пекли на раскаленных камнях пресные лепешки, которые черствели уже на другой день.

Утром, помолившись Пречистой Богородице да Николе, казаки Похабова потянули струги через порог. Воды среди камней было мало, она пенилась и кипела на каменистых отмелях. Это был самый легкий из Ангарских порогов. Бурлаку остаться сухим трудно, а груз уберечь можно.

И снова они ночевали на месте со старыми кострищами, с неразоренными балаганами. На другой день, к вечеру, подошли к устью Вихоркиной речки. Здесь тоже был старый стан с кострищами и остатками засеки. После порога Похабов объявил дневку, спешно отдал распоряжения, где ставить караулы, кому рубить дрова, то и дело оборачивался к Савине, кивал, что помнит о просьбе. Освободившись, повел ее к Вихоркиной могиле и, будто леший увязался следом, заблудился: на месте прежней поляны поднялся осинник, креста не было видно.

Походив среди кустарника, Иван нашел-таки могилу с завалившимся крестом. Концом сабли разрыл землю в ногах покойного. Воткнул на место крест подгнившим концом, утоптал землю вокруг него, перекрестился и поклонился. Савина снова вскинула на него печальные глаза со слезами на ресницах. Он понял, опустил голову и ушел, оставив ее одну. Сквозь грохот воды услышал за спиной тонкий вскрик женщины, оплакивавшей первого мужа, оставившего ей двух добрых сыновей.

На другой день к табору отряда подошли два молодых колесниковских казака, скромно кивнули атаману, поприветствовали отдыхавших.

— Что скажете? — строго спросил Похабов, перекрывая голосом шум воды.

Те осторожно укорили его словами пославшего их пятидесятника:

— Вы терпящих бедствие бросили!

— Терпящих бедствие не видел! — строго ответил сын боярский. — А от вздорных, пропившихся голодранцев на острове претерпел невежливые, поносные слова!

Молодые казаки смутились, не зная, что ответить, Иван махнул рукой, подзывая ближе. Они невольно склонили головы.

— Как кличут? — спросил.

— Я — Коська Иванов Москвитин, — ответил казак с пухом на щеках. — А он — Якунька Кулаков, — кивнул на товарища.

— Тобольский? Не Ивашки ли Москвитина сын?

— Его! — почтительно кивнул Москвитин.

— Многих Москвитиных знал! — мягче заговорил Иван, кивнул, чтобы присаживались к костру. — Ваську Краснояра помню, здесь с ним встретились, здесь же с отцом твоим разминулись. Я из Братского плыл, а он с Копыловым туда. А нынче я до Илима шел с купцом Поповым, со старым другом твоего отца.

Савина молча сунула молодым казакам по плошке с кашей, придвинула бересту с вареными рыбьими головами. Те с жадностью накинулись на еду, видно, шли весь день голодными. Похабов почувствовал, что заболтался, как старик, взглянул на вестовых ласковей:

— Зачем прислал пятидесятник?

— Порог пройти не можем! — с набитым ртом весело прошепелявил Москвитин.

— Струг с рожью опрокинуло.

— Так-то, — со злорадной усмешкой тряхнул бородой Иван. — Пусть Васька придет и покается в злых словах. Дам вожей, Христа ради.

— Он не может! — опять прошепелявил Коська. — Ты ему ребро сломал. Лежит в струге, охает, жалобную воеводе наговаривает.

— Пусть Енисейский острог потешит! — опять усмехнулся Иван. Помолчал, глядя на молодцов: — Ладно уж! Хотел заставить его на карачках поползать. Не буду! Ради доброй жены его Капы и ради твоих, москвитинских, сродников дам вожей. Без них Падун вам не пройти.

—

Каким поспешно ставил новый Братский острожек Николай Радуковский, таким он оставался. На склоне горы виднелись две избы с нагороднями, баня, амбар, лабаз, огороженные тыном. За восемь лет все строения, сделанные из сырого леса, успели изрядно подгнить. Здесь годовал атаман Максим Перфильев с пятнадцатью казаками. С другого берега реки, из Верхоленского острога, пятидесятник Курбат Иванов то и дело присылал ему грамотки и отписки, доносил о стычках с братами и тунгусами, а у Перфильева на Ангаре было тихо. Окинские браты не бунтовали, ясак давали доброй волей. Под прикрытием острога, полагаясь на защиту казаков, они зажили вольно и независимо: соседей не опасались и даже приворовывали у них скот.

Пожухла трава, стала блекнуть зелень леса. Усталое лето покатилось на осень. Максим Перфильев только задумал написать воеводе, что его трудами в Братской волости налажен мир, как по попущению Божьему, в один день все переменилось. Курбатка Иванов, приказный Верхоленского острога, прислал с другой стороны Ангары толмача Федьку Степанова и казака Данилку Скоробыкина с грамоткой. В ней он сообщал Перфильеву, что его ясачный изменник князец Кадымка переправился на левый берег Ангары, просил объявить беглецу жалованное государево слово и взять с него ясак за два года.

Милостивый к сибирским народам государь велел Кадыма казнить с пощадой. И если тот повинится в убийстве шестерых служилых, то простить и привести к новой присяге. На кого брать ясак: на Енисейский или Якутский острог, которому подчинялись верхоленцы, — дело было спорным и прибыльным. Нынче Кадым кочевал в Братском уезде. Перфильев дал верхоленским казакам коней, приставил к ним в помощь и для надзора своего казака Якова Похабова. Ясак за прошлый год сговорились записать на Курбатку, за нынешний — на атамана Максима.

Вернулись трое быстро. Из доброго посольства так скоро не возвращаются. Дело было к ночи, на расспросы караульных казаки отвечать не стали, бросили коней у острога, разбудили атамана.

— Все живы? — зевая, поднялся тот.

— Слава Богу! — скороговоркой ответил молодой Похабов.

— Что так скоро?

— Долгий разговор! Иные слова Кадым велел передать тебе одному!

Ни приказной, ни съезжей изб в остроге не было, все служилые жили в одной. Атаман повел полуночников в пустовавшую аманатскую, раздул трут, засветил жировик.

— Мы Кадыма и его мужика Шугожуна зарезали! — тихо признался Данилка. — Кажись, насмерть!

— Как так? — вскрикнул атаман.

— Зашли мы с Федькой в юрту князца, Якуньку оставили возле коней, при оружии. Я печенкой чуял, что браты замыслили зло, стал говорить Кадымке жалованное государево слово, никакого худа не говорил, а он давай брехать на меня, как цепной пес. Потом вскочили с мужиком Шугожуном, стали нам с Федькой руки заламывать. Вижу, убить хотят, крикнул Федьке: «Обороняйся!» Князцу — засапожник в бок, глядь, у Шугожуна кровь хлещет горлом. Выскакиваем из юрты, Якунька возле коней крутится чертом, от пятерых отбивается. А те в куяках и панцирях — сдается мне, в русских. Кабы твой молодец наших коней не отбил — не уйти бы нам живыми.

Данилка-толмач передохнул, опустив голову, снова вскинул глаза на Перфильева.

— Так все и было, атаман! — размашисто перекрестился. — Научи, как быть, что другим говорить?

— Дело не простое! — медленно, с расстановкой, будто ссохшимся языком, произнес Перфильев. — Пока про убийство никому не сказывайте. Отдыхайте, а я подумаю. Завтра поговорим.

Верхоленцы вышли. Атаман с Яковом остались возле горевшего жировика.

— Живы, и слава Богу, — тяжко вздохнул Перфильев, пристально взглянул на Якова: — И ты молодец! Похабина кровь!

Молодой казак опустил голову, поморщился, похвала его не обрадовала.

Сколько помнил себя, казалось ему, что он не Похабова, а Перфильева сын. В вечных перебранках отца с матерью улавливал намеки на тайну своего рождения и соседи на что-то намекали, охали, посмеивались. И легко ему было с Перфильвым

как с родным. Он говорил с ним что в голову взбредет, подражал походке, голосу, рассудительности, почитал как отца. Сперва мысленно звал батей, как начал службу в выростках* под его началом, стал так называть вслух.

И Перфильев опекал его с детства больше, чем отец. Так бы Якунька и ждал, когда атаман признается в грехе молодости и назовет его сыном, но в юности слишком явно стала выпирать в его лице и теле Похабина кровь. Он перерос Перфильева, раздался вширь, служилые и промышленные, знавшие старого Похабова, стали часто спрашивать, не его ли он сын.

— Его кровь! — признался Яков. — А ведь я думал — твоя!

Атаман тихо улыбнулся, опустив глаза, нечаянно вздохнул промелькнувшим воспоминаниям:

— Знаю! Слухи всякие ходили. Твоя мать сперва за меня замуж собиралась… Ой, непутевая была девка! — хмыкнул. — Из-за нее на мне лежала кабала, воевода на службу слал, а ей нужда идти под венец вместе с подругами, не ждать. Отец твой и присуху мою, и кабалу, и судьбу — все на себя взял. Да и после столько раз меня спасал, что по самый гроб о нем Господа молить... — Нет! — вскинул прояснившиеся глаза. — Слава Богу, с твоей матерью тискались, целовались, а до греха не дошло… В нашей жизни жены женами: им долго вдоветь не дадут, дети детьми: Бог сирот не оставит! А товарищ — дороже самого дорогого: им и живы!

Нелестно было молодому казаку слушать атаманские слова про отца и мать. Он обоих почитал, как Бог велел, но не было любви на сердце ни к матери, ни к отцу. Все девки, похожие на мать, были ему неприятны и семей, где не было порядка и мира, он не любил, и отцом тяготился: неприятно было видеть его разбитое лицо на Николу или Троицын день. Глубоко сидела в душе детская обида, рано стал думать, что сам будет жить иначе.

Заметив, как посмурнел воспитанник, атаман Перфильев обнял его за широкие плечи.

— Мы больше чем родня! — тряхнул молодого казака. — Ведь я с тобой прожил дольше, чем с сыновьями, да и вложил в тебя своего... Иной раз забываю, кто мне старший сын: ты или Ивашка. Наверное, за грехи перед Иваном душа к тебе тянулась, оттого и дорог мне больше родных по крови, — атаман впервые дал волю чувствам, смутив Якова. И сам смутился, кашлянул, заговорил строже, отчужденней: — Давай-ка подумаем в две головы, как перед воеводами и перед государем оправдаться.

Утром им не дали отоспаться, разбудили рано.

— Батька! Ты за печкой или че ли? — окликнул атамана караульный. — По реке большой струг плывет, из него всего две головы торчат!

— Спят, поди! — недовольно зевая, Перфильев свесил ноги с лавки. — Вели к острогу подойти!

— Пулю жалко! — весело оскалился караульный.

— Затинную** пищаль заряди холостым! — распорядился атаман, надевая сапоги.

Вскоре он и сам поднялся на нагородни. По стрежню ближе к другому берегу плыл шестивесельный струг. Двое на веслах только подгребали, удерживали, чтобы его не разворачивало течением. Караульный уже забивал пыж в пудовую крепостную пищаль. Перфильев постучал кремнем по тыльной стороне сабельного клинка, раздул трут, запалил фитиль, приложил к запалу.

Ахнула пищаль, поставленная стоймя, выбросила в небо голубое облако порохового дыма, едко запахло серой. Гребцы на струге бросили весла, замахали руками, затем стали подгребать к устью Оки.

— Помощи просят! — сказал атаман, вглядываясь в речную даль. — Буди бездельников. Помогите им подойти к берегу.

**Выростки — казачьи дети шестнадцати-семнадцати лет.*

***Затинная — тяжелая, крепостная.*

От сигнального выстрела из избы высыпали все отдыхавшие. Одевались на ходу, спрашивали, зачем стреляли. Четверо сели в легкую лодку, поплыли к стругу, еще четверо пошли берегом, поглядывая на сносимые течением суда. Приволокли тяжелый струг нескоро. В остроге успели умыться, сотворить утренние молитвы, позавтракать. Впереди казаков шли двое изможденных промышленных людей. Один нес легкий кожаный мешок, другой держал в руке чугунный котел. Служилые веселой гурьбой шли за ними, несли на плечах пищали, одеяла, шубные кафтаны.

Перфильев вышел за ворота острога, стал ждать их, положив руку на рукоять сабли, другой упираясь в бок. За его спиной встал Якунька Похабов с гусиным пером за ухом, пальцы его были перепачканы чернилами, сделанными из сажи и рыбьего клея. Он служил при атамане за писаря и уже строчил отписку Курбату Иванову в Верхоленский острог.

Гости остановились против атамана, склонили головы в казачьем поклоне. На их черных от загара лицах сияли очистившиеся от страстей глаза..

— Здоров будь, атаман! — прошепелявил беззубыми, запавшими губами старший. — Спаси тебя Господь!

Он был на ладонь выше товарища, от возраста или пережитого, в длинных до плеч волосах и бороде белели пряди седины. Оба смотрели на Перфильева спокойно, не выказывая ни радости, ни испуга.

— Войдите, Христа ради! — пригласил их в острог атаман. — Отчего только двое? Чьей ватаги?

— Все расскажем, ничего не скроем! — ответил все тот же промышленный.

Двое, крестясь, вошли в раскрытые ворота, затем в избу, неторопливо положили поясные поклоны на образа, опустились на лавку. Старший положил рядом с собой мешок и пригладил его ладонью.

— Мы — тобольского служилого Семена Скорохода охочие люди, плывем с Байкала, с мало-ангарского култука. Двое только, Божьим промыслом, живые, других тунгусы побили. Я — Максимка Вычегжанин, он, — кивнул на товарища, — Левка Васильев.

— А что, брат Якунька! — обернулся атаман к молодому Похабову. — Надо накормить гостей и эти голодны, — кивнул на столпившихся казаков, ходивших за стругом промышленных.

Гостям указали лучшие места. Вычегжанин поволок за собой большой и легкий мешок с рухлядью. В избу набились все служилые, караульный свесился с нагородней к раскрытой двери. От хлебного духа у гостей помутнели глаза.

Левка невольно повел увлажнившимся взглядом и всхлипнул.

— На Егория последние сухари съели. С тех пор на рыбе.

— Птицу били, — шепеляво поправил его спутник.

Якунька Похабов выложил на стол свежий хлеб, поставил квас в кувшине, неуверенно предложил:

— Рыба есть печеная!

— Не-е! Рыбу не надо! — торопливо отмахнулся Левка, густо присыпая солью ломоть хлеба.

— Ешьте, пейте во славу Божью! — добродушно закивали казаки, ожидая рассказа.

Как утолили гости голод и напились квасу, Максим Вычегжанин вытер усы, отряхнул узловатыми пальцами бороду, поднялся, трижды поклонился на образа, кивнул связчику:

— Ты сказывай! Я что-то сомлел.

Левка вздохнул, тоскливо поглядывая на недоеденный хлеб, размеренно засипел хриплым голосом:

— Два года, как посланы мы с Лены-реки, из Якутского острога в Верхоленский, на подмогу Курбату Афанасьеву Иванову: двадцать служилых и пятьдесят четыре охочих промышленных. Пришли, Божьей милостью, в верховья Лены. Воевали там, соединились с Курбатом и пошли степью к Байкалу на остров Ольхон, где укрылись бунтовавшие роды братов. Погромили их, взяли ясырей и с Курбаткой разделились. Он пошел обратно, в Верхоленский, а мы с казаком Сенькой Скороходом и шестью служилыми двинулись на Верхнюю Ангару. И было нас, охочих, тридцать и один. Взяли мы там ясак с тунгусского князца Яконкачина из лапогирского рода, привели его к присяге. По его научению Скороход с двадцатью семью пошел на реку Баргузин для государева ясака. Там их всех перебил князец Архича-баатур. А мы, трое служилых и трое промышленных, туда не ходили, рубили зимовье. И пришел к нам наш ясачный князец Яконкачин, обманом выманил из зимовья служилых, и всех, кто вышел, убил. Осталось нас трое охочих, сидели в осаде четыре недели, а как ветер разбил лед на Байкале, столкнули на воду струг и бежали водой. Ветром пронесло нас мимо Ольхона к истоку здешней реки, — перекрестился вздыхая.

— А как узнали, что людей Скорохода перебили? — спросил атаман.

— Лапогирцы сказали! — прошепелявил Максим, с трудом раскрывая слипающиеся глаза. — Одежду их показывали, панцири, куяки.

— Трое, говоришь, в осаде было? — снова спросил атаман.

Левка кивнул, снова перекрестился.

— Трое и ушли, — продолжил сиплым голосом. — Один в пути помер от ран.

— А в мешке что? — нетерпеливо заговорили казаки.

— Ясак! Три сорока, шесть соболей, пять лисиц!

— А покажи!

— Что его смотреть? Ясак он и есть ясак! Нам нужно сдать его в Якутский острог, воеводе Головину или в Верхоленский, Курбату Иванову. Оттуда уходили.

Казаки загалдели насмешливо и язвительно:

— Сидят у нас двое верхоленцев. Теперь вчетвером туда не уйти — браты бунтуют и здесь, и на Ленском волоке служилых побивают.

— Сдайте ясак мне, енисейскому атаману, — предложил Перфильев. — Под мою роспись, при многих свидетелях, а дальше — ваша воля, но лучше бы вам с нами в Енисейский сплыть, все одно воеводы будут пытать про гибель служилых. Как бы в Томский или в Тобольский не повезли. А в Якутском нынче Головина нет — там новый воевода, московский дворянин Василий Никитич Пушкин.

Максим Вачегжанин задумался, стряхнув дрему с глаз, взглянул на атамана с хитрым прищуром.

— Отдать тебе ясак доброй волей — отказываемся! — Обвел взглядом сидящих казаков. — Хочешь забрать — бери силой!

— Силой так силой! — потянул на себя мешок Перфильев, развязал, высыпал на стол черных соболей, связанных в сорока, черных лис, раскинувших когтистые лапы по столешнице.

Казаки сгрудились возле рухляди.

— Головные, добрые! Здесь таких нет!

Ясак был пересчитан при всех собравшихся, Яков Похабов написал атаманскую расписку, казаки приложили свои подписи. Максим с Левкой, оба неграмотные, заставили несколько раз перечитать ее разных людей, прислушиваясь к словам.

Затем их подхватили под руки и повели в баню.

— Попаритесь, по чарке горячего вина налью! — пообещал атаман.

Выцвела, поблекла зелень берез, на осинках затрепетали желтые листья. Утрами река начала куриться ползучим туманом. В запахах лета появился дух прелой травы. Казаки Братского острога все беспокойней поглядывали в низовья реки, никакое дело не шло им на ум. И случилось. Пополудни весело закричал караульный, вращая дурными глазами:

— Струги идут! Кажись, наши, со служилыми!

Все насельники тесного острожка полезли кто на тын, кто на нагородни. Посреди двора остался один атаман, стараясь не ронять степенства, задирал голову, нетерпеливо спрашивал:

— Ну, что?

— Явно служилые! — в несколько голосов отвечали сверху. — Пора бы смене прийти.

— Пора! — тоскливо согласился атаман и распорядился: — У кого ноги прытки, сбегайте узнайте, кто идет?

Одним было в почесть, что их ждут и встречают, другим в радость первыми узнать новости о родных и близких. Яков с двумя казаками быстро зашагал берегом. Уже видны были казачьи шапки, узнавались енисейские люди. Лицо молодого казака вдруг покривилось, он замедлил шаг. Двое его спутников вырвались вперед. По походке и осанке молодой Похабов узнал отца. Не ждал, что пришлют его на перемену, смутился, как в детстве, заробел, стал сердиться на себя самого, оттого на его лице, между бровей, глубже пролегла складка.

Отец тоже узнал сына, подтянулся. Якунька остановился в пяти шагах, когда дольше идти навстречу друг другу стало неприлично, отвесил отцу отчужденный поясной поклон. Тот кивнул, шагнул к сыну, обнял его, щекотно ткнулся бородой в одну и другую щеки.

— Живы, здоровы ли мать и сестра? — спросил Яков, глядя мимо.

Отец желчно усмехнулся в бороду.

— Сестра родила тебе племянника, мне внука, а мать увидишь. Со мной идет!—

— Как? — вскрикнул Яков, заводив глазами по сторонам. Быстрым, сметливым взглядом высмотрел среди баб и ясырок Савину, поклонился ей. Он всегда любил эту непомерно добрую к нему женщину. Стал торопливо выглядывать других и дрогнуло сердце.

Легким шагом к нему бежала мать с повязанным лицом. Издали да с отвычки можно было принять ее за девку, не изъеденную гнусом, не изнуренную переходом, как другие. Она вскрикнула, повисла у него на шее, зарыдала, да только все как будто напоказ. Яков, с пристойной улыбкой, терпеливо переждал материнские ласки. Отстранился.

— Ты-то как сюда? — спросил удивленно.

— Не спрашивай, сынок! — отмахнулась, вытирая сухие шаловливые глаза. — Оговорили меня, едва в Москву не увезли по государеву слову и делу. Отец отбил, — повела на старого Похабова боязливым взглядом.

Яков не стал допытываться, что случилось в остроге. Мать держалась в стороне от отца, а тот не глядел на нее, и тетка Савина была здесь. Яков потоптался, не зная, как себя вести, с кем рядом идти, решительно тряхнул головой и объявил громким голосом:

— Атаман ждет! Побегу, скажу ему, порадую! — глубже нахлобучил шапку и рысцой затрусил к острогу.

Когда отряд подходил к нему, из дверей бани валил густой дым, Перфильев, спустившись с горы, шел навстречу старому товарищу и раскидывал руки. Яков стоял у ворот, наблюдал за ними, гадал, к чему отец сказал о матери «Тебе веду». Обратно в Енисейский поплывет, что ли? Или отец собирается содержать двух жен? Думал, как они будут жить? Теснота в остроге корабельная. В аманатской избенке отсыпались караульные после ночного дозора, разместить прибывших было негде. Полсотни

уставших людей привычно устраивались на берегу, возле бани, вытаскивали струги и жгли костры у воды. Яков видел сверху, что за стройной подвижной матерью, как бык на привязи, тупо ходит здоровенный детина в кожаной рубахе. Отец и старый казак Сорокин следом за Перфильевым поднялись на гору, в острог.

Дружба дружбой, служба службой! На другой день старый Похабов стал принимать острог, пересчитывать припас и казенную скотину, попинал подгнившие венцы избы, покачал дюжим плечом тын.

— Плохо жил! — ласково укорил атамана. — Ни острога доброго, ни приказной избы. Абы перезимовать!

— Куда к лешему, — оправдывался Перфильев, оглядываясь на Якуньку. — Полтора десятка служилых. Пошлю кого за ясаком да скот сторожить — сам в караулы ходил день и ночь.

— Придется укреплять! — ворчал Иван. — С братами как-то надо ладить. Еще и Васька Колесников волочится следом, где-то поблизости зимовать будет. А с ним подобру не ужиться: он или верховодит, или холуйствует, да тут же под начального яму роет, чтобы свалить. По-другому не может, холопское отродье.

— Да уж! — сердился и разводил руками Перфильев. — Мне, старому атаману, в Браты дали всего пятнадцать служилых, а ему, десятскому, едва в пятидесятники вышел, — сотню! Ловок! Ловок, блядин сын.

Он чесал затылок и советовал товарищу:

— Пошли его дальше: на Осу или на Уду. Курбатка жаловался, на Уде краснояры зимовали, ясак с его волости брали. Краснояры — сердцем яры! — усмехнулся. — Своей прибыли не упустят, чужую к рукам приберут. А мне туда послать некого.

Два дня прибывшие отдыхали. Мать не шла в острог, все крутилась рядом с тупым верзилой из ссыльных волжских казаков, которых отец нахваливал. Яков к табору не спускался, встреч с матерью избегал, со стороны наблюдал за ней и стал догадываться о том, о чем ни слова не сказал отец.

Отдохнув, прибывшие перетаскали рожь в амбар, стали копать ров вокруг острога, валили деревья, тесали бревна, наспех строили балаганы. Отец с Савиной переселился в аманатскую избу. У реки бездельничали только братья Сорокины со своими ясырками да верхоленские же казаки Федька Степанов, с Данилкой Скоробыкиным. Они ждали людей Колесникова, чтобы идти с ними дальше.

Оська Гора со счастливой улыбкой на лице таскал на гору сырые лесины. Казаки потешались над ним. Детина иной раз оборачивался и видел, что на его бревне сидит молодец-удалец, посмеивается. Оська смеялся, тащил дальше и лесину, и шутника. Как-то вечером Яков подглядел, что он с несчастным лицом сидит возле балагана, а вокруг него носится мать и машет руками, будто комаров отгоняет. «Кричит, видать!» — Неприятно вспомнилось детство, дом, ссоры родителей. Вздрогнул вдруг, не заметив как подошел отец и встал за его спиной.

— Вот стерва! — сказал тихо, углядев, что и сын. — Иной раз хочется плетей всыпать. — Иван постоял молча, мысленно каясь, что при сыне хулит мать. Добавил, оправдываясь: — Он-то добрей доброго!.. Пока не разъярится. Под Падуном кто-то Пелашку обидел, Оська заревел, как бык, схватил несчастного и зашвырнул чуть не на середину реки. Не вступись — утопил бы. — И признался, посмеиваясь: — Сам опасаюсь к ним подходить.

Через неделю на реке показались другие суда, к Братскому острожку подходил отряд Василия Колесникова. Годовальщики Перфильева уже просмолили два струга и готовы были плыть вниз. Задерживал их Иван Похабов, уговаривая Максима дождаться и выпроводить Колесникова с его людьми, сам не желал ни видеть пятидесятника, ни говорить с ним.

Встретили колесниковскую сотню атаман Перфильев с Якунькой Похабовым. Иван велел затопить баню, бабам с ясырками печь хлеб. Отряд затаборился чуть ниже острога, Колесников не пожелал идти на поклон к новому приказному. От него пришли вожжи, данные на время, и сразу стали жаловаться, что Васька-атаман морил голодом, берег рожь и мяса добыть, не отпускал, боясь побегов.

Сверху видно было, что там, у костра, наслаждаясь общим вниманием, царят пришлые люди убитого Семейки Скорохода. Вокруг них, отъевшихся и отдохнувших после пережитого, любопытные слушатели сидели и стояли в несколько рядов. Сам Василий Колесников восседал во главе костра, а люди старшего Похабова в это время таскали и таскали лес к острогу.

Перфильев с Колесниковым поделили скороходовских охочих людей по их доброй воле: одного переманил к себе Василий, другой решил плыть в Енисейский острог. И заспешил, засуетился со сборами пятидесятник. На другой уже день вверх по реке потянулись колесниковские струги. С ними ушли до Братского волока в Лену Сорокины, скороходовский бывалец и верхоленцы Федька с Данилкой, зарезавшие братских людей. Атаман Перфильев научил их, что говорить приказным и воеводам, обещал оправдать в Енисейском остроге.

Глава 10

Нелегко было заставить подначальных людей укрепить острог для их же пользы и безопасности. Где криком, где угрозами, а то и батогами Иван Похабов принудил-таки служилых и охочих поставить новый тын, обвести его рвом, вкопать надолбы в два ряда. В самом остроге к холодам был срублен пятистенок на два входа. Малую половину избы Похабов занял под приказ, там и жил с Савиной. Оська Гора, с его разрешения, прирубил к тыну избенку в две квадратные сажени. Говорили, будто в ней он упирался головой в одну стену, ногами в другую, остальное место занимала печь. Все кому не лень подзуживали молодца, выспрашивая, куда он кладет Меченку? В такой тесноте, кроме как на себя, дескать, некуда. Иван в их избенку не заходил, встреч с Пелагией избегал. Она тоже старалась не попадать ему на глаза.

К зиме одна из ясырок Агапки Скурихина благополучно разродилась, другая стала брюхата. Писк младенца мешал казакам отдыхать, и они выселили Агапку с его ясырками в аманатскую избу, которую вскоре должны были заселить заложники. Старый казак неохотно начал строить балаган во дворе. Савина пожалела роженицу, привела ее в приказную избу. Теперь младенец донимал Похабова, а его старый товарищ с другой девкой вернулся в казачью избу.

На Николу Зимнего Иван разослал служилых в братские улусы и тунгусские стойбища. Самый большой отряд, под началом десятника Фомки Кириллова, был отправлен к Чавдоку, сыну зарезанного братского князца. В помощь Фомке Похабов отдал самых проворных и послушных ему казаков: Ивашку Герасимова и Веселку Васильева. Хотел отправить с ними и Оську Гору с крепостной двухпудовой пищалью, но дородный молодец с такой тоской в глазах стал просить острожной службы, что Иван досадливо плюнул, матюгнул всех острожных кобелей и оставил его при себе.

— Присушила, стерва, молодого пуще, чем меня в молодости! — пожаловался Савине. — А воровских казаков за ясаком посылать боюсь. Грабить станут, не дай Бог, резню учинят…

Савине из кутного угла многое виделось по-другому. Как только Иван заговаривал о лучших своих служилых — о Веселке с Ивашкой, она поджимала губы и умолкала, а за Оську с Федькой Говориным осторожно вступалась:

— Они если и солгут, то со стыдом... А то, что Федька из твоей фляги вино выпил, сам виноват — не оставляй без надзора!

— Я и так против воеводской наказной памяти погрешаю! — ворчал Иван, хмуря брови и косясь на завешанный угол, где ютилась с младенцем Агапкина девка. — Товары в улусы возят, торгуют против государева указа — не вижу! Блудят с ясырками, друг другу их продают… Не замечаю!

— Мы ведь и сами, Иванушка... — вздыхала Савина, крестясь.

— Не замечаю! — резко перебил ее Иван. — Но зерни и воровству попускать не буду, — властно ударил кулаком по столу.

Тихо, ласково все-таки выгородила Савина опального Федьку. На другой день Похабов отправил его с товарищами за Падун для сбора ясака. В остроге остались Оська, хромой Скурихин, двое старых казаков, две бабы и семь ясырок. Фомка Кириллов с товарищами вернулся к Рождеству не побит, не ранен, всего-то с обмороженным носом, ясак взял сполна. Аманатов, как требовал Похабов, не привел и стал оправдываться:

— Приняли добром. Государево жалованное слово слушали с почтением. За другой год обещали дать ясак в нам, а не Курбатке. Аманатов же князец давать не хотел, а я не стал его неволить. Лучше плохонький мир, чем новая резня!

Слова десятника показались Похабову разумными. Соболя были добрыми, непоротыми, с брюшками и хвостами, к ним приложен тунгусский половик из собольих спинок.

Вскоре вернулись другие сборщики. Позже всех явились ссыльные казаки Федьки Говорина с ясаком чуть не вдвое больше против прежнего, сказали, что меха были взяты без стычек. Оставалось самое трудное: взять ясак с балаганцев, которых еще при Хрипунове приводил к присяге Бекетов. После войн на Оке и убийства Куржума сделать это было непросто, довериться было некому.

Верхоленские вестовые привезли грамотку от Курбата Иванова. Он жаловался Похабову на Василия Колесникова, писал, что тот поставил зимовье пониже Осы, грабит бурят, уже давших ясак ему, Курбату. А те нынче живут скопом и грозят отложиться от прежней присяги. Сообщал, что у края братской степи, возле мунгальских кыштымов, сам по себе кочует балаганский князец Бояркан со своим многочисленным племенем. В воинских распрях он не замечен, но и ясак с себя не дает.

Похабов позволил отдохнуть вернувшимся казакам, взял с собой толмача — раскосого болдыря Мартынку. Агапка Скурихин напросился сам: говорил, будто ему стыдно сидеть в караулах до самой весны.

— Балаган так и не построил, кобель старый! — проворчал Иван. — Хитришь! Думаешь, уйду-ка с Похабой, Савина брюхатую девку пожалеет, а там весна.

Агапка ухмыльнулся, плутовато блеснул глазами, шмыгнул носом, ничего не ответил на догадки приказного, а тот, еще раз ругнувшись, молча согласился взять его. Велел собираться в Браты и Федьке Говорину с Горой. Десятский и Агапка в один голос стали отговариваться от Оськи:

— На кой он нам? Кабы вместо коня? Так мы налегке… Пусть караулит острог, дрова да воду возит!

Вместо себя Похабов оставил на приказе Фомку Кириллова и после Крещения вышел с малым отрядом на лыжах и с нартами. Шли они по льду вверх по реке. Раз и другой переночевали в снежных ямах, увидели на берегу два чума, повернули к ним. Пока перебирались через заметенное русло, тунгусы успели разобрать их, погрузили на оленей и ушли по глубокому снегу.

На другой день путники снова увидели стойбище. На этот раз Иван с толмачом Мартынкой побежал к жилью налегке. Тунгусы не смогли укрыться, встретили казаков настороженно и неприязненно. К ним вышел мордастый мужик с косами по плечам, хмуро принял приветствие, нехотя пригласил к костру. У огня возле чума, на нартах с высокими копыльями, сидели еще два мужика с татуированными лицами и старик с впалыми губами. Сбросив лыжи, сын боярский и толмач присели против них. После быстрой ходьбы оба тяжело дышали. Толмач, вытряхивая снег из ичига, приветливо залопотал, выспрашивая таежные новости.

— Нет у них ни соболей, ни лис, никакой другой рухляди! — виновато улыбаясь, сказал Похабову. — Дать нам нечего!

— Спроси, кому шертовали?

Мартынка, плутовато посмеиваясь, стал пытать тунгусов, внимательно прислушиваясь к их кратким ответам.

— Говорят, род у них малочисленный, кто требовал ясак, тому и давали: братам давали, мунгалам, лучи. Говорят, нынче какие-то казаки зимуют на устье Уды и выше по Ангаре, будто в этом году они за всеми гоняются, со всех мех требуют и от того везде война.

Иван покряхтел, прокашлялся, воротя нос от дыма костра.

— Неужто Васька два зимовья поставил? — просипел.

К стойбищу уже подходили трое товарищей с нартами. Мордастый князец буркнул что-то в сторону чума. Из-под крова вылезла старуха в кожаной рубахе до колен, вынесла глиняный горшок, на четверть наполненный круглыми как яйца камушками. Ссыпала камни в костер. Старик стал накладывать в горшок мороженую рыбу. Чугунного котла у них не было, воду грели раскаленными камнями.

Отдохнув у костра, казаки одарили тунгусов бисером и пошли к устью Уды.

— В бане бы попариться! — чесал за воротом Федька. — Засмердели у костров… Не Волга-матушка, зимой не помоешься.

— Васька нас на ночлег не пустит! — насмешливо поглядывая на Ивана, бормотал Агапка. — Припомнит встречу под Шаманом.

Застывшая река все круче поворачивала на полдень. Люди Похабова шли по льду еще три дня, и вдруг пахнуло жильем. Зимовье стояло на устье притока с правого берега Ангары. Изба, двор с лабазом были огорожены частоколом в полторы сажени, на воротах поставлен крест. Лес вокруг зимовья был вырублен.

— Кто такие? — просипел в обмерзшую бороду Похабов.

— Тесновато для Васьки! — буркнул за спиной Агапка. — Наверное, промышленные.

Из-за частокола высунулась голова, оглядела идущих из-под руки. Вскоре замелькали шапки. Несколько человек поднялись в пояс, положили стволы пищалей на острожины.

— Вроде казаки! При саблях! — неуверенно хмыкнул Иван.

Скрипели лыжи и полозья нарт, дыхание путников становилось громче и глубже. При виде жилья невольно убыстрялся шаг. Мартынка и Федька стали вырываться вперед, Агапка все больше отставал. Похабов оглядывал окрестности. По приметам, этим самым притоком тунгусы советовали идти в братскую степь, к Бояркану. Зимовейщики не показывали враждебности, но и навстречу не выходили. С осторожностью глядели на путников, а люди Похабова молча приближались.

— Да это краснояры! — кашляя и хлюпая носом, пробурчал Агапка Скурихин. — Те, что бунтовали в Енисейском, а после служили у нас.

— Им-то что надо на Курбаткином берегу? — замедлил шаг Похабов. Наконец и сам стал узнавать красноярцев, разодетых в пышные лисьи шубы: Первуху Дричева и Савку Самсонова. В чистом воздухе, будто звенящем от стужи, перед лицами зимовейщиков клубился дымок. — Фитили жгут! Мать их…— ругнулся Иван. — Стрелять не посмеют!

— Агапка и Мартынка — со мной! — достал саблю с нарт, опоясался, сбил шапку на ухо.

У закрытых ворот атаман с товарищами положили поклоны на крест, калитка со

скрипом приоткрылась, выглянул Первуха.

— Вон кто к нам пожаловал! — процедил насмешливо и настороженно. — А я гляжу, гадаю, узнать не могу. Слабну глазами!

Он впустил енисейцев в тесный дворик и запер за ними ворота. В зимовье остро пахло печеным мясом. Из избы вышли двое, одеты попроще Первухи с Савкой. Одного Иван помнил по хрипуновским временам. Постарел казак, побелел, глаза стали ласковей и спокойней.

— А что вы здесь? — спросил Иван, приветствуя всех общим поклоном. — Мы да якутские служилые здешние места под государеву руку подвели.

— Что с того? — с невинной улыбкой ответил Первуха и опустил левую руку в меховой рукавице на рукоять сабли. — Милостивый наш государь, — перекрестился правой, не сняв ни рукавицы, ни шапки, — ясачным народам обещает защиту от врагов, а енисейцы разоряют их войнами. Даже на нас ходили с огненным боем.

— Васька Колесников? — удивленно поднял брови Похабов.

— Васька! — ухмыльнулся Савка, и все глядевшие на прибывших тихо засмеялись о чем-то своем.

— Заходите, гости дорогие! — весело залопотал Первуха. — Погрейтесь!

В избе было жарко, красными угольями пламенел чувал. Три братских мужика с косами по спинам, в шелковых кафтанах пекли мясо. Они обернулись к вошедшим широкими, раскрасневшимися лицами. У старшего на голове была лисья шапка с двумя пышными хвостами, спадавшими на плечи. Глядели мужики весело, на аманатов не походили. Зыркая по сторонам, енисейцы стали истово креститься и кланяться на образа. С озадаченными лицами опустились на лавку.

— Князец Иланко с сыном да их родич Кокте, — кивнул в сторону братских мужиков Первуха Дричев. — Один объявил под собой сто тридцать ясачных мужиков, другой — шестьдесят. Просят нас, красноярцев, поставить близ их улусов острог, чтобы защитить от мунгал, тунгусов и немирных братов… И от вас, енисейских! — хохотнул, задрав бороду. Вошедшие за ним казаки снова приглушенно заржали, чему-то радуясь.

— Удинцы несколько лет давали нам ясак добром! — оправдываясь, пробормотал Похабов. Понимал, к чему ведет разговор Первуха. Браты пришли к ним доброй волей. — Видать, Васька Колесник перестарался! — смиренно, с горечью, качнул головой. — Ну и зачем они вам? — вскинул глаза. — Меньше недели ходу по реке — наш острог. Илгой-рекой верхоленцы ходят волоком на Ангару. Хлеб, опять же, из Енисейского возите в Красноярцы, а оттуда тащите сюда?

— Нам малыми судами до здешних мест добраться ближе, — миролюбиво отвечал Первуха, умолчав про хлеб. — Это вы из Енисейского волочитесь все лето. Спроси сам! — кивнул на братских мужиков. — Доброй волей пришли, просятся на поклон к нашему воеводе. — И добавил, обернувшись к своим казакам: — Угостите дорогих гостей чем Бог послал!

С вами хоть поговорить можно! — желчно усмехнулся. — А то заявились три десятка колесниковских дураков, два раза на приступ ходили. Слушать нас не хотели, орали: «Здесь все наше!»

— Не ваше, говорили мы им, государево! — добавил Савка с самодовольной ухмылкой. — Ваши только вши в карманах да ятра… Ужо государю отпишем, он вашему атаманишке на дыбе их оторвет!

В сказанном была скрытая угроза енисейцам. Похабов не стал спорить. Его острог был рядом, сила на его стороне, правду же знал один Господь.

— Воеводы разберутся! — согласился, поглядывая на братских князцов.

— Ты спроси, что они претерпели от ваших! — настойчивей предложил пятидесятник. — Женок и детей по два раза отбирали, требовали за них выкуп. Нам-то им и дать было нечего! — смущенно потупил глаза. — Только обещают ясак за другой год.

На стол были выставлены хлеб, квас, брусника, постное молоко из кедровых орешков.

— Спроси-ка, Мартынка, — вытирая ладонью усы, приказал Иван, — где кочует Бояркан?

Толмач залопотал, обращаясь к князцам. Те охотно отвечали, что Бояркан пасет свой скот среди мунгальских кыштымов на самом краю братской степи. Бывает, воюет с соседями, а казаков к себе не пускает. В разговоре было упомянуто имя Чавдока, сына зарезанного казаками князца. И открылось вдруг, что тот откупился от людей десятника Кириллова соболями, потому и не дал аманатов. Несмотря на огромные расстояния, буряты много знали о соседствовавших родах и племенах. Знали и то, сколько соболей Чавдок дал казакам, сколько платили окинцы. Хвалили их, что зазвали казаков жить вблизи от своего улуса.

Потупился Иван Похабов, хоть и старался не показывать унылого вида. Новости и слухи о других родах слушал вполуха. Те, кому больше всех верил, скрыли от него не меньше сорока соболей и скорей всего, лучших.

— Всех в зимовье не пустим! — подобрев, объявил пятидесятник. — А баню истопим, хоть нынче воскресенье. Бог простит, пути ради.

— Баню можно! — рассеянно кивнул Похабов.

Гости поднялись из-за стола, с благодарностью откланялись на образа. Иван так взглянул на Мартынку, что тот посерел обветренным лицом, испуганно затоптался на месте. А бес нашептывал приказному: «Един Господь знает, сколько рухляди присвоил Федька со ссыльными». Он пристально взглянул на Агапку, и показалось вдруг, весь отряд в сговоре против него, как когда-то на Оке. Старый казак с рыжеватой бородой, будто выцветшей от проседи, ответил невинным взглядом молодых насмешливых глаз. Он радовался теплому крову, свежему хлебу.

— Спаси, Господи, за добро! — поклонился Иван красноярцам. — Пойдем мы! Негоже засиживаться в тепле, когда товарищи у костра! — опять взглянул на Мартынку так, что тот поежился, передернув плечами. — А от бани не откажемся!

— Под горой, где мы лес валили, много вершинника на дрова и балаган там есть, — посоветовал пятидесятник Первуха. — Ночуйте! Все не под открытым небом.

Возле леса горел костер, у огня на нартах сидел Федька с товарищем. На полпути к ним Иван резко обернулся, схватил толмача за горло.

— Все скажу! — придавленно захрипел тот. — Не своей волей молчал и не взял бы ни хвоста. Убить грозили!

— Федька сколько украл? — строго рыкнул Похабов.

— Все отдал! Вот те крест! — неловко тряхнул рукой толмач. — Самого пытай! Тарасун выпили и молочные сусленки, из которого его курят. Больше ничего не взяли.

— А ты что знал? — обернулся Иван к Агапке.

Тот безбоязненно взглянул на приказного ясными глазами и расхохотался, встряхивая желтой бородой.

— Вернемся в острог — сыск устрою! — пообещал Похабов. — А до тех пор что бы никому ни слова!

Мартынка согнулся, переломившись в пояснице, кашлял и отхаркивал сдавленным горлом.

— Они и тебя порешат! — промямлил со слезливой обидой. — Злы! Говорят, с Похабой не разживешься: сам, дурак, до седой бороды дожил в бедности и других неволит.

«И то слава Богу! — думал Иван, поглядывая на заостренные концы лыж. — Не так уж часто удавалось разойтись с красноярцами миром».

По реке мела поземка, вихрясь за торчащими, острыми льдинами. Снег был крепок и хрустел под лыжами. Лес становился все реже. Отряд выходил к верховьям притока, не встретив ни одного тунгусского или промышленного стана. Через день открылась степь, студеная, бесприютная. Сияло в небе холодное ясное солнце, блестел снег. Вдали виднелись горы.

— Кхе-кхе! — опасливо взглянул на Похабова Агапка. Под его заиндевевшими бровями бесшабашно поблескивали синие глаза. — Кажись, дальше смерть!

Казаки тоскливо озирались на чахлый лес и кустарник, где провели у костра последнюю ночь.

— Лесное отродье! — проворчал Иван, оглядывая открывшийся простор. — Степи не видели!

— К ночи до гор не дойти, — шепеляво зароптали люди, сбившись в кучу. — Замерзнем!

— То я зимой в степи не ночевал! — стал подтрунивать над ними сын боярский. — Наберем сухих конских катыхов и коровьих лепех, от ветра нартами да лавтаками укроемся.

— А как буран?

— Молиться будем. Бог милостив. А заметет — плясать станем. Ночь-другую пережить можно.

Уверенность в словах, безбоязненный вид сына боярского ободрили казаков, а он встал лицом к востоку против ветра, щуря стынущие глаза, перекрестился, сипло запел, обращаясь к Николе, покровителю сибиряков. Казаки стали подпевать и кланяться на восход. Вроде бы потеплел ветер, и солнце засияло ярче.

Они шли до самых сумерек, пока не пропали из виду горы. Ночью, в небольшом углублении, долго жгли траву и кизяк, наспех перекусили оттаянным хлебом, из нарт и лыж сделали тесный шалаш, накрыли его одеялами и шубами. Бросили жребий, кому в какую очередь спать, кому караулить. Беззаботно похрапывал один Агапка Скурихин. Двое дремали, пережидая ночь, дожидаясь своей очереди в караул, еще двое в

шубейках бегали вокруг и топали ногами, чтобы не околеть. Едва завиднелись горы, последняя смена караульных влезла в общую кучу, а Иван выбрался из развалившегося шалаша, разминая ноющие суставы, отыскал свой шубный кафтан.

— Что это там? — Федька замер щурясь и указал вдаль волчьей рукавицей.

Все стали вглядываться в пади гор.

— Вроде скот! — шмыгнул красным носом Агапка. — К чему нам здесь сидеть? — задиристо оглядел казаков отдохнувшими глазами. — Краюху за пазуху, на брюхо, отщипывай и жуй на ходу!

— Где скот, там люди! — согласился Иван. — У них погреемся и отдохнем.

Отряд снова двинулся на восход. День был ясный и холодный. Какими близкими ни казались с утра горы, только к полудню путники приблизились к табуну. Раздувая заиндевевшие ноздри, на людей вышел жеребец и угрожающе заржал. Кони расступались, пропуская путников. В лица пахнуло кизячным дымком, завиднелось его веретено на сером холме, выбитом копытами. Вскоре показался рубленый братский гэр в шесть стен с плоской крышей. Залаяли собаки, из избенки вышли двое в долгополых шубах, долго приглядывались к приближавшимся людям, затем вскарабкались на оседланных коней и зарысили навстречу.

Мартынка поприветствовал их по-братски, залопотал, сдирая сосульки с редких усов:

— Пусть множится ваш скот…

Казаки с белыми от куржака бородами и ресницами приветливо кивали. Двое верховых ни взглядом, ни словом не показали, что поняли пришлых людей, глядели на них тупо и равнодушно.

— Бояркан где? — начиная сердиться, спросил Похабов. Распахнул шубу, похло пал рукавицей по золотой пряжке шебалташа.

Удерживая пугливых коней, двое подъехали ближе, уставились на золото, затем развернулись и пустили лошадей галопом в сторону от жилья.

— Ясыри? Или братские рабы! — пожал плечами Похабов, запахнул шубный каф тан и указал на избу, над которой весело курился дым.

По перекопыченной, поскрипывавшей под ногами земле вперемешку со снегом казаки приволокли к жилью нарты, развязали смерзшуюся бечеву, которой были приторочены котлы и пищали. Двери в хижине не было. Иван откинул тяжелый войлок, пригибаясь, вошел под низкий кров. В середине, почти без дыма, грудой раскаленных углей ярко тлел очаг, было жарко. У огня сидели старик со старухой, возле стены огонь высвечивал лица двух женщин. Стараясь быть приветливым, сын боярский содрал с усов лед, сипло поприветствовал жителей.

— Сайн! — тихо и коротко ответил старик.

— Мы идем к Бояркану с миром! — по-бурятски сказал Иван и добавил: — Замерзли!

Из-за войлочного полога в жилье протиснулись еще четверо казаков, прислонили к стене пищали с белым узором инея на стволах. Иван сбросил шубу, распахнул суконный кафтан, присел возле очага. Старуха боязливо отодвинулась. Казаки раздевались, не дожидаясь приглашения, тянули руки к огню. Как ни были неприятны хозяевам гости, старик, не оборачиваясь, приглушенно гыркнул, женщина, сидевшая у темной стены, передала на руки старухе ребенка, вышла из жилья и вернулась с котлом, набитым снегом, повесила его над огнем. Старуха одной рукой стала подкидывать кизяк на угли.

Куда ускакали мужики, старик не знал.

— Неизвестно, с кем вернутся! — Мартынка-толмач бросил на атамана тоскливый взгляд.

— Всякое может быть! — буркнул Иван, расправляя оттаявшую бороду. — В избе, да с аманатами взять нас трудно. На ночь выставим караул, по жребию.

— А у меня как раз кость завалялась! — весело блеснул глазами Агапка. Борода его свисала грязной ледышкой. Нос был красен, лицо обветренно. Беззаботно выдержав пристальный взгляд Похабова, он бесстыдно оправдался: — Кто-то обронил, я — поднял! На тебя, что ли? — бросил обточенную кубиком кость в шапку.

Казаки повеселели, придвинулись к нему. Куда делась въевшаяся в лица многодневная усталость. Похабов начальственно покряхтел покрутил головой, но отбирать кость не стал, вынул из шапки свой жребий. Казаки захохотали. Ему выпала самая незавидная смена среди ночи. Весело, без спора, они разыграли и другие караулы. Затем Иван молча и властно забрал кость.

Казаки оттаяли хлеб. Хозяева сварили мясо, вывалили его на деревянное блюдо и придвинули гостям. Старик тяжелым, неумело выкованным ножом отрезал первый кусок для пробы, долго жевал, беззубо сминая набок морщинистую челюсть с пучком седых волос на подбородке. Наевшись, казаки стали стелить одеяла и шубные кафтаны у входа в бревенчатую юрту. После холодных ночевок предвкушали отдых под кровом.

Среди ночи беззлобно залаяли собаки. Казаки перестали храпеть, Иван выглянул из-под полога. Ярко светила луна, стадо бычков подошло к жилью, возмутив собак. Отогнав скот, они стихли. Похабов опустил полог, примял обледеневший войлок, чтобы не дуло. Подойти к жилью бесшумно не смогли бы и хозяева.

Всадники показались до полудня, когда тусклое зимнее солнце в студеной дымке вскарабкалось на два своих круга. Ехали они рысцой, чуть привскакивая в седлах. Их было семеро. Пятеро рысили с заводными лошадьми в поводу, из-за их спин крест-накрест торчали луки и колчаны со стрелами. Несмотря на поздний час, хозяева спали под толстыми одеялами. Жилье выстыло, у порога из-под полога намело снежный сугроб. Казаки стали одеваться и раздувать очаг.

— Мартынка — со мной! — приказал Похабов. — Остальным быть в избе. Схватятся за луки, дадите залп!

Опоясавшись саблей, Иван пошел навстречу всадникам. Те остановили коней с заиндевелыми мордами. Собаки смущенно вертелись среди людей и лошадей, не зная, на кого лаять. Братский мужик в овчинном тулупе и лисьей шапке сказал по-тунгусски:

— Бояркан ждет! Его люди варят мясо.

Кони в поводу были под седлами, привели их явно для гостей. Похабов, не приметив опасности, велел защипнуть фитили, приторочить к седлам мешки с хлебом, ружья и одеяла, взялся за уздечку коня, тот боязливо отпрянул, захрапел, перебирал копытами на одном месте, подергивал шкурой на боках. Пять молодцов, не слезая с лошадей, насмешливо наблюдали, как казаки садились в седла. Двое вчерашних мужиков с чувством исполненного долга расседлали и отпустили своих лошадок, ушли в жилье. Попрощаться с гостями вышел старик и по-хозяйски приставил нарты к стене, полозьями на солнце. Перед уходом Иван одарил его бисером.

Когда солнце поднялось на полуденную высоту и покатилось к ночи, всадники увидели селение из трех рубленых юрт и полудюжины войлочных. В середине стояла просторная белая юрта князца, ее стены до половины были забросаны снегом. У входа понуро перебирали копытами три коня под седлами. Неподалеку горел костер, остро пахло паленой шерстью. Гостям указали на ветхую избенку из почерневшего, иссохшего леса. Из вытяжной дыры в плоской крыше курился дым. Иван соскочил с коня, затоптался на месте, разминая затекшие, отвыкшие от верховой езды ноги, откинул войлочный полог указанного ему гэра, из него вышла пожилая женщина в шубе. Жилье было пустым.

— Приехали! — окликнул казаков. — Сидите здесь, при оружии, а мы с Мартынкой пойдем ко князцу. Если что — пороху не жалейте!

К отряду приковылял немногословный балаганец в тулупе и лисьей шапке.

— Хубун ждет! — сказал коротко.

— Ну, Господи, благослови! — перекрестился на восход Похабов, кивнул толмачу, поправил кушак и ощупал нож за голяшкой ичига.

Он вошел в белую юрту первым. Жарко горел очаг. Под кровом было тепло. Вдоль решетчатых стен ровными стопками лежали меховые одеяла, на них сидели три старика с длинными белыми пучками волос на подбородках. Рядом с князцом важно восседал шаман с бубном, одетый в легкую шубу, обшитую хвостами белок, соболей, горностаев, других животных. Его голову покрывала причудливого вида остроконечная шапка с ушами зверей.

Бояркан сидел лицом к гостям. Иван и он впились глазами друг в друга, будто выпытывали, у кого что на уме. Они много лет не виделись, последняя встреча была короткой и недружественной. Князец поседел, опали пухлые щеки, по ним шрамами пролегли морщины, опустились широкие плечи, из-под халата подушкой выпячивал опоясанный живот. Личина на золотой бляхе шебалташа выглядела теперь много моложе, а то и вовсе не походила на голову нынешнего князца. Как показалось Ивану, глаза Бояркана глядели на него грустно и устало. Наверное, князец тоже находил в казаке большие перемены.

За спиной Ивана послышался принужденный кашель Мартынки. Он и сам почувствовал вдруг, как от затянувшегося молчания напряглись у входа молодцы с саблями. К общему облегчению Бояркан поднялся с подушек, слегка поклонился на закат и спросил:

— Ну, как здоровье царя? Не болеют жена и дети? Плодится ли скот?

Иван понял сказанное без толмача, поклонился князцу, заговорил о царе просто, как о Федьке, оставшемся в гэре:

— Жив и здоров, слава Богу! Вся родня здравствует и тебе передает свои добрые пожелания!

— Не сердится ли царь, что мы сожгли его острог и убили его людей? — со скрытой насмешкой спросил Бояркан, и глаза его хищно блеснули.

Пропустив мимо ушей насмешку, сын боярский стал отвечать обстоятельно, пересказывая жалованное государево слово:

— Царь наш милостив! За сожженный острог и убитых людей велел тебя казнить. Но казнить с милостью, а если дашь новую присягу и ясак, то простить. Ты ведь

доброй волей пошел под его руку.

Бояркан опустился на покрытые шелком подушки, кивнул, приглашая Ивана с толмачом сесть против него.

— Только сильный человек бывает добрым и умеет прощать! — сказал, щуря глаз и пошевеливая усами. — Когда слабый говорит, что забыл обиду, — лжет. Слабые быстро забывают добро, но зло и обиду помнят всегда. Бывает, всю жизнь ждут, чтобы отмстить, детям своим, внукам внушают ненависть и предательство.

Иван с толмачом слушали многословные речи князца, склонив головы, думали, к чему он об этом говорит, на что намекает?

— Если бы Белый царь защищал нас, как обещал, мы бы давали ему ясак исправно. Но казаки нас грабили и дрались между собой. Какой это царь, если среди своих дайшей не может навести порядок? — Бояркан усмехнулся, пристально глядя на Ивана.

— Мы не без греха! — почтительно ответил Похабов. — А царь далеко. Пока весть до него дойдет — год проходит. А того атамана, который вас грабил, он казнил смертью: утопил в реке.

Бояркан вскинул на Похабова удивленный взгляд, снова опустил голову и заговорил с раздражением:

— Наш скот воруют икирежи, эхириты и даже соболятники, мунгальские кыштымы. Казаки с верховий Зулхэ, которых призвали к себе тунгусы, воюют и воюют. На Осе казаки грабят бурят всех родов, ловят людей на выкуп. Пока эти новости дойдут до Белого царя, сделается большая война и прольется много крови… Построй острог рядом с моей степью, — прищурил на Ивана без того узкие глаза. — Делай, как обещал царь, и я буду давать ясак каждый год. Но мы не такие слабые, чтобы давать заложников. Аманатов не дам, — сказал твердо, но без угрозы.

— Аманаты в Братском остроге хорошо живут! — стал мягко уговаривать его Похабов. — Лучше, чем казаки. Им харч обильный, две чарки вина каждый день.

— Не дам! — твердо повторил Бояркан.

Вошли женщины в легких шубах, расстелили крашеные кожи и войлочные ковры, поставили на них поднос с белоглазой бараньей головой. Ее вареные губы кривились язвительно и плутовато. Затем были выставлены блюдо с парящим мясом, плошки с творогом, чашки с кислым молоком.

Входить в дом князца, садиться за его стол надо было с подарком. Иван ждал подходящего случая. Бояркан напомнил об этом, насмешливо оглядывая вареную баранью голову:

— Что прислал мне царь?

Похабов достал из-под полы кафтана отрез вишневого сукна, высоко ценившегося среди братских народов.

— Сарь зэмхэлхэ*! — почтительно заговорили за спиной князца.

Бояркан скосил глаза на сукно, судя по лицу, остался им доволен. Насытившись, откинул дородное тело на подушки, стал цыкать мясом, застрявшим в зубах. Нужного разговора не получалось: призраком маячило между ним и Похабовым тело Куржума с застрявшей в стремени ногой. Печально свесив голову, Иван первым напомнил о нем.

— У тебя был хороший брат! — сказал тихо и окинул внимательным взглядом молодых родственников князца. — Он исполнил братский долг! Его душу Бог наградит и возвеличит!

Бояркан потупился, сник, устало кивнул, смежил глаза в две щелки:

— Когда умрем, узнаем, кто жил правильно! В Среднем мире ничего не понять! — Обернувшись, что-то приказал женщинам. Одна из них принесла кувшин с молочной водкой, другая расставила чарки перед стариками и гостями, разлила по ним молочную водку. Бояркан выпил, крякнул. Молча выпили старики и шаман. Чарки гостей стояли перед ними, никто не принуждал их пить. Князец прокашлялся и заговорил быстро, будто спешил избавиться от навязчивых мыслей:

— Духи перестали помогать бурятам. Через шаманов говорят нам правду. Бывает вредят или не вредят, а помощи от них нет. Был у меня желтый боо. Много молился деревянным болванам, говорил, его боги делают счастливыми всех, кто отказывается от желаний. Я спрашивал: придут казаки или дайши Богды, заберут скот, детей, жен, меня сделают рабом? Все равно, говорил он, будешь счастливым, если отречешься от желаний и станешь заботиться только о покое.

Я его прогнал! — Бояркан повел головой. Женщина снова наполнила чарки, он опять выпил. — Мой черный боо устроил камлание по моей просьбе. Он — хороший абаралша**. Через него я говорил с духами про бурят и казаков, про нас с тобой, — бросил на Ивана колючий взгляд. — То, что казаков стало много, как мышей в иной год, духи говорили, это справедливо. Было время, когда мои предки брали ясак и добычу с твоих предков, правили большой страной так мудро, что невинная девица ходила без охраны из одного конца земли в другой.

Духи сказали: казаки продолжают дело моих предков по их законам. День придет,

ясак и аманатов брать перестанут, все заживут мирно и богато, без войн. И так будет семь поколений. — Бояркан опять впился взглядом в лицо Ивана. Не заметив насмешки или плутовства, добавил: — Может, и больше, дальше шаманы не видят. — Князец покряхтел, недовольный своим откровением, посопел приплюснутым носом, но продолжил: — Спрашивал я духов про мунгал. Говорят: они еще долго будут воевать между собой. Спрашивал про нас с тобой! — усмехнулся, не спуская глаз с Похабова. — Дуумгэй*** убит казаками. Брат-уруул**** обидел меня: выбил из рук оружие, а голову не отрубил.

Сказали духи: отрубишь ему голову, еще семь поколений будут воевать, пока кто-то не проживет без убийства. От мяса — мясо бывает. У каждого человека есть свой предок. У каждого человека будут свои потомки, — закончил, печально уронив тяжелую голову

Шаман-боо в шубе, обшитой звериными хвостами, с важностью поддакнул:

— Наши духи все знают! Они все могут рассказать. Помогать не хотят. Боятся перечить Эсэгэ Малаану, вершителю судеб, сыну Вечно Синего Неба.

**Зэмхэлхэ — подносить подарок (бур.).*
***Абаралша — прорицатель (бур.).*
****Дуумгэй — младший брат (бур.).*
*****Уруул — пришлый (бур.).*

— С вашим боо говорил, с тем, который живет на Иркуте и носит бороду до пупа, — Бояркан похлопал себя по животу. — Он сказал, что ваших богов можно уговорить помочь даже против воли вершителя судеб.

Сильный Бог! Умеет прощать! — вернулся к тому, с чего начал.

— Мне жаль Куржума! — напомнил Похабов. — У тебя был верный брат, — не крестясь, поднял чарку за помин души. — Если бы он не попал под пулю, царь бы его простил!

Бояркан раздраженно мотнул головой и резко гыркнул:

— Все было не так! Бородатый боо говорил мне о вашем Боге: как он родил дьявола.

Последнее слово было сказано по-русски, да так ясно, что Иван с Мартынкой вздрогнули и перекрестились.

— Я любил младшего брата, он любил и почитал меня, пока мы были молоды, потом стал завидовать, говорил, если бы родился первым, сделал бы бурят богатыми и знаменитыми.

Какими бы длинными ни были стремена, а до земли доставать не должны. Как ни хорош младший брат, а со старшим равняться не должен! Я доверил ему править племенем. Он стал воевать с бурятами, мунгалами и казаками. Теперь нас все не любят, а буряты не любят больше всех.

Много родственников погибло, а я не мог остановить его. Когда он сжег острог и перебил эхиритов, я стал жить с ним в ссоре. Перед тем боем, когда его убили из ружья, он сказал мне: «Пусть погибнут все булагаты вместе с тобой, но я стану ханом всех бурят, а потом завоюю мунгал и казаков!»

И тогда я решил: вернемся в степь — отрублю ему голову. Твоя пуля опередила мой меч. Не на мне кровь брата — на тебе!

Бояркан зарычал, повел вокруг мутными глазами. Молодые родственники стали выходить из юрты.

— Дам ясак за два года! — князец неприязненно скривил губы. — Сделаешь острог на моем берегу Мурэн — буду давать каждый год. Царь будет доволен. А подарков не дам ни тебе, ни ему, пока не сделаете мир и порядок.

Иван хмыкнул, тряхнул захмелевшей головой. Опять Бояркан давал сколько вздумается и вел себя независимо, не как добропорядочный подданный русского царя. Сын боярский вскинул сузившиеся глаза, сухо рассмеялся, снял шебалташ и бросил его на тучные колени Бояркана. Мгновение и он, и князец молча смотрели на потертое золото, тот и другой сравнивали друг друга с чеканным изображением на пряжке и находили, что теперь они мало похожи на них. Личины уже не завораживали. Люди старели и умнели, золото оставалось прежним.

— Поноси-ка теперь ты, ахай! — скривил губы Похабов, глаза его прояснились, будто смахнул с них шаманское чарование. В юрте было тихо. Все прислушивались к словам говоривших, ничего не понимая. Один только захмелевший шаман посмеивался и бросал плутоватые взгляды то на одного, то на другого.

Бояркан разглядывал шебалташ как ненароком заползшую змею. Потом поднял на Ивана широко раскрытые глаза, нашарил за спиной соболью шкуру, вместе с ней брезгливо перекинул шебалташ на колени сына боярского.

— Тебе дали духи, ты и носи! — прошипел резко и неприязненно.

Братский острог встретил приказчика приветливо и сдержанно. Здесь отгуляли

Маслену, постились Великим постом. К прибывшим вышел десятник Фома с саблей на боку. Савина весело топталась возле приказной половины, нетерпеливо поджидала Ивана, не решалась, как молодая жена, выбежать навстречу. Десятник, пристально взглянув в глаза сыну боярскому, внутренне содрогнулся и скривился в натужной улыбке. Сдерживая ярость, Иван мирно спросил о делах острога, и, как ни старался скрыть истинные чувства, Кириллов бледнел, краснел, глаза его беспокойно бегали.

Веселка с Ивашкой, бывшие верные и расторопные казаки, приветливо махали с нагородней. Наконец и Савина ткнулась лицом в его кафтан, пропахший дымом костров, тихонько завыла.

— Ну ладно! Ладно! Живой! — стал отстраняться Иван. — До бани не подходила бы близко.

— Отмоем, отпарим! — беззаботно заворковала она, стягивая с него кафтан.

— Не обижали? — раскинул руки Похабов, позволяя себя раздеть.

— Я себя в обиду не дам! — рассмеялась она. — Не впервой, всю жизнь отбиваюсь от озверевшего мужичья.

В отсутствие приказного в острог вернулись посланные им под Долгий порог казаки старого стрелецкого десятника Дружинки Андреева. Они не нашли там тунгусских кочевий, но, разыскивая их, поднялись по Вихоркиному притоку в Чуну и Уду, взяли там ясак с братских кыштымов, которые в прошлом шертовали красноярцам. Главное государево дело было сделано, ясак за нынешний год взят с прибылью.

Напарившись до изнеможения, Похабов намылил волосы и бороду квасной гущей. Агапка на полке все чему-то посмеивался. Его мокрая борода свилась сосулькой, редкие волосы облепили голову, но глаза по-юношески блестели, а сам, как молодой, радовался возвращению, квасу, который будет после бани, хлебу, выпеченному женскими руками. Глядя на него, Иван с завистью прятал свою кручину, не выдержав, зловредно проворчал:

— На этот раз не поблудишь в пост, кобель старый! Обе девки у меня. У второй брюхо нос подпирает!

— В другой раз, как-нибудь! — беспечально похохатывал Агапка. — Поди, Бог простит калеку!

За столом под образами Иван был даже весел. Пелагию, которую прежде не желал замечать, и ту одарил взглядом, рассказал о встречах с красноярами и балаганцами, утаив, что узнал о ясаке с Чавдока. За разговорами засиделся допоздна.

Савина заждалась его в натопленной приказной избе, зевала и боролась со сном. Потрескивала лучина над ушатом с водой, в кутном углу посапывали ясырки. Время от времени сонно попискивал и утихал младенец. Наконец Иван возлег рядом с Савиной, пушистые, промытые волосы рассыпались по подушке.

— Что, красив?

— Тот же! Глаза только…

— Что глаза? — спросил шепотом.

— Дурные… Горят, будто вот-вот пальнут.

Иван хмыкнул, отмолчался, сыск решил провести утром. В надежде, что бывшие любимцы покаются, дал им намек на слухи про окинский ясак.

Как ни холоден был февраль, на Прошкин день пахнуло весной. Похабов велел Савине с Пелагией печь пироги, а ясыркам помогать им. После соборной молитвы мужчины сели за общий стол. По обычаю дня Иван стал ломать хлеб и раздавать его подначальным людям. А когда все умеренно подкрепились едой и питьем, сказал с печалью в голосе:

— Правду скрыть трудно. Далеко отсюда, на другом берегу, братские народы знают про нас больше, чем мы сами. Они рассказывают друг другу, какой с кого ясак мы взяли и какие подарки получили… Сколько соболей дал Чавдок? — обернулся к Фомке Кириллову.

Лицо десятника побагровело, глаза стали злыми.

— Сколько дал, столько ты принял! — рыкнул в ответ.

Веселка поперхнулся, натужно закашлял, Ивашка Герасимов соскочил с места. Ни следа былой угодливости не было в их лицах: глаза у всех тусклые, оловянные.

— Оговорены! — прокашлявшись, вскрикнул Веселка. — На себя не брали!

— Ну, что ж! — Иван угрожающе положил ладони на стол. — Сказано Господом: повинится — прости! Не каются! — властным взглядом обвел собравшихся за столом. — Дружинка! — приказал десятнику, сидевшему с рассеянным видом. — Чтобы все было по чину, бери Фомку и одного из этих, — указал глазами на Ивашку Герасимова с Веселкой, — веди в аманатскую и карауль. Другого здесь пытать будем. Самое время взыскать за клятвопреступление.

Добрая половина казаков возмущенно загалдела за столом:

— Велик грех дареного соболя оставить? Иные из дальних походов в собольих онучах возвращаются.

— То из дальних, — заспорили другие. — Здешние не вами под государеву руку приведены, чтобы втайне от товарищей наживаться.

— От государя всем служилым торговать запрет! — прихлопнул ладонью по столешнице Иван. — С ясырками сожительствовать — блуд! Попы не велят. И мне в наказной памяти воевода велел за всеми вами следить, чтобы жили без греха. Сам грешный, я кому-нибудь запрещал торговать? Или ясырок отбирал?

— При двух-то женах? — злорадно пискнул голос из угла.

— И двух ясырках! — поддакнул другой.

Иван в их сторону ухом не повел.

— За воровство промышленные люди карают смертью, служилых государь кладет под кнут! Не я это придумал! Вы царю крест целовали!

В избе стало тихо. Гремели горшки, Савина с Пелагией мирно переговаривались о своем, запечном деле. Оська Гора, не понимая, о чем спорят, таращил по сторонам удивленные глаза.

— Уведи-ка баб к себе! — окликнул его Похабов.

Оська пожал широкими плечами, поднялся под потолок.

— Ну ладно уж, — пробормотал. — Уведу! А что им у меня делать? — уставился на сына боярского. — Там тесно!

— А ты обоих на себя! — с хохотом крикнул Агапка, сверкая масляными глазами. — И ясырок по бокам. Тепло-то как будет!

— Ну ладно! — опять пожал плечами Оська и заслонил собой печь.

— Наговоришь! — смешливо пригрозил Агапке Федька Говорин. — Он ведь так и сделает: сгребет всех. Он может! — плутовато взглянул на Похабова.

Тот отмахнулся, не давая перевести разговор в смех. Старый стрелец с приставами увел в аманатскую избу Фомку Кириллова с Ивашкой Герасимовым. Оська повел женщин к себе, в прируб, Иван бросил Федьке веревку и кивнул на Веселку:

— Вяжи руки!

Веселка вскочил, сунул ладонь за голяшку ичига, нащупывая нож, но был скручен бывшими рядом с ним казаками. Федька ловко захлестнул его руки за спиной и перекинул веревку через поперечную балку под потолком. Иван тяжело поднялся, подтянул веревку так, что Веселка низко склонил голову. Спросил строго и спокойно:

— Сколько соболей дал Чавдок?

— Все тебе отдали! — визгливо закричал Веселка.

Один из казаков оголил ему рубаху на груди, другой запалил в печи сухой березовый веник. Правду говорила Савина: «Веселку с Ивашкой не любили».

— Где ворованные соболя? — Иван сунул горящий веник под живот.

— За баней, в чурбане! — взвыл Веселка.

Веревку ослабили, толпой побежали за баню. Березовый чурбан с наростами, который не расщепать и тяжелым топором, с нижней стороны был трухляв и заморожен льдом. В его полости хранилось пятнадцать черных соболей.

Иван показал их свидетелям, с толпой казаков двинулся в аманатскую избу. Веселка выскочил следом, подвывая, прикладывал снег к животу. Ивашка Герасимов забился в угол и скалился, как пес, Фомка с хмурым лицом сидел на лавке.

— Признались? — спросил Похабов пытавших их людей.

Мартынка-толмач виновато повел носом, Дружинка равнодушно пожал плечами.

— Сказано, претерпевший до конца — спасется! — тряхнул бородой Иван. — Положить на лавку, дать по десять батогов, каждый раз спрашивать, нет ли еще утаенной рухляди!

Он раскрыл ясачный сундук, при свидетелях вписал найденных соболей в ясачную книгу и закрыл рухлядь под замок.

Ивашка орал на весь острог, но, кроме выданных, других присвоенных воровских мехов не назвал. Фомка матерно ругался и грозил жалобами.

— Может быть, и нет больше? — пламенея лицом, подсказал Дружинка.

— Как не быть? — усмехнулся Похабов. — Если Кириллов за жалованное государево слово взял на себя тридцать добрых.

Фомка побелел, вскинул горящие, злые глаза:

— Не тридцать, а двадцать шесть. Добром дали нам с тобой в почесть, на обратном пути поделили бы.

— Я — казак! — громко объявил Похабов, оглядывая собравшихся. — Тайно от товарищей не беру!

— Оттого и нищий, хоть борода седа, — запальчиво выругался Фомка.

— Другие времена подступают! — вздохнул сын боярский. — Прежде за такой грех набили бы пазуху камнями и утопили в полынье… Думайте, братья-казаки, как наказать десятника. Против вашей воли не пойду!

Фомку били батогами, он не вскрикнул, не ойкнул, только зубами скрипел. Поднялся с лавки с озверевшим лицом и началась в остроге смута. Уличенных в воровстве бранили, но не за то, что укрыли ясак, а за то, что не поделились с товарищами. Трое

огрызались, насмехались над честными служилыми, выставляя их дураками. Хотел уже Похабов снова взяться за батоги, чтобы примирить тех и других, но вложил Бог мысль отправить воров в Енисейский острог с ясаком. Он сказал об этом Савине и успокоился, а баба своим крепким умом сообразила то, что никак не мог взять в толк он сам.

— Оговорят они тебя! А себя оправдают!

— Как меня оговоришь? Острог укрепил, ясак взял с прибылью. Дареного мне Боярканом соболя и того вложил в казну. А против них — все свидетели!

— Не знаю как, — качала головой Савина, — но оговорят! Кто первый явится на глаза воеводе — тот и прав. Другой уже оправдывается.

— Добрая ты баба, хорошая, но глупая! — сердился Иван. — Ни указов не знаешь, ни в делах службы не понимаешь… К тому же ржи у нас мало. Их оклады здесь останутся, а там воевода голодными не оставит.

В середине мая с треском и грохотом разорвалась застывшая река. Сдвинулся лед, и побежала по нему стылая вода. Все острожные люди, даже караульные, не спавшие ночь, высыпали из острога глядеть, как просыпается Ангара. Берега и лес давно очистились от снега. Струги были приготовлены к походу. За зиму забылись тяготы бурлацкой жизни, и рвались души острожного люда встреч солнца, в неведомые края, алкали чуда, надеялись на что-то смутное и радостное.

— Христос воскресе! — вытягивая шею, по-петушиному орал Агапка Скурихин.

— Воистину! — весело отвечали ему.

Велел Бог радоваться от Пасхи до Троицына дня, ожившая река напомнила об этом. В избах сняли с окон бычьи пузыри, запустили весну под кров, в жилье стало светлей и праздничней. За соборным столом Иван Похабов поделился своими помыслами:

— Как очистится река, отправлю троих к воеводе с ясаком и грамотками. Восемь служилых оставлю в остроге, а два десятка, в двух стругах, пойдем куда Бог приведет.

— Мало восемь человек в остроге! — засомневались казаки.

Сын боярский зычно расхохотался и объявил:

— Если одного Оську Гору с его бабой оставим, он ради нее от войска отобьется!

Засмеялись казаки, поглядывая на смущенного молодца. Уже по одному его виду понятно было, что Оська остаться не прочь. Да и Агапка Скурихин к весне вдруг расхворался. Другие оставались по жребию. Осторожный и благоразумный десятник Дружинка спросил:

— Кого вестовыми с ясаком пошлем?

— А Фомку Кириллова с Веселкой и Ивашкой. Они на всех злы, — беззаботно ответил сын боярский при общем молчании.

Возвращаться в Енисейский острог весной никому не хотелось, и все же решение приказного озадачило казаков. Они его не одобряли, но и не спорили. Как ни убеждал Иван Савину остаться в остроге, она возражала: не для того, мол, уходила от сыновей и пасынков, чтобы жить в разлуке. Кряхтел Иван, чесал бороду, пытался вразумить бабу, что в пути бывает всякое, может быть, и воевать придется.

Отгуляли проводы и расставания. Пелагия с Савиной простились дружески. Смирив гордыню, бывшая венчанная даже поклонилась мужу:

— Не поминай лихом! Много добра мне сделал. А то, что прежде Господь соединил... Иной раз вспомню и сама себе не верю! Видно, не судьба отпустить тебя доброй волей. Разве Господь освободит…

— Что уж там? Живи! — буркнул Похабов. — Видать, так судьбой завязано!

Перекрестив острожные ворота, он последним спустился к стругам, усадил Савину на корму, встал на шест, махнул рукой, бурлаки привычно разобрали бечевы, потянули суда против течения. Десятники Дружинка с Федькой запели звонкими голосами: «Радуйся, плавающих посреде пучин добрый кормчий; радуйся треволнения морская уставляющий». Мимо проплыла черная, с въевшейся землей, отдерная льдина, обдала стылым духом снега, зимы и прелого листа. Поднятая с отмели стая уток клином вспенила воду. Стройные вековые сосны, подступившие к самой реке, качали верхушками.

Красноярское зимовье пустовало. Служилые ушли из него, оставив троих годовальщиков. Переночевав у них, отряд Похабова продолжил путь. Редел лес, открывалась степь, черная гарь на месте зимовки атамана Колесникова дотлевала и чадила головешками. Люди Похабова осмотрели пожарище, костей и следов боя не нашли. Судя по следам, казаки Колесникова ушли со стругами, а зимовье было сожжено, как только они его оставили.

Очень не хотелось Ивану встречаться со зловредным товарищем, но делать нечего, пошел его бечевником, то и дело натыкаясь на кострища стоянок. На Иде колесниковский отряд повернул в верховья притока. Видно, скороходовский Максимка

Вычегжанин убедил атамана идти на Лену волоком. Похабов с облегчением перекрестился: пути двух отрядов разошлись без встречи.

Савина пекла хлеб, варила кашу, иногда стояла на шесте или просто брела берегом, отмахивалась от комаров в две руки. Вечерами она плела сетки из конского волоса.

На устье Куды к отряду выехали конные браты, стали спрашивать о торге. Ничто в казаках Похабова их не удивляло, видно, промышленные и торговые люди бывали здесь не редко, а по разумению кочевников у бородатых должен быть товар. Похабов велел остановиться, вышел с толмачом, чтобы поговорить с мужиками. Служилые достали из мешков припасенный и непроданный товар, стали показывать его, спрашивая меха.

О казаках браты были наслышаны, но сами с ними не встречались. На предложение идти под государеву руку и дать ясак без обид отвечали, что сами соболей не промышляют, а покупают у тунгусов зимой.

— Ишь чего говорят! — кивнул Ивану Мартынка. — Ставьте здесь свой гэр, охраняйте нас. Зимой ясак дадим.

Предложение братов озадачило Похабова. Они соглашались присягнуть государю, но указа ставить здесь острог или зимовье не было.

На третьей неделе пути к берегам реки снова подступили холмы, покрытые лесом. Правый берег стал крутым и обрывистым, под ним часто встречались старые станы с балаганами: промышленные люди ходили этим путем не один год. Река круче повернула на полдень. Бурлаки прошли заболоченное устье с густо разросшимся камышом, остановились у сухого яра, чтобы передохнуть и просушиться на солнце. С верховий реки веяло сырой прохладой, не донимал, как прежде, гнус. Вода в реке так очистилась, что в глубине хорошо видна была рыба, шевелившая плавниками и жирными спинами.

— Дымком пахнет! — повел ноздрями Федька Говорин, оглядывая другой, низкий берег со свисавшим на воду кустарником. За ним виднелось редколесье со множеством просторных полян.

— Скота не видно! — похрустывая окатышем, присел рядом с атаманом десятник Дружинка, стал натягивать на босые ноги непросохшие бахилы. — Тунгусы, наверное, дымокуры жгут.

Федька тоже начал одеваться, показывая подначальным людям, что привал закончен. При этом ворчал под нос:

— Браты ставят юрту на видном месте, чтобы никто не подошел незаметно. Тун гусы забьются в чащобу — не отыскать.

Казаки двинулись дальше. Бурлаки громко переговаривались, что тропа под яром становится шире и глубже. Вскоре среди камней они увидели явно русскую ложку с обломленным краем. Не прошло и часа, первый струг остановился возле небольшой заводи. Здесь на окатыше сохла берестяная лодчонка, сделанная по-русски. Вверх поднималась тропа, укрепленная тесом и кольями. А под самым яром была приоткрытая дверь землянки.

— Что это, атаман? — указал Федька. Люди Дружинки подвели к ним второй струг. Иван перекинул через плечо ремень сабли, сунул за кушак топор, стал подниматься по тропе и с каждым шагом все ясней чувствовал, что за дверью кто-то есть.

Он осторожно заглянул в темную землянку, укрепленную изнутри бревнами. Напротив входа был поставлен большой восьмиконечный крест, под которым тлел огонек жировика. Что-то шевельнулось, и Похабов слегка отпрянул. К нему обернулся старец с длинной бородой и волосами, свисавшими с плеч.

— Это ты, Иван? — спросил так буднично, будто они недавно расстались.

— Я! — изумленно ответил Похабов.

Старец неторопливо поднялся, шагнул к нему, застывшему с перекошенным лицом.

— Ты кто? — прошептал срывавшимся голосом. — Откуль знаешь меня?

Старец, жмурясь, вышел на свет. Иван вгляделся в его просветленное лицо и ахнул:

— Герасим?

— Узнал! — ласково проворковал монах.

— Тимофей, енисейский старец, упреждал нашу встречу.

— Вот я и жду! — тихо рассмеялся отшельник.

— А что ждешь-то? — с недоумением спросил Похабов. — Помирать пора или что?

— Ну, захотел, так сразу и помереть? — ласково улыбнулся Герасим. — Сперва сруби город.

— Благое дело! — отозвался Иван. — А кто велел рубить?

— Господь! — монах возвел к небу светлые глаза и перекрестился.

— Бог-то Бог, — замялся Иван. — Сам знаешь. Бог старца Тимофея вразумил, где быть городу, а он двадцать пять лет царского указа ждал. — Иван спохватился, опять вспомнив о старце: — Тебе велел кланяться, передать его благословение и сказать, что

помрет. А ты чтобы после его кончины к тобольскому архимандриту съездил.

Герасим всхлипнул крестясь, низко поклонился на восход, губы его шевелились в беззвучной молитве.

— Он, отче Тимофей, благословил нас проповедовать Слово Божье среди инородцев, промышленных от греха удерживать. Его молитвами до сих пор жив.

— Люди мои там! — Иван рассеянно кивнул вниз, на реку. А сам все думал о сказанном про город.

Он стал спускаться впереди монаха. Казаки и охочие, увидев старца-постника в кожаной рясе, охнули, замерли с вытянутыми лицами, иные попадали на колени.

— Прости, Господи! — взревел Федька Говорин со слезами.

Савина стояла с выпученными глазами, разинутым ртом и отмахивалась от видения ладошкой, как от назойливой мухи.

— Черный дьякон Герасим! — успокоил спутников Похабов. — Как нынешнего царя на Москве посадили, лет уже тридцать, мы с ним в одной келье Троицкого монастыря были узниками. Вместе в Сибирь шли до самого Енисейского… Эвон где встретились!

— Помер царь Михайла! — тихим голосом объявил монах. — Нынче сын его правит! А Тобольск сгорел.

Казаки и охочие истово закрестились. Иван оглядел крутой берег, место было неподходящим ни для панихиды, ни для стана.

— Живешь-то здесь ли? — спросил монаха, кивая на дверь землянки. — Поговорить бы да душами очиститься, другой год без исповеди и причастия.

— Зимовье у меня на острове, — указал на дальний берег монах. — Вверх по притоку с полверсты. Ночуйте. Там и поговорим. А причастить Святых Тайн не могу. Ермоген антиминс забрал, да и не по чину мне это таинство.

Иван махнул рукой, приказывая спутникам подняться выше по течению реки, чтобы переправиться к притоку. Сам сел за весло верткой берестянки. Герасим осторожно уселся впереди него. Лодчонка в два весла легко заскользила по глади реки. Течение сносило ее к пологому берегу.

О многом хотел рассказать Иван товарищу своей глупой юности. О том, что вышел в чин сына боярского, тот уже догадался. Вспомнил про царя, от которого оба претерпели наказание, спросил:

— Михейка-то отчего помер?

— Хворый был, — коротко ответил монах, подгребая к берегу. — Хворал-хворал, да и прибрал Бог.

— Давно?

— Нынче!

— А ты откуда узнал раньше нас?

— Сороки весть принесли! — с ласковой улыбкой, как к несмышленому юнцу, обернулся к нему Герасим. Прытко выскочил на берег из ткнувшейся в песок лодки. Видно, переправа была для него делом привычным. Взялся за бечеву, путано брошенную в носу.

Два струга с другого берега начали переправу. Равномерно вздымались и опускались весла. Тяжелые суда сносило быстрым течением, но пристали они к устью, где их поджидали монах с сыном боярским. Казаки вертели головами по сторонам, с любопытством разглядывали незнакомые места. Герасим весело пояснял:

— Рыбы здесь много. Лето жаркое — все растет. Господь не оставляет. И братские люди, и лесные часто бывают, промышленные каждый год мимо ходят.

— Вот куда воровской тес ведет! — строго сдвинул брови сын боярский, оглядывая казаков. — То-то промышленные зачастили вверх по Ангаре, к мунгалам!

Струги и берестянка были проведены набитым, прорубленным бечевником вверх по притоку и переправились на остров. Услышав шум, из избенки выполз немощный старик. Лицо его было сморщенным, как сухой гриб, два белоснежных клока волос свисали по ушам, сплетались с редкой и длинной бородой. Глаза старика сияли беспричинной детской радостью.

— Мой давний спутник! — с теплом в голосе указал на него Герасим. — Из промышленных людей, тоже по благословению старца Тимофея.

— Тебя как звали-величали, дед? — зычно, как глухого, окликнул его Похабов. — Я старых енисейских всех знал.

— Был Михейкой Омулем, — охотно ответил старик. — Гулял, грешил много. Давно это было.

— Так ты же совсем ветхим с Пендой уходил. Лет уж двадцать прошло? — удивленно уставился на него Иван. — Еще не помер?

— Живой! — с гордостью заявил старик, выпячивая тонкие, морщинистые губы маленького, беззубого рта.

Разглядывая его как диковинного зверя, Иван понял, что Пантелея Пенду он давно не помнит. Старик привычно подхватил котел, хотел идти к реке за водой.

— Мы сами! — загалдели осмелевшие служилые. — Огонь разведем и ужин сгоношим.

Пока они готовились к ночлегу и отдыху, Герасим повел Ивана на свои огороды.

— Слышал про Ермогена! — говорил на ходу. — Не так далеко ушел. Господь и его остановил, наложил тягло святить землю. А я полжизни уже здесь. — Оглянулся с любованием на протоку и ее устье. — Иной раз вздремну за молитвой и вижу город. Ко локола звонят, люди тамошние, которые еще не родились, переговариваются. Но эдак неясно, как журчание ручья. Похабовых вспоминают. Брат твой, Егорий, проходил здесь с женкой, с детьми и скотом. Я звал его остаться! Не послушал. Теперь ты пришел! — пристально взглянул на Ивана.

Похабов пожал плечами, снисходительно усмехнулся:

— Город — не балаган! Чтобы строить, нужен наказ старших воевод, а то и государя. Да и не на всяком месте города строят.

— Здесь-то и есть самое место городу! — чуть повысив голос, заспорил скитник. — Прежде недалеко отсюда мунгалы ясак собирали, ярмарки бывали. Промышленные люди отсюда во все стороны ходят: за Ламу — Иркутом и Ангарой, на Лену — степью. Их здесь с каждым годом все больше. А скот нынче пасет в округе один князец Яндоха. Грабят его каждый год. А князец добрый, к нашей вере тянется.

— Передам воеводе! — пообещал Иван. — Если промышленные ходят беспошлинно, надо острог ставить!.. Ты про брата моего заговорил! — вскинул виноватые глаза. — Давно ли он был здесь? Куда ушел?

— Лет уж десять, больше! А ушел по Иркуту к яндашским мужикам. Промышленные люди говорили, будто на Ламе обжился: кует железо, скот держит, землю пашет. Дом там у него, три сына. Вы-то куда путь держите? — наконец поинтересовался у Ивана.

— Наказал воевода новые земли проведать, народы под государеву руку звать. Серебро ищем!

— Вам лучше идти по Иркуту! — посоветовал монах. — Промышленные так ходят!

Иван выслушал его с почтением, хмыкнул, мотнул головой. Добрый совет давал Герасим, да бес перечил: очень уж хотелось ему опередить Ваську Колесникова, первым прийти в скороходовские места, с убийц взять виру, со всех бунтовавших — ясак и привести к новой присяге. Стоило подумать Похабову, как он опередит Колесникова, представилось лицо старого зловредного товарища, и он хохотнул.

— Велено до верховий Ангары дойти! — пробормотал уклончиво. — Там видно будет! К зиме, буду жив, обратно поплыву, тебя навещу. Вдруг со мной пойдешь, как Тимофей велел?

Отряд устроил на острове дневку. Служилые поправили крышу на избенке монаха и старика. Савина напекла хлеба впрок. Утро было ясным, на небе ни облачка, Похабов приказал собираться в путь и вдруг потемнело небо. Порыв ветра дугами согнул деревья, раскидал угли костра, сорвал шапки с людей, хлопнул дверью избы, ворвался в ее оконце. Вскоре все стихло. Опять синело небо, блистало ясное солнце. Из зимовья вышел Герасим. Он был бледен, его ладони лежали на груди, будто удерживали под ребрами сердце. Взглянув на Ивана, скитник прошептал побелевшими губами:

— Отче Тимофей отошел от уз плотских!

— Прими, Господи, душу!.. — закрестились служилые, не успевшие прийти в себя от налетевшего вихря.

Поминая енисейского молитвенника, призывая в помощь Николу Угодника, после полудня отряд вышел к Байкалу. На другой день к реке стали подступать горы, покрытые лесом. Воздух сделался чище, небо светлей. Горы становились все выше и круче. Чудный свет начинал слепить глаза, сладкая свежесть студеной воды наполняла грудь. Стал редок и ненавязчив гнус, потом и вовсе пропал, хотя было по-летнему тепло.

— Не к Ирии ли подходим, братцы? — боязливо посмеивались служилые, оглядывая окрестности.

— Скороходовские люди говорили, будто Ангара впадает в Ламу и из нее же выходит! — подбадривал товарищей Похабов, почувствовав в них робость.

Реки они и есть реки! Всегда впереди виден берег поворота или излучины, а тут расступились скалистые горы и предстали глазам путников водная ширь и бескрайнее небо. Сияние шло оттуда. Посередине мелкой, но широкой реки из воды торчала скала, рассекающая русло надвое. Бурлаки прошли вдоль крутого берега еще с версту. Сколько хватало глаз, во все стороны виделась вода и только впереди, против истока реки, смутно чудилась то ли дымка, то ли далекие облака, то ли белые вершины гор.

Веял свежий ветер, трепал бороды и волосы. Служилые, скинув шапки, с восторгом озирались. Солнце поднялось высоко. У крутого берега ласково и сонно поплескивала волна. Вода была прозрачна, как воздух, мельтеша маревом, открывала глубины

со стаями серебристой рыбы. Среди камней сыто дремали саженные щуки с замшелыми спинами. Непуганые гуси и утки покачивались на воде. И было рыбы и птицы так много, что делать запас впрок никому не приходило в голову.

По лицам товарищей Похабов понял, что сидеть на месте — только душу томить. Перекрестился, поклонился на гладь восхода и весело нахлобучил шапку.

— А что, братцы? — окинул удалым взглядом товарищей и подмигнул Савине. — Поднимем паруса да пойдем вдоль берега, вдруг что увидим. Скороходовские сказывали, остров Ольхон недалеко. А как опередим колесниковских? — опять представил лицо Васьки-атамана и громко захохотал.

Засмеялись казаки и охочие, радостно сбросили бурлацкие шлеи, придерживая покачивавшиеся на волне струги, стали навешивать и поднимать паруса. Небесная сила упруго вздула их и повлекла вдоль отвесного, скалистого берега. Без вина пьяные, люди на ходу грызли сухари, черпали ладонями воду из-за бортов.

Струги прошли мимо широкой пади с ручьем. Там стояли три тунгусских чума, горел костер, и дым его коромыслом пригибало к земле. По лицам товарищей атаман понял, что спустить паруса и пристать к берегу ради десятка тунгусских мужиков нелепо. Не сговариваясь, его люди проплыли мимо пади. Берег снова стал крут, местами отвесной стеной уходил вглубь. Солнце покатилось за полдень, на небе не было ни облачка, но будто дымка подернула синеву. Волны уже не ласкали берег, а бились о камни, идти вблизи их стало опасно.

Похабов обернулся к другому стругу, помахал рукой, приказывая отойти подальше от скал, сам стал править в море, высматривая следующую падь или пологий берег. Вдали завиднелся то ли мыс, то ли остров. С гор сорвался порыв ветра, рябью вскипела вода, заполоскали паруса, накренив струги. Служилые приспустили их, стали подгребать к берегу, но он вдруг начал удаляться. Похабов, обеспокоенный ветром и течением, велел совсем убрать парус, подналечь на весла. Сначала весело, потом опасливо изо всех сил казаки гребли к скалам, а они удалялись. Десятки глаз с надеждой глядели на атамана. В лицах людей еще не было страха, но прежнее веселье пропало. Кормщики вскрикивали, гребцы ложились на весла и растерянно оглядывались на скалы.

— Отче Никола! Помогай нам! — крикнул Похабов, глубже нахлобучивая шапку. Мимолетно взглянул на побелевшие губы Савины, на ее пальцы, вцепившиеся в борт, обернулся в другую сторону. Противоположный, далекий берег прояснялся, там уже отчетливо виднелись горы. С небрежным видом атаман велел гребцам сушить весла и развернуть струг по ветру, мысленно поклонился упокоившемуся старцу Тимофею и запел густым голосом: «Радуйся, Никола, великий Чудотворче!»

На другом струге последовали примеру ертаулов, тоже перестали бороться с течением и ветром. Суда понесло к противоположному берегу, на них снова подняли паруса. Солнце катилось к закату, волны становились все круче и выше, то и дело захлестывали суда. Казаки с мокрыми, вислыми бородами отчерпывали воду котлами и шапками. Иван прикрыл Савину лавтаками. Это все, что мог сделать для нее. У самого спина была мокрой, от студеной воды одеревенели и скрючились пальцы рук, сжимавшие кормовое весло. Ветер слабел, но волны и течение несли струги к гряде темневших гор.

— Что уж теперь? — пробормотал сын боярский, оторвал руку от весла, отжал бороду, смахнул рукавом брызги со щек. Лицо его вдруг покривилось, глаза расширились, он дернул головой в одну сторону, потом в противоположную и закричал. В багровых лучах заходящего солнца со стороны носа и с кормы на струги надвигались крутые волны, и пена на гребнях казалась кровью. Похабов распахнул кафтан, закрывая полами корму. Казаки по его оклику также прикрыли одеждой борта и нос. Две волны с ревом сшиблись, обрушились на людей потоками воды, но стругов не перевернули. Гребцы, испуганно оглядываясь, бросили весла и начали отчерпывать полузатопленные суда.

К берегу они подошли ночью при полном безветрии. Гребцы долго не могли найти сухое место, вокруг была высокая трава и кочки. На воде сонно покрикивали чайки, предвещая добрую погоду. В другой стороне ухал филин, указывая близость леса. Шелестя травой и кустарником, струги протискивались на его уханье до тех пор, пока не уткнулись в явную сушу. При свете луны, на ощупь, люди собрали сухой плавник, наломали веток, развели костер и стали сушиться.

— Удружил, однако, дедушка! — наконец пошутил Дружинка.

— Слава Богу, живы! — буркнул, крестясь, Похабов.

Савина, измученная плаваньем, лежала под двумя одеялами, не могла уснуть, печально глядя на Ивана большими глазами, тайком всхлипывала и непрестанно молилась. Иван виновато поглядывал на нее, пытаясь как-то ободрить.

У костра робко заговорили о пережитом, но тут же умолкли. Все понимали, что надо еще дожить хотя бы до рассвета. Благоразумный десятник Дружинка качал головой:

— Виданное ли дело, чтобы за один день так менялся ветер?

Рассвело, разъяснилось небо, струги стояли у острова, в мелководной дельте реки со множеством проток. Взошло солнце. Ясное и золотистое, оно поднималось над горным хребтом. Ветерок, струившийся ночью по реке, стал крепче.

— Попутный! — насмешливо оглядел проснувшихся товарищей Похабов. — Не вернуться ли? — спросил и горько рассмеялся. На плаванье в обратную сторону ни у кого не хватало духа и у него самого тоже.

— Что уж там? — неохотно ответил рассудительный Дружинка. — Курбат Иванов Ольхон объясачил, Максимка Вычегжанин, поди, ведет уже Колесника к своему зимовью, тамошним изменившим князцам мщение готовит.

По лицам и разговорам товарищей Иван понимал, что ни у кого из них нет желания плыть за Колесниковым, да и сам после пережитого расхотел соперничать со вздорным товарищем: поверил, что Господу это не угодно.

— Если здесь Селенга или Баргузин, про которые говорили скороходовские люди, — кивнул в верховья реки, — то недалеко Семейку с казаками побили!

— Знал дедушка, куда выбросить! — ухмыльнулся Федька Говорин.

Содрогаясь всем телом, гулко закашляла Савина, она дышала часто и шумно. Иван приложил руку к ее лбу руку — начинался жар. Он назначил ертаулов и отправил их вверх по протокам, остальным велел отдыхать и готовить баню по-промышленному. Сам сдвинул костер, настелил пихтовых веток, положил на них Савину, стал натирать нутряным медвежьим жиром. Она охала, смущенно водила глазами по сторонам, прикрывала грудь слабыми руками.

— Не смотрит никто! — ворчал Иван. — Глаз выбью!

Он укрыл Савину меховыми одеялами, стал отпаивать травами. К полудню ей стало легче, кашель стих. К вечеру явились ертаулы, сказали, что под горой стоит пять юрт, народ при них одевается по-братски, в халаты. Версты три выше на склонах пасется скот.

Савина к вечеру поправилась. Нахохлившись, сидела под двумя одеялами, чесала голову. Казаки же думали, как исхитриться и подвести под государеву руку здешние народы. Дружинка советовал мирно прийти к ним и объявить жалованное государево слово. Федька смеялся, призывал мстить за Скорохода с людьми, брать юрты на погром. Сын боярский молча выслушал всех и объявил:

— Один струг спрячем, другой возьмем с собой, чтобы где надо переправляться через реку, а то и сплыть вниз. Скажем здешним мужикам ложно, что за убийство казаков царь велел их казнить с милостью. Пусть присягнут, дадут ясак и живут в верности.

— Дойдет весть до царя, все равно даст такой указ! — поддержал атамана Дружинка.

Туманным дождливым утром другого дня Савина почувствовала себя здоровой и бодрой. Отряд быстро собрался. С одним стругом на бечеве люди двинулись вверх по протоке. После полудня казаки дошли до мест, о которых говорили ертаулы. На холме, выщербленном тропами скота, стояло пять войлочных юрт, над ними курился дым, неуверенно лаяли собаки. Моросил дождь, редкий туман висел над дельтой реки. Коровы и быки с мокрыми спинами лениво пережевывали жвачку. Жались друг к другу овцы в отарах.

Казаки были замечены еще у воды. К ним прискакали двое мужиков на неоседланных конях, молча разглядели служилых и понеслись обратно, взмахивая локтями, как птенцы неоперенными крыльями. Похабов приказал остановиться напротив стойбища. Из юрт начали выходить мужики в халатах с саблями и луками, на некоторых из них были кованые шлемы.

— Дружинка — за струг! — приказал сын боярский, заметив воинские сборы. — Федька, ко мне! Если что, будешь первым палить!

Казаки без суеты раздули тлевший огонь, зажгли фитили пищалей и мушкетов. Собравшись толпой, воинские мужики двинулись к реке пешком. Шагали они важно, переваливаясь с боку на бок, глядели на гостей неприязненно. За первой шеренгой, одетой в богатые халаты и брони, шли мужики попроще, в суконных и меховых шапках. Все они остановились в двадцати шагах от реки, молча уставились на незваных гостей. Похабов окликнул толмача, сделал десять шагов вперед. Под боком у него боязливо жался Мартынка.

— Хазак!.. Хазак! — прокатился ропот за широкими спинами в бронях.

В первом ряду с грозным видом стоял молодой мужик в шапке, шитой серебром, с серебряным наборным поясом. К нему и обратился Иван Похабов с государевым жалованным словом. Мартынка залопотал, загыркал, чтобы здешние мужики на государеву милость были надежны и были бы под его государевой рукой в вечном подданстве. И государь их пожалует, велит от врагов оберегать…

Иван Похабов подождал, когда толмач умолкнет, добавил громовым голосом:

— А нынче опечален наш государь убийством казаков в здешних местах. Велел нам казнить здешние народы за ваши вины с милостью и с пощадой. Если поклянетесь

ему в верности и дадите ясак — он всех простит!

Мартынка, протараторив сказанное атаманом, опять умолк. Молчали и мужики, вышедшие к казакам. Толмач кашлянул, шмыгнул носом.

— Вдруг не понимают по-балагански? — пробормотал, виновато поглядывая на Похабова.

Но самый видный мужик в серебряной шапке плюнул на землю и сказал:

— Нет у нас соболей! Весной мунгалам продали. Ждите зимы, может и одарим!

Плевок в сторону заката после жалованного государева слова возмутил казаков.

— Бей их, батька! — взвыл Федька Говорин. — Царю нашему не поклонились!

Браты, будто ждали этого крика, выхватили сабли, ножи, подняли дубины и бросились на сына боярского с толмачом. По уговору оба упали на сырую землю, Федькины казаки дали залп. Пороховой дым на миг скрыл нападавших и тут же густым облаком был отнесен по течению реки. Залп не напугал кочевников и не сильно навредил им. Двое раненых отползли в сторону, остальные с яростью бросились на казаков. Мартынка откатился к стругу, перескочил с борта на борт через лежавшую на спине Савину. Лицо женщины было сосредоточенным, незрячие глаза глядели в низкое, хмурое небо.

Иван завертелся чертом, не давая себя окружить. Его сабля звенела по броням врага. Федькины казаки вставили тесаки в стволы ружей, бросились на помощь. Братские люди откатились назад, схватились за луки. Тут прогремел залп людей Дружинки из-за струга. С десяток нападавших было сбито с ног, другие побежали к юртам. Казаки вязали легко раненых и молодого князца, плевавшего на закат.

Пятерых во главе с Дружинкой Иван оставил возле струга, при пленных, с остальными побежал к юртам. Оттуда пустили несколько стрел. Казаки ответили парой выстрелов. Мужики бросились ловить коней и без седел умчались вверх по протоку.

«За подмогой!» — Похабов махнул саблей в их сторону и указал Федьке на три юрты. Сам с казаками ворвался в большую. Народу в ней было много, в большинстве старики и дети. Из-за сундуков зверятами выглядывали малолетки. Юрта оказалась богатой. Князец имел много серебряных украшений, алое сукно от бухарских или заморских купцов.

— Атаман! — вскрикнул Мартынка, перебирая в руках русскую кольчугу. Затем, разбросав ворох одежды, поднял казачью ладанку и опять окликнул Похабова.

Перевернув все, опростав сундуки, казаки сложили в лавтак серебро, брони, ладанку, найденный топор, сукно. Рухляди не нашли. Под бессильное кряхтение стариков и подвывание старух сбили в кучу девок и женщин с детьми, двух мужиков, которые не оказывали сопротивления.

Зааманаченных было больше двух десятков. Глядя на детей, Савина жалостливо всхлипывала и вытирала слезы, хотя казаков ни о чем не просила, ни в чем не винила. Иван подошел к связанному князцу, бросил к ногам лавтак с кольчужкой, спросил, где взяли.

— Наменяли у тунгусов! — хмуро ответил тот.

И как ни пытали его, стоял на своем. Потом предложил мириться:

— За моих людей возьмите выкуп, что награбили. На другой год, как будут соболя, дам ясак! — рыкнул и снова сплюнул под ноги.

На стане задымили костры, казаки стали готовить ужин. К ночи пришли старухи, принесли заложникам вареного мяса, творога и кислого молока. Казаки уже говорили между собой о дележе добытого на погроме.

— Князцов и их семьи можно аманатить, можно отпускать за выкуп, а продавать нельзя! — напомнил государев указ Похабов. Воеводы, охотно покупавшие ясырей, часто говорили об этом.

— Мы сами теперь как ясыри, связаны этой оравой по рукам и ногам! — ворчал Федька. — Давай отпустим раненых?

— Отпусти! — разрешил Похабов. — Князца держи.

Федька кликнул помощников, те развязали руки раненым. Кому-то несильно поддали под зад за дерзость и отправили к юртам лечиться. Все так же бусил дождь. Невидимая влага висела в воздухе, зябко оседала на лицах и одежде. Мужики, убежавшие на конях, к вечеру не вернулись ни с подмогой, ни с выкупом, ни с предложением о мире. Ясыри, скорчившись, жались друг к другу. Промокший князец неприязненно буркнул Мартынке, чтобы казаки и ясыри принесли и поставили малую юрту. Их принесли две. Ночь прошла без нападений, но беспокойно. Пленники то и дело выскакивали по нужде, караульные орали на них, загоняя обратно.

— Засеку надо делать! — утром объявил Похабов. — Если придут скопом, на ровном месте нам не удержаться.

Казаки протянули струг к лесу, подступавшему к протоке, привели туда ясырей, связанных попарно. Застучали топоры, с треском стали падать деревья. Люди отряда не успели заострить сучья и верхушки, как со стороны восхода показались конные люди в островерхих шапках. Их было полторы сотни.

Отряд привычно, без суеты, укрылся за поваленными деревьями. С саблей в руке сын боярский указывал, кому где стоять. Кони заметались у поваленных деревьев. Похабов дал знак. Прогремел залп, закричали раненые, пронзительно заржали изувеченные лошади. Несколько десятков всадников осадили коней перед давившейся свалкой и поскакали в объезд к протоке. Там путь им преградили казаки Федьки Говорина.

Конница, как морская волна, отхлынула от засеки и снова собралась в кучу на открытом месте. В другой раз всадники приблизились рысцой на полсотни шагов и стали осыпать казаков стрелами. Те, приберегая порох и свинец, отстреливались из луков. В засеке были ранены несколько ясырей.

Покружив возле поваленных деревьев с заостренными верхушками, конные мужики рассеялись и пропали из виду. День и другой на казаков никто не нападал, будто здешние воины забыли о пришельцах и заложниках. Двое ясырей в затрапезных халатах бесстрашно подсели к костру Похабова. Взятые в большой юрте, они не показывали враждебности, внешне не походили на братских мужиков: были сухощавы и подвижны.

— Говорят, что они не здешние, баругархины*! — подсказал Ивану толмач. — Будто их пленили мунгалы за долги родственников и продали здешним братам.

— Какого роду-племени? — спросил Иван по-тунгусски.

Ясыри отвечали вразнобой и по-братски:

— Пленили их давно. Связи с родственниками прервались, свой язык они помнили плохо.

— Выкуп за вас дадут? — спросил Иван через толмача.

Ясыри опечалились, стали говорить, что они хорошие пастухи, но хозяева их не ценят и вряд ли заплатят, скорей всего, отдадут казакам.

— Зачем тогда воевали против нас? — недоверчиво разглядывал их Иван.

— Попробуй откажись! — запричитали пленные. — Хозяин плетью бьет больно, одни коросты сходят, другие делает.

Братский мужик, на которого они указывали, ничем не выделялся среди сородичей и мало походил на родовитого князца. В бою он был с пикой и луком, но в железных поручах. Под халатом на груди его висела серебряная пластина, подвязанная к шее бечевой.

Иван снова обернулся к ясырям, спросил с усмешкой:

— Хотите нашему государю послужить?

— Хотим! — с готовностью ответили те.

— Тогда скажите, дадут ли нам ясак и выкуп за родственников?

— Родню выкупят! — уверенно ответил мужик с рыжими волосками на подбородке. — Рухляди у них мало, но ради родственников не пожалеют. Весной надо брать ясак, когда тунгусы скот покупают.

— Не зимовать же здесь! — от себя прибавил толмач.

Иван поднял голову.

— Верю! — сказал ясырям. — Смотрите за аманатами, увижу измену — убью! — отвернул голяшку бахилы, показал рукоять засапожного ножа.

Ясыри закивали, уверяя в своей преданности.

— Коли лучше нас знаете здешних людей, кого надо — развяжите, кого — на цепь посадите! — приказал им Похабов.

Слова атамана ясыри хорошо поняли, отошли от казачьего костра исполненными достоинства и власти. Рыжебородый с важностью двинулся к сидевшим пленникам и первое, что он сделал, наступил босой ногой на гутал** прежнего хозяина, затем снял с него шапку. Братский мужик с брезгливостью плюнул на землю и выругался.

Три дня никого из дайшей не было. Даже родственники перестали приносить корм пленным. На четвертый в виду засеки показалось десять всадников. Они остановились на открытом месте в полете стрелы, спешились, долго сидели на корточках возле пощипывавших траву коней, затем трое из них вразвалочку направились для переговоров. К ним вышел Иван Похабов с толмачом и десятником Дружинкой. Послы поклонились на закат казацкому царю и спросили о его здоровье. Разговор начинался мирно.

**Баругархины — живущие на западной стороне (бур.).*

***Гутал — бурятский кожаный сапог.*

— Казацкий царь — сильный царь! — объявил старший из послов, с толстой черной косой и серебряной цепью на груди. — Живите у нас, защищайте, будем давать ясак царю, вам — подарки и корм.

Сын боярский со вздохом опустил глаза. От Оки до здешних мест народы хотели порядка и мира, желали опереться на сильную власть, он же, Иван Похабов, от имени царя и воевод мог только обещать помощь и, возводя глаза к светлеющему небу, велел толмачу сказать:

— Хорошая земля. Мы смогли бы здесь жить и защищать вас, но без дозволения царя остаться не можем, а ваши пожелания ему передадим. Разрешит царь —

поставим крепость. А до тех пор будем приходить, защищать вас и бить врагов ваших, если вы поклянетесь царю в верности и станете давать ему по семь соболей с каждого сильного, здорового мужика.

Лица послов переменились: у одних стали плутоватыми, у других злыми. Старший, которого толмач льстиво называл «алда хара гэзэгэ*», блеснув черными бусинами глаз, миролюбиво ответил:

— Все, что добыли зимой и купили у тунгусов, — увезли к мунгалам, менять на посуду и ткани. Ждите весны или берите ясак скотом.

Казаки, сидя в засеке, много говорили об этом. Скот был для них обузой, а рухляди у здешнего народа не было.

— По своему обычаю клянитесь в верности нашему царю, выкупайте пленных за меха и серебро! — объявил Иван. — За ясаком мы придем зимой.

Как и уверяли братские рабы, на выкуп родственников у здешнего народа нашлись соболя и лисы. Они отдали казакам украшения из серебра, оправдываясь, что сами его не добывают, а покупают у мунгал, но не стали выкупать не только своих рабов, но дальних родственников и сирот. На руках у служилых осталось два десятка взрослых мужиков, женщин и детей, которых надо было кормить и охранять. Двигаться со всем добытым в неведомые земли казаки не решились.

Приняв от селенгинцев присягу царю, они отпустили строптивого князца. Ссадина на его лбу засохла и покрылась коростой, синяк под глазом порозовел, опухоль опала. Перебираясь к сородичам через заостренные сучья засеки, он громко сопел, портил воздух и сердито оглядывался, но присягу царю дал.

На другой день казаки поделили между собой все добытое. Похабову достались по жребию сукно и братские пастухи тунгусской породы. Молодую женщину с писклявым младенцем казаки и охочие хотели выпроводить из засеки без выкупа, но она уперлась и не пошла к сородичам. Мест в струге не хватило даже на половину служилых и ясырей. Просев по самые борта, он поплыл к Байкалу с детьми и женщинами. Пленные мужики и большая часть отряда шли по топкому берегу, опасаясь нападений, но их не было.

Спрятанный струг был целым, его вытянули на сухое место, стали готовить к плаванью. Казаки и охочие собрались у костра отдельно от ясырей, решали, куда плыть, вспоминали расспросы братских пастухов, которые были вывезены за Байкал малолетними детьми. Из разговоров хозяев они знали, что на другой берег не переплывают ни буряты, ни тунгусы, ни мунгалы, но все обходят Байгал-далай сушей. Никто в отряде Похабова уже не сомневался, что Бог вывел их на Селенгу, о которой упоминали скороходовские люди. Идти вдоль берега к северу, навстречу с атаманом Колесниковым, чтобы спорить из-за всякой добычи, никто не хотел. Сообща казаки решили плыть в другую сторону, где, по слухам, никто из служилых не был.

В сумерках подул ветер, мотая пламенем костров. Ночью набегали на небо черные тучи и гасили звезды. К утру с восхода подул ровный, несильный ветер, будто подстрекал плыть напрямую на другую сторону Байкала. Служилые и ясыри погрузились в струги. Всем было тесно, но под парусом при попутном ветре или на веслах двигаться быстрей и легче, чем карабкаться по каменистому берегу.

**Алда хара гэзэгэ — длинная черная коса (бур.).*

Чем дальше уходили суда от селенгинской дельты, тем выше становились горы и ближе подступали к воде. По нескольку раз за день на стругах поднимали и спускали паруса, лыли, прижимаясь к суше, опасались нежданных сильных ветров, чтобы тяжелогруженые суда опять не вынесло на середину. Между тем берег, вблизи которого они держались, все круче поворачивал на закат, а противоположный приближался. Среди леса и скал, то подступая к воде, то удаляясь от нее, шла торная конная тропа.

Рыжебородый ясырь по прозвищу Болтун-Бабанурхун*, указывая рукой на закат, говорил, что слышал про путь к большой реке в той самой стороне, где сходятся горы берегов.

Вскоре со стругов заметили на тропе кочующих тунгусов. Служилые высадились, побежали к ним. Тунгусы не прятались, но спокойно глядели на приближавшихся людей.

— Луча, луча! — удивленно переговаривались между собой.

Похабов поприветствовал их по-тунгусски, одарил и стал расспрашивать о тропах и реках. Тунгусы были здешнего, сильного и многочисленного чилкагирского племени, сказали, что крутые берега Ламы сходятся на закате, а на Ангару можно выйти по той самой тропе, на которой шла беседа. При этом князец обмолвился возле Шаманского камня в Байкальском култуке, живет сидячий человек, которого буряты зовут Дархан, а тунгусы — Медвежий Огрызок.

Кровь ударила в обветренное лицо Ивана Похабова, он догадался, в какие края занесло его отряд и кто таков Медвежий Огрызок.

** Бабанурхун – болтливый (бур.)*

Глава 11

Если в голове начинали мельтешить навязчивые воспоминания о молодости и прошлой жизни, Егорий Похабов, по прозвищу Медвежий Огрызок, отмахивался от них, как от гнуса, открещивался, как от кошмарных снов. Его жизнь началась здесь, на берегу Байкала, куда привел Бог с семьей, ничего другого он не хотел ни знать, ни помнить. Когда голодным, оборванным отроком ходил в поводырях у слепых старцев и пел о Беловодной Ирии, в мечтах представлялась ему страна, где много света, где шумят листвой густые леса, плещется рыба в тихих озерах, где из-за бескрайнего синего моря поднимается солнце. Впервые увидев долину, в которой обосновался, Угрюм узнал ее и вспомнил. С трех сторон она была укрыта высокими горами, покрытыми густым лесом, с восхода кончалась песчаными дюнами байкальского берега. Из воды, раскинувшейся до самого неба, по утрам поднималось солнце.

Речка, возле которой он построил дом, была так чиста, что глаза не различали границы между водой и воздухом, казалось, будто серебристые стаи рыб летают над цветными каменьями дна. По выходе с гор на равнину, степенно петлявшая речка прорезала луга. Песчаный вал, намытый прибоем, разгораживал три соровых озера. На том, что было больше других, расцветали огромные кувшинки. По берегам среднего цвели ирисы. Луговая часть речки походила на сад Абдулы-Ивана. Весной здесь кружилась голова от ароматов и было бело от черемухового цвета, поляны буйно пестрили жарками и колокольчиками.

Горы защищали долину от ветров. Зимой сюда прикочевывали тунгусы, ставили два-три чума на лугах, камлали своим божкам на Шаманском мысе, за скальной грядой, врезавшейся далеко в Байкал. Они пережидали здесь холода и снова уходили на хребты гор, покрытые кедровым сланцем и вечнозеленым лесом.

Пока в доме был достаток, покладистая жена Угрюма выглядела вполне довольной своей судьбой и во всем полагалась на мужа. Она считала, что если доверилась мужчине — нужно доверять ему до конца, а не перечить по пустякам. Тестя с тещей, потомственных кочевников, окружавшая красота природы не восхищала. Они считали себя людьми, живущими в яме, и терпеливо томились оседлостью. Тайга и горы наводили на них уныние. Старики соглашались с зятем, что жить здесь можно, но в щелках их глаз, скрытых морщинистыми веками, тлела безысходная тоска по степи.

— Хада гэр*, — то и дело бормотали они, со вздохами оглядывая окрестности. Старик со старухой часто уходили на берег и подолгу глядели на бескрайнюю гладь воды. Когда в доме не нужна была их помощь, они ставили старенькую юрту на намытом прибоем песке и никак не могли взять в толк, зачем зять построил дом в лесу.

**Хада гэр — дом в горах. В переносном смысле — могила (бур.).*

За причудливыми скалами горного хребта, сползавшего в воду, были просторные заливные луга байкальского култука. Из пади между горными хребтами, куда вечерами заходило солнце, почти непрестанно дули сильные ветра. Зимой они обнажали землю, и полсотни голов скота могли пастись круглый год. По степным понятиям это не богатство, но для одной семьи хватало. Построй зять свой теплый дом даже там, старикам было бы легче: просторно, видно далеко. Но Угрюму хотелось жить скрытно, оттого он обосновался в сосновом бору между черновой тайгой и болотом, в стороне от выпасов и торных троп, вдалеке от открытого берега Байкала и даже от чистой речки. Для его скота хватало выпасов на здешних полянах. А зимой, когда за Шаманским мысом не было чужого скота, он перегонял туда, на потравленные луга, свое стадо, табун и отару.

Угрюм злился на князца с верховий Иркута: за один переход по тайге его скот терял в весе больше, чем набирал на здешней траве. Кочевал Нарей не столько по нужде, сколько из вредности и любопытства. Его многочисленные стада быстро объедали все побережье култука, перебирались через отрог хребта, на яланные поляны и покосы долины, подъедали накошенное в зиму сено. Это было одно из бедствий, которые Угрюму приходилось терпеть ради добрососедства с князцом.

Приятней и безвредней всех других народов были тунгусы. Угрюм ковал им ножи, рогатины, посуду. Таежные кочевники щедро расплачивались соболями и убегали от нечистой силы, которая, по их поверьям, шла по следу рода и всячески вредила ему. Они путали следы и не оставляли на своих стоянках ничего, кроме примятой травы, нечистоты, выстывшие кострища и те скрывали.

Вдоль берега Байкала нередко проплывали на стругах промышленные люди, их тайный путь уходил за море. От них Угрюм имел свою прибыль: ковал поделки, зимой делал струги и с выгодой менял на меха, торговал коровьим маслом, сметаной, сушеным творогом, курил вино из ягод и молока. Русских людей он опасался, в дом не

зазывал, обычно сам выходил к их стану, и если промышленные ему не нравились, прикидывался немым болдырем или дураком. Мало кто знал, где его дом и кто он таков.

Монголов Угрюм опасался даже больше, чем своих единокровников. Те приезжали по-хозяйски, как к кыштыму, разводили огонь среди двора, пировали. Если им не хватало дров для костра, ломали забор, баню или лабаз. Могли щедро одарить, могли прихватить все что понравится. Но железо можно было купить только у них.

Завидев монгольских всадников, его сыновья-подростки убегали в лес и долго не возвращались, жена пряталась, хозяин со стариками терпеливо прислуживали гостям. После этого в доме стояла гнетущая тишина. Угрюм с остервенением работал, жена и старики, стыдясь пережитого, не глядели друг на друга.

Два сына входили в юношеский возраст. Старший, Первуха, которого старики и мать называли Дааган*, родился до погрома русского острога. Вторка, которого они звали Аян**, явился на свет перед встречей со скитником Герасимом, на пути к Байкалу. Через пять лет, здесь, в доме, Булаг родила непоседливого, верткого Третьяка. Еще пять лет детей не было. Угрюм думал, что жена состарилась и больше рожать не будет. Она же вдруг забеременела и родила дочь. Дочери он радовался больше всех: глядел на младенца и не мог наглядеться, любовался, как чудно переплеталась в новорожденной кровь Булаг и Похабовых.

От нахлынувших чувств Угрюм запил: начинал хлебной водкой и ягодным вином, к концу недели допивал сусло для молочной водки. В дни этого радостного и печального запоя умер тесть, Гарта Буха. К русской избе он так и не привык, юрта совсем прохудилась. Последние дни тесть сидел в бане у каменки, молча глядел на тлеющий огонь. По словам несмышленого Третьяка, он вдруг дернул ногами в гуталах, захрипел и отвалился навзничь.

Пока старик не околел, старуха без слез и рыданий одела его во все лучшее, что было в доме, смущенно попросила опухшего от пьянства зятя:

— Унеси бабая на гору! — в морщинистых уголках ее слипшихся глаз поблескивали две искорки.

**Дааган — лончак, жеребенок (бур.).*
***Аян — дальний путь (бур.).*

— Баабайшалха*? — мотая головой, пролепетал зять. Он и во хмелю понимал, что его сил хватит разве только доползти до бани. А день был теплый, к утру старик непременно пустит дух. — Хороший был человек! — Угрюм совестливо попытался встать с лавки, сильно качнулся и плюхнулся на место. — Эй, волчата! — строго окликнул сыновей по-русски.

Старушка поняла, что зять ее горю не помощник. В избу вошли старшие внуки Дааган с Аяном, уставились на отца пытливыми и спокойными звериными глазами.

— Снесите-ка деда в лес, бросьте под елку, как принято у братов, или закопайте, как у нас… Ик! — содрогнулся всем телом.

— Хватит пить! — сердито крикнула мужу Булаг. — Смотреть и слышать противно!

Угрюм до перебранки с женой не снизошел, допил остатки густого сусла из чарки, крякнул:

— Уже не пью! Опохмеляюсь!

Ему бросилось в глаза, как насупился Первуха. Густые, жесткие, отцовской рукой стриженные волосы сына вздыбились, как у пса загривок. Вторка, похожий на мать, неприязненно блеснул узкими зелеными глазами.

— Звереныши гребаные! — шепеляво просипел Угрюм, раскачивая непослушную голову.

— Унесите дедушку, милые! — ласково, по-бурятски, попросила внуков старушка и всхлипнула. — Не закапывайте. Он был хороший человек, — с жалостливым укором взглянула в сторону Угрюма. У балаганцев, как и у тунгусов, закапывали только преступников и злых колдунов, чтобы душам их век из земли не выбраться. — Унесите на гору, где нет леса, положите среди камней или в щель скалы. Немного прикройте камнями, пусть там будет его хада гэр.

Сыновья вышли из избы следом за бабушкой, жена пригрозила из-за печи, где возилась с младенцем:

— Вот нарожаю дочерей, будем тебя пьяного в хлеву держать!

Сказала она без зла, но задела рану в душе мужа. Угрюм уронил голову на стол, закатал лбом по столешнице, застонал. Как-то еще сложится судьба дочери? Сыновей он прятал от мунгал, чтобы не забрали силой в войска царевичей. А тут дочь?! У братов, бывало, едва девки подрастали выше аршина, и кривоногих, и косых они забирали в невесты.

Угрюм засыпал и вздрагивал от коротких жутких снов, в доме ему стало душно. Среди ночи, придерживаясь за стену, он вышел во двор, хотел лечь в бане, но

вспомнил, что там отошел тесть. Залез в амбар, промучился до рассвета, перебираясь с места на место, утром вернулся в дом и жалобно попросил у жены простокваши. Вспомнив вчерашнее, виновато спохватился, спросил сыновей:

— Что, унесли дедушку?.. На горе ему хорошо. Далеко видно.

После пьянства он пережил, перетерпел день и другой. Затем, как всегда, схватился за работу, чтобы ни о чем не думать, ничего не вспоминать. А дел за неделю накопилось много. Помощи от сыновей он не ждал, руки у болдырей росли не из того места: уродились в тунгусов — доброй волей только по лесам шлялись да зверя промышляли, все остальное делали по принуждению. Младший, Третьяк, проворный, жилистый как соболь, в одно время начал ходить и лазить: то на крышу заберется, то на скалу. Чуть не досмотришь — сидит на дереве. Угрюм, тесавший жердину во дворе, вдруг вспомнил о нем, поискал глазами и увидел сына на верхушке желтой сосны.

— Тятька! Промышленные плывут! — звонко крикнул он сверху. — Лодки и людей много!

Выспрашивать мальца, как одеты, какие лодки, было делом долгим и бесполезным. Приближались люди!

«Господи! — спешно перекрестился Угрюм. Его изуродованные губы дрогнули. — Спаси от встречи со зверем лютым, с человеком всяким!»

Он заметался по двору, высматривая, что спрятать от чужих глаз. Окликнул старших. К счастью, они оказались поблизости от дома.

**Баабайшалха — умер, отправился к праотцам (бур.).*

— Сбегайте на берег, посмотрите, что за люди! На глаза не лезьте, из-за деревьев, тайком гляньте!

— Тятька! К нам идут! — звонко закричал сверху Третьяк.

— Кто бы это мог быть? — всхлипнул Угрюм и быстрей прежнего заметался по двору. Топор бросил под крыльцо, кованый котел из бани закатил за амбар, в траву. — Да слезь ты, Христа ради! — окликнул меньшого.

Тот и ухом не повел в его сторону, вглядываясь в видимую ему даль. Не надеясь на сыновей, Угрюм сам заковылял к речке. Короткими перебежками, от дерева к дереву, как тунгус, вышел на край леса и обмер. Два десятка казаков вытащили на берег струги, шли толпой прямо к его избе, вели братских баб с детьми и мужиками.

Кого только ни приводил бес в эти места за прожитые здесь годы, но казаки появились впервые. С колотящимся сердцем, так же крадучись, Угрюм вернулся к дому, мысленно утешал себя: «Ну и хорошо, что казаки! Иная промышленная ватажка может обобрать хуже мунгал». Вразвалочку вернулись посланные сыновья, насмешливо уставились на мечущегося отца.

— Что встали? — вскрикнул он, выпрастывая из-под рубахи носильный крест. — Рыбы тащите. Гостей встречать будем. — Жене крикнул по-бурятски, отводя глаза в сторону: — Народу много идет, надо угостить!

Казаки приближались открыто. Они были одеты в кафтаны, зипуны и халаты, головы покрыты сибирскими шапками, отороченными мехом. Все при саблях и тесаках, на плечах — ружья. Впереди шел дородный и статный служилый с прядями седины в длинной бороде, в бархатной шапке сына боярского. Рядом с ним угодливо семенил раскосый болдырь.

Много лет прошло с последней встречи, но брата Угрюм узнал с первого взгляда. Морщины посекли его красное обветренное лицо, плечи слегка опустились от тяжести прожитых лет, в глазах погасла былая удаль. Теперь в них светился спокойный блеск силы и сознания власти. Угрюм закивал, приветливо выпучивая глаза. Сын боярский ни словом, ни взглядом не показал, что узнал его. В самом ли деле так? Или не захотел показать родства?

— Эй, косорылый! — весело по-русски окликнул его болдырь в казачьей шапке, спросил по-булагатски, но коряво: — Какого ты роду-племени?.. — И со смехом бросил сыну боярскому по-русски: — То ли боол* крещеный, то ли ясырь возвращенный!

— Из серпуховских русичей я, — не сводя глаз с брата, обидчиво ответил Угрюм. Он старался говорить чисто, но слова застревали в горле, у основания языка. — Всю жизнь в Сибири среди промышленных…

— Когда последний раз был в Енисейском? — строго перебил его болдырь с плутоватой рожей.

Иван без любопытства оглядывал дом и двор, скользнул взглядом по лицу хозяина. «Вдруг не узнает?» — подумал Угрюм и, смутившись, ответил на вопрос толмача:

— Да лет уж двадцать тому…

— А вот как подушную подать возьмем за все годы! — пригрозил другой казак и сбросил с плеча пищаль.

— Берите! — покорно согласился Угрюм и засуетился: — Присаживайтесь, гости дорогие, хоть здесь, хоть в дом войдите!

Сын боярский что-то отрывисто рыкнул. Казаки стали скидывать ружья и верхнюю одежду, ясыри рассаживались вдоль изгороди, на выщипанную скотом траву. Русского вида толстая, пожилая баба с ласковым лицом топталась у ворот.

— Ты бы нам баню затопил да молоком угостил, что ли? — наконец обратился к Угрюму сын боярский.

— Е-е-е! Это чей-то? — суетливо вскрикнул тощий казак. — Сабля где?

— Глянь-ка! — захохотали в толпе.

Третьяк, о котором в суете встречи Угрюм забыл, спустился с дерева, покрутился среди казаков и теперь мчался к лесу, волоча за собой казачью саблю.

— Уши отрежу! — кинулся за ним казак с пустыми ножнами.

**Боол — раб.*

Третьяк воровато обернулся, под хохот гостей перескочил через жерди поскотины, зацепился длиннополой рубахой за сучок, перевернулся вниз головой, засучил босыми пятками. В трех шагах от казака он оторвался, без сабли сиганул на сосну и быстро вскарабкался на середину.

— Ишь, векша! — казак беззлобно ругнулся, поднял и вытер травой клинок, погрозил мальцу: — Слазь, не то дерево срублю!

Третьяк в несколько рывков оказался на самой верхушке.

— Зверь! — восхищенно взглянул на Угрюма толмач. — Сколько таких напестовал за двадцать-то лет?

— Троих!

— Смани вниз, а то убьется! — посоветовал без прежней заносчивости.

— А, пусть! — рассеянно отмахнулся Угрюм. — Отроду такой!

Пришли Первуха со Вторкой. Их кожаные штаны были мокры, в руках они держали корзину с серебристой, бьющейся еще рыбой. Беззвучно и настороженно уставились на отца, не приветствуя гостей.

— Снесите в дом! — приказал Угрюм. — Пусть мать напечет со сметаной. И баню гостям затопите.

— Сметану можно и без рыбы! — шутливо загалдели казаки.

Иван с удобством расположился под навесом, строго, с любопытством, разглядывал оттуда Первуху со Вторкой. За его спиной присела русская баба. Едва юнцы с корзиной ушли в дом он перевел взгляд на Угрюма и отчужденно пророкотал:

— Сядь-ка, раб Божий Егорий! Угощение — хорошо! Но скажи нам: какая река вытекает из здешних мест, где горы сходятся клином?

«Узнал!» — ударила кровь в лицо Угрюма. Старые шрамы побелели, он послушно и неловко присел посреди двора.

— Одна река течет отсюда: Мурэн-Ангара, — махнул рукой на восход. — При попутном ветре дня за два можно доплыть. А как задует с другой стороны, бывает, неделю ждешь, — ответил с готовностью.

Иван обвел взглядом притихших казаков.

— А Иркутом на Байкал ходят? — спросил. — Где его исток?

— Далеко! — Угрюм махнул рукой на закат. — Верст пятнадцать отсюда есть волок. Здешние речки все в Байкал падают. Из него только Ангара!.. Про пролив в море ничего не знаю: сам не видел и от других не слышал, — отвечал на расспросы.

— А что тебе за нужда на исток Ангары ходить? — спросил десятник с разбойной рожей. — Не берешь ли на себя ясак царским именем?

— Куда мне, убогому! — замахал руками Угрюм, залопотал, шепеляво оправдываясь: — Самого мунгалы обирают. Иной год я меняю там железные и костяные поделки на соболей, а рухлядь отдаю мунгалам за железо.

Иван вдруг начальственно вперился в него взглядом, спросил с усмешкой в бороде:

— Серебро есть?

— У меня-то? — опять заволновался Угрюм, лихорадочно соображая, мог ли кто донести про спрятанный слиток. — У меня-то нет и не было… Ни к чему оно мне. Железа и того нынче на пару подков… — Опасливо обернулся, увидел, что из бани валит дым, а сыновья стоят за его спиной, с восхищением разглядывая казаков и их оружие.

— Что, пострелы? — догадливо подмигнул им сын боярский. — Саблю посмотреть хотите? — вынул из ножен легкую казачью сабельку. Блики солнца искрами брызнули с клинка. У Первухи узкие глаза сделались круглыми и выступила испарина на лбу, Вторка разинул рот. Сын боярский самодовольно хохотнул в бороду, встал, отступил на шаг, со свистом закрутил саблей вокруг себя, будто оделся сверкающим шаром или нимбом святого.

Слезы потекли по пухлым щекам Вторки, Первуха застонал, заскрипел зубами.

— Не пропала русская кровь! — торжествуя, Иван кивнул Угрюму и со звоном бросил саблю в ножны. Первуха со Вторкой не спускали с него восхищенных глаз. — Ну, давай, угощай! — приказал Угрюму, указывая взглядом и на сидевших ясырей.

— Откупайся! Много задолжал и мне, и государю! — В сказанном был намек на невыплаченную кабалу, которую Угрюм оставил на брате.

Он поднялся, заколесил по двору, прихрамывая больше обычного, велел сыновьям забить бычка, жене — выставлять что готово.

Насытившись, атаман властно сказал хозяину через застолье:

— Дал бы ты нам вожами своих сыновей. — И, обернувшись к юнцам, спросил: — Окрестности знаете?

«Мог бы не спрашивать, — с тоской подумал Угрюм, взглянув на них. — Не пусти — убегут! А как узнают, что он им родной дядька?» — зажмурился от бессилия и привычно заканючил:

— Один я при доме, калека, а руки всего две. Сыны только-только помощниками стали. Заберете, как жить?

— Я тебе вместо них двух ясырей оставлю, — пообещал Иван Похабов, обернулся к двум мужикам тунгусской породы, похвалил их: — Проворные, молодые, у хоринцев пастухами служили.

Казаки заметили, что Угрюм хозяйским взглядом окинул мужиков, прикидывая выгоду, и стали наперебой предлагать:

— Покупай наших ясырей! Недорого отдадим!

Угрюм, забыв про сыновей, стал лихорадочно соображать, что теща состарилась, за ней уже нужен уход, а жена с младенцем на руках не успевает управляться с домашними делами. Раздаивать коров было некому. Он давно подумывал купить ясырку у князца Нарея, но знал, если спросит о нужде сам, тот заломит цену вдвое. Здесь, даже по случаю, покупали и продавали рабов не дешевле коня, их охотно брали буряты и промышленные ватаги, платили скотом и соболями. Товар был ходовой, перепродать ясырей можно было с прибылью.

— Есть у меня немного соболишек! — замялся. — Берегу, чтобы у мунгал железо купить... Думать надо!

Казаки ушли. Первуха со Вторкой убежали за ними. Угрюм привычно подсчитал убытки, и они оказались невелики. Двор убирать не пришлось: даже рыбьи кости казаки сложили кучками на бересте, кое-где наплевали ясыри, а так ничего. Как пообещал атаман, в доме охотно остались два мужика. Кроме них Угрюм купил у казаков двух баб: ясырку в зрелых годах — душоодтэй* и молодую бабенку с младенцем. Тоска по сыновьям, ушедшим невесть куда и неизвестно на какой срок, перемежалась в его душе с печалью: мог бы купить и десяток ясырей, а к зиме продать или поменять на скот, но боялся показать казакам всех соболей, чтобы те не взяли с него подушную подать за двадцать лет, а Ивашка не потребовал бы долг за кабалу. Мог заплатить и серебром, но боялся, что казаки станут пытать — где взял?

Иван с Первухой и Вторкой вернулся через три дня. Удивленный их ранним возвращением, Угрюм стоял на крыльце, опустив руки, и не знал, как их встречать. Поверх рубах сыновей висели свежевыструганные кедровые кресты.

— Ну, здоров будь, брательник! — насмешливо кивнул молчавшему Угрюму Иван. — Отчего не рад родне?

— Здравствуй, брат! — тоскливо оправдался хозяин: — Все думал, ты — не ты? Вдруг меня признать не хочешь… Окрестили уже, без попа! — кивнул на сыновей. — А мне черный дьякон отказал, когда я проходил мимо скита.

— Есть у нас казак — все молитвы знает. Для здешних мест сойдет, — властно усмехнулся Иван и размашисто махнул рукой со лба на грудь. — После, если что, попы перекрестят.

— Каких хоть святых дали в помощь? — обидчиво скривил рваные губы Угрюм. Теперь его шрамы походили на глубокие морщины.

— Знатные святые Петр и Онуфрий! — Иван положил широкие ладони на плечи племянников. — Как раз на Петра-солнцеворота крестили. Лето на жару, день на зиму!

Повеселевшая жена выставляла на стол угощения, ей помогала молодая ясырка, та, что старше, баюкала за печкой двух младенцев. Отданные в работники мужики

**Душоодтэй — в возрасте сорока лет (бур.).*

убежали в лес. Их никто не окликал, не искал, и после полудня они осторожно вернулись. Ясырь по прозвищу Болтун, зыркая по сторонам, спросил Первуху:

— Казаки нас не заберут? — Ни тому, ни другому возвращаться в отряд не хотелось.

Из сеней, придерживаясь рукой за стену, вышла сморщенная старушка с приветливым и радостным лицом. Первуха со Вторкой кинулись к ней, стали обнимать.

— Порветесь, как коровий желудок! — скороговоркой обронила мать и рассмеялась.

Сыновья тоже хохотнули, Первуха пояснил дяде:

— Говорит, надутыми ходим! — И, обернувшись к отцу, заявил: — Вот поставим острог, мунгалы тебя не тронут!

Угрюм горько улыбнулся: в сказанном был намек, что сыновья с ним жить не хотят. Третьяк, осмелев, забрался на колени к старшему Похабову, стал забавляться темляком сабли.

— Бэлтергэ! — вздохнул Угрюм и тут же поправился по-русски: — Тоже волчонок!.. Для кого надрывался и строил столько лет? Себе и им воли хотел, — пожаловался брату. — Твои-то как? — спохватился. — Якунька жив?

— Служит! — слегка нахмурился Похабов. — Умен. Загодя судьбу себе правил. Дочь без тебя Бог дал. Замужем уже, внука родила… Отрезанный ломоть! — тоже невольно вздохнул, усмехнулся: — А Меченку замуж отдал за молодого казака.

— Продал, что ли? — вскинул прояснившиеся глаза Угрюм.

— Так отдал! Еще и приплатил, чтобы не видеть ее злющей рожи.

— А попы что? — веселея, переспросил Угрюм.

— А я их не спрашивал!

Будто треснул давний ледок, братья заговорили проще и свободней.

— Знаю, ты рожь и просо сеешь? — сказал атаман.

Угрюм опять замялся, опасливо поглядывая на сыновей.

— Так, на пробу! Пользы дому никакой.

— Пробуй! — кивнул Похабов, не выспрашивая про урожаи. — Как комар прилетит — сей яровую, земля иссохнет — озимую. Посмотришь, что лучше заколосится. Промышленные ходят здесь явно: не тропа, торная дорога. Даст Бог, поставим острог, — указал глазами на закат. — Тебя в пашню запишу — и заживешь под государевой защитой с его десятины или с десятого снопа.

Угрюм, потупясь, все ждал, что брат напомнит про долг по кабале. Не вспомнил.

Теща с умилением поглядывала на мужчин. Сидя, как они, на лавке, она быстро устала. Булаг подложила ей под локоть овчинный тулуп, старушка прилегла, охая и радостно бормоча:

— Наконец-то родственники появились. Без родственников жить плохо.

— Скоро у нас много родни будет! — весело пролопотал по-бурятски Первуха и добавил для дядьки по-русски: — Радуется!

Не только ради родства пришел в дом брата сын боярский. По лицам сыновей Угрюм догадывался, что разговор будет о них, и ждал главных слов.

— Хочу идти на Ангару волоком, как ходят промышленные ватаги. Отпусти со мной племянников вожами?! — сказал наконец Иван, улучив удобный случай в разговоре. Мог бы и не спрашивать, но попросил.

— Так им еще рано в службу? — Угрюм сделал вид, что удивлен.

— Рано! — согласился Иван, оглаживая бороду. — В цареву службу не поверстают, но могу взять охочими, пусть поглядят, как казаки живут. Мне и нужны-то они только до Иркута, там сами сплывем. А я тебе в помощь оставлю своих ясырей на всю зиму, — неожиданно озадачил брата дорогим подарком.

С ясырями Угрюму расставаться не хотелось. Польза от них в хозяйстве была явной. Сыновей отпускать от себя он тоже не хотел. Но если только до Иркута…

— И когда они вернутся? — спросил, опасливо облизнув губы.

— Если дашь коней, то быстро. Пешими — дольше! — ненавязчиво потребовал лошадей Иван.

Угрюм ждал худшего. Все равно это была не цена за ясырей, пусть даже на одну зиму. Он повеселел и вдруг снова боязливо нахмурился, вскинул мутные глаза:

— Постой! Вы же тамошние улусы будете ясачить? А то и аманатов возьмете. Уйдете потом на год-другой, а меня браты с мунгалами со света сживут, разорят, а то и убьют.

— Мы говорили об этом! — кивнул на племянников Иван. — Умные у тебя мальцы, все понимают. Решили сделать так: встретим народы — государево жалованное слово им скажем. Дадут ясак доброй волей — возьмем, а требовать пока не станем. В другой раз всех объясачим.

Угрюм опять повеселел.

— Эти шалопаи, бывает, неделями в лесу пропадают, — проворчал, кивая на старших сыновей. — Даст Бог — вернутся живы-здоровы! А коней дам четырех и два седла. Даже три. — И спохватился, засуетился: — А как сбегут от меня твои ясыри или мунгалы отберут?

Сын боярский презрительно хохотнул.

— К кому им, безродным, бежать? С тунгусами жить уже не смогут, хоть бы и рабами у своих, с братами нажились. Разве только мунгалы силой заберут. Но я оставляю их тебе не даром! — Взглянул на брата со скрытой насмешкой: — К весне построишь два струга на шесть весел. Будут струги хороши — ясыри твои навек.

Первуха со Вторкой, новокресты Петруха с Онуфрием поняли, что отец с дядькой договорились, и стали весело лопотать, ластясь к матери и бабушке.

Из верховий речки, впадавшей в байкальский култук, проторенным волоком казаки перетащили струги к верховьям другой, бегущей к Иркуту. Здесь черновая тайга расступалась просторными полями по пологим склонам гор, на них пасся скот князца Нарея. Иван Похабов велел племянникам не лезть на глаза людям его рода, а сам, с Федькой Говориным и толмачом, отправился к стану. Вернулись послы только к ночи, после сытного ужина. Казаки обступили их, стали расспрашивать про здешний народ. Сын боярский посмеивался:

— Боится князец дать ясак! Намекнул: был бы, дескать, поблизости острог — другое дело. Жалуется, что у него самые плохие выпасы и с них его вытесняют сильные роды, кочующие по долине. Говорит, там много народов и живут богато. Сам жалованное государево слово слушал с почтением, в поклон царю дал десять соболей.

— Я ему подарил ясыря, — с важным видом заявил Федька Говорин. — За других он заплатит рухлядью.

Слова десятника вызвали оживление среди казаков. Многие из них хотели поскорей отделаться от пленников, доставшихся при дележе добычи.

Иван Похабов простился с племянниками на берегу Иркута. Одетые по-тунгусски, с тунгусскими луками, верхом на лошадях, стриженные по-казачьи, они для здешних мест и народов выглядели чудно.

— Как же обратно поедут, такие молоденькие? — беспокойно захлопотала Савина, опекавшая юнцов в пути.

— Эти не пропадут! Кого там! — Мартынка-толмач похлопал по загривку коня под Первухой.

— Мы и дальше бывали, тетка! — стал успокаивать Савину Вторка.

Юнцы неохотно расставались с казаками. Иван чувствовал, позовет — уйдут за ним, но не звал, только обещал навестить весной.

— К тому времени, глядишь, и в службу возьму! — пообещал со смехом.

Едва Похабов расстался с племянниками, отряд встретил две промышленные ватажки, которые поднимались бечевой к волоку. Увидев казаков, промышленные люди испугались, засуетились, но стругов не бросили. Ватажки имели отпускные грамотки енисейского воеводы трехлетней давности, где говорилось, что идут они в верховья Лены. Передовщики жаловались, что рухляди добыли мало из-за войн казаков с братами, теперь вынуждены искать новые промыслы. При объявленной бедности они купили у казаков всех ясырей. Купили бы и последних двух баб мунгальской породы, но те, пользуясь мужской слабостью, прельстили своих хозяев, которым достались по жребию, и казаки не пожелали с ними расстаться.

Промышленные забрали плененных мужиков, расплатились черными головными соболями и сокрушались, что казаки отпустили вожей: о Байкале они знали только понаслышке. Ясыри быстро все поняли, восчувствовали себя нужными и важными, поэтому в обратную сторону, к Байкалу, пошли уже не пленными, а бывальцами и провожатыми.

— Ишь! — гоготал Федька Говорин. — Не были, а знают, как за Байкал ходить. Плыть напрямик, как мы, — дураков нет!

В низовьях Иркута казаки увидели пасущийся скот. Они торопились и не хотели приставать к берегу, но к воде выскочили конные мужики, и пришлось сделать остановку. К стругам выехал и спешился князец Яндоха, о котором говорил дьякон Герасим, стал зазывать казаков на пир. Похабов оставил у стругов троих, с остальными пошел к большой юрте.

На стане Яндохи суетливо забегали мужики и бабы, забили бычка, баранов, стали варить мясо. Казакам побыстрей выставили угощение из того, что было готово. Атамана, толмача и десятских казаков князец зазвал в свою юрту с поднятым войлоком, стал расспрашивать, откуда они пришли, жаловался, что промышленные ходят часто, а казаков встретил первый раз. Яндоха с большим почтением выслушал жалованное государево слово, с радостью предложил дать ясак и присягнуть царю на вечное подданство. Желавших шертовать государю казаки встречали по Ангаре и за Байкалом, но чтобы среди лета доброй волей предлагали ясак, такое случилось впервые.

К устью Иркута струги подплывали в начале июля, на святого мученика Мефодия-перепелятника. Показался остров черного дьякона, над ним висел дым, как от пожара. Со стороны протоки виднелись три больших, шестивесельных струга.

— Кто бы это мог быть? — в рост поднялся на корме Иван Похабов, оглядывая остров из-под руки.

Казаки причалили рядом с чужими, но по виду енисейскими стругами. На берег выбежали два десятка полуодетых русских людей, радостно запрыгали, замахали руками, бросились помогать вытаскивать суда.

— Кто такие? — оглядывая их, спросил сын боярский.

— Свои, енисейские! Не узнаешь, что ли? — загалдели люди в потрепанной

разношерстной одежде. А от костров подходили другие, запрудив весь берег.

— Атамана Колесникова!

— Тьфу ты! — не сдержавшись, выругался Похабов. — Как здесь-то оказались?

Казаков под руки высадили на остров, повели к избенке черного дьякона. Самого Герасима в ней не было, а старый Михейка, утомившись многолюдьем, отлеживался возле дымокура. На таборе дымили три костра, на них пекли рыбу и птицу. К Ивану подсел знакомого вида молодец, спросил скалясь:

— Не признаешь? Охочий я, Пятунка Голубцов, сын Цыпани. Ты у нас зимовал в приказчиках.

— Вон кто! — переломив бровь, строго взглянул на него сын боярский. — Ну, сказывай, как здесь оказались и где атаман?

— Атаман на устье Верхней Ангары! Как только дошли мы туда и поставили зимовье, он велел нам, охочим, возвращаться за ненадобностью и за хлебной скудностью.

Казаки Похабова стали выспрашивать о добытой рухляди и ясырях. Оказалось, что енисейцы возвращаются от атамана нищими, питаясь в пути рыбой и птицей. Колесников забрал в казну все, что было добыто прошлой зимой на погромах, не дал им ни казенных ружей, ни пороха, ни свинца, ни хлеба. У кого что было свое, с тем и плыли обратно.

— Однако хитер! — в который раз удивился Иван изворотливости старого сослуживца. — Перемены в этом году не ждет. Да и с чего бы? — Помолчав, добавил с едкой усмешкой: — Разворошил улей возле Братского и ушел, где поспокойней!

Не поделиться с колесниковскими людьми хлебом служилые Братского острога никак не могли, но взять на прокорм отряд вдвое больше своего им было не по силам. Похабов объявил, что задерживаться на острове не будет, велел всем отдыхать до утра, сам сел в легкую лодку и отправился на другой берег Ангары, навестить скитника в его келье.

Плыть с казаками в Енисейский острог по наказу покойного инока Тимофея Герасим не мог: ему не на кого было оставить дряхлого Михея, а везти за собой — жалко. Иван взглянул в умные, светлые глаза дьякона и начал вдруг оправдываться, что не может задержаться здесь сам.

— Даст Бог, вернусь в Братский, отпишу воеводе, — почесывал затылок. — Научи, что ли, как писать? На Селенге тамошние браты просят поставить острог. Через байкальский култук ходят воровские промышленные ватаги и там нужна застава. А здесь если просить поставить острог, то разве только для Яндохи? Или как?

— Место тут благое для города! — смущенно отвечал монах. Спохватившись, добавил: — Отсюда ватаги во все стороны ходят — и на Байкал, и на Лену.

— Ангарой-то через Байкал — не шибко хорошо! — замялся Похабов, вспомнив свое плаванье. — Напишу, конечно! — пообещал. — В Москву надо челом бить, да так, чтобы у дьяков Сибирского приказа зуд по телу пошел, дескать, места пашенные и зверовые, вбей кол — и повалит им рухлядь как из хлябей, народ отовсюду побежит, ясак станет давать и торговать.

— Ой, не знаю, как писать, — беспомощно опустил глаза монах. — А место благое!

На рассвете далеко по плесу разнесся многоголосый распев молитв. Пять стругов, битком набитых людьми, вышли на стрежень. Гребцы налегли на весла, лодки понеслись вниз по течению реки. В сумерках отряды пристали к берегу для ночлега. Не будь на стругах так тесно, ночевали бы на плаву — плес был широк, путь знаком. Казаки и охочие Похабова стыдливо роптали: людей увеличилось втрое и кончалась последняя рожь.

— Тайноедение — грех! — мягко корил их сын боярский и плутовато щурил глаза, поглядывая на колесниковских охочих людей.

— Что волоком-то, через Верхоленский не пошли? — неприязненно допытывались у них казаки. — Курбатка Иванов вдруг бы и насыпал ржи?

— Ага! Всыпал бы плетью по спинам да присолил в почесть, — огрызались охочие. — Ссорился он с Васькой Колесниковым, едва до стрельбы не доходило, а нам ответ держать?

Возвращавшиеся вспоминали о своем походе неохотно, но с любопытством расспрашивали казаков про Селенгу, а те с упоением рассказывали о тамошних народах:

— Бабы у них серебром обвешаны!.. У мужиков брони из серебра…

Пятунка Голубцов, по праву давнего знакомого и старшего в колесниковском отряде, держался поблизости от Похабова, простодушно восхищался порядком среди казаков, тем, что никто не был обижен при дележе добычи.

— Неужто придете в Братский острог и поделитесь с тамошними сидельцами? — не мог поверить их разговорам.

— А то как же? — пожимал плечами атаман, оглядывая своих десятников. — Ис-

кони так заведено.

— И родственникам погибших — долю! — вторил ему Федька.

Похабов все чему-то посмеивался, с прищуром поглядывал на охочих и грыз тонкую березовую ветку крепкими зубами. Савина бросала на него удивленные взгляды, а ночью, когда возлегли на хвое и укрылись шубными кафтанами, прошептала:

— Ой, что-то удумал? Не знаю, хорошее ли?

— Удумал! — признался Иван. — Дело полезное всем.

Большего он говорить не стал.

Едва поредел лес по берегам реки и начала открываться братская степь, атаман приказал всем грести к берегу. Без всякой нужды казаки пристали к нему еще до полудня и он объявил, о чем думал в пути:

— Васька Колесников не смог поставить зимовье на Осе, отписался, что леса нет. А я поставлю, как воевода велел и как Курбатка просил. Лес рубить будем здесь. Каждому свалить и очистить от веток по паре стволов — всего-то полдня трудов, а Братскому и Верхоленскому острогам — облегчение.

— Нам надо до ледостава успеть в Енисейский, — заволновались охочие люди Колесникова.

— Избу рубить, острог ставить — не заставлю! — уверил их сын боярский. — Поможете пригнать плоты на Осу и плывите дальше: не даром наш хлеб ели. А кто захочет со мной остаться и на другой год на Селенгу идти, тому сам Бог велел отмаливать Васькины грехи на Осе.

Люди вышли на берег. Застучали топоры, с треском и хрустом повалились вековые сосны и ели. Для шести десятков мужчин связать плот из полутора сотен бревен было делом пустячным. Пугливо убегал от шума зверь, спешно разбирали чумы тунгусы на ближних урыкитах. Для них звуки падающих деревьев были страшней хруста человеческих костей. Через день течение реки понесло узкий и длинный плот. Два струга правили его спереди, один сзади, еще два — подталкивали с боков. А по берегам уже тянулась степь с дымкой гор вдали.

Из устья Иды, в верховьях которой был волок в Илгу, на Ангару выплыл четырехвесельный струг. С него заметили плоты, и вскоре казаки догнали медленно сплавлявшийся караван. Старшим в струге был Михейка Сорокин. Он издали узнал Похабова, улыбаясь щербатым ртом, подвел свою лодку к нему, узловатыми пальцами схватился за борт.

— Так и думал — Ивашка плывет, чтобы меня одарить! — завистливо окинул взглядом длинную связь плота.

В стружке сидели на веслах братья Сорокины — Антип и Яков. Якунька, как всегда, скалился, его нос с выдранными ноздрями кривился клювом хищной птицы: не понять, то ли смеется старый казак, то ли злится. С ними были трое верхоленских служилых. Они удивленно вертели головами.

— Колесниковские, что ли? — спрашивали, разглядывая людей в других стругах.

— Васька выпроводил сорок ртов за ненадобностью, — пояснил Похабов. — Коли есть нужда в людях — зовите к себе!

— Братов дразнить? — хмыкнул Якунька, блеснув белками глаз. — Накуролесили, озорники! Мы расхлебываем…

— Кормов нет! — устало вздохнул Михейка. — Окладов, впусте, — тоже нет. Нынче Васька Бугор полторы недели сидел в осаде, все старые кожи поел.

— В Верхоленском, что ли? — удивленно поднял брови Похабов. — А чего он там?

— Десятник! — криво усмехнулся Михейка, а брат его, Якунька, презрительно сплюнул за борт.

Иван несколько мгновений смотрел на Сорокиных с недоверием и вдруг, задрав бороду, расхохотался на всю реку.

— Нашли-таки волю, смутьяны! — замотал головой, смахивая слезы. – И они приверстались в казаки.

Старший Сорокин терпеливо, с пониманием, переждал, когда он утихнет.

— Курбатка послал нас присмотреть место для нового острожка. Братский нам не подмога: далеко и на другой стороне реки. Может, вместе поставим зимовье? — кивнул на берег. — На Уде — краснояры! Как ни яры, а все прикрывают. Здесь бы еще людей посадить, чтобы не было разбоя, как нынче.

Похабов кашлянул, посуровев лицом, задумался:

— А ясак на кого брать?

— Все государево! — напористо прогнусавил Якунька Сорокин.

— Ты об этом моему воеводе, в Енисейском, скажи! — усмехнулся сын боярский. — А твой далеко, аж в Якутском. — И добавил строго: — На устье Осы я поставлю зимовье по указу нашего воеводы, а кому в нем сидеть и на кого ясак брать — без нас решат!

Верхоленцы поплыли налегке вдоль пологого берега, их струг быстро удалялся от

каравана. Казаки и охочие люди Ивана Похабова подогнали плот к острову в устье Осы, вышли на берег и развели костры. Савина напоказ вытрясла мешки из-под ржи, все они были пустыми, хотя хлеб ели только по средам, пятницам и воскресеньям.

— Думайте! — стал поучать охочих Иван. — Пойдете ходко, веслом да парусом, даст Бог, недели за три доберетесь до Енисейского. Там не околеете от голоду даже на поденной работе, живота ради. Останетесь у меня, в Братском, и не придет перемена, придется голодать. Зато на другой год, даст Бог, добудете что-нибудь!

Как и обещал, задерживать колесниковских людей Похабов не стал, надеялся, вдруг на его посулы прельстится с десяток охочих. Но зимовать в Братском остроге вызвалась чуть не половина отряда Пятунки Голубцова. Ради похода за Байкал его люди готовы были строить зимовье на Осиновом острове.

— Боюсь, не прокормлю всех, — в сомнении качал головой Похабов, а отказать доброхотам не мог. — Прибудет перемена с хлебом или нет — не знаю.

Его служилые и полтора десятка охочих дружно простились с колесниковскими людьми, решившими плыть в Енисейский острог. Поредевший отряд отправился вниз по реке на двух стругах и вскоре догнал братьев Сорокиных. Верхоленцы, надеясь на перемену в Братском остроге, везли грамоты, челобитные и отписки Курбата Иванова для енисейского воеводы. Сами плыть в Енисейский острог они не хотели, надеялись отправить бумаги с вестовыми из Братского.

На острове на другой уже день казаки и охочие поставили балаганы, расчистили место под избу, стали рубить зимовье из готового леса. На кормах из рыбы и птицы работали от зари до зари, спешили, чтобы вернуться в Братский к Успенскому посту.

В сырой, пахнущей смолой избе без печки вызвались зимовать три казака, те самые, что отказались продать своих ясырок на Иркуте.

— Мало! — ворчал атаман, но неволить никого не хотел. — К холодам пришлю подмогу и хлеб. А пока делайте вид, что зимовье не впусте. Пусть дым над избой курится.

Обещанное Бояркану он исполнил.

Три струга под началом Ивана Похабова вернулись в Братский острог в августе, к заговению на Успенский пост. Их ждали, о них знали от колесниковских людей. Не зря спешил Похабов от самого Байкала: смена годовальщиков уже прибыла, встретить его вышли атаман Максим Перфильев и сын Яков.

— Вот уж не ждал такой милости от Федьки Уварова, — раскидывая руки для объятий, сошел со струга Иван, сгреб за плечи старого друга, обнял сына. — Поди, с целым войском прибыли?

Лицо товарища покривилось, Максим замотал головой, как от зубной боли, Якунька нахмурился.

— Какое войско? — с обидой вскрикнул Перфильев. — Пятнадцать служилых. Вот что делает, проходимец… Я ему, воеводе, толкую — война там! — без всякого степенства выругался атаман. — Курбаткины грамотки читаем — у верхоленцев осада за осадой. А Федька... — Максим окинул взглядом собиравшихся вокруг него казаков, махнул рукой и умолк, поскрипывая зубами. — Поговорим еще! — кивнул Ивану, обернулся к Савине и лицо его посветлело. — Дай поцелую, милая! Всю зиму вспоминал вас. Как зимовала?

Без смущения подошел к Савине Яков. Она по-матерински перекрестила его, ткнулась лбом в молодецкую грудь, всплакнула, отступила на шаг, чтобы полюбовалась статным молодцом. «Не забыл ее тепла, ласк и хлеба», — с радостью отметил про себя Иван. Все они двинулись в острог, на гору. Впереди плечо к плечу шагали отец, сын и старый друг — разрядный атаман. Савина вежливо приотстала.

— Как мать? — спросил Якова старый Похабов.

— Жива-здорова! — ответил сын, равнодушно пожимая плечами. — Ей за Оськой как за крепостной стеной. Добрый казак, в обиду не даст: сам от голоду помрет — ее накормит, чего еще надо под старость?

— А Федька-воевода читал мне сладкоголосые отписки Васьки Колесникова, — нетерпеливо продолжил ворчать енисейский атаман.

— Так он же неграмотный, Васька-то? — замедлил шаг Похабов.

— Что с того? — усмехнулся Перфильев. — С его медового голоса кто-то пишет, да так складно: все виновны, но только не он. Он радеет за государево дело… Это что же? — снова вскрикнул Перфильев, невольно злясь. — Мне — пятнадцать служилых против всей немирной братской степи, а Ваське полусотня в обузу. Отправил людей обратно и хлебный их оклад присвоил.

Трое подошли к острогу с распахнутыми воротами. Перфильев уже знал, что с Похабовым осталось полтора десятка охочих людей. Гарнизон острога был укреплен, но хлебного припаса, привезенного им, на зиму всем не хватало. Атаман побрюзжал на воеводу, на начальствующих людей и скаредно хохотнул:

— Есть и для тебя новость. Твой недруг, Ермес, так ведь и не отказался от государева слова и дела. Был отправлен за приставами в Томский, сидел там в

тюрьме, вместе с людьми, властью обиженными. Случился в городе казачий бунт. Бунтовщики всех узников освободили, Ермеса тоже, и он среди бунтовщиков сделался заводчиком... Когда бунт усмирили, против него начали сыск. И вдруг он помер у Бунакова в доме. А все, что имел, отписал на жену и бунаковскую родню. Дело темное, — поглядывая на товарища, завздыхал атаман, — но тебе теперь обратный путь открыт, хоть воевода в Енисейский и не зовет. — Перфильев помолчал, раздраженно гоняя желваки по скулам. Опять заговорил с тоской в глазах:

— И еще! Бес неправому помогает, а Господь, за грехи наши, попускает. Помнишь соболей, которых я взял у скороходовских людей? Якутский воевода, Василий Пушкин, объявил против меня сыск, велит прибыть к нему. А наш Федька Уваров, сынишка боярский, кто против него? Принять-то принял в казну скороходовских соболей и лис, а меня выгораживать боится: ничего, мол, не знаю, сам с той рухлядью разбирайся!

Придется тебе здесь зимовать! — Перфильев наконец вскинул на Ивана виноватые глаза: — Мне надо плыть в Якутский острог.

— Езжай! — беспечально согласился Иван. — Я на Селенге братов к присяге привел, а ясак не взял. Если к ним пойдет другой, могут не дать, как обещали. В зиму Якуньку оставлю на приказе, — кивнул на сына, — и опять за Байкал!

— Мне никак нельзя атамана бросить! — пробубнил Яков раздраженным баском. — Из-за братского князца, которого прошлый год зарезали, тоже сыск. Я — один свидетель за верхоленских казаков. А на приказ найдешь кого-нибудь. С нами пришел Митька Фирсов с братьями.

— Сыновья покойного сотника! — одобрительно кивнул Иван. — Добрые казаки. На них можно положиться.

Полтора десятка служилых, из тех, что зимовали в Братском остроге, пожелали вернуться в Енисейский. Похабов никого не удерживал, благодарил за службы и отпускал с послужной грамотой. Людей в остроге хватало, недоставало хлеба.

С отрядом Перфильева пришли два монаха из Спасской обители покойного инока Тимофея. Они были присланы в Братский острог благословением сибирского архимандрита, чтобы основать скит. Скитники томились острожным многолюдьем, избегали встреч с казаками, которые им изрядно надоели в пути, но вынуждены были ходить по пятам за Иваном Похабовым, просить его поскорей провести их по здешней округе, чтобы выбрать место для скита. А приказному, за делами, было не до них.

Раз и другой на глаза монахам попалась Пелагия, лицо которой показалось Ивану издали помолодевшим и даже благостным. Но заметил он, что бывшая жена шарахается от монахов как черт от ладана, а те, завидев ее, испуганно крестятся и поворачивают в другую сторону. Вблизи разглядел Похабов, что лицо его бывшей жены перекошено, глаза мечут искры. Никто лучше него не знал, что за этим кроется. И началась чехарда: избегая друг друга, то бывшая жена носилась возле него, как ведьма на помеле, то бегали монахи с тоскливыми лицами. Меченка выследила, когда он вышел за острожные ворота с Митькой и Арефой Фирсовыми и драной кошкой вцепилась в длинный рукав бывшего муженька.

— Чего тебе? — неохотно остановился Иван, ожидая склок и обвинений.

— Зашли меня с Оськой куда подальше! — взвыла Пелагия, выпучивая бирюзовые глаза и всхлипывая. — Монахи со света сживут!

— Возвращайся в Енисейский! — посоветовал Иван. — Зятек, говорят, покаялся и отрекся от обвинения.

— Нет! — вскрикнула она и знакомо шмыгнула носом. — Там скитницы заедят. Я их знаю!

— Куда ж я тебя зашлю? — беззлобно выругался Иван, выдергивая из цепких пальцев рукав кафтана. Взглянул на бывшую жену как на вихрь, проходивший стороной, и даже пожалел ее, непутевую. — Разве в Осиновское зимовье?

— Пошли в Осиновское! — снова ухватилась за рукав Пелагия. — Отправь поскорей!

— Жди! — пообещал Иван. — Разберусь с делами, отправлю!

Во время похода за Байкал Савина всегда была рядом, а тут, в остроге, как полюбовные грешники, они с Иваном встречались только по ночам и каждый порознь мучился своими заботами. Приказная изба была полна народу, лишь на печи шепотом им удавалось перекинуться словцом. И вот, прильнув к его плечу, она тихонько завсхлипывала.

— По детям сердце изболелось! — зашептала, шмыгая носом. — Думала, к зиме вернемся. Годовальщики говорят, мои на Лене: Емелька в казачьем окладе, Петруха в промышленных.

И с такой тоской она говорила Ивану о своих и михалевских сыновьях, что у того самого от жалости и сострадания к ней закололо под сердцем. Он обнял свою добрую, ласковую женщину, претерпевшую ради него столько тягот, с благодарностью прижал к себе, неуверенно, со страхом, предложил:

— Хочешь, отправлю в Енисейский? В пути старые казаки в обиду не дадут. Бог

даст, через год сам вернусь и заживем по-стариковски, а сейчас никак нельзя, — сказал, и будто стужей пахнуло от порога. Пугливо подумал: «Целый год одному!»

— Вдруг Емелька с Петрухой не вернутся к зиме, хоть бы Аниську с Герасимом повидать! — прерывисто вздохнула Савина и снова беззвучно заплакала, жарким, влажным дыханием обдавая шею Ивана.

— Съезди! — сердясь на себя, отрезал Похабов. — Годами жили врозь, чего это я так раскис с тобой?

Сменившиеся годовальщики уходили вниз по реке большим стругом. Скрывая печаль, Иван отправил с ними Савину, помахал ей вслед и тут только вспомнил про Пелагию с Оськой. Над ними потешался весь острог: говорили, как ни столкнется Пелашка с монахами — у благочинных рожи будто черта изловили, а она от них разве что через тын не скачет. В остроге и без Оськи с Пелагией яблоку упасть было негде: половина гарнизона ютилась по балаганам, другая за тыном. Прибывшие монахи ночевали под стругом. Они обошли окрестности, не нашли места для скита и снова ходили по пятам за приказным, канючили, чтобы их перевезли на другой берег.

Утром, едва сполоснув лицо и перекрестив лоб, Иван выглянул в оконце и увидел монахов. Смиренно потупив глаза, они опять стояли возле приказной половины, шевелили губами, клали низкие поклоны на восход. Один — тощий и длинный постник с сосулькой бороды в пояс, другой — малорослый, коренастый, круглолицый, с короткой шеей, с бородой помелом.

— Сегодня, даст Бог, перевезу! — рыкнул Похабов, выходя на крыльцо. — Будто на этом берегу нельзя скит поставить? — укорил, чуть было не выругавшись... В Успенский-то пост. Поморщился, перекрестился со вздохом.

— Все обошли! — не поднимая глаз и кланяясь, забормотали монахи. — Нет здесь благого места!

— Думаете ли вы, батюшки, как на другом берегу жить будете? — в который раз попытался вразумить их Похабов. — Вам одной охраны надо с десяток служилых. Да корма! Потаскай-ка их из острога.

— Бог не оставит! — тихо и настырно буркнул дородный. Другой, тощий, склонил голову в скуфье, как журавль сложил шею дугой. Русая борода свесилась мартовской сосулькой, порыв ветра с реки шевельнул волосы на плечах.

Похабов опять едва удержался от ругани: за монашеской мягкостью и видимым спокойствием стояли непреодолимое упорство и несокрушимая сила, с которыми не ему, грешному, спорить. Он безнадежно махнул рукой:

— После полудня! Буду отправлять служилых в Осиновское зимовье. Они и перевезут!

Монахи стали молча и благодарственно кланяться, Похабов смутился и добавил, глядя в сторону:

— С ними ясырка и баба… Пелагия-Меченка!

Сказал и почувствовал, что от его слов оба монаха содрогнулись.

— Нельзя нам с ней в одном струге! — сказал дородный, будто проскрежетал зубами, борода ощетинилась, глаза блеснули, как у татя. — Свез бы нас сам, Христа ради! — пророкотал отдаленным раскатом грома. А постник громко засопел.

Иван Похабов бросил было на духовных разъяренный взгляд, хотел втолковать им, сколько у него неотложных дел, но по лицам монахов понял, что те будут стоять возле крыльца, пока не добьются своего, и молча прошел мимо них в казачью избу.

Федька Меншин, перфильевский десятник, еще потягивался на нарах. Похабов обругал его вместо монахов, велел поторапливаться, подумал, не отправить ли в Осиновский братьев Фирсовых под началом старшего, Митьки? Посомневавшись, решил, что те ему здесь нужны, как опора, а среди зимы надо на Селенгу идти за обещанным ясаком.

Вышел, поколотил кулаком в прируб Оськи Горы.

— Чаво? — зевнул за дверью ссыльный казак.

— Быстро с бабой и пожитками в струг! — не открывая двери, крикнул Похабов. Пелагия, нечесаная, простоволосая, приоткрыла вход, опасливо зыркнула по сторонам, увидела монахов возле приказной избы, охнула, затворилась.

К полудню он отправил-таки людей в Осиновское зимовье своим благословением, так как скитники из-за блудных баб отказались служить молебен о благополучном отплытии и упорно стояли возле приказной избы. Уставший уже к полудню, Похабов вернулся с реки.

— Поживите пока в Оськином прирубе! — предложил, оправдываясь занятостью. Те брезгливо замахали руками:

— Там блудом пахнет!

Хрипло, безнадежно вздохнул сын боярский, поманил Митьку Фирсова, стоявшего в карауле:

— Возьми стружок, свозите с братом батюшек за реку! Я за вас в карауле отдохну… Но чтобы к ночи вернулись! — строго взглянул на скитников.

Умными и расторопными выросли сыновья покойного стрелецкого сотника, ни за чинами, ни за жалованьем не гонялись, спин ни перед кем не гнули, — молитвами ли отца с того света, его ли славой на этом, удача их сама догоняла. Дорожил Иван такими казаками, не хотел отпускать от себя. Монахи, поклонившись ему в пояс, повеселели.

К ночи братья пригнали к острогу стружок без них.

— Присмотрели место для скита за горой и захотели остаться, — пришел доложить Митька. От казака пахло стылой осенней водой и свежей рыбой. — Не тащить же нам их силой? А к ночи ты велел вернуться!

— Правильно! — похвалил братьев сын боярский. — Им — Господь защита!

— Сговорились, если понадобится, они на том берегу дымокур разведут. Увидим, заберем.

— Не на этой, так на другой неделе река встанет! — заворчал Иван. — Без того дел много, потом больше будет. А тут еще эти…

Дымокура не было всю неделю. Заберег на десять шагов покрылся льдом, по черной воде поплыло снежное сало. Похабов стал беспокоиться — живы ли монахи? По опасной реке опять отправил на другой берег Фирсовых с мешком ржи и с шубными кафтанами. Братья благополучно вернулись, сказали, что монахи сделали землянку, питались рыбой и древесной заболонью, за рожь благодарят, а в острог возвращаться не желают: собираются зимовать в скиту, проповедовать Слово Божье среди братов и тунгусов.

С опаской и недовольством приказный почесал затылок, но ничего не сказал: черноризники были не в его власти. Между тем от Курбата Иванова со льдами опять сплыл вестовой. Верхоленский приказчик жаловался: усилилась смута в братской степи и на другом берегу Ангары. Воровские отряды братов и тунгусов появлялись даже на устье Куты, подходили к солеварне, отнятой в государеву казну у Ерофея Хабарова.

Встала река. Малыми отрядами казаки разошлись на промысел мясного припаса, иные промышляли соболя неподалеку от острога. Вскоре лед окреп. Похабов, как обычно, стал отправлять казаков за ясаком: Федьку Говорина — вниз по Ангаре, Дружинку — вверх по Оке, Фирсовых сыновей — до Осы, к вздорным икирежам, нападавшим на верхоленцев. Острог опустел, и приказный стал ходить в караулы наравне с казаками. К Рождеству начали возвращаться разосланные отряды. Федька опять взял ясак сполна, но где-то в верховьях Чуны наткнулся на большой отряд красноярцев и едва унес ноги. Дружинка вернулся с жалобами: в отместку за прошлый год красноярцы взяли ясак с двух родов в верховьях Оки. Позже всех вернулись братья Фирсовы. Они принесли ясак со всех прежних братских родов, присягавших царю. По наказу Похабова ходили с Федькой Меншиным вверх по Осе, звали тамошних братов под государеву руку.

Икирежи жили скопом, большими селениями. Жалованное государево слово они слушали с насмешкой, а казаков прогнали. На пути к зимовью их окружили тунгусы и хотели убить. Отгородившись от стрел нартами и лыжами, Фирсовы с Меншиным сидели в осаде с неделю, при вылазке взяли языков, от них узнали, что тунгусы были подкуплены братскими князцами, чтобы перебить казаков. Федька с Митькой вызвали на переговоры главных сонингов, откупились от них топорами и котлами. С тем и вернулись в зимовье. Все живы.

Ох как нужны были Похабову сыновья сотника Фирсова на Селенге, и они рвались за Байкал, но воевать — не править! Чтобы управлять острогом во времена шаткости ясачных народов да еще при малом гарнизоне нужна была не только твердая рука, но и умная голова на плечах. В таком деле, кроме как на Митьку Фирсова, положиться Ивану было не на кого. И пришлось ему оставить сыновей первого енисейского сотника в Братском остроге. Сам же с отрядом стал собираться на Селенгу. После Крещения Господня три десятка служилых нагрузили двухсаженные нарты, накрепко обвязали их ремнями и двинулись по льду к истоку реки.

Мимо красноярского зимовья они прошли не останавливаясь, не вступая с казаками в споры. Дул пронизывающий встречный ветер, мела поземка, то и дело переходя во вьюгу. Иван Похабов налегке шел впереди каравана и, как ни укрывался, как ни прятал лицо от ветра, в Осиновское зимовье явился с отмороженным носом. С важностью человека начального вошел в тесную избенку, где в два яруса ютились восемь служилых, четыре ясырки и баба. Едва переступил порог, Федька Меншин стал жаловаться на тесноту, голод, икирежей, которые грозили осадить зимовье.

— Боярковы мужики были? — спросил Иван, вполуха слушая жалобы десятника. Пелагия, забившись в угол, не сводила испуганных глаз с его красного распухшего носа.

— Были! — поперхнулся Федька. — Ясак привезли добром!

— Это уже хорошо! — оглядел избу сын боярский, прикидывая, как в ней разместить еще тридцать человек. — В аманатской есть кто? — Простуженно кашлянул в

озябший кулак.

— Сломали аманатскую на днях! — смущенно признался Федька и бросил укоризненный взгляд на Пелагию. — Еще не наладили. Не ждали вас так скоро!

— Придется между тыном и избой устроить балаган с вытяжной дырой да забросать его снегом! — распорядился Похабов, присел возле очага, протянул руки к огню, спросил мимоходом: — А что аманатскую сломали? Дров не хватило?

Зимовье набивалось прибывшими людьми, за тыном уже дымил костер. Зимовейщики как-то странно примолкли после вопроса сына боярского. Он хмыкнул обмороженным носом и уставился на десятника.

— Да Оська Гора буйствовал! — неохотно буркнул тот. — Скрутили, на цепь посадили, а он аманатскую избу в щепки разнес.

— А чего это ты? — удивленно взглянул на дюжего казака Похабов. — Вина у вас много или табаком опился?

Оська покраснел, потупил невинные глаза, зашмыгал носом:

— Обижали! — пробасил слезным голосом.

Иван перевел строгий взгляд на десятника.

— Да Пелашку кто-то погладил, он и взбесился! — заерзал на нарах.

— Ага! Погладил! — мирно укорил его Оська. — Чуть не забрюхатил!

Федька Говорин сипло захохотал:

— Один раздор от баб!

У Меченки в глазах блеснули слезы, она со значением поглядела на бывшего мужа, дескать, потом все расскажу, и молча задрала нос: не стала ни оправдываться на людях, ни устраивать склок и раздора. Зато десятник под насмешки прибывших казаков снова стал жаловаться.

— Забрал бы ты их от греха! — заканючил, кивая на Оську и Пелагию. — Ясырки живут — люди как люди! Давеча Кирюха Васильев в баню пошел, а я из бани вернулся, ну, и перепутал впотьмах: под его полог залез. Ясырка мою мокрую бороду потрогала — признала, после лысину нащупала, заорала! Ну и что? Полез под свой полог. Пришел Кирюха, посмеялись. А эти… Один раздор от них.

— Попа хорошего на вас нет, вот с такими кулаками! — горько усмехнулся Иван и сложил вместе два своих крутых и увесистых. — Я ж тебе, Федька, наказывал, блуда не заводить! — устало укорил десятника. — Ну, да других дел много… Осинцев воевать надо, а некогда и холодно.

Отпарились, отогрелись, отдохнули братские служилые люди, устроившись в балагане из нарт и лыж. У Ивана нос покрылся сухой коростой. И решил он во время отдыха, что нельзя пройти мимо, не наказав осинцев. При нынешней шаткости это могло обернуться осадой зимовья. Сам он к ним не пошел, послал в верховья Осы три десятка казаков под началом Дружинки Андреева. Наказал ему говорить жалованное государево слово. Федьку Говорина приставил к нему есаулом, но велел Меншину и Дружинке в бою его слушать: в воинском деле он был искусней.

Отряд ушел. Иван выставил караул, всем свободным велел делать запас дров с островов, поросших осинником и березняком, при этом невольно остался в зимовье наедине с Пелагией. Бывшая жена долго помалкивала, виновато хлюпала носом, управляясь возле печи по своим бабьим делам, и все дергалась, как, бывало, в молодости перед скандалами: как ни терпела, как ни уклонялся от разговора с ней Похабов — разговорилась.

— Я с Оськой живу совсем не так, как с тобой! — заворковала, знакомо прищуривая глаза.

— Ну и живи! — отмахнулся Иван, не зная, по каким бы делам уйти из зимовья.

— Дура еще была за тобой! — вздохнула с печалью, блеснув бирюзовыми глазами. — Но и ты был не муж! Тебе жена как перина в сенях: выспался, а что после того, все равно!

— Да уж, перина! — раздраженно усмехнулся Иван. — Прилипла, как банный лист, до сих пор отодрать не могу.

— Друг-то ты хороший! И кобель изрядный, — вздохнула Пелагия, добрея. — Муж был плохой! А Оська — ребенок. Сирота. Он матери не знал, привязался ко мне.

— Видел! — проворчал Иван. — Слово поперек не скажет, а ты и рада поиздеваться над бедным!

Разговаривая, Пелагия месила тесто в квашне. От сказанного вздрогнула, будто бывший муж вытянул ее кнутом по спине, слезы покатились по щекам, разрыдалась, как много лет назад возле проруби. Иван уже схватился за шапку и шубный кафтан, она с ревом запричитала:

— Бесноватая я! Ничего с собой поделать не могу. Мучаю его! Не зря матушки в ските хотели из меня беса гнать каленым железом. Грешна! Перед тобой, перед сыном, перед Оськой грешна. Хоть бы Господь прибрал, дуру окаянную!

— Что мелешь-то? — подобрев от ее покаянных слез, проворчал Иван. Он впервые слышал от Пелагии такие слова.

— Забери ты нас куда подальше! — взмолилась она, вытирая щеки рукавом. Ясырки удивленно поглядывали на нее. Разговор они понимали через слово, в чужие распри не входили. С ними и впрямь было легче ладить.

— Заберу за Байкал! — пообещал Иван, нахлобучивая шапку возле двери. — Поставлю там острог — хоть залюбись со своим Оськой, если ему такая доля по нраву.

Послышались отдаленные раскаты выстрелов. Все бывшие возле зимовья служилые вооружились, заперли ворота и высматривали из-за тына долину Осы, заметенные снегом буераки. Сначала показались всадники, мельтешившие, как оводы в жару, потом появился гуляй-город из нарт, лыж и кольев. Медленно, упорно, непреодолимо он приближался к зимовью на острове.

Всадники увидели дым, стали отставать. Нарты заскользили по льду быстрей. Вскоре отряд подошел к острову. Из-за лыж и кольев поднялся в рост Оська Гора, перепрыгнул через подвижную изгородь, впрягся и с ревом, как бык, поволок вереницу нарт к раскрытым воротам. Среди ходивших на погром были помороженные и легкораненые, но все были живы. Федька Говорин взял на саблю осинского князца с женой и детьми, казаки захватили трех мужиков.

Вечером в избе десятники рассказали, что встретили тунгусов и взяли у них вожей, ночью с опаской пришли на стан князца Балуйки и решили идти на удар до рассвета. Балуйка с лучшими людьми засел в юртах и отстреливался, переранив десяток служилых. Только к полудню юрты были захвачены, князца пленили, взяли много ясырей и скота. Но при отходе казаков догнали и окружили до сотни всадников. Пришлось засесть, огородившись нартами и лыжами. Чтобы не замерзнуть в степи, они сделали гуляй-город шли, отбиваясь от всадников, ясырей не отдали, а скот был отбит.

На другой день к острову подъехали на конях три икирежских мужика, спешились, присели на корточки, поджидая казаков. На переговоры вышли Иван Похабов с толмачом Мартынкой и Федькой Говориным, ходившим на погром. Послы предложили мириться, привезли ясак, уверяли, что осенью казаков прогнали дайши сипугатских родов с другого берега Осы. Трех своих мужиков они выкупили, князца Балуйку Похабов оставил заложником в зимовье, его жену и детей отдал на выкуп.

— Какой мир без аманатов? — ответил на предложение выкупить и князца.

На том они сговорились и приняли от икирежей новую присягу. Раненые казаки остались в зимовье, бывшие зимовейщики сменили их в постромках нарт, и отряд двинулся дальше вверх по Ангаре. Оська Гора волок нарту за троих, зато Пелагия шагала налегке, держась за ремни.

На другой день при ясной, солнечной погоде около полудня на пустынном берегу реки показался десяток всадников на сытых, ухоженных конях. Они не выезжали на лед и не скрывались, поджидая караван. Похабов остановил своих людей в полете стрелы от них, с Мартынкой, Дружинкой и Федькой направился к берегу. Двое всадников в долгополых шубах спешились и помогли спуститься с коня третьему. В нем издалека Иван узнал Бояркана. Тяжелой походкой конного человека князец двинулся к сыну боярскому. За ним следовали два молодца с луками за спиной и с саблями поверх тяжелых овчинных тулупов.

— Сайн байна, ахай! — вглядываясь в лицо Бояркана, поприветствовал его сын боярский.

— Сайн! — князец тряхнул сосульками на усах под горбатившимся носом, блестели глаза под набухшими веками, он был в хорошем расположении духа, приказал своим молодцам, те расседлали двух лошадей, принесли и расстелили на льду потники, на них положили седла. Князец и сын боярский сели друг против друга.

— Подарки царю привез! — Бояркан принял из рук своего молодца и бросил к ногам сына боярского кожаный мешок. — Ты не обманул, сделал крепость. — Добродушно ругнувшись, добавил: — Правильно сделал, что побил сипугат!

— Мы Балуйкиных мужиков зовем икирежами, — удивленно взглянул на Бояркана Иван.

— Сипугат яяр*. Моих коней воровали!

— Ну и слава Богу, — перекрестился сын боярский, не приметив в лице князца неприязни. — Я думал, ругаешь меня: Похаба — яяр! Плохой!

Бояркан сдвинул брови на широкой переносице и неожиданно рассмеялся.

— Откуда мне знать?— удивленно взглянул на него Иван.

— У меня хороший абаралша, — с важностью заявил князец. — Он говорит, мои предки убили много твоих предков. Это было, когда они шли за солнцем, чтобы дать твоему народу наш закон. А я, в прошлых своих жизнях, много раз отрезал тебе голову... Хочешь побывать в Нижнем мире? Мой абаралша сводит нас!

Иван усмехнулся в бороду, покачал головой:

— Оно, конечно, любопытно, но наш Бог сильно не любит колдовства и

ворожбы, гневается, если мы беспокоим мертвых!

Казаки возле нарт, на ветру, уже прыгали с ноги на ногу, толкали друг друга. Иван дал князцу ответный подарок и простился, караван двинулся дальше в полуденную сторону.

Холодное солнце, белизна снега, блеск льда слепили глаза. Наконец ветер стал дуть в спины, подгоняя людей. Из одеял и лавтаков казаки соорудили паруса. Поскрипывая полозьями, нарты легко побежали по льду. Оська Гора как пушинку подхватил Пелагию на руки, усадил на поклажу нарты, с молодецким гиканьем побежал в шлее.

Казаки и охочие люди прошли бесприютную степь. К берегам реки опять подступил лес, и снова они ночевали возле жарких костров на прогретой земле. Все их разговоры и помыслы были о весне, хотя даже до ее студеного начала предстояло пережить целый месяц. Через неделю они подошли к знакомому повороту реки. Здесь ледяной покров был заметен рыхлым снегом. Утопая в нем до колен, Оська едва ли не на четвереньках волок в бечеве первую нарту. Сзади и сбоку ее толкали четыре казака. Другим в их колее двигаться было легче.

Сын боярский шел первым, тропя и указывая путь, высоко задирал гнутые концы лыж, внимательно осматривал берег, заваленный снегом яр и бор, кое-где подступивший к обрыву. Среди всей этой белизны Похабов не сразу разглядел веретено дымка, поднимавшегося в синее небо. Обрадовался: «Жив Герасим!» А вскоре увидел неподалеку от кельи, на яру, желтый крест и заволновался, побежал быстрей. Лыжи вязли в снегу, от частого дыхания оттаивали обледеневшие усы. И вот, с облегчением на сердце он остановился. По крутой тропе из кельи под яром к нему спускался Герасим.

— Слава те, Господи! — махнул по груди сложенными перстами. — Ну, здравствуй! Здравствуй! Свиделись-таки! — сгреб монаха в объятья. — Что за крест?

— Прибрал Бог Михаила, верного моего помощника, — в глазах отшельника блеснули невольные слезы. — Один теперь, — вздохнул и встрепенулся, смахивая с лица невольное уныние: — Господь со мной!

Подходили нарта за нартой, люди дышали тяжело, часто, над ними висел пар. Те, что знали монаха, стали кланяться ему как старому знакомцу. Другие были наслышаны о старце, боязливо таращились на него, удивлялись просветленному лицу, чистым, ясным глазам.

— Зимовье цело ли? — спросил Иван. Он рассчитывал на ночлег в нем и на баню.

— Должно быть цело, — неуверенно пожал плечами монах. — Я там не был с тех пор, как Михайлу похоронил… Надолго? — спросил, оглядывая караван.

— За Байкал за ясаком! Нам бы дневку устроить да помыться!

Глаза монаха снова опечалились.

**Яяр — негодный, скверный (бур.).*

— Вот ведь! — вздохнул, опуская их. — А мне были знаки и сны, думал, вещие.

— Отписал я воеводе! — переминаясь, стал оправдываться Иван. — И здесь острожек нужен, и за Байкалом. А на Байкале, с этой стороны, без него никак нельзя.

Герасим, не слушая казака, свесив голову, думая о своем, будто беседовал с кем-то невидимым.

— Федька, Дружинка! — Похабов окликнул десятников. — Ведите людей к острову, в зимовье. Грейтесь, отдыхайте, баню топите. Я догоню.

Казаки разобрали постромки нарт, с гиканьем сорвали с места примерзающие полозья, потащились через реку, оставляя за собой глубокую рваную борозду. Иван потоптался рядом с Герасимом, сочувствуя его кручине.

— Вашими с Ермогеном молитвами и наставлениями служу царям в Сибири уже тридцать лет, недавно только получил прибавку к казачьему жалованью, — стал вдруг оправдываться. — Товарищи мои Перфильев, Галкин, Бекетов где только не были первыми, а я до прошлого года все возле Енисейского толокся. Нынче сердцем чую: поставлю на Селенге острог, какую-то честь и славу перед Господом выслужу…

— Сердцем, говоришь? — насмешливо взглянул на сына боярского монах. — А почитай-ка Святые Благовесты? Спаситель упреждал, кто нас прельщает через сердце! Враг рода человеческого! — погрозил обнаженным перстом.

Иван постоял, смущенный своим откровением.

— Что читать? Так тебе верю! — пробормотал. — Отписал я воеводе все, как мы прошлый год говорили. Только не пойму: на кой здесь город? Зимовье или острожек — другое дело. Самому бы тебе в Тобольский съездить! — напомнил напутствие енисейского старца Тимофея. — Вдруг и решится твое дело!

Монах ласково взглянул на сына боярского:

— Надо! С тобой сплыву в Енисейский, — перекрестился, низко поклонился на восход, добавил мягче: — Не для себя прошу: задолго до нас предрешено здесь быть городу! И будет! Придет время, кого надо Господь вразумит, с другого пути воротит. Что о том? Ладно уж, иди! Христос с тобой!

Стоянка на острове затянулась из-за сильного снегопада. Казаки и в метель не теряли времени, по наказу атамана навалили и натаскали бревен, укрепили зимовье тыном в полторы сажени высотой. Похабов решил оставить здесь часть ржаного припаса и двух захворавших служилых.

— Осталась бы? — предложил Меченке. — А то черная стала, тощая, в чем душа держится, — окинул взглядом осунувшуюся в пути женщину.

— Осталась бы! — со слезой в голосе отозвалась она, шмыгнула носом, испачканным сажей. — Так он ведь без меня с тоски помрет! — кивнула на Оську.

— Помрешь? — строго спросил казака сын боярский.

Тот мигнул опечаленными глазами, глубоко вздохнул, помотал большой головой и признался:

— Помру!

— Тьфу на вас, распутников! — выругался Иван. — Терпи тогда! Оську оставить не могу, он мне на Селенге нужен!

Снова засияло ясное солнце, уплотнился снег. Похабов отвез в келью Герасима полмешка ржи и велел казакам готовиться к выходу. Собравшись в круг, они привычно сотворили молитвы Всемилостивейшему Господу, во Святой Троице просиявшему, Пречистой Богородице — заступнице за народ русский пред Его очами, Николе Чудотворцу, всех сибиряков покровителю, Илье пророку и всем своим святым покровителям, молча посидели перед дальней дорогой, затем взялись за бечевы пяти облегченных двухсаженных нарт и снова потащились по заметенному снегом руслу реки.

Чем дальше уходил отряд от кельи черного дьякона, тем чище становился лед, тем легче двигались нарты. На третий день, к полудню, задул в лица сырой ветер, понес по застывшей реке клочья облаков. Потом померкло солнце, стеной преградил путь влажный, колючий туман. Он висел над большой полыньей, раскинувшейся от одного скалистого берега до другого. Стаи уток плескались в черной, студеной воде, чудные, неземные звуки доносились со стороны Байкала. Пугаясь их, боязливо озирались путники. Вдруг по-медвежьи взревел Оська Гора. Казаки испуганно завертели головами, а ссыльный казак, выпучивая глаза, указывал рукавицей в туманную глубь полыньи. Из воды высунулась черная усатая большеглазая морда, пофыркивая, разглядела людей, чихнула, шевельнула ноздрями и скрылась, оставив над собой расходившиеся по воде круги.

— Дедушка! Или че? — крестился Оська.

— Дурак! — обругал его Похабов. — Нерпа это. Тебе же рассказывали.

Нарты протащили вдоль скал по забережной наледи. Туман остался за спинами и открылась ледовая даль Байкала с цепочкой гор на другой стороне. На белой бескрайней равнине великим множеством огней блистали и розовели в лучах заката отглаженные ветрами льдины. Люди расселись на обледеневших камнях берега, завороженно смотрели вдаль, устало помалкивали.

— Вот ведь соблазн! — хмыкнул в бороду Похабов и окинул товарищей повеселевшими глазами. — Вдоль берега идти — только до култука дня три-четыре тащить нарты, да оттуда до Селенги с неделю, не меньше, а напрямик да при попутном ветре…

— За день! — бесшабашно поддакнул Федька Говорин.

— Через Байкал даже чипогирцы на оленях не ходят, — неуверенно напомнил толмач Мартынка о том, что знали все и тут же поправился: — А хорошо бы за день!

Как ни упреждал Похабов других и самого себя, вспоминая прошлогоднюю переправу через Байкал, но повел свой отряд в падь на восход от реки, где прошлый год стоял тунгусский урыкит. Ночь вызвездила небо, крепкий морозец пощипывал щеки, ветра не было.

— Если и заночуем во льдах, что с того? — не унимался Федька. — Не на воде же, не утонем. Попостимся денек, зато на неделю раньше ясак возьмем и дальше сходим.

— Тиу-у! — опять запело в ночи ледовое поле, отзываясь многоголосым эхом с крутых гор. От причудливых звуков мурашки бежали по спинам путников, Меченка пугливо крестилась и вертела по сторонам красным носом.

— То ли ругается дедушка, то ли радуется? — перешептывались казаки и охочие люди.

— Лучше идти дольше, но возле берега! — качал головой Дружинка. — Твердь она и есть твердь!

С ним соглашались, но мало кому хотелось тянуть нарты лишнюю неделю. Казаки отбрехивались от разумных слов десятника, вспоминали тяготы перехода по реке. Едва забрезжил рассвет тихим и морозным февральским утром, все были готовы к

выходу. Дымы костров тянулись к небу, ясно высвечивался другой берег с очертаниями гор и казался таким близким, что даже Дружинка засомневался: стоит ли обходить Байкал возле берега. Сын боярский вздохнул, перекрестился на восход, сиплым голосом призвал Илью пророка помочь удержать погоду доброй, а небо ясным.

— «Радуйся, Никола, великий Чудотворче!» — запели казаки, выбирая себе путь и судьбу. Заскрипели полозья нарт по гладкому льду. Сын боярский шел первым с пешней в руке. Лед был крепок. Время от времени он начинал петь неслыханными звуками, ухать шаманским бубном. Похабов опасливо оглядывался, задирал бороду, напрягая жилы на горле, старался перепеть эти чудные звуки верными молитвами, но его слабый голос жалко терялся в ледовой равнине.

На пути отряда то и дело вставали льдины, торчавшие в рост человека и выше. Похабов обходил их, уклоняясь к восходу, к Селенге. Иной раз через заторошенные поля приходилось прорубаться топорами и протягивать нарты. Путники снова выходили на чистый лед. Иногда он был так скользок, что разъезжались ноги в ичигах и сарах, легкий порыв ветра нес куда хотел и нарты, и раскоряченных людей. Но, слава Богу, ветер дул с полуночной стороны, в спины идущих, не сильно сбивал их с пути. Скользкая гладь перемежалась снежными сугробами с настом, в который путники проваливались до колен и опять, напрягаясь, протаскивали нарты бечевой.

Покрылся дымкой и пропал берег, потом исчез другой. Синее небо стало затягиваться тучами, а недавно блестевшее, ясное солнце стало красным и круглым. Вскоре оно потемнело, караваем ржаного хлеба и размазалось по тучам, как раздавленный яичный желток. На лицах казаков появилось беспокойство. Во второй половине дня солнце пропало. Люди шли по ветру, то и дело прорубаясь сквозь поля торчковых льдов. Незаметно стали подступать сумерки. Самые отчаянные и удалые уже смирились с тем, что к ночи до берега не дойти и надо будет устраивать ночлег.

Все они шли, пока были силы. Меченка лежала на нарте вниз лицом, заботливо укутанная одеялами, но вскоре стал спотыкаться даже неутомимый Оська Гора. Передние нарты снова уткнулись в торосы. Люди сбились вокруг атамана.

— Видать, испытывает Господь! — шепеляво пробормотал он выстывшими губами.

— Тяжкая будет ночь! — тихо всхлипнул кто-то. — Кизяка и того нет.

— Тяжкая! — согласился сын боярский. — Но пережить можно. — И приказал: — Руби лед, строй стены, чтобы укрыться от ветра.

Звезд не было. Наверное, только к полуночи едва живые от усталости люди сложили из льда стены, накрыли их лыжами и лавтаками, залезли под низкий кров и прилегли на нартах, кутаясь в шубные кафтаны, меховые одеяла. Вскоре Оська Гора сладко всхрапнул.

— Ему что? — завистливо проворчал Федька. — Баба за пазухой греет.

— Самой бы отогреться! — огрызнулась из тьмы Меченка.

— По одному замерзли бы, — зевая, пробурчал Похабов. — Скопом переживем и эту ночь.

Пел и вздрагивал лед, то утихал, то снова подвывал ветер. Среди ночи повалил снег, лавтаки обвисли. В ледяной избе стало тепло. Перед самым рассветом тускло вызвездило. На сереющем небе вблизи от стана обозначилась темная гряда гор.

— Всякое разное видел, — бормотал Похабов, зевая и крестя рот, — но чтобы по года менялась по много раз в сутки… Дойдем до леса — доспим!

Он скинул одеяло, встал первым, покряхтывая от болей в костях, распрямился, сбросил лавтак с крова, огляделся по сторонам. За ним неохотно поднимались согревшиеся к утру люди. Какими близкими ни казались горы, а по рыхлому снегу подошли к ним только к полудню. Скалистый берег круто вздымался изо льдов. Отряд пошел вдоль него на восход до первой пади. Едва живы от усталости, после бессонной ночи и двухдневного перехода без горячей еды и питья, казаки наконец развели костры.

— Как знать? — покаянно ворчал Похабов, отогревая руки. — Может быть, вдоль берега, через култук, и быстрей бы дошли.

— Не быстрей, так легче! — с обидой хлюпнул носом Дружинка. — Говорил же!

Вдоль берега, под высокими горами, они шли еще день. Наконец хребет стал ниже и отступил ото льда. Люди, бывшие на Селенге в прошлом году, начинали узнавать застывшие протоки и длинные, узкие острова, гадали, те ли это места, спорили, на какую из многочисленных проток были выброшены в прошлом году.

Отряд переночевал на острове в сухом осиннике. Утром сын боярский выслал вперед ертаулов, чтобы узнали, где зимуют браты шертовавших им родов. Те вернулись к вечеру, никаких людей не встретили. Другим утром половина отряда разошлась искать станы. С радостной вестью вернулся Федька Говорин: он нашел братов в стороне от реки, в долине у гор.

— Скопом живут! Десять юрт в долине, — стал бойко рассказывать, как подойти к их стану.

— Послов отправить? — засомневался сын боярский. — Или все разом пойдем?

После перехода по льдам его люди отдохнули и отъелись, пора было приниматься

за дело, ради которого тащились от самого Братского острога. На рассвете, помолившись Господу, казаки вышли всем отрядом с пятью нартами и с бабой. Евдокия-свистунья только обещала потепление. При крепком морозе ярко сияло солнце, распушив перья, скаредно тараторили сороки и носились над идущими.

До слез печаля Оську, Пелагия едва переставляла ноги, стонала и охала, в голос молилась, прощаясь с многогрешной жизнью. Казаки шикали на нее, чтобы не гневила Бога и не пугала весны. Она же плелась в конце обоза, держалась за нарты, смахивая и глотая слезы.

С братского стана отряд был замечен за три-четыре полета стрелы. Казаки не услышали даже лая собак. Из долины с желтой заснеженной травой навстречу им выехали до полусотни всадников с луками и пиками. Казаки поставили нарты поперек их пути, взялись за ружья, опасаясь быть застигнутыми врасплох. Иван Похабов повесил на один бок саблю, на другой — патронную сумку, перепоясал их шебалташем, начальственно приосанился, выходя вперед. Всадники пристально разглядывали пришельцев. Сын боярский с толмачом сделали к ним десяток шагов, остановились.

— Не узнаю прошлогоднего князца и его людей! — проворчал Иван. — У тебя глаза острей, моложе. Гляди!

— То ли те, то ли не те? — замялся Мартынка, напуская на себя важный вид. Вздувая жилы на шее, стал говорить жалованное государево слово, напомнил, что прошлый год здешние мужики клялись дать ясак за два года разом.

Всадники в красивых одеждах на хороших конях переглянулись, заспорили между собой. Дородный молодец в пышной шапке из рыжих лис, постегивая горячего конька, поднял его на дыбы, развернул на месте. Выгибая шею дугой, прядая ушами и перебирая копытами, жеребец неохотно, боком, придвинулся к послам. Князец приподнялся в стременах, выдернул из-под себя кусок вышарканной волчьей шкуры, бросил к ногам сына боярского.

— Абатты!*

Дружинка дал залп из десяти стволов, Пелагия пронзительно завизжала, испуганно заржали кони. Оська Гора, услышав вопли Меченки, выскочил из Федькиного ряда, схватил за хвост жеребца, который подъезжал к Похабову, и повалил его на землю вместе с всадником. Браты отхлынули, не вступая в бой, неспешно, рысью, откатились в обратную сторону, к своему стану. В руках казаков остался только мужик в лисьей шапке и его конь.

— Вернутся! — хмуро взглянул на пленного сын боярский. — Засеку надо валить!

И сидели казаки в засеке три дня. Ветер доносил до них запах дыма с братского стана, приглушенный лай собак. Похабов раз и другой посылал ертаулов посмотреть, чем заняты селенгинцы. Его люди возвращались, говорили, что видели: возле юрт мужиков до ста. Там жгли костры, пировали, бегали с места на место, валили и тесали деревья.

Пелагия целыми днями сидела возле огня в тяжелом тулупе ясыря, печально глядела на угли, со слезами и стонами беспрестанно молилась. Оська, под насмешки товарищей, шил ей душегрею из лисьей шапки. Его ясырь с толстой черной косой подрагивал от стужи в шубейке Меченки, которую с треском натянул на широкие плечи. На вопросы толмача он отвечал кратко и презрительно, грозил, что всех казаков скоро перебьют, о ясаке и прежних обещаниях ничего вразумительного не говорил. Казаки спорили и сомневались: этих ли братов приводили к присяге?

Похабов угрюмо сидел у костра, думал. грешные помыслы томили его душу. В краю, где по прежним своим молитвам был первым, он почувствовал вдруг, как все это ему надоело: ясак, ясыри, засеки, воинские стычки. Лежать бы на печи рядом с Савиной, слушать, как весенний ветерок перебирает дранье крыши, чирикают пташки. Он тряхнул головой, отмахиваясь от соблазнов, с горькой усмешкой подумал: «Вот она, старость! Не обходит стороной».

На другой день около полудня со стана донесся шум. Вместо конных мужиков, которых ждали, из пади выползали щиты из бревен, поставленные на полозья.

— Вот ведь, исхитрились! — удивленно прорычал сын боярский, сбивая шапку на ухо, и велел подустить идущих на выстрел.

**Абатты! — Возьмите! (бур.).*

Щиты двигались медленно, скрипели тяжелыми полозьями по камням и сухой траве. Мужики толкали их плечами, продвигали, подсовывая под них концы пик. За каждым щитом укрывалось до трех десятков воинов. Замыкающие шли пригнувшись, с луками в руках. Едва они приблизились на выстрел, начали осыпать засеку стрелами. Прогремел залп из десятка стволов. Со щитов полетела щепа, но они даже не приостановились.

— На саблю брать придется! — крикнул Похабов десятникам.

До засеки оставалось шагов двадцать. Из-за щитов так часто осыпали стрелами, что не давали высунуть голов из укрытия. По знаку атамана Дружинка со своими казаками дал другой залп. В тот же миг два десятка казаков и охочих выскочили из засеки с саблями и топорами. Селенгинцы усвоили казачьи уроки. По их повадкам можно было понять, что это они нападали на засеку в прошлом году. Воины не бросались на казаков поодиночке, но, выставив пики, ощетинились отточенным железом. За ними лучники толкались между собой и мешали друг другу стрелять. Некоторые из них взбирались на щиты.

В выставленные пики с визгом врезался Федька Говорин с саблей в одной руке и топором в другой. Провернулся юлой, сломал строй, оказавшись в середине вражеской толпы. Копейщики вынуждены были бросить пики, схватились за сабли, ножи и дубины. Порядок был разрушен. Непривычные к пешему бою, кочевники замешкались, стали озираться, боясь ударов со спины. С десяток лучников отпрянуло к стану. За ними побежали другие.

— Вяжи лучших мужиков! — кричал Похабов, размахивая саблей. Бил с пощадой, без злобы, стараясь не убивать и не увечить, а чтобы не впасть в ярость, не сбиться в дыхании, сипло в голос читал псалом «Живый в помощи…».

Десятка полтора раненых и сбитых с ног мужиков ползали возле щитов, стольких же связали. Остальные неспешно убегали, подстрекая казаков к погоне. Отдуваясь и стирая пот с лица, Похабов обошел место боя. Убитых было пятеро.

— На все Божья воля! — перекрестился. А грудь его вздымалась и вздымалась, гулко колотилось сердце, стучала в ушах кровь.

Федька Говорин с пьяными глазами уже гоготал и ругал кого-то из своих, ссыльных, казаков. Те снимали с раненых и убитых куяки, латы, поручи, собирали луки и пики.

«Догнала, собака, старость!» — опять подумал сын боярский, задерживая дыхание и завистливо поглядывая на молодых. Снова горько посмеялся над собой: «Намолил Господа! А пора для подвига пришла с запозданием».

— Раненых — отпустить! — распорядился. — Пусть сами лечатся. Мертвых отдать без выкупа. Ясырей держать!

Он перелез в засеку. Меченка, нахохлившись, согнулась над затухающим костром. Из ее тулупа торчали две братские стрелы. Она подняла на бывшего мужа отчаянные глаза: веки набухли, сажа въелась в кожу и обозначила паутину морщин.

— Тоже стареешь! — сочувственно кивнул Иван. — Не хочешь обратно в Енисейский, к дочери и внукам?

Пелагия опустила глаза, безмолвные слезы покатились по щекам, зашипели на углях. Ясырь в ее шубейке сидел, как живой, привалившись к порубленному комлю лесины. Из его горла торчала поющая стрела с отверстиями в наконечнике.

Пришлось ждать еще три дня, прежде чем со стана пришли братские мужики, забрали мертвых, выкупили половину ясырей, неприязненно дали ясак, но не за два года и не со всех нападавших. Обещали доплатить осенью.

Отряд двинулся вверх по хрусткой наледи реки. Липкий снег под ногами мешался с мокрым льдом, полозья нарт обмерзали, облипали, ноги то и дело мокли, приходилось часто сушиться у огня.

Теплело с каждым днем, долина реки становилась тесней. Все ближе к ней подступали горные хребты с просторными распадками. В начале апреля по льду весело побежали ручьи. Еще три раза казаки рубили засеки, воевали и брали ясырей, на Святую Пасху Господню сидели в обороне и ждали послов.

С тех пор как отряд Ивана Похабова пришел на Селенгу, был месяц непрерывных войн. Заслышав о приближении казаков, браты уходили от реки в горы. Как ни трудно было в это время выпасать там сводные стада, они собирались в полки по пятьсот—семьсот мужиков. Над русскими послами смеялись: много, дескать, шляется по земле всяких охочих до ясака, нападали непрестанно, выманивая казаков из засек на открытые места.

Однако праздник есть праздник. Как ни трудна походная жизнь, ко времени загодя было поставлено пиво. Казаки резали отбитый скот, сами ели досыта и ясырям велели отъедаться. Но веселье было вынужденным: песни замолкали на середине, пляски затухали, едва им стоило начаться. Как ни старался Иван Похабов показать своим людям, что весел и беззаботен, что без оглядки полагается на волю Божью и Его милость, скрыть тайных дум не мог и он. О чем думали другие люди, шутками и намеками обмолвился толмач.

— Кто у кого в заложниках? — говорил и боязливо оглядывался на пленных, заискивающе переговаривался с ними. — Обещают меня, болдыря, повесить первым! — кривил губы с ниткой усов на губе. — И не за шею, а за пест.

Все чаще роптали казаки:

— Двенадцатую неделю в пути. Байкал вскроется, куда пойдем с такой оравой ясырей?

То, что пленники осмелели, замечали все. Хоть они были из рабов, сирот и захудалых родственников, за которых браты не давали выкуп, но слабость пленивших

их казаков видели и это больше всего беспокоило Ивана Похабова.

На преподобного Иоанна Ветхопещерника отряд повернул в обратную сторону. Берег Байкала был сух, лед возле него порист и крепок. Нарты легко заскользили на закат. Ясыри толпой брели следом за ними и вели неподкованных лошадей, елозивших копытами по льду. В пути до байкальского култука эти кони были съедены.

Глава 12

Хорошо зажил Угрюм после ухода казаков, Нарей не приходил, мунгалы не появлялись, промышленным людям он говорил, что поверстан в государеву пашню, и выходил к их стругам с важностью служилого человека. И они не требовали, не угрожали, как прежде, но одаривали соболями, с почтением выспрашивали, где казачьи заставы и как их обойти.

Сошел снег с гор, оттаяли озера и болота, набух, почернел лед Байкала. В прежние годы в это время Угрюм сам ходил бить нерпу, теперь отправил на промысел старших сыновей с ясырями. Но вот беда, не ко времени припекло солнце, дрогнул, просыпаясь, Байкал и за четверть версты от берега черной трещиной разорвался лед. Угрюм засуетился, забегал, поглядывая из-под руки на едва видимых с берега коней и людей, поджег копну сена. Черный дым поднялся в синее небо, поторапливая нерповщиков, а сам он, на лыжах, побежал смотреть трещину. Она оказалась в сажень шириной, края еще не крошились, но час от часу все сильней начинали расслаиваться на острые ледовые иглы.

Нерповщики увидели дым и повели к берегу запряженных в сани коней. Угрюм прибежал домой, кликнул жену и ясырок, вместе с ними стал таскать к трещине доски, которые всю зиму распускал для стругов. В суете дня он не заметил, что с полуденной стороны, под крутым берегом, муравьиной цепочкой приближаются пешие люди. Их было человек сто.

Подвода, груженная битой нерпой, осторожно подошла к трещине. Сыновья остановили коней в двух десятках шагов от нее. Первуха, выстукивая вокруг себя лед лыпой, подошел к воде.

— Разгружай сани! — бегая по краю, закричал Угрюм. — Коней спасай!

Ясыри с перепуганными лицами стали сбрасывать на лед нерпичьи туши. Угрюм с женой и ясырками перекинули через трещину доски. Сыновья с другой стороны стали помогать налаживать переправу, все то и дело оглядывались на приближавшихся людей. Коней перевели через настил, оставив в санях только по четыре туши. Десяток окровавленных зверей остался на льду. Угрюм велел ясырям довести груз до берега и поскорей возвращаться с нартами, но они, добравшись до суши, бросили коней и сани, ни крики, ни угрозы хозяина не могли заставить их вернуться на лед.

Угрюм опять затравленно обернулся к людям, шедшим возле берега, разглядел одетых по-русски. Они остановились возле устья разлившейся по льду речки. Полтора десятка мужчин надели лыжи и пошли в обход воды. Другие двинулись прямиком к бору, в сторону дома.

— Дядька! — крикнул Первуха.

Солнце слепило, Угрюм прищурился, вглядываясь в громыхавших лыжами по льду, узнал братана, облегченно вздохнул и перекрестился. Казаки помогли переправить через трещину битую нерпу. Лицо брата было черным от солнца и ветров, глубже въелись морщины.

— Куда тебе столько? — спросил, кивнув на туши.

— Как куда? — залопотал Угрюм, отдуваясь после трудов. — Жир топить, сапоги шить. — Мои, — кивнул на сыновей, — сало и мясо едят. Что останется — отдам тунгусам… Доски, доски забирай! — прикрикнул на Первуху со Вторкой. — Это на струги, что ты заказал, — сиротливо заглянул в изможденные глаза брата.

— Не сделал еще? — равнодушно упрекнул старший и устало приказал: — Корми давай нас, баню топи! Отдыхать будем.

Сыновья побежали за брошенной подводой. Угрюм с казаками заковылял к дому. Возле двора толпилось так много народу, что он растерялся, не зная, за что хвататься. Надо было шкурить и разделывать добытых зверей, таскать воду, топить баню, варить еду. Угрюм опустился на крыльцо, обхватив голову руками, затравленно спросил брата:

— Что делать?

Иван присел на другой стороне крыльца, стал неторопливо распоряжаться: десяток ясырей под началом казака послал в помощь племянникам таскать, шкурить и разделывать добычу, другим велел топить баню. Казаки развели костры у речки.

— Покажи какого бычка заколоть! — приказал Угрюму. — Да скажи своим бабам, чтобы сперва накормили ясырок и детей!

— Сколько их у тебя? — неохотно поднялся Угрюм, оглядывая пленных.

— Семь десятков! — сквозь зубы процедил сын боярский, поторапливая брата начальственным взглядом.

Толпа нежданных гостей схлынула через два дня. В тесном доме стало тихо и просторно. Угрюм, опираясь на посох, оглядывал двор, ворчал и постанывал:

— Бузар*. Истинный бузар! — Покрикивал на разленившихся ясырей, путая русские, тунгусские и бурятские слова, грозил: — Отдам нойон бабаю! Пусть сам правит своими чибарами**. Мало проку от таких работников!

Вся прежняя спокойная жизнь показалась ему перевернутой и разворошенной. Старшие сыновья ушли с отрядом, Третьяк тайком сбежал за ними. В благодарность за хлеб-соль сын боярский строго предупредил:

— Чтобы струги были готовы через две недели! А мы начнем острог ставить! — кивнул на закат, за Шаманский мыс.

«Коровы телятся, шкуры мездрить, рыбу вялить, огород опять же, — про себя укорял брата Угрюм. — Столько домашней работы, а он всех ясырей забрал. Нет бы здесь оставить в помощь».

Сыновей не было всю неделю. Угрюм ходил к седловине мыса, глядел на другой берег култука. Там, под горой, дымили костры, виднелся поваленный и ошкуренный лес. Место Иван выбрал с умом, в стороне от долины, продуваемой лютыми ветрами, защищенное горой. И устье речки, откуда выходили струги с волока, было у них на виду.

Вскоре ветра разбили и унесли байкальский лед. Зазеленела трава, из болот высунулись мелкие, нераскрытые головки кувшинок. Еще не появился овод, а князец Нарейка без всякой надобности пригнал на побережье скот. Угрюм со страхом подумал, что в долине опять начались стычки из-за пастбищ и соседи вытеснили его.

Еще в позапрошлом году, до прихода казаков, Нарей заказал ему выковать подвески для дочери-невесты, дал слиток серебра в две гривенницы, зарезал барана ради уговора. И вот он явился нежданным, когда Угрюм не сделал еще струги казакам. Князец поставил юрту за мысом и вскоре по лесной тропе приехал к Угрюму с сыном. Хозяин распахнул калитку. Ясырки по его наказу стали раздувать чувал и готовить излюбленный здешними братами напиток из трав, запаренных в молоке. Толстую черную косу князца будто присыпали мукой, волоски на подбородке и в уголках губ совсем побелели. Оттягивая разговор о серебре, Угрюм мысленно подбирал слова оправдания, суетился, поторапливая ясырок. Гости сидели на расстеленной мед-

**Бузар — грязь (бур.).*

***Чибар — лысый, раб (эвенк.).*

вежьей шкуре, терпеливо, с достоинством пережидали хозяйские хлопоты. Из дома вышла Булаг, наполнила горячим отваром чашки, тихо приказала мужу по-русски:

— Сядь! — и налила ему самому зеленовато-серого топленого молока с травами.

Он послушно сел, склонил голову набок, внимательно разглядывая пар над чашкой. Нарей вскинул на него полузакрытые набухшими веками глаза, взгляд их был свеж и плутоват.

— Серебро твое я сохранил! — оправдался Угрюм, подергивая плечами. — Сделал самую трудную работу, но казаки приехали, пришлось все спрятать, чтобы не отобрали…

Нарей равнодушно качнул головой, можно было понять, что про серебро он не думает.

— Нужда привела! — глубоко вздохнул, и Угрюм почтительно насторожился. — Весной приезжали мунгалы с другой стороны гор. Сами на конях высотой с дерево, шапки что твои копны сена.

Угрюм, пропуская мимо ушей обычные для бурят преувеличения, понял, что мунгал было много.

— Не буду говорить, что забрали! — опять сипло вздохнул князец. — Приказали моим сыновьям на своих конях, с пиками и с саблями служить их царевичу в войне с другими мунгальскими царевичами… — Нарей опять печально помолчал, отхлебнул из чашки, почмокал губами, снова бросил на Угрюма плутоватый, испытующий взгляд: — Старики говорят, что и в Нижнем мире есть тайная дверь! — растянул уголки губ и спросил вдруг: — Если бы я давал ясак казакам, мунгалы бы меня не грабили?

— Наверное, не грабили бы! — пожал плечами Угрюм, не вполне понимая, что кроется за этими словами. Добавил уклончиво: — Мунгалы нынче с казаками не воюют. Промышленные говорили, между царями-хаанами мир.

— Цари да хааны далеко, — опять вздыхая, покачал тяжелой головой Нарей. Повертел стынущую чашку в руках. — Казаки крепость сделают, тебя защитят, а ко мне путь долгий. Если рядом с ними, жить — тоже защитят, но здесь выпасов мало, — снова впился цепким взглядом в Угрюма.

Младший сын Нарея почтительно молчал, то опуская немигающие глаза, то переводя их с одного старика на другого.

— А как узнают мунгалы или дальние родственники, что я даю ясак казакам? — спросил Угрюма Нарей и сам же ответил: — Весь мой улус ограбят и перебьют, меня конями разорвут.

Опять Угрюм не нашелся, что сказать, чем утешить своего давнего соседа.

— Проживу здесь с месяц! — продолжал рассуждать князец. — Дам ясак казакам. Скот траву съест, все равно надо возвращаться в долину. Казаки не поедут меня охранять, а мунгалы побьют!

— Побьют! — согласился Угрюм. — Кто не успеет к казакам прибежать, тому будет плохо.

— И я так думаю! — кивнул Нарей и непонятно чему рассмеялся. — Но есть одна хитрость, — смежил глаза в две щелки. — Казаки пришлют своих людей за ясаком, а я ясак не дам. Ты скажи им, чтобы шли войной на мой улус, чтобы меня взяли в аманаты. Никто из моих людей не пустит в них ни одной стрелы, но все увидят и узнают, что нас заставили покориться.

Нарей глядел на Угрюма прямо, пристально и насмешливо, похваляясь, какой он умный князец и как заботится о своем народе. Над Угрюмом будто гром грянул: дошло, наконец, что теперь он и для Нарея не безродный зайгуул, а уважаемый поселенец. От этой мысли спина его распрямилась, шея вытянулась. Выдержав паузу, он ответил задумчиво и коротко:

— Заа! *

Гости и этим были вполне довольны. Помолчав для пущей важности, добавил мягче:

**Заа — хорошо, ладно (бур.).*

— Поговорю! Думаю, казаки меня послушают! Два моих сына служат у них в крепости! — Так и рвались с языка мстительные слова, что главный казак — брат, но до поры об этом говорить не стоило. У Братского острога тоже были крепкие стены!..

Нарей с сыном уехали, князец даже не вспомнил про серебро, можно было понять, что оно оставлено в подарок. На другой день Угрюм оседлал коня, набил седельные сумки коровьим маслом и сушеным творогом, поехал повидаться с сыновьями. Он пустил коня не по лесной тропе, а вдоль берега. Перевалив через седловину Шаманского мыса, увидел вдали поставленные квадратом стены острожка, многочисленные стада и табуны Нарея, пасшиеся по берегу култука.

Острог был чуть больше промышленного зимовья, но высота его стен издали указывала, что здесь надолго осели государевы люди. Казаки и ясыри копали ров вокруг стен, таскали тесаные бревна с горы. Ворот не было, внутри, за тыном, еще--только наполовину поднялась изба. Баню на самом берегу уже накрыли. А жили строители под стругами и в балаганах.

Сыновья высмотрели отца, босые, простоволосые, в кожаных рубахах без опоясок пошли навстречу. Лица их были разгорячены работой, на лбу поблескивали капельки пота. Угрюм не помнил, чтобы они когда-нибудь так трудились по дому, и обида кольнула сердце: «Для кого всю жизнь старался?» Сыновья подхватили коня под уздцы, помогли отцу спешиться не доехав до острога, будто стеснялись его приезда. Присели рядом с ним. Вторка запустил руку в суму и набил рот сухим творогом.

— Нет атамана! — пояснил Первуха. — На гору полез. А ты чего?

— Чего-чего? — обидчиво укорил старшего отец. — Заскучал! — Раздраженно посопев, спросил: — Десятник-то есть какой?

— Федька! — ответил сын и тут же спросил, метнув на отца опасливый взгляд: — Ты струги сделал?

— Это который горластый? — спросил про Федьку, не ответив на вопрос. — А другой, Дружинка?

— С атаманом ушел! — опять коротко ответил Первуха. — Что хотел-то? — переспросил непочтительно. — Если струги не готовы, атаман гневаться будет.

Покряхтев, повздыхав, Угрюм рассказал сыновьям о встрече с князцом Нареем.

— Передам! — пообещал Первуха, тоже запустив руку в суму с творогом.

— Голодаете, поди? — посочувствовал отец.

— Не! Рыбы много! — прошепелявил набитым ртом Вторка и вскочил на ноги.

— Я отнесу казакам? — потянул масло и творог.

— Отнеси! Только сумки верни, не помогал, поди, шить да кожи выделывать! — проворчал отец.

— Не ходи в острог! — посоветовал старший. — Там ссыльные из вольных казаков, на слова злые, еще обидят ненароком…

Возле балаганов курились костры, доносились гортанный говор, детский смех и плач, пахло печеной рыбой и мясом. С черным чугунным котлом к воде пошла русская

баба. Угрюм узнал ее еще в своем доме, когда заявились казаки с ясырями, но тогда ему было не до разговоров. Обиженный сыновьями, он внимательно поглядел на женщину и окликнул ее с принужденным смехом:

— Другой раз, может быть, проходишь мимо судьбы, красавица!

Пелагия обернулась, внимательно посмотрела на пашенного, хозяина дома за мысом, кивнула.

— Не признала! — язвительно усмехнулся Угрюм. — А я тебя замуж звал в Енисейском. Богатый тогда был, знать не знал ни Байкала, ни своей доли.

— Угрюмка, что ли? — удивилась женщина. — А я все думала, где видела тебя? Переменился! Медведь, говорят, подрал?

Пелагия замедлила шаг, удивленная встречей. Угрюм не заметил в ее лице ни сожаления о прошлом, ни желания поговорить.

— Нам работать надо! — Вернулись Первуха со Вторкой и стали навешивать пустые седельные сумки на отцовского коня.

— А мне не надо? — проворчал Угрюм. — По дому дел — рук не хватает, а вы тут… На дядьку все! — вставил левую ступню в стремя, поелозил правой ногой по вытоптанной траве. — Подсадите хоть, помощники!

— Ты, батя, не ругайся! — отряхивая штанины, пробурчал Первуха. — Хочешь, чтобы по дому помогли, — присылай дядькиных ясырей.

Угрюм крякнул, сердито мотнув головой, не нашелся, что ответить, выругался, поддав коню пятками под бока. Голоса, перестук топоров, конь ли всхрапнул, почудилось вдруг, кто-то за его спиной пробормотал по-бурятски:

— Сам ты скряга, и масло твое из коряги!

Угрюм обернулся. Сыновья быстрыми шагами удалялись к острогу.

На обратном пути он заехал к Нарею, выпил молочной водки, поел баранины. Когда остался с князцом наедине, сказал, что передал его слова главному казаку, никто другой не слышал их разговора.

Домой Угрюм вернулся с двухлетней телкой в поводу и пустил ее в свое стадо, оглядел остовы стругов, велел ясырям тесать доски, копать березовые корни, собирать смолу с лиственниц, вместе с ними несколько дней работал с утра до вечера, и, когда пришли посыльные из острога, струги были почти готовы. Их просмолили и пустили на воду.

Как ни выспрашивал Угрюм казаков, отчего атаман не прислал сыновей, внятного ответа не добился. Понял только, что Иван ходил войной на Иркут и брал племянников толмачами. Кого он там пленил и подвел под государеву руку, казаки отвечали путано. Надо было проверить, дошли ли до атамана слова о Нарее.

Острог крепчал. Уже были навешаны крытые драньем ворота, со стороны долины и под горой в один ряд поставлены надолбы. Возле острога паслись стреноженные и оседланные лошади. За надолбами на чурках, на земле и на корточках кружком сидели братские мужики и казаки. Полдесятка служилых подошли к воде, подхватили и вытащили на отмель струги. Как свой человек Угрюм пошел следом за встречавшими, опустился на корточки между казаками и братами. В середине круга важно восседал сын боярский при сабле, по правую руку от него – князец Нарей. Он был слегка пьян, важен и исполнен достоинства. Первуха со Вторкой прохаживались между казаками, братами и весело толмачили, то и дело поправляя друг друга.

День был солнечный, с моря веяло прохладой и прелью трав. Угрюм прислушался. Браты в камчатых халатах и островерхих шапках лениво торговались о выкупе своего князца. Нарей хмурил брови, надувал губы, позвякивал цепью, которой был скован, и делал вид, будто обижен тем, что родичи так мало его ценят. Сын боярский степенно переводил глаза с одного говорившего на другого, наконец, отрезал:

— Всем будет лучше, если Нарей останется в остроге почетным аманатом. Такой мир надежный!

Он сказал так, и послы будто забыли о князце, стали оживленней торговаться о ясаке. Иван требовал по десять соболей в год с каждого взрослого мужика. Они же, напирая на то, что сами рухлядь не добывают, а покупают у тунгусов, торговались на пять добрых, черных. Сошлись на семи.

«Я бы и пятнадцать давал, — с тоской подумал Угрюм. — Лишь бы меня никто не трогал, не мешал бы жить». В этих местах скот и кони ценились дороже, чем в балаганской степи.

Браты дотошно выспрашивали, где будут жить казаки и как часто станут наведываться в улус, любопытствовали, по какому закону их станут судить. Поскольку одни и те же вопросы они задавали много раз, казаки сердились. Нарей тоже устал от переговоров, объявил сородичам, что обо всем узнает и скажет родне, а за них будет стоять крепко и готов пострадать.

Главный разговор был закончен. Федька Говорин пронзительно свистнул, из балаганов и острога бабы и девки-ясырки понесли угощение, постелили на траве кожи, выставляли на них котлы с мясом, бочонок с ягодным вином, тот самый, который Иван забрал у Угрюма. Сыновья подошли к отцу. Исполненные важности, присели рядом с ним.

— Когда вернетесь? — тоскливо спросил он.

— Толмач Мартынка хворает! — Первуха взглянул на отца со скрытой насмешкой и снисхождением. Угрюму бросилось в глаза, что его сыновья становятся похожими на брата, даже чужая, бурятская кровь не могла скрыть породы. Сын боярский после заздравной речи отхлебнул из братины и послал ее Угрюму, минуя десятников: польстил брательнику и племянникам, прилюдно показав родство. Но поговорить с ним не удалось. Да и не о чем было говорить.

Стал желтеть лист на березах, и сыновья вернулись домой. На озерах ярко отцветали кувшинки, огромные стрекозы, поблескивая прозрачными крыльями, носились по двору. Первуха со Вторкой пришли пешком по тропе. На боку у старшего висела кривая богдойская* сабля. И вот они по-хозяйски сидели за столом, где собралась вся большая семья Угрюма, с женщинами, работниками, детьми, с ясырями и ясырками. Молодая девка, купленная у казаков, была уже от кого-то брюхата. Первуха со Вторкой смеялись — явно не их грех, весело лопотали с матерью и бабкой, изредка бросали русское словцо отцу.

Едва все насытились, оба сына соскочили с лавки.

— Ну, батя, показывай, что делать? Помочь пришли!

— Работы всегда много! — уклончиво ответил Угрюм. «Не проведете, волчата! — подумал, пристально вглядываясь в лица сыновей. — Что-то вам понадобилось, иначе бы не пришли».

Вскоре Первуха вынул из ножен саблю с переломленным клинком.

— Можно сварить? — спросил отца.

Угрюм, подслеповато отстраняясь, долго разглядывал заржавевший слом, потом признался, что прочно сварить клинок не сможет.

— Могу нож отковать или в тесак вытянуть!

Он подумал, что затем только и понадобился сыновьям, но они три дня работали при хозяйстве: возили к дому сметанные ясырями копны сена, скирдовали, починили крышу у бани. Угрюм подобрел, заленился, восчувствовав себя главой семейства, стал поговаривать, что дом тесен и надо бы зимой навалить леса на другой.

— Ты на нас-то не рассчитывай! — пробубнил Вторка, узкоглазо зыркая на брата и призывая его в поддержку. — Мы в зиму на службу уйдем!

Строить дом сыновьям явно не хотелось.

— Какая такая служба? — заспорил Угрюм. — Мы люди пашенные. Я государеву озимую десятину посеял. Вам ее жать…

— Ты посеял, ты и жни! — огрызнулся Вторка.

Первуха, как старший Похабов, сломил бровь, взглянул на отца терпеливо, снисходительно, попросил:

— Ты бы отпустил нас на Селенгу?

Булаг по лицам мужчин заметила размолвку и стала звать их в дом, за стол. Они молча расселись по местам. Третьяк тут же забрался на колени ко Вторке, не сводя с братьев восхищенных глаз.

— За Байкал просятся! — по-бурятски пожаловался жене Угрюм. — Хоринцев грабить! — И, обернувшись к сыновьям, строго, по-русски, спросил: — С кем? С Ивашкой, что ли?

— Атаман при остроге останется! — насупившись, ответил Первуха. — С Федькой Говориным!

— С крикуном?

— Он десятник! — терпеливо поправил отца Первуха. — Настоящий казак. Дайша! И не грабить идет, а мирить братские народы. Обещанный ясак взять.

— Добытчики, удальцы! — Угрюм скривил губы в неровно выстриженной щетине.

Булаг долго и пристально вглядывалась в сыновей большими узкими глазами, старалась до конца понять смысл сказанного, сходила к печи, без нужды поворошила выстывшие угли.

— Если дядька все решил, что меня спрашиваете? — обидчиво просипел Угрюм, щуря глаза.

**Богдойская — китайская (устар.).*

— Не пускает без родительского благословения! — расправляя плечи, неохотно признался Первуха.

— Вот как! — язвительно вскрикнул Угрюм и заерзал на лавке. — Родной отец-то еще нужен?

— Пусть казаки грабят бурят! — не в силах сдерживаться, сказала Булаг. — Не вы!

— Это нас грабили всю жизнь! — усмехнулся Вторка, ответив ей по-бурятски. — Грабили кому не лень! — хмыкнул под нос по-русски.

Угрюм уже взял себя в руки. Не роняя отцовского и хозяйского достоинства при ясырях, сипло и отчетливо проговорил:

— Это их казачье дело. Они — люди служилые, подневольные, а я — бывший промышленный, теперь пашенный. Мать ваша — булагатка. Вы — не казаки!

— А кто мы? — вскинул на отца злые глаза Первуха.

— Кто? — насмешливо уставился Вторка, будто застал на греховном деле. — Еруул-зайгуул*? Наш дядя — атаман, сын боярский!

— Видели мы твою волю! — презрительно процедил сквозь зубы Первуха, то бледнея, то краснея. — Перед всяким кыштымом шею гнул да коленками тряс.

В глазах Угрюма потемнело. Два сына глядели на него волками. С перекошенным лицом он стал грозно подниматься из-за стола. Ойкнула теща-старуха. Третьяк белкой сиганул на печку. Всю прежнюю жизнь не устраивала скандалов Булаг, а тут, взглянув на мужа и сыновей, кинулась между ними с ухватом и встала, разъяренная, испуганная, как загнанный зверь. Гневно сверкнула глазами.

— Уходите! — приказала сыновьям. — Видите, отец злой!

Первуха со Вторкой опустили стриженые головы, один за другим молча вышли из-за стола. Первуха резким движением прихватил саблю. Хлопнула дверь, скрипнули ворота.

«Совсем уходят!» — с колотящимся сердцем подумал Угрюм и опустился на лавку. Недоеденное мясо стыло на столе, ясыри и ясырки испуганно молчали, боязливо поглядывая то на хозяина, то на хозяйку. Угрюм уронил голову на столешницу, застонал, затем лег на лавку. Такую тоску, как теперь, он пережил один только раз, когда подранный медведем очнулся в братской юрте. И как тогда, словно сквозь пелену увидел Булаг — своего постаревшего, доброго, нерусского ангела. Она молча положила на грудь мужа годовалую дочь. Угрюм взглянул на ребенка, и слезы покатились из его глаз.

Сыновья не вернулись ни на другой, ни на третий день. Через неделю жена попросила:

— Сел бы на коня да съездил в крепость!

— Просить у сыновей прощения? — скривил губы Угрюм.

— Поговори с братом! Не чужие люди! — настойчивей сказала жена. — Твои ведь сыновья.

— Мои! — вздохнул он, жалостливо поглядывая на нее: столько бед претерпела с ним ради семьи, и вот все распадалось.

Он запряг спокойную кобылу, отправился в острог лесной тропой, через Шаманский отрог. Возле мыса стояли три летних чума. Тунгусы ловили рыбу, били уток и дожидались, когда, наевшись грибов, из тайги вернутся олени. Они чуть ли не силой сняли Угрюма с седла, стали угощать печеными утками. Выглядели чилкагиры вполне довольными жизнью, хвалились, сколько соболей подарили казакам. Угрюм сносно понимал их, он знал мужиков этого племени много лет, жил с ними мирно, торговал и ковал. И вскипала в душе неприязнь к острогу, к брату. Злило, что тунгусы хорошо отзываются о казаках.

— Всех соболей отобрали? — переспросил, кивая на острог. Тем самым показывал, хоть он и «лучи», но с казаками не знается.

За разговорами скатилось с неба солнце, подул ветер и Угрюм решил не ехать в острог, являться туда к ночи не стоило. Он заночевал у гостеприимных таежников на медвежьей шкуре.

**Еруул-зайгуул — пришлый бродяга (бур.).*

Утром, при ясном солнце над Байкалом, он опять заседлал стреноженную кобылу, неспешно и неохотно двинулся дальше. У ворот острога оживленно суетились люди, их веселые голоса далеко разносились по воде. Подъехав ближе, Угрюм увидел, что казаки отправляют за море полтора десятка служилых. Струг был чужой, не им сделанный: большой, как барка, и неуклюжий.

Среди гребцов он узнал Федьку Говорина. Тот весело орал на подначальных людей, огрызался на насмешки провожавших. Угрюм заволновался, поддал кобыле пятками под брюхо, заспешил, пока еще казаки не отошли от берега, высматривая среди гребцов сыновей и не видел их или не узнавал. Наконец, понял, нет их в струге, облегченно вздохнул, придержал кобылку, бежавшую ленивой, тряской рысцой, перевел ее на размеренный шаг.

В кожаной рубахе, в короткой душегрее, которую обычно надевают под латы, Иван Похабов стоял у самого края воды. Шапка его была заломлена на ухо. Пологая волна с плеском набегала на берег, подбираясь к сапогам. Он строго напутствовал отплывавших и за какие-то грехи грозил Федьке немилостью. Ветер трепал седые пряди длинной бороды, волосы, спадавшие из-под шапки.

Веслами и шестами казаки вывели тяжелый коч на глубину, подняли парус со множеством кожаных заплат. Он вздулся, и судно стало ровно удаляться на полдень к гряде гор с белыми, заснеженными вершинами. Гребцы запели «Отче наш», потом «Радуйся, Никола». Угрюм вертел головой, выглядывая в толпе сыновей, никем не привечаемый, спешился, ослабил подпругу.

Сын боярский постоял, глядя вслед парусу, перекрестился, глубже надел шапку, обернулся с озабоченным лицом, заметил Угрюма, кивнул, спросив взглядом, что ему надобно. Тот, с кобылой в поводу, подошел ближе.

— Сыны у тебя? — спросил.

— У меня! — устало ответил Иван. — На рыбный промысел отправил.

— Я им не дал родительского благословения! — запальчиво заговорил Угрюм, шепелявя и гортанно гыркая.

— Знаю! — насмешливо вскинул брови Иван. — Оттого и держу при себе. — Снова метнул взгляд на удалявшийся парус. — И с твоим благословением не отпустил бы. Федька свою жизнь ни в грош не ставит, будет он за выростков радеть… Жди! — проворчал с недовольным видом.

Успокоиться бы Угрюму от слов брата да повернуть назад, но клокотала в груди ярость, накопленная в пути, вертелись на языке слова, думаные-передуманые с тех пор, как ушли сыновья.

— Все, что у меня было в жизни, — это моя семья! — шепеляво укорил брата клокочущим голосом. — Един Господь помогал устраивать жизнь при сиротской моей доле, — размашисто перекрестился, обернувшись на восход. — И вот опять являешься ты и все рушишь. Не по-братски… Не по-христиански!

Глаза сына боярского блеснули, стряхивая заботы дня и раннюю усталость, брови сдвинулись к переносице.

— Не по-братски? Не по-христиански, говоришь? — пророкотал сердито. — Вот уж истинно: не сделав добра, врага не наживешь. О чем мелешь, щенок? — рявкнул грозно и властно. — А у меня не семья была? Хрен собачий или что, когда, отрывая крохи от жены и детей, выплачивал твою кабалу?

— Отдам! — смутился Угрюм.

— Адам! — передразнил Иван. — От боевых товарищей скрывал, что не пропал брат, но кровь предал: на братских кормах в холопах служит. Да кабы не я, казаки бы тебя донага ограбили за неоплаченные подати. И оберут, если сыновья не отслужат твои грехи!

Будто молния ударила в землю у самых ног. Закачался Угрюм, потрясенный услышанным. Только что все передуманное казалось ему ясным и понятным, а собственная жизнь безвинной. И вдруг вся вина оказалась на нем, на калеке? Он развернулся с оскорбленным видом, хотел молча уйти, но брат окликнул:

— Стой! — Сел на колоду как судья, пытливо вглядываясь в зарубцевавшееся лицо брата, пророкотал: — Нарей сказал, ты у него взял серебро?

«Обманул сосед! — побледнел Угрюм. — Удумал жег*».

— Сам дал! — пролепетал. — На подвески для дочери.

— Почему не сделал? Не вернул?

— Не требовал! — пожал плечами Угрюм, не поднимая глаз на брата.

— Оскотинился! — Губы Ивана брезгливо скривились, глаза злобно сузились. — Ни русского, ни братского, ни тунгусского законов не почитаешь. Все под себя… Ради брюха, как росомаха! — И снова заговорил начальственным голосом, каким никогда с Угрюмом не разговаривал: — Серебро, что у тебя, Нарей дал в поклон царю. Принесешь! И еще каждый месяц будешь привозить в острог пуд коровьего масла, пуд творога. Десятый сноп служилые сами выберут, после будешь свое молотить… Иди! — Поднялся, хотел двинуться к воротам острога, но обернулся: — Где браты берут серебро?

— У мунгал меняют на соболей! — заикаясь, ответил Угрюм с опущенными плечами, растерянным лицом.

— А мунгалы где берут?

— Браты по-разному говорят! — с готовностью услужить, сказал громче. — Покупают в царстве богдыхана то ли сами копают где-то в Мунгалах…

Не кивнув на прощание, Иван побрел к острогу. Угрюм потоптался на месте, попытался сесть в седло — оно, с ослабленной подпругой, съехало кобыле под брюхо. Она заржала, забила копытами.

— Стой, падаль! — Угрюм треснул ее кулаком по морде.

Поправил седло, вскарабкался на него, двинулся в обратную сторону, так и не повидавшись с сыновьями. «А увиделся бы, о чем с ними говорить?» — подумал. Возвращался мрачней тучи. Едва забывался, ловил себя на том, что, оправдываясь, говорит вслух и размахивает руками. «Угораздило сказать правду?!» — ругал себя. А тоненький голосок все попискивал и нашептывал из-за плеча. С тем голоском и спорил он, сидя в седле. Добравшись домой, бросил поводья ясырям. Остаток дня и ночь тоскливо пьянствовал. На другой день приходил в себя. На третий собрал весь

припас масла, творога, откопал спрятанное серебро, повез в острог на той же кобыле. С бледным окаменевшим лицом сложил все у ног брата.

— Унесите! — приказал казакам сын боярский. Даже не посмотрел на серебро. — Хочешь сыновей повидать? — спросил потеплевшим голосом.

Угрюм обиженно молчал, воротя в сторону разодранный нос. Что он мог сказать сыновьям? Будто угадал его мысли Иван, вздохнул:

— Сказано Господом: погрешит против тебя брат — выговори ему. А покается — прости!

Что-то такое он уже говорилось в прошлом. Угрюм мысленно выругал себя, возводя глаза к тесаному потолку избы: «Выговорил на свою голову». В остроге никто не обращал на него внимания, все были заняты делами, сыновья не показывались на глаза. Он тихо вышел за ворота, отвязал от коновязи повод узды, поехал обратно.

Первуха со Вторкой вернулись в дом на другой день, видно, пожалел-таки Иван брательника, сам прислал племянников. Оба были ласковы с матерью и бабкой, настороженны и вежливы с отцом. За столом, при неловком молчании, Первуха пробубнил подрагивавшим голосом:

— Дядька сказал, погрешили мы против тебя! Ты нас прости!

— А кабы не сказал? — желчно усмехнулся Угрюм, не поднимая глаз. — Не догадались бы?

Вторка громко и жестко поддержал брата:

— Ты нас не учил, что проклят от Господа злословящий родителей своих!

В сказанном был упрек отцу.

Угрюм метнул быстрый взгляд на жену, увидел по ее лицу, что она поняла сказанное сыновьями.

— Разве дед вас этому не учил? Я что? Я — сирота. До всего доходил сам. Дом построил, вас вырастил…

**Жег — хитрость, коварство (бур.).*

— Дед по-бурятски учил! — огрызнулся Первуха и мотнул большой головой, нетерпеливо прерывая упреки. — Казаки к зиме по улусам разойдутся ясак собирать, государево жалованное слово говорить. Нам дядька велел острог караулить. Отпустил к тебе на две недели помочь по хозяйству. Не пустишь нас на службу — верни ясырей, — опять напомнил о долге и кивнул на сидевших за тем же столом мужиков. Они поняли, что говорят о них, обеспокоенно завертели головами.

С подранных губ Угрюма рвалось злое слово на брата, но он удержался, и непрочный мир в семье был восстановлен. Весь отпуск сыновья работали не отлынивая, делали, что велел отец, а тот видел, что они работают без души и охоты, как ясыри, поэтому был ими недоволен и сварлив.

Вышел срок. Первуха со Вторкой тепло простились с матерью, бабушкой, Третьяком, отчужденно откланялись отцу. Родительского благословения не просили. Да и не знал Угрюм, как их благословить. На том простились.

Перед Рождеством, на Страстной неделе, все еще не встал лед на Байкале. Волны гулко накатывались на обледеневший берег, причудливые облака лежали на воде, прибрежный лес был белым от куржака. Все это Угрюм видел не раз, но вдруг показалось ему, что среди ползавших по воде облаков мельтешит темное пятно. Он так пристально вглядывался в клубы студеного пара, что на глазах навернулись слезы. Нет, не почудилось, из тумана показался обледеневший нос коча. Четыре пары весел устало смахивали пену с набегавших волн. Послышались голоса, вскоре и сам Угрюм был замечен гребцами.

— Острог далеко? — крикнул кто-то простуженным голосом.

Угрюм махнул рукой, указывая направление.

— За мысом! — крикнул. Ни самого мыса, ни другого берега култука не было видно.

— Огрызок, что ли? — спросил Федька Говорин и, не дождавшись ответа, сказал своим:— Уже рядом, слава Богу!

Волны подбирались к добротным ичигам Угрюма, сшитым из нерпичьих шкур. Воды они не боялись. В отступающей и накатывающейся волне мелькали жирные черные спины кормящихся рыбин с серебристыми боками. Обледеневший коч пошел вблизи берега, время от времени весла гремели и скребли по камням.

В доме топилась печь и было жарко. Жена и ясырки ходили в камчатых халатах. Булаг не отличалась от них одеждой, и это всякий раз вызывало у Угрюма сердечную тоску. Он хотел сделать ей серебряные украшения и даже пообещал, но брат отобрал серебро.

— Ну как? — спросила она вернувшегося мужа.

— Темно! — ответил он по-бурятски. Сбросил парку, оставшись в камчатой

рубахе, шитой по-тунгусски, со свободным воротом. Припал к печи, сложенной из речного камня и глины, нагрел руки и грудь, принял дочь. Улыбка расползлась по его изуродованному лицу. Третьяк с сухим творогом за оттопыренной щекой бегал взад-вперед по лавке вдоль стены: такой уж беспокойный уродился.

На другой день до полудня в дом явился Вторка с красным от ветра лицом.

— Батя, атаман зовет! — крикнул вместо приветствия. Потом уже разделся, торопливо перекрестился на черный кедровый крест в углу, сел за стол.

Угрюм, позевывая, спустился с печи. Теща беззубо ворковала, радуясь, какой внук большой да красивый.

— Что надо Ивашке? — спросил отец.

На лбу парня выступила испарина, от рубахи пахнуло свежим потом, видно, бежал всю дорогу. Вторка жадно напился теплого топленого молока, крякнул, оторвавшись от кувшина, смежил узкие глаза:

— Федька Говорин вернулся с Селенги! — Вытер рукавом губы. — Хоринцы ему ясак не дали и аманатов отбили. А он на Погромной речке взял на саблю богатого мужика, сорок соболей и семь женок. Я того мужика через слово и то не понимаю… Так, чуть-чуть. Сдается — мунгал! Ты же с ними как-то говорил? — вскинул на отца пристальные глаза.

— Говорил! — важно согласился Угрюм. — А Мартынка-толмач что?

— Помер после Филипповок, — как об обыденном ответил сын и мимоходом перекрестился. — Мужик чудной какой-то! Все ругается и грозит! — опять заговорил про ясыря.

Теща сняла с печки две пары новых ичиг, попросила Вторку примерить. Жена, не глядя на мужа, стала складывать в мешок домашнюю еду, принесла из сеней два круга мороженого молока, попробовала поднять набитый мешок и виновато засмеялась, жалея сына:

— Запряги коня!

Возле острога, прикрытого от ветра склоном горы, было теплей, чем на продувном берегу долины. На черную, шумно набегавшую волну неторопливо ложился белый, пушистый снег. Ворота открыл Первуха в лохматой черкасской шапке, смущенно растянул губы в улыбке:

— Дарова, батя! — поприветствовал отца. — Дядька ждет!

В острожной избе жарко горел чувал, но воздух был сырым и тяжелым. Вдоль стен на лавках сидело полтора десятка казаков в кожаных и камчатых рубахах, еще с десяток мостилось на земляном полу, покрытом пожелтевшим пихтовым лапником. Угрюм скинул шапку, трижды перекрестился и откланялся на тусклый огонек лампады в красном углу. Под ней сидел брат в рубахе с распахнутым воротом. Борода его помелом рассыпалась по груди. Пышные, промытые щелоком волосы лежали на плечах. Угрюм поклонился всем собравшимся общим поклоном, не показывая родства с атаманом.

— Звал? — спросил, озираясь.

— Есть нужда! — приветливо взглянул на него Иван. — Ты в языках горазд. Поговори-ка с ясырем с Селенги. Никто его не понимает.

В избу ввели мужика с толстой косой свисавшей с круглой головы, в добром халате, шитом по-братски. Спина пленника была прямой, в щелках глаз яростно поблескивали зрачки, зубы чуть слышно скрипели, на широких скулах вздувались жилы. Руки и ноги мужика были скованы аманатской цепью. Уже по тому, как он вошел, как заносчиво оглядел казаков, Угрюм понял, что это мунгал, и не простой, а родовитый.

— Какого ты роду-племени? — спросил ласково.

— Придут родственники — все узнаете! — гыркнул пленник и громче скрипнул зубами. Подумав, добавил, выпячивая грудь: — Если тебе знакомо имя Табун-баатара, зятя царевича Цицана, то знай, что я — его дядя!

— Он князец из черных мунгал! — обернувшись к Ивану, сказал Угрюм. — Говорит, царского зятя родня.

Хмыкнув в бороду, Иван приказал:

— Спроси, где мунгалы берут серебро, которое продают братам? И еще, знает ли он дорогу в Китайское царство?

Угрюм как мог стал расспрашивать пленного, мунгал презрительно рычал в ответ:

— Все узнаете, когда придут воины моего племянника и царевича.

На все другие вопросы он отвечал так же. Иван, расправляя пальцами бороду по груди, с любопытством разглядывал пленного. Никто из казаков не издал ни звука.

— Пусть еще посидит! — кивнул на ясыря атаман. — Кормить чем пожелает, дров давать в достатке, захочет гулять — не отказывать, но цепи не снимать.

Караульный увел мужика, Иван озадаченно добавил:

— Нарея, с цепью, к нему посадить! — вскинул глаза на Угрюма, усмехнулся и кивнул, указывая место напротив: — Садись ужинать, раб божий Егорий! — Опять

задумчиво качнул головой. — Ну, Федька! — пригрозил куда-то в угол. — Молись, как бы тебе своей дурной башки не потерять!.. А то и всем нам!

В словах его были и насмешка, и бесшабашность, но от сказанного по спине Угрюма пробежал холодок: в отличие от хитрого Нарея, он связался с казаками прочно и явно, трудно будет отговориться и отплакаться перед теми, кто их перебьет.

«Какой ужин? — подумал брезгливо. — У казаков не пост, так голод!» Но послушно опустился на лавку, распахнул камчатый халат, шитый по-братски.

На столе душно запарила разваренная без масла рожь. Казаки молились так долго, что утомили пашенного стоянием и поклонами. Сыновья были рядом, не чурались родства с отцом и не лезли под руку к атаману.

Иван сел, запустил ложку в котел, пожевал кашу, шевеля бородой, кивнул, разрешая есть другим. Угрюм осторожно зачерпнул своей ложкой, долго жевал ржаную кашу, разглядывая низкий потолок избы, проглотив, осолонил язык. Соль стояла на столе. Сыновья с казаками ели из другого котла. Все черпали кашу без жадности, молчаливо и благостно. Время от времени щепотками присаливали. После еды опять долго молились. Затем до половины казаков разошлись по делам и службам, остальные отдыхали и переговаривались, не обращая внимания на Угрюма, понуро сидевшего в углу. Иван, отдавая наказы, не отпускал его. Наконец брат умолк, поднял на него глаза, вздохнул.

— Вразумил меня Господь, отчего мы с тобой всю жизнь врозь, как чужие… Даже хуже. Много потакал я тебе. Жалел. Мой грех! Надо было еще в Тобольском взять за ворот, вести за собой и были бы братья как братья. И не было бы обид и зла. Теперь за двоих придется держать ответ перед Господом. — Опустил глаза к земляному полу: — Поздно уже неволить. Ты и сам седой… — Решительно тряхнул бородой, снова вскинул глаза, властно вперился взглядом в лицо смущенного брата: — Меня государь через воеводу наставил искать серебро и вызнать дорогу в Китайское царство, — сказал так громко, что обернулись все бывшие в избе. — А за этого мунгала, Федька, — окликнул десятника, — государь нас с тобой или казнит, или мы его вернем с честью царевичу и про серебро узнаем, и дорогу к хану Богде выведаем. Да вот беда, послать-то в посольство некого…

Федька Говорин, лежавший на боку возле очага, неуверенно завозмущался, дескать, он добыл мунгала на саблю, это его ясырь.

— Тебя бы отправить послом? — жестко хохотнул Похабов. — Да ты у первого встречного князца будешь гостевать, пока не выхлебаешь всю арзу, арху и тарасун. Моли Бога, чтобы нашелся кто-нибудь и твою дурную башку от палача спас. Когда атаман Перфильев из Енисейского острога уходил, у нашего царя с мунгалами был мир! — сказал, обвел казаков строгим взглядом и добавил: — Как теперь, един Бог знает! Или мунгалы отрубят головы послам, или царь — нам с тобой. Самому, наверно, идти придется! — сказал со вздохом и снова обернулся к Угрюму. И тот вдруг понял, к чему клонит брат. Дрогнули его глаза, обдало холодом, будто кишки вывалились на снег.

— Ты чего удумал? — залепетал, пугливо отмахиваясь руками. — Бэртэнги, — сорвалось с языка братское словцо. — От дома до острога едва-едва…

— Имею власть принудить для государева дела! — строже сказал Иван, не поднимая глаз. — Но по братскому состраданию прошу!

— Нет! — заверещал Угрюм, и слезы зазвучали в его голосе. — На кого баб брошу? Казачьей жизни и недели не выдержу, помру в пути, калека. Что за польза?

— Если помрешь, пользы никому не будет, а посольство сгинет, — согласился Иван и укорил: — Я бы тебя не бросил, как ты меня бросал. Ладно уж! — встал, показывая, что разговор закончен. — Приезжай на Рождество! Хоть вспомнишь, как веселятся православные христиане.

— Приеду! — закивал Угрюм. — Масла привезу. Мяса.

— Вези! — одобрил Иван и вышел из избы.

Будто лютую грозу пронесло над головой, словно молния оглушила, ударив в воду рядом с лодкой. Угрюм старчески потряхивал головой, смотрел под ноги незрячими глазами и не слышал, о чем переговаривались казаки. Вспомнил вдруг про кобылу, выбежал из острога. На коновязи висело седло с потником, стреноженная лошадь паслась, помахивая хвостом.

Капризно, как младенец перед сном, Байкал побушевал и успокоился, покрывшись льдом. На Рождество Угрюм в острог не поехал, но попивал с домочадцами винцо из ягод и праздновал среди своих. Молодая ясырка родила сына от Болтуна. Все они прижились в его доме, жили мирно и дружно, как родные, никто никуда не хотел бежать. Всем хороши были работники, только в пьянстве не знали удержу.

Третьяк, прибежав из леса на лыжах, сказал, что видел на промышленной тропе следы трех мунгальских или хоринских коней. Всадники проехали к острогу, к дому Угрюма, слава Богу, не повернули.

Через день из острога напрямик по льду пришли Первуха со Вторкой. Несильный, но злой ветер дул с восхода. Лица братьев были румяны от стужи, на черных бровях и ресницах белел куржак.

Если от Рождества до Крещения Угрюм удерживался от пьянства, лишь тайком прикладываясь к крепкой арзе, то с приходом сыновей выставил на стол полный кувшин молочной водки. Ясыри, мужики и бабы, залопотали, весело переглядываясь, теща с женой посмурнели, стали ворчать в два голоса:

— Разве можно поить молодых, да еще крепкой арзой?

— Какие они молодые? — огрызался Угрюм. — Казачью службу несут. С мороза горячее молоко их не согреет…

Спорить с женщинами он не стал, принес разбитую винную льдину из бочонка, бросил в котел, поставил в горячую печь, чтобы оттаяла. Себе и ясырям налил в арзы. Стол ломился от вареного мяса, сметаны, масла, хлеба и лепешек.

— Это вам не казачьи харчи! — захмелев, хвастал сыновьям.

Непоседа Третьяк терся между братьев. Угрюм, поглядывая на него, понимал, что и этот уйдет за старшими, останется только дочь-отрада. Но пока за столом сидела вся его семья, как это было прежде, до прихода казаков, и Угрюм всей плотью ощущал ее как собственную силу. После третьей чарки разомлел и притих даже балаболивший без умолку Болтун.

— А мы к тебе по делу! — признался Первуха, пытливо заглядывая в глаза отцу.

— Да уж, без дела не придете! — пожурил их Угрюм и неверной рукой потянулся к кувшину.

— Помнишь мунгальского аманата? — Пропустив мимо ушей ворчание отца, старший сын повертел в руках обглоданную кость, бросил ее на середину столешницы. — Третьего дня приехали в острог хоринцы от царева зятя Табунная, с ними казак Якунка Кулаков. Он сказал, что Табунай его и еще двух колесниковских казаков зааманатил и если мы не отпустим родича, то князец сделает две петли на одной короткой веревке, перекинет между верблюжьих горбов и повесит двух аманатов по мунгальскому обычаю, как только найдет пару третьему казаку — повесит и его.

— Казаки-то откуль взялись за Ламой? — тупо глядя на сына, спросил Угрюм.

— На другом краю Байкала, в ангарском култуке, казачий пятидесятник Колесников поставил зимовье и берет ясак с тунгусов-чилкагирцев, — стал обстоятельно и раздраженно объяснять Вторка. — А посылал он своих казаков к хоринцам на Баргузин и Селенгу, чтобы сказать государево жалованное слово. Они дошли до Табуная, и тот их зааманатил за грехи Федьки Говорина.

— Вон что! — нетрезво ухмыльнулся Угрюм. — Не один Ивашка за Байкал ходит… Значит, промышленные уже до края света дошли… Эх-эх! Давно ли я был первым на Лене? — Пристально взглянул на одного сына, потом на другого, глаза его стали проясняться: — Нам-то что за дело до тех казаков?

— Дядька собирается идти в посольство. Хочет вернуть Табунаю мунгальского родственника и через него сходить к царевичу, вызнать про серебро, про путь к богдойцам*, за цареву выгоду порадеть.

— И вы с ним? Или меня зовет?

— Отпусти нас? — перестали жевать сыновья, покорно и настороженно свесив круглые, коротко стриженные головы с жестким черным волосом.

— Вы же не казаки еще! — распаляясь, проворчал Угрюм сиплым голосом. — Не в окладе!

— Что с того? — хмуро возразил Первуха. — Дядька много лет служил в сынах боярских сверх указного государева числа**.

— Нам его никак нельзя бросить! — поддакнул брату Вторка, и узкие зеленые глаза его не по-доброму заблестели.

— А отца бросить не грех? — стукнул кулаком по столу Угрюм.

Теща с женой внимательно слушали говоривших и до этих пор только переводили глаза с одного на другого. Едва муж стал злиться, Булаг заерзала на лавке, привстала и, словно невзначай, смахнула на пол кувшин с остатками арзы. Ясыри закричали, будто им наступили на пальцы, Болтун подхватил упавший кувшин и вылил в рот остатки хмельного. Угрюм понял жену, спорить дольше не стал, обмяк душой и телом, пожал плечами:

— Я, конечно, и без вас не пропаду!

— А мы послужим государю! — то ли оправдываясь, то ли вразумляя старого, непонятливого отца, сказал Первуха, чеканя каждое слово.

— А не пойдем с дядькой, со стыда потом помрем! — поддержал старшего Вторка с язвительной усмешкой на губах. Не иначе как передразнивал отца, грозившего брату умереть по пути, если заставит идти в Мунгалы.

В сказанном был намек: даст или не даст ли отец благословение, они все равно уйдут. Жена и теща с недоумением крутили головами, стараясь понять, отчего всякая встреча отца с сыновьями заканчивается ссорой. Угрюм их пожалел и пояснил по-булагатски:

— Собираются в дальний путь! — Указал глазами на сыновей и принужденно хохотнул, стараясь перевести раздор в шутку: — К мунгальскому царю за серебром, а

**Богдойцы — китайцы (устар.).*

**Сверх указного государева числа — сверх штата.*

потом к русскому — за наградой!

Первуха со Вторкой заулыбались. На лице тещи разгладились морщины, повеселела Булаг. Молчаливое согласие родителей было получено. Первуха со Вторкой стали рассказывать об острожной жизни, похваляться своими службами. Догадывался Угрюм, что сыновья хотят еще о чем-то попросить, не выдержав, поторопил их:

— Говорите уж все, что надо!

— Дай сани в дорогу! — опять сыновья вперились в него настороженными волчьими глазами. — Кони в остроге есть, саней нет. Мунгал пешим не пойдет, у него женки, дети.

Закряхтел Угрюм, опять озлившись, поискал глазами кувшин.

— У тебя двое саней! — напомнил Вторка.

— А как одни сломаются, на чем сено возить? — поперечно вскрикнул отец, хотя понимал, что брат не просит, а требует по государевому делу и по долгам.

Пьяные ясырки расползлись по углам, мужики все чего-то ждали, сидя на лавке, дремали, не понимая, о чем говорит хозяин с сыновьями. Как только спор стих, Болтун поднял голову с мутными глазами и неприязненно уставился на Угрюма.

— Я те потаращусь! — крикнул он и пояснил сыновьям: — Всем хорош работник, только трезвый много болтает, а выпьет — становится злой. — Обернувшись к ясырю, громко пригрозил: — Вот отдам казакам, гахай!*

После Крещения Господня, в самые холода, по льду возле берега Байкала прошел отряд. Служилые скользили на лыжах и тянули за собой нарты. Коренник в оглоблях и два пристяжных коня везли сани, битком набитые ясырями в дорогих шубах. Угрюм издали заметил тройку на льду, безбоязненно вышел к берегу. Его увидели сыновья, помахали на прощание.

Сытно и спокойно зимовал пашенный дом. Казаки в остроге жили своей жизнью, не беспокоя его. В крещенские морозы спустились с гор тунгусы, устроили зимнее стойбище возле мыса, ловили рыбу в прорубях, промышляли соболя с собаками и луками. Угрюм тайком выменял у них лучшие меха, какие у промышленных и купцов казаки отбирали в государеву десятину.

В апреле, когда зазеленело на солнцепеках, на почерневшем льду показались люди и кони. Глазастый Третьяк заметил их издали и окликнул отца. Угрюм накинул парку, выбежал на берег, щурясь, стал всматриваться в идущих, то и дело переспрашивая сына:

— Глянь-ка, сани наши ли?.. Сколь там народу?

**Гахай — свинья (бур.).*

Третьяк считал по-русски, загибая пальцы, показал отцу растопыренные ладони и еще одну.

— Пятнадцать, — подсказал тот.

— Из саней головы торчат! А в упряжи — тройка!

— Ивашка с казаками! — шмыгнул носом Угрюм и строго предупредил младшего сына: — Про соболей, что наменяли, никому не говори… И Первухе со Вторкой! Даст Бог, братья вернутся живы и здоровы, — махнул рукой, боязливо крестя грудь.

Вскоре послышались скрип полозьев и голоса переговаривавшихся людей. Сомнений не было: в острог возвращался отряд Ивана Похабова. Опасаясь промоин и хрупкого льда, его люди близко к берегу не подходили, остановились напротив разлившегося устья речки, потоптавшись на месте, разделились на две ватажки. Трое казаков повернули подводу к берегу, остальные продолжили путь к острогу. Угрюм суетливо затоптался на месте.

— Беги, затопи баню! — приказал сыну. — Да матери скажи, что гости едут!

Третьяк, оглядываясь, вскрикнул:

— Братья идут и дядька! — Он убежал, но вскоре вернулся. — Болтун баню то пит! — оправдался перед отцом, глянувшим на него строго и вопросительно, попрыгал на месте и побежал по льду навстречу тройке.

Кони шагом приближалась к берегу. Впереди упряжки, выстукивая посохом лед, шел Иван Похабов в распахнутой овчинной шубе. Хоркая и прядая ушами, низкорослые монгольские кони выволокли сани на каменистый берег и встали как вкопанные, помахивая длинными хвостами. В возке сидели четыре богато одетых мунгальских мужика. Они, не мигая, уставились на Угрюма, и у него от одного только их вида неприязненно зачесалась спина между лопаток.

— Ну, будь здоров, брательник! — приветливо пророкотал Иван. Ступив на сушу, перекрестился на восход, подошел к Угрюму, который стоял на месте молча и передергивая плечами. Лицо Ивана было постаревшим и усталым, глаза глядели мутно и отстраненно, как с глубокого похмелья. Первуха со Вторкой молча поклонились отцу, по-взрослому обняли льнувшего к ним брата. В их в глазах Угрюм заметил какую-то дерзкую отчужденность: будто и не сыновья они ему, а дальние

родственники. Мунгальские мужики неохотно вылезли из саней. Первуха сказал им, что здесь будут отдыхать.

— Отправил своих! — устало пояснил Иван брату. — Чтобы завтра встретили нас с почестями. Это послы царевича Цицана! — кивнул на мунгал. — Прими по чину. А нам баню истопи.

— Топлю уже! — буркнул Угрюм, прикидывая в уме, где поселить мунгал. Зимой он с ясырями срубил другую избу, соединил ее сенями со старой. Печку еще не сложил, ждал тепла.

Сыновья подхватили пристяжных под уздцы. Скрежеща полозьями по оттаявшей земле, тройка поволокла сани к дому. Угрюм, прихрамывая, засеменил следом. Из банных дверей клубами валил дым. Ясыри таскали воду из речки. Третьяк выпряг тройку, Первуха со Вторкой внесли в избу мешки с подарками мунгальского царевича русскому царю. Угрюм провел гостей в чистую горницу. Послы строго осмотрели комнату, перевели глаза на хозяина. Первуха пробурчал им что-то и, указывая глазами, стал называть их имена:

— Седек, Улитай, Чорда, Гарма!

Поджав ноги, мунгалы сели на расстеленный войлок. Старая ясырка положила между ними кожу, выставила гостевые чарки и котел с горячим топленым молоком.

Иван с племянниками парился долго и неторопливо. По просьбам молодых обрил им головы концом сабли. Своих волос подрезать не стал, на несколько раз промыл их щелоком и квасной гущей. Из избы выбежала Булаг, увидев голых сыновей, всхлипнула, всплеснула руками:

— Тощие, кости пересчитать можно!

— Зато живые! — пробормотал Вторка русской скороговоркой, зная, что мать не поймет.

Угрюм все примечал и до поры не лез с расспросами.

Гостей угощали ясырки, для родных Булаг накрыла стол в новой избе. Вошли сыновья с Иваном, красные, распаренные, с бисеринками пота на коже, все в чистых камчатых рубахах, долго молились на крест в углу. Потом расселись, напились квасу, навалились на лепешки, на хлеб, видно, мяса наелись в пути.

Угрюм поставил на стол кувшин с молочной водкой двойной перегонки. Иван неприязненно покосился на чарку.

— Нельзя! Я на службе при царевых послах! — пробормотал, покачав головой с мокрыми еще волосами, спутавшимися с бородой. При этом он походил не на грозного сына боярского, а на стареющего попа.

Угрюм выпил один, крякнул и просипел сдавленным голосом:

— Расскажите хоть, куда ходили, кого видели?

Брат резче нахмурил брови и молча склонил голову. Вторка досадливо и болезненно метнул на отца быстрый взгляд. Первуха рассеянно смахнул с подбородка сметану, неохотно ответил:

— Далеко ходили, к мунгальскому царевичу!

— А в Китайское царство, к хану Богде, не дошли? — не отставал пьянеющий Угрюм.

— К Богде царевич не пустил, — ответил он же при общем молчании. — От Цицана до китайского царя еще месяц идти.

Первуха замолчал, все трое, опустив головы, сонно жевали выставленные кушанья. Иван раз и другой метнул опасливый взгляд на кувшин, вздохнул, поднял голову, придвинул чарку.

— Налей! — приказал перекрестившись, сбрасывая сонливость с глаз. — Во славу Божью! — Выпил, крякнул: — Ну и вонюча, зараза! Хлебной бы!

— Это сколько ржи надо! — оправдываясь, прогнусавил Угрюм.

Иван кивнул соглашаясь, хмыкнул и слегка отпустил язык:

— Вот ведь вымолил себе долю! Истинно, никакой русский человек не бывал там, где мы с ними, — указал глазами на племянников. — Даже промышленные. А я все сполна получил, по глупым своим молитвам. Прости, Господи! — с чувством перекрестился на крест в углу. — Покойный царь, Михейка, мне спину кнутом распускал, товарищей моих вешал, но так над нами не издевался, — качнул головой в сторону, откуда пришел. — Кабы не они, — указал взглядом на племянников, — никто бы не вернулся живым. Ради них терпел! — опять размашисто и зло перекрестился.

И тут будто прорвало всех троих: заговорили, заспорили.

— Турукай-табун еще ничего! — вскрикнул Вторка. — Отцу его отрубить бы башку!

— И Турукаю можно, — как равному бросил племяннику Иван. — Я отдал ему всех Федькиных ясырей, говорил государево жалованное слово, за нашего царя подарки дал. Мало ему. У Кирюхи Васильева выпросил пищаль, будто поглядеть. Вот ведь, мать его… И дать нельзя! И не дать — обидеть!

— Не вернул? — ухмыльнулся Угрюм.

— Вернет он! — буркнул Первуха. — Топор дорожный выкрал, батожок железный. Дал двух вожей и отправил к брату своему. Тому тоже давали подарки, а он отправил нас не к царевичу, а к своему отцу. Голодом водили по родне, всем на посмешище. Старик говорил: «Сыну дали государево жалованье и мне дайте». И все ему мало.

— Потом две недели возили кругами по Шелгину улусу и кормов не давали. Табуновы вожи сказали, что в другую сторону везут, холопы шеленгинские их били, — с тоскливой усмешкой вспомнил пережитое Иван. — Думал — все! Порублю всех, а там как Бог даст!.. Но взгляну на них, — повел глазами в сторону племянников, — и опять терплю… За всю жизнь столько не претерпел… Все! Хватит! — замотал головой. — Вернусь в Енисейский, за старостью из службы выйду! За Байкал больше ни шагу.

— Да, миловал тебя Бог в прежней жизни! — скрытно съязвил Угрюм. — От таких пустяков разобиделся! А меня Он всю жизнь торкал мордой в дерьмо.

— Миловал! — согласился Иван, глядя на столешницу незрячими глазами. — Воевать легче, чем ходить в посольство!

— Уж так! Кто горя да смертушки не видал, тот Богу не маливался! — досадливо вспомнил Угрюм свое, пережитое. — Царевич-то у них, у мунгал, какой? — спросил с любопытством.

— Лучше, чем его кыштымы! Живет богато, в белых юртах, серебра и золота много. Приветлив. Жалованное государево слово выслушал с почтением, сказал, что хочет жить с нашим царем в мире, в любви и совете. С его братских и тунгусских непослушных кыштымов позволил на нашего государя ясак брать. Едва сберег для него два сорока соболей и пять аршин аглицкого сукна тонкого. Сказал, будто от нашего царя. Послов везем с ответными подарками. Не дикие они, веру имеют, кланяются деревянным истуканам с золочеными мордами.

Иван выпил другую чарку, поморщился, отдышался и перевернул ее.

— Слава Богу, живы! — просипел. — Только на душе пакостно: будто в дерьме валяли. — И пояснил племянникам: — Видать, у Цицана с Алтын-ханом вражда.

Болела душа за сыновей, переживал за них Угрюм, молился и вот глядел на своих повзрослевших, озлившихся выростков, думал втайне: «Вдруг утешились?» Обрадовался случайно брошенным словам: «Подумаем еще, верстаться ли в казаки!»

На другой день Иван Похабов велел брату дать ему еще одни сани под подарки царевича и пожитки послов, уехал в острог. Первуха со Вторкой, к радости семьи, остались в доме, неделю и другую помогали отцу хозяйствовать. Лед на Байкале разбило и унесло. Теснясь, полезла в речки рыба. Ловили ее впрок, за вечным недостатком соли сушили юколу, пока не было мух.

Из острога никто не приезжал. Сани на лето остались там и это беспокоило Угрюма. Сыновья вызвались сходить, узнать новости, уехали верхами и вскоре вернулись, приволокли по земле сани, взятые Иваном.

— Дальше дядька повезет послов стругами, вдоль берега до Ангары! — сказали, поглядывая на отца. — Ты ведь ходил туда на лодке. Проведи его струги!

— Кто мне приказывает? — ревниво проворчал Угрюм. — Вы? Или Ивашка?

— Дядька просит!.. Но дело государево!

— Хорошо, если просит! — буркнул Угрюм, прикидывая свои, хозяйские выгоды. По весне у истока Ангары должны быть тунгусы.

Сыновья помогли ему закончить дела по дому и опять по-волчьи поглядывали на отца, выжидая, когда тот станет весел и добродушен. Улучив подходящий миг, Первуха хмуро попросил:

— Отпусти нас в Енисейский?!

— Зачем вам туда? — вспылил было Угрюм.

— Ты там был, а мы — нет! Хотим посмотреть, как люди живут.

— Говорят, в одном остроге людей больше, чем всех братов, что кочуют по Иркуту, — сказал Вторка и мечтательно смежил большие, как у матери, узкие зеленые глаза.

Угрюм помолчал раздумывая. Сыновья побывали за Байкалом, и больше их туда не заманить, глядишь, вернутся из Енисейского и осядут навсегда.

— Ну ладно, посмотрите! — окинул сыновей плутоватым взглядом. — Как говорил ваш дед, земля создана для того, чтобы на ней разгуляться, а не сиднем сидеть.

В конце мая, на преподобного Пахома-бокогрея, в большой острожный коч с четырьмя парами весел загрузили царские подарки, свои и мунгальские пожитки. Угрюму было лестно, что сделанные им лодки остаются при остроге, но грубо сшитый коч или скорей барку, довести до Ангары было непросто.

Дул попутный ветер. Легкая лодчонка Угрюма весело болталась на волне. На веслах сидели Первуха со Вторкой, на корме — хозяин. Наконец-то казаки столкнули с отмели неуклюжий коч. Гребцы, дружно взмахивая веслами, вывели его на глубину, где волны положе, подняли парус. Он напрягся, вздулся и, чуть зарываясь носом в

волну, коч грузно двинулся на восход. На носу судна сидели послы и вертели головами по сторонам. Рядом с ними важно восседал князец Нарей с Иркута. Узнав соседа, Угрюм стал расспрашивать сыновей, куда его везут.

— В Енисейский, — пояснил Первуха. — Едет послом к воеводе от всех братов Иркута.

— Не верит никому! — усмехнулся Вторка, блеснув глазами. — Мунгал боится. Посол, а цепи с себя снять не дал.

Подивившись осторожности старого князца, Угрюм велел сыновьям поднять свой парус из козьих кож. Ертаульская лодчонка так понеслась вперед, что пришлось его приспустить. Пологий берег быстро остался позади, суда пошли под крутым склоном с нависшими над водой соснами и лиственницами. Лодка Угрюма то и дело уносилась по ветру к очередному мысу и там покачивалась, поджидая. От пади к пади, где можно было укрыться от резких ветров, Угрюм вел суда вдоль крутого байкальского берега. К счастью путников, ветер не менялся. Они переночевали в узком распадке со звонким, чистым ручьем. На стане Первуха со Вторкой то и дело толмачили для сына боярского, а тот ни словом, ни взглядом не говорил брату о племянниках, будто поездка в Енисейский была их прихотью.

— Хоть бы жалованье требовали! — ворчал Угрюм, поучая сыновей. — Толмач — второй человек после атамана.

Они шли на восход и весь следующий день. К вечеру Угрюм подвел свой стружок к крутой лысой горе с круглой макушкой.

— За ней Ангара! — оглянулся на тяжелый струг, помахал брату, указывая на широкую падь с бурным ручьем. — Если ночевать, то лучше здесь.

Волны еще катились на восход, но ветер переменился и морщил их гребни, сносил суда в обратную сторону. Гребцы на тяжелом коче выбивались из сил, а берег против борта едва продвигался. Иван приказал высаживаться и ночевать. В сумерках погода и вовсе испортилась: подуло с севера, шумно затрепетали листвой деревья, стали сгибаться дугами, как прихожане перед алтарем, дружно кланяться Байкалу. Волны с грохотом набегали на камни, рассыпалась брызгами и пеной.

Только через два дня ветер стих.

— Смилостивился, батюшка! — крестился Угрюм на полуденную сторону. — Не дай Бог такой ветер застигнет возле скал.

Иван раздраженно сопел, ему было жаль двух потерянных дней, но он и сам был научен горьким опытом, как ближний путь оборачивается долгим. При пологой волне суда обошли гору на веслах, и открылся мелководный исток реки с перекатами, с камнем, торчавшим из воды на самой середине. Суда приткнулись борт к борту. Течение медленно повлекло их на отмель, в Ангару. Здесь ветер был неопасен.

— Ну что, раб Божий Егорий! — с обычной насмешкой обратился к брату Иван. — Отпустишь ли сыновей в Енисейский?

Угрюму стало лестно, что его спрашивают, он считал дело решенным.

— Выросли, теперь не удержать, — сварливо проворчал, пожимая плечами.

Иван окликнул двух казаков.

— Не хотели в Енисейский, плывите обратно с Егорием. А вы, — кивнул племянникам, — перебирайтесь ко мне.

Первуха со Вторкой перемахнули через борт, втиснулись между казаками. Двое служилых осторожно перелезли в лодку Угрюма. Иван стал их наставлять, а суда все быстрей сносило на рябившую отмель.

— Переправитесь с Егорием на другую сторону, увидите урыкиты, скажете тунгусам государево жалованное слово и возьмете ясак. Хлеб, соль, крупы из жалованья пришлю в устье Иркута, на Дьячий остров.

Струги разъединились. Угрюм уперся веслом в каменистое дно, удерживая лодку, чертыхался про себя: лучших соболей у тунгусов теперь заберут казаки, ему же достанется что похуже. Вдруг и зря вез ножи, колокольчики, топоры. Сыновья тупо, как бычки, смотрели на отца с удалявшегося струга: ни поклониться, ни расцеловаться, как от века принято у людей, ума не хватало. «Сурово карает Господь за грехи наши, — сипло вздыхал Угрюм, глядя на них. — Наказывает детьми!.. Но я-то сирота, а они…» — возроптал было на судьбу и мысленно ответил себе: «Братские народы на людях сильно сдержанны в чувствах».

«Радуйся, отче Никола Чудотворче…» — запели на удалявшемся коче.

Кое-где он скреб днищем по камням. Пару раз казаки выскакивали за борт, протягивали его через отмели. И вот река подхватила тяжелое судно, понесла к Енисейскому острогу. Лица гребцов были радостны.

— А это кто? — вскрикнул Вторка, поднялся в рост, указал по течению.

Под берегом, в тени деревьев, была едва различима вереница бурлаков, идущих бечевником.

— Похожи на наших! — приложил ладонь ко лбу сын боярский.

Гребцы, налегая на весла, стали оборачиваться, кормщик направил судно к

другому берегу. Бурлаки тоже заметили плывущих с верховий, вышли на открытое место, остановились. Коч Похабова развернулся боком к течению и приткнулся к берегу. На корме встречного судна поднялся в рост добротно одетый казак.

— Якунька или кто? — удивленно пробормотал Иван.

— Молодой Похабов! — весело загалдели гребцы. Отец и сын сошли на берег, степенно двинулись навстречу друг другу.

— Ты откуда взялся?

— Из Енисейского! — ответил сын, кланяясь на казачий манер. — С атаманом Галкиным иду на перемену Колесникову.

Якунька повзрослел и даже заматерел, но грубая порода рослых и коренастых Похабовых сгладилась в нем материнской статью.

— Атаман где? — удивленно спросил Иван. — Раненько дошли до Ламы. Зимовали рядом или что?

Казаки галдели. Встретив знакомых, обнимались, выспрашивали острожные новости. В судне Похабова с важным видом сидели послы. Князец Нарей вертел головой, зыркал по сторонам узкими плутоватыми глазами. Он уже сносно говорил с казаками по-русски, а с мунгалами — свободно, иногда поправлял Первуху со Вторкой, если те толмачили. Отец с сыном присели на берегу, Яков стал неторопливо рассказывать:

— Прошлый год вышли из Енисейского поздно: сотня служилых и охочие, десять стругов с харчем. Зимовали по балаганам от Оки до Иркута. Всю зиму таскали груз по льду. С Митькой Фирсовым немного ссорились, зато войн по Ангаре не было.

— С Митькой-то что? — спросил Иван, разглядывая сына. Тот был спокоен, уверен в своей силе.

— Кто он и кто атаман Галкин? — будто удивляясь нелепому вопросу отца, поднял брови Яков. — В твою наказную память пальцем тыкал и нам указывал. У них, у Фирсовых, отец, конечно, именитый и братьев трое. Сила! Только ермаковцам они не чета: зря с атаманом Галкиным спорили. Он хоть и в сынах боярских да разрядный атаман, как дядька Максим, и по жалобам на стольника Головина наводил порядок в Илимском уезде. Своей властью всех из тюрем выпустил! — Яков посмотрел на отца материнским взглядом, дескать, кто ты и кто он? С почтением добавил: — С ним даже царская дворня не спорит.

— Ты-то как с Галкиным оказался? — опустил голову Иван. — С Перфильевым ходил.

— Дядьку Максима прошлый год посылали в Москву с отписками и ясачной казной. Меня с ним не пустили! — Яков смежил ресницы, как мать перед скандалом. — Но я за морем бывал, на Витиме. Там от меня больше пользы, чем на ближних службах. — Помолчав, добавил искренней: — Дядька Максим то и дело хворает! Старые раны открываются, спина болит… Опять же сын его, Ивашка, уже в казачьем окладе...

Широкой ладонью Иван сжал бороду в пучок, вздохнул.

— Вот и мы старые… Крестник и тот в службе! Даст Бог, вернусь в Енисейский, сдам послов, буду проситься где поближе да потише… Савина-то жива-здорова?

— Жива! — потеплели глаза сына. — Внука нянчит… А мать как? — спросил, чуть смутившись.

— Здорова, кобыла старая! — неприязненно ругнулся Иван. — С Оськой живет. Зимой чуть брата тебе не родила. Да не дал Бог, выкинула… А со мной твои сродные братья, — спохватился и поманил к себе Первуху со Вторкой, сидевших в коче вместе с мунгалами и Нареем.

Те неохотно сошли на берег, ревниво и настороженно уставились на Якова. Он же разглядывал их с насмешливым любопытством.

— Братан ваш, мой сын! — кивнул на него Похабов. — Помогайте друг другу. Они были со мной в Мунгалах, — представил племянников сыну. — Толмачи хорошие. Без них я бы пропал.

— А я без толмача! — Яков приветливо поднялся навстречу братьям. — Думаю колесниковского при себе оставить!

Первуха со Вторкой присели на корточки, как тунгусы. Яков усмехнулся и сел на прежнее место.

— В Енисейском ничего не выслужите! — Добавил: — Там окладов впусте нет. Гулящих, работных, захребетников у всякого посадского полный двор.

— Мы острог посмотрим и обратно! — небрежно разлепил губы Первуха. — За Байкалом были, другой раз туда не пойдем! — сказал тихо, но так решительно, что у Якова отпала охота уговаривать его.

— Смотрите! — огорченно повел он плечами. Насмешливо дрогнули материнские губы в негустой, коротко подстриженной бороде. — Если хотите поверстаться в служилые, то со мной и с атаманом Галкиным государь вас милостями не оставит.

— Поперечные выростки! — тихо рассмеялся старый Похабов. — Князца Нарея зови. Он по-русски еще подучится и будет всем толмачам толмач. А мне одним ртом меньше.

Мысль эта пришла ему в голову случайно и будто осенила. Он подошел к кочу, позвал Нарея для разговора. Позвякивая аманатской цепью, тот поднялся. Молодой Похабов вмиг преобразился, заговорил с князцом тихо, почтительно, ласково.

Вскоре на бечевнике показался караван стругов. Старый атаман Галкин шел налегке впереди всех. Его постаревшая жена, как всегда, брела за ним. В отряде был их младший сын, отрок. Другие дети выросли в походах: читать, писать, дьячить не выучились, зато умели воевать, промышлять и пахать землю. Иван расцеловался со старым товарищем, разглядывая галкинские струги, подивился:

— Одни мушкеты, ни одной пищали не вижу. Однако хорошо снарядил тебя воевода.

— Добрые ружья! — согласился атаман. — Прислали из Москвы и дают в дальние службы!

Старые казаки неторопливо поговорили о новостях. К ним подошел Яков, весело сообщил, что уговорил князца Нарея идти с отрядом за море. Иван простился с сыном, атаманом и князцом, его гребцы разобрали весла, оттолкнули коч от берега, с песней налегли на весла, наверстывая потерянное время. Сын с отцом снова разошлись по разным сторонам.

Чем жил черный дьякон Герасим, не имея никакого жалованья? «Жизнь старца — великое таинство!» — думал Иван Похабов, подплывая к устью Иркута. Он спешил доставить послов в Енисейский острог, а потому велел пристать к берегу и послал двух казаков к Дьячему острову. Те вскоре вернулись, сказали, что укрепленное зимовье пустует. Похабов знал, что оставленные им здесь люди уплыли в Братский острог. Посольский коч переправился на другой берег. Под яром возле кельи его уже ждал старец Герасим.

— Ну что, поплывешь со мной? — поклонился ему Иван.

— Надо плыть! — замялся, завздыхал Герасим. — И как бросить все? Столько трудов положено.

— Что тебе бросать-то? — не понимая забот монаха, рассмеялся Иван. — Икону за пазуху, шубный кафтан, одеяло — на судно, топор и котел можно спрятать. Если зимовье сожгут или келью осквернят — вернемся, заново отстроим!

— Так-то оно так! — медлил монах, стыдясь, что задерживает людей.

Нажитого добра у него было мало, Иван помог спрятать немногие необходимые для жизни вещи и в четверть часа Герасим был собран, сел на корме рядом с сыном боярским. Коч снова поплыл по течению реки, гребцы запели. Монах то и дело оборачивался к местам, в которых провел добрую половину жизни.

Коч двигался от темна и до темна. Только на Осиновом острове да в Братском остроге казаки сделали дневки для отдыха. Иван Похабов обошел острог и остался доволен службой Митьки Фирсова. Братские казаки в тот же день перевезли Герасима на другой берег реки в скит. Иван осмотрел и принял собранный без него ясак. Его люди успели попариться в бане, и, как только вернулся из Братского скита повеселевший монах, посольский коч поплыл дальше.

Вскоре послышался рокот порога, а казаки Похабова увидели множество дымов, суда, вытянутые на берег. У костров сушились мужчины, женщины, дети. Коч Похабова тоже пристал к табору. Тесным кольцом его окружили енисейцы, скитника Герасима вынесли на руках. К Похабову вышел седоусый, но все еще крепкий и статный Петр Бекетов, поприветствовав товарища, повел его к своему костру, на ходу ворчал и жаловался, покрикивая на ухо Ивану:

— Я ведь уже и не голова! Разголовлен! За этот год только половину денежного жалованья получил, хлеб, крупы, соль совсем не дали…

Возле костра, охая и постанывая, лежала толстая Бекетиха, два ясыря подбрасывали хворост в огонь и готовили ужин. Разглядев Ивана, Бекетиха вострубила зычным слезным голосом:

— Наказал Бог! Придется нам с Петром на старости лет меж дворов скитаться!

Свою бедность Бекетовы, как водится, преувеличивали. Иван приглушенно гоготнул и напомнил:

— У вас два сына на пашне, десятин по двести у каждого, да ясырей не счесть! — При своем жалованье, самом низком среди енисейских сынов боярских, Похабову трудно было понять жалобы друзей.

— Сыновья — отрезанный ломоть, — простонала Бекетиха. — Своим домом живут, своим умом, зачем им мы, старые захребетники…

Зная бабьи слезы, Иван слушал ее вполуха, глядел на товарища, высматривал знакомых казаков. Притом, что в отряде было три десятка служилых, среди них шли два старых пятидесятника. Бекетов усадил Ивана, сам присел, привычно щурясь от дыма. Ясыри сунули в руки ему и гостю чашки с горячим травяным отваром.

— Иду тебе на перемену в Братский острог, — стал обстоятельно рассказывать Петр Иванович. — Собрали со мной стариков, выслали нас из Енисейского с бабами и детьми! — пожаловался, кусая ус. — Там нынче правит новый воевода, сын боярский

Федор Полибин. Ничего плохого про него не скажу, он сменил Федьку Уварова и не знает, почему мне прислали государево жалованье вдвое меньше прежнего. Догадываюсь, Федькины козни: не простил, что я его держал в тюрьме, воздал отмщением… Про Ермеса слыхал?

— Слыхал! — поморщился Иван.

— Если нынешний воевода отправит тебя с послами в Тобольский или в Москву, не отказывайся и за меня там похлопочи. А я в Енисейский вернусь разве по государеву указу. Обидели старого стрельца, — опустил кручинную голову. Повздыхав, продолжил: — Четырех пашенных везу своим подъемом, хочу их в Братском на землю посадить, чтобы свой хлеб был и не сквернить бы живота в постные дни. Пора о душе подумать.

— Похлопочу! — неуверенно пообещал Иван. — Только куда уж мне в Москву-то? Разве в Тобольский отправят.

— С такими послами могут и в царских палатах принять! — кивнул в сторону причаленного коча Бекетов. — Бери с собой соболей и лис, сшей две собольи шубы в зиму да поддевку. Что на тебе надето, провезешь беспошлинно: ты — служилый, в по пути поменяешь на ходовой товар. Даст Бог, вернешься с ним в Енисейский и будет прибыль больше, чем за всю прежнюю службу от государева жалованья. И обо мне не забудь, — напомнил. — Пусть указом восстановят в головстве и в прежнем жалованье.

— А себе буду просить тихую службу! — вздохнул Иван, примечая, как постарел Бекетов.

С галкинской заимки Похабов отправил в острог вестовых на резвых конях, чтобы там встретили послов мунгальского царевича с подобающими почестями. Его гребцы нетерпеливо поглядывали вперед, но не налегали на весла, их несла река. Сын боярский давал время начальным людям острога, чтобы приготовились к встрече.

Едва на левом берегу Енисея завиднелись купола острожных церквей, он приказал дать залп из пищалей. Под яром у причала, напротив главных острожных ворот, уже толпились люди в праздничных одеждах. Со смотровой башни в синее небо взметнулись пороховые грибки ответных выстрелов. Гребцы наконец-то налегли на весла, коч развернулся против течения, подгребая к берегу. Полдюжины молодых казаков и посадских вошли в воду, схватили его за борта. На помощь им кинулись другие и с ликованием вытащили тяжелое судно на сушу.

— Слава Тебе, Господи! — встали на корме и закрестились Иван Похабов со старцем Герасимом.

По ступеням крутого берега к воде спускался новый воевода. За ним шли два незнакомых сына боярских и прежний, уваровский, подьячий Василий Шпилькин. Похоже, что государево число средних чинов* в остроге снова было увеличено.

Послы Седек и Улитай весь долгий путь хмуро и важно помалкивали, надували щеки, поглядывали на казаков с важностью, стараясь не уронить достоинства пославшего их царевича. Чорда и Гарма, напротив, были говорливы и любопытны, еще за Байкалом выспрашивали, как что называется по-русски, а ко времени прибытия в Енисейский острог уже толмачили.

— Главные люди! — указал им Похабов на воеводу с подьячим и таможенным головой.

Чорда с Гармой передали его слова Седеку с Улитаем. Те встали на носу струга, не спеша сойти на сушу. Молодые казаки и охочие люди в мокрых сапогах подхватили их на руки, поставили на землю против воеводы. Седек с Улитаем исполнились пущей важности, огласили приветствие царевича казачьему царю. Воевода, блеснув живыми, насмешливыми глазами, поклонился на восход. Послы поклонились на закат.

Ритуал встречи был соблюден без обид и унижений. Воевода повел послов в острог. Иван огляделся по сторонам, увидел Савину со старшим сыном Емелей в густой бороде. На душе стало радостно. «Вот и все! — подумал. — Хватит с меня дальних служб!» От острожных ворот к причалу опасливо спускался с посохом старик в красном кафтане и шапке сына боярского. Иван пригляделся и вскрикнул:

— Максимка? Что же ты такой ветхий?

— Хвораю! — ответил старый атаман. — Теперь уж легче. А то совсем плохо было. Стареем, брат Иван!

— Стареем! — со вздохами согласился Похабов.

— Настя велела встретить тебя и позвать к столу.

Иван оглянулся на Савину с Емелей. На борту коча сиротливо, как ясыри, сидели Первуха со Вторкой, смущенно поглядывали на людей, острожные ворота, купола церквей. Чуть в стороне, на окатыше подмытого яра, терпеливо ждал Ивана подьячий Василий Шпилькин.

— Разберусь с делами и приду! — пообещал Максиму, ласково взглянул на Савину с Емелей. — А вы племянников моих примите и приветьте, — попросил.

Савина, не отрывая от него туманных глаз, смахнула со щек радостные слезы,

обернулась к Первухе со Вторкой. Племянники заулыбались ей.

— Дочку высматриваешь? — спросила Ивана, и ее голос напевно зазвучал в его ушах, отзываясь прежний лаской. — В Томский город уехала с мужем. Савоська выхлопотал там себе службу.

— Вон что? — болезненно смежил веки Иван. — Ну, ступайте с Богом! — кивнул племянникам и Савине с Емелей, обернулся к подьячему: — Здорово живешь, при новом-то воеводе?

— Слава Богу! — ответил тот. — Хороший воевода, ничего плохого о нем не скажу. — И добавил, указывая глазами на мешки в струге: — Показывай, что ли!

**Средний чин — чин сына боярского в середине XVII века был старше казачьего и ниже дворянского.*

Прибывшие со служб казаки оторвались от знакомых и родственников, опять собрались возле коча. По принятому порядку десятник Дружинка с двумя служилыми взяли мешки с казенной ясачной рухлядью, другие подхватили свои добытые меха, отбитые в боях сабли, куяки, шишаки и поручи, пищали и котлы. На судне остались одеяла и шубные кафтаны, истрепанный парус. Шпилькин поставил возле коча престарелого острожного воротника и повел прибывших казаков в острог.

— Прошлогодний ясак получил? — спросил его Иван.

— Получил, — улыбаясь, ответил подьячий. — Сперва посыльные сильно на тебя жаловались, но после покаялись, — с пониманием взглянул на сына боярского. — По оценке енисейских торговых людей, было рухляди на триста двадцать девять рублей двадцать три алтына две деньги.

— Я думал больше! — признался Иван.

Подьячий принял по описи старые ружья и котлы, со слов сына боярского записал, что две пищали украдены в Мунгалах. Мешки с рухлядью он опечатал и велел сложить в келейке при церкви. На том казаки были отпущены на отдых.

Дом Филиппа Михалева когда-то стоял привольно и просторно, в стороне от острожной стены, теперь расширившийся острог подступил к самым воротам. Теснимый со всех сторон другими посадскими домами, михалевский двор стал мал, огород вовсе урезан. Заждавшись Ивана, выстывала баня.

В подлатанных рубахах сыновей Савины за столом сидели распаренные Первуха со Вторкой, Емелька Савин и сама Савина. Ухаживала за гостями проворная Емелькина жена. Все другие сыновья Савины и Филиппа были в отъезде и на службах. Емеля тоже спешил уехать на пашенную заимку Терентия Савина. Вскоре в доме остались только Савина с Иваном и его племянники. Стемнело. Уже дремали на лавках Первуха со Вторкой, Савина тихо рассказывала о своем житье при доме. Подперев рукой щеку, все глядела на своего постаревшего полюбовного молодца большими любящими глазами.

— Будто учуяла там, в Братском… Или Господь надоумил! После Филиппа, до Рождества, все четверо с женами и внуками собрались здесь, а мне-то хорошо было, когда они со мной: счастливая, как наседка с цыплятами. Только тебя не хватало.

Легли они в чистой горнице, слушали сонное гудение комаров. «Пора и в радость пожить», — опять подумал Иван, зашептал Савине на ухо:

— Буду проситься на службу рядом с острогом, хоть бы приказчиком в слободу или опять в Маковский.

На другой день воевода принимал ясак, непридирчиво разглядывал долевую рухлядь казаков: лучшие соболя были среди ясачных сороков. Ивана Похабова он повел в съезжую избу, посадил против себя на лавку, стал расспрашивать о походе. Писец и подьячий, поскрипывая перьями, записывали расспросные речи. Иван рассказывал о походах небрежно и торопливо, спешил вернуться к Савине. Ничто другое ему не шло на ум.

Воевода был ни молод и ни стар: с проседью в стриженой бороде. Не нравилось Ивану, что нынешние дворяне и дети боярские при высоких должностях стригут бороды, нарушая ветхозаветные Заповеди Господа и казачьи традиции, но приходилось с этим мириться, подступал иной век. Бывавшие в Москве люди говорили, будто сам царь Алексей бреет бороду и носит длинные усы.

А воевода Похабову понравился: без спеси, с умными глазами, вел расспрос без коварства и подозрительности. Пожурил, что Иван в Братском пытал огнем казаков, но похвалил, что вернул казне украденную рухлядь.

— Пятидесятник Василий Колесников на тебя жаловался, — укорил со смехом. — Увечил, дескать, кости ломал. После, правда, Пятунка Голубцов при расспросных речах объявил, что тот первый обнажил саблю... Смотри! Я тебя предупредил. В Тобольском могут спросить строже. Знай, как отвечать!

Закончив расспросы, он налил сыну боярскому чарку хлебного вина.

— И еще подумай! — предупредил с усталой улыбкой. — Говорят, двух ясырей привез…

— Не ясыри это, — заспорил Иван. — Мои племянники-болдыри!

Воевода с пониманием взглянул на него, кивнул.

— У меня тоже ясырей полон дом, их палкой на волю не выгнать. Нынче гулящий из Верхотурья женился на моей ясырке, дал крепость на век, на себя и детей, которые родятся, а царь шлет указ за указом, чтобы ясырей не крестить, но отдавать на выкуп или отпускали в улусы. Понятно, с крещеных какой ясак? А наш прежний и новый архимандриты, в пику царским указам, велят крестить и венчать диких.

Я это к тому говорю, что тебе придется ехать с послами до Тобольского. Вывозить ясырей — запрет, здесь оставишь — подумай, как надежней. И еще подумай, кого из своих казаков возьмешь: спокойных, не скандальных, не пьяниц, за кого можешь поручиться…

Самых спокойных и рассудительных казаков Иван выбрал еще в Байкальском острожке, с ними ходил в посольство. Он крякнул, покачав головой, от другой чарки отказался, сказал, что доволен угощением, расспросами и советами, прочитал написанное писцом и подьячим, приложил руку, откланялся и вышел.

— Не темните, не скрывайте ничего, — предупредил Дружинку с поджидавшими казаками. — Говорите, что помните!

Вскоре воевода Полибин отправил в Тобольск послов, а с ними Ивана Похабова и ходивших с ним в Мунгалы Дружинку Андреева, Кирюху Васильева, Сеньку Новикова. Кончался июль, надо было поторапливаться, чтобы успеть сплыть до Сургутского острога и подняться по Иртышу.

Первуха со Вторкой не показывали обид, что остаются в Енисейском остроге без дядьки, соглашались пожить у Савины, поработать на заимках у ее сыновей обротчиками*. Воевода дал Похабову проездную грамоту с наказом всем сибирским людям прямить служилым и государевым послам, давать им кров и корма, суда и лошадей. Людям при послах наказал по кабакам не буянить, таможенных людей и ямщиков не бить.

Только в церкви, перед выходом на Кетский волок, Похабов встретил монаха Герасима в коротковатом подряснике. Как они расстались возле струга, так и разошлись по разным сторонам. У монаха была своя власть, неподотчетная воеводе.

— Грешен! — завздыхал Иван, кланяясь старому товарищу. — Не удалось побывать на могиле старца Тимофея. Тебя увидел, только и вспомнил о нем.

После исповеди и причастия Иван простился с Савиной и племянниками. На трех подводах с четырьмя послами, тремя казаками охраны да с черным дьяконом двинулся знакомой дорогой к Маковскому острогу. С тех пор как он оставил его, острог не расстраивался, разве был местами подновлен. Все ветшало: и амбары, и гостиный двор. Дела велись ни шатко ни валко. Управлял острожком сын боярский Богдан Болкошин — вологжанин. Он же был на приказе в Дубчевской слободе, жаловался, что не успевает быть там и здесь, как Иван в молодости, рвался на дальние службы, а замены ему не было.

— Будет! — пообещал Похабов. — Сам напрошусь у старших воевод.

Богдан выспрашивал о Байкале и Селенге, о походе в Мунгалы, простодушно охал и завидовал тем, кто голодал в засеках, отбивался от враждебных народов, на прощанье дал казакам с послами самый добрый струг, сушеного мяса и ржи в дорогу. В Тобольск Иван Похабов добрался за четыре недели.

— Что везем? — со скучающим видом спросил у него казак на причале. Заметив в струге монаха, равнодушно скинул шапку, кивнул. При виде богато одетых нехристей оживился.

— А вот я по дурной башке-то тресну, — незлобиво пригрозил енисейский сын боярский, — все сразу поймешь! — А ну, бегом к воеводе! Доложи: послов мунгальского царя к нашему царю везем!

Казак плутовато повел бровями, крякнул, хмыкнул и быстрым шагом стал подниматься к верхнему городу. Пока енисейцы вытаскивали из струга царские подарки, меха и пожитки, скитник Герасим положил обетное число поклонов на купола Софии и незаметно, как в Енисейском, пропал из виду.

**Обротчики — безземельные, но работоспособные гулящие люди, платившие подушный налог хлебом.*

Струг окружили ярыжники, стали прицениваться к соболям и лисам на одежде казаков, просили показать рухлядь, навязчиво назначали цену и уверяли, что дороже не продать. Иван только досадливо отмахивался от них, Дружинка с Кирюхой со смехом торговались, Семейка покрикивал, отталкивая чужаков от струга и от мунгал. К пристани спускались тобольские дети боярские в окружении десятка казаков. Иван сбил шапку на ухо, с важным видом назвался, представил им послов и протянул подьячему верительную грамоту енисейского воеводы.

Сдав послов и их подарки, енисейцы, в сопровождении все того же курносого таможенника, стали подниматься в съезжую избу. Пожитки их остались в струге, под

охраной престарелого казака. Тридцать пять лет прошло с тех пор, как Иван Похабов проехал через этот город молодым ссыльным казаком. При Федоре Уварове, когда он отбил Пелашку и со скандалом ушел на дальние службы, Тобольск выгорел. Теперь город отстраивался заново, узнать что-либо можно было только по местности. Не было уже прежней Спасской башни, Софийский собор срублен заново, церковь и архиерейский дом отделены стеной от обывательских построек верхнего города. Узнал Иван земляной вал с Кошелевым рвом при въезде с нагорной стороны. В глубине его текла речка Курдюмка и впадала в Иртыш, отделяя нижний посад от верхнего.

Подступала осень, под ногами шуршали желтые листья, принесенные ветром. День был ясный и теплый, казаки парились в собольих шубах, сшитых для поездки, в пышных, богатых шапках, какие носили только приезжие из-за Енисея служилые. Савина не стала шить Ивану две шубы, не желая портить и дешевить непоротых соболей, сумела связать их в душегрею. Душегрея была надета под шубу и пышно выпирала из-под ворота.

Перво-наперво Иван с казаками отправился в главный собор города поставить свечи, заказать молебен об удачном пути и возвращении. В притворе он нос к носу столкнулся со знакомым лицом под фиолетовой скуфьей. Отступил на шаг, с недоумением разглядывая попа в добротной рясе: большой рот, вздернутый, будто выдранный нос, редкие, висячие пряди бороды по щекам.

— Ивашка Похабов? — пискляво воскликнул тот, чем еще больше смутил сына боярского.

— Струна? — ахнул Иван, отступая еще на шаг. Узнал бывшего охочего больше по голосу, чем по лицу. Глаза у него стали другими.

После окинского похода без неприязни они встречались в Енисейском остроге. Иван Похабов хорошо помнил козни и алчность зловредного выходца из калмыков. Увидев его в рясе, таращил глаза от удивления, мотал бородой.

— Мать твою… Прости, Господи! — размашисто крестился.

— Кого изберет Господь, — оправившись от смущения, покорно вздохнул Струна, — на рожон не лезь, как Павел, будь ты хоть стрелец или разбойник!

— Да! Всяко-разно видел, но не такое…

Ивашка был в иеромонашеском чине и не Ивашка, не Пятунка, а Иоанн. Он помог бывшим сослуживцам заказать молебен, поставить свечи, сам принял в казну храма по соболю с каждого прибывшего, сказал, что служит при нынешнем сибирском архимандрите Симеоне, дожидаться начала молебна не стал, но вдруг посреди храма пал на колени перед Похабовым.

— Прости, Христа ради, что тебя, невинного, вязал, подстрекал в воду посадить! — завизжал, колотясь лбом в тесовый пол.

— Когда это было? — смущенно заворчал Иван. — Давно простил и забыл! — Стал поднимать на ноги монаха, а тот с рыданиями распластался на полу. — Простил и забыл! — прикрикнул строже. — Господь с тобой! Только встань, не позорь меня, старого, перед казаками и причтом.

Бывший Ивашка встал, поклонился, коснувшись пальцами пола, вытирая слезы, ушел по делам.

— Вот ведь! — оправдываясь, испуганно развел руками сын боярский.

Три дня енисейцы шлялись по городу и посаду, томясь вынужденным бездельем. Наконец их позвал тобольский главный воевода царский стольник Василий Борисович Шереметьев. У ворот воеводских хором енисейцев встретил дворянин в немецком платье, с гладко выбритым лицом, с золотыми серьгами в ушах, провел гостей к воеводе. Приняв поклоны, тот стал расспрашивать о Байкале, о пути к мунгальскому царевичу Цицану. Путь этот явно был знаком ему по рассказам послов. Воевода усмехнулся и покачал головой, когда Иван Похабов сказал, сколько острогов надо поставить, чтобы закрепиться за Байкалом. Улучив подходящий миг, сын боярский напомнил о просьбе разголовленного Бекетова.

— Как же? — удивленно вскинул брови стольник. — Хорошо знаю его заслуги перед государем! — Тут же позвал писца и потребовал выяснить, отчего Бекетов получил только половину денежного жалованья, а хлебное и солевое вовсе не получил.

Забегали, засуетились писцы и подьячие. Не успели казаки закончить рассказ о поисках серебра, прибежал все тот же дворянин с серьгами, в руках его были грамоты. Он приставил к носу стекляшки и прочел, что в Братский острог Бекетов послан на приказ, а при сидении на приказе служилые снимаются с жалованья по прежнему указу.

— Он привез туда первых пашенных своим же заводом и содержанием! — сдержанно просипел Иван. — С кого ему там взять корма?

— Не могу знать! — слащавая улыбка расплылась по лицу читавшего. — Так решили томские воеводы.

— Жалованье и головство Бекетову восстановить! — строго указал воевода. Дворянин поклонился, сворачивая грамоту, а царский стольник обернулся к Ивану: — С другого года в Енисейский будет дан еще один оклад казачьего головы. Как думаешь,

достоин ли головства атаман Максим Перфильев?

— А то как же! — развел руками Иван. — Смолоду в службах, изранен в походах, умен и грамотен…

— Вернешься, так ему и скажешь. — Воевода тихо рассмеялся в пышные усы. — Только сперва съездишь в Москву, сопроводишь послов к царю!

Казаки за спиной Похабова приглушенно и весело загалдели, он же подумал: «Хорошо, что не продал соболей!» Но радости на душе не было, хотелось поскорей вернуться к Савине.

— А то, что для себя просишь, — добавил воевода, — приказа в Маковском остроге или Дубчевской слободе, с тем в Сибирском приказе обратись к боярину и князю Алексею Никитичу Трубецкому. Вдруг и государь пожелает тебя видеть? — неуверенно взглянул на Похабова. — А я, скажешь им, не против твоей просьбы. Прежние свои грехи ты отслужил в Сибири верой и правдой, награды достоин. Пусть только из Енисейского подтвердят, что сукна, которые дарил царевичу и его слугам, твои. И как они у тебя появились, тоже пусть подтвердят со свидетелями.

Енисейцам была выписана подорожная грамота. В ней указывалось, какими городами им ехать: от Тобольского до Тюмени, и до Туринска, и до Верхотурья, и до Соли Камской, и Устюга Великого, и до Тотьмы, и до Вологды, и до Ярославля, и до Переславля-Залесского, и до Москвы. Указывалось, чтобы по ямам им ямщиков давали, а где нет ямщиков — всем людям без обмана возить их, давать подводы под ящики, мешки, казенных провожатых и есть давать под Енисейскую денежную казну. Воевода приложил печать к новой государевой подорожной. И ждали енисейцы с послами еще три дня, когда дадут им провожатых и бурлаков.

На Самойлин день, в начале сентября, послы и енисейские служилые с попутными барками ушли на Тюмень-город. Ледостав застал их в Верхотурье. С тех пор как бывал в этом городе Иван Похабов, он несколько раз выгорал. Из прошлого ничего нельзя было узнать, так все переменилось. В храмах никто не помнил оставшихся здесь донских казаков. Иван заказал молебен об упокоении товарищей, побродил по кладбищу, посидел возле старых могил, вспоминая, как они напутствовали его в нынешнюю, уже прожитую, жизнь. На ямских подводах обоз двинулся дальше Бабиновской дорогой.

Менялись станы и тесно настроенные селения. После Заенисейской Сибири все казалось унылым и однообразным. Обоз приближался к Москве, но в Соли Камской случилась нечаянная встреча. Похабов услышал храп коней во дворе, прибыла еще одна подвода, а свежих лошадей не было. Непоседливый Сенька Новиков оторвался от печки, скучая, вышел во двор и вдруг завопил. Дружинка с Кирюхой бросились на помощь товарищу. Иван Похабов, ерзая на лавке, не смел оставить без призора послов и подарки царевича.

В сенях послышалась ругань, дверь распахнулась, и в клубах ворвавшейся стужи распрямился служилый в собольей шубе. Лицо его было красным от ветра, реденькая борода по щекам обметана куржаком, будто сам правил конями на козлах. И узнал вдруг Иван своего старого сослуживца Василия Колесникова. Тот бросил на него неприязненный взгляд, не кивнул, не поприветствовал, только лицо его из красного сделалось бордовым. За Василием вошли четверо спутников в богатых сибирских одеждах. Ни один из них не запомнился Ивану по прежним встречам.

На том закончились степенное ожидание конца пути и споры с ямскими старостами. Если Похабов с Колесниковым просто не разговаривали и делали вид, что не замечают друг друга, то сопровождавшие их казаки весь оставшийся путь ругались и дрались, а бес подначивал тех и других. Только прибыл Похабов с послами в Устюг Великий, следом прикатили подводы Колесникова. При ямской станции был просторный и многолюдный трактир. Рассудительный, незлобливый Дружинка вышел из него с разбитым лицом. Слегка побитые Кирюха с Сенькой уверяли, будто на кулачках хотели доказать, что колесниковские самохвалы у мунгальского царевича не были и дороги туда не знают. Казаки Колесникова хвалились, будто побывали у царевича в тот же год, что и Похабов, только Цицан их не принял.

— А не спрашивали Ваську, отчего он не взял с собой ни Коську Москвитина, ни Якунку Кулакова, а все каких-то охотников? — удивлялся Похабов.

Енисейские казаки дрались между собой всю оставшуюся до Москвы дорогу в кабаках Тотьмы, Вологды и Ярославля. Рухляди на них убывало, а бес не унимался: стоило приехать на ямское подворье похабовским людям, следом приносило колесниковских. В самой Москве енисейцев поселили при Казанском дворце в одной избе. К счастью, послов с подарками царевича Иван Похабов сдал на руки дьякам Сибирского приказа и больше их не видел. В черед с Василием Колесниковым он ходил к дьякам, заученно пересказывал, что помнил о походе к царевичу, Колесникова не вспоминал и не чернил.

В ожидании, когда опять позовут для расспросов, раз и другой встретил скромно одетого московского дворянина с лицом, выбритым на иноземный манер. Тот был моложе Ивана и не запомнился бы, если бы при встречах не смотрел на него

пристально и неприязненно. За такой взгляд в Сибири могли побить. В Москве, под стенами которой когда-то рубился молодой Ивашка Похабов, были иные, непонятные порядки. Его казаки успели получить батогов и попасть в тюрьму Сибирского приказа. Колесниковским людям досталось не меньше, но от этого сыну боярскому не полегчало. Он уже не думал проситься в Серпухов, чтобы поклониться праху отца и деда, но с нетерпением ждал отправили в обратный путь. А князь Трубецкой все держал енисейцев, не давая подорожной, хотел встретиться с ними сам.

С бритым дворянином Иван в очередной раз столкнулся возле стола дьяка Лихачева. Дворянин стоял перед ним, низко склонив голову, на выбритом лице блуждала угодливая улыбка, прищуренные глаза лучились лаской. Но стоило ему обернуться к сыну боярскому, губы надменно сжались, брови насупились, глаза блеснули недобрым светом.

— Вот, тоже енисеец! — дьяк покровительственно представил ему Ивана и назвал имя дворянина: — Афанасий Пашков! Просится к вам на службу.

— Знал я епифанских дворян сотника Истому Пашкова! — обронил Иван, вспомнив молодость. Афанасий взглянул на него приветливей, но память не остановить, с языка сорвалось: — В те годы все были горазды на измены, но Истомка-иуда в предательствах превосходил всех!

Кровь ударила в лицо дворянина. Он побагровел, глаза гневно блеснули, дьяк громко захохотал, откинувшись в кресле. На удивленный взгляд Ивана прерывисто и весело ответил:

— Крестильное имя того Истомки, Царствие Небесное, Филипп Иванович! Отец Афонькин! — кивнул на дворянина.

— Кто без греха? — смущенно пробормотал Иван. — Давно это было… Я третью неделю сижу без дела, теперь даже за своими буянами следить не надо — в тюрьме. Отпустил бы ты меня в Серпухов?

— Только отпущу, а князь Алексей Никитич позовет! — посмеиваясь, отказал в просьбе дьяк, почесал за ухом гусиным пером, снова склонился над бумагами.

Иван еще раз взглянул на дворянина и понял, что нажил лютого врага.

Прошла зима, по улицам стольного города потекли ручьи. Принял-таки Ивана Похабова глава Сибирского приказа, князь, боярин Трубецкой, велел освободить, помыть казаков и поставить перед ним вместе с сыном боярским.

Журить князь никого не стал. строго выслушал просьбы, ничуть не удивился тому, что Иван объявил истраченными на государевы дела двести пятьдесят пять рублей десять алтын денег, да пищаль, да топор, да батожок железный. Чуть приметно усмехнулся объявленной сумме, велел дьяку сделать выписки из других наградных указов и выдать пятьдесят пять рублей награды да прибавку к жалованью в три рубля, а также дал свое согласие, чтобы Иван Похабов занял на приказе по Маковскому острогу и по Дубчевской слободе прежнее место сына боярского Богдана Болкошина. Казаков князь наградил десятью рублями каждого и благословил всех на обратный путь.

В конце марта Иван обошел столичные торговые ряды, купил подарки Савине, ее сыновьям, пасынкам и племянникам. Себе выбрал пистоль с колесцовым запалом и карабин — укороченный мушкет с винтовым стволом, серебряной насечкой и вытравленным посередине ствола латинским словом. Пистоль, карабин и засапожник обошлись ему всего в семь рублей. На Енисее и Лене такое оружие стоило вдесятеро.

На оставшиеся от награды и проданных соболей деньги он набрал сукна, которое по московским ценам было необыкновенно дешево, а в братской степи за три аршина давали доброго коня. С тем и покинули казаки Москву. Прежним путем, по распутице, ямскими подводами они добрались до Верхотурья. Там их опять догнал Колесников со своими людьми.

На этот раз Василий степенно поздоровался с Иваном, а его люди больше не задирали казаков Похабова и не спорили с ними. Соболей они промотали, возвращались скромно. От Тюмени енисейцы плыли одной баркой до Тобольского города и жили без споров. Василий Колесников получил в Москве чин сына боярского и разрядную атаманскую должность. Жалованье и награды его были меньше, чем у Похабова, но он теперь был равен ему, не чинил вреда, осаживая своих казаков и охочих, если те начинали кого-то задирать.

В Тобольском городе енисейцев поджидал зимовавший там скитник Герасим. Черный дьякон был пострижен в иеромонахи, ходил в новой рясе, мог теперь по своему чину вести литургию, причащать и крестить. Он получил благословение архимандрита на строительство скита, антиминс и миро, с печалью вспоминал свою келью, устье Иркута и рвался туда всей душой.

Глава 13

До Енисейского острога оставались последние версты, попутного ветра не было, казаки весело тянули судно бечевой, а дети боярские Колесников с

Похабовым налегке шли берегом. Василий вслух посмеивался над своей женой, «старой стропилиной», которая ни сном ни духом не ждала его так рано. И вот, показались купола енисейских церквей, и монах Герасим с увлажнившимися глазами стал истово креститься на них.

Когда струг подходил к причалу, возле главных ворот острога стояли и глядели на реку всего лишь с десяток ротозеев, важных гостей никто не ждал. Герасим в новом подряснике высадился на берег, отвесил семь поясных поклонов на Спаса и ушел в обитель. Колесников, выпячивая грудь, громко распоряжался выгрузкой, тянул время, чтобы из острога вышли начальные люди. Иван поднялся на яр, увидел Максима Перфильева в простой одежде, с посохом, обнял старого товарища:

— Все хвораешь, казачий голова?

— Не дает Бог здоровья по грехам! — пожаловался Максим. — Доложишься воеводе и ко мне! Не обижай! — На то, что Иван назвал его головой, Перфильев ухом не повел.

— А ведь я привез тебе должность казачьего головы! — сказал громче. — Как не обмыть?

— Не мне вез, себе! — со вздохами пробормотал Максим. — Я свое отказаковал! За дряхлостью из службы выставляюсь! Так оно лучше!

Похабов не нашелся чем утешить товарища.

— Зайду! — пообещал хмурясь. — Вот только передам воеводе грамоты да Савину обниму. Как она? — вскинул виноватые глаза.

— Третьего дня видел здоровой! — Перфильев замялся, что-то недоговаривая, Иван вопрошающе впился в него глазами. — Меняются времена!— вздохнул старый атаман. — Сыск у нас был. Зимой наезжал томский сын боярский Петруха Сабанский, искал нетягловых людей… Твоих племянников поверстал на государеву пашню и отправил весной в Братский острог, к Петрухе Бекетову.

— Тьфу ты! — Иван остервенело сорвал шапку, хлопнул ею по колену и торопливо зашагал в съезжую избу, к воеводе, оттолкнул с дороги подьячего.

— Меня не спросив, моих племянников в пашню? Кто дозволил? — закричал вместо приветствия.

Воевода досадливо блеснул усталыми глазами, кивнул на лавку:

— Сядь!

Иван с рычанием опустился, вперился разъяренным взглядом в Полибина, ожидая оправданий.

— Был сыск! — стал терпеливо разъяснять тот. — Я тебя предупреждал. А племянники твои оказались не в меру строптивыми, не пожелали назваться подворниками-захребетниками у Михалевых и Савиных сыновей, не дали им внести за себя подушную подать Я звал их охочими на перемену атаману Галкину. Не пошли, заявили: «Мы — вольные, не хотим за Ламу!»

Иван сник, помня гонор племянников, встали перед глазами их упрямые раскосые лица, ярость, кипевшая в жилах, остыла и заледенела под сердцем тоска. Опять не добром встречал его Енисейский острог. Воевода достал из-под стола березовую флягу и две чарки, наполнил их, одну придвинул Ивану. Тот выплеснул ее в бороду, не перекрестив рта, помигал выпученными глазами, выдохнул винный дух из груди, спрашивая взглядом, что делать?

— Что поделаешь? — пожал плечами воевода. — У меня была ясырка самоедской породы. Хорошо, что отдал ее за нашего гулящего бездельника, записал на крепостном столе и подати за них уплатил, иначе этот бывший пан Сабанский отобрал бы обоих и отправил силком в пашенные, не посмотрел бы, что я — воевода. У них, у выкрестов, совести нет. — Полибин помолчал с недовольным видом, выцедил сквозь зубы чарку, спросил тише: — Говорят, Васька Колесников вернулся?

— Сын боярский, разрядный атаман! — блекло усмехнулся Иван. — А ведь врет! Не были его люди у царевича.

Воевода равнодушно шевельнул плечами:

— Ясак привез вдвое против твоего! А ложно или не ложно, пусть дьяки в приказе разбираются. Зачем мне склоки заводить? До другого лета просижу на воеводстве — хорошо!

— Ох уж эта шляхта! — безнадежно выругался Похабов, едва хмель размягчил душу. — Сабанских на Селенгу не загонишь! Они крутятся при доходных местах!

Полибин насмешливо взглянул на Похабова, с пониманием усмехнулся:

— Едомский взял у меня на откуп площадное письмо. Сто рублей дал за год. Он тебе за целковый быстрехонько жалобу на Сабанского напишет. Еще и подстрекать станет, чтобы на других писал!

— Тьфу на них! — понял намек и заерзал на лавке Иван. — Что делать?

— Что делать? — желчно передразнил воевода. — Племяши твои взяли пашенного завода на тридцать целковых. Посади пару гулящих на их место. Вон их сколько возле острога крутится, впору опять звать пана Сабанского.

Прошлый год десяти ссыльным казакам атамана Осипа Галкина я дал вольную вернуться на родину. Хорошо отслужили царю свои вины.

— То литва да черкасы! — досадливо отмахнулся Иван. — Я с ними в бой хаживал, ничего плохого не скажу.

— Так вот! — строже заговорил воевода. — Ваську Колесникова на неделе отправлю на смену атаману Галкину. Бекетов отписки и челобитную прислал, рвется служить за Байкал, за Баргузин и Селенгу, на Шилку и Иргень-озеро, про которые вы с Васькой в расспросных речах говорили. Промышленные люди рассказывают про великую реку Амур, про богатую хлебом Даурию. В Илимском остроге пашенный Ерофейка Хабаров собирает туда полк своим подъемом.

Бекетова в Братском дольше держать не могу. Хотел ему на смену послать атамана Перфильева, а он хворает! — взглянул на Ивана с намеком. — Пойдешь вместо него казачьим головой. Бекетову передашь хлебные оклады и будешь собирать ясак от Байкала до Илима. А Бекетов и Колесников пусть берут за Байкалом и ставят там остроги.

Опустил Иван голову, замотал бородой. «Вот тебе, бабка, Юрьев день!» Еще не повидал Савину, а надо собираться в путь.

— А ведь я от князя Трубецкого получил согласие на ближние службы, — пробормотал.

— Тогда скажи Перфильеву, пусть идет на Ангару головой, освободит твоих племянников. Бог даст, поправится там!.. Или отпиши Бекетову, чтобы сидел на Ангаре, пока кто другой его не сменит, — воевода притворно зевнул и равнодушно поднял глаза к потолку.

— Умен! — тяжко вздохнул Иван. — Правильный ты воевода! Мало таких.

— Нас на одном месте долго держать нельзя, — горько усмехнулся Полибин. — Приживемся, проворуемся, государя прогневим.

Едва Иван вышел из съезжей избы, ему навстречу кинулась Савина. Видно, она долго ждала, извелась, если на глазах зевак ткнулась лицом в грудь седобородого сына боярского, поливая ее горячими слезами.

— Знаю все! — оглядываясь по сторонам, пробурчал Иван. — Нет в том твоей вины, сам я во всем виноват.

Рука об руку они пришли в дом. Здесь уже были сложены все пожитки Похабова: тяжелый мешок с сукном и подарками, немецкий карабин, дорожный скарб.

— Одна? — удивился Иван, прислушиваясь к тишине дома.

— Одна! — неприязненно оглядела пустые лавки Савина.

Ночью пришла на ум Ивану нелепица, и он прошептал:

— Помрем вот, возляжем на ложе Авраамовом, и будет нам хорошо, как сейчас, до самого Великого Суда.

— Мы же не венчаны! — прерывисто вздохнула Савина. И добавила с легкой обидой ревности в голосе: — А как возляжешь с Пелашкой?

— Ну, уж нет! — в голос рыкнул Иван. — Не может быть такого от милостивого нашего Господа. — Помолчав, кашлянул: — А ну-ка, спрошу Герасима!

— Не судьба, видать, в третий раз венцом покрыться! — покорно пролепетала Савина. — Надолго? — всхлипнула, предчувствуя в печали Ивана новую разлуку.

— Думал, впредь будем с тобой до кончины! — тоскливо прошептал он. — Оказалось — на неделю!.. Вот ведь как угораздило смолоду намолить бродячую старость.

— Как чуяла! — тесней прижалась к нему Савина. — На этот раз одного не пущу, с тобой пойду. Будь что будет! Прости, Господи!

Утром после молебна в острожном храме и крестоцелования Герасим сошел с клироса, направился прямиком к Ивану:

— Колесников идет на Байкал! Душа истомилась по Иркуту, а с ним плыть не хочу!

Похабов взглянул на монаха обреченными глазами, жалко улыбнулся, подумал: «Знает уже все наперед, старый колпак!» Сказал тихо:

— Если и ты меня туда тянешь, друг благочинный, видать, судьба, а ее ни на козе, ни на лихом коне не объедешь!

Он еще не дал согласия воеводе, но приострожный люд уже знал, кто, куда и кем идет. Едва Иван вышел из храма, два десятка гулящих людей окружили его тесным кольцом, иные лица были знакомы, других он видел в первый раз. В стороне особняком стояли двое с несчастным видом, не иначе как сошли с паперти.

— Иван Иваныч, возьми в Браты? — гнусавили, низко кланяясь. — Отслужим за добро и за хлеб!

Властно рыкнул Похабов, нахмурил брови:

— Нашли время о делах говорить! Завтра приходите! После полудня.

Перфильевы уже поджидали дорогого гостя, младший отрок сидел возле ворот, выглядывая среди проходивших прихожан Похабова. Как увидел, подскочил к нему, схватил за руку, потянул к дому. Крестясь и кланяясь на образа, Иван с Савиной

вошли в горницу. Он расцеловался с товарищем, с располневшей и наконец-то обабившейся Настей. Похвалил ее, отступив на шаг:

— Теперь вижу — хозяйка! А то была тоща, как отроковица.

Громко топая сапогами в сенях, в избу вошел одетый в камчатую рубаху крестник Иван. При нем были жена дядьки, Илейки Перфильева, и два племянника. Сам атаман Илья где-то служил. Крепко пустил корни на Енисее род сургутских Перфильевых.

— Это у атамана-бегуна уже такие молодцы? — ахнул Иван. — Скоро под стать острог назвать Перфильевским! — польстил товарищу и пожаловался: — А мой-то, Якунька, все холост.

О дочери он умолчал, это был отрезанный ломоть, украденный.

Ивашка Перфильев, старший из всех перфильевских детей, держался с важностью. В свои неполные два десятка он побывал в двух походах и был в окладе десятника, о том, что идет с крестным к Бекетову, говорил, как о решенном.

После второй и третьей чарки Максим Перфильев оживился, на щеках его выступил былой румянец. Он давно уже не подрезал бороду, она отросла и седыми прядями рассыпалась по груди.

— Отходил свое атаман Перфильев! — просипел, занюхивая крепкое вино свежим ломтем хлеба.

— Погоди себя хоронить! — проворчал Похабов. — Ты ведь моложе меня!

— Что с того? — поперечно прощебетала Настя. — Послужил государю, хватит. Хоть с увечным пожить, не вековать на холодной перине!

— Я же тебя в Братский брал?! — вяло оправдался Максим. — Может быть, надо было, как атаман Галкин: куда сам, туда семья! Да жалко было вас.

За столом притихли. Илейкина жена хлюпнула носом, Савина жалостливо взглянула на Ивана.

— Ивашка-то Галкин, — удивленно качнул головой старый Перфильев, — изранен пуще меня, но дает же Бог. Служит!..

На другой день толпа охочих людей снова окружила Ивана Похабова, едва он вышел из избы, и потянулась за ним к острожным воротам. Воевода даже не спросил, что надумал сын боярский, заговорил как о решенном:

— Поспешай! Каждый день дорог. Бекетов до Братского успевал за восемь недель.

— Так то Бекетов! — уклончиво пробормотал Иван.

— Дам тебе сто окладов. Людишки при них ссыльные, новоприборные, переведенцы, из своих острогов высланные! — усмехнулся в усы и поднял палец. — Но они есть! Больше дать не могу: надо и Колесникова с кем-то отправить. Сможешь зазвать охочих — зови! На Илиме и в верховьях Лены — беспрестанная война. Мунгалы, порушив клятвы, нападали на Удинский острог, братские роды уходят к ним в подданство. При малолюдстве на Ангаре не удержаться.

— Что их зазывать, охочих-то? — проворчал Похабов. — Вон сколько стоят у ворот, ждут голодные, босые, пропившиеся.

— Бекетов просит за Байкал двести! — Воевода положил на стол руку, пристально взглянул на сына боярского: — С кем и как останешься на Ангаре — думай, голова!

Полк Ивана Похабова вышел на Калинов день, перед Первым Спасом, когда в зеленых кудрях осин затрепетали вызолоченные листья. Казачий голова спешил попасть в Братский острог до ледостава. От барок он отказался, боялся задержки на порогах, взял с собой двадцать шесть охочих людей, шесть из них своим подъемом, двух гулящих прибрал в услужение под кабальную запись.

За этих двух никто не хотел давать поруку. Один был не сильно, но горбат, другой — сувор. Лицо его было испорчено не палачом, а нечаянным выстрелом. Оба рядились в кабалу по пяти рублей. За такие деньги можно было купить в вечное холопство плохонького мужика сибирской породы. По слезным просьбам сын боярский согласился взять их на пять лет, но из пяти целковых вычел по полтине в казну да по гривне за запись на крепостном столе.

Первые дни все служилые и охочие люди старались показать свое рвение. Ветер дул противный, струги тянули бечевой. Налегке шли только казачий голова, казачьи жены и ясырки. Крестник Ивашка Перфильев вел ертаульный струг. При нем, стыдясь бездельничать, тянул бечеву иеромонах Герасим. По наказу головы женщины перед станами убегали вперед, разводили костры, готовили ужин.

За илимским устьем перед Шаманским порогом Ивашка Перфильев со слезой в голосе взмолился:

— Казаки ропщут, крестный! Не по силам так быстро идти!

Нахмурился Иван, строго взглянул на крестника и его людей. Младший сын утонувшего сотника Фирсова Никита отводил глаза и скрежетал зубами. Кожаная рубаха на его плечах стерлась до дыр, сам еле держался на ногах. Что уж говорить про стариков.

— Идем как обычно, — проворчал Похабов. — Бекетов ходил быстрей. Под Ша

маном отдохнем, там дед твой лежит, — напомнил крестнику.

Голова обошел все струги, осмотрел измотанных людей. Савина тоже была чуть жива от усталости. Пришлось остановить караван на отдых в пяти верстах от обустроенного стана. В спешке сборов в остроге Иван перегрузил свои струги, а от людей требовал идти, как обычно ходили по этим местам.

К устью Оки его полк подходил на день мученика Ерофея в середине октября, когда, по поверьям, лешие в лесу бесятся и так бесчинствуют, что бывалого промышленного или пашенного человека туда калачом не заманишь. Березы и осины сбросили лист, опала хвоя лиственниц. Черным, неприглядным стоял лес по берегам. По студеной реке то и дело проплывали одинокие льдины, царапали борта стругов, соскребая с них вислые сосульки. И вот показалась Березовая гора, за которой жили скитники. Похабов в епанче поверх кафтана подошел к отощавшему монаху Герасиму, указал на нее:

— Близко уже!

Казаки, бывавшие в этих местах, повеселели и загалдели, караван остановился.

— Осталось-то полднища ходу? — стал совестить бурлаков казачий голова. — Пойдет шуга, придется всю поклажу волочь по льду. А кому-то еще и сидеть здесь, караулить.

— Пошли людей в острог! — зароптали люди. — Пусть помогут, бездельники…

— Сил уже нет! — громче всех вопил кабальный Сувор.

Иван пригрозил ему плетью. Сувор был нагловат, Горбун хитер. Как всякий казачий голова, Похабов мог бы плыть с Савиной и со своей прислугой, но он стыдился быть обузой. Пусть не так, как монах Герасим, и все же, боясь Бога, как мог, он облегчал труды служилых и охочих, хотя почтения и понимания от них не было, а кабальные злились на хозяина больше других.

Иван знал по себе, как трудны последние версты, и не стал ругать подначальных людей. Но отправить вперед вестовых значит задержаться всему каравану, и он приказал идти. Наконец струги были замечены из острога, Бекетов прислал людей с лошадьми. Вскоре показалась сторожевая башня, потом и часовня. Старый стрелец Петр Иванович Бекетов поджидал товарища у ворот острога, оглядывая сверху тяжелые, обмерзшие струги, измотанную толпу. Высмотрев Похабова, стал спускаться к реке. Неделей раньше мимо него прошел отряд атамана Колесникова, и Бекетов знал, какие новости везет ему Иван Иванович.

Едва они встретились, плечо к плечу поднялись на гору, из распахнутых ворот выкатилась Бекетиха в лисьей шубе, увидев Савину, завыла, заливаясь слезами:

— Я-то, старая дура, венцом покрытая, таскаюсь за мужем. Тебя-то кто неволил? Что не сиделось в Енисейском?

Савина, всхлипывая и обнимая подругу, смущенно оправдывалась:

— Так за милым дружком… Воля — пуще неволи!

— А мой-то чего удумал? — ревела Бекетиха на всю реку. — Мало ему здешнего приказа, за Ламу напросился. Ох, горе-горюшко!

Сам Бекетов только посмеивался над женой и ее воплями. Он перевел взгляд на монаха, скинул соболью шапку, почтительно поклонился:

— Отслужишь ли молебен, батюшка? Наши скитники нос не кажут с того берега, все инородцев опекают, а свои им хуже чужаков… Не по-христиански это, да не в моей они власти, — пожаловался со скрытой угрозой в голосе.

— Отслужу! — покладисто согласился Герасим, вскинув на приказчика лучистые глаза. — А после ты меня на другой берег перевезешь, к братии!

— Ишь чего удумал, батюшка! — накинулась на монаха Бекетиха, вытирая слезы. — Пока не накормлю не напою, никуда не пущу. Нехристи, или что ли?

— Так лед вот-вот пойдет! — смущенно замялся Герасим.

— И пусть идет! Встанет, за руку переведем! — трубно прокричала острожная приказчиха.

Бекетов ввел прибывших в приказную избу. Стол был накрыт.

— Перво-наперво по чарке с дороги, во славу Божью! — обернулся к монаху, крестившемуся на образа. — Батюшке ягодного винца и осетринки.

— Мне бы сперва своих людей устроить! — опасливо покосился на чарку Иван Похабов. — Пожитки из струга перетаскать…

— Подначальных людей у тебя нет, что ли? — насмешливо взглянул на него Бекетов круглыми глазами. — Гришка! — крикнул, обернувшись к печи.

Из-за нее выбрался мужик непонятной породы, но в русской рубахе, с горючей тоской взглянул на кувшин с вином.

— Сходи на берег! — приказал Бекетов. — Прикажи людям сына боярского таскать животы в мои сени. Там же им постели и накорми.

— У нас без них тесно! — проворчал ясырь на сносном русском языке и снова бросил тоскливый взгляд на кувшин.

— Поместитесь! — оборвал его Бекетов и кивнул на дверь: — Иди!

— Пошевеливайся, лодырь! — прикрикнула вслед Бекетиха.

Ясырь толкнул было дверь и отпрянул. Вошел старый стрелец Василий

Черемнинов. При Бекетове он был в прежнем окладе пятидесятника. Хозяйка молча налила еще одну чарку.

— Посмотри, чтобы рожь сложили в амбар, соль в ларь, порох в погреб, — приказал ему Бекетов. — А после ко мне за стол.

Дел Петр Иванович не забывал. В избу то и дело заходили с докладами его люди, пару раз он сам хватался за шапку проверить и указать. Прибывших разместили, накормили. Черный поп Герасим отслужил благодарственный молебен и снова напомнил, чтобы его перевезли в скит.

— К ночи-то? — удивился Бекетов, но окликнул самого грешного и удалого из своих острожных казаков. — Сговаривайтесь! — свел его с монахом. — Если поплывете, то на ветке: быстрей и льдами не затрет.

Первым пошел в баню Похабов. Вернулся он с красным, распаренным лицом, сел за стол.

— Вот теперь и поговорить можно! — опять налил вина Бекетов. — Однако мало людей ты привел! — вздохнул с укором. — Я просил две сотни, надеялся на половину. А тут... — безнадежно шевельнул густыми усами, вскинув глаза на товарища. — Но кое-какие мыслишки есть! — постучал себя по лбу казанками и пояснил: — Как пополнить свой отряд…

Старые товарищи долго говорили о поездке в Москву и о походах за Байкал, женщины давно улеглись, а они все сидели за столом.

— Летось от Ивашки Галкина проплывал вестовой! — рассказывал Петр Иванович. — Говорил, что атаман в колесниковский острог не пошел: свой поставил на Баргузине, а твоего Якуньку, как бывальца, отправил на Витим-реку. И нашел он там с казаками промышленный острожек, а тамошние людишки государевым именем брали на себя ясак с братов и тунгусов. — Бекетов жестко усмехнулся в седые усы. — Жили себе припеваючи, вдруг явился твой Якунька со служилыми. Промышленные стали их прогонять. Якунька осерчал, взял острожек на саблю, передовщиков в цепи заковал, ясак отобрал… И не только ясак… Узнаю Похабу! — покачал головой не то в похвалу, не то в осуждение, поднял на Ивана пристальный, насмешливый взгляд: — Как думаешь, правильно сделал?

— А как еще, если по-хорошему не понимают? — пожал плечами Похабов.

Бекетов вздохнул, посуровев лицом, опустил глаза.

— Неправильно! — сказал тихо, поучая. — Если ясачные видели, что казаки меж собой воюют, быть войне, а скрыть от них разоренный острог — трудно. — Он снова вздохнул и громче заговорил о деле: — Краснояры — зловредные людишки, но свои, не войди во искушение, если браты будут тебя на них травить и обещать воинскую помощь. И себя, и их погубишь!

Закончив разговоры о делах, Иван спросил о племянниках. Думы о них больше всего томили его в пути. Бекетов, равнодушно позевывая, хмыкнул в усы:

— Из тех, кого привез с собой и посадил на пашню, крепко встал на ноги только один: Распута Потапов и всех других пашенных под себя подмял. Твои пока на льготе, но под его присмотром. Подомнет их Распутка.

На другой день Бекетов стал готовить острог к сдаче, а свой отряд к выходу за Байкал. Как ни делили старые товарищи присланных людей, а дать ему больше тридцати человек Похабов не мог. Покончив с острожными и приказными делами, он поднял заспавшихся Сувора с Горбуном, велел оседлать три лошади. Первым делом хотел навестить племянников. Горбун недовольно засопел обострившимся носом, заводил злыми глазами. Сувор ругнулся, задергал рубцеватой щекой с въевшимся в кожу порохом. Савина накормила их, собрала в дорогу снедь и гостинцы.

При поднявшемся солнце трое поехали верхами по берегу Оки. Первым от острога был двор Распутки Потапова. Высокая изба с подклетом и еще одна, срубленная прошлым летом, связаны между собой сенями, над двором навешан кров из бересты. Высокий, тощий, сутуловатый, с умными плутоватыми глазами, Распута издали увидел всадников и выскочил на проезжую дорогу. Он уже знал, кто пришел на смену Бекетову, поэтому кланялся Похабову почтительно, величал по батюшке, не лебезя, разумно говорил о пашенных делах. О присланных Огрызковых сыновьях отвечал, что землю они получили в хорошем месте, правда, далеко от острога. Строят избу. Этот год под озимь не пахали, только расчистили государеву десятину.

По тону пашенного Иван понимал, что тот не слишком жалует молодых болдырей. Много выспрашивать о них он не стал, а Распута разумно перестал говорить то, чем сын боярский не интересовался. К печали кабальных, Похабов отказался от угощения в его доме, сказав:

— Будешь при мне старостой у пашенных!

— Я и без указа за старосту! — кивнул вслед Распута.

По его рассказам всадники отыскали избу без крыльца и сеней, баню у ручья. Жилье было пустым, возле очага ни котла, ни кувшина, но зола была теплой, следы вокруг избенки — свежими. Легкий морозец, неглубокий снег — все располагало к тому, чтобы уйти на мясной промысел.

Иван велел своим дворовым развести огонь, расседлать и спутать лошадей. В

сумерках послышались шаги, ответно заржали спутанные кони, к избе крадучись подошли двое, настороженно уставились на Сувора с Горбуном, разглядев Похабова, повеселели. Ни слова не говоря, Вторка развернулся и зашагал к лесу, Первуха вошел в избу, поставил в угол два больших тунгусских лука, сбросил с плеча колчан со стрелами, присел у очага на корточки, улыбчиво взглянул на Ивана.

— Хоть поприветствуй дядьку! — проворчал он. — Тунгусы и те встречают гостей по обычаю.

— Дорова! — разлепил губы Первуха, продолжая сидеть на корточках. — Мяса немного добыли, сейчас варить будем.

Через открытую дверь видно было, что Вторка вывел из леса лошадь, на хребте у нее висели попарно связанные четыре стегна.

— Лося подстрелили, что ли? — одобрительно пробурчал казачий голова.

— Вроде того! — уклончиво ответил Первуха, полез под нары, вытащил оттуда зарытый в землю большой чугунный котел.

— Разговеемся! — весело залопотал Горбун, собираясь принести воды. Сувор стал помогать разгружать мясо.

Горбун вернулся, плутовато хихикая, повесил над огнем котел, доверху наполненный мясом и водой с розовыми льдинками

— Давненько не ел сохатины! — Похабов скинул кафтан, свернул и бросил на полати, под голову. Дым очага выходил через раскрытую дверь и волоковые окна. В избе было жарко. Горбун затрясся от язвительного смеха:

— Утром этот сохатый ревел: «Му-у-у!»

Сын боярский метнул строгий взгляд на Первуху, тот, замявшись, неохотно ответил:

— Приблудная, братская… Завязла в кустах, мы думали — лосиха, застрелили, после разглядели. Не бросать же мясо волкам? — вскинул на Ивана узкие насмешливые глаза.

Сын боярский покачал головой, приглушенно ругнулся:

— Станут искать, по следам поймут, кто украл, придут ко мне за выкупом. — И подумал с тоской: «Много хлопот будет с племянниками!»

Мясо сварилось. Похабов отказался есть ворованное, стал грызть сухари. Сувор с Горбуном, посмеиваясь, ели каждый за двоих, насытившись, стали мститься на ночлег, но хозяин их огорчил:

— Тесно тут, да и поговорить мне надо с пашенными! Идите-ка в баню, там ночуйте. Оттуда сподручней за конями глядеть, — блеснул недобрыми глазами: — Неровен час, украдут среди ночи.

Недовольные кабальные слезно поохали, но ушли. Первуха со Вторкой, насупившись, молчали.

— Что меня не дождались? — тихо спросил Иван. — Могли бы и не верстаться в пашню. Воевода укрыл бы.

— А надоело, как эти! — резко ответил Первуха, мотнув стриженой головой в сторону ушедших. — Подай… Принеси… Уши заткни… Нет у гулящих воли, а у казаков и подавно.

— Воли и у царя нет! — обстоятельно поправил племянника Иван. — Все мы служим Отечеству и Господу!

— У вас только пашенные живут по-людски! — задиристо вскрикнул Вторка, молчавший до сих пор. Быстро и взволнованно заговорил: — Ты вот атаман! Борода седая, а все Иван да Похаба. А Распуту Потапова все величают сыном Ивановым и внуки его о том помнить будут, и всех их величать станут, потому что у Распуты данная на землю. И у нас теперь данная, наша, Огрызкова деревня здесь будет!

Не обиделся Иван на молодых племянников, усмехнулся, крякнул, тряхнул бородой.

— Кому Ивашка, а кому Иван Иванович! Величание по чину дается. А пашенным по-разному писаться нельзя, чтобы не было споров о земле, — сказал, поучая молодых, несмышленых. — Они детям и внукам землю передают, а казак — славу! У меня служат три сына первого стрелецкого сотника, или тот же Ивашка Максимов, сын Перфильев. Их не только от этих, — кивнул вслед кабальным, — но и от других родовитых казаков отличают за заслуги отцов. Что кому по душе — сам выбирай!

Первуха, прерванный братом, без прежнего запала огрызнулся, досказав свое:

— Бекетовские пашенные взяли с десятины по сто пудов ржи. И браты, и тунгусы к ним с почтением, не только вечно голодные служилые…

Братья замолчали, поперечно посапывая приплюснутыми носами. Похабов без зла и обиды снова спросил:

— Захотели на пашню сесть? Пахали бы на Байкале, неподалеку от отца, я же там острог поставил.

Скрывая что-то свое, затаенное, Первуха буркнул в ответ:

— Там сроду сто пудов не вырастет: лето холодное, сырое. Дай Бог двадцать на молотить…

Иван не стал ни спорить, ни поучать, догадываясь, что в их жизни есть что-то, чего ему, старому казаку, не понять.

— Подумайте! — предложил мирно. — Скоро я пойду на Байкал в Култукский острог. На вашу пашню вместо вас посажу этих кабальных. Даже завод возвращать не придется. — Он помолчал, вспоминая свои много раз переговоренные речи перед воеводами, дьяками, подьячими, добавил: — То, что поставил острожек возле дома вашего отца, старшие воеводы сказали: «Зря!» Надо было на устье Иркута или на истоке Ангары. — Усмехнулся, обиженно мотнув головой: — Где там, на истоке? На горе, что ли? Выше туч?.. Но ломать пока не велели, дали оклады и наказ годовальщиков менять.

— Вот видишь! — так же тихо и вдумчиво сказал Первуха. — Прикажут острог срыть — и тамошние мужики нас всех, вместе с пашней, на куски порежут. Прежде лезли в дом, грабили кому не лень, после еще хуже будет. А здесь уже много лет острог стоит? — вскинул глаза на Похабова.

— Как считать? — пожал плечами сын боярский. — Один сожгли, другой перенесли, этот уже третий. Но лет уж двадцать казаки здесь служат…

— Вот видишь! — торжествуя, вскрикнул Вторка. — И другие остроги близко. Вдруг и девок пришлют, без жен пашенные не выживают! А там, на Ламе, на ком жениться?

Покряхтел Иван, потеребил седеющую бороду, не знал, как возразить племянникам. Рассуждали ясно и правильно: не в его воле быть или не быть байкальскому острогу, только что-то они недоговаривали. Чуял он это печенкой, а выведать не мог.

Едва окреп лед, Бекетов отправил вверх по Ангаре первый отряд с нартами, груженными рожью. Истомившийся по своей келье, с ним ушел черный поп Герасим. Тремя днями позже из Братского острога двинулся второй бекетовский обоз. Вскоре, посмеиваясь над своим жалким полком в три десятка служилых, собрался в дальний путь и сам казачий голова Петр Иванович. Его жена напрочь отказалась идти за мужем и осталась в остроге ждать весны, чтобы с первой водой уплыть к сыновьям в Енисейский. Похабов решил навестить Осиновское зимовье и проводить старого товарища до братской степи. В избе приказного остались Бекетиха с Савиной.

День выдался солнечный и морозный, над острогом уютно курился дымок печей, поскрипывал снег под ногами. Бекетиха в двух шубах слезно прощалась с мужем: вскрикивала, причитала, жаловалась на горькую старость сибирской казачки, при этом успевала указывать ясырям и дворовым людям, какие узлы и мешки на какие нарты грузить, в сердцах укоряла Савину за бабью глупость и присуху к старому кобелю.

Савина смиренно улыбалась, глядя на подругу. Бекетов только посмеивался да пошучивал, вызывая у жены новые вспышки гнева. Из острожной Спасской часовни были вынесены иконы, служилые, охочие и дворовые люди стали спускать к реке груженые нарты. Сыны боярские, казачьи головы в походных шубах строго надзирали за работой. С заиндевевшими ресницами Савина стояла в стороне от Ивана, не смея ни вскрикнуть, ни завыть, ни повиснуть на его плечах перед очередной разлукой, все чего-то ждала. Он обернулся, смущенно взглянул на нее, дрогнули сосульки на усах.

— Благослови, что ли?! — проурчал выстывшими губами.

Глаза Савины заблестели, залучились, по щекам гуще разлился румянец. Она всхлипнула, перекрестила его, тихонько заголосила, припав лицом к груди.

— Будет! — ласково проворчал он. — Даст Бог, через две-три недели вернусь… Скрипел снег под ичигами, клубы пара висели над головами людей, разгоряченных работой. Бекетов махнул рукой, и первая нарта была сорвана с места, заскрежетала полозьями по накатанному снегу. Багровое солнце в морозной хмари уже поднималось над пологими вершинами гор.

Пониже Осиновского зимовья «обоз о двух головах», как посмеивались служилые, встретил возвращавшийся с Иркута Ивашка Перфильев с людьми и с пустыми нартами. У десятника и многих его спутников на лицах были коросты от обморожений. Ветер по Ангаре дул не сильный, но злой, пронизывающий: в спину груженому обозу и в лица возвращавшихся людей. Иван усадил крестника на нарты между собой и Бекетовым, стал расспрашивать. Тот, прикрывая обветренные губы рукой, рассказал, что Осиновское зимовье цело, годовальщики живы и здоровы, воинские люди к ним не подступали, а аманаты у них прежние, без перемены. На устье Иркута зимовье было занято промышленными людьми двух воровских ватажек. У одной последняя грамотка из Туруханского острога, у другой и вовсе ничего нет. Спорить с прибывшими казаками они не стали, собрались и ушли за Ангару.

— Идем чуть живые, промерзшие, — рассказывал Иван Перфильев. — Гадаем, целое ли зимовье, а в нем тепло, оттого и ругать-то занявших его людей было совестно. Напоили, накормили нас с дороги, тихонько собрались и ушли с миром, — десятник виновато взглянул на крестного, потом на Бекетова, спрашивая, надо ли было хватать

тех промышленных, отбирать у них десятинную рухлядь.

Казачьи головы, ни тот, ни другой, ничего не сказали. Иван Перфильев заговорил веселей:

— Черного попа доставили к месту. Его келья цела, никто в ней не жил. То-то радости было у батюшки, — осторожно рассмеялся простуженным голосом. — А на острове надо рубить лабаз — старый обветшал. Я оставил там двух казаков, сделают. А пока весь припас в избе.

— Надо было четверых, как я говорил! — укорил казака Бекетов. — У мунгал шаткость, склоняются к измене, могут прийти, пограбить.

— Браты их боятся пуще чем нас! — заспорил было Ивашка и осекся: — У меня каждые руки — помощь!

— Тебе тяжелей всех, — пожалел его Бекетов. — Путь тропил, а снег не ко времени глубокий. Моя вина, не надо было тебя грузить, как других.

Перфильевские казаки развели костер на берегу. Те, что шли с Бекетовым и Похабовым, стали поторапливать: им хотелось поскорей добраться до зимовья, ночевать под кровом, а не под низкими ясными звездами ноябрьской ночи.

Зима прошла в обычных заботах о сборе ясака. День за днем, неделя за неделей казачьему голове Похабову некого было послать в дальний Култукский острог. Он вспоминал про байкальских годовальщиков, маялся совестью и утешал себя: если сильно оголодают, прибегут на устье Иркута, а там бекетовский хлебный припас.

Только к Евдокии-свистунье в Братском остроге появились свободные от служб казаки. Иван собрал из них десяток в дальний путь, а перед выходом съездил на заимку к племянникам. Первуха со Вторкой наотрез отказались вернуться к отцу, чтобы брат не ломал голову по слухам и догадкам, пришлось идти на Байкал самому казачьему голове.

Зимовье на Дьячьем острове уже пустовало: Бекетов со своими людьми ушел дальше. На монаха Герасима среди зимы вышла оголодавшая промышленная ватажка из трех человек. Они почитали за чудо, что остались живы, беспрестанно молились и работали при ските. Похабов пробовал их пытать, кто такие, откуда? Никаких разумных ответов не добился, но узнал, что к отряду Бекетова на Дьячьем острове присоединились невесть откуда явившиеся четыре десятка служилых или охочих.

У скитников не было ни грамот, ни подорожных, ни пожиток. По указу их надо было отправить к енисейскому воеводе, но за беглецов вступился монах, а бывшие промышленные люди просились к нему в скит вкладчиками. Как вкладчики и скитники они выходили из-под светской власти.

Подступала весна, чернел лед, на солнцепеках по Иркуту побежали ручьи. Зная, как поздно вскрывается Байкал, Похабов решил вести своих людей до истока Ангары а там вдоль берега до култука. Лед был крепок. Нарты весело скрежетали по нему березовыми полозьями. Яркое солнце слепило глаза. В укрытых от ветра местах было тепло как летом. Прямо изо льда вздымался крутой, скальный или покрытый лесом берег. Он был чист от снега, под прошлогодней травой уже зеленела новая поросль, на яланных полянах безбоязненно паслись изюбры и дикие козы.

Казачий голова осматривал берег, вдоль которого шел, и все чертыхался, вспоминая расспросы и советы московских дьяков. В узких Байкальских падях при нужде могли зимовать тунгусы или промышленные, но не жить в них долго. «Сдуру острог можно было поставить и на вершине горы, если тех дьяков заставить таскать туда животы!» По пути Похабовым были осмотрены три просторных пади, в которых вдруг и смогла бы прокормиться одна пашенная семья, но не больше.

С такими мыслями он подходил к байкальскому, западному култуку. Острог показался сразу, как только обошли гору. Ворота были распахнуты, по берегу и вырубленным склонам горы вольно разбрелись одичавшие коровы и овцы, неподалеку от острожка пасся табун лошадей. Похабов замедлил шаг и остановился, воткнув лыпу в хрусткий, рассыпавшийся лед, залюбовался острожком и местом, на котором он был поставлен. Ивану приходилось много строить, хотя своей избы к старости так и не заимел, но все прежнее делалось по чужим указам, и только для этого острожка он выбирал место сам. Разными путями привел сюда Бог брата, Меченку, никто не поблагодарил за острожек, а ругали много.

До жилья осталось меньше версты, отряд никто не замечал. Наконец кто-то вышел из ворот, увидел цепочку людей и нарт, на берег выбежали три бабы в душегреях, уставились на идущих как любопытные телки и только потом показались казаки. Все они, толпой, двинулись навстречу отряду. Наравне с мужчинами, полоща по льду полами сарафана, неслась женщина, которую Иван не мог не узнать.

— Вот же, стерва старая! — пробормотал, улыбаясь в бороду. — Коза!

Он принял приветствие от Федьки Говорина в тунгусской кожаной рубахе, с саблей на боку, рассеянно отвечал ему, глядя в сторону, в бирюзовые глаза бывшей жены, со злорадством заметил, что она тоже постарела, хоть и не погасла, не пережила бабью

пору.

— Ну, здравствуй, Иван! — поклонилась, и глаза ее вспыхнули подрагивающим светом. Пока он жил с ней, пятна на щеке не замечал, теперь оно снова бросилось в глаза, как бывало после долгой разлуки.

— Здравствуй, Пелагия! — мирно ответил он и спросил: — Как зимовала?

— Слава Богу! — ответила она с усталой, виноватой улыбкой на губах и уклончиво отвела глаза. — Знала, что ты не бросишь! — польстила бывшему мужу. — А здесь и ленивый с голоду не помрет.

Встречавшие похватали у путников бечевы нарт, потянули их, напрягаясь всем телом. Казачий голова распахнул кафтан, даже на льду было жарко. С одного боку рядом с ним шла, не отставала, Пелагия, с другой — удалой десятник и здешний приказный Федька. То к одному оборачивался казачий голова, спрашивая о делах, то к другой.

— Что Оську не видать? Жив, здоров?

— Жив! — знакомо нахмурила брови Меченка. — Хворал зимой! — вскинула глаза на Ивана, в них мутно клубился страх. — Хорошо живем, прости, Господи, — всхлипнула, — хоть и во грехе!

— Господь милостив! Простит, поди, по здешним-то местам! — проворчал Иван и насмешливо обернулся к Федьке: — Сколько ясырок забрюхатил?

Обветренное лицо десятника насупилось, почернело, как кора лиственницы, пока он простодушно раздумывал, как ответить, спросила Пелагия:

— Что наши дети? Видел?

— Якунька прошлый год ушел с Галкиным на Верхнюю Ангару, сказывали, на Витиме воевал. А дочку с внуком зятек увез в Томский.

Похабов вглядывался в лица острожных годовальщиков, которые шли рядом или тащили нарты, потом приглядывался к тем, кого встретил у острога, и чудилось ему, что все они стали чем-то похожи друг на друга. Он удивлялся и не ломал бы голову, если бы Сенька Новиков, который пришел на перемену Федьке, водя носом по сторонам, не спросил вдруг о том же, что было на уме Похабова:

— А что это вы как оскопленные коты?

— Это как? — необидчиво взглянул на него Федька. И казачий голова, теряя степенство, громко захохотал, задирая бороду с седыми прядями.

Бывший вздорный и заносчивый казак в недоумении пожал плечами, не стал отвечать на нелепицу. Похабов же похохатывал и хмыкал, пока не увидел Оську Гору. Некогда огромный, здоровый, не в меру добродушный детина высох и пожелтел. Широкие мосластые плечи задрались крыльями больной птицы, на круглом прежде лице выперли острые скулы. Кожаная рубаха висела на нем, как шкура на костях с тунгусского капища.

— Ты что сделала с казаком? — хрипло прикрикнул Похабов на Пелагию.

Вместо того чтобы озлобиться, как в молодости, она вдруг разрыдалась, уткнувшись лицом во впалую грудь Оськи, чуть выше его живота, а тот, оглаживая ее спину сухой, как корневище, рукой, стал уверять Похабова, что Пелагия его подняла уходом и травами. Зимой он не вставал, думал, помрет. Федька и казаки, зимовавшие в остроге, стали в один голос защищать Пелагию, дескать, дурного за ней не замечали.

— Тунгусы говорят, будто Лама без разбору, у одних силу отбирает, другим дает, а кого не примет, может со свету сжить, — равнодушно зевнул Федька.

Не узнавал лихого казака старый Похабов. На сходе по тем же ясным, но равнодушным взглядам он понял, что перемены в острожке ждали не сильно. В Енисейский за трехгодичным денежным окладом рвались только трое казаков, спрашивали, не появились ли там русские невесты, корили Похабова, что не привез им девок из Москвы.

Прибывший голова велел выставить караулы и запирать на ночь ворота. На другой день, по стариковской привычке, он поднялся раньше всех и вышел из избы, уверенный, что караульный спит. Но нет, тот стоял на мостках рядом с прислоненной к тыну старой пищалью без фитиля и будто смотрел вдаль, положив на тын руки и подбородок. «Стоя спит!» — подумал Иван. Подкрался. Едва ступил на мостки, караульный обернулся без тени сна в глазах. За туманной дымкой на востоке поднималось солнце, розовело ледовое поле, разгорались выглаженные солнцем и ветрами торосы.

Похабов встал рядом с караульным, тоже положил руки на острожины, долго и безмолвно наблюдал восход солнца. И радостным покоем наполнялась душа.

— Добрые места! — крякнул, с усилием отстраняясь от наваждения. Снова его глаза приворожил пламенеющий лед. — Прижились? Уходить, поди, неохота? — спросил тихо.

— Прижились! — признался караульный, обернулся к вырубленному склону горы. Там темнела возделанная земля. — Озимь сеяли. Здесь, на солнцепеке, может быть, и ярица вызреет, — сказал вдумчиво, по-хозяйски, как пашенный. — Благое место! Огрызок с государевой десятины пятьдесят пудов намолотил.

Похабов проворчал:

— То-то, гляжу, никто на дальние службы не рвется, бекетовским казакам не завидует, все благостные, как оскопленные коты! — опять хохотнул, вспомнив Сенькины слова.

Караульный слегка растянул губы в улыбке и снова уставился на снежные вершины гор против острожка. Обживались люди на одном месте, мягко уклонялись от государевой службы. Все это не оставалось незамеченным в Москве. Из Сибирского приказа слали указ за указом и грозные наставления, заставляли чаще менять воевод, приказных, годовальщиков. Одной рукой они рушили мир и покой, другой подначивали к ним ради достатка в хлебе.

— Пашенный масло привозит ли по уговору? — спросил Иван, вспомнив о брате.

— Еще бы не привозил? — оживился казак. — Мы ему прошлый год пятьдесят копен сгребли да возле дома стог сметали выше крыши.

На другой день Похабов сел на коня с седельными сумами, набитыми подарками, поправил за кушаком пистоль, поддал гнедому пятками под брюхо и поехал к брату. Знакомой тропой он поднялся на седловину мыса, где шаманили божкам тунгусы. За ним открылись оттаявшие озера, равнинный бор, сухие поля. На одних чернела пашня, на других стояли копны сена.

Угрюма Иван узнал издалека, набычившись, тот стоял перед воротами и криво, жалобно, с укором глядел на подъезжавшего всадника. Одет был брат в треух при теплом солнце, в сары. За изгородью неторопливо жевали сено две коровы с телятами, шатко топтавшимися на тонких ножках. Пахло навозом. Из скотника выглядывали селенгинские ясыри. Братского или мунгальского вида мужик тесал жердь.

— Ну, здравствуй, брательник! — не смущаясь его взгляда, кивнул хозяину Иван. С молодецкой удалью перекинул правую ногу через голову коня, соскользнул с седла, грузно встав на ноги, бросил брату повод уздечки.

— Здоров будь! — без радости ответил тот, нехотя махнул в сторону старой избы, связанной сенями с двумя свежесрубленными: — Заходи!

— Седельные сумки занеси! — приказал Иван, сел на крыльцо, поджидая брата.

Из леса выбежал вытянувшийся Третьяк, молча уставился на дядьку. Тот подмигнул племяннику, и он смутился, стал помогать отцу, который расседлывал гнедого и снимал седельные сумки. Из окна высунулась братская бабенка, узнала Ивана, бросила на него обиженный взгляд узких глаз. Он криво усмехнулся, вошел в дом, скинул на лавку кафтан, бросил сверху пистоль, патронную сумку, шебалташ с золотыми бляхами.

Вошел Третьяк с седельными сумами, положил их рядом с одеждой дядьки, уставился на пистоль, не смея притронуться к нему. Посмеиваясь, Иван раскрыл сумку, достал сделанный московскими мастерами нож с блестящим, без щербинки, лезвием в три ладони, протянул племяннику. Глаза у отрока сделались круглыми. Разинув рот, он принял нож с ножнами и пулей выскочил за дверь. Иван хохотнул и вытащил отрез зеленого сукна в полтора аршина.

— Гэргэй*! — окликнул сноху. Женщина, шаркая ичигами по полу, подошла, приняла подарок, подобрев, взглянула на гостя ласковей.

— Старушка, мать, жива? — спросил Иван по-булагатски. Глаза женщины помутнели, она опустила голову. — Тогда и это тебе! — протянул ей две тонкие железные иглы. — Угрюмка таких не сделает! — добавил по-русски.

**Гэргэй — жена, замужняя (бур., диалект.).*

Наконец он достал шитую бисером девичью повязку. Его уже тесно окружили будто из-под земли явившиеся ясырки: старая и помоложе, с ребенком на руках. Подарков ждали все. Он отыскал глазами племянницу, похожую на мать непомерно длинным разрезом глаз, протянул ей повязку, стал одаривать ясырок бисером. С кряхтеньем просунулся в низкую дверь Угрюм. Иван бросил ему на плечо отрез сукна, такой же, какой подарил жене. Брат осклабился, показывая, что доволен, в кривящейся улыбке мелькнуло что-то торжествующее, будто сумел перехитрить гостя и рад этому.

Женщины весело залопотали, забегали, стали накрывать стол. Казачий голова сел в красный угол на хозяйское место и чертыхнулся про себя: «С малолетства брат не умел при нем вымолвить доброго слова, под старость и вовсе одичал!» Женщины выставляли соленую и вяленую рыбу, осетрину, вареное мясо, бруснику с ледком. Мужчины молчали. Иван терпеливо и мстительно ждал, когда брат о чем-нибудь спросит. Наконец тот не выдержал, разлепил посеченные губы:

— Скажи хоть, сыны где?

— На Оке, возле Братского острога! Против моей воли поверстались в пашенные, дом строят, возделывают землю. Как ни уговаривал вернуться сюда — не пошли.

Угрюм закряхтел, закашлял, будто запершило в горле, скороговоркой бросил непонятные слова жене. Та блеснула большими узкими глазами, села, испытующе

глядя на Ивана.

— Пытал племяшей! — степенно продолжил Иван. — Отчего бы им здесь цареву десятину не пахать? Острог защитит, отец наставит, лучше этих мест я не видел. О том они со мной говорить не захотели: что-то знают, чего мне не понять.

— Хорошие места! — рассеянно согласился Угрюм. Глаза его подернулись тоской. Он что-то сказал жене, отвечая на ее настойчивые расспросы. Она смахнула слезы со щек, а он вдруг озлился, уставившись на Ивана: — Растил-растил! — гортанно вскрикнул. — Прятал от мунгал, от промышленных и братов. Пришел брат… Нашел-таки! — обиженно мотнул головой. — И увел!

— Сами ушли! — строго поправил его старший, не гневаясь на остервенелый взгляд. Ничего другого от младшего не ждал. — Мог бы и не взять: отказать, обидеть. Другим разом без меня бы ушли. — Теперь в его глазах блеснула злая насмешка. Спросил брата: — Не нравится, что острог поставил? Воеводам тоже не понравилось. Ясак и десятину удобней брать с устья Иркута, и промышленные мимо не пройдут, и за Байкал, и на Лену все пути оттуда. Вот прикажут острог срыть — будешь жить, как прежде!

— Да ты что? — вскрикнул Угрюм, отрывая зад от лавки. — Забаламутил всех и бросишь?

— А ты как хотел? — не тая злости, просипел Иван. — Нашел доброе место, присосался, что младенец к титьке, и не тронь тебя? Так не бывает! За землю воевать надо, она кровь любит. Не хочешь воевать — живи рабом! Кому-то так и лучше, — кивнул на ясырей, ждавших выпивки в сиротском углу. — Какой с них спрос?

Не крестясь, он опрокинул в рот налитую чарку, высыпал за щеку горсть холодной брусники и поднялся:

— Жарко у тебя!.. Повидались, поговорили — и ладно. Пора возвращаться.

— Ночуй! — суетливо заговорил Угрюм. — Ночью за Шаманом ветер свищет. Поди, нынче лед сломает.

Едва майские ветра разбили лед на Байкале и задули в сторону Ангары, Иван с казаками поплыл в обратную сторону. За время его хождения в свой острожек скит монаха Герасима пополнился еще двумя вкладчиками: из урмана вышел дряхлый старик из промышленных людей и молодой, изувеченный медведем.

Похабов оставил в зимовье на острове двух казаков березовских окладов под началом молодого Никитки Фирсова и отправился дальше. До поста он прибыл в Братский острог. Встречать казачьего голову вышел Василий Черемнинов с помятым, припухшим лицом. Уже по его виду понятно было, что ничего важного здесь не случилось.

— После расскажешь! — отмахнулся Иван, быстрым шагом стал подниматься к острожным воротам. Он поспешно вошел в тесную приказную половину. Савина стояла посреди избы в лучшем платье: кругленькая, крепенькая, как сдобный колобок, видно едва успела приодеться к его приходу. Лицо ее алело, глаза блестели и лучились. Бекетиха же, повязывая голову, проворчала вместо приветствия:

— Заявился, кобель старый, аж в середине лета!

Похабов глазом не повел в ее сторону. Вместо того чтобы положить поклоны на образа, пропахший дымом костров, прильнул к Савине, ощупывая ладонями ее полную спину. Она охнула, выскользнула, стыдливо поглядывая то на подругу, то на дверь. Вошел дворовый Горбун, бросил на лавку мешок из струга.

— Все сюда нести? — спросил хмуро.

— Неси! — приказал сын боярский, снял саблю, сунул на выстывшую печь вместе с пистолем, неспешно положил поклоны на образа. Бекетиха, шаркая чирками по земляному полу, вышла из избы. Иван мягче обнял Савину.

— И когда же заживем спокойно? – спросил со вздохом.

Глаза женщина потемнели, она прижалась щекой к его груди.

— Приставали, поди, без меня кобели? — смешливо и подозрительно спросил он.

— А то как же? — рассмеялась она и положила руки на его плечи, глазницы подернулись паутинкой морщинок, которых прежде Иван не замечал.

Проснулся он рано от щебетания птиц. Сквозь раскрытое окно веяло прохладой и свежестью реки. После многих ночей под небом летняя ночевка в доме казалась душной. На лавке храпела Бекетиха, прижавшись лбом к его плечу, мирно посапывала Савина и он пожалел о всех днях и ночах, проведенных с ней врозь. Последняя поездка была никчемной. Казаки могли сделать то же самое по его наказной памяти. «Разве Герасима повидал, — подумал. — Да свой острог… Да брата!» За окном зарозовел клок травы, послышались голоса служилых. Начинался обычный день на приказе.

Иван Похабов обошел острог, выслушал новости от Черемнинова. Пятидесятник перессорился с монахами-скитниками, которые были не в его власти. Федька Говорин и прибывшие с ним байкальские годовальщики уже с утра были пьяны, надо было поскорей выпроводить их в Енисейский. «С кем отправить ясак?» — думал казачий

голова. В таком деле он Федьке не верил: не пропьет, так ввяжется в какую-нибудь драку, потеряет или утопит. Вспомнил про Черемнинова и решил отпустить его в Енисейский.

Байкальские годовальщики были пьяны и на другой день, знать, в остроге кто-то тайком курил вино. Едва казачий голова усадил весельчаков в струг, выяснилось, что Федька с товарищем оставили здесь своих ясырок. Там, на Байкале, Похабов предупреждал их, что по наказу воеводы нельзя везти в Енисейский некрещеных девок. А привезут крещеными, да с младенцами, попы будут принуждать венчаться. Федька и его товарищи делали вид, что поумнели, но все понимали, что ясырки проданы без записи или проиграны вместе с прижитыми детьми.

Казачий голова выпроваживал из острога смутьянов, с которыми спина к спине не раз бился насмерть против государевых ослушников. Кормщиком в струг он посадил старого стрельца Василия Черемнинова с ясаком и с отписками воеводе. Бекетиха, устраиваясь на своих узлах и сундуках, при этом то грозно орала на пьяных казаков, то вопила, взывая к небу:

— Осподи, помилуй! Загубят, воры-христопродавцы, утопят вместе с животами!

Но ждать другой оказии она не желала, непрестанно крестилась и читала молитвы, перемежая их угрозами пьяным гребцам. Течение реки наконец-то подхватило судно, Похабов постоял, глядя ему вслед, перекрестил на добрый путь. Надежней старого стрельца все равно никого не было. Черемнинов пил, да головы при этом не терял. Будто гора свалилась с плеч казачьего головы, теперь можно было съездить к племянникам.

Едва дворовые люди, Горбун с Сувором, оседлали для него коня, караульный со смотровой башни крикнул, что к острогу идут струги. Похабов чертыхнулся, велел сесть на оседланного коня молодому казаку. Тот с гиканьем понесся по берегу реки и вскоре вернулся. В Братский острог шла перемена, которой в этом году никто не ждал.

— Кто старший? — спросил Похабов.

— Митька Фирсов!

— Добрый казак! — обрадовался Иван, узнал, сколько стругов, велел в помощь бурлакам гнать лошадей, а сам пошел в избу переодеться для встречи.

Три струга были подведены к острожному причалу. Пока прибывшие и встречавшие вытаскивали их на берег, к воротам поднялись Дмитрий Фирсов с братом Арефой: два молодца-енисейца из подросших казачьих детей. Оба откланялись Похабову как родственнику. Казачий голова повел их в избу, удивляясь, отчего молодые казаки смущаются его и даже робеют, усадил их за стол. Савина стала выставлять угощения. Дмитрий вынул из кожаной сумки свернутые трубкой и опечатанные воеводской печатью грамоты, положил на стол и пробубнил, оправдываясь:

— Ты только не подумай чего плохого, дядька Иван! Я просился у воеводы за Байкал, к Бекетову, а он силком отправил меня в Братский приказным!

— По мне, лучше тебя служилого не сыскать, давно пора нас, стариков, менять! — весело ответил сын боярский, развернул наказную память, стариковски прищурился, вытягивая руки и придвигаясь к окну. — Кто нынче воевода? — спросил.

— Афанасий Пашков, дворянин московский!

— Вон что? — поднял брови Похабов, пристальней разглядывая братьев.

Новый воевода приказывал сыну боярскому сдать все остроги и ясачные зимовья под начало Дмитрия Фирсова, дотошно наставлял, как принимать казенное добро и строения, будто был уверен, что прежний приказчик, хитрый и изворотливый, непременно должен провороваться. Наказная память ни словом, ни намеком не указывала, какую службу нести самому казачьему голове: возвращаться ли в Енисейский или идти в подчинение к молодому пятидесятнику.

— Может, на словах что передал? — удивленно спросил Дмитрия.

— Ничего не сказал! — пожал тот плечами, виновато поглядывая на сына боярского. — Понятно, что мне не по чину менять тебя!

Встало перед глазами лицо Афанасия, когда он, Похабов, в Москве вспомнил Истомку Пашкова. Мстил за обидные слова, иудино отродье. Иван хмыкнул в бороду, перебарывая первую нахлынувшую обиду, подумав, повеселел, сжал пятерней бороду в пучок, озадаченно подергал и рассмеялся:

— Мне, как я понял из наказной, воевода велит сдать тебе все по Ангаре, Байкалу и ждать его нового наказа?

— Наверное, так! — неуверенно поежился пятидесятник.

— Слышишь, старая! — обернулся к Савине. — А ведь мы наконец-то можем спокойно пожить где-то на одном месте! Сплывем в Енисейский, Афонька вредить станет или с оклада снимет. — Он подумал и добавил: — Наверное, уже снял, да только нас с тобой этим не проймешь — богатством не избалованы.

К пущему смущению молодых казаков, Похабов умолк, свесив голову, тупо уставился в столешницу. Савина тоже молчала, морща лоб, не могла понять, к добру или

к худу новое известие. Но Иван вскинул прояснившиеся глаза и весело объявил:

— А что, Митька, если я пойду под твое начало? Федька Меншин в Осиновском по-песьи воет, в Енисейский просится, я и сменю его. Все равно балаганцы только мне дают ясак, других не жалуют. Что скажете, молодцы?

Фирсовы сыновья весело соскочили с лавки.

— Дядька Иван! — вскрикнул Дмитрий. — Яви Божескую милость, помоги нам! Бога молить будем, если когда какой совет дашь!

— Ну и ладно! Перекусите, что Бог послал, попаритесь в бане и к нашему столу! А я уж все вам расскажу, ничего не утаю.

Едва молодые казаки вышли из избы, Иван снова задумался.

— Ну, что закручинился? — окликнула его Савина. — И впрямь, дал бы Бог хоть зиму пожить без разлук, уж я-то радовалась бы.

— Вот ведь! — криво усмехаясь, кивнул на наказную память Иван. — Даже в том, чтобы сдать головство молодому, а не ровне — намек и мщение! Не хотел, дескать, передо мной шапки ломать, соплякам поклонишься. Ну и ладно! — обнял Савину. — Поди, услышал Господь молитвы наши. Я свое выслужил.

В три дня Похабов сдал Братский острог, снова приказал дворовым оседлать коня и наконец-то отправился к племянникам. Двор их почти не переменился, только у избы было положено крыльцо да срублена конюшня. Скота братья не держали, имели двух лошадей, раскорчевали и подняли целину на государевой десятине и еще около десятины своей земли. Остальная, данная им в пашню, лежала впусте или обкашивалась.

— Не надоело? — спросил Иван и тут же сообщил, что приказ в Братском сдал, теперь он им не начальник.

— У нас еще год льготы! — беспечально ответил Первуха.

Изба была грязной и запущенной, идти в нее не хотелось, племянники развели костер возле ручья, стали варить дичь для дядьки. Иван, лежа на боку, неторопливо рассказывал о Байкале, о жизни матери и отца. Братья опечалились, глаза у того и другого сузились в две щелки, веки набухли. Иван снова пожалел племянников, опять предложил посадить на их места своих дворовых.

— Здесь земля лучше, чем на Байкале! — с вызовом стал хвалиться Вторка. — И за спиной никто не ворчит: хотим — работаем, хотим — брюхо чешем!

— Так уж и чешете? — с насмешкой взглянул на них Иван. — Кончится льгота, и пойдете в работники к Распуте, а он залениться не даст… Ну, да ладно! — махнул рукой.

Как и с братом, разговор с племянниками не получался.

Сразу после Ильина дня, в начале августа, Похабов загрузил струг пожитками, рожью, крупами, конопляным маслом в березовом бочонке. Новый приказчик дал ему трех коней в гужи. Другим стругом он отправил в Осиновский острог шестерых казаков на перемену прежним годовальщикам. Два судна пошли знакомыми местами против течения реки. Иван налегке шагал по берегу, дворовые, Горбун с Сувором, по очереди стояли на шесте или вели под уздцы коней. Савина чаще сидела в струге, поглядывая по сторонам, суетиться же начинала только на станах, у костров. Погода стояла хорошая, зима на пятки не наступала.

Осиновские годовальщики радостно встретили перемену, удивлялись, что ее привел сам казачий голова. Похабов по-хозяйски осмотрел зимовье. Какими были избенка, лабаз, амбар, баня, такими остались, разве обветшали пуще прежнего. В аманатской избе, подновленной после буйств Оськи Горы, просторней казаков жил племянник икирежского князца. За две зимы казаки не пошевелились, чтобы расширить свою избу.

Покряхтев с недовольным видом, голова ни словом не укорил приказного и отпустил годовальщиков в Братский острог, но своим казакам и дворовым объявил, что будет строить приказную избу. Зная самодурство старого сына боярского, те опасливо помалкивали. Леса поблизости не было, даже прибрежный и островной осинник вырубили на дрова.

И кончилось спокойное время на острове. Сразу и вдруг на годовальщиков навалилось множество спешной работы. Две недели сам Похабов с Сувором, Горбуном и двумя казаками валили лес в верховьях, потом они пригнали обледеневшие плоты на устье Осы. За неделю годовальщики собрали пятистенок по-промышленному, из сырого леса, сложили печь из глины и речного камня.

Икирежский аманат в мирные, спокойные дни свободно расхаживал среди служилых, выходил за ворота, подолгу и с любопытством наблюдал за строительством избы, иногда сам брался за топор и от безделья тесал бревна. На цепь его сажали, когда к острову большим числом подступали всадники или тунгусы на оленях.

Еще не была навешана дверь на приказной половине, а Савина уже наводила в жилье порядок. К Покрову люди в острожке зажили просторно. Вскоре встала, покрылась льдом Ангара, в степи завыл ветер, закружил белые вихри по равнине и по

льду, то и дело поднимал стеной снег на русле реки. На Осиновом острове скрипели крыши изб, в них беспрестанно поддерживали огонь, дров сжигалось много. Все свободное время служилые и дворовые сына боярского возили на нартах сухостой.

На четвертой неделе Филипповского поста к берегу Осы подъехали пять всадников на низкорослых мохнатых лошадках с заиндевелыми мордами. Икрежи привезли ясак раньше оговоренного срока. Похабов велел привести гостей в его избу, усадил всех на пол, застеленный сухой травой. Казаки привели аманата, их родственника. Савина, морщась и отворачиваясь от котла, варила мясо в пост.

Четверо молодых степняков и старик с седой метелкой волос на подбородке держались свободно. Поговорив с аманатом, выложили для него степные яства. Старик плутовато поглядывал на Ивана и все спрашивал о пустяках. Потом заговорил про какую-то казачью избу. Похабов ничего не понял, раз и другой переспросил.

Аманат, племянник икрежского князца, довольно сносно, хоть и коряво пояснил:

— Острог на Уде больше вашего! — повел глазами по низкому потолку, и его черная коса свесилась до самого пола.

В словах был какой-то намек. Ни по-кетски, ни по-тунгусски послы не понимали. Похабов заколотил кулаком в стену, вызывая дворовых. Прибежал Горбун, ухмыльнулся, втянув ноздрями дух варившегося мяса.

— Толмач не вернулся? — спросил Иван.

— Нет еще! — шмыгнул носом Горбун. По лицу видно было, что он бездельничал.

— Бегите с Суворкой по его следу. Дрова привезете сами, а он пусть поскорей явится сюда, на службу!

Толмач пришел нескоро. Гости успели поесть и получить казенные подарки.

— Говорят, красноярцы отстроили острог больше нашего! — накинулся на него Похабов. — А к чему говорят — не пойму!

Толмач был из болдырей, черноглазый и спесивый. Он окинул гостей змеиным, немигающим взглядом, не приветствуя их, сел на лавку, забросил ногу на ногу и небрежно залопотал. Почуяв в избе запах хмельного, вынул из-за пазухи и поставил на стол свою чарку. Похабов неохотно наполнил ее хлебным вином. Толмач, не переставая расспрашивать и отвечать, перекрестился, выпил, крякнул, посопел приплюснутым носом и сдавленным голосом заговорил по-русски:

— Видать, Митька Фирсов на Оке с красноярами воевал. Говорят, казаки стреляли друг в друга. А на устье Уды у красноярцев острог побольше нашего и они зовут икрежей, чтобы те давали ясак им, а не нам. — Толмач тоскливо взглянул на пустую чарку и, не мигая, уставился в переносицу сына боярского: — Чего тут непонятно?

— День постный! — рыкнул Похабов, не налив другой чарки за то, что долго шел, но сказанное послами запомнил.

На острове гуляли Рождество, окунались в проруби на Крещение. Савина уже молола муку на блины к Маслене, а Бояркан все не присылал ясака. «Не помер ли?» — забеспокоился Иван. Перед его глазами назойливо кривилась усмешка икрежского старика.

После Маслены, на Прощеный день, с толмачом и двумя казаками он выехал на лошадях в верховья Осы. Икрежи кочевали неподалеку. К вечеру казаки добрались до знакомого князца и ночевали на его стане. Утром двое молодцов с луками за спиной вызвались проводить их к булагатским кочевьям. Морозным солнечным днем отряд двигался на восход солнца. Кони шли то шагом, то тряской рысцой. После полудня показалась вытоптанная земля, вожи указали на следы и стали разворачивать своих коней.

— Говорят, балаганцы их враги! Князец не велел им встречаться! — пояснил толмач, шепелявя застывшими губами с редкой ниткой усов под носом.

Похабов отпустил вожей, казаки продолжили путь вчетвером и вскоре увидели пасущиеся стада. Когда желтый блин солнца коснулся земли на западе, их заметили. Навстречу, рассекая стадо, галопом понеслось полтора десятка всадников, окружили казаков, водили своих коней по кругу, неприязненно разглядывая пришельцев.

Похабов скинул рукавицу, велел казакам запалить фитили на мушкетах.

— Здоров ли Бояркан? — спросил, соскребая сосульки с усов.

Молодцы в тулупах перестали кружить. Толмач заговорил с ними, важно переводя совиные глаза с одного на другого.

— Предлагают проводить! — обернулся к Похабову.

— Такие проводы мы знаем! — усмехнулся сын боярский, высвободил из-под шубы шебалташ, показал пряжку мужику, который по повадкам показался ему старшим. Тот равнодушно осмотрел золотые бляхи, вопросительно вскинул узкие глаза с заиндевевшими ресницами.

— Бояркан — ахай! Хочу повидаться и поговорить с ним! — сказал сам и, обернувшись к толмачу, просипел: — Скажи, пусть дадут нам ночлег, а то отправят вестника коротким путем, а нас будут морозить в седлах до утра. Знаю я их!

Встречавшие казаков молодцы убавили спеси, но почтения к гостям не проявили. Ночевали казаки в ветхой юрте, со всех сторон закиданной снегом, и бездельничали,

пока не прибыли люди Бояркана в богатых, покрытых сукном шубах.

Над выдутой ветрами степью с мотавшимися сухими травами на мерзлой земле сияло яркое полуденное солнце. Вскоре казаки увидели на возвышенности большую белую юрту, окруженную кольцом других. Из всех веретенами поднимался дым. Годовалые бычки с заиндевелыми мордами с тупым любопытством преграждали путь всадникам и шарахались в стороны только перед грудью лошадей. Казаков проводили в самую маленькую юрту. Внутри было тепло, возле очага в одежде без всяких украшений сидели две молодые, смешливые девки.

Похабов велел казакам расседлать коней, сел возле жарко тлевшего кизяка и свесил над огнем заледеневшую бороду. Девки прыснули от смеха, вскочили с мест, сели возле решетчатой стенки, прижавшись друг к другу и укрывшись меховым одеялом, с опасливым любопытством выглядывали, как птенцы из гнезда. Казаки внесли в юрту седла с потниками, расстелили и сложили их вокруг огня, стали разматывать кушаки.

— Однако неласково встречает хубун! — проворчал Похабов, распахивая шубу. — Неспроста! Обиделся или еще чего. Может, Курбатка Иванов аманатил его мужиков?

Откинув полог, в юрту вошел приземистый мужик в крытой шубе, из тех, кто сопровождал казаков до селения, что-то прогыркал, разлепив смерзшиеся губы. Похабов обернулся к толмачу.

— Бояркан будет говорить с тобой вечером, когда солнце ляжет на землю, до тех пор велел ждать! — перевел сказанное толмач.

Мужик окликнул сидевших в стороне девок, те вышли на мороз и вскоре внесли в юрту освежеванную баранью тушу. В жилье резко запахло стужей и кровью.

Не успело свариться мясо в котле, как тот же мужик в крытой сукном шубе откинул полог юрты и сказал, что Бояркан ждет гостей. Похабов поднялся, велел собираться толмачу. Болдырь бросил тоскливый взгляд на кипевший котел, на молодых девок, печально вздохнул и натянул на плечи кафтан.

— Кони остыли! — Одеваясь. стал раздавать наказы сын боярский. — Можно напоить. В степь не отпускайте... Хотя, — махнул рукой, — пусть пасутся. Все равно нам отсюда и на конях не убежать! Ружья никому не давайте глядеть!

У входа в белую юрту стояли два мужика с обнаженными саблями. Иван с толмачом прошли мимо них. Внутри жилья было темно, глаза не сразу различили ряд сундуков вдоль округлых стен, стопки меховых одеял на них. Посередине горел очаг, освещавший юрту. У огня сидел Бояркан, со всех сторон обложенный шелковыми подушками. Похабов впился в него взглядом, высматривая перемены в настроении братского приятеля. Бояркан так же пристально разглядывал сына боярского. За князцом, чуть поодаль, сидела старуха в богатой шубе. Несколько косатых молодцов с любопытством глядели на вошедших. При обычном приезде, как гостю и младшему по возрасту, первым приветствовать Бояркана надо было ему, Ивану. Как посол царя, он должен был выждать приветствия от его подданных.

— Что сарь? — наконец спросил Бояркан, не вставая с подушек. — Жив-здоров? Скот множится?

— Сайн! — кивнул сын боярский. Не так много времени прошло после его поездки в Москву. В Казанском дворце Сибирского приказа Похабов наслушался баек о царской жизни. — Жив! Здоров! — коротко ответил по-русски.

Они с Боярканом не виделись с тех самых пор, как Похабов поставил зимовье на Осе, в последний раз расстались дружески. Время не прошло бесследно: сильней побелели пучки волос в уголках губ и на подбородке Бояркана, толстую косу будто гуще присыпали мукой. Поверх халата на князце была накинута соболья шуба, на голове — легкая шапка, шитая серебром. Не обеднели балаганцы за последние годы, скорей, оправились после бед.

— Галди шамай! — по-свойски выругался Бояркан, разглядывая Похабова, губы его дрогнули в усмешке. — Ты был удалой дайша, но и тебя не обошла старость. Так устроен мир! — подобрев, вздохнул и назвал Ивана дуумгэй*.

Они понимали друг друга с полуслова. Толмач молчал, хмурился, с недоумением водил глазами по сторонам. Иван сел, развязал бечеву мешка, вынул отрез сукна, слиток олова, две иглы, узелок с бисером. Бояркан пощупал сукно пальцами, что-то буркнул за плечо, молодой родственник убрал подарки.

— Какая радость или беда привели тебя ко мне, дуумгэй? — спросил.

То, что Бояркан снова называл Похабова братом, было хорошим знаком, то, что вынуждал просить ясак, — плохим. Иван помолчал для пущей важности и тихо заговорил по-русски, с долгими перерывами, чтобы толмач переводил сказанное:

— В прошлые годы мы с тобой договорились: я построю острог, а ты будешь давать ясак. Послов от тебя давно не было и я стал думать, не заболел ли ты? Жив ли? Решил навестить.

— Ясак, ясак! Галди шамай! — передразнил сына боярского Бояркан, пропустив мимо ушей лесть о беспокойстве. В его прищуренных глазах заблестели недобрые огоньки. — Два раза я приносил ясак, а буряты все воюют между собой и с казаками. Казаки все воюют между собой и с бурятами. Приходят, грабят улусы. За что

платить?

«Вот ведь! — с досадой поморщился Похабов. — И сюда дошла весть о перестрелке енисейцев с красноярцами».

— Все мы плохо служим царю, — оправдался со вздохами. — И казаки между собой ссорятся, и буряты. Дают клятву царю, потом изменяют… Видальцы говорят, мунгалы опять появились в степи, наверное, подстрекают к измене? — колко взглянул на Бояркана.

— Родственники ездят к родственникам! — рыкнул тот и жестко усмехнулся. — У нас один предок: мы потомки Великого Могула! От него пошли бурятские, мунгальские и ойротские племена.

Похабов опустил голову и тихо напомнил:

— Когда-то ты мне говорил, что мунгалы вас грабят, отбирают в жены лучших девок, заставляют воевать.

— Мало ли что бывает между родственниками? — опять чертыхнулся князец. — Иной раз они хуже врагов, сам знаешь! — тряхнул дряблыми щеками и криво усмехнулся, намекая на известное только им двоим.

Сказанного хватало, чтобы понять: в степи зреет новая распря, к измене склоняются не только мунгалы, но и бывшие их кыштымы.

— Я прошлый год ходил к царевичу Цицану, за Байкал, — с расстановкой заговорил сын боярский. — Потом возил его послов к царю. Царевич Цицан мне сказал: «Тунгусы и буряты — наши вечные вредные непокорные кыштымы, берите с них ясак сами, как знаете, а ваш царь пусть живет с нами в приязни».

— У мунгал много царевичей! — раздраженно буркнул Бояркан. — Сколько стоит земля и Вечно Синее Небо, они между собой ссорятся хуже казаков. Но мы дети одного отца. У меня есть две девки-мунгалки, мои рабыни. Хочешь, подарю? Коня-трехлетку за них отдал.

Иван покряхтел, раздумывая, как вернуться к разговору о ясаке.

**Дуумгэй — младший брат (бур.).*

— Хороший жеребец стоит тридцать соболей добрых! Бояркан, не поняв подвоха, растопырил короткие пальцы на ладони:

— Хулэг* — пятьдесят!

Похабов укоризненно покачал головой.

— Зачем гневишь государя? Под его милостивой рукой твои стада умножились, выпасы ты себе вернул, племя балаганцев увеличилось. По слухам, у тебя под началом полторы тысячи здоровых мужиков. Другие роды платят царю по пять, по семь соболей с мужика, а ты давал царю присягу и платил ему всего пять сороков. Но царь тебя прощал. А ведь ты — богатый хубун: украдут десять коней — не заметишь.

Лицо Бояркана побагровело, глаза налились кровью, он зарычал сквозь сжатые зубы:

— Мунгалы забирали наших девок и юнцов, но они оставались бурятами, потомками Великого Могула, а мой племянник, сын Куржума, доброй волей стал казаком. Не племянник теперь мне, а Васка Куржумов… Тьфу! Служит царю как пес, там, где был аманатом, требует с меня ясак и всех нас называет дикими. Мунгалом стать — плохо, казаком — еще хуже! — Бояркан спохватился, дав волю гневу, помолчал остывая: — Все говорим-говорим и не едим. В добрые старые времена гостей сперва кормили, потом говорили…

Засуетились молчавшие люди, стали стелить кожи, подбрасывать кизяк в затухавший очаг. Вошли две бабы с котлами, юрта наполнилась запахом вареного мяса. На войлок постелили кожи, на них, в середину, выставили на блюде баранью голову с вывернутыми в ухмылке вываренными губами. На подносах опустили сложенное горками жирное мясо, подрагивавшее от свежести и пара. Перед пожилыми людьми поставили чарки и наполнили их архой.

— Бляхи утерял или продал? — насмешливо спросил Бояркан, хотя посыльные должны были сказать о них.

Похабов нащупал пряжку шебалташа под кафтаном, расстегнул, вытянул вместе с сыромятным ремнем, подал через застолье. Веки Бояркана дрогнули, рука неуверенно приняла опояску. Щурясь, он оглядел бляхи, подозвал молодую родственницу, приказал:

— Посмотри, что за люди на золоте?

Девка или молодая женщина в белом тюрбане придвинулась к очагу, оглядела пряжку и вернула Бояркану:

— Казак и бурят! Или мунгал, а коса как у бурята! Алда хара гэзэгэ**.

На ее лице не дрогнула ни одна жилка. Глядя на хубуна, девка гадала, что он хотел услышать от нее.

— Отдай ему! — приказал князец, указывая на Похабова. — И громко воскликнул: — Пора нам погреть свои старые внутренности перед едой, чтобы вошло

побольше и не было тяжко.

Седобородые старики молча выпили. Князец придвинул Похабову баранью голову и маленький нож для ее разделки. По окончании ужина, когда не только захмелевшие старики, но и молодые стали позевывать, Бояркан объявил, что даст царю пять сороков соболей и двух кобылиц, а Ивану как своему гостю подарит двух девок, которых купил у хоринцев. Он сердито тряхнул тяжелой головой, процедил сквозь зубы:

— Васке Куржумову драной лисы не дам! — и снова разразился ругательствами.

Затем князец зевнул раз, другой, свесил голову и стал укладываться на бок среди подушек, которыми был обложен. На прощанье прищурил один глаз, метнул властный взгляд из другого, сварливо добавил:

— Если твоя крепость будет меньше, чем на Уде, на другой год не дам никакого ясака.

Женщины уже убирали посуду со стола, старухи стелили одеяла.

Похабов спорить не стал, молча встал, кивнул, прощаясь.

— Знаю, ахай крепко держит слово! — сказал крестясь. — Пойду и я отдыхать.

Толмач был зол: лицо его пылало, глаза блестели, ни словом, ни кивком не поблагодарив за ужин, он вышел за сыном боярским. Ему архи не наливали: принимая за молодого без бороды, то ли намеренно унижали. Ночь была темна, ярко светили звезды, народившийся месяц плыл по небу лодочкой, предвещая снега.

**Хулэг — скакун.*

**Алда хара гэзэгэ — огромная коса (бур.).*

— Ну, как? — встрепенулись ждавшие их казаки.

В гостевой юрте спали старик со старухой, две девки, встретившие казаков, боязливо жались в сторонке и клевали носами.

— Даст князец ясак! — икнув молочной водкой, с трудом выговорил Иван. От съеденного и выпитого было тяжко не только в животе, но и в груди. — Измен быть не должно, — добавил, одышливо вздыхая, — но караульный пусть сидит у очага для порядка.

— Чем потчевали балаганцы? — стали расспрашивать толмача.

Тот брезгливо скривил губы, коротко ответил:

— Мясо! — Посопев с недовольным видом, спросил сына боярского: — А что вы с князцом все «брат» да «брат»?

— Порядок такой у послов, — кряхтя, ответил Похабов. — Знаешь, что враг, а говори: «брат». — Он перевел дух и окликнул девок: — Басаган! Хотите замуж? — задумался, как сказать «за пашенных». Обернулся к толмачу: — Как у них пашенных мужиков зовут?

— У них нет пашенных! — резко и заносчиво ответил тот.

— Нет так нет! — равнодушно зевнул сын боярский, вытянул ноги к очагу и укрылся шубным кафтаном.

В острог на острове три казака и сын боярский вернулись на шести лошадях с ясаком и с двумя насмерть перепуганными девками. Увидев добрую женщину, они повеселели, а когда узнали, что это жена нойона, осмелели и снова стали смеяться.

— Ладные девки, хоть и нерусские! — заводил глазами Горбун, стал расхаживать возле них, поглядывать, как кот на сметану. — Мне бы такую в жены? — заискивающе взглянул на хозяина.

— Сперва кабалу отслужи! — буркнул Иван. — Потом денег заработай и купи или на саблю добудь!

С весенними ветрами по степи разлетелась весть, что балаганцы дали ясак в Братский острог и хотят присягнуть царю всем племенем в полторы тысячи сильных мужчин. Понесли казакам соболей и другие роды, тянувшие с выплатой. Едва потеплело, Похабов отправил в Братский острог вестового с грамоткой Дмитрию Фирсову, что балаганцы требуют укрепить Осиновское зимовье.

Глава 14

По поверьям своего времени, бесноватые весенние щуки взломали хвостами лед на Ангаре, с грохотом, хрустом, треском пошел он вниз по реке, и вскрылась черная студеная вода. Еще с неделю она кружила редкие льдины с вмерзшей содранной с берегов землей. Вокруг них косяками держались утки, выклевывая корм. В зимовье на Осиновском острове в те дни казаки питались утятиной и рыбой. Гостей в эту пору не ждали, и вдруг караульный заметил в низовьях реки струг, который легко тянули против течения полтора десятка казаков. Похабов опоясался саблей и вышел на песчаную косу в нижней части острова, широко расставив ноги, упершись руками в бока, с важностью служилого человека стал поджидать гостей и вскоре разглядел, что шли свои, казаки Братского острога. За версту он узнал

непоседливого приказного Дмитрия Фирсова. Добрый вырос казак, но не мог степенно стоять на месте, как горячий конь перебирал ногами и вертелся без всякой надобности. Наконец струг переправился на остров, приказный выскочил на сушу, поклонился сыну боярскому, стал с горячностью величать его:

— Помог ты мне, Иван Иваныч! Облегчил службу, дай Бог тебе здоровья!

Похабов, польщенный незабытым добром, огладил бороду, понимая, что Митька прибыл в эту пору не для того, чтобы сказать приветные слова, видать, есть дела важней. Сын боярский велел Сувору с Горбуном затопить баню и повел гостей в зимовье. Он не спешил выпытывать Фирсова, что за дела привели братских казаков на Осу. После бани за столом молодой приказчик заговорил о деле:

— Получил я твою грамотку, где писал, что балаганцы требуют поставить острог больше красноярского. Наш воевода, Афанасий Филиппович, об этом думал еще в прошлом году и наказал мне присмотреть место для нового.

При упоминании о Пашкове Похабов нахмурился, но ругать воеводу не стал. Осиновские казаки примолкли, внимательно прислушиваясь к разговору. Они ждали перемены, никакая работа им на ум не шла, а тут уловили намек на новые тяжкие труды.

Дмитрий Фирсов окинул их взглядом и пояснил:

— Мы пришли высмотреть место!

— Если уж ставить новый острог, то на другом берегу! — подсказал Похабов, и его казаки загалдели:

— За дровами эвон куда ходим… Все повырубили.

На другой день молодой неугомонный енисейский приказный поплыл с казаками на левый берег Ангары. Похабов дал ему в помощь всех своих казаков и бездельничавших дворовых. Напасть на остров в эту пору могли только оголодавшие промышленные неудачливой ватажки: братским и тунгусским народам по весне не до войн и нападений, все заняты скотом и перекочевками. Икирежского аманата еще зимой Похабов отпустил за выкуп и теперь остался на острове с Савиной и двумя девками-ясырками.

Прошла неделя. К субботе вместе с Фирсовым приплыли десять казаков для бани. Дмитрий хвастал, что выбрал место благое для пашни и выпасов, на равнине между двух притоков. Лес там не близко от реки, рубили его в верховьях притоков и сплавляли вниз плотами. Казаки попарились, попили квасу, отправились обратно, а через день на правом берегу Ангары показалось два струга, их тянули бечевником два десятка служилых. Люди шли явно свои, но Похабова насторожило, что некоторые из них несли на плечах ружья, хотя на равнинном берегу кустарник был редок, степь просматривалась далеко. Сын боярский перепоясался саблей, сунул за кушак заряженный пистоль, велел Савине с девками запереться в зимовье, вышел на песчаную косу и встал на виду у приближавшегося отряда.

Струги переправились на остров. Один, заскрежетав песком и галечником, выполз на берег смоленым носом, другой оставался на плаву, удерживаемый против течения шестами и веслами. Со струга соскочил молодой кормщик в козловых сапогах выше колен, в добротном суконном кафтане и собольей шапке. Лицо его показалось Похабову знакомым.

— Здорово живешь, дед! — вскрикнул казак с принужденным весельем в голосе и жестко блеснул глазами.

— Слава Богу! — отчужденно ответил сын боярский и спросил: — А ты чей будешь? Не встречались, а лицо вроде знакомое.

— Бунаков я Кирюха, красноярский пятидесятник.

— Вон кто! — степенно повел глазами Иван. — Не Петра ли томского сын?

— Брата его, Ильи!

— Знаю вашу породу! — повеселел Похабов. — Сказывали, отец в опале после томского бунта?

— Отбрехался! — беспечально ответил молодой пятидесятник, снисходительно усмехнулся, поджидая, когда старик наговорится о пустяках. Глаза его сузились, блеснули злей и пронзительней.

— А кто на другом берегу острог ставит? — спросил резко.

— Наши, енисейцы, ставят по указу воеводы, — прищурился Похабов и съязвил: — У вас, говорят, острожины в три сажени, а у нас, — кивнул на свой тын, — заплот. Оттого, наверное, вы на Оке наших ясачных грабите?

— Отчего ваших-то? — вскрикнул пятидесятник. — Наши, с Уды, изменили и бежали на Оку. Я с братаном Андрейкой гнался за ними, а ваши, Братского острога годовальщики, давай по нам палить!

— Это плохо, когда в своих стреляют! — согласился Похабов.

— Значит, енисейцы? — скрипнул зубами пятидесятник. — Ну, с Богом! Будь здоров, дед!

Молодой Бунаков помог загребным столкнуть с отмели нос лодки, опираясь на плечи гребцов, пробрался на корму. Тяжелый струг кормой вперед поплыл к Ангаре. Второй сплыл за ним. На устье Осы они развернулись к другому берегу. Иван Похабов долго глядел, как удаляются суда и думал о своем, пока его не окликнула Савина. Вроде

бы ничего плохого не сказал молодой Бунаков, племянник старого приятеля, а на душе было смутно, всякая нелепица лезла в голову. В сумерках с другого берега донеслись звуки стрельбы и ответный залп, чуткое ухо воина уловило отзвуки боя.

Не спалось Похабову. Всю короткую светлую ночь он просидел на нагороднях, а после промучился день и другой. На третий на реке показалась легкая лодчонка, шитая из бересты. Стволы ружей торчали к носу и корме, двое в нательных рубахах, без шапок гребли изо всех сил, стараясь пристать к берегу выше устья Осы. Казаки были свои, енисейские. Вскоре Дмитрий Фирсов с товарищем вышли на берег, облегченно перекрестились и замахали руками. Весь гнус, дремавший жарким полуднем в тенистых местах, с остервенением бросился на разгоряченных, потных людей.

— Что как с медвежьих когтей? — полюбопытствовал ждавший их сын боярский. — Краснояры побили?

— Было! — отмахнулся Дмитрий, мотая головой и притопывая ногами. — Нападали… Попугали-постреляли, ругались, как водится. У нас никого не ранили и у них — слава Богу!

Фирсов опять мотнул головой, отбиваясь от мошки:

— Дядька Иван! А я опять с просьбой! Пожил бы ты там? А мы бы зимовье разобрали, связали в плоты и переправили. На кой оно здесь? Все равно сожгут, не браты, так краснояры.

— Сожгут! — согласился Похабов и нетерпеливо спросил: — Что краснояры-то?

— А подступили, давай орать, чтобы острог нам не ставить! Кто-то сдуру пальнул. Ну и мы тоже. Отбились, прогнали их. Бунаков грозил в Тобольский город и в Москву писать. Пусть пишет! Мало мы писали? Двадцать лет пишем… У меня наказная память от воеводы, а Бунаков похвалялся, что у них нынче воеводой князь! Пусть перепираются!

— Что стоим? Пошли в избу! — пригласил Похабов.

Молодые казаки похватали кафтаны, мушкеты и кинулись к зимовью, их рубахи были облеплены гнусом. В избе с малым оконцем было сухо и сумеречно, по темным углам под кровлей ненавязчиво гудели комары. Очаг был разложен посреди двора, дымок наносило в избу через окно. Казаки побросали в сиротский угол ружья и кафтаны, сели на лавку. С парящим котлом в руке вошла Савина. Черноглазые ясырки из-за печки украдкой поглядывали на молодых казаков, тихо и смешливо переговаривались.

— Лесу мало! — обстоятельней заговорил Фирсов. — Каждое дерево, пока свалишь, обтешешь — день прошел. Вот и подумал: спрошу дядьку, если не разгневается, так мы его зимовье разберем, переплавим и там поставим…

— На что гневаться? — проворчал Похабов. — Мало ли топором махал?

— Спасибо на добром слове! Ты уж тогда сплыви со всеми животами к новому острожку, поживи там, покарауль, а мы скопом все разберем и перетаскаем.

Молодой пятидесятник начал строительство нового Балаганского острога не с бани, не с избы, а с проездной башни. Подгребая с другого берега, струг Похабова подошел к невысокому яру, над которым возвышалось новое строение. Мимо этих мест, между устьями притоков Уньги и Белой, он проходил много раз. Когда-то здесь были остатки старого промышленного зимовья, неизвестно кем и в какие времена поставленного.

Сувор с Горбуном с обидой и недовольством перетаскали пожитки хозяев к башне. Молчаливыми взглядами они укоряли хозяина за то, что их, дворовых, он отдал казакам в работные. Савина хлопотала возле струга, Похабов при сабле и пистоле с важностью осматривал башню, степенно отвечал на поклоны молодых енисейцев, многие из которых выросли на его глазах. Приятный ветерок обдувал берег, гнус здесь не злобствовал, как на Осиновом острове.

— Солнце еще высоко! — посоветовал он казакам. — Подкрепитесь и плывите обратно. Я сам тут со своими устроюсь и управлюсь.

— Девок на острове не осталось? — скалился молодой казак, весело поглядывая на ясырок.

— Не пяться, эти не для тебя! — вскрикнул Сувор, заносчиво оберегая хозяйское добро. Шрамы на его лице налились кровью, синие пороховые пятна на щеках делали похожим на татуированного тунгуса.

— Сибирские девки даром не любят! — посмеивался Похабов, поглядывая на молодых. — Их надо на саблю добыть или купить!

Казаки уплыли. Сын боярский с дворовыми устроился на ночлег в сторожевой башне. Савина с девками приготовила ужин, поставила тесто. Еще не зашло солнце, а все они утомились от дел и переезда, спать легли засветло, все рядом, как в юрте. Горбун сидел у стены возле мушкетов и длинноствольной крепостной пищали, лениво, напоказ, поглядывал в бойницу и в облом, вздыхал, кидая косые взгляды на хозяина, наконец решился заговорить:

— Всю зиму думаю, как жить, когда закончится кабала?

— Добрые мысли! — зевнув, поддержал его сын боярский. — Кабы прежде почаще думал, и кабалы бы на себя не дал.

— Оно, может быть, и лучше, что дал, — осмелев, чуть громче сказал Горбун. — Ты грозился нас на пашню посадить. Взял бы на себя землю, здесь или в Братском, отдал бы за меня ясырку и посадил нас пахать в вечное холопство, с потомством. С хорошим хозяином куда как легче, чем вольному.

Похабов презрительно хмыкнул в бороду.

— Мунгалка за меня пойдет! — самоуверенно заявил Горбун. — А что? Горб у меня мал. Можно сказать, нет горба, спина кривая. А кобель я — ого!

— Про пашню — дело надумал! — одобрил его Похабов, зевая и крестя бороду. — Получишь волю, проси у приказчика данную на землю. А девка не про тебя! — сказал, как отрезал.

— Да на кой она мне, воля? — обиженно вскрикнул Горбун. — То я не помирал от голода в гулящих-то.

— А что? Взять бы и нам землю да осесть? — смешливо взглянул Иван на Савину. — Работники есть, сами просятся.

— Только не здесь! — жалобно возразила она. — Ни кусточка, ни деревца, глазу остановиться не на чем. Лучше в Нижнем Братском или еще где.

Иван с благодарностью придвинулся, обнял Савину под одеялом. Она согласна была на все, лишь бы быть с ним.

— Куда уж нам, старым, пашню поднимать дом строить! — пробормотал и сонно пригрозил Горбуну: — Смотри у меня! Забрюхатишь девку — ятра оторву!

— То без меня некому брюхатить! — со слезой пискнул Горбун. — А мне бы подошла, я люблю веселых, нипочем не женюсь на злющей, хоть бы и на русской…

Прошел месяц июнь. Молодые казаки поставили острожную стену и две башни. Сын боярский с утра до вечера похаживал вокруг них, давал советы, заставлял дворовых рубить избу, чтобы не обленились. Так спокойно Иван не жил и на Осиновом острове, а лучше, чем там, не жил нигде. Но, бесовским промыслом да Божьим попущением, напала на него тоска, и едва Фирсов озаботился тем, что кончается ржаной припас, он вызвался сходить в Братский острог. Дмитрий опять несказанно обрадовался предложенной помощи, написал челобитную енисейскому воеводе, где жаловался на красноярцев, написал грамотку брату Арефе в Братский.

Утром Похабов усадил в струг Савину, ясырок и кабальных мужиков. Судно понесло течением. При деле сразу полегчало на душе старого сына боярского. С реки Иван не заметил возле Братского острога ни души. Но едва его струг причалил к берегу, сверху стал спускаться Арефа Фирсов. За ним семенил долговязый Распута, размахивал руками, что-то навязчиво доказывал казаку. Арефа горячился, то и дело останавливался, переходил на крик. Распута, пощипывая бороденку, глядел в сторону, кивал и снова в чем-то убеждал посаженного на приказ казака.

Так и встретили сына боярского служилый да пашенный. Не успел Иван вылезть из струга, непоседливый, как брат, Арефа кинулся к нему за судом:

— Дядька Иван, ты приказчиком в слободе служил, все знаешь! — стал рассказывать о споре с пашенным.

По наказу воеводы при Братском остроге ставили казенную мельницу. Арефа велел каждому пашенному приволочь по бревну, Распута не отказывался участвовать в строительстве, но доказывал, что тягло должно раскладываться по дворам, а не по людям.

— Дело не простое, — важно нахмурился Похабов и озадаченно почесал затылок. Ему хотелось отделаться от споривших. — Обычно тягло на двор кладут, с захребетников и подворников — берут подушные.

Распута угодливо заулыбался и развел руками, дескать, то и я говорю.

— Это по-божески? — вспылил Арефа. — Для них, для пашенных, нужна мельница, а казаки — надрывайся. Да и некому у нас строить.

— Почему для пашенных? — плутовато ухмылялся Распута.— Муку всем молоть надо. Служилые будут молоть бесплатно, а с нас и государю, и воеводе, и острогу — всем дай!

— У них на каждом ручье по малой мутовчатой мельнице и никто с них податей не платит! — пожаловался Арефа.

Вконец запутавшись в тяжбе, Иван важно пошевелил усами и бровями, строго поглядел на одного и другого. Распута почтительно согнулся в пояснице и осклабился. Но сын боярский хорошо знал, какое упорство скрыто за его внешней угодливостью. С недовольным видом он крякнул, хмыкнул и сказал:

— Возьми моих бездельников, пусть мельницу ставят!

— А кабальных истязать, это по-божески? — взревел Сувор, вылезая из струга.

— Отсидели уже зады! — проворчал Похабов. — Помогите добрым людям во славу Божью! — спор между пашенным и приказным решен не был, но утих. — Как там Огрызковы сыновья? Живы-здоровы? — спросил Распуту.

— Вчера видел! — ответил тот.

Иван передал Арефе грамоты брата и попросил:

— Дай мне коня, съезжу к ним. — И как только казак указал на спутанных лошадей, приказал Сувору, все еще пылавшему от негодования: — Федька! Пойди оседлай и приведи! После перетаскаешь добро в избу или в балаган.

За два с лишним года Первуха со Вторкой срубили пятистенок, огородили двор пряслами, подвели под крышу амбар. Конюшня, лабаз и баня уже требовали ремонта. Льгота кончалась, а братья жили промыслом, но не пашней. Оба они оказались дома, далеко по округе разносился перестук отбиваемых кос.

Племянники бросили работу. По-хозяйски ослабили подпругу коня. Вторка принес корытце овса, высыпал в кожаный мешок и надел его на конскую морду. Встрече с дядькой племянники обрадовались, но дичились его еще больше, чем прежде, следили за каждым своим словом, будто гость был из начальствующих. «Волчата, — подумал Иван, с тоской заглядывая в узкие глаза. — А то и волки уже!»

Солнце катилось на закат, жара к вечеру стала злей. Конь хрумкал овсом, тыкал мешком в землю, подергивал кожей на боках и хлестал себя хвостом, отбиваясь от гнуса.

— Что в избу не зовете? — пожурил племянников Иван.

— Грязно там! — буркнул Первуха. — Солнце скоро сядет и овод сгинет. У костра веселей!

— У костра так у костра! — согласился Иван, присаживаясь на землю. — Какая пашня без семьи? — окинул взглядом двор. — А я вам невест добыл! — сбил на ухо шапку.

Племянники уставились на него настороженными глазами, замерли, как хищники при виде добычи.

— Нерусские? — тихо спросил Вторка.

— Откуда взяться русским девкам в братской степи? — посмеялся Похабов. — То ли мунгальской, то ли даурской породы! Откуда-то из-за моря. Хорошие девки, веселые!

— Нам нерусских не надо! — разочарованно буркнул Первуха. — Таких сами добудем!

— Ты погляди-ка на них? — сын боярский раздраженно сбил шапку на лоб и обиженно замигал. — Да у моих девок носы длинней ваших! Дворовые слюнями истекли, поглядывая на них, в вечное холопство просятся.

— Господь не велел потомкам Иуды и Израиля мешаться с другими народами! — жестко объявил Вторка. — За тот грех потомство царя Соломона наказывал. Самсон женой-инородкой был предан врагам на поругание.

— Девки доброй волей крестились! — неуверенно пробормотал Иван, обидчиво усмехнулся: — Вам-то Иуда с Израилем с какого боку родня?

— Через Спасителя мы приняли крещение в их Господа Саваофа! — поддержал брата Первуха, показывая, что знает о вере больше, чем три раза окунуться в воду во имя Святой Троицы.

— Ну, думайте сами, как жить? — тоскливо развел руками Похабов. — Все хочу как лучше. Только никак не пойму…

— И не поймешь! — перебил его Вторка. — Ты так не жил, не был газаргуй*, ерэмэл**. Только здесь мы свои по Закону Божьему. — Возводя узкие зеленые глаза к

**Газаргуй — не имеющий земли (бур.).*

***Ерэмэл — пришелец (бур.).*

небу, перекрестил грудь: — Бог сказал: какой бы веры ни были мать или отец — дети святы.

Иван почувствовал, что задел племянников за то больное, о чем между собой они говорят много и часто.

— Наш дед был хороший человек! Под конец жизни он все понял! — стыдясь вспыльчивых слов брата, миролюбиво вспомнил старика Первуха. — Он сказал: «Человек без единокровного народа, без родной земли не человек, а бузар. Дерьмо!» Так оно и есть. Только мы тогда деда не понимали.

— Ну смотрите! Вам жить! — замигал выгоревшими ресницами сын боярский. — Надумаете вернуться на Байкал — посажу на вашу данную Горбуна с Сувором и девок за них отдам. Эх-эх! — добавил с укором. — Будто у меня или у вашего отца была своя земля? Еще деда оторвали от родных могил.

— Это другое! — нетерпеливо отмахнулся Вторка, вскочил и побежал к ручью за смородиновым листом.

Глядя ему вслед, Иван Похабов с тоской подумал: «Угрюмка вырос как дикая трава. Эти и того хуже». Поднялся, взглянул на закат. Последние лучи солнца золотили кроны сосен на гривах.

— Поеду! Успею еще в острог засветло.

В обычных хлопотах прошел день и другой. Иван переговорил с Савиной и решил до срока дать волю своим кабальным. Сувор с Горбуном захотели сесть на пашню при Братском остроге. Вспоминая разговор с племянниками, старый Похабов на легкой лодке переправился через реку, навестил монахов. Те благословили его помыслы,

перекрестили девок-ясырок по уставу, обвенчали их с Горбуном и Сувором, слезно умилялись, хвалили мужей и посаженого отца, поскольку сожительствовали с ясырками многие промышленные и казаки, но мало кто соглашался венчаться.

Вскоре был собран хлебный припас для Дмитрия Фирсова. Арефа дал в гужи двух коней и ушел бы Иван на другой день к новому острожку, но с Падуна прискакал казак и донес, что порог проходят отряды енисейцев пятидесятника Якова Похабова и московского дворянина Ерофея Заболоцкого с мунгальскими послами от русского царя. Арефа отправил к Падуну казаков и лошадей сколько смог собрать. Не усидел на месте и старый Похабов, оседлал коня и пустил его рысцой берегом, возле реки.

Помощь отрядам пришла вовремя. Измученные люди только прошли Падун, были мокры с головы до ног и сушились на солнце. Яков Похабов узнал подъезжавшего отца, поднялся навстречу. Он был в сухой одежде, одет не броско, но не бедно. По лицу сына не видно было, что утомлен переходом. По его приказу вскочили два босых полуголых казака, приняли повод и помогли сыну боярскому сойти с коня.

Якунька поклонился отцу на казачий манер. Тот обнял его, перекрестил, приметил, что рубаха на сыне льняная, чистая. «Женился! — подумал. — И жена при нем!» Он не ошибся. Яков поманил от дымокура молодую женщину с лицом, плотно обвязанным шелковым платком так, что видны были только голубые глаза. Молодуха смущенно поклонилась свекру в пояс, зарделась от его пристального взгляда.

— Чья такая? — крикнул ей на ухо старый Похабов, стараясь перекричать шум воды, и трижды поцеловал сноху в щеки, укрытые шелком.

— Томского сына боярского Петра Бунакова дочь! — звонким голосом ответил за жену Яков и добавил: — Нынче Илимский острог Енисейскому не кланяется — другое воеводство. Тесть служит там стряпчим при воеводе Оладьине.

— Слыхал! — одобрительно кивнул Иван. — Добрый был казак. — Усмехнулся, вспомнив распри с красноярцами. Выходило, что спорил на Осе со свояком. Не дай Бог, в недобрый час и повоевать придется с молодыми Бунаковыми. Новый Балаганский острог был красноярам поперек горла.

Похабов оглядел сушившихся людей, заметил лица стариков из первой стрелецкой сотни: Василия Черемнинова, Михея Шорина. Подергивая редкой бородой, шлепая босыми ногами по камням, Черемнинов подошел к Похабовым, присел рядом, кручинно свесив седеющую голову.

— Ладно Михейка, бессребреник, к пасынкам идет, ты-то чего опять в Братский? — весело крикнул ему Похабов. — Своя земля возле Енисейского, десяток ясырей в пашне, сыновья?

— Что с того, что земля? Служить не стану — отберут в государеву десятинную. Старая баба померла, сыны — ублюдки, говорят, служи, батя, пока не помрешь, а то нас податями замучат, — прошепелявил Василий на ухо товарищу.

Босой, полуодетый, но с саблей на боку из круга сушившихся казаков поднялся Федька Говорин, старый Похабов хохотнул, крикнул:

— Однако недолго тебя жаловал кабацкий голова?

— Кого там! — просипел Федька, присаживаясь. — Две недели погулять не дали. Воевода отправил в Краснояры с рожью. С тобой спокойней и веселей!

В отряде Якова шли разные люди на перемену братским годовальщикам и казакам Колесникова на Верхней Ангаре. Среди разношерстной толпы Похабов высмотрел простоволосого, высокого и кряжистого детину с мокрой сосулькой бороды, с мокрыми прядями волос по плечам. Когда тот натянул на голову черную скуфью, понял, что это белый поп. С попадьей и детьми он шел на службу в Братский острог, был на полголовы выше молодого Похабова и шире в плечах. По всей Ангаре и по Байкалу крупней и мощней этого попа был только Оська Гора.

— Ну и кулачищи у тебя, батюшка! — хохотнул Похабов, принимая благословение. — Такого попа нам и надо!

— Кабы не батюшка, еще неизвестно, отбились бы мы от шишей на устье Илима?! — одобрительно прокричал атаман. — Напал Якунька Сорокин с полусотней казаков, хотел мушкеты, зелейный и хлебный припас пограбить.

— Якунька всегда был умишком слаб! — удивленно покачал головой Иван. — Однако на тебя-то с чего напал?

Молодой атаман махнул рукой, дескать, потом, в другом месте все расскажу. Иван знаками велел своим казакам впрягать коней в струги и тянуть их гужом к острогу. Казаки и стрельцы стали надевать на себя непросохшую одежду, потянулись берегом налегке, поспешая за судами, плечо к плечу шагали отец с сыном. Как только стало возможным говорить без крика, Яков начал рассказывать:

— Ты не знаешь, что деется на Ангаре и на Лене? — покосился на сына боярского. — Хорошо живешь! Ерошка Хабаров своим подъемом собрал сотню охочих людей и три года назад ушел на Амур по Олекме.

— Слыхал! — кивнул Иван.

— Слыхал, да не все! — усмехнулся Яков. — Прошлый год, по жалобам якутских и амурских служилых его вернули за приставом с московским дворянином Зиновьевым. Сам был едва не в кандалах, но одет как царевич в шелка, сабля

каменьями разукрашена, аршинная шапка из черных соболей. И так складно брехал, что в Илимском и в Енисейском острогах толпы промышленных, гулящих и казаков на руках его носили, про Даурию выспрашивали, а он говорил: «Чего нищенствуете? Идите на Амур. Там богатство за человеком гоняется, а не человек за ним!» Пашков его вместе с Зиновьевым поскорей из Енисейского острога выпроводил, потому что заводилась смута от прелестных Ерошкиных сказок. — Лицо Якова напряглось и побагровело. Он опасливо оглянулся на шедших казаков. — В тот же год и побежали люди всяких чинов: в одиночку и ватагами. Сперва из Илимского и Якутского уездов, после из Енисейского. Старый стрелец Алешка Олень и пасынки твои, Емеля с Петрухой Савины там уже.

Прошлый год бежали казаки Проньки Кислого, а с ними шестьдесят служилых и пашенных, потом Васька Черкашин с полусотней. Служилые Давидки Егорова Кайгорода и Федьки Баранова тоже бежали, но их поймали и били. Илимский воевода послал в погоню за беглецами стрелецкого сотника Анциферова! — Яков опять зыркнул по сторонам и придвинулся к отцу: — А тот ушел в Дауры со всем отрядом. Знаешь хоть, — пытливо и недоверчиво взглянул в глаза отца, — что сорок служилых Верхоленского острога собрали круг, со знаменем и хоругвями самовольно ушли к Бекетову.

Иван Похабов в недоумении замотал головой, он этого не слышал, но, зная ум и осторожность Петра Ивановича, не поверил сказанному.

— Нынче по всей Лене смута, — с горячностью продолжал сын. — Михейка Сорокин ей главный заводчик, а с ним, по слухам, три сотни служилых, гулящих и пашенных. Грабят торговых, осадили Илимский, идут в Дауры, на дальнюю государеву службу.

А Якунька Сорокин шел из Енисейского с рожью впереди меня. На устье Илима его встретил брат Антипка и решили они моих людей сманить в Дауры, а припас отобрать. С помощью Божьей да со стрельцами Заболоцкого, — кивнул в сторону шедшего позади посольского отряда, — отбились, но среди наших казаков смута! — Якунька повел глазами по сторонам. — Пока со стрельцами, держу всех в страхе! — сжал кулак. — Батюшка помогает! Дай ему Бог! — размашисто перекрестился. — Печенкой чую, терпят пока, думают, ты нас, атаман, на Витим выведи… А дальше и сами уйдем!

Иван крякнул, запустив пятерню в седую бороду:

— Вот те и кумовья Сорокины! Тридцать лет в одних службах… Седина в бороду — бес в ребро! Не утешились старики. Понимаю! Всех нас Сибирь манила волей, а захомутала службой… Ну, Михейка! Долго терпел. — И встрепенулся с усмешкой, взглянул на сына: — А ведь нынче Афонька Пашков про меня никак не мог не вспомнить?

— Есть и тебе от него грамота, и Митьке Фирсову!

Старый Похабов снова покачал головой, всколыхнулось в душе что-то давнее, несбывшееся, забытое, что до конца не было вытравлено ни ласками Савины, ни посольством в Мунгалы. Вспоминались смутные мечтания молодости о вольной земле, о подвиге и свободной жизни, которая не сложилась. Судьба сполна одарила его высоким чином и должностью, какие в молодые годы на ум не приходили, дала сына, добрую, любимую женщину, каких не был достоин по грехам своим, недодала самую малость, ради которой взбунтовался Михейка Сорокин.

— Ну, Михейка! — снова пробормотал он.

— Я зачем все так подробно рассказываю? — с обидой в голосе пробурчал сын. — Афанасий Филиппович возвращает тебе казачье головство, а мне велел во всем тебе прямить, пока не уйду за Байкал. Над всеми людьми и острогами по эту сторону — ты снова голова. Думай, как искоренить смуту.

— Буду думать! — равнодушно ответил сыну старый Похабов и сбил на ухо шапку: — Раз уж снова поставлен, надо сходить к московским стрельцам, — оглянулся на посольский струг.

Дворянин по московскому списку и московские стрельцы шли берегом. Два важных посла сидели в струге с царскими подарками. Еще двое стояли на корме и на носу, ловко орудуя шестами. Спотыкаясь на окатыше, острожный конь тянул их судно против течения реки.

— Так это же мои послы? — удивленно взглянул на сына старый Похабов. — Те, которых я в Москву возил от царевича Цицана!

— Твои! — смешливо кивнул Яков. — Возвращаются на родину с почетным караулом.

— Долго, однако, гостили у царя!

Арефа Фирсов, оставленный братом на приказе, и прежде предлагал Ивану Похабову занять в остроге избу приказчика, теперь, получив наказную память воеводы, велел казакам перетаскать туда пожитки казачьего головы, а тот, оказывая

почести царским послам, поселил их в своей избе вместе с Ерофеем Заболоцким. На другой день посольский отряд ушел к Балаганскому острогу, послы спешили в родные края. В съезжей избе собрались лучшие люди, казачья старшинка и прибывший поп. Атаман Яков Похабов прочитал вслух наказные грамоты воеводы, все почтительно слушали его, слушал и казачий голова, раздумывая о своем.

«А самому казачьему голове во всем радеть пользе и прибыли государевой, сменять и сажать приказных, смотреть накрепко, чтобы служилые и промышленные люди зерни и карт не держали и русским бы промышленным по зимовьям и иноземцам грабежа и насильств, и утеснений не чинили. А будет кто табак при себе держать, того бить нещадно батогами… А промышленных и торговых людей, самовольно являющихся в братские улусы и тунгусские угодья, гнать и наказывать, праздно шатающихся гулящих людей к делу принуждать…»

Казачий голова хмурил бровь: стояла перед его глазами мстительная ухмылка Афанасия Пашкова, не вязавшаяся с разумными наказами.

— Ну и ладно! — нетерпеливо поторопил сына. — Рыба стынет, — кивнул на разваленного осетра, уставившего длинный нос в красный угол.

— Во славу Божью! — зычно пророкотал поп и перекрестил чарку.

Прибывшие не успели выпить за здоровье друг друга, как за дверью возле крыльца съезжей избы раздался пьяный вопль:

— Похаба, выйди! Что спрошу?

— И кто это так непочтительно? — рассерженно вскинул голову атаман Яков.

— Федька Сувор, бывший мой кабальный, — смущенно пробормотал Иван. — Уже пьян, стервец!

— Пошли казаков! — строго приказал Яков. — Пусть дадут батогов!

Иван молча поднялся из-за стола, сутуля широкие плечи под низким потолком, вышел за дверь. За ним сорвался сын. Два подначальных ему десятника, дожевывая на ходу, послушно двинулись за атаманом. Иван выпрямился на крыльце, расправил плечи, широко расставил ноги, загородив вход в сени. Возле крыльца стоял Федька Сувор, его изувеченное лицо в растрепанной рыжей гриве волос пылало от пьяного разгульного негодования.

— Чего тебе? — громко спросил Иван бывшего дворового и осмотрелся по сторонам. Горбун выглядывал из-за амбара, плутовато щурился и смеялся над пьяным Сувором

Федька, сильно качнувшись, в пику бывшему хозяину тоже уперся руками в бока, с важностью объявил:

— Люди сказывают, коли посадил нас на землю, должен дать завод на пятнадцать рублей каждому!

— Подь сюда! — поманил его Иван. — Дам!

Федька доверчиво шагнул за посулом. Старый Похабов коротким ударом звезданул его прямо в пылавший лоб. Сувор неловко взмахнул руками и осел на землю, мотая головой с бешеными глазами. Очухавшись, выхватил засапожный нож, с ревом ринулся на сына боярского. Иван схватил метлу на крепком березовом черенке, провернул ее как саблю, выбил из неверных рук засапожник и стал охаживать Федьку помелом. Выскочившие во двор казаки заломили руки пьяному буяну. Яков пристально, с упреком глядел на отца. Казачий голова, не поднимая глаз, сердито бросил метлу и поправил растрепавшиеся по плечам волосы.

— Дурак! — плюнул в сторону скрученного Федьки.

— За такую дурость по закону, нашим мудрым государем данным, надобно вешать на суку, чтобы другим неповадно было! — громко объявил Яков всем сбежавшимся на шум и тихо укорил отца: — А не бесчестить свои седины дракой!

— Дурак он и есть дурак! — неприязненно отмахнулся Иван. — Ты его хоть за ятры подвесь — не поумнеет. Вон заводчик! — указал на Горбуна, прятавшегося за стеной амбара.

— Взять его! — приказал атаман Яков.

Казаки схватили Горбуна под руки, бросили в ноги молодому атаману.

— Другим в науку! — строго изрек тот. — Пьяного, как протрезвеет, бить кнутом, а подстрекателя повесить!

— Невинен, батюшка! — взвыл Горбун, царапая землю. — Не губи, Христа ради! — вскочил на трясущиеся ноги. Из штанины потекло.

Казаки захохотали, усмехнулся и молодой атаман. Горбун, уловив перемену в его настроении, снова упал на четвереньки, завертелся чертом, выстукивая лбом о землю на все четыре стороны. Сувор со скрученными руками как зверь вращал окровавленными глазами и поносно орал:

— Биты уже! Казнить смертью только государь может, не вы: или забивай кнутом до смерти,
или давай пятнадцать рублев!

Яков тряхнув плетью, двинулся грудью на буянившего.

— Со своими дворовыми сам разберусь! — осадил сына казачий голова и приказал казакам: — Обоих в казенку!

Врубленная в стену тюрьма была набита скарбом прибывшего отряда. Дворовых пришлось посадить на цепь в аманатской избе. После утренних молитв, до завтрака, казачий голова посочувствовал смутьянам, пошел взглянуть на них. Распахнул подпертую дверь, Горбун и Сувор сидели на нарах с печальными лицами.

— Протрезвели? — строго спросил Похабов, постукивая батожком по голяшке сапога. — Сказывайте, что вчера бунтовали?

— Не пил, не буянил! — завыл Горбун, потряхивая цепью. — Почто страдаю?

Федька воротил набок опухшее лицо, под его глазами вздулись и расплылись синяки.

— Ничего не помню! Пьяный был! — прошепелявил ссохшимися губами.

— Что я тебе задолжал? — строже спросил казачий голова и резче застучал батогом по голяшке.

— Это я у тебя в кабальных должниках! — шмыгнул носом Сувор. — Чего уж там!

— А чего орал?

— Говорю же, пьяный был! Кого спрашиваешь?

— Отпусти этого! — указал казаку на Сувора.

Ушлые глаза Горбуна забегали, руки затряслись, он завопил так, что казак, снимавший цепь с Сувора, поморщился от звона в ушах.

— Федька свое получил! — потянул за цепь Похабов, выволок упиравшегося Горбуна из аманатской избы, несколько раз вытянул вдоль спины батогом. — Сказано, лучше бы не родиться тому, через кого приходит соблазн. В другой раз станешь кого подстрекать — удавлю! — Бросил цепь, приказал казаку: — Отпусти!

Поднималось солнце, с реки веяло свежестью и прохладой. Прибитые утренним холодком, сонно погуживали комары. Яков сидел на крыльце приказной избы в накинутом на плечи кафтане, снисходительно посмеивался, наблюдая, как отец творит расправу.

— Палача не завели! — буркнул ему Иван и бросил батожок под крыльцо.

— Когда уходим, голова? — спросил Яков, показывая, что эти дела его не касаются.

— Как отдохнут твои люди, так и пойдем!

— Тогда сегодня пусть отдыхают! Завтра будем грузить струги!

— Завтра так завтра, — согласился Иван и добавил: — Коли молодой жены не жаль.

— Пусть привыкает! — жестко ответил Яков.

Сверх своего хлебного оклада казаки атамана Якова везли двести пудов ржи для атамана Колесникова, за Байкал. Пороги были ими пройдены, до Верхнего острога казачий голова дал в гужи по коню на струг. Облегчение было явным, и пока никто из бурлаков не роптал на чужой груз. Прибывший с отрядом белый поп зычным голосом отслужил молебен об отплытии, окропил святой водой суда и людей. Атаман Яков махнул рукой ертаулам, и первый струг двинулся против течения реки. За последним судном с рожью для строителей Балаганского острога шли Иван Похабов с Савиной.

За время отсутствия головы казаки Дмитрия Фирсова собрали избу. По недостатку леса частокол был поставлен только местами и всего в полторы сажени. Оглядывая строение, старый Похабов проворчал:

— Равнина! Без надолбов никак нельзя! — Он понимал, каких трудов стоило казакам Фирсова доставить сюда лес. — Ладно уж, дойдут руки, поставим! — скупо похвалил строителей, велел отряду Якова париться в бане и отдыхать, сам стал выспрашивать у Фирсова, какие суда и люди проходили мимо острога. Надзор за воровскими ватажками был возложен на него, а время для них было самым подходящим.

Казаки Якова и строители Фирсова не раз видели русские струги, шедшие вверх по реке, но за занятостью не могли гоняться за ними. У казачьего головы не было надежды, что дозорные, оставленные им на Иркуте, смогут остановить множество людей, уходивших вверх по Ангаре и, скорей всего, за море. Надо было укреплять зимовье на Дьячьем острове и острожек на байкальском култуке. Иван Похабов дал наставления казакам Фирсова и с отрядом Якова двинулся дальше. Он беспокоился и спешил. В зимовье на Дьячьем острове было оставлено только трое служилых, среди них молодой Никитка Фирсов. Иеромонах Герасим со своими вкладчиками защитить их не мог.

Не зря дурные предчувствия томили в пути старого Похабова. Едва сводный отряд дошел до скита, вместо молебна и благословения казаки были ошеломлены известием, что зимовье на Дьячьем острове занято людьми русской породы, невесть откуда прибывшими. Старцев они не почитали, подарков и поклонов черному попу с его вкладчиками не давали, но с иконы Богородицы, подаренной сибирским архиепископом, тайком отколупали драгоценные камни.

— Грех-то какой? — крестился Герасим, оглядывая енисейцев.

— Казаки хоть живы? — стал пытать его и вкладчиков Иван.

— Ничего не знаем! — винились они. — Давно никого не видели. А пришлых бродников было не меньше тридцати.

Вечерело. На повороте реки в лучах заходящего солнца кроваво багровел стрежень. Дойти засветло до устья Иркута отряд не успевал. Иван велел всем стругам переправиться на другой берег и разбить табор. Как только енисейцы и московские стрельцы с послами переплыли реку, сделались сумерки. Старым казакам здешние места были знакомы, и они предлагали напасть на зимовье ночью.

— Что там за люди — мы знаем только со слов скитников! — разумно воспротивился им Яков. — Среди ночи ненароком можем побить своих. Надо дождаться утра и узнать все явно.

Как ни торопился казачий голова, как ни беспокоился за оставленных годовальщиков, но вынужден был согласиться с сыном и велел ночевать на берегу. Чуток старческий сон. Едва поблекло звездное небо перед рассветом, он поднял верного десятника Дружинку Андреева с проворным молодым казаком, отправил их на остров с наказом: в ссоры не вступать, все высмотреть тайно и вернуться. Они вернулись на стан с утренней зарей. У молодого казака борода висела сопревшей апрельской сосулькой, волосы были мокрыми. Дружинка доложил, что в сумерках осторожно подошли к Иркуту против острова, сколько ни прислушивались, не услышали ни звука, не учуяли дыма. Тогда старый десятник велел молодому переплыть протоку. Тот поплыл нагишом. Остров не обходил, уж больно лютовали на рассвете комары, но в зимовье, в баню заглянул и не нашел там ни души. а зола в очаге была теплой. То ли все ушли, завидев казаков, то ли где-то спрятались.

Выслушав их, старый Похабов взглянул на сына.

— Идти надо! — сказал тот.

Остров был пуст, лабаз и изба обобраны дочиста, из железа в зимовье не осталось ни гвоздя, ни крючка.

— В Дауры побежали! — добродушно посмеивались казаки, осматривая остров.

Судя по следам, здешние беглецы еще вечером заметили отряд и ушли вверх по Иркуту. — Да их с полсотни! — с восторгом разглядывали вытоптанный берег.

В избу идти никому не хотелось. Задымила баня, далеко по реке стали разноситься голоса служилых. Савина хлопотала о выпечке хлеба, привычно обживала знакомый остров. За ней послушно ходила невестка, помогала как могла.

Отец и сын Похабовы сидели возле дымокура, Яков помахивал у лица веткой.

— Ладно! — озабоченно рассуждал Иван. — Петруха Тальнин и березовский казак бежали с ватагой, но Никитка-то Фирсов, сотников сын?

— Что сын? — лениво возражал Яков. — Илимский сотник бежал! Ты глянь-ка на морды моих казаков, — кивнул за плечо и криво усмехнулся. — Послушай, что говорят. Дай волю — сами побегут!.. Дураки! — пришлепнул овода на щеке. — Брешут да смущаются слухами!

— Почем знаешь, что брешут? — пытливо взглянул на сына старый Похабов.

— То я на Витиме не был, то я про Дауры не слыхал, — зло хмыкнул Яков. — Промышленные давно выведали, что в тех местах китайские товары дешевы и соболь хорош, только люди Хабарова там беспрестанно воюют и голодают. С ним, с Ерофеем, в Москву отправили не только даурских мужиков и баб, но и Коську Москвитина с жалобами на Хабарова. Коська доносил, что хабаровское войско разделилось на два полка, воевали они между собой, голодали, а Хабаров велел по своим из пушек стрелять.

Мы хоть за государево жалованье служим! — строго взглянул на отца. — А они, — кивнул в верховья Иркута, куда ушла ватага, — за пустые посулы!

— Умен! — одобрительно покачал головой Иван. — Среди моей родни таких не было. В мать, однако! — Нечаянно вспомнил Меченку и спросил сына: — Она не так далеко отсюда, хочешь проведать?

— Как прикажешь! — буркнул молодой атаман. — Ты — голова, не я!

— Вот ведь как все обернулось! — тихо и задумчиво вздохнул Иван, опуская глаза. — Иные казаки били жен за всякое дурное слово, детей драли в науку. А те нынче и матерей любят, и отцов почитают.

— То я тебя не почитаю! — смутился Яков, бросив на отца быстрый взгляд. — Мать сама себе судьбу выбрала: то в монахини собиралась, то с молодым слюбилась. И зачем мне возле нее срамиться? Состарится — не брошу, а ее полюбовного молодца знать не хочу.

— Да! — буркнул отец и стал тихо оправдываться, уловив в словах сына намек на вину, от которой не отнекивался. — Жалел я ее, и сейчас жалею, хоть стоит поперек моей жизни, как камнебой поперек реки. Бывало, постегаю слегка, а душа болит, — снова вздохнул. — Так вот все обернулось… А зимовье надо укреплять! — суетливо спохватился, раздосадованный нечаянным откровением. — Без этого теперь нельзя! Коли побежали толпами по Иркуту — все сметут на пути и скит не пощадят.

А будет здесь острог и другой на Байкале — можно удержать.

— Изба сопрела! — поддержал отца Яков.

— Давно ли перебирал? — обернулся к зимовью старый Похабов. — Правда, наспех, из сырого леса, лишь бы перезимовать.

— За беглыми погоню пошлем? — спросил Яков.

— Не догонят! — сердито мотнул головой Иван. — Только утомятся.

Яков поддакнул отцу:

— Не угнаться!.. Но я схожу к Яндохе, узнаю, кто и когда проходил по реке.

На другой день караульные заметили малый стружок, плывущий с Байкала. По наказу атамана казаки спустились на лодке к устью Иркута, спрятались под нависшим над водой тальником. Струг все ближе подгребал к ним, к левому берегу, здесь и наткнулся на караульных.

— Да это же Ивашка, старший Перфильев сын! — вскрикнул Дружинка. В стружке было двое гребцов, на дне, на залатанном парусе, лежал на спине казак и косил глазами на енисейцев.

— Слава Богу! — бросив весло, размашисто перекрестился Иван Перфильев. На красном, обожженном солнцем лице лохмотьями висела сухая кожа, глаза из-под собольей шапки светились синими камушками. — С кем пришли? — спросил десятника.

— С Похабовыми, — ответил тот. — Ваське Колесникову хлеб и перемена!

— Вон что! — Ивашка поскоблил облупившуюся кожу на щеке. — А нас Бекетов за помощью послал. Оголодали мы, заплутали. — Кивнул на лежавшего казака: — Его тунгусы ранили, пограбить нас хотели.

Увидев два судна, поднимавшихся Иркутом, на берег острова стали выходить отдыхавшие казаки, узнали енисейцев, весело вытянули их лодку с людьми на песок. Раздвигая столпившихся людей, к ней подошли Похабовы. Ивашка по-родственному откланялся крестному, обнял атамана. Служилые осмотрели раненого казака, стали менять ему повязку из листьев. Голова и атаман повели молодого Перфильева для разговора. Из распахнутых дверей бани клубился дым, кисло и сытно пахло опарой, которую Савина выставила на солнце. Ивашка Перфильев повел носом, сглотнул слюну и пожаловался:

— Со второй Святой недели мукой толченую рыбу приправляли. Тем и живы.

— Садись, рассказывай, пока каша подходит! — кивнул на изрубленный пень казачий голова. Вокруг них рассаживались старые казаки.

Ивашка Перфильев пожаловался:

— Колесниковские люди указали нам путь на Иргень-озеро ложно…

— А мы что говорили! — возмущенно затряс бородой Дружинка. — Дальше Табуная они не ходили!

Старый Похабов нетерпеливо махнул рукой, чтобы десятник помолчал, Перфильев продолжил:

— Петр Иванович с людьми ставил острог в баргузинском култуке, меня послал к озеру, а со мной колесниковских вожей, которые хвалились, что знают путь. И завели они нас невесть куда. Только летом, чуть живы, выбрались к Бекетову ни с чем, а у него зимой казаки и охочие оголодали, верхоленцы взбунтовались, хотели уйти в Дауры к Онуфрию Степанову.

— Постой! — взмахом руки остановил крестника Иван. — Откуда у вас верхоленцы?

— Самовольно присоединились в этих самых местах, — неохотно ответил Ивашка. — Отряд в четыре десятка — больше нашего. Мы решили их принять ради дальних государевых служб. И помощь, и польза явная…

Яков Похабов обвел собравшихся казаков строгим, торжествующим взглядом:

— Енисейский воевода получил от Курбата Иванова челобитную с жалобой, что бекетовские казаки еще прошлой зимой присылали верхоленцам подговорную грамоту, звали на службу в Дауры и подстрекали к бунту!

— Я этого не знаю! — равнодушно пожал плечами Ивашка. — Пришли да пришли, попросились к нам, мы сообща им не отказали. Про бунт не допытывались.

— Расскажи им про медовую жизнь в Даурах! — Яков снова окинул взглядом своих казаков, ловивших каждое слово молодого Перфильева.

— Сам там не был! — опять уклончиво пожал плечами Ивашка. — Со слов только знаю.

— Все равно расскажи! — приказал Яков и пронзительно свистнул, созывая всех своих людей.

— Ешьте, милые! — подошла Савина с котлом парящей каши и щедро полила ее конопляным маслом.

Казак, спутник Перфильева, дернулся с места.

— Сиди, милый, ешь во славу Божью! — остановила его Савина. — Раненому уже унесла молодая! — кивнула на Якова.

На призыв атамана со всех сторон острова сходились казаки, занятые кто рыбной

ловлей, кто починкой одежды и оружия.

— Слушайте! — громко приказывал Яков. — У казачьего головы Бекетова казаки бунтовали…

— Не бунтовали! — осторожно поправил атамана Иван Перфильев. — От голода роптали… Против Петра Ивановича никто дурного слова не сказал.

— Все равно бунтовали! — упрямо тряхнул головой Яков. — Не против головы, так против наказной памяти… — Победно поглядывая на всех и посмеиваясь, объявил: — Коська Москвитин против Хабарова говорил, голодали непрестанно, а где на Амуре много хлеба, там сотнями и тысячами нападают служилые китайского царя Богды, все с ружьями и с пушками, а иные ружья у них о четырех стволах… Скажи им, — снова резко обернулся к молодому Перфильеву, — чтобы смут не заводили по прелестным сказкам!

Ивашка Перфильев, обжигаясь, мотал головой, шепелявил ртом, набитым горячей кашей, торопливо оправдывался:

— О Даурах ничего не знаю… Завели меня колесниковские вожи в безлюдные горы, еле выбрался. А как выбрался, так Бекетов послал к вам, просить ваших вожей и видальцев.

Дружинка выругался:

— Уж лучше воевать, чем терпеть обиды в посольстве! — Служилый первой енисейской стрелецкой сотни понимал, что ему и Сеньке Новикову придется плыть к Бекетову.

Солнце покатилось на закат, устало огрызались поперечные казаки, не желая верить бекетовцам. Атаман Яков спорил с ними и осмеивал прелестные сказки, невесть кем придуманные. К толпе подошел Сенька Новиков.

— Голова, благослови баню! — протянул Ивану Похабову березовый веник.

Казачий голова отказался от чести и ушел к реке в тень додумывать свои мысли. Сенька неуверенно протянул веник Якову:

— Благословишь, атаман?

— Ты старше! — отшутился тот. — Мне в пекло рано!

Казак потряс веником и пошел к бане снять первый пар, за ним потянулись другие. Яков вкрадчивым кошачьим шагом двинулся за отцом, сел рядом с ним. Иван сказал, не оборачивая головы:

— Нельзя бросать Петра в нужде! Уж если он просит помощи, то его людям горче горького!

— Нельзя! — согласился Яков. — Но против воеводы и его наказной памяти тоже не попрешь! Неизвестно еще, что ертаулы скажут, — кивнул в верховья Иркута, куда были отправлены его люди не в погоню за воровской ватагой, а к верному князцу Яндохе, чтобы узнать, кто и куда шел.

— А что они скажут? — крякнул запершившим горлом казачий голова. — Петру легче не станет! — Взглянул на сына с укором и добавил: — Васька Колесников не пропадет! — Сгреб со щеки горсть ослабевших в тени оводов, бросил их в воду. — Ваську в дверь не пустишь, он в окно залезет, за стол не посадишь — из печи свое возьмет…

Ертаулы вернулись на другой день и привели отощавшего иркутного годовальщика Никитку Фирсова. Старый Похабов облегченно перекрестился, больше других он беспокоился за сына первого енисейского сотника, который родился после гибели отца.

— Вот! — вместо приветствия казак показал голове запястья рук, вспухшие и истертые. — На цепи вели!

Под глазом Никитки темнел синяк, но опухоли уже не было.

— Беглых не догнали! — доложил ертаул. — А этот шел нам навстречу. Яндоху с людьми беглые не грабили…

— Хотели пограбить, да Яндоха — не дурак! — поправил ертаула Никитка. — Увидел на мне цепь и велел своим мужикам отбиваться дубинами. А меня беглые хотели утопить, но только побили и отпустили!

— А Петруха с Березовским?

— Ушли в Дауры! — стыдливо отвел глаза молодой казак. — Противились… Может, для виду.

— Крапивное семя! — выругался Иван. — Проведут ведь воров мимо моего острога. А чего это они по Иркуту пошли? Бекетова на Селенге боятся?

— Где-то там, на Байкале, тайная тропа через горы на Чикой-реку! — неуверенно ответил Никитка. — Среди беглых будто есть бывальцы, которые по ней ходили в реку Амур.

Всю ночь Иван Похабов бессонно ворочался под стругом, с горечью думал о старом товарище Бекетове и о том, что никто из казаков не осудил беглых. Только когда стала редеть темень, он забылся недолгим, но глубоким сном. Утром после молитв и завтрака Иван велел сыну следовать за ним на низ острова. Оставшись вдвоем, сказал строго, как о решенном:

— Нельзя Петра оставить в нужде!

— Ты — голова! Приказывай! — вяло возразил Яков.

— Перед воеводами как-нибудь оправдаемся! Перед Господом — ума не хватит! — отец сбил шапку на ухо и приказным тоном объявил: — Я с десятком казаков останусь здесь, укреплю зимовье, обнесу тыном. Ты со своими по моему указу возьмешь Дружинку с Сенькой и пойдешь со всем хлебным припасом к Бекетову. Перед воеводой я сам отвечу!

— Как скажешь! — пожал плечами Яков, принужденно зевнул, попинал носком сапога песок. — Но я отправлю воеводе жалобную грамоту, что ты меня принудил против наказной памяти идти к Бекетову, а не к Колесникову.

— Отправь! — согласился отец и взглянул на сына сузившимися глазами.

— Мы люди служилые! — чуть смутился, но не опустил глаз Яков. — Мы Господу через старших по чину служим!

— Пиши, чего уж там! — мягче согласился Иван. — Хоть я от своих слов никогда не отказывался, да и в свидетелях все казаки. Смотри только, не осудят ли? Тебе с ними службы нести, жить и умирать заодно!

— Мы — служилые! — упрямо отвернулся Яков. — Не все казачьи обычаи — нам указ!

Иван со вздохом пожал плечами:

— Собирай круг! — приказал и двинулся к зимовью. — Говорить будем!

Зашумел остров, засуетились, забегали люди, вышли караульные с мушкетами, рыбаки с мокрым бреднем. Поклонившись на четыре стороны, казачий голова объявил, что казаки Петра Бекетова терпят нужду за морем.

— И решил я, Иван Похабов, послать к нему на помощь сорок казаков с их хлебным окладом и двести пудов ржи, что послана воеводой Колесникову. А перед воеводой ответ за мой наказ держать мне, казачьему голове.

На другое утро Иван Перфильев с вестовыми казаками собрался плыть по наказу Бекетова и с его отписками в Енисейский острог, рн брался передать и грамотку молодого Похабова. Но прежде того Яков подал ее отцу:

— Почитай! Отписал я воеводе, что иду к Бекетову по
принуждению!

Иван только посмеялся и, не читая, передал грамоту Перфильеву:

— Уж я-то против сына зла не сделаю! Один раз погрешил подозрением — всю жизнь расплачиваюсь.

К полудню казаки атамана Якова, старый стрелец Дружинка Андреев и казак Сенька Новиков двинулись бечевником к истоку Ангары, к Байкалу. С ними ушли московские стрельцы и послы царевича. Иван Перфильев с товарищами поплыл вниз по реке. Старый Похабов оставил на острове четверых казаков перебирать зимовье, остальных с хлебными окладами послал на перемену годовальщикам Култукского острога, а сам переправился на другой берег к скитникам. Пониже прежней кельи Герасима и могилы Михея Омуля, у поворота реки они поставили избу, наполовину врытую в яр. Возле нее — срубили часовенку. Ни тына, ни караульных в скиту не было. Иван тихо вошел в часовню, там тесно молилось с десяток калек.

Таежная жизнь старит быстро. Не так уж много старше Герасима были его вкладчики, но выглядели совсем ветхими. Литургия закончилась, скитники, лобызая икону Богородицы и Честной Крест, расходились. Герасим вышел последним, подпер дверь батожком, повел Ивана в келью.

— Ну вот, батюшка! — говорил на ходу казачий голова. — Хотят или не хотят наши воеводы с московскими дьяками, а острог здесь ставить придется: воровские ватаги торный путь проложили.

— Вот ведь грех-то какой! — суетливо всхлипывал монах. — Жемчуга с лика Богородицы содрали! Не на острове острог надо ставить — здесь. И не острог, а город. — Монах вдруг замер на месте, затих на полуслове, к чему-то прислушиваясь. — Колокола звонят все громче, все явственней! — прошептал, пристально глядя на Ивана.

Похабов натянул глубже шапку и досадливо проворчал, обернувшись к часовенке:

— Так нет еще церквей!

— Будут! — невозмутимо ответил монах. — Во имя Спаса Господня! Разрядный поп в ту церковь уже рукоположен. Значит, скоро…

— Благословишь ли острожек на острове? — вкрадчиво спросил казачий голова.

— Благословлю! — со вздохом согласился монах.

Казаки под началом Ивана Похабова в три недели поставили тын, перебрали старую избу, срубили съезжую, подновили лабаз и поставили государев амбар. Теперь на острове при нужде можно было отсидеться в осаде.

На этот раз казачий голова оставил на устье Иркута пятерых годовальщиков, дождался перемены и ясака из Култукского острога. Как он и опасался, воровская ватага не только не прошла тайком мимо острожка на Байкале, но пыталась осадить его. Получив отпор, беглецы кинулись на подворье государева пашенного и слегка пограбили:

отобрали бочонок вина, два мешка ржи, увели двух бычков и сманили ясырей. Большего вреда они причинить не успели: култукские казаки отбили двор пашенного.

Дела в верховьях Ангары были закончены, Похабов стал собираться к Дмитрию Фирсову.

— Где будем зимовать? — допытывалась Савина, глядя на Ивана виноватыми глазами, оправдывалась: — Стара уже, устаю жить по балаганам да под стругом, кости болят.

— В новом Балаганском острожке, даст Бог, зазимуем! — хмурил повинные глаза Иван Похабов. — Митька горяч не в меру, без меня может мир с балаганцами порушить. С красноярами того хуже…

Тихонько постанывала, тайком вздыхала Савина:

— Опять в сырой избе жить! Дрова далеко.

— Не заморожу! — отшучивался Иван, а на душе было тягостно, и предложил, отводя глаза: — Может быть, тебя в Енисейский отправить? На другой год, поди, пришлют замену, вернусь.

— Нет! — решительно ответила Савина. — Без того чуть ли не всю жизнь прождала.

—

Не пожалел сил Дмитрий Фирсов, на голом месте срубил острожек, ладный, как пасхальное яичко: две башенки, две избы и амбар. Вместо рва, отрыть который не хватило сил, и надолбов, на которые не хватило леса, поставил прясла, как на поскотине, чтобы всадники не могли беспрепятственно подъезжать к самому тыну. Он и встретил вернувшегося с верховий реки Ивана Похабова с Савиной, провел их в сырую избу, где сильно пахло смолой и глиной. Посередине ее из речных камней была сложена печь.

После бани за соборным столом молодой пятидесятник смущенно признался казачьему голове:

— Я краснояров повоевал!

— Как это? — вскинулся Иван. — Опять напали?

— На меня не нападали! — уклончиво ответил Фирсов. — Приехали наши, братские мужики, донесли, что краснояры требуют с них ясак на себя, а они за этот год уже дали нам больше прежних лет. Я собрал казаков и с братскими же мужиками гонялся за ворами. Они заперлись в своем острожке, смеялись над нами… — Дмитрий, свесив повинную голову, глубоко вздохнул: — А тут, как на грех, Арефа из Братского послал служилых с рожью. Подмога… День держали краснояров в осаде, с полпуда пороху сожгли, выломали ворота и взяли их. Двоих ранили, но легко.

— И где они теперь? — строго спросил Похабов, прикидывая, как может обернуться эта война для него и для Митьки.

— Отпустил с Богом! — покаянно завздыхал Фирсов. — Ни ружей, ни рухляди у них не брал. Весь живот с собой взяли.

Похабов озадаченно крякнул, почесал затылок, не зная, что сказать, ошалело водил глазами по углам.

— Вот те крест, дядька Иван! — слезно воскликнул Дмитрий. — За свой грех сам отвечу, худого про тебя никому не скажу.

— Что уж теперь?! — хрипло буркнул Похабов, молча налил полную чарку крепкого вина, влил его в бороду, вытер усы ладонью, посидел с выпученными глазами, прислушиваясь, как, обжигая нутро, катится оно по брюху. Вспоминая наказ Петра Бекетова, просипел:

— Кабы все это не обернулось войной с балаганцами!

— Я ж за них воевал! — слезно воскликнул Фирсов и поправился: — Сил не было терпеть…

— Еще с хрипуновских времен, лет уж двадцать, больше, наши с красноярами жаловались друг на друга в Москву. А ты, выходит, разом все решил. Удалец-молодец! Отец твой был осторожней. Уж и не знаю, чем это обернется, как аукнется, — добавил, мягче взглянув на молодого приказчика. Вскоре Дмитрий Фирсов сдал острог и поплыл в Нижний Братский.

Осень вызолотила береговой кустарник и степь, октябрьские ветра оборвали иссохший лист, намерзли забереги, над черной рекой закурился туман. Иван Похабов в Балаганском острожке по утрам оглядывал Ангару, вместо сала и льда, которых ждал со дня на день, увидел на другом берегу едва приметное мельтешение. Сначала он принял его за братские стада, погоняемые всадниками. Окликнул из избы старого ленивого казака, тот неохотно поднялся на башню, долго вглядывался в даль.

— Воинские люди! — прошамкал, дожевывая утренний хлеб и стряхивая крошки с бороды. — Далеко-то я хорошо вижу, это под носом все расплывается.

Вскоре и сам Похабов разглядел, что на берег высыпало с полсотни братских всадников с луками и колчанами за спинами.

— Будто нас зовут?! — пристальней всматривался за реку, бормотал в бороду: — И чего им надо? Краснояры ушли, зимовье на Осиновом срыли. Если икирежи или

балаганцы с Курбаткой поссорились, то мы им не подмога. — Помолчав, буркнул: — Понадобится, у порогов переправятся, я в эту пору струг посылать не буду.

На святых бессребреников и чудотворцев Кузьму и Демьяна Ангара встала, покрывшись белым неровным льдом. Кроме караулов и заготовки дров, никаких дел по острогу не было. От безделья годовальщики стали ссориться между собой и со ссыльными казаками Федьки Говорина. Иван с Савиной жили отдельно, в приказной избе. Савина готовила еду на всех, долгими вечерами пела вполголоса или слушала, как гудит ветер. После Михайлова дня казачий голова стал принуждать годовальщиков молиться по утрам и вечерам. Старый стрелец осерчал и пригрозил:

— Вот уйду в монастырь или в скит, там буду отмаливать грехи по уставу!

Чтобы не томились бездельем казачий голова стал гонять подначальных людей за дровами по застывшим притокам. Вскоре в острожке выросла поленница вровень с тыном, а казаки стали роптать, что дров хватит на всю зиму. Ни работать, ни молиться подолгу они не хотели. Федька Говорин матерно орал, что наработался летом, а в зиму желает отсыпаться, нести караулы и ходить за ясаком. Но посылать людей по улусам и стойбищам было рано. На другой день в полдень этот вздорный казак, стоя в карауле, пронзительно засвистел, призывая Похабова. Казачий голова накинул кафтан, влез на проездную башню. Вдоль берега по льду тянулась цепочка каравана из полутора десятков нарт.

— Кто бы мог быть? Для промышленных не время! — озадаченно пробормотал Похабов. — Митька, что ли, рожь послал?! — в сомнении шевельнул бровями. — Где столько людей набрал, однако?

— Весь енисейский гарнизон! — ругнулся Федька, все еще злой на Ивана за понуждение к молитвам и заготовке дров. — Разве смена Бекетову?

— За Байкал, не к нам! — поддержал караульного казачий голова, стал пристальней вглядываться в идущих и с недоумением затоптался на месте, узнав Сувора с Горбуном, потом Первуху со Вторкой, других пашенных и служилых Братского острога. — Ничего не пойму! — тихо выругался, неторопливо и рассеянно спустился с башни, вошел в избу, обмотался кушаком, опоясался саблей, подумав, сунул за кушак заряженный пистоль.

Караван приближался. Налегке и сбоку от тянувших нарты людей шагал Арефа Фирсов. Балаганские казаки кинулись навстречу прибывшим, те оживленно заговорили с ними. Арефа, не останавливаясь, побежал к Ивану Похабову, ждавшему гостей у ворот острожка. Лицо молодого казака было перекошено, он непочтительно подтолкнул старого казака в ворота и стал запирать их, закладывая брусом.

— Чего там? — спросил Федька, свесившись со смотрового помоста башни.

— Братские пашенные и казаки! — запыхавшись, крикнул Арефа. — Взбунтовались, захватили оружие, бегут в Дауры!

— Вот так молодцы-удальцы! — весело хохотнул Федька Говорин и призывно замахал руками.

Тут только старый Похабов пришел в себя, закряхтел, зарычал, взбежал на башню, бросил к ногам Арефы мушкет караульного казака, скатился вниз, из зелейного погребка выволок две крепостные пищали: одну в два пуда весом, другую в полтора, вынес кожаный мешок с порохом, бросил Арефе. Вдвоем они затащили ружья и порох в приказную избу. Федька смешливо поглядывал сверху то на Похабова, то на подходивших казаков и пашенных. Из другой избы вышел хмурый и заспанный старый стрелец, удивленно уставился на Ивана и Арефу.

— Чего это вы? — спросил позевывая.

— В Дауры все бегут! — запальчиво вскрикнул Арефа.

Старик просиял посеченным лицом и весело вскрикнул:

— Вот так молодцы!

— И ты побежишь за ними, дурак старый? — Иван метнул на товарища злобный взгляд.

Стрелец ничего не ответил, громко окликнул Федьку, спрашивая, что там за тыном.

— Идут! — весело отвечал тот. — Баню топить надо!

Клацнул отброшенный в сторону брус, заскрипели ворота, Иван бессильно охнул, пропустил Арефу в приказную избу и заперся изнутри.

— Что шумят? — спросила Савина, глядя на мужчин большими умными глазами.

Иван не ответил. Арефа торопливо заговорил:

— Брат, Митька, послал меня уговаривать их в пути! Куда там! Слушать не хотят. И здешние уйдут! — безнадежно махнул рукой. — Распуту пограбили. Мы так же вот запирались, — окинул тоскливым взглядом избу. — Десятинный хлеб, казну не тронули, и за то спасибо, а ружья почти все забрали…

Молодой казак опустился на лавку, посидел молча, свесив голову, устало поднялся.

— Пойду! Братан велел среди них быть. У тебя все равно грабить нечего. Разве вино, что поставил к Рождеству?

Потолкавшись среди бунтовщиков, послушав их прелестные речи, Арефа вскоре вернулся, снова сел в угол, мстительно посмеиваясь:

— Воли хотят! Будет им воля с колодками на шее! Твои все уйдут! Федька подстрекает отобрать у тебя бочонок с пивом, говорит, за печкой стоит! Из съезжей избы уже вынесли иконы и хоругвь, круг завели, баню топят.

Вечером, в сумерках, к приказной избе подошел старый стрелец, окликнул Ивана. Голова вышел в сени, но дверей не отпер.

— Казаки приговорили, чтобы тебя не бесчестить! Надумаешь идти с нами, дадим две доли из добытого на погромах, атаманом поставим. А порохом и пивом поделись!

Вскипел было Иван, заскрипел зубами, но понял, что плетью обуха не перешибешь, сдержал себя.

— Порох не дам, он — казенный, а пиво берите!

Старый стрелец потоптался возле крыльца, сходил к товарищам, посоветовался и вернулся.

— Давай весь бочонок! Согласны. Избу твою, животы, и казенное добро не тронем.

Иван, спрятал пистоль за печкой, наказал Арефе караулить Савину, вышел к бунтовщикам при сабле, опоясанный поверх кушака шебалташем с золотой пряжкой. Казаки глядели на него кто смущенно, кто хмуро, Горбун с вызовом. Лицо его напряглось и обострилось, глубже пролегли морщины от носа в уголки губ.

— Хоть бы поклонился! — взглянув на него, Похабов брезгливо скривил губы.

— Сполна отработали! — вскрикнул Горбун. — Доплаты требуем за батоги.

— Заткнись, урод! — сквозь зубы процедил Сувор, осадив бывшего дворового. — Язык вырву! — Обернулся к голове, сказал, глядя мимо: — Ты на нас, Иваныч, не серчай. Мы государю нашему измен не чинили, идем служить ему на дальней, лихой окраине! А то, что воеводам наша воля не по нраву, — кто они такие, чтобы нами повелевать? Шел бы с нами? Будем жить по правде, а не по прихотям боярским.

— Развелось по Сибири московской дворни! — громко поддержал пашенного Федька Говорин, показывая, что он заодно с ними.

— Где они прежде были? — шепеляво вскрикнул с другого боку старый стрелец. — Это мы Сибирь на саблю взяли!

Слабели в душе сына боярского злость и обида. Он понимал этих людей, со многими ходил в бой и делил последние сухари, но зная их, не верил, что и в благополучной земле они смогут жить праведно, как прельщались по грехам. Бросив неприязненный взгляд на Горбуна, Иван пошел искать племянников. Первуха со Вторкой сидели возле дымившей бани, настороженно глядели на дядьку раскосыми глазами. Иван присел рядом, не показывая зла и обид, спросил с печалью в голосе:

— Вы-то куда?

Первуха метнул на него быстрый взгляд, не увидев в лице дядьки ничего, кроме сострадания, виновато пробубнил:

— Сам знаешь, какими уродились: ни родины, ни роду, ни племени! Хотели на земле осесть, корни пустить, Распута всех под себя подмял.

— Абрамово потомство не раз теряло родину и мешалось с другими народами! — подсказал брату Вторка, блеснув глазами. — Найдем или возьмем на саблю! А всю жизнь ради брюха извиваться змеем, как их племя в Египте, — этого нам не надо!

— Оставайтесь со мной, пашите. Вон земли-то сколько! В обиду не дам! — неуверенно предложил Иван.

— Ага! — усмехнулся Вторка. — Опять воевода тебя куда отправит или помрешь, и явится какой-нибудь выкрест… На наши корма!

Хотелось казачьему голове плюнуть себе под ноги от бессилия доказать им, молодым, то, чему его долго учила жизнь, но он безнадежно вздохнул, по-стариковски тяжко поднялся.

— Спаси вас Бог! — прошептал одними губами и поплелся к приказной избе.

Утром острог опустел. Стало так тихо, что даже чудно было лежать на печи без всяких звуков. Похабов поднялся, приволакивая ноги, вышел, стал запирать ворота. Послышались одинокие шаги. Он выглянул, придерживая закладной брус. Возвращался Арефа со вспухшим лиловым синяком под глазом, увидел Похабова и просипел, обдавая паром горячего дыхания:

— Нельзя острожек оставлять! Сожгут!

— Сожгут! — равнодушно согласился Иван и тоскливо усмехнулся: — Плохо было с красноярами, без них того хуже. А ржи у меня осталось с полпуда.

Надо было идти в Братский к Митьке Фирсову. Как он там? Надо было караулить Балаганский, надо было идти по следу беглецов, к Иркуту, уговаривать и убеждать вернуться. Подходила пора отправлять людей в улусы и угодья за ясаком. Но один не пойдешь, и Савину одну не бросишь.

Томила безысходность. Знал казачий голова, что беда не ходит одна! Смиренно ждал других несчастий и дождался. Как раз перед Крещением с другого берега по льду на острог двинулись бесчисленные стада братского скота. Сотни всадников с луками и колчанами за спиной, с дубинами и пиками поперек седел гнали табуны, стада, отары

к левому берегу Ангары. Иван с Арефой молча глядели на надвигавшуюся лавину. Противиться такой силе казалось делом бессмысленным. Но вот Похабов разглядел среди всадников Бояркана, и озорная, отчаянная мысль пришла ему в голову. Он усмехнулся и, не оборачиваясь к Арефе, пробормотал:

— Поди-ка, принеси все ружья, а Савине скажи, чтобы заперлась в избе.

Сын боярский обернулся. Арефа тупо глядел на него мутными, растерянными глазами. — Иди-иди! — поторопил. — Повоюем еще, даст Бог!

Кони первого табуна, с заиндевелыми мордами, выбрались на берег и стали хватать сухую траву с обдутой ветрами земли. За ними выходили годовалые бычки, останавливались, уставившись на острог. Их подпирали другие стада и табуны, окружали прясла. На берег выехали первые всадники. Не обращая внимания на казаков, понеслись галопом, заворачивая скот к верховьям реки. Один за другим выезжали балаганцы и мунгалы с двумя, тремя лошадьми в поводу, груженными разобранными юртами и домашним скарбом. Те и другие носились по берегу, отгоняя от реки все новые и новые стада, чтобы дать проход другим, толкущимся среди льдов.

Не ошибся Иван, вблизи узнал Бояркана явно и князец узнал его. Арефа принес карабин, две ручных пищали, два крепостных ружья, составил их на поленницу. От разгоравшегося на ветру трута Похабов запалил фитиль, положил ствол крепостной пищали между заостренных острожин, прочно зацепил крюк, поднялся в рост.

Глядя на него, братские и мунгальские мужики луков с плеч не снимали, но неспешно пустили коней к острожку и закружили возле прясел. Раздвигая их, Бояркан, в тяжелой шубе до пят, вывел своего жеребца в первый ряд. Как ни был стар князец, но не сел на кобылу или на мерина.

— Что же ты, брат, не упредил о приезде? — крикнул ему Похабов, молодецки выпятил грудь, с удальством уперся рукой в бок, поставил ногу в ичиге между заостренных острожин.

Пристально глядя на старого казака, Бояркан остановил жеребца у самых прясел. На оклик Ивана не отозвался. За его широкой спиной плясали на ветру кони молодых дайшей. Все пристально и неприязненно глядели на двух казаков.

— Куда путь держишь? — по-бурятски спросил казачий голова.

— Встреч солнца! — по-русски ответил князец и добавил по-бурятски: — В Хангайские горы, где родился великий Мунгал, где рос и набирался сил Буха нойон бабай!

— Зачем меня бросаешь? — заносчиво укорил его Похабов. — Сам говорил, нам судьба жить рядом!

— Так говорил старый боо! — Бояркан растянул в усмешке выстывшие губы. — А он помер. Пошли со мной! Дам коней сколько выберешь!

— Я казачьему царю служу, — напомнил Иван. — И ты шертовал ему! Грех рушить клятвы!

— Я не давал клятвы, что мой род станет хазак, как Васка Ларионов Куржумов. — Князец разъяренно сплюнул на землю: — Собачья кровь!

Иван Похабов знал, что Куржумов сын служил в Верхоленском остроге десятником и что нынче он на Амуре в хабаровском войске. Если были распри между хубуном и племянником, то не в этом году.

— Васьки Куржумова нет на Зулхэ, он в Даурах! Что тебе до него? — спросил князца, допытываясь до причин откочевки. — Если казаки обижают, я напишу царю и он их накажет!

— Не было клятвы портить степь острогами! — яростней закричал князец.

— Ты сам просил поставить его, я и поставил! — принужденно рассмеялся Иван.

— Сам просил, сам сломаю! — ударил плетью по пряслам Бояркан.

В стороне в двадцати шагах от его воинских людей из земли торчал камень, гладкий и круглый, как огромный человеческий череп. Иван присел на колено, прицелился и приложил тлевший фитиль к запалу. Ухнула тяжелая крепостная пищаль. Кабы не крюк, сбросила бы стрелявшего со стены. Чугунное ядро ударило в камень, выбив осколки, завыло где-то в небе. Кони балаганцев и мунгал шарахнулись в стороны. Закусив удила, выгибая шею дугой, отпрянул от прясел жеребец князца.

Бояркан ударил его пятками в бока, выругался и поставил на прежнее место. Похабов выхватил саблю. Холодное январское солнце замерцало на булате отблеском свежей крови.

— Может быть, и сломаешь! — крикнул. — Только много твоих дайшей погибнет, баатар. Не помериться ли нам силой рук, молодым в пример, а старикам в почесть? Твои люди пусть будут живы, а мой острог цел. Моя голова — твоя петля. Твоя голова — моя петля! Так задумано Богом и Вечно Синим Небом! — Похабов похлопал ладонью по золотой пряжке шебалташа, надетого поверх кушака.

Разъяренный Бояркан тяжело соскользнул с жеребца, не дожидаясь помощи своих молодцов, скинул шубу, крытую китайским шелком. Поверх халата на его широкой груди висела толстая серебряная пластина с бляхами. На боку — кривая сабля.

Похабов резво соскочил с тына на землю по волосяной веревке. С обнаженной

саблей в руке двинулся к пряслам, на миг почувствовал, будто отсек всю прежнюю жизнь сибирских служб и вернулся в глупую, бесшабашную юность. Подобравшись, как медведь перед прыжком, хотел перемахнуть через изгородь, чтобы не кланяться вражьему войску, но ноги были тяжелыми, тело неповоротливым, перескочить через прясла не смог, пришлось неуклюже перелазить через них. Сын боярский встал перед князцом. У Бояркана глаза слились в две щелки, он выхватил саблю и сошлись старики, громко зазвенел булат.

Примериваясь к противнику, раз и другой ударил Похабов, почувствовал, как быстро выдыхается и тяжко машет саблей Бояркан. Рыча, нанес еще несколько ударов, увидел, как по широкому лицу князца потек пот, почувствовал, что сам уже не тот, каким был даже совсем недавно, на Селенге. Изловчившись, изо всех сил ударил князца по нагрудной пластине. Бояркан качнул тяжелой головой на короткой шее, толстые ноги, противясь удару, неуклюже отступили на шаг и князец сел, упершись руками в стылую землю.

В тот же миг Похабов ощутил удары черенками пик под колени. Балаганцы сбили его с ног, повисли на плечах, вывернули саблю из руки, другие бросились к Бояркану, поставили его на ноги. Князец заревел разъяренным быком, стал охаживать плетью и тех, кто помогал ему подняться, и тех, кто держал Похабова. Они разбежались по сторонам от скрученного сына боярского. Бояркан со звоном бросил свою саблю в ножны, повернулся к Ивану широкой спиной и двинулся к жеребцу. Двое косатых молодцов опасливо накинули шубу на его плечи, подсадили в седло. Князец потянул узду, разворачивая заплясавшего под ним жеребца.

— Куда? Яяр ахай!* — в бешенстве закричал сын боярский. — Мать твою! Яба гэмээ эдлэг**! С меня царь снимет голову за твою откочевку, но и твоя дурная башка слетит с плеч! Ты же это знаешь!

Иван сорвал с себя шебалташ, яростно швырнул вслед удалявшемуся Бояркану на взбитую копытами землю. Князец неприязненно обернулся, отвязал от седла кожаный мешок, швырнул за круп жеребца.

— Сарю почесть! — прорычал и пришпорил коня.

Табуны, стада, отары шли и шли в полуденную сторону мимо острожка. Покатилось на закат низкое январское солнце, Похабов тяжко поднялся, подобрал саблю, сбитую с головы втоптанную в землю шапку, поплелся к воротам. Из них высунулся веселый Арефа Фирсов.

— Отбил-таки острог милостью Божьей! — часто и мелко закрестился озябшей рукой. — А я уже думал, придется кончину принять!

— Поживи, молодой еще! — буркнул сын боярский, вошел в избу, бросил саблю на лавку. Савина на коленях под образами обернулась с глазами полными слез. Увидев Ивана, поднялась, повисла на его шее, завыла. — Ну, будет! — Он устало погладил ее по плечу и начал выцарапывать из бороды колкую сухую траву.

Вошел Арефа, положил на лавку мешок, брошенный Боярканом.

— Кажись, рухлядь! — развязал бечеву.

В мешке были соболя, по-промышленному увязанные в сорока. На прощание балаганец дал щедрый ясак, вдвое больше последнего.

С неделю трое острожников тем и занимались, что спали и ели, мужчины между собой почти не разговаривали, будто стыдились пережитого. Савина выглядела вполне довольной жизнью, хлопотала, как прежде, подолгу молилась утрами и вечерами.

— Ну, и зачем я последнюю рожь доедаю! — не выдержал Арефа. — Отпусти в Братский, мешок привезу. На рыбу уже глядеть тошно.

— Сходи! — равнодушно разрешил казачий голова.

Арефа быстро собрался, укрепил нарты, выбрал и подогнал под себя лыжи. Вернулся он через месяц, в конце марта. Сытая лошадка, запряженная в сани, привезла два мешка ржи. Через день Арефа хотел отправиться обратно, к брату, но после полудня, к вечеру, ворвался в избу с перекошенным лицом:

— Дядька! Балаганцы возвращаются!

Похабов схватился за шапку, вскарабкался на поленницу, сложенную возле острожной стены. С полуденной стороны к острогу приближались стада, мотали гривами кони в табунах, виднелись явно братские всадники, среди них мельтешили погонщики непонятного вида.

Арефа прикладывал руку ко лбу, волнуясь, вглядывался в даль.

— Иные мужики одеты как-то чудно?! — бормотал щурясь. — Будто казаки. Едут без седел… Смотри! — вскрикнул. — Это же наши, беглые!

Вот уже и Похабов разглядел в одном из верховых старого стрельца с растрепанной седой бородой. Больше всех ему хотелось увидеть Бояркана и племянников, уж их-то Иван узнал бы в любой одежде. Но он высмотрел только бывших своих дворо-

**Яяр ахай! — Скверный брат! (бур.).*

**Яба гэмээ эдлэг! — Ну и пусть пеняет на себя! (бур.).*

вых и выругался:

— Даурцы хреновы! Вон, Сувор с Горбуном! — указал на всадников. — Однако ты не один пойдешь в Братский, — обернулся к Арефе.

Скот запрудил округу острога, всадники боязливо подъехали к воротам. Русские беглецы спешились, крестились, клали на часовенку низкие, покаянные поклоны. Похабов, опоясанный саблей, с пистолем за кушаком, высунулся из оконца над проездными воротами, насмешливо оглядел прибывших. Старый стрелец смущенно прятался за спинами молодых казаков, Сувор воротил нос набок, метал на казачьего голову резкие, хмурые и непокорные взгляды, готовый всякий миг перейти от покаяния к скандалу. Беглецы вытолкали вперед Горбуна с ласковым заискивающим лицом. Тот осклабился, показывая щербины. Он потерял в бегстве передние зубы.

— Здоров будь, Иван Иваныч! — заговорил вкрадчиво и шепеляво. — Твоими молитвами да своими великими трудами уговорили-таки многих балаганцев вернуться в свою степь. Вдруг еще кто одумается и придет. А дольше звать их обратно — сил не было. Настрадались! Оголодали!

— Так вы и ушли, чтобы братов вернуть? — громко насмехаясь над беглецами, казачий голова свесил бороду над воротами.

— Для того и ушли! — задирая голову, бесстыдно оскалил щербины Горбун. — Хотели государю послужить.

Вместо узды на его коне был надет недоуздок, наспех связанный из бечевы, ноги обернуты шкурами, содранными с падали. Казачий голова окинул бывшего кабального внимательным взглядом, язвительно захохотал, потрясенный его наглостью и бедностью.

— Признайся, смуту учуял! Поживиться хотел! А кое-кто оказался проворней — сапоги и те с тебя снял.

Казаки и пашенные робко, подобострастно засмеялись, поддерживая насмешку головы, их обветренные лица смягчились.

— Не серчай, Ивашка! — сиплым голосом окликнул старый стрелец. — С повинной пришли. Свой грех отслужим.

— Драть тебя, курвина сына, некому! И не батогами, а кнутом, — со вздохом укорил его Похабов. — Но, имея христианское сострадание, прощу! — обернулся и окликнул Арефу: — Открой ворота! Пусть заходят, Христа ради!

Казаки и пашенные стали отгонять в табун балаганских лошадок, братские мужики закружили по черному ноздреватому льду, пробуя его на прочность. Не задерживаясь, погнали через реку скот и коней.

— Вдвое против прежнего ясак дадут! — пообещал за них стрелец с таким видом, будто сделал добро.

— Топите баню, избу, грейтесь! — позволил казачий голова. — Нынче накормлю всех кашей, как отец блудного сына. Зарезал бы тельца, да не имею, выставил бы пиво, да вы его на строгой неделе поста выхлебали! — с укором напомнил про рождественский бочонок.

— Нам бы погреться, попариться да переночевать, — закивал повеселевший Сувор. — Завтра в Братский уйдем. — Помявшись, смущенно спросил: — Не слыхал, как наши бабы? Бедствуют или уже живут за кем?

— Собирался отдать их за верных казаков! — съязвил Похабов.

— Они же венчанные? — вскрикнул Горбун. — В крепостном столе не записаны.

— Что с того? — ухмыльнулся голова. — Я им крестный отец, за кого хочу, за того отдам, а вы их бросили! — Взглянул на Сувора, пожалел простодушного беглеца и признался: — Не знаю, что с вашими бабами. Арефу спрашивайте! — указал на молодого казака. — Скажите лучше, где сыновья Огрызковы?

— Болдыри обратно не пойдут! — безнадежно отмахнулся Горбун. — Еще и других удержат.

Беглецы, служилые Братского и Балаганского острогов, пашенные люди, набились в выстывшую избу, затопили печь. Похабов сел в красном углу, как в прежние времена, никого ни о чем не расспрашивал. Они же сбивчиво, споря, перебивая друг друга, говорили сами, будто жаловались на выпавшие несчастья:

— На пути к Иркуту встретили две промысловых ватаги без грамот, ограбили.

— Братов на Куде тоже пограбили! Это плохо.

— Своего пашенного в воду посадили. Заслужил.

— Меня два раза в воду бросали! — пожаловался Сувор. — Бог спас. Меж собой драки завели. Тьфу!

— Не мы! — горячо оправдывались другие. — Федька Говорин и Огрызковы болдыри.

У Похабова от их выкриков голова пошла кругом.

— Говори! — приказал старому стрельцу.

Тот придвинулся к нему на лавке под правую руку, со вздохами стал рассказывать:

— Пришли на Иркут, за два дня съели припас ржи у тамошних казаков.

Прискакали Яндохины тубинцы, стали просить помощи, чтобы отбиться от мунгал и балаганцев. Пошли мы на них войной, а тех одних только воинских мужиков было сотен пять и больше, надрали нам спины, троих убили до смерти, — тоскливо замолчал стрелец, гоняя желваки по обтянутым кожей скулам.

И увидел Иван, как устал от жизни старый товарищ, вздохнул и свесил голову.

— Знать бы, для кого укреплял зимовье на Дьячьем?

Прибывшие оживились, загалдели.

— Сколько раз тебя добрым словом вспомнили за труды! Кабы не зимовье с тыном, не уйти бы живыми. Иркутные Яндохины мужики с нами укрывались и отбивались… Потом балаганцы между собой передрались, чуть не половина со скотом повернули в обратную сторону и пришли к нам мириться. С ними мы и вернулись Божьим промыслом…

— Про Бояркана что слышали? — вкрадчиво спросил Похабов.

— Он с мунгалами ушел! Балаганцы жаловались, будто силой понуждал их идти.

Казачий голова с заледеневшими глазами положил на стол тяжелые ладони с растопыренными пальцами:

— Бог вам судья! Беритесь за прежние службы. Я на вас жалоб писать не буду и Митьке Фирсову накажу, чтобы простил, а вы уж грех свой отслужите!

— Арефа говорит, Митька наших жен Распуте отдал захребетницами! — тоскливо пожаловался Сувор, будто просил помощи. — Оно, конечно, прокорм… И мы их бросили. Грех. Но если живут уже с кем, ты нам их верни своей властью!

— Сами возвращайте! — отмахнулся Иван.

— А я свою брюхатой оставил! — беззубо затрясся от смеха Горбун, поглядывая на Сувора. — Не прельстились, поди, Митькины кобели.

Глава 15

Беглецы Братского острога ушли по пористому льду реки. Казачий голова милостиво дал им лошадь с санями, на которых был привезен хлеб. В Балаганском остроге под его началом остались три казака, бегавших с бунтарями, и Арефа Фирсов, при нынешнем малолюдстве на Ангаре и Лене это был гарнизон. Все четверо были посланы Похабовым за ясаком.

Вскрылась и очистилась ото льда Ангара, сочно зазеленела степь. Савина выглянула из острога и ахнула, всплеснув руками:

— Ой, Ваня! Красота-то какая?!

— Весна! — поддакнул Похабов. — В лесах уж комар лютует, а здесь хорошо… Эвон! — воскликнул, прикладывая руку ко лбу. — Кажись, наши едут.

Верхами возвращался Арефа Фирсов с товарищем. Они расседлали коней у ворот острога, Арефа отвязал от седла мешок, тряхнул им, показывая, что удалось собрать в улусах.

— Теперь заживем веселей! — ворковала Савина, перетирая рожь на ручной мельнице. — С тобой и вдвоем хорошо, — улыбалась Ивану, — но сильно уж пусто.

— А говорила, век бы так жила! — добродушно пожурил ее Иван.

Молодые казаки бегали с березовыми ведрами на ближний ручей, радовались возвращению, предвкушали баню, чистую одежду, квас. И празднично было на душе По-хабова, пока Арефа возле Белой речки не бросил ведра, что-то выколупал из земли, с радостным лицом поднял над головой будто сонную, не оттаявшую еще змею. У казачьего головы беспокойно застучало сердце.

— Иваныч! Твой шебалташ! — Молодой казак бросился к Похабову, остановился перед ним, удивленно пробормотал: — Твой ведь?!

Узнав свою опояску, казачий голова застонал раненым зверем: кожа позеленела, потускнело золото, но это были все те же бесовские личины с въевшейся в них грязью. Теперь обе головы казались живыми, а косатый степняк пуще прежнего смеялся над остроголовым бородачом. Похабов выругался, сплюнул, слезно прохрипел:

— Видать, не отвязаться от них до гроба!

— А я что? — стал растерянно оправдываться Арефа. — Поднял, вижу — твоя!

— Закинул бы куда подальше! — с укором ругнул казака, но взглянув на него, устыдился невольного гнева, посмотрел ласковей, вздохнул: — От судьбы не уйдешь! Не твоя вина. Не серчай на меня, старого!

Праздник есть праздник, на Святую Троицу жители острога наварили и напекли еды, сын боярский выставил бочонок со сбитнем, приготовленным Савиной. Служилые напарились в бане, оделись в чистую одежду, помолились в съезжей избе, застеленной свежей травой и ветками берегового кустарника. Утром, перед праздничной молитвой, караульный окликнул Похабова, он выглянул из-за тына и заметил плывущую лодчонку с одним видимым гребцом на веслах. Суденышко не пыталось обойти острог другим берегом, но правило прямо к нему.

— Гостя Бог послал на праздник! Надо встретить! — сказал Иван Савине, гремев

шей горшками. Покряхтывая, опоясался саблей, вышел за ворота.

Прибывший оказался вестовым с Иркута, тамошний десятник прислал с ним собранный ясак, отписку о бунтовщиках и балаганцах, об осаде острова — о том, что уже было известно Похабову от вернувшихся казаков и пашенных.

— Поспел! — радовался вестовой, вытирая лоб рукавом. — Вчера до самой ночи греб, сегодня с рассвета на веслах. Не с комарами буду праздновать Святую Троицу.

Служба есть служба! Как ни обжились за зиму Иван с Савиной в Балаганском острожке и даже привыкли к равнине, казачьему голове пора было явиться в Братский. Оставив на приказе Арефу Фирсова, он поплыл туда с Савиной, чтобы навести порядок после бунта. Издали, с реки, Иван Похабов увидел двухсаженные стены острога, Дмитрий Фирсов, несмотря на бунты, расширил и укрепил его. По углам высились четыре глухих квадратных башни, над воротами проездной — часовня.

— Куда с добром поработал! — похвалил молодого приказчика казачий голова, по-хозяйски обошел строения. Под тремя глухими башнями были жилые избы, под четвертой — тюрьма, посередине — пустошь под основание церкви. Обжившийся здесь разрядный поп Иван, в зипуне и скуфье, строго покрикивал на трех казаков и двух пашенных людей, ворочавших камни.

— Не нравятся мне казаки! — пожаловался Похабову Фирсов. — Думал, бывшие бунтовщики покаются, других станут удерживать от бегства: я, по малолюдству, не наказал их! Но Бог не вразумил, они же и подстрекают к новому побегу в Дауры.

— Кто? — спросил казачий голова.

— Старым казакам неймется, что уж говорить о молодых, — уклончиво ответил Дмитрий, не желая наушничать.

— Еть их! — понял, о ком речь, и тихо выругался Похабов. — Песок уж сыплется… А туда же.

— Придет перемена — хочу в Енисейский сплыть, если отпустишь! — опасливо передернул плечами Дмитрий Фирсов. — Сколько ни царапай пером, а языком правильней скажешь!

— Ой смотри, паря! — покачал головой Похабов. — Попадешь под горячую руку — или наградят, или на дыбе вздернут за то, что у красноярцев острог отбил…

— Ясак с Уды взят сполна! — тоскливо повел глазами Дмитрий Фирсов. — Москва должна быть довольна, а то, что воеводы меж собой грызутся, Сибирскому приказу на руку.

Подступало время, когда обычно выходили из тайги и сплавлялись по рекам промышленные ватаги с добытыми мехами, но ни стругов, ни плотов не было до середины июля. Только на Первый Спас из-за поворота реки течение вынесло малый стружок с двумя торчащими головами. Судно подошло к берегу против острога, караульный весело закричал:

— Кого река нам принесла? Баб!

Иван вышел из ворот, спустился к Ангаре, еще издали узнал Меченку и поспешил к пристани, гадая, что за беда могла привести ее. Услышав караульного, из ворот острога выбежала Савина, взглянула под гору из-под руки, засеменила вниз следом за Иваном.

Пятно на щеке Пелагия не скрывала, не прятала, оно стало больше и темней. На Ивана равнодушно глядели знакомые, но поблекшие глаза, губы бывшей жены посеклись мелкими морщинами, она показалась ему погасшей, стала походить на старуху. Ни лучик не блеснул в ее глазах, когда увидела Савину. Равнодушно и устало дала обнять себя, без радости, зависти или злорадства ткнулась лбом в ее плечо, шмыгнула носом:

— В Енисейский монастырь плывем! — указала глазами на спутницу, которая была и вовсе дряхлой старухой. — У нее муж помер, и у моего Оськи отошла душа от тела… Устала я! — пожаловалась и прерывисто вздохнула. Чуть дрогнули в повинной улыбке губы. — Сама грешна и вас много лет понуждаю жить во грехе. Потерпите еще. К зиме или помру, или постригусь. Живите с Богом, не поминайте лихом.

— Зимуй с нами! — заголосила Савина, обливаясь слезами.

— Нельзя! — равнодушно ответила Меченка, поправляя платок на голове. — Без того про нас много говорили. Вместе жить — только подстрекать к злобе и сплетням!

Казачий голова с неделю удерживал старух при себе, дал им отдых. К тому времени в Братский пришли вестовые из Илимского острога. Воеводу Оладьина сменил бывший его стряпчий, управлявший хозяйственными делами, Петр Бунаков. Старый казак, да еще свояк искал опоры за Ангарой и мирного решения споров о ясачниках, которые самовольно перекочевали в его уезд.

Дав отдохнуть вестовым, Похабов уговорил их не возвращаться прямым путем через волок, а плыть через пороги до устья Илима и проводить до тех мест двух баб, едущих в Енисейский острог. Перед расставанием Меченка поклонилась в пояс

бывшему мужу, как чужого поблагодарила за заботы. Скорая на слезы Савина опять заголосила, Меченка отстранилась от подруги, поклонилась и ей.

Илимские казаки столкнули на воду легкий струг, сели за весла. Савина с Иваном вернулись в острог с тяжестью под сердцем, будто проводили покойника. Плечи женщины то и дело подрагивали, она хлюпала носом, терла глаза концами платка. Избегая разговоров, они молчали до самой ночи, каждый со своей тоской и виной на сердце.

Заморосил сентябрь, вызолотился лес, поползли туманы, цепляясь за верхушки сосен и елей. Чуть не до полудня над Ангарой висели и клубились низкие тучи. Вот и помчалась осень навстречу зиме. На Никиту-гусятника к острогу прискакал на распаленном коне Федька Сувор, покрутился у ворот, пока не впустили. Взъерошенный и мокрый, он заскочил в калитку, кинулся к приказной избе, заколотил пяткой в запертую дверь:

— Иваныч! Люди идут по Ангаре!

Покашливая, Похабов отпер дверь. Его седые волосы спутались с растрепанной бородой, набухшие от сна глаза глядели на пашенного строго и неприязненно.

— Что так долго спишь? — ухмыльнулся Федька, вытирая рукавом лицо. — Днище ходу от Оки табор, и костров там бесчисленно.

— Поди, перемена! Как раз время, — зевнул Иван, крестя рот.

— Да столько народу разом я и в Енисейском не видел! — напирал Федька, напоказ отряхивая полы мокрого зипуна.

— Заходи! Сушись! — впустил пашенного казачий голова. — Дождит, вот я и разоспался. А тебе чарочку бы?

— Не помешает для согрева! — весело блеснул глазами Сувор. — Всю ночь в седле и на веслах.

— Сколько бы ни было костров, — рассуждал вслух Похабов — Браты у реки ночевать не станут, тунгусы в эту пору сиднем сидят по шатрам: их олени в тайге. Наши, должно быть, идут!

— Старая, налей-ка гостю чарку!

Савина поднялась рано, топила печь в отсыревшей избе, шебаршила корзинами в чулане. Она вышла на зов Ивана, разложила в жарком месте брошенный мокрый зипун гостя, приветливо приняла поклон от бывшего дворового.

— Сперва накормить надо, — заглянула в печь, — после вином поить.

— Нет! — замотал бородой Сувор. — Ты уж, хозяюшка, сперва налей. Я выпью во славу Божью, а поесть всегда успею.

Казачий голова перекрестился на образа, расправил пятерней волосы и бороду, накинул кафтан.

— Пошлю, однако, казаков, поглядеть кто идет! — сказал Савине.

Сувор не ошибся, к Братскому острогу двигался полк в шесть сотен человек. По словам ертаулов, бурлаки тянули три коча, которые в прежние годы дальше Шаманского порога не поднимались. Узнав все это, Похабов остановился в задумчивости посередине острожного двора сырого от дождей, сумеречно от высоких стен. Старые стрельцы Василий Черемнинов, Михей Шорин и острожный поп с унылым видом тесали очередной венец под основание будущей церкви.

— Васька! — окликнул Иван товарища. — Ты старей всех. Говорят, полк идет Ангарой. Сплыви-ка с кем-нибудь, встреть по-христиански!

Лицо попа покривилось, он неприязненно взглянул на сына боярского и закричал, размахивая мозолистыми руками:

— Зимой все на посылках, летом на промыслах, думаешь ли храм возводить?

— Думаю, батюшка, думаю! — не снисходя до брани, проворчал Похабов. — Сам видишь, какое у нас малолюдство. Вот придет подмога, достроим, даст Бог! — возвел глаза к серому небу в квадрате высоких стен, снял шапку и перекрестился, задирая голову.

Храм во имя равноапостольного князя Владимира-крестителя строился медленно. Казачий голова никак не мог ускорить работу и стыдливо избегал встреч с горячим священником.

Судов в караване было около полусотни. Столько Ангара не видывала со времен первых, вольных промышленных людей. Бурлаки тянули тяжелый коч, украшенный зелеными ветками. На носу в кресле, застеленном медвежьей шкурой, сидел московский дворянин бывший воевода Енисейского уезда Афанасий Филиппович Пашков. Василий Черемнинов и Михей Шорин, ходившие встречать гостей, вернулись раньше. От них Похабов узнал, что Пашков сдал воеводство и, как когда-то покойный Яков Хрипунов, принял на себя казачье головство. Чего угодно ждал Иван от тщеславного воеводы, но не этого. Его брови взлетели под шапку, он рассеянно ругнулся:

— Оптыть! Сдурел московит или че ли?.. Пошли, батюшка, встречать гостей, — кивнул острожному попу.

— Как молебен отслужить, так сразу батюшка? — зловредно проворчал тот, но

скинул зипун, ополоснул руки, надел рясу.

Иван затянул кушак, сунул за него пистоль, опоясался саблей, подтянул ремни шебалташем, стал спускаться к пристани, чтобы встретить бывшего воеводу в должности казачьего головы. Плечо к плечу с ним степенно шел дородный острожный поп Иван. Он гулко кашлял, прочищая горло, и помахивал кадилом. Суда все подходили и подходили к пристани, народу прибывало и прибывало. Конца же каравану не было видно.

От людей шел пар. Лица бурлаков были красны и потны от трудов и усталости. Дюжий детина возле струга скинул шапку, на лбу багровым рубцом со стянутой кожей обнажилось клейменая буква «веди». Вор. «Вон уж кого шлют в службу!» — отметил про себя Иван.

Коч Пашкова приближался медленно. Казачий голова, поп, пятидесятники и старые казаки стояли, поджидая его. Похабов снова взглянул на клейменого детину. Тот подтянул бечевой к берегу знакомый стружок. Остановив на нем взгляд, Иван обмер: в лодке, съежившись под мокрыми лавтаками, сидели Меченка и ее спутница.

В один скачок Похабов оказался рядом с ними, вскрикнул, таращась на старух:

— Что вернулись?

— Дворянин отобрал нас у илимских казаков! — безучастно к своей судьбе пробормотала Меченка.

Спутница хохотнула, показывая беззубые десны, и шепеляво пошамкала:

— Грозит отдать замуж за своих служилых!

— Куда лезешь, старый? — клейменый детина схватил Похабова за локоть.

— Пшел, блядин сын, пока башку не срубил! — взревел казачий голова, отталкивая ссыльного. — Ужо научу, как кланяться сыну боярскому!

Детина опешил от яростного крика, выпустил из рук бечеву. Похабов обернулся к попу и старым казакам, бросил пятидесятнику:

— Васька! Встретишь воеводу с батюшкой и будешь на приказе, пока не вернусь! — Сунул в руки Черемнинову связку ключей от амбара, кладовой, сундука с казной и грамотами, выкинул из стружка на берег пищаль и чужой котел, столкнул его на воду, сел за весла и погнал вниз по течению реки.

Едва его суденышко поравнялось с кочем Пашкова, казачьи головы пристально и неприязненно взглянули друг на друга — один сверху, другой снизу — и разминулись. Разглядел Иван, что Пашков одет в немецкий короткий кафтан, опоясан европейской шпажонкой, в здешних местах пригодной разве рыбу печь на рожне. Щеки бывшего воеводы покрывала коротко остриженная борода, из-под носа на подбородок свисали, как у ляха или у черкаса, длинные усы.

Стружок промчался мимо коча. Похабов всем телом налегал на весла и гнал его по реке до самой ночи, пока не послышался гул порога. В сумерках ему пришлось приткнуться к берегу для ночлега. Старухи привычно развели костер, заварили в котле мучную кашу, бросили в стылую осеннюю реку плетенную корзиной корчагу, чтобы поймать рыбки. К полуночи унялось бусившее небо, почернело и вызвездило. Трое путников привычно сдвинули костер, смели угли, настелили лапника на прогретую землю и легли отдохнуть.

Проснулся Иван от того, что ему припекло ноги, поднял голову. Рассветало. Потрескивал костер, у огня сидела старуха-вдова, губы ее беззубо шевелились под самым носом, казалось, в пустых глазницах мерцают отблески углей. Неторопливо и рассеянно она чесала гребнем редкие седые волосы. Едва схлынул с реки туман и поднялось солнце, Иван столкнул на воду лодку. Меченка страдальчески взглянула на него, крикнула, махнув рукой вверх по реке:

— Иди уж! Сами сплывем, даст Бог. А нет, так судьба наша такая!

Иван упрямо мотнул головой и сел за весла. Он выгнал стружок на стрежень. После дождей бурлил и бесновался Падун, но сверху хорошо просматривались три знакомых прохода между камнебоев. В один из них Иван пустил лодку кормой вперед. Стружок несколько раз захлестывало волнами, но гребец удерживал его от столкновения с камнями. Когда суденышко закружило в стоячей воде, Похабов, наслаждаясь покоем, направил его к берегу. Рассеялся туман, ясное солнце светило так весело, будто все беды остались позади. Иван вышел на сушу, скинул кафтан и отжал одежду. Женщины развели костер. Стадо винторогих баранов поглядывало на людей со скалы. Над бурлящей водой порога кружили птицы, высматривая оглушенную рыбу.

— Ну и ладно! Дальше сами управитесь! — взглянув на солнце, Похабов перепоясался кушаком, накинул на плечи подсохший кафтан. — А я пойду, однако!

Пелагия с болью взглянула на бывшего мужа, в ее выцветших, водянистых глазах блеснула прежняя бирюза.

— Спаси тебя Бог, Иван! — шевельнулись губы, она поклонилась в пояс, смахнула слезы, всхлипнула, потянувшись к его уху, и прокричала сквозь шум воды: — Прости, что жили не так, как надо, у Господа встретимся! Я за тебя здесь и там буду Бога

молить!

Беззубая старушка, которую Похабов помнил бойкой казачкой с острым, насмешливым языком, тоже поклонилась. Слова бывшей жены колко сдавили сердце, слезы покатились по седой бороде. Он отмахнулся, отворачиваясь, без слов пошел в обход скал в обратную сторону.

Никого не встречая, сын боярский добирался до своего острога день и другой. Вечером ловил и пек рыбу. Когда завиднелись на горе башни, он вычистил сапоги и кафтан, сбил на ухо шапку. В виду ворот приосанился, двинулся с важным видом хозяина. Они были распахнуты. Толпы людей суетливо сновали взад-вперед, таскали бревна с реки, где был зачален плот. На Похабова никто не обращал внимания, свои казаки делали вид, что не замечают его.

Он вошел в проездные ворота. Стены церкви подросли на полсажени. Острожный поп громовым голосом покрикивал на незнакомых служилых, неловко примерявших новый вытесанный венец. Пятидесятник Черемнинов метнул на Ивана быстрый настороженный взгляд, насупился и отвернулся.

Сын боярский молча постоял возле стен церкви, поклонился попу.

— Будь здоров, Господь с тобой! — торопливо ответил тот и опять закричал на работавших.

На крыльце приказной избы сидел дворовый мужик русской породы. Кто он — видно было по лицу и одежде, по наглым и пристальным глазам. Похабов хотел пройти мимо, но дворовый вскочил и загородил грудью дверь. Иван отшвырнул бы холопа, но за спиной раздался голос Савины. Он обернулся. Она смущенно глядела на него и мяла в руках подол передника.

— Я перенесла наши животы в казачью избу! — проговорила робко.

Похабов нахмурился, грозно обернулся к дворовому. На крыльцо приказной избы вышел бывший воевода Пашков в неопоясанном камзоле и высокой собольей шапке. Дворовый человек угодливо осклабился и переломился в пояснице.

— Выселил мою бабу, пока я был в отъезде? — хмуро спросил Иван вместо приветствия.

Из приказной избы вразвалку вышли два дворовых мужика мунгальской породы. Их хозяин, не оборачивая головы, буркнул что-то русскому холопу. Тот в один прыжок прошмыгнул мимо него в сени, выскочил с грамотой, подал ее Пашкову.

— Шляешься где попало вместо того, чтобы службы нести! — начальственно проворчал, развернул грамотку и вернул мужику, указав глазами, чтобы тот отдал сыну боярскому. — Пока свой дом не построю, здесь буду жить. У меня семья большая! — заявил, брезгливо растягивая губы в усах.

Иван принял от мужика грамоту, сел против крыльца, привалившись спиной к поленнице, стал читать, шевеля губами.

— Эвон что! — кивнул Савине. — Нового воеводу прислали, — метнул взгляд на Пашкова в окружении дворовых. Тот отвернулся и скрылся за дверью. Дворовый русской породы снова сел на крыльцо.

В наказной памяти новый воевода приказывал казачьему голове Похабову во всем прямить казачьему голове Пашкову, который с полком идет в Даурскую землю. А ему, Афанасию, велел помочь Похабову собрать ясак по Ангаре. Ни слова не было сказано, кому под чьей властью быть и кому где зимовать. Закончив читать, Иван свернул грамоту, сунул за пазуху, поднял глаза на Савину. Она смущенно переминалась и пугливо поглядывала на него.

— Оно и лучше так! — пробормотал он повинно. — Пойдем зимовать в Балаганский.

— Хлеба там мало! — напомнила Савина.

— Возьмем хлеб! — поднялся сын боярский, обернулся к амбару с навешанным замком. — Васька! — окликнул Черемнинова.

— Чего? — неохотно отозвался тот, показывая, что занят делом.

— Вели казакам снести в струг два мешка ржи да перетаскать мои животы. Савина покажет что. А я пока коней в гужи выберу. В Балаганском буду зимовать! — давал наказы старому товарищу, сожалея о том, что отпустил в Енисейский острог с ясаком и отписками Дмитрия Фирсова. — А здесь ты сядешь на приказ.

Черемнинов помялся, бросая косые взгляды то на Похабова, то на дверь приказной избы, неохотно пошел отпирать амбар.

В Балаганском остроге жизнь потекла обычной чередой дней. Арефа Фирсов за лето поставил здесь вместо прясел надолбы в один ряд, его младший брат Никита после смены на Иркуте остался при нем. Рожь быстро кончалась, два мешка, привезенных Похабовым, они съели еще до ледостава. Иван послал в Братский за хлебом и солью Арефу с казаком. Те вернулись очень быстро, не только без припаса, но и голодными.

— Как не дает? — взревел голова. — Это государев хлеб с братской пашни!

— Черемнинов ключи от амбара отдал Пашкову, — оправдывался Арефа. — А тот сказал: «Нет лишнего: ни ржи, ни соли!» И слушать нас не стал. К нему в избу не войдешь — караульный на крыльце. Ни видеть, ни слышать нас не хочет.

— Да кто он такой? — затопал ногами Похабов. — Мать его, курву... Поганая порода. Отец из ляхов был всем иудам иуда, чертям пожива… И этот…

Порыкав как зверь, побегав в ярости по избе, казачий голова решил:

— Завтра идем в Братский! Без ржи не вернемся!

— Одумайся, Иванушка! — тихонько завсхлипывала Савина. — Пожалей молодых, дай им отдохнуть с дороги! Жили ведь и еще поживем на рыбке.

Похабов строго взглянул на возроптавшую женщину, но оставил Арефу Фирсова на приказе, а с собой взял его младшего брата. Они переменили лошадей и в тех же санях отправились в обратную сторону по не заметенной снегом колее.

Еще издали Иван заметил что-то новое в Братском остроге. Подъехав ближе, разглядел на склоне под острожной стеной две избы. Не обычные приострожные избенки, а хоромы: один дом рублен в пять стен, другой крестовый. Над высокими острожинами выше угловых башен поднялась маковка церкви с желтым крестом.

— Да уж! — крестясь и кланяясь, пробормотал казачий голова в обметанную куржаком бороду. — Шесть сотен — не тридцать пар рук, понастроил Афонька изрядно!

Вокруг стен, вроде посада, было поставлено и врыто множество балаганов и землянок, из них в синее небо поднимались дымы. Острог был многолюден даже среди зимы, словно кичился своей силой: ворота проездной башни были распахнуты, от реки к ним поднималась торная дорога, густо загаженная конскими катышами.

Никто не вышел встречать казачьего голову, никто из пашковских людей не поклонился сыну боярскому, все глядели на него пристально и угрюмо, но не останавливали. Бросив у ворот подводу с невыпряженными лошадьми, Похабов, крестясь и кланяясь, вошел в острог, первым делом направился в церковь. Снова крестясь и кланяясь, переступил порог притвора. Никитка робко двинулся следом.

Церковь не отапливалась, печей в ней еще не было. На Святой неделе поп Иван в душегрее под ризами читал Псалтырь. Со стен свисал заиндевевший мох. Над сбившимися в кучу людьми поднимался пар.

Похабов распахнул шубу, упал на колени, трижды гулко ударил лбом о тесовый пол, легко поднялся и быстрым, цепким взглядом окинул молившихся. Попадья и монахи-скитники пели на клиросе. Против струганых царских ворот в первом ряду стоял Афанасий Пашков в богатой собольей шубе, рядом — сын со снохой. За спиной бывшего воеводы тесно толпились дворня и казаки. В последнем ряду стояли новокресты, боязливо озирались по сторонам, помахивали перстами со лба на пояс и кивали головами, как кони на подъеме в гору.

Раздвигая их широким плечом, Иван протиснулся к алтарю, встал справа от Пашкова, поклонился попу. Тот, не прерывая чтения густым голосом, взглянул на Похабова с укором, дескать, куда лезешь не по чину. «Сын ты блядин!» — презрительным взглядом ответил ему казачий голова. Он был так зол, что если бы смог, то непременно пробился бы к Пашкову и толкнул его плечом. Лет на десять моложе, в той же должности, хоть и в дворянском чине, бывший воевода не удостоил Ивана взглядом.

Едва поп закончил читать и закрыл Псалтырь, Похабов, позвякивая сосульками в бороде, приложился к трем образам — других еще не было — да к Честному Кресту, где должно быть распятью. Опять, раздвинув плечом тесный круг безмолвно притопывавших от стужи людей, двинулся к выходу. Никитка остался в церкви.

По острогу носились незнакомые служилые. Похабов поймал за рукав одного из них, строго спросил:

— Где приказный, пятидесятник Черемнинов?

Казак молча указал на угловую башню, где прежде была приказная изба, занятая Пашковым, водя по сторонам пугливыми глазами, опять куда-то побежал. Казачий голова по-хозяйски распахнул дверь, ввалился в тесную острожную избу с облаком стужи, раскатившимся по полу. Старый пятидесятник, сгорбив спину, дремал у огонька. Узнав вошедшего, подслеповато замигал, лицо его напряглось, глубже врезались в кожу морщины.

— Ну, рассказывай, Васенька, как живете тут без меня? — уселся в красный угол Иван, распахнул, но не снял шубу, бросил на лавку шапку.

— Живем! — неохотно и тоскливо пробормотал пятидесятник. — Не голодаем, — повел глазами на старого товарища, в них блеснула скрытая вина. — Порядок опять же. При порядке что не жить? — сказал громче и повел ухом к двери.

— Отчего же тогда рожь да соль не шлешь в Балаганский? Голодом нас моришь?

— Лютует голова! — понизив голос и вжимая голову в плечи, приглушенно оправдался Черемнинов. — Двоих казаков до смерти кнутом забил… За дело, конечно! — спохватился, опять боязливо зыркнув в сторону закрытой двери. — У него всяк

человек знает свое место. А ключи от амбара он у меня забрал.

— Так с вами и надо! — злорадно рассмеялся Похабов. — Поди, круги-то теперь не заводите? — спросил так громко, что старый стрелец зажмурился и еще глубже втянул голову в плечи.

— Я уж кого! — ответил тихо и уклончиво. — Сижу в тепле, сыт — и слава Богу! А хлеб только через самого.

— Я бы еще Афоньку не просил, чтобы он дал мне мои оклады! — рявкнул Похабов, багровея обветренным лицом. — Кто здесь на приказе? Я или он?

— Почем я знаю, кто? — огрызнулся Черемнинов, злобно сверкнув глазами. — Он — сила! А за тобой кто?

— Ты за мной по крестоцелованию! — все больше распаляясь, закричал Похабов. — Бери целовальника, пойдем к амбару. Собью замок и отсыплю сколько надо.

— Не пойду! — насупившись, буркнул Василий.

— Тогда один пойду! — вскочил Похабов, запахивая шубу. Нахлобучил шапку. — А тебе — Бог судья! Да черт милостивый при сковороде.

— Что буянишь-то? — тоже подскочил пятидесятник. — Отпиши воеводе челобитную, чтобы все по закону!

— От голоду передохнем, пока воевода нас рассудит! — хлопнул дверью Иван. — Никитка! Мать твою! Куда делся? — заорал на крыльце громовым голосом.

Суетливо бегавшие по острогу люди замерли на местах. Несколько человек остановились у приказной избы. Похабов широким шагом двинулся к амбару, ощупал заиндевевший замок на поблескивавших инеем скобах. Давно ли сам проверял его на прочность? Бросил под ноги шубу, оставшись в кафтане, вынул из-за спины дорожный топор. Раз и другой звонко ударил обухом по скобе. Чувствовал спиной, как стекается к амбару изумленный народ.

— А ну, зовите писчика и целовальника! — обернувшись, крикнул в толпу. — Я здешний приказный, казачий голова Иван Иванов Похабов, буду брать рожь для Балаганского острога.

Слушая его, служилые в замешательстве топтались на месте. Вдруг толпа расступилась, будто волна схлынула с берега, обнажая пустошь. От церкви к приказной избе двигался окруженный дворней и наушниками казачий голова Афанасий Пашков. Среди его молодцов выделялся дородностью и холопской важностью служилый со свернутым набок носом. Пашков шел впереди, покрытый высокой собольей шапкой, под ней властно мерцали водянистые немигающие глаза, по щекам темнела куцая, ровно остриженная бороденка.

Похабов напоказ повернулся к нему спиной, еще раз и другой ударил обухом по железным скобам. Пашков остановился против крыльца приказной избы. Из нее, сутулясь, вышел хмурый Василий Черемнинов. Дворня плотней окружила хозяина, ожидая его приказа на расправу, злобно глядела на Похабова. Иные поигрывали топорами и кистенями. Впереди всех, фертом, стоял кривоносый.

— А не хочешь, чтобы я тебе башку отрубил? — крикнул Пашков.

Похабов в ярости воткнул топор в косяк, выхватил из ножен саблю.

— А может, попробуем кто кому? — играючи со свистом махнул клинком с боку на бок и презрительно взглянул на игрушечную шпажонку бывшего воеводы. — Или ты только кнутом махать горазд?

Пашков не снизошел до ответа, блеснул змеиными глазами, рыкнул:

— Взять его! — ткнул пальцем с перстнем, блеснувшим драгоценным камнем.

Широким шагом на Похабова двинулся кривоносый. Дворня и служилые, стараясь обогнать его, тесня друг друга, с воем ринулись к амбару. Со всех сторон на Ивана сбегались казаки с кольем. Растревоженным ульем загудел острог.

Похабов заревел, заплясал на месте, отбивая удары. Почувствовал, как быстро уходит сила рук и как неловко крутится отяжелевшее тело, перекинул саблю из правой руки в левую, выхватил из-за кушака пистоль, шоркнул по нему рукавом, накручивая пружину, поймал на конце ствола выпученные глаза бывшего воеводы, радостно и зло спустил колесцо, брызнувшее снопиком искр. И когда вспыхнул порох на полке, понял, что взял высоковато.

Прогремел выстрел. Толпа нападавших отпрянула. Пороховой дым закрыл крыльцо приказной избы и едва схлынул, Иван увидел сбитую с Пашкова шапку, его самого, пугливо переломленного в пояснице, расщепленную пулей ветровую доску. Сын боярский захохотал, перекинул саблю в правую руку.

— Живым взять! — срывающимся, петушиным голоском крикнул Пашков.

Иван захохотал громче. Но толпа ринулась на него с такой яростью, что в следующий миг сбила с ног, вывернула из руки саблю. Кто-то пнул его в скулу, и рот наполнился кровью, кто-то уже сидел на спине. Похабов напрягся всем телом и понял, что той силы, которая выручала в прежние годы, уже нет. «Вот она, старость!» — подумал сдаваясь. Опал, расслабился.

Без шапки, со снегом и кровью в бороде, его подволокли к Пашкову, бросили в

ноги, задрав голову за волосы. Сын боярский только рычал и вращал окровавленными глазами. Что говорил дворянин — он не слышал. Поволокли вдруг в кузню. Его, Ивана, служилый, бегавший в Дауры, не поднимая глаз, надежно заковал ему запястье. Четверо молодцов во главе с кривоносым поволокли казачьего голову не в тюрьму, а в аманатскую избу. Распахнули дверь, втолкнули внутрь. Губастый пашковский молодец, заскочив туда же, выбил мох из дыры в стене, просунул в нее конец цепи.

Иван отдышался, лягнул его в бок, рванул на себя цепь, но она была уже заклинена с другой стороны. Казак вылетел из избенки, матерно заорал, угрожая кистенем, но внутрь больше никто не сунулся. Дверь закрылась. Тяжело дыша, Похабов сел на нары. Резко пахло псиной и дымом. Оконце, затянутое бычьим пузырем, едва пропускало свет. Угли чувала высвечивали лица узников.

Не поднимая головы, Иван осмотрелся затравленным зверем, увидел на нарах троих. По тому, как они сидели, узнал братских аманатов. Четвертый, на корточках, горбился у чувала. Рядом с ним лежали две собаки, вечные спутники тунгусов.

Звякнув цепью, Иван хотел прислониться к стене, но разглядел на нарах пятого узника. Он лежал на груди, был долгобородым и длинноволосым, голова покрыта скуфьей, тело — поповской однорядкой. Его живые пристальные глаза пытливо разглядывали сына боярского. Едва их взгляды встретились, лежавший шевельнулся и прерывавшимся от боли голосом укорил:

— Гордыня тебя мучит, служилый! Того, губастого, почто пнул? Ему Господь, по грехам, готовит кончину тяжкую!

— Ты кто такой, чтобы учить меня? — взревел Похабов, снова впадая в безудержную ярость.

— Аз есмь протопоп Аввакум, сын Петров! — твердо ответил тот, не поднимаясь с нар. Голос его будто окреп и помолодел.

Иван разглядел сына Петрова. Как ни изможденно было лицо назвавшегося протопопом, ему не было и сорока лет.

— Хрен ты козлиный, а не протопоп! — обругал его, успокаиваясь, привалился спиной к стене, вытянул ноги к чувалу.

Тунгус, сидевший на корточках, отстранился от собак, стал неторопливо и умело подкладывать дрова на пламеневшие угли. Разгоревшийся огонь высветил немолодое плоское лицо с пучком волос на подбородке.

— Абачейка что ли? — окликнул его Похабов.

Тунгус обернулся к нему.

— Тебя-то кто велел аманатить? — медленно подбирая слова, спросил. — Твои мужики ясак давали исправно.

Тунгус пробормотал под нос, но Похабов его понял.

— Малый поклон принес! Всего пять соболей! Казак-мата говорит — надо сорок!

— Мне сроду и пятью никто не кланялся, — скривил разбитые губы сын боярский. Уставился на братских мужиков. — А вы кто? — спросил щурясь.

— Князец Бахай с братом Толтохаем и Конко Акалкан! — ответил за них назвавшийся протопопом.

— Он что, сдурел? — снова закричал Похабов и, звякая цепью, стал бить кулаком в стену. — Самые верные улусы зааманатил. Государево слово и дело объявляю! Зовите Афоньку, курвины дети! — стал бить в дверь пяткой.

Едва он затих, умаявшись шуметь, заговорил лежавший на животе. Он глядел на буянившего сына боярского внимательно и незлобливо, даже с насмешкой.

— И его гордыня гложет!

— Да кто ты такой? — опять вспылил Похабов.

— Протопоп Аввакум! — терпеливо ответил лежавший. — Знавал царские милости, а нынче муки принимаю во славу Божью! Хотели меня в Москве силой расстричь в распопы, но сам царь слезно умолил обо мне Никона. В прежнем сане увезли в Сибирский приказ, потом в Тобольск, потом в Енисейск. Хотели на Лену везти, но отдали Пашкову в Дауры, мучить в пути. Терплю за истинную веру!

— Вон что? — презрительно хмыкнул Иван, успокаиваясь. — Опять царская дворня грызется! — Повеселев, насмешливо взглянул на протопопа: — Говоришь, царя видел? А правда ли, что он бороду сбрил и оделся в немецкое платье?

— Бедненький! — вдруг со слезами в голосе, умиленно, всхлипнул Аввакум. — Сам восхотел Никона-антихриста на патриаршество… А тот спутался со дьяволом, укрепя царя своим кознованием и клятвою лукавою! И поклоны, и аллилуйя, и одежку по римской бляди царя носить понуждает! Ох, Русь! Чего-то тебе захотелось немецких обычаев? Не до нас положено, лежи оно так веки вечные…

— Выходит, не лгут послухи! — облизывая разбитые губы, вздохнул Похабов. — То-то царская дворня, как и Афонька Пашков стараются ему угодить!

— У святых согласно, трижды воспевающе, со ангелы хвалим Бога, — распаляясь, все громче говорил протопоп крепнувшим голосом, — мерзко Богу четверичное воспевание… В покаянной молитве сократил поклоны с семнадцати до четырех, антихрист, блядин сын, собака косая, дурак!..

Казачий голова с любопытством уставился на опального протопопа. Был он тощ, как постник, невысок и даже тщедушен с виду, но так разгорячился, что голова тихо рассмеялся:

— Однако луженая у тебя глотка!

Услышав насмешку, протопоп сконфуженно умолк.

— Тебя-то за что в аманатскую бросили? — участливо спросил Похабов потеплевшим голосом.

— Когда поднимались через Шаманский камень, приплыли сверху люди иные и с ними две вдовы. Одной лет шестьдесят, другой больше. Плыли в монастырь, постриг принять. А Пашков давай их возвращать. Захотел замуж отдать за казаков. Я ему стал говорить: «По правилам не подобает таковых замуж отдавать». Он, осердясь, стал мучить меня. Сбил с ног, чеканом трижды по спине ударил, а после — семьдесят два удара кнутом. Здесь, в Братском, в тюрьму кинули. И сидел до Филиппова поста в студеной башне без платья. Мышей скуфьей бил. И все на брюхе лежал. Спина гниет.

— Так уж и семьдесят два? — недоверчиво уставился на протопопа Похабов. — Я знаю, что такое пять ударов. Ты хлипкий, и с трех бы отдал Богу душу.

— Как били, так и не больно было с молитвой, — теперь уже протопоп насмешливо взглянул на сына боярского. — После на ум взбрело, грешному: «За что же Сын Божий попустил так больно меня бить? Ведь я же за вдов Его заступился? Не весть что согрешил?» Тут и заболело все. Так-то мне и надо. С говенной рожей со Владыкой судиться захотел…

Похабов смущенно умолк. Ни Меченка, ни вдова ни словом не обмолвились о своем заступнике, о его муках ради них, и свои нынешние унижения показались ему вдруг пустячными, суетными. В сомнении он склонился над протопопом, поднял однорядку. Под ней спину покрывала рубаха, заскорузлая от гноя и крови. На коже не было живого места.

— Да, батюшка! — удивленно воскликнул сын боярский. — Уж не знаю, святой ты или бесноватый, но пострадал за мою венчанную жену напрасно. Все равно я ее у Пашкова отобрал и за Камень переправил… И на кой тебе за этого ряженого козла муки принимать? Горбатого могила исправит!

— Что мне грешный человечишко Пашков? — опять задиристо вскрикнул опальный протопоп. — Я против дьявола стою за человечью душу. Мне еще предстоит этого Афоньку в послушники постричь. На брюхе будет покаянно ползать у ног моих. Ради того Бог благословил мучиться и не рассуждать много…

— Ладно, ладно! — миролюбиво проворчал Похабов, не желая распалять больного попа к спорам. — У тебя своя судьба. Отойдет душа от тела, вдруг и вспомнишь пред Его очами грешного раба Божья Иоанна, сибирского казака. А то, что за старух вступился, буду жив, и я за тебя помолюсь.

За стеной кто-то потянул цепь. Рука сына боярского по самое запястье была притянута к бревенчатому срубу. Иван громко чертыхнулся и невольно припал к стене. Послышались шаги, раскрылась дверь, в аманатскую втиснулся кривоносый казак. Опасливо, вдоль стены, чтобы Похабов не достал его ичигом, протиснулся к чувалу. Аманаты оживились, выставили свои чарки. Казак наполнил их крепким хлебным вином, вытряхнул из мешка на бересту кусок коровьего масла, так же боком проскользнул к двери.

— Передай Афоньке, — крикнул вслед Похабов. — Государево слово и дело объявляю!

Аманаты выпили вино, стали есть масло, откалывая его кусками.

— Так вот и мучают! — жалостливо взглянул на них протопоп. — Масла дадут, а то и окорок. А хлеба не дадут.

— Им без хлеба хорошо! — пояснил Иван, сидя с задранной рукой. — А тебя, видать, за человека не признают.

— Не ведают, что творят! — вздохнул Аввакум. — Бесчинщики! От страха перед Пашковым меня мучают, заговорить боятся. А я гляжу на них и по лицам вижу, какая судьба им уготована!

Говорил протопоп тихо и печально, приглушенно чмокали аманаты, а Похабову чудилось, будто кто-то стоит за дверью, слушает. Подходили со многим шумом шагов, уходил один. И правда, бесшумно распахнулась дверь, двое казаков с инеем в бородах, не поднимая глаз, поставили у входа кресло, набросили на него медвежью шкуру. Ослабла цепь. Вошел дворовый мужик, тот самый, что стоял рядом с Пашковым, когда Иван стрелял. За ним втиснулся сам бывший воевода в богатой шубе, сел в кресло, мотнул головой. Дворовый шмыгнул за дверь, тихо затворил ее за собой.

— Сказывают, слово и дело против меня объявляешь? — принужденно растягивая губы в насмешке, спросил Пашков, вперившись в сына боярского немигающим взглядом.

— Объявляю! — прохрипел тот, ненавистно щурясь и сжимая ноющие зубы.

— На этого, — Пашков кивнул на Аввакума, — в Тобольском за полгода четырежды объявляли государево слово и дело, а вот ведь не в Москву везу, за Байкал, — скривил губы под ровно остриженными усами.

— Пять! — сипло поправил его лежавший протопоп. — Пять раз объявляли!

— А знаешь, кто он? — ухмыльнулся Пашков, блеснув глазами. — Колдун и убивец. Сам про себя говорит, будто убил твоего друга Петра Бекетова. Ладно бы просто убил, а то ведь три дня не давал никому подойти к телу, любовался, как собаки грызут. Вор он, твой Бекетов: в Дауры бежал с полком и казенным добром, однако своими заслугами известен по всей Сибири.

— Брешешь! — растерянно передернул плечами Похабов.

— А ты его самого спроси! — мстительно оскалился Пашков и непринужденней развалился в кресле.

Сын боярский медленно обернулся к протопопу, вперился в него мутными глазами.

— Увы мне, грешному! — страстно воскликнул тот и слегка перевернулся набок. Слезы текли по его щекам, но влажные глаза горели угольями: — Едва владыка съехал в Москву по делам Софийского собора, архиепископского двора дьяк Иван Струна вражду со мной затеял. Некий человек с дочерью кровосмешение сотворил. А он, Струна, полтину взял и, не наказав, отпустил его. А после саму дочь с женой обвинил. Вернулся архиепископ Симеон и по моему обвинению Струну велел сковать.

— Ну, знаю Струну! — грозно рыкнул Похабов. — Дальше что?

— А тот Струна на воеводский двор бежал, сказал на меня слово и дело государево. Воеводы отдали его сыну боярскому Петру Бекетову, в приставы… Его и моей душе тут грех и горе, — в отчаянии застучал лбом о нары опальный протопоп. — Архиепископ со мной стал Струну проклинать по правилам, в неделю православия в главном соборе, а Бекетов ворвался в церковь, браня меня и архиепископа. Лаял матерно, взбесился, как пес, выбежал из храма и, жалея Струну, принял смерть злую.

И три дня мы со владыкой Симеоном не давали честным гражданам взять тело… да, было так! — воскликнул протопоп, бесстрашно глядя в глаза Похабову. — А на четвертый со владыкой слезами тело омыли, отпели и погребли. Увы мне! Было такое плачевное дело! — ткнулся лбом в нары узник.

«То ли бес, то ли святой?» — вытаращился на постника Похабов. Ближайшего товарища погубил проклятьем, притом так искренне каялся и лил слезы, что смирил первую ярость в сердце сына боярского. Не сводя глаз с Аввакума, он потянул на себя звякнувшую цепь, одним рывком перехватил ее петлей и шепнул на ухо бес, как удобней удавить колдуна-убивца. Обернулся вдруг Иван к Пашкову. Бывший воевода страстно подался вперед, как рыбак на рыбью поклевку. Его рот был сладострастно разинут, глаза горели. «Черт!» — мелькнуло в голове сына боярского, будто узрел в один миг, как, удавив протопопа, выйдет из аманатской другом бывшего воеводы, выпьют они по чарке, и кончится давняя распря. Жестко взглянул в глаза протопопа и оторопел: не было в них ни слез, ни страха. Он пристально и насмешливо глядел на сына боярского, будто успел прочесть в его глазах все то, стыдливое и сокровенное, что промелькнуло перед взором. Похабов утробно рыкнул и опустил руку с цепью.

Пашков разочарованно сглотнул слюну, откинулся в кресле и блеснул тоскливым взором.

— Бог ему судья — не я! — еле ворочая языком, прохрипел Иван, разжал пальцы, звякнула о нары цепь.

— Ну, и что скажешь против меня? — насмешливо спросил его Пашков утомленным голосом. — Что ты вместо того, чтобы встретить в остроге, как подобает, бежал с бабами для блудного греха? Что, не сдав дел по нижнему острогу, бежал в верхний, а вернувшись, едва не застрелил меня и порубил моих дворовых?

— Ты мои пожитки из избы выкинул? — удивленно поднял брови Похабов.

— Я этого не делал! — усмехнулся Пашков. — Это они, — повел глазами за дверь. — Самовольно. Доложил бы мне вместо бегства, я бы их выпорол. Эй! — распахнул пинком дверь. — Приказывал я вам выселять из приказной избы сына боярского?

Губастый и кривоносый вытаращили на Пашкова испуганные глаза, боязливо завинились, тут же превращаясь из злобных псов в трусливых шавок. Печенкой почувствовал Похабов, что Пашков вымогает его повиниться и тем кончить распрю, но сам был так потрясен наглостью, с которой бывший воевода переиначил все бывшее между ними, что, не находя слов, склонил голову и пробормотал:

— Может, и зря так осерчал! Видать, бес подначил!

— Кто без греха? — вкрадчиво, с пониманием подхватил его Пашков. — Острог я у тебя не принимал, правь как знаешь! Я перезимую и уйду. Запор-то на амбаре зачем было рубить? Сказал бы. Я тебе ключи отдам. А Ваське Черемнинову веры нет. Пропьет!

«Правильно говорит, — размягчаясь душой, согласился Иван. — Васька может и пропить!» Замороченный ласковыми словами, вдруг усомнился: и чего так осерчал на

бывшего воеводу? И тут странный клекот послышался под боком. Сын боярский обернулся к протопопу, будто на отточенные тесаки, наткнулся на пронизывающие глаза Аввакума. Изможденный постник смеялся над ним, как прежде не смеялся никто, даже Пашков:

— Так же и дьявол смущал Господа нашего: «Не признаешь меня? Не признавай! Поклонись только, признав, что моя власть выше. И отдам тебе весь мир!»

Пашков не удостоил протопопа ни взглядом, ни словом.

— Снимите цепь! — приказал вставая. — Раскуйте казачьего голову.

Губастый выдернул цепь из дыры, Кривоносый подхватил Похабова под руку, помог встать. Оглушенный всем пережитым за день, Иван попытался важно поднять голову, но шея не держала, ноги расползались, как у петуха, наклевавшегося бражной гущи.

— Ловок ты, Афанасий Филиппович! — бесстрашно бросил вслед Пашкову Аввакум. — Малодушных смущаешь, слабыми страхом телесным повелеваешь!

— Чтоб ты сдох, бесовское отродье! — не оборачиваясь, выругался бывший воевода.

Похабов вздрогнул, будто протопоп метнул ему в спину нож, распрямился за дверью аманатской избы, тряхнул цепью на запястье и так звезданул кривоносому под глаз, что тот сел, обидчиво окинув взглядом Пашкова.

— Зря ты его побил! — добродушно укорил бывший воевода. — Коземка — казак добрый, из самых верных!

А дальше, как во сне, все пошло и случилось так, как в один миг привиделось в аманатской избе: Похабов сидел за столом в хоромах, выстроенных возле острога, пил вино и не пьянел, дворовые мужики, подобострастно улыбаясь, принесли его саблю, шапку и пистоль. Он о чем-то говорил с Пашковым, а в ушах звенел смех узника.

— Зря ты этих князцов зааманатил! — пожурил бывшего воеводу. — Самые верные. Ясак давали исправно. Кабы смута не началась среди их родов?

Понимать-то понимал, почему те были зааманачены, но не говорил вслух. Не то чтобы боялся, но, поклонившись раз, потерял всякую охоту к буйству и правде.

— Отпусти! — согласился Пашков. — Ты на приказе. Твоя воля!

И оба помалкивали о том, как теперь возместить этим мужикам за бесчестье. Вошел дворовый, доложил, что приказная изба помыта и протоплена, баня подходит.

— У меня заночуешь или к себе пойдешь? — спросил Афанасий Филиппович.

— К себе! — взялся за шапку Похабов. Хмуро поблагодарил за хлеб-соль. Спохватился, поймав себя на том, что часто кивает, скрипнул зубами, снова озлившись на протопопа, выругался: — Такого казака погубил, сын блядин! Петруха первым на Оку пришел, первым взял здесь ясак с братов и вышел в их степь… Помяни, Господи, — перекрестился на образа. От выпитого покачивало, но голова была трезвой и мерзко пустой.

— А понадобятся мои люди, чтобы припас доставить в Верхний острог, дам сколько надо! — прощаясь, пообещал бывший воевода.

Покачиваясь, Иван подошел к острожным воротам. Скрипел снег под ичигами. Он пнул пяткой в калитку.

— Кто? — крикнул караульный.

— Издали глядеть надо! — взревел сын боярский. — Я те, курвин сын, глаза-то прочищу!

Клацнул закладной брус, калитка распахнулась. Иван прошел к приказной избе, распахнул дверь. На лавке напротив печи боязливо сидели Никитка Фирсов и Василий Черемнинов, не понимая, что делается, таращились на вошедшего. Иван молча сбросил шубу на лавку, поверх кинул саблю и пистоль. Не перекрестив лба, полез на теплую печь. Тяжек был прожитый день.

На рассвете с похмельной головой он поплелся в выстывшую баню, долго и брезгливо сдирал с себя щелоком телесную грязь. Помылся. На душе не полегчало. С мокрой, заледеневшей на морозе бородой сел в красный угол на казенный сундук. Не поднимая глаз, стал давать наказы:

— Ты, Васька, не приказчик, хоть и седина в бороде!.. Никитка, сядешь на приказ, пока не пришлю Арефу. На рожон против Пашкова не лезь, но и свою службу знай. За каждый мешок ржи и соли ответишь спиной. Драть буду нещадно, хоть ты и сотников сын. Оба! Нагрузите мне рожью две подводы, — бросил Никите через стол ключи. — Ты, Васька, пойдешь к Пашкову и попросишь для меня четырех его казаков. Свои все на службах… Кроме тебя! — метнул злой взгляд на старого товарища.

— Так он и даст?! — вскрикнул пятидесятник, заерзав на лавке. — На крыльцо не пустит.

— Даст! Скажешь, я послал! — твердо приказал Иван.

К полудню три подводы стояли у реки. Двое саней были нагружены рожью и солью, третьи шли с овсом для коней, с одеялами и пожитками. Четверо пашковских казаков топтались возле них, поджидая сына боярского. Ни взглядом, ни словом никто не напоминал ему вчерашнего буйства. Пашков прислал пирогов, хлеба и флягу горячего вина в дорогу.

Иван, прежде чем спуститься к обозу, подошел к аманатской избе, отпихнул караульного, открыл дверь. Со скучающими лицами к нему обернулись аманаты. Протопоп лежал на брюхе, как вчера. Ничто здесь не переменилось, разве собаки теперь были не на полу, а на нарах и выкусывали блох в шерсти. Аманаты глядели на сына боярского пристально, чего-то ожидая. Протопоп же глянул мельком, будто не узнал, уставившись в одну точку, шевелил губами: творил молитвы утренние, а то и всю пятисотицу по памяти.

— Вам воля вернуться по улусам и угодьям! — с важным видом объявил заложникам Похабов. — Помните, не я вас аманатил, но я освободил, — протянул им флягу с вином.

Перед носом опального протопопа вывалил хлеб, пироги и бросил на нары пустой мешок. Аввакум на угощение глазом не повел, хотя вчера при Иване к маслу не прикоснулся.

— Ты не в моей власти! — сказал протопопу потеплевшим голосом. — Ничем другим помочь не могу.

— Надо мной одна власть! — отчужденно буркнул Аввакум, не поднимая глаз.

Браты и тунгус выпили, захмелели, заспорили между собой, не спешили покидать избу. Не спешил уйти и Похабов, все хотел сказать попу что-то важное и не знал что. Наконец пробурчал с виноватой усмешкой в усах:

— Гляжу на тебя, чего ради себя и других мучаешь?

Протопоп поднял глаза, в которых тлели огоньки претерпеваемой боли, бесстрастно и тихо ответил:

— Кто изволит Богу служить, о себе не подобает заботиться. За мирскую правду подобает душу положить, яко же Златоуст за вдову и за Феогностов сад, а на Москве, за опритчину, Филипп.

Аввакум умолк, снова зашевелил губами, Похабов все стоял, покашливая и переминаясь с ноги на ногу. Протопоп опять поднял глаза, теперь уже пронзительные, без следа боли:

— Вот ты вчера подумал: «Стоит ли страдать за дурака с выщипанной бородой, в немецком кафтанишке, с фряжской шпажонкой на боку?» А он заставил тебя по клониться дьяволу, который верховодит его душой! Пристало ли мне с ним мириться?

Будто палец сунул в рану зловредный попишка, Иван побагровел и выскочил из избы, хлопнув дверью.

— Аманатов отпустишь, как только захотят уйти! — закричал на караульного так, что тот боязливо отступил.

Не перекрестившись на крест церкви и часовни над воротами, он выскочил из острога. Быстрым шагом спустился к реке, оправдывал себя на ходу, мысленно споря с протопопом: «Жизнь прожил не кланяясь. От царя кнуты принял — не покорился и не покаялся, не то что Истомкиному выблядку! Не было такого!» И сам же по себе вздыхал: «Старый стал!»

Увидев обоз из трех саней, Арефа Фирсов выскочил из Балаганского острога в одной шапке, побежал встретить, глазам не верил, ощупывая мешки с рожью.

— Баню топи! — приказал сын боярский. — Привечай давай гостей!

В острожке по всем дням поста сквернились рыбой, не чаяли уже и на Страстную неделю, перед Рождеством, попоститься хлебом. Накинув шубейку, из ворот вышла Савина, глядела на Ивана, как всегда, любуясь и сияя глазами, стеснялась незнакомых казаков. Вечером, после бани и ужина, Иван возлег рядом с ней на печи и покаянно зашептал:

— Измучил я тебя. Как только Пашков уйдет из Братского — повенчаемся. Церковь там построили, служит уже поп Иван.

Савина крепче прижалась к его плечу, спросила вдруг:

— У тебя живот не болит? А у меня болит. Отсель и досель, — взяв его ладонь в свою, погладила ей под грудью, крепкой и полной, как у зрелой бабы. — И брюхо растет! — призналась смущенно.

Иван тихо хохотнул:

— А как родишь на старости, будто Сара от Абрама?

— Боюсь, сил не хватит! — вздохнула она. — Всю жизнь хотела от тебя родить, да Бог не дал.

Посмеявшись, оба забыли обычную пустопорожнюю нелепицу полночного разговора. А Пашковские казаки возвращаться не спешили, день и другой жили при остроге, стараясь быть полезными. Один признался:

— У головы все бегают, не дай Бог, наушники заподозрят в лени. Забьет! У тебя хорошо, спокойно. Нам бы так послужить хоть до Крещения.

— Боятся, зато все в покорности! Как вас еще держать? — мстительно проворчал Похабов. — По совести да по крестоцелованию уже и старикам не служится. Немецких обычаев возжелали! Терпите теперь!

Проворчать-то проворчал, но пашковских казаков пожалел. Людей в острожке не

хватало, и он отправил их со своими служилыми за ясаком. Только к Маслене выпроводил в Братский острог с пустыми подводами.

Ясак со степи и с карагасов был взят с недобором. Не было надежды, что с Иркута и байкальского култука пришлют больше обычного. Ходившие в улусы казаки в голос уверяли, будто среди ясачных мужиков зреет новая смута. И пришлось Ивану добавить в казну соболей из мешка, брошенного Боярканом.

Признаки смуты примечались в каждом взгляде приезжавших князцов. Казалось, дух измены витает в самом воздухе.

Вскрылись притоки Ангары, выплеснули на пористый почерневший лед лаву из мутной воды и ледяного крошева. Вскоре разорвала покров и сама Ангара. Казачий голова с нетерпением поджидал, когда из Братского острога уйдет многочисленный полк Пашкова. Присутствием его в здешних местах он тяготился. Как только кочевавшие тунгусы донесли, что по реке поднимается четыре десятка судов, Иван Похабов засобирался смотреть лес в верховьях Белой реки. Чтобы не услышала чего лишнего Савина, взял ее с собой, посадив в седло. На другой уже день женщину так растрясло, что она стала охать, хватаясь за живот.

— Неужто и впрямь забрюхатил? — забеспокоился Иван, но возвращаться не спешил.

Погода стояла ясная, буйно зеленела весенняя степь. Пашенные люди запахивали целину и радовались, что на полях нет ни пней, ни деревьев с кустарником. Телег пока ни у кого не было. Чтобы не мучить Савину верховой ездой, надо было съездить в острог за санями. Иван тянул время, не желая оставлять ее одну, садился на коня, отъезжал на видимое расстояние, оглядывал издали Ангару и снова возвращался. Так он пробездельничал целую неделю, пока полк не прошел мимо Балаганского острожка.

Вернувшись, голова стал собираться в Братский острог со всем своим имуществом и ясаком. Из казаков в помощь себе никого не взял. Река неспешно понесла струг к устью Оки. Иван с кормы только подгребал, поправляя ход лодки, иногда садился на весла и всю дорогу выговаривал свои мысли.

— Были бы у нас с тобой дети, я бы их на службу не пустил, а посадил бы на пашню. Жаль, твои сыновья на земле не осели и михалевские казачат. Куда нам с тобой податься? Разве к Тереху Савину в подворники? — грустно посмеивался. — Ой, девонька, зря ты со мной связалась-слюбилась, подумай еще, надо ли венчаться со служилым?

Савина всхлипнула, вспомнив о сыновьях. Один был на дальних службах, другой на промыслах, тоже где-то возле Даур. Она ткнулась лбом в грудь сына боярского:

— Сама судьбу выбрала!

Иван, оглядывая берега реки с нависшим над водой лесом, продолжал рассуждать:

— Может быть, обвенчаемся и вернемся в Енисейский? Я напомню новому воеводе, что Сибирский приказ ставил меня в Маковский, да не вышло… Вдруг твой Петруха одумается, бросит промыслы, сядет на землю, и мы бы с ним. Я ведь твоим сыновьям не чужой.

— У тебя ничего не болит? — опять обеспокоенно спросила Савина, оглаживая располневший живот

— Как не болеть? Все кости ноют! — отмахнулся Иван.

Казачий голова вернулся в Братский острог неожиданно для тамошних годовальщиков. Освободившись от лютой власти, казаки веселились: пьянствовали, дрались, играли в карты и кости. Унять их, старых и заслуженных, молодой Никитка не мог.

— Узнаю! — строго приветствовал Похабов товарищей по службам. — Готовьте спины, а батогов на всех хватит.

На другой уже день он по-хозяйски осмотрел острог, поставленный Дмитрием Фирсовым на месте прежнего, сгнившего. Частокол был высок и крепок. Некоторые башни, рубленные из сырого леса, успели просесть. Пустовавшие хоромы Пашкова, в которых зимовали он и его сын с женой, были поставлены в опасной близости от частокола, мельница не достроена.

Жесткой рукой казачий голова стал наводить порядок. Он осмотрел пустовавшие дома Пашкова и велел казакам раскатать их по бревнам, огородить острог двойным палисадом. Не успели служилые разобрать сени, в приказную избу ворвался поп Иван, размахивая пудовыми кулаками, громогласно заорал, что Пашков отдал эти дома церкви.

— Среди ясачных смута, батюшка! — попытался вразумить его Похабов. — Хоромы близко от стен. Вдруг нас осадят, а дома подожгут? Сгорим вместе с острогом. Никак нельзя без палисада.

Белый поп не желал слушать сына боярского, ревел о своей правде, призывая свидетелей из казаков, и буянил.

— Не подожгли же прошлую зиму? — язвил, надвигаясь грудью на Похабова.

Ни продажа, ни дарение никак не были записаны в приказных книгах. Вразумить попа, что у Пашкова был полк, а нынче при остроге полтора десятка служилых, Похабов не мог и сам стал сердиться. Тогда поп Иван в ярости пригрозил:

— Причащать тебя не буду!

Сын боярский только кряхтел и мотал головой, понимал, что по его словесной клятве про прежнюю жену венчать его с Савиной буйный поп не станет. Осерчав, голова и сам стал кричать на неподвластного ему попа:

— Чего орешь? Кто в остроге приказный? Я или ты? Будешь буянить, вышлю вместе с ясаком!

Казаки, посмеиваясь, прислушивались к распре двух Иванов, работали неохотно, к осени ждали перемены и, как водится, жили одним днем. Закончив день, на покаянной вечерней молитве казачий голова порадовался, что на посмешище казакам его распря с попом не завершилась кулаками.

С ясаком и с отписками для воеводы он отправил в Енисейский острог Никиту Фирсова с вестовым казаком, который ковал его на цепь. Пашенный староста Распута чуть не каждодневно приезжал в острог, привозил подарки, отчитывался за свое хозяйство и за людей, работавших у него, зазывал сына боярского в гости. Наконец Похабов собрался объехать пашенных.

Верхами, в сопровождении самого старосты, он добрался до его дома и ахнул. Двор у Распуты был с хоромными строениями в три избы, связанные сенями. Под ними три подвала. Два крыльца, амбар, конюшня, теплый скотник.

— Крепко живешь! — похвалил пашенного. От бани и обильного угощения отказался за множеством дел. Едва успел перекусить, как ко двору Распуты подъехал Федька Сувор, заводчик прежней острожной смуты и бегства в Дауры.

— Подворник, поди, твой? — спросил старосту, кивая на прибывшего.

— Нет, — отвечал тот. — Этот сам живет, еще и нанимает работников.

Федька приехал не случайно, он услышал от соседей, что Похабов объезжает пашенных, и стал звать его к себе. Приметил Иван, что бывший смутьян стал каким-то гладким и холеным: даже попорченное шрамами и пороховыми пятнами лицо румянилось и белело, а вел он себя так весело и непринужденно, что сын боярский подумал, что пьян. Обычно всякий пашенный встречал приказчика настороженно, ожидая от него обмана, или сам старался его обмануть.

— Что не жить? — весело балагурил Федька, сидя на коне. — Работай, гуляй толь ко по праздникам, и здесь будут тебе Дауры!

Подъезжая к его двору, казачий голова понял, отчего тот так самодовольно посмеивался всю дорогу. У Федькиной жены, его крестницы, из-под душегреи выпирало брюхо. Их двор был намного бедней, чем у Распуты, но не беден в сравнении с другими. Добротная, хоть и тесная изба, конюшня, амбар, скотник, два коня, корова, телка, двухгодовалый бык.

— У кого коня взял? — удивленно спросил Похабов

— У братов купил! И бычка, — посмеивался Федька. По здешним ценам все это стоило не меньше пятнадцати соболей.

— Промышляешь зимой?

— Промышляю мало-мало! — признался Сувор.

Они вошли в чистую избу. Жена весело поглядывала на крестного узкими глазами и пекла пресные лепешки. Пахло вареным мясом. Федька горделиво усадил за стол сына боярского, хозяйским взглядом обвел потолок и стены.

— Однако радостно! — похвалил сам себя. — Каждое бревнышко вот этими рука ми положено.

И понял наконец Иван Похабов своего пашенного человека: он не был пьян! Через бега и невзгоды пробилась-таки крестьянская кровь, та самая, что, доставшись и ему, Ивану, от деда-бобыля, томила душу в преклонные годы. И позавидовал он вдруг бывшему своему кабальному человеку, да еще и беспутному.

— Хорошо живешь! — сдержанно похвалил.

— Хорошо! — согласился Федька. — Мне бы полдесятка коней, да десяток коров, да всякую мелочь... Ничего! — беспечально тряхнул головой. — Разживемся!

Как и наказано было воеводой приказчику, сын боярский объехал все пашенные дворы. Жили в них по-разному. Большинство только числились в пашенных на государевой десятинной службе, на самом деле жили одним днем, работали на своей земле, но под началом у Распуты, чтобы выплатить отсыпную десятинную рожь. Другие обживались. Только трое пили и гуляли с самой Пасхи. Пришлось в науку дать им батогов рукой жалостливой. Еще один хлебный обротчик*, будучи пьяным, продал свою избу такому же обротчику. Тот пообещал рубль, а дал ему, пьяному, полтину и забрал дом. Пришлось всыпать батогов обоим.

Возвращался Иван в острог в добром расположении духа. Зашел в избу, Савина сидела на лавке, в ее глазах блестели слезы.

— Что опять? — испуганно спросил Иван.

Она указала глазами на свои голые ступни на тесовом полу. Они были пухлыми,

как подушки. Всхлипнула:

— Сдается мне, не переживу зиму! И живот болит, мочи нет терпеть. Плохо мне, Ванечка! Прости уж, не могу даже накормить, — подняла виноватые и жалостливые глаза. — Как жить-то станешь без меня?

— Плохо! — пробормотал Иван. Вспомнил про пашенного Антошку Титова, коновала, который лечил травами и даже бабам, сказывали, при родах помогал. Нынче казачий голова грозил побить его батогами за то, что тот курил табак. Да делать нечего,

**Обротчик — лично свободный, наемный работник, выплачивавший подати зерном.*

послал к нему вестового, позвал в острог. Заодно велел привести горбуновскую женку, свою и Савины крестницу, чтобы поухаживала за ней, пока хворает.

Коновал приехал на другой день, не припоминая голове прежних угроз, стал щупать вздувшийся живот Савины, то и дело вскрикивая «но!», «тр-р!», елозил по бабьему животу оттопыренным ухом.

Постукивая кнутовищем по голяшке ичига, десятник ввел горбуновскую женку с побитым лицом. Та со слезами кинулась к больной Савине.

— Не пускал ее Горбун! — сердито передернул плечами десятник. — Орал, будто ты ее на постелю затребовал. Пришлось постегать, а он бабу побил! — кивнул на бывшую ясырку.

Горбуниха, поплакав с Савиной, смахнула слезы с раскосых глаз и принялась за стряпню. Антошка-коновал замучил больную ощупыванием. Она постанывала, а Похабов начал уже сердиться. Наконец тот отстранился, покачивая головой и пожимая плечами:

— Кабы у телки или у жеребушки так случилось, проткнул бы кожу до кишок и гной бы выпустил. Это он ни есть, ни дышать не дает.

— Делай как знаешь! — охнула Савина. — Сил нет терпеть, кажется, брюхо вот-вот лопнет.

Коновал достал угольков из печи, налил в чарку крещенской воды, нашептал на нее, опрыскал Савину, потребовал поганое ведро и две чарки вина: одну себе, чтобы рука не дрогнула, другую бабе, чтобы не померла от испуга. Выпив без закуски, коновал маленьким ножом проткнул Савине живот пониже пупка. И потек из раны гной с кровью. Да так много, что Иван отводил глаза ко святому углу, накладывал на себя крест за крестом и все винился перед Господом за насмешки над престарелыми библейскими стариками, которые услышал нечистый и посмеялся, как водится, громче всех. Как только вытек весь гной, коновал залепил рану подорожником и потребовал с сына боярского за лечение шесть чарок, то есть полкружки крепкого вина.

— Упадешь! — недоверчиво взглянул на него Иван.

Но Савине стало легче, она свободно задышала и даже забылась во сне, а когда открыла глаза — попросила есть.

— Заслужил награду! — согласился сын боярский, налил Антошке во флягу семь чарок и пригрозил: — Завтра опохмелишься — не замечу, запьешь — дам батогов!

Коновал вскарабкался на коня, уехал подальше от острога и от казачьего головы. Савина утром поднялась и захлопотала, как прежде, будто беда миновала бесследно.

В августе дальние караулы донесли Похабову, что от Падуна поднимается сотня русских людей, и он выслал к ним казаков с лошадьми помочь дотянуть струги гужом. Сам же встречал прибывших у пристани, под острогом. Пришла перемена годовальщикам, на которую Похабов не надеялся. Половина прибывших была из пашенных людей, присланных в Братский и Балаганский остроги. Четыре десятка служилых, пришедших на перемену годовальщикам, едва хватало для обычных служб. Большей частью это были казаки из ссыльных и наверстанных голодранцев. Из старых стрельцов пришел один Алешка Олень, служивший прежде на Амуре. Василий Черемнинов объявил, что хочет остаться еще на год, и Похабов выпроваживать его не стал. Остался при нем еще на год и Арефа Фирсов.

Пятнадцать служилых и всех пашенных людей казачий голова отправил в Балаганский острог. Оттуда и из Братского собирались вернуться в Енисейский всего полтора десятка служилых. После бунта и бегств в Дауры гарнизон поредел больше чем на треть. Как рассказывал Алешка Олень, в Илимском, у Петра Бунакова, было того хуже. Иван перекрестился, помянув заупокойной молитвой Петра Бекетова, чем удивил даурца Алешку Оленя.

— А как он в Тобольский попал? Я уходил с Амура — там был, живой, — покачав головой, старый стрелец поскреб затылок и тоже перекрестился в помин. — Разве, из Якутского через Мангазею ушел!

Дав передохнуть людям, Похабов стал принуждать их укреплять острог, который прибывшим казался неприступным. Холодало. Надвигалась осень. За ней уже

виднелись белые уши зимы, а присланные казаки не имели обуви, кроме чуней и бахил, в которых пришли, то и дело отлынивали от работ, попадались голове на игре в зернь. Все жестче творил расправу сын боярский, без батога уже не выходил из приказной избы.

С осенними туманами с Байкала сплыли десять служилых Якова Похабова. Кормщиком у них был казак Сенька Новиков, отправленный казачьим головой с Иркута в помощь Бекетову. О службах атамана Якова Сенька рассказывал неохотно и уклончиво. Из сказанного старый Похабов понял, что сын так и не помог Бекетову, но в точности исполнил наказ воеводы. О том, что с ясачной казной Яков вернулся в Енисейский острог через Ленский волок и был отправлен в Москву, он уже знал от прибывших сменщиков.

За Байкалом шла нескончаемая война. Возле Селенги был вырезан весь посольский отряд Ерофея Заболоцкого. Кто напал на них? О том гадали и говорили по-разному. Едва Иван проводил служилых с Баргузина, к нему прибежал коновал Антошка Титов, стал слезно жаловаться на попа Ивана, который отобрал у него телегу с копной сена. За что отобрал, какие грехи отпустил за это сено, Похабов дознаваться не стал, велел казакам до выяснения правды выпрячь из груженой телеги казенного коня. Острожный поп ни просить, ни ругаться со служилыми не стал: сам впрягся в оглобли и притащил телегу с сеном к дому. И почувствовал Иван Похабов, как опостылело ему его головство, а перемены опять не прислали. Правда, он о ней и не просил из-за болезни Савины, а воевода медлил, получая с Ангары ясак с прибылью.

Худо-бедно, но к холодам голова укрепил острог и начал достраивать мельницу. В ноябре встала Ангара. И вдруг новая вода хлынула по застывшей реке, взломала лед и утихомирилась, покрывшись так, что ни на лыжах не пройти, ни на санях не проехать.

На второй неделе Филиппова поста Похабов начал отправлять отряды служилых собирать ясак по улусам и угодьям. Перед Страстной неделей Аманкулов внук привез ясак сам. Иван отдарил его и проводил с честью, другим в пример.

Савина опять слегла, и вскоре ей стало хуже, чем прежде. Похабов спешно собрался в Илимский острог на ярмарку прямым путем, надеялся найти там доброго лекаря. В остроге оставалась казачья старшинка, среди ясачных народов не было явных примет к смуте. На санях, вдвоем с Арефой Фирсовым, он поехал через Ангару и все удивлялся в пути, что санный путь был уже кем-то проложен. После переправы кони пошли волоком и опять по следу. Служилых в Илимский острог Похабов не посылал, пашенные, по указу, без согласия приказчика не могли удаляться от своих домов дальше, чем на пятнадцать верст. «Кто бы это мог быть?» — постегивал коня сын боярский и догнал-таки шедших впереди, узнал своих пашенных, отправившихся на ярмарку без спросу. Ладно бы это были добрые и зажиточные люди, но шли те, кто не вылезал из долгов казны. Ивашка Садовников вел за собой казенную корову, данную ему на подъем, Тимошка Савельев, оброчник Распуты, вечно жаловавшийся на бедность, волок за собой две овцы, явно на пропой. С ними Агнашка Дементьев, да Сережка Фомин, да Максимка Иванов, Ивашка Павлов — голь пропойная. Последний тащил на продажу образ Казанской Богородицы в медном окладе.

Постегав беглецов кнутом, Иван повернул их обоз обратно к Братскому острогу. Служилые не ждали его раннего возвращения и шумно гуляли среди поста: играли в карты, дрались на саблях и ножах. Съезжая изба была обрызгана кровью.

— Вяжи их! — приказал казачий голова пашенным людям, которых вернул с половины пути.

Те, сами побитые, топтались на месте, боялись подступиться. Но на этот раз Иван Похабов не остался один, как прошлый год в Балаганском остроге. Казаки Федька Шадриков да Арефа Фирсов встали за него и за обиженных старшинкой казаков. Буянов заперли в аманатской избе, заводчиков драк, стариков Черемнинова и Оленя, Иван велел посадить на цепи и начал бы среди них сыск, но Савина стала совсем плоха.

Иван спешно запряг свежего коня. Только отвязал вожжи от коновязи, из-за острожной башни вышел поп Иван. Похабов чертыхнулся про себя: примета была плохой.

— Куда спешишь? — участливо спросил поп.

— А венчаться, батюшка! — резко ответил Похабов, вращая озлобленными глазами. — Давно коришь, что живу невенчанный со вдовой, а сам не венчаешь! — Он упал в сани, хлестнул коня по крупу и помчался рысью под гору, к наезженной колее. За рекой уже, верхом на запаленной лошадке, его догнал Арефа Фирсов. На выбеленных морозом ресницах казака сосульками висели слезы. Взглянул на него Иван и понял — отмучилась Савина! Померк свет в глазах, устало, по-стариковски, опустились плечи. С самой весны он торопился, латал прорехи в делах, и вдруг стало некуда спешить. Арефа развернул его коня, пристегнул к оглобле своего, оседланного, сел в сани рядом с головой.

Втянув голову в тулуп, Похабов задремал, а после, свернувшись клубком на соломе в санях, уснул. Потом, как тягостный сон, были похороны. Собрались казачьи

ясырки, жены пашенных, с которыми Савина была добра, обмыли тело, сшили саван, беспрестанно читали молитвы кто что знал. Федька Шадриков с Арефой да Сувор собрали нужных людей, выкопали могилу в мерзлой земле, вытесали гроб. Иван только сидел на лавке напротив тела, положенного на стол, и продолжал спать с открытыми глазами. На третью ночь пришел поп, хотя его не звали из-за неприязни к казачьему голове, и отпел вдову по уставу. Тело предали земле. Душа, отделившись, витала рядом, и чувствовал ее Иван, и мысленно разговаривал с ней.

В острог приехал Горбун. Вместо того чтобы зайти в избу, стал орать возле церкви, что казаки его жену на постелю емлют. Народ сновал мимо, стыдливо поглядывая на крикуна. Первым не выдержал его брани поп Иван, вышел из церковной келейки, схватил крикуна за шиворот, выволок за острожные ворота, заложил брусом калитку и велел караульному не впускать вздорного пашенного. Горбуниха обеспокоенно забегала по избе, Иван с кряхтеньем слез с печи, с трудом очухался.

— Иди с Богом! — поблагодарил бывшую ясырку, дал ей холст, из которого Савина так и не сшила сарафан, отдал крестнице шубу покойной, проводил до острожной калитки и все озирался, удивляясь многолюдству. Он не сразу понял, что Рождество уже отгуляли, долбят проруби ко Крещению, а поп готовится святить воду.

На Крещение Похабов отстоял службу, окунулся в ледяной проруби. Прояснилась голова и он вернулся к делам: стал считать, какие роды сколько ясака дали. Оказалось, что один только удинский улус дал по пяти соболей с мужика.

После Крещения приехали братские мужики, сидевшие с ним в аманатской избе при Пашкове, привезли пять лис, и те поротые. В том был какой-то умысел: то ли насмехались, то ли надеялись на милость бывшего узника. Впервые после похорон Савины вскипела кровь, сын боярский бросил лис на землю, затопал ногами от гнева:

— Если нет рухляди, коней ведите! В Илимском за них дают до двадцати соболей и больше!

Он велел казакам посадить князцов на цепь, кормить вдоволь, а вина не давать. И оказалось вдруг, что старые стрельцы, о которых он забыл, все еще сидят скованными.

Под горячую руку Иван вымучил с братских заложников коня и еще трех лис да трех бобров и отпустил их без подарков. Арефа же стыдливо донес, что ходившие в улусы за ясаком взяли на себя большой поклон, из-за него и передрались перед Рождеством. Иван освободил злых, обиженных стариков, отпустил братских князцов и начал сыск среди казаков. Опять жег виновных, хлестал батогами, вымучил-таки из вчерашних голодранцев сорок соболей добрых. Бывало, воровали новоприборные служилые люди, но так явно и много красть боялись. Наверное, думали, что за своими бедами казачий голова забудет службу.

Из Балаганского острога донесли, что из улусов не вернулись толмач Ивашка Байкалов и служилый Яшка Васильев. Посланных за ними казаков тоже перебили. Поднималась степь, а свои острожные служилые поглядывали на Похабова злобно, разговаривали с ним сквозь зубы. На ночь он запирался в избе, саблю и пистоль клал под бок. Арефа с Федькой жили с ним. Казаки их сторонились, называли наушниками. Острог притих. Никто приказам казачьего головы не противился, никто ему не прекословил, но в каждом взгляде, в каждом слове служилых Иван видел скрытую угрозу и злорадство. Верные люди боязливо доносили, что служилые пишут жалобу, говорили, среди пашенных лютует и подстрекает против него Горбун.

Едва растаял снег на яланных полянах, к крайним по Оке пашенным дворам большим скопом подступились воинские браты. Они никого не убили, но пограбили дома и угнали весь скот. Антошка-коновал с женой и детьми попрятал добро и прибежал в острог.

Казаки кругов не заводили, но собирались по трое-четверо, горячо спорили о чем-то. Стоило показаться казачьему голове, Арефе или Федьке, все умолкали, глядели на них цепными псами.

Против дайшей Иван Похабов послал отряд из десятка служилых под началом пятидесятника Черемнинова. Казаков не было с неделю, вернулись они ни с чем и без двух новоприборных, битых Похабовым при дознании. Черемнинов немногословно оправдывался, что они бежали в Дауры, при этом язвительно ухмылялся и глядел в сторону.

Вскрылась Ангара. Как только сошел лед, Похабов отправил в Енисейский острог старого стрельца Алешку Оленя с отписками для воеводы. Он писал о смуте, просил помощи и замены. Худо-бедно, ясак за нынешний год был собран, и казачий голова мог уйти на покой с честью.

Едва уплыл Олень, острожный гарнизон как-то чудно повеселел. Казаки стали задирать Арефу с Федькой. И тут случилась беда, которая, как известно, не ходит одна, а признаки ее Похабов наблюдал всю зиму. С женой за спиной и с новорожденным младенцем в острог примчался на запаленном коне Федька Сувор. Он бросил свой двор и скот, издали завидев войско конных людей числом в полтысячи.

На другой день прибежали пограбленные пашенные, обливаясь слезами, приехал

Распута на двух подводах со всей семьей и челядью. И осадило Братский острог многочисленное войско. Всадники издали пускали стрелы в осажденных, верхами носились возле надолбов, но протиснуться сквозь них на лошадях к стенам не могли, спешиваться боялись.

Казаки и пашенные отвечали редкими выстрелами мушкетов и пищалей, стреляли во всадников из луков. Старый Похабов то и дело появлялся в самых опасных местах, жесткой рукой навел порядок в перенаселенном остроге и его оборону. При этом он не чувствовал ни страха, ни ярости, ни злости, ни сострадания — спокойно оборонялся, не прячась за стеной. Пущенные в него стрелы сбивали шапку, в трех местах продырявили кафтан, но не задели тела. Он бесчисленно отбивал их на лету саблей и втайне желал принять кончину в бою.

Для нападавших острог с надолбами в два ряда и стенами в две с половиной сажени был неприступен. Все, что они могли, это на виду у осажденных резать их скот и пировать. При этом сожгли государев амбар на берегу Оки со старыми парусами и веревками, спалили недостроенную мельницу. Через неделю войско снялось и ушло вверх по Оке. Казаки сделали вылазку. Пашенные под их прикрытием побывали на своих дворах. Уже тому, что браты не пожгли их, все были рады и просили попа отслужить благодарственный молебен.

После осады заметно переменились лица служилых. Теперь все были ласковы с казачьм головой, старались угодить ему. Даже поп Иван повинился в былой своей горячности:

— Кабы ты не настоял пустить дома на надолбы, един Бог ведает, устояли бы мы против врага за грехи наши тяжкие... А новопреставленную Савину я в алтаре поминаю!

Казачий голова объехал пашенные дворы, пометил, кому какая помощь нужна, все силы бросил на покосы и на посев озимой ржи. В хлопотах прошло лето. Ожидая перемены, Иван все чаще посылал ертаулов к Падуну и наконец дождался: они донесли, что идет отряд в полторы сотни человек под началом присланного сына боярского Якова Тургенева и молодого сына боярского Ивана Перфильева.

— Слава Тебе, Господи! — облегченно перекрестился Иван.

В том, что идет перемена и ему тоже, он не сомневался. В помощь отряду казачий голова отправил казаков с лошадьми, приоделся и стал ждать их у ворот. Топилась баня, караульные бездельничали, при той силе, что шла на подмогу, никто не смел напасть на острог. Иван вспоминал добром Савину, умевшую встретить гостей, теперь ему приходилось погонять нерадивых казачьих жен. Из остатков ржи он велел наварить каши, напечь свежего хлеба и накрыть стол.

Первым, по-родственному, ему откланялся крестник Ивашка Перфильев. Заматеревший, обветренный, с умными глазами и неторопливыми речами, он порадовал старого Похабова. Немолодой уже сын боярский Яков Тургенев прибыл ему, казачьему голове, на перемену.

Поп Иван прямо на берегу отслужил молебен о благополучном прибытии. Годовальщики узнавали среди прибывших знакомых, спешили выспросить новости, перешептывались во время молебна, суетливо крестясь и кланяясь. Поп Иван тряхнул кудлатой головой и строго взревел:

— Трепещите! Яко с нами и среди нас Бог! — и добавил мягче: — Стыдитесь! Наговориться можно после.

Как водится, начальные люди зашли в приказную избу, положили поклоны на образа в красном углу, выпили по чарке во славу Божью и первыми пошли в баню. Вечером, распаренные и усталые, они долго сидели за столом при свете горевшего жировика, угощались. Тургенев неторопливо и как-то неохотно рассказывал о Енисейском остроге, Ивашка Перфильев помалкивал, кидая на крестного оценивающие взгляды. Похабов рассказывал об осаде, упреждал и жаловался:

— Как ясак соберете за следующий год — не знаю! В этот год еле-еле собрал, без прибыли. Вел сыск среди своих казаков, они едва не взбунтовались. А браты как побежали в Мунгалы три года назад, так и бегут до сих пор.

Тургенев, слушая жалобы казачьего головы, будто превращался в слух и снова как-то чудно поглядывал на Ивана крестник.

— Что, постарел? — с пониманием усмехнулся Похабов. Ивашка молча и смущенно кивнул.

В Енисейском остроге опять поменялся воевода. На смену прежнему пришел московский дворянин первой на Москве фамилии Максим Ртищев. Иван удивился, что родня наставника нынешнего царя служит в воеводах.

— Поди, Енисейский стал важней Тобольского? — спросил по невежеству.

Крестник, опустив глаза, тихо ответил:

— Ртищевы у царя в опале. Вот и прислали!

Иван равнодушно приглядывался к новому приказчику острога. Борода его была коротко стрижена, длинные, как у ляха, усы, немецкий кафтан, легкая шпага на боку,

глаза круглые, нос длинный, как у латинянина. Все, как у Пашкова, только Афонькиной спеси не замечал в присланном сменщике. Прежние службы их не сводили. Иван слышал от кого-то, что в калмыцкой степи бунтовали подначальные Тургеневу казаки — этому или другому, он не знал и не спрашивал.

На другой день, согласно наказной памяти нового воеводы, казачий голова повел Тургенева смотреть острог. Сдал оружие, ясачную казну и отсыпную рожь. Новый приказчик ни к чему не придирался, но долго и внимательно вчитывался в записи казенных книг. Ивана Перфильева прислали на приказ в Балаганский острог, который тоже был под властью Похабова. С тридцатью служилыми и пашенными крестный с крестником отправились туда на трех стругах.

— Родство родством, а служба службой! — хмуро приговаривал казачий голова. И все удивлялся, отчего Ивашка кидает на него чудные, испытующие взгляды.

Балаганский острожек с пашней он сдал ему в два дня и здесь, оставшись наедине, молодой Перфильев осторожно заговорил о том, что его мучило с самого выхода из Енисейского острога.

— Читай! — подал свернутую трубой грамоту.

Это была наказная память ему, сыну боярскому Ивану Перфильеву, в которой говорилось, будто прежний братский и балаганский правитель так озлобил подвластный ему народ, что на него разом подали обидные челобитные пашенные и служилые люди, поп и ясачные мужики, а балаганцы откочевали из степи из-за причиненных им обид… И приказано было Ивану Перфильеву, в приставах, доставить сына боярского Ивана Похабова в Енисейский острог на дознание. Иван прочел грамоту, хмыкнул в бороду:

— После осады острога они от прежних слов откажутся! Было дело, сердились, на то они и подначальные.

Ивашка глубоко и безнадежно вздохнул:

— Всем ты хорош, крестный, но не понимаешь самого простого… Я бы и раньше сказал тебе об этом, но боялся, что раскричишься на весь острог, станешь правды требовать. Вдруг объявишь слово и дело государево!

— Ну и ладно! — смиренно пожал плечами Иван Похабов. — Оставил меня Дух Святой, как-то пусто стало на душе, будто у покойника. Вдруг и в почесть пострадать невинно, во славу Божью. Я свое отвоевал, поеду в Енисейский, пусть ведут сыск!

— Ни мне, ни Якуньке, сыну твоему, этого ну совсем не надо. А тебе самому так и вовсе, — обидчиво поморщился крестник. — Думаешь, Тургенев или воевода поверили тем обидным челобитным? Да ни одному слову! Мы — здешние, а они, временные, опальные, без твоей подсказки понимают, что ясак им нынче не собрать и обвинят тебя во всех грехах. А пока идет сыск, их вышлют на другие службы без наказания. Вот и все! — горячась, просипел Ивашка.

Похабов, тупо покряхтывая, метелкой сжал бороду в кулак:

— Что тебе надо от меня, старого?

— Перво-наперво никому не говори и не показывай виду, будто знаешь, что я тебе сказал, — приглушенно прошептал Иван Максимов сын. — Я пошлю с тобой приставами своих людей. Они довезут тебя до устья Илима, а то и до Илимского камня. Оттуда иди к воеводе Бунакову, он тебя Ртищеву не выдаст. Зимуй там. Остальное мы с Якунькой сами сделаем, и тебя оправдают.

В Братский острог старый Похабов вернулся, спокойный и равнодушный, в сопровождении молодого Перфильева, посидел на могиле Савины, отстоял молебен, собрал пожитки и приготовился к отплытию. Много лет было отслужено и пережито в здешних местах, но не западали они в душу и вот, теперь связала с ними могила. Кабы Похабов возвращался зимой, то непременно откопал бы тело и увез в Енисейский острог. Но ждать зимы он не мог — крестник требовал плыть немедля. Тургенев отправлял с ним грамоты и отписки. В охрану и в гребцы дал двух енисейских казачьих детей под началом новоприбывшего, верного ему, десятника по прозвищу Торопец. Крестник, тоскливо поглядывая на крестного, указывал на него глазами: Тургенев к Ивашкиным приставам добавил своих людей.

Иван не спорил и не горячился: еще раз сходил на могилу, слезно попрощался с Савиной, сел в струг и понесла его Ангара в свои низовья вместе с желтым листом. Вскоре, словно шум тайги при ветре, послышался Падун. После ночлега Похабов благополучно провел струг через порог и стал примечать, что казаки и впрямь ведут себя как приставы: с ним не заговаривают, как обычно, подчиняются ему с оглядкой на десятника Торопца. На устье Вихоревой реки Иван направил судно к берегу, десятник стал противиться:

— Шаман бы поскорей пройти!

— Я сказал, к берегу! — строго приказал гребцам Иван и те покорились, засопели, отводя глаза, приткнулись к суше, где он указал, вытянули струг.

— Ночевать здесь будем! — распорядился сын боярский и пошел искать могилу Вихорки Савина.

Он давно не был в этих местах и долго бродил, прежде чем нашел холмик с поникшим черным крестом. Обошел его трижды, перекрестил, опустившись на колени, краем глаза уловил за спиной мелькнувшую тень. «Хоть стар, — подумал о себе, — да учен!» Он не подал виду, что заметил следившего за ним десятника, но если прежде сомневался, стоит ли бежать в Илимский острог, тут решил — уйду! Подстрекал бес для науки обойти затаившегося Торопца и пугнуть, но он удержался, перетерпел, помня наказы крестника. Вернулся к табору, улегся в стороне от костра с коротким мушкетом, пистолем и с саблей под боком.

Утром в тумане проходили Шаман. И опять сын боярский сидел на корме, громко подавал команды неохотно подчинявшемуся десятнику, за порогом повел струг к острову, указывая спутникам:

— Ночевать здесь будем!

Торопец подчинялся с таким видом, дескать, чудит старик, ну и пусть почудит! Гребцы вышли на берег. На обустроенном стане с ветхим балаганом стали разводить костер. Похабов подхватил карабин и при сабле, с пистолем за кушаком пошел искать могилу Якова Хрипунова. Нашел ее, присел рядом, пробормотал:

— Так-то, кум! Вот и я уже старей тебя. — Опустив голову, пожаловался: — Чует сердце, грядут времена, до которых лучше не доживать!

И вспомнился ему опальный протопоп. Похабов часто думал о нем после смерти Савины. Шевельнулся под сердцем соблазн отдаться власти и пострадать за правду. Подумав, он опять пожалел Ивашку Перфильева, которому обещал сбежать, представил себе сына Якова, который непременно чертыхнется, не добром вспомнив старого поперечного отца.

— Пойду, кум, на старости лет скитаться! — сказал вслух. — Сперва к свату Бунакову, а дальше видно будет. Сюда уже не приду, наверное. В другой раз увидимся перед очами Господа. Моли Бога за меня, грешного!

На устье Илима сын боярский опять стал править к берегу. Десятник хмурился, но не перечил. Енисейские молодцы, плутовато поглядывая на Похабова, выскочили на сушу, вытянули нос струга, побежали к лесу за хворостом. Все вещи, которые хотел взять с собой Иван, с утра были уложены в кожаный мешок с лямками для плеч. Он выбросил его на сушу, подхватил карабин и на глазах изумленного Торопца двинулся по тропе.

— Ты куда? — закричал тот.

— Схожу в Илимский, воеводу проведаю! — буркнул Похабов, не оборачиваясь.

Десятник догнал его в мокрых бахилах с комьями грязи на ступнях, гулко шлепая ими по галечнику, схватил за рукав. Иван обернулся с разъяренным лицом, выхватил саблю, приставил к горлу казака.

— Тебя не учили, как говорить со старшими? — сверкнул глазами.

Торопец отпрянул, стал звать казаков. Те отзывались из кустарника, но на берег не выходили, а Похабов, сутуля широкие плечи, все дальше удалялся по тропе илимского бечевника. Он знал, стрелять в него приставы не посмеют, а силой вернуть не смогут.

Глава 16

Он неторопливо шагал вдоль берега и часто присаживался для отдыха: спешить было некуда. К вечеру беглый казачий голова заметил, что догоняет промышленных людей. Они тянули вверх по Илиму тяжелогруженый, до самых бортов просевший в воду струг. В это время добрые ватаги уже ставили зимовья, готовили в зиму припас, эта же еще только шла к Илимскому волоку. Ивану не хотелось ни догонять их, ни ночевать рядом с незнакомыми людьми и вступать с ними в разговоры. При низком солнце, когда еще можно было идти, он увидел в стороне от бечевника старый балаган с провалившейся кровлей из бересты, подошел к нему, бросил на землю мешок, карабин и стал готовиться к ночлегу.

Мучила душу всякая нелепица, как роившаяся мошка перед дождем. Уснул он поздно, а проснулся на восходе солнца с тяжестью в груди. Поникшую траву густо выбелил иней, с Илима веяло сыростью и стужей. Похабов не спешил, но на повороте реки все-таки обогнал ватажку, опять маячившую впереди. Известно, пеший ходит вдвое быстрей, чем бурлаки в постромке.

По делам службы сыну боярскому не раз приходилось наведываться в Илимский острог, но впервые он пришел сюда один, да еще с мешком на плечах. Острог стоял на берегу под горой, на которую уходил мощенный гатью волок. Над стенами и башнями возвышался купол церкви. Колокольня была рублена восьмиугольником, покрыта шатром, по углам острога — четыре башни, одна проезжая, с часовней над воротами. На берегу — пивная варня, солодовня и баня. По другую сторону острожной стены, к горе — дома служилых и пашенных.

Иван перекрестился на распятие, неумело писанное красками на часовне. Ворота

после полудня были раскрыты. Седая борода, кафтан, шапка сына боярского, мешок и короткий мушкет привлекли внимание острожных зевак.

— Кого надобно, дед? — разглядывая его, спросил молодой воротник.

— Воеводу! — коротко ответил Иван и, упреждая расспросы, сам спросил: — Недавно, поди, в остроге, коли меня не знаешь?

— В воеводской должен быть! — ответил воротник, умолчав о службе.

Наметанным глазом Иван высмотрел новую приказную избу с сенями, возле которой толпилось много народу. К таможенному столу, как водится, была очередь. С промышленных и торговых судов за волок в Купу целовальник брал по гривенному, с хлебного припаса, больше пятнадцати пудов ржи на человека, отсыпал десятину в казенный амбар. Воеводское место в избе было огорожено решеткой. За судным и кабальным столами никого не было, не было и воеводы. Иван прошел на государев двор, где он жил. Промеж горниц были темные сени с крыльцом. Без шапки, щурясь ласковому осеннему солнцу, на нем сидел Петр Бунаков и будто прощался с летом.

— Похаба, что ли? — поднялся навстречу, тоскливо замигал, ликуясь со щеки на щеку: — Однако мы с тобой не помолодели!

— Ну, здравствуй, сват! — Иван сбросил с плеча мешок, приставил к стене карабин.

Бунаков кликнул дворового. Как из-под земли выскочил стриженый мужик остяцкой породы с кедровым крестом на груди, весело взглянул на сына боярского.

— Принимай гостя!

— Заходи ус! — прошепелявил дворовый, подхватывая мешок и мушкет. — Коли в мыльню зелаес, то вода теплая, — приветливо засюсюкал. — Сказу, стобы пустили.

— Лишь бы поскорей грязь смыть! — буркнул Похабов и, заметив на себе туманный взгляд воеводы, добавил: — Неделю в пути.

Мыльня была поставлена на ряжах здесь же, возле угловой башни. Из задних сеней к ней был переход.

Вечером, при свете жировиков, душно вонявших рыбой, старая жена Бунакова все спрашивала о дочери. После второй чарки Похабов стал степенно рассказывать о казачьих и улусных бунтах, о выходе балаганцев из степи, о том, что замыслили против него новый приказчик с енисейским воеводой. Старый казак Бунаков только крякал, мел бородой по столешнице да поругивался:

— Если вести сыск по правде, то с Васьки Колесникова надо начинать, а то и с ваших с красноярами распрей! О том всякий тунгус может сказать. А спрашивают с нас!

Потом воевода долго молчал, лениво пожевывая груздочки с брусникой, вздыхал и охал.

— Крученое твое дело! — признался. — Хоть енисейский воевода мне не указ и в опале у царя, а все же — Ртищев. Ворон ворону глаз не выклюет. С ними спорить — себе дороже. А правды не докажешь.

Сват снова замолчал, и Похабов понял, что тот побаивается.

— Выдать я тебя не выдам! — пообещал Бунаков, не поднимая глаз. — Но и у себя в остроге долго скрывать не смогу. Когда еще правда победит. Ветхозаветный Яков у Бога был в любимцах, а сколько мук претерпел? — вскинул тусклые, виноватые глаза. — Нам промысел Божий не понять.

Ивану стало неловко в чужой избе: никогда прежде и никому он не был обузой. «Вот она, старость лихого человека, — подумал. — Мало жизнь прожить, надо еще и претерпеть ее до конца».

— Старые служилые, у кого сыны в службу не поверстаны, на землю садятся, деревеньками обзаводятся. Но тебе одному куда? Зимуй, прокормлю, — неуверенно объявил давний товарищ. — А там видно будет!

Иван хорошо понимал свата. Доведись самому укрывать опального, тоже думал бы, чем это обернется.

— И на том спаси, Господи! — поблагодарил со вздохом, пробормотал с усмешкой: — В Дауры, что ли, податься?

— То и дело бегают! — с горячностью отозвался воевода, будто поддерживал его помыслы. — Иных беглецов вешаем и порем, других прощаем… А они, проклятущие, народ рассказами смущают.

Уронив голову на руки, Похабов горько рассмеялся.

— Ты чего? — вскинул удивленные глаза воевода.

— Старые промышленные, кого ловил на воровском тесе, ужо встретят меня в Даурах, со смеху, поди, в штаны наложат! Прости, Господи! — размашисто перекрестился, косясь на образа.

— Всякое бывает! — вкрадчиво заметил Бунаков и в словах свата Иван почувствовал желание поскорей спровадить гостя.

— Ладно! Бог не оставит! — зевнул. — Знаю, в тягость я тебе, а все равно не бросишь в нужде. За неделю-другую осмотрюсь, решу, где укрыться, чем кормиться. — Вздохнул всей грудью: — Совсем мало нас, старых, осталось. Иные к Господу отошли,

другие, калеки, на пашне доживают. Эх! Как вспомню Петра Бекетова, так душа кровью обливается. За что Господь покарал такой кончиной? Слыхал, поди? — взглянул на воеводу.

Бунаков выпучил глаза:

— Какую кончину? Свят… Свят... — торопливо закрестился. — Утром был, хворый, кручинный, но живой. Воевода Ртищев вытребовал его из Якутского для сыска.

— Петруху? — теперь уже выпучил глаза Похабов. — Нынче утром живой? — затряс головой, смахивая с глаз хмель и сон. — Ничего не пойму! Битый Пашковым протопоп слезно каялся, что загубил его в Тобольском, сам отпел и похоронил. Для чего на себя наговаривал?

— В посаде у пашенного живет, — пожал плечами Бунаков. — С утра собирался плыть в Енисейский.

Утром до молитв и завтрака Иван Похабов вышел из воеводской избы. Возле гостиного двора были устроены лавки купцов, да так тесно, что между ними и двоим не разойтись. Несмотря на раннее утро, здесь уже толпились торговые и промышленные люди. Судя по шапкам, в большинстве это были устюжане. Острый глаз сына боярского цепко высмотрел среди них старого сибирского промышленного в ичигах, в кожаных штанах, в рубахе, шитой по-тунгусски. Иван пригляделся к нему со спины, подумал, что человек сильно похож на Илейку Ермолина, только плечи не так прямы и спина просевшая. Из любопытства подошел, взглянул сбоку и удивленно вскрикнул:

— Илейка или че ли?

Тот пугливо обернулся. Его лицо было густо иссечено глубокими морщинами, вытесанными долгой жизнью без крова. Илейка взглянул на сына боярского, и крупные, как горох, слезы покатились по бороде. Потискав Похабова сильными еще руками, он отстранился. С двух сторон от них уже стояли устюжане и терпеливо ждали, когда нечаянно встретившиеся старики освободят проход.

— После найдешь! — отмахнулся от расспросов Иван. — Боюсь Бекетова упустить.

Над рекой курился, перекатывался клубами туман, из-за горы поднималось солнце. По волоку, кто гужом, кто бечевой, промышленные и торговые с криками тянули струги. На Илиме возле судов тоже толклись люди. Бекетова Иван узнал издали. Его струг явно готовился к отплытию: двое казаков укладывали мешки, старый сын боярский надзирал за ними с суши.

— Живой? Петруха? — запыхавшись, Иван сгреб товарища в объятья. — А я уж, грешный, другую зиму поминаю тебя среди упокоившихся.

— Что так? — отстраняясь, спросил Петр Иванович. Волосы и усы его были белей снега, когда-то сиявшие белизной глаза подернулись старческой паутинкой усталости. При нем были два знакомых енисейских казака, уходивших с Петром за море. Увидев сына боярского, они вышли на берег, поклонились.

— Все перебиты или померли от голоду! — опустил погасшие глаза Бекетов. — Не сильно ты ошибся. А я, к своему несчастью, жив. И они, — кивнул на казаков. — Все, что осталось от полка. Воевода зовет, грозит за утрату казенного добра взыскать в Енисейском с семьи. В моем окладе уже который год бывший таможенный подьячий... А на Тугирском волоке обокрали меня до нитки. — Бекетов обидчиво поджал губы под белыми усами, равнодушно взглянул на слезы, висевшие в бороде товарища. — Жив! Прогневил Господа, завидую теперь павшим в бою!

Задерживая намеченное отплытие, все четверо присели у воды. Похабов только тут увидел топтавшегося возле них Илейку, кивнул ему, чтобы садился рядом, пока наговорится с товарищем.

— Слыхал от Пашкова, что в Дауры ходил! — пробормотал, не зная, как обнадежить Бекетова. — Я ведь тоже в бегах. Ртищев велел явиться на сыск, а крестник уговорил скрыться. Енисейцы сказывают, Максим Перфильев с Иваном Галкиным маются старыми ранами, молят Господа прибрать души. За что, про что нам всем так?

Глаза Бекетова прояснились, он торопливо заговорил о том, что было на уме:

— И Ваську Колесникова за Байкалом, на Прорве-реке, его же енисейские служилые ограбили, побили, со всей казной бежали в Дауры… А мои оголодали на Селенге. Сперва верхоленцы ушли, потом охочие. Мои, двадцать семь сабель, собрали круг, тоже решили идти, спасаясь от голода. Приплыли плотами к десятнику Онуфрию Степанову, в хабаровское войско, а тот сам голодает и непрестанно воюет. И велел он мне, казачьему голове, быть у него по словесному челобитью до государева указа. Под знамя меня выводил, грозил побить, а назад не пускал. И воевал я с богдойцами за один прокорм. А как смог вернуться на Тугирский волок, там обокрали меня нанятые ярыжники. Я им еще двадцать рублей за работу дал.

Бекетов по-старчески занудно стал перечислять меха, шубы, шелка — все, что у

него украли. Илейка, слушая, сопел все громче и громче. Не выдержав, ахнул:

— Вот так за прокорм воевал! Ни на Лене, ни на Ангаре, на погромах столько не брали. И дворянин Зиновьев ехал на Амур для сыска над Хабаровым с двумя стругами, а через два месяца возвращался с пятью…

Бекетов неприязненно взглянул на старого промышленного. поднялся.

— Однако пора! — обернулся к Ивану: — Теперь уж, поди, только перед Господом увидимся! Прощай, что ли, брат!

— И эта встреча чудо! — всхлипнул Иван, обнял товарища. — Кто первый перед Ним предстанет — тот и молись за нашу старость!

Поплыл струг, взмахивая веслами, как птица крыльями. Постояв, Похабов обернулся к Илейке.

— Слыхал я, ты с Васькой поверстался в казаки по Верхоленскому острогу? — спросил, оглядывая давнего знакомца. — Хохотал, помню, до упаду! — признался с грустной улыбкой.

Служил в казаках, — нахмурив лоб, признался Илейка. — Последние годы при Якутском остроге. Все хотели быть в первых, — озлился вдруг. — Я этот самый волок открыл. Кто помнит? Разве Господь? — Перекрестился и знакомо засопел: — Однако такая встреча! Надо бы выпить.

Иван мог попросить вина у воеводы, но вернулся на гостиный двор, к лавкам, выбрал новый, толстого сукна зипун, примерил и спросил сидельца, сколько даст в обмен на его дорогой кафтан. Сиделец долго рядился, жаловался, что зипуны в спросе, а покупатель на кафтан еще невесть когда найдется, между тем прощупал все швы. Сторговались на рубле с двугривенным в продажную и покупную пошлины.

— В кабак не пойдем, однако! — опасливо остановил Похабова Илейка.

— Драться будешь? — усмехнулся Иван.

— Давно не дерусь, — оправдался Илейка. — Нынче, как выпью чарочку, так плачу. — Засопел, воротя нос, и оправдался: — Там, в кабаке, подсядут всякие знакомые, ни выпить, ни поговорить не дадут…

— И то правда! — согласился Иван.

— Я тебя там подожду, — Илейка указал на берег с нависшим над водой кустарником. — Посидим, подальше от чужих глаз.

С седой бородой, в грубом зипуне нараспашку, в красной шапке, с золотыми бляхами шебалташа поверх шелкового кушака, Похабов обращал на себя взоры здешних проходных людей, изредка встречался со знакомыми. Те кивали и кланялись ему с почтением, с недоумением глядели на зипун. Половой, узнав бывшего братского приказчика, налил ему в кувшин кружку хлебного вина на вынос.

Илейка терпеливо ждал возле небольшого костерка. Его узловатые, натруженные пальцы сжимались и разжимались. Он взглянул на Похабова тоскливым и пристальным взглядом пропойцы, повеселел, увидев кувшин, достал из-за пазухи чарку, искусно вырезанную из березового капа.

— Во славу Божью! — перекрестился на церковную маковку, возвышавшуюся над острожной стеной, выпил не поперхнувшись, благостно помолчал и снова заговорил: — Как расстался с братаном, так все думаю, кто кого предал и бросил? — И опять озлился, бросая тоскливые взгляды на кувшин. — Кости болят, мерзну зимой и летом, прежней силы нет!

— Старость не радость! — степенно согласился Иван. — Сказывают, у покойников ничего не болит и не мерзнут… Только говорят все послухи, хоть бы одного Лазаря послушать.

Илейка уставился на него туповатыми глазами и захохотал, придвигая чарку. После другой, за помин душ товарищей, спросил, пошмыгивая носом:

— Ты-то как жил? Тогда еще ходил в сынах боярских.

Иван помолчал, пригладил пальцами седую бороду.

— В воеводы не вышел, а казачьим головой служил. — И развязался хмельной язык, запросила выговориться душа, рассказал о построенных острогах, о кончине не венчанной жены, о брате, не умолчал и о том, что нынче, без вины, в бегах.

В глазах Илейки затеплилось понимание. За свою долгую и многотрудную жизнь кое-какой умишко нажил и он.

— Долгонько будешь правду искать! — с сочувствием покачал головой на крепкой еще, бурой, как кора, шее. Подбросил хвороста в костер. — Много промышленных зарекались тебя убить, да и я, по грехам, то злился, то каялся. Всякое было. Служил ты воеводам, как пес. Иному казаку, бывало, покажешь пару соболей и иди на все четыре стороны. Ты же всю десятину возьмешь лучшей рухлядью, все животы перевернешь, с лишнего пудика ржи и то отсыплешь. Но чтобы ради корысти, против закона — такого на тебя никто не скажет.

Что о том? — встрепенулся вдруг. — Я и сам служил, то и другое пережил. — Илейка хлюпнул носом и сказал трезвеющим голосом: — Знаю, ты не предашь, хоть бы и себе в оправдание! Скажу тайное. Я тоже в бегах. Прошлый год воевода

Пушкин прилюдно бил брата батогом, а он с обиженными казаками захватил струг, поплыл на Погычу. Слыхал? Новая земля, которую нашел Мишка Стадухин. Говорят, там много соболя, много всяких чужих народов, но нет хлеба. Не может быть Ирия там, где нет хлеба. На кой мне соболя? Мало я их добыл? Мне в Ирию надо, а она на Амуре. Туда бегут! И я за братом не пошел, взял на себя грех, предал ли его? По Олекме застава на заставе, окольно вышел на Илим с ватажкой старых сибирцев и беглых, а здесь они заявились промышлять соболя возле Верхоленского острога, будем там зимовать, потом уйдем в Дауры, другим путем, где нет застав…

— Ты же слышал от Петрухи — что там! — шевельнул плечами Похабов.

— Нам война в обычай. Зато хлеба наедимся. Даст Бог, чего-нибудь добудем на старость. А помрем на Великом Тесе — судьба такая! Наши кости, крест или холм станут затесью на пути. А вдруг дойдем?! — восторженно прошептал, молодея лицом.

В оба глаза глядел на него Похабов. Илейка был ему ровесником, но Животворящий Дух не оставлял старого бродягу. Давно ли Он переполнял и самого Ивана: бросал в сечу с рейтарами под стенами Кремля без надежды выйти живым, понуждал голодать, ждать казни. Бывало страшно, но будущая жизнь влекла, а Господь обнадеживал. С кончиной Савины, все пропало, впереди чудилась только тьма.

— Однако! — пробормотал Похабов. — Завидую, что еще чего-то хочешь. А я, видать, исполнил назначенное Господом. Лежать бы на печи, молиться о кончине безболезненной, непостыдной, гроб да крест тесать, как пашенные старики. Не судьба! — вздохнул кручинно. — Исполнить-то исполнил, а что Бог смерть не шлет, не пойму. Ходит где-то рядом, холера, не берет. Правильно Петруха сказал: по грехам не принял Господь наших душ в бою. — И вскинул глаза на Илейку: — Вот ты видел беспечальным хоть одного старика из старых казаков или промышленных?

Счастливые дошли до Ирии или померли в пути! — с уверенностью отвечал Ермолин. На его бесхитростном лице плутовато блеснули глаза. — А как дойдем?.. И помирать расхочется!

— Никак зовешь меня на Амур? — Иван с любопытством уставился на своего старого знакомца, с которым за всю прежнюю жизнь не говорил столько, сколь ко за двумя чарками.

Илейка долго пучил глаза на беглого сына боярского, потом откинулся на спину и захохотал. Рассмеялся и сам Похабов. Старики, не сговариваясь, залили костер, с ополовиненным кувшином пошли к промышленному стану. Илейкина ватажка была ни велика и ни мала: шесть промышленных и он сам. Передовщик — вологжанин с бельмом на глазу, опасливо взглянул здоровым глазом на гостя. Двое прикрыли лица конской сеткой, хотя гнус не лютовал. К осени народу возле острога собралось множество, все спешили, на волок выходили по очереди. Захмелевший Илейка стал нахваливать Ивана, обещая дать за него поруку. Промышленные помалкивали, недоверчиво оглядывая старого служилого. Вино из опорожненного кувшина не сильно задобрило их.

Ночевал Похабов у воеводы и поделился с ним соблазном уйти на промыслы в верховья Лены. Сват его поддержал:

— К Покрову придут посыльные из Енисейского, будут пытать, где ты. Скажу, на промыслах. Могу отправить в Верхоленский с грамотками. Быстрей доберешься. Завтра же твою ватажку пустят на волок без очереди и досмотра.

Последняя мысль Петру Бунакову очень понравилась. Едва Похабов дал согласие, он поднял среди ночи писчика и велел ему делать списки с грамот, присланных из Тобольского города. Уже то, что он так спешил избавиться от опального свояка, вынуждало Похабова покинуть Илимский острог.

На другой день утром он пришел к бездельничавшей ватажке с дворовыми людьми воеводы. Сам нес только мушкет и грамоты с печатями, дворовые тащили мешки со снедью и пожитками.

— Иду с вами до Верхоленского, посыльным от илимского воеводы, — показал ватажным грамоты. — А потому собирайте животы, тащимся на волок без очереди и досмотра.

Скучавшие люди радостно закрестились, удача была явной. Не протрезвевший еще Илейка опять стал куражиться, ударил себя в грудь мосластым кулаком:

— Я здесь был первым! Меня на волоке все почитать должны!

Ватажка вышла на Лену, когда по ее берегам уже намерзли ледовые забереги, а по воде то и дело плыли одинокие льдины. Крутые, часто скалистые горы сжимали русло реки. В одних местах они напоминали байкальские кручи, в других распадались просторными лугами.

Возле Верхоленского острога передовщик стал ругать тамошних казаков. Река здесь была узкой, обойти острог или проскользнуть мимо незамеченным не было возможности. Лед заберега в иных местах намерз до семи шагов, струг все чаще

приходилось проталкивать шестами. Ватага проходила мимо заставы ранним утром. Напротив острожка уже стояли казаки и поджидали судно. Служилые были незнакомы Похабову, Илейка же прятал от них свое лицо и сторонился встреч.

Иван показал казакам грамоты илимского воеводы и, пока те осматривали струг, с уверенностью человека, привыкшего повелевать, пошел к приказному. При встрече с ним нимало удивился, увидев в кафтане и шапке сына боярского братского мужика. Приглядевшись, узнал заматеревшего Куржумова сына, новокреста — Василия Ларионова. Тот и в молодости больше походил на Бояркана, чем на отца, теперь еще больше стал похож на дядю.

— Слыхал о тебе от Бекетова! — польстил ему Иван. — Сказывал, что с тобой на Амуре служил!

Куржумов сын, щуря узкий глаз, с непомерной важностью взглянул на старого сына боярского, неспешно и строго осмотрел печати, принял грамоты воеводы, чисто, но гортанно ответил:

— С Петром Ивановичем бились против богдойцев явно и не один раз. И выходили с Амура вместе. Только я в Москву, к царю! — как Бояркан в молодости, подрагивая тучными гладкими щеками, повел плоским носом в одну сторону, в другую, указывая гостю высоту своих заслуг и нынешней должности. — А Петр Иванович — скрылся в Якутский острог! — дрогнули в ухмылке полные губы.

Поглядывая на приказного, Похабов не стал напоминать, что когда-то сопровождал его на Тутуру, знал отца и дядю, подумал: «В почесть ли новокресту родство с ними?» Что-то в широком Васькином лице сильно отличало его от братских мужиков. Уже спускаясь к реке, к ждавшим спутникам, Иван понял, что: настороженная, плутоватая ухмылка и подвижные, бегающие глаза.

Ссылаясь на заморозки, ватага не пожелала задерживаться при остроге. Служилые предупредили, что в улусах неспокойно, летом браты отбили у них и угнали табун казенных коней, за малолюдством казаки не устроили погоню. Верхоленские улусы и прежде были немирными, а теперь, когда мунгалы караванами везли в братскую степь товары и зазывали братов в подданство к царевичам, острог жил в постоянной опасности нападений.

Дальше ватажные двигались, отталкивая густо плывшие льдины и поколачивая забережный лед. Когда река встала, передовщик с товарищем ушли в братский улус мятежного, немирного рода. Как оказалось, больше половины людей из ватаги и сам он промышляли в этих местах уже несколько лет. Похабов и пятеро его спутников разбили табор, стали ждать, когда окрепнет лед.

Вскоре к стану подъехали братские всадники, весело приветствовали промышленных, без всякой неприязни дали им коней. Только здесь Иван узнал, что у передовщика и его верных спутников неподалеку было зимовье, которое никто не сжег, хотя при нем все лето жил один старик. Ватага, пополненная беглыми казаками, привезла рожь, соль, крупу и конопляное масло. Передовщик платил здешним братам ясак соболями и жил среди них безбоязненно. Узнав об этом, Иван долго хмыкал и грустно посмеивался:

— Вот ведь как Бог завязал? Всю жизнь ясак брал, теперь плачу!

Старик, живший в просторном зимовье, был намного старше и дряхлей Ивана с Илейкой. Все, что ему было по силам, — это поддерживать огонь в печи и варить кашу. Этим он и занимался. Промышленные, добравшись до обжитых мест, отдохнули, отмылись и стали готовить припас в зиму. Иван с Илейкой взялись таскать и колоть дрова.

В хлопотах дней и долгими вечерами старому Похабову пуще прежнего стало казаться, что его нынешняя жизнь всего лишь тягостный сон. Занимаясь каким-то пустячным делом, он иногда будто просыпался, сам себе удивлялся и снова упокоивался в своем живом еще теле. «Не умрешь — не родишься!» — то и дело бормотал запавшие на ум слова Герасима. Его прежняя воинская жизнь отсыхала, отпадала как старая шерсть, а в другой, смутно и неприязненно чудившейся, не представлялось ни служб, ни войн, ни тайных троп в неведомые земли.

На Евдокию, когда закончились промыслы, Похабов узнал, что ватага добыла соболей мало, но это нисколько не опечалило его. Ватажные оставили в зимовье беглых казаков со стариком и уплыли за съестным припасом. Похабову на четверть пая положили семнадцать непоротых, немятых соболей и три лисы. К осени вернулся передовщик со спутниками, привез рожь, крупы и соль. Еще одну зиму ватага промышляла на том же месте.

Весной за добытое на промыслах передовщик купил у братов коней. В этих местах они ценились дороже, чем в степи или у окинцев. Купить своего коня Иван не смог, рухляди не хватило. Передовщик же купил трех и предлагал поменять любого из них на его укороченный винтовой мушкет. Бывший казачий голова всю прежнюю жизнь почитал оружие за святыню, покупал, но никогда не продавал из боязни, что проданное, как преданное, оно отмстит прежнему хозяину. И как ни торговался

передовщик, как ни уговаривал беглого сына боярского, тот не хотел расставаться с карабином, пистолем и саблей.

— Даст Бог кончину — возьмешь из мертвых рук даром! — отвечал, равнодушно разглядывая бельмо в глазу.

Едва оттаяли солнечные поляны, промышленные заспешили со сборами, чтобы успеть переправиться через Ангару по льду. Старик не пожелал уходить из этих мест. Промышлявшие с ним связчики переговорили между собой и решили не неволить его, полагаясь на Господа, простились и оставили старика в зимовье с припасом ржи. Соблазн остаться здесь на миг охватил Похабова. Подумав, он понял, что втайне это было желание запоститься до смерти, а значит, погрешить перед Господом, помогавшим в прежней жизни.

Промышленные люди на лошадях выбрались из тайги. Лес расступился широкой долиной, с двух сторон окаймленной невысокими склонами с деревьями по краю. Четыре дня путники то шли по ней, держась за подпруги, то сидели на конских спинах среди мешков. Наконец ватага стала подходить к местам, знакомым Ивану Похабову. Вдали засеребрилось покрытое льдом русло Ангары. Старый сын боярский, дремавший в седле, встрепенулся, впервые после похорон Савины что-то смутно затомилось в его душе и обнадежило, словно весенним ветерком пахнул отнятый Животворящий Дух.

В виду реки передовщик открылся беглым казакам, что собирается идти к Байкалу Иркутом, и начал путано рассказывать, как туда ходят.

— Нельзя там переправляться! — стряхивая сонный морок с глаз, сказал Иван. — Казаки из острожка увидят, а Иркут в низовьях сильно извилист. Я знаю прямой путь.

Сказав так, он повернул коня вдоль берега, принимая на себя бремя власти. Ватажка послушно потянулась за ним, а бывший казачий голова вдруг почувствовал себя вором в родном доме. Сердце, бившееся ровно и безучастно, стало волноваться и покалывать. Оглядываясь на холмы, между которых вытекал на равнину Иркут, Иван спустился к Ангаре, спешился и велел готовиться к переправе. Выстукивая лед посохом, первым пересек реку, помахал спутникам, чтобы шли по его следу.

Все переправились с лошадьми. Передовщик недоверчиво таращил бельмо на старого сына боярского, но не перечил, взглядом спрашивая, что дальше. Похабов приказал становиться на ночлег. Горел костер, стреноженные кони всхрапывали и выискивали свежую зелень в сухой траве, промышленные пекли рыбу на рожнах. Илейка, покряхтывая, устраивал балаган. А небо хмурилось, ночью мог пойти снег.

— Теперь нам погода нестрашна! — ежась от сырости, ворчал Похабов и оглядывал примолкших спутников. — Уберег бы Бог от встречи с казаками... А здешние места я знаю, к Байкалу ходил не раз.

— Я и дальше ходил! — вперился в него передовщик лешачьим глазом. — Но Ангарой и Ламой, вдоль берега.

Похабов не стал рассказывать о своих хождениях за море, повел взглядом на низкое небо. В сумерках вечера поблескивали снежинки, промышленные жались к костру. Старый сын боярский накинул на плечи шубный кафтан, вывернутый мехом наружу, стал сушить зипун, покашливая от едкого дыма, пробормотал при общем недоверчивом молчании:

— Вы вот что! Завтра сделайте дневку, а я съезжу в скит, все высмотрю и узнаю. — Не дождавшись ни согласия, ни осуждения, добавил: — Из ружей не стреляйте, казаки услышат, дымных костров не жгите.

Утром он поднялся раньше всех, оседлал коня. Оставив на стане карабин, с пистолем за кушаком и саблей на боку переправился в обратную сторону, на правый берег Ангары. Едва он отъехал к реке, молодой промышленный боязливо спросил передовщика:

— Не донесет?

Тот кивнул на Илейку Ермолина. Старик, услышав сказанное, распрямил широкую спину, сипло посмеялся:

— На кого доносить? С вас-то что взять? Разве коней! А нас, — указал глазами на беглого товарища, — и самого Похабу на цепь и в Енисейский, под кнуты, потому, что нагрешили! — заявил с важностью, хмуря бровь, стал обыденно ворчать, поучать молодых: — Все выгод ищете… А прежде народ другой был, бывало, сперва старику поклонятся, потом попу… Старых промышленных воеводы как ни пытали про тайный тес, те молчали или несли нелепицу, за честь почитали не только под кнуты лечь, души положить за други своя.

Землянок в скиту прибыло, вокруг часовни торчали из земли покрытые дерном крыши. Все строения были обнесены пряслами, а на карауле не было ни души, видно, скитники во всем полагались на Господа. «Молятся!» — подумал Иван и привязал коня к пряслам. Крестясь и кланяясь, потянул на себя тесовую дверь часовни, в лицо

ударил теплый дух постного масла, смолы, спертый запах человеческих тел. Герасим в скуфье подслеповато жался к оконцу, совершал «От Матфея чтение». На вошедшего никто не обернулся. Похабов встал у двери и наравне со всеми начал отбивать поклоны. Это была непомерно долгая, по какому-то празднику, литургия на антиминсе.

Через час старый Похабов уже нетерпеливо переступал с ноги на ногу, сердился и подумывал тихонько уйти. Герасим на виду у всех стал творить то, что попы делают при закрытом алтаре: поднял руки, и Иван почувствовал вдруг, как сквозь тесовую крышу на него и на всех теснящихся в часовенке сошел Дух. Похабов впервые ощутил его так близко, недоверчиво мотнул головой и удивленно уставился на Герасима. Радостно входил в грудь, искрился показавшийся сперва спертым воздух, молившиеся калеки преобразились в молодых и красивых, пропала привычная тяжесть в теле, сонливость в голове. Окончание литургии, причастие и благодарственные молитвы радостно и незаметно промелькнули перед глазами беглого сына боярского как счастливый юношеский сон. Наваждение прошло. Люди радостно оживились, прикладываясь к иконам, Герасим бережливо защипнул горевшие лампадки, оставив только одну.

— Не узнал, батюшка? — протиснулся к нему Иван.

— Теперь узнал! — приветливо ответил монах, как будто они расстались вчера.

— Опять прохожу мимо! Недалеко отсюда, — стал оправдываться Иван. — Так и не срубил тебе город.

— Садись, что ли! — скитник кивнул в угол, на лавку. — Теперь я здесь ночую.

Похабов прокашлялся:

— Вижу, жив-здоров, ну и ладно! Еду, думаю, как не завернуть, давно не виделись. — И вдруг спросил, удивленно таращась на монаха: — А что это было?

— Господь был среди нас! — как об обыденном ответил Герасим и добавил: — Как всегда при таинстве причастия.

Похабов покачал головой, почесал затылок, проворчал:

— Вот ведь. Никогда так не пробирало. В Тобольском в Софии причащался… В Москве…

— Это когда же ты частокол на острове ставил? — спросил Герасим, не желая говорить о том, что потрясло старого казака.

— Да лет уж семь тому, больше!

— Вот ведь как время летит! — монах вздохнул с легкой печалью.

— А я нынче в опале, — стал рассказывать о себе Иван. — Бегу в Дауры! Свидимся еще — нет ли, не знаю! Все вспоминаю наши молодые разговоры в Москве, в Троицком монастыре. Наставлял ты меня с Ермогеном служить. Двум царям служил верой и правдой, хоть и поругивал их. Ни чином, ни должностью не был обижен. Сын дальше пойдет — умен! А мне, видать, пришло время пострадать.

— Это уже как Господь решит! — мягко и уклончиво подсказал Герасим. — Он дает страданий по силам. В Даурах — тоже служба! — обронил, будто исподволь благословил.

— А еще думал всю эту зиму и прошлую, не сделать ли вклад в скит, не остаться ли с тобой до кончины. Но нет в душе призвания, пусто в ней, как в лабазе весной, а без призвания как?

— Это ты правильно сказал! — рассеянно согласился Герасим, думая о чем-то своем. — Бог призовет — придешь!.. Давеча я молился-молился и задремал на коленях у креста. И явился во сне Господь, обернутый в плащаницу. Самого не разглядел, не посмел поднять глаз. Слышу: «Скоро уже! Острог поставят, а там и город!» Я ему, в слезах: «Благодарю Тя, Господи! Не зря жизнь прожил!» — Монах всхлипнул, часто замигал, смаргивая ресницами счастливые слезы. — А Он мне: «Герасим! Тебе в тот город надо душу вложить — монастырь построить!»

Очнулся я. Испугался. Сколько ни слал поклоны, челобитные воеводам да сибирскому владыке — не было ответа. Острога и того не построено — твое зимовье только. Думаю, сколько же нам жить-то, чтобы и монастырь, и город увидеть? Сто лет, что ли?

— Инок Тимофей не дожил, однако случилось, как пророчил: на месте его кельи нынче Спасский монастырь. — Иван перекрестился, вспомнив первого енисейского молельника.

— Нам надо дожить! — вздохнул Герасим и поднял на Ивана лучистые глаза. — А ты, никак, помирать собрался? — спросил с насмешкой.

— Да, пора бы! — пожал плечами Похабов. — Я еще при царе Борисе родился. Что попусту воздух портить да хлеб переводить? Отверг Бог от лица своего по грехам моим, Святого Духа отнял.

— Когда придет твоя пора — Господь сам решит! — резко осудил монах тайные помыслы старого служилого как нелепые. — И Дух прав обновит в утробе!

— Так ты благословишь идти в Дауры? — вкрадчиво спросил Иван.

— Ступай куда знаешь! — досадливо поморщился Герасим. — Все одно придешь, куда Господь приведет! — И добавил с укоризной, разминая пальцы изработанных рук: — Всю жизнь от меня бегаешь, как юнец от могилы, а тут, может быть, вся твоя подлинная слава явилась бы!

Не облегчил душу Герасим, как хотелось Ивану, не стал зазывать в скит, только укрепил в решении идти на Амур. Больше идти все равно некуда. Но возвращался Похабов со спокойной радостью в груди, удивленно хмыкал в бороду, снова и снова вспоминая то, что нечаянно восчувствовал в скиту. В сумерках опять засеребрились в воздухе снежинки, да так празднично, как кружили только в молодости.

Добравшись до стана, он объявил, что утром можно отправляться к Иркуту стороной от казачьего зимовья. Служилые если и ждут промышленные ватажки, то с реки, нартами.

Уснул он поздно. Долго лежал под шубным кафтаном, глядел в небо, прислушивался к треску костра и чему-то улыбался, лелея в душе нечаянную радость. Утром, к удивленью своему, почувствовал себя отдохнувшим: спина и суставы ныли, но голова была свежа. «Не иначе как Герасим благословил!» — подумал с благодарностью.

После завтрака и молитв он нагрузил коня, взял его в повод и повел припорошенными полянами напрямик к видневшимся холмам. Конек шумно втягивал воздух чуткими ноздрями, с опасливым всхрапыванием проваливался сквозь наст в просевшие сугробы, с хрустом хватал на ходу прошлогоднюю смерзшуюся траву вытаявших полян. На солнцепеках под ней уже набирала силу сочная зелень.

Скрываясь за деревьями, ватажные вышли к долине Иркута. Свежих следов людей и скота не было. Горы все тесней сжимали падь притока. По его берегу тянулась широкая тропа, по ее сторонам белели старые скотские кости.

Ватага ночевала, с рассвета снова, осторожно, крадучись, шла, опасаясь встреч с братами, мунгалами, казаками. С каждым часом оживала река, местами бурная вода подступала к тропе и в самом узком месте, где она проходила под скалистым склоном, ватажные столкнулись с четырьмя казаками. Служилые оказались на открытом, незащищенном месте. Но разъехаться с ними можно было, только мирно договорившись.

— Пропусти! — приказал Похабов передовщику и указал рукой на крутой склон, покрытый лесом. — В гору за нами не полезут!.. Если не дураки!

Где на четвереньках, где цепляясь за деревья, промышленные и беглые с лошадьми стали карабкаться на крутой склон, п поднялись саженей на десять, дальше лошади не шли. Казаков не испугало, что воровская ватажка заняла высоту. Они положили на бок своих коней, выставили из-за их хребтов стволы мушкетов и готовы были принять бой, а проходить мимо не желали.

Похабов чертыхнулся, щурясь, высмотрел атамана и узнал сына Якуньку. Похоже, сам бес устроил эту встречу. Отчего Герасим не предупредил, что тот на Дьячьем или в култуке? Опоясанный саблей, упершись руками в бока, Яков стоял поперек тропы. На его голове лихо сидела сбитая на ухо шапка сына боярского, с запястья левой руки свисала плеть: ни дать ни взять — Ивашка Похабов лет тридцать назад.

Старый казак хмыкнул в бороду: «Вот оно, наказанье Божье!» Сколько раз так же сам стоял поперек тайных троп, останавливая промышленных.

— Идти надо! — проворчал, обернувшись к кривому передовщику. — Договариваться! — Бросил ему карабин.

— Посули десяток соболей! — опасливо просипел тот. — Если коней потребуют — одного дадим.

Тяжелым, медвежьим шагом Иван спустился со склона, двинулся к Якову. У того руки опускались, глаза выпучивались, он разинул рот как юнец и вскрикнул:

— Тятька? Ты это? Или нечистый? — Размашисто перекрестился.

— Я это, живой! — Иван тоже, напоказ, перекрестился, подошел на пять шагов к изумленному сыну, остановился. — Ивашка Перфильев, поди, говорил, что меня повезли в Енисейский с приставами?

— Слыхал! — торопливо обронил сын, то и дело сглатывая слюну. — Мы с ним думали, ты в Илимском. Знаю, что оговорили. От Тургенева прошлой зимой последние браты ушли.

— Оговорили! — равнодушно согласился Похабов. — Только где она, прощеная или покаянная отписка? Примешь меня в зимовье без указа, а я тебя под батоги подведу?

Яков замялся, засопел, затоптался на месте.

— Я к зиме сюда пришел!.. Скройся пока у брата, у Огрызка, — предложил. — От него иду. Справно живет, пятерых ясырей держит, двух подворников.

— Считай, что сговорились! — усмехнулся в бороду Иван. — А те, — кивнул на гору, — промышленные. Я с ними промышлял в верховьях Лены. Обеднели там промыслы, они за Байкал идут. Пропусти нас с миром. Разбогатеют, на обратном пути

десятину дадут, — добавил смущенно и неуверенно. — Так и тебе, и всем нам будет лучше.

Яков побледнел, опустив глаза, постукивая плетью по голяшке сапога, неохотно согласился:

— Идите! С култукскими встретитесь, на нас не ссылайтесь, договаривайтесь как знаете!

На глазах у людей старый казак и сын разошлись с миром. Прощаться при свидетелях они не стали: пристально взглянули в глаза друг другу и направились каждый в свою сторону. Яков поднял казаков, те сели на коней и проехали под едва державшимися на склоне ватажными людьми, под их елозившими копытами лошадьми. Промышленные спустили коней на тропу. Илейка тяжело дышал, задыхаясь, спрашивал:

— Не Фирсов ли сын в атаманах? Я всех енисейских помню!

Иван молчал. Промышленные с недоумением вертели головами, не понимали, как можно разойтись с казаками без поклонов и подарков.

— Приворотное слово знаю! — буркнул Похабов, не желая говорить.

Перед байкальским култуком, на выходе из пади, он повел ватагу крутым правым берегом речки. Дождавшись полночи, когда караульные спали, прошел с ватагой мимо сторожевой башни. Ни огонька, ни искорки не мелькнуло в ней. Скорей всего, караульных не было: урочное время для переходов промышленных ватаг еще не наступило.

Знакомым путем Иван обошел прибрежные луга под склоном горы, в сумерках рассвета перевалил через седловину Шаманского хребта. Поворачивать к брату он не стал, хоть чуял носом дымок и запах жилья. Провел ватагу лесом, возле гор.

— Спаси тебя Господь! — выехал вперед кривой передовщик, когда они снова выбрались на тропу крутого берега Байкала. — Прошли все заставы. Отсюда — вольная земля. Дальше знаю, как идти. — Сказал и повинно признался: — А я, грешным делом, боялся, что приведешь нас к казакам, чтобы свои грехи искупить!

Промышленные спешились при высоком солнце, надумали отдохнуть. Передовщик опять стал распоряжаться, показывая, что вынужденно подчинялся в пути беглому казаку, а теперь берет на себя все бремя власти.

— Ржи у нас мало! — объявил, обводя ватажных круглым выпуклым глазом. — Теперь до самого Амура, кроме мяса и рыбы, питаться нечем. Разве заболонь, корни, грибы. А недалеко живет государев пашенный по прозвищу Огрызок. Промышленным в помощи он не отказывает, только плати.

Ехать к Угрюмке Иван отказался. Вдвоем с Илейкой они остались караулить ватажное добро, спутали коней и прилегли отдохнуть на припекавшем солнце. Байкал блистал гладью воды в цвет неба и сливался с ним на восходе. Ватажные вернулись только к ночи, их кони были нагружены мешками с рожью. Они привезли коровьего масла, сушеного творога, к зависти Илейки, все были в изрядном подпитии и ругали пашенного.

— По целковому за пуд рядился! Как в Якутском в голодный год.

— На полтине сошлись, зато теперь не бедствовать до самых Даур, — отбрехивался передовщик с помутневшим глазом. Другой, с бельмом, был плутовато прикрыт веком.

Почти всю жизнь Иван прослужил рядом с промышленными, перевидал их тысячи, порой принимал за глупцов, которым, кроме как разбогатеть, ничего не надо. Удачливы в промыслах были многие, но распорядиться добытым мало кто умел: на их трудах богатели служилые, пашенные, торговые люди и кабацкие откупщики. За время своих промыслов Похабов узнал о промышленных людях больше, чем за все прежние годы службы и по-другому понимал теперь первого своего товарища, друга молодости Пантелея Пенду. Только в старости стал догадываться, ради чего тот бродяжничал и претерпевал невзгоды, как тунгус.

Илейка, ссылаясь на свое чутье, верил, что все безвестно пропавшие промышленные и казаки нашли дорогу в благодатную землю, куда он с братом искал путь всю прежнюю жизнь и теперь безбедно живут там по праведной благочестивой старине, а не по царским указам. Иван слушал старого бродягу и завидовал ему, бормотал, поддакивая:

— Блажен, кого не покинул Свят Дух, с ним и гибель, и страдания — в радость, без него богатство и сытость — в тягость.

Дорога была торной, избитой сотнями копыт. По сторонам желтели обглоданные ветви деревьев, старая трава выщипана и вытоптана. С такого пути не сбиться и слепому. Днище ватажные ехали верхами в виду Байкала, у Ивана Похабова больше обычного болела спина, он то шагал рядом с лошадью, то садился в седло или ложился лицом на гриву. Мало ли что болело в прошлой жизни? Он ждал, когда переможется и утихнет боль.

По той же тропе вдоль каменистой горной речки ватага стала удаляться от Байкала, поднимаясь в горы. Иногда Ивану казалось, что боль проходила, и он

злорадствовал, оборачиваясь к плещущему морю, будто это Байкал не отпускал его. «За горой не достанет!» — думал и надеялся, что там полегчает. Багровел закат, разлившись по бескрайней глади воды. Лошади вынесли всадников на белки высоких гор. Отсюда море казалось не таким уж великим, но узким и длинным озером. Ватага переправилась через заснеженные хребты, и пропал с глаз Байкал.

Всадники спустились в низину. Здесь было теплей, свежая трава густо лезла по солнцепекам, кони жадно хватали ее губами, весело с хрустом жевали, а Похабов еле переставлял ноги, держась за подпругу. Сабля в ножнах то и дело западала между сапог, он часто спотыкался и отставал. Никогда никому в жизни Иван не был обузой, и вот издевался бес, мстил за прошлые удачи и зароки не ходить за Байкал, безнаказанно кусала за пятки собака-старость.

Промышленные вышли к горной реке. Кривой передовщик, размашисто крестясь, обвел спутников круглым выпученным глазом, с умилением в голосе объявил:

— Река Чикой! По ней, даст Бог, выйдем на Ингоду, а там, на конях или плотами, путь к Амуру. Ты нас сильно задерживаешь! — осуждающе уставился на Похабова. Один его глаз горел, другой был тусклым, как ледышка. — Ни разу на рысь не перешли, все только шагом.

Иван, лежа на животе, напился воды, с трудом перевернулся на спину, и показалось ему, будто боль стихла, свернулась, как змея перед броском.

— Бросьте, если задерживаю! — сказал, равнодушно глядя в небо.

— Не по-христиански бросать товарища! — неуверенно пробормотал передовщик, отводя в сторону выпуклый блестящий глаз.

— Старика бросили в зимовье, и меня бросьте! Дальше все равно не пойду, пока спина не отпустит! — сказал и желчно усмехнулся в бороду. — Лягу и буду ждать. Или исцелюсь, или Бог призовет. И так, и эдак хорошо!

Илейка, старчески покряхтывая, распряг и стреножил его коня.

— На Ингоде, слыхал, казаки острог ставили, — проворчал, шмыгая носом. — Если изловят, то, при их малолюдстве, служить заставят. Но там Дауры близко, все равно убегу!

— Иди! — поторопил Иван. — Зачем будешь сидеть при мне, ни сын, ни брат! Сколько я тебе зубов повыбивал, помнишь?

— То я тебе не выбивал? — Илейка растянул губы в смущенной улыбке, показывая наполовину беззубые десны, виновато вздохнул.

— Старческая слеза блеснула в глазах Ивана, он проговорил мягче:

— Иди! Отдохну и догоню. Я — крепкий! Зимой хуже было, но отлежался у огонька.

— Как догонишь? — виновато проворчал Илейка. — Конь не твой, передовщика! Далеко ли уйдешь пешим-то?

В здешних местах свежая трава по берегу и на полянах была уже объедена скотом. В отдалении виднелся тунгусский балаган, маленький и ветхий. Ночевать в него ватажные не пошли, разложили костер у воды, разбили стан по-промышленному. Сговорившись с передовщиком, Похабов выменял у него коня с седлом за свой винтовой карабин, промышленные не противились тому, чтобы оставить его, упорствовал один Илейка Ермолин, ради него и торговался Иван, чтобы старик не мучился.

К ночи спину скрутило пуще прежнего, Похабов не мог двигаться даже тихим шагом. Спутники привели его под руки в пустовавший балаган, уложили на брошенные кем-то невыделанные шкуры. Какой ни ветхий, но он был покрыт берестой, защищал от дождя и ветра. К ручью можно было сползать на брюхе.

— Догонишь! — говорили, смущенно прощаясь.

— Авось свидимся и на этом свете! — всхлипнул Илейка и смахнул слезу. — Ты уж нас перед Богом не ругай, сам видишь, не увезти тебя, и стоять на месте не можем!

Иван кряхтел от боли и поторапливал:

— Иди! Вдруг дойдешь! Всем знакомым, кого там встретишь — поклон!

— А ты, если помрешь, умоли за нас Господа, чтобы в Дауры дойти! — прощаясь, напутствовал кривой передовщик.

Ушли ватажные, стало тихо и спокойно. Неподалеку от балагана радостно фыркал и валялся на спине конь, призывая дождь. Постанывая, Иван сложил под бок топор, саблю, пистоль, патронную сумку с шебалташем. Походный котел был под рукой. Промышленные оставили ему с полпуда ржи и гривенницу соли. Что еще надо старику? И вот лежал он, глядя в небо через щели между листами бересты, засыпал, снова просыпался, ничего не ждал, только прислушивался к боли, то напоминавшей о себе в теле, то унимавшейся. Есть не хотелось день и другой, он выпил воду из котла, сползал к ручью, приволок свежей, снова лег. Спал долго, сквозь сон слышал, как стучит дождь. Потом палило солнце и гудели мухи. Боль унялась, позволяла осторожно переворачиваться с боку на бок. В очередной раз выплывая из снов, Иван почувствовал, что рядом кто-то сидит и смотрит на него. Не открыв еще глаз, потянулся к пистолю и услышал знакомый голос:

— А, ерээбши, дуу*! — И выругался: — Галди шамай!

Иван открыл глаза. Перед ним сидел Бояркан в простой и даже изношенной одежде. От прежнего князца, с которым расстался возле Балаганского острога, остались толстая седая коса да тучное, неповоротливое тело. Бывший хубун был одет как простой пастух, в засаленный, расползающийся по швам халат, голову покрывал войлочный шлычок, только пояс поблескивал тусклым серебром чеканки, из-за него торчал нож, тоже оправленный серебром. Дырявые, без всяких украшений гуталы на ногах были сильно поношены.

— Вижу, не за подарками приехал! — Бояркан насмешливо скривил губы, опушенные белыми усами.

Сначала Похабов подумал, что умер, но боль в пояснице убедила, что жив и не спит.

— Ахай? — удивленно уставился на князца.

— Ахай-аягтай**! — передразнил его бывший князец. — За моей головой пришел или свою принес? — снова спросил с насмешкой.

— Свою! — шевельнулся Иван и заскрипел зубами. — Ерборхо***! — указал глазами на нож за его поясом… — Ты-то откуда здесь взялся? К мунгалам ведь уходил!

— Я и живу у мунгал! — с напускной важностью заявил князец. — Делом занят. Скот пасу. Тебе-то что здесь надо?

— В Дауры к маньчжурам шел! От воеводы бежал. Он грозил мне башку отрубить. Уходить, думаю, надо, не то и твоя слетит с плеч! Лежу вот, старый, больной, жду, когда умру.

— Уж и зарезать некого попросить! — сварливо проворчал Бояркан. — Опять ко мне приперся! Уй, надоели все! Галди шамай!

За балаганом послышался топот. С водопоя в гору поднималось стадо. Тревожно заржал Иванов конь.

— Жена жива? — с пониманием спросил он князца.

— Умерла жена! — снова ругнулся Бояркан. — Сыновья и племянники разбежались, все воюют. С кем воюют, за кого, понять не могу. Внучки мунгал рожают. Все хорошо! Наконец-то никаких забот, только смотри за скотом да поглядывай в Вечно Синее Небо! — Он опять выругался и, скосив глаз на Похабова, спросил: — Тебе что, хребет переломили?

— Спина болит! — пожаловался Иван. — Растряс в седле старую задницу.

**А, ерээбши, дуу — ты пришел, братишка (бур.).*
***Ахай-аягтай — удалой, разбитной (бур.).*
****Ерборхо — бей (бур.).*

— Обычная болезнь у стариков! — посочувствовал Бояркан. — Свежую теплую шкуру с мездрой и жиром надо приложить.

Он с кряхтеньем приподнялся, на четвереньках выполз из балагана. Скот вздыхал и топтался где-то рядом, слышалось протяжное блеяние овец, гнусавое меканье баранов. В открытый проход всунулась бесноватая козлиная голова с дурными шаманскими глазами. За рог ее держал тучный кулак Бояркана.

Вскоре он с кряхтеньем вполз в балаган с окровавленными руками и с козлиной шкурой. Приказал:

— Ложись на живот!

Скрипя зубами и постанывая, Иван перевернулся. Бояркан рывком задрал подол его рубахи, шлепком прилепил к пояснице теплую еще шкуру, остро пахнущую свежей кровью и шерстью. Толстыми пальцами в сгустках крови подхватил шебалташ, бросил взгляд на золотые бляхи.

— Все не можешь ни продать, ни выбросить? — проворчал и закрепил шкуру опояской.

— Никак не отвяжется, бесовская хреновина! — прокряхтел Иван, перебарывая боль. Пот выступил на лбу. — Выбрасывал! Нашли, вернули! Дарил, не брали!

Князец поворчал что-то под нос, опять выполз из балагана. Пахнуло дымом, стал потрескивать костер, потом потек сытный мясной дух. Боль в спине утихала, будто зарезанный козел вытягивал ее своими дурными и насмешливыми глазами.

Мясо Иван ел, лежа на животе. Оба старика ночевали в балагане, который принадлежал Бояркану. Князец лег на спину на сухую бычью шкуру и вскоре захрапел. Чикойская ночь была черна. Заслоняя звезды, виделись очертания гор и небо здесь мерцало совсем не так, как над Байкалом или Ангарой. Чувствуя слабеющую боль, Иван взмолился в ночи, соглашаясь принять любую кончину, но не здесь, а там!

Он проснулся на боку. Не помнил, как перевернулся во сне. Оттолкнулся руками от зловонных шкур. Спина еще побаливала старой раной, но эту боль можно было терпеть. Иван осторожно поднялся на четвереньки. Рассветало. Бояр все так же лежал на спине, но не храпел. Его брюхо вздымалось и опускалось с легким посвистом. Князец задышал ровно, зачмокал губами, разлепил глаза.

— И правда полегчало! — удивленно взглянул на него Иван.

— Козел хорошо спину лечит! — зевнул Бояркан и перевернулся на бок. — Волк — еще лучше!

Опираясь на черенок топора, Похабов выполз из балагана, встал на ноги. Пахло утренней степью, лесом и скотом. Его конь весело пасся с десятком других, вольных. Затухающим костерком тлело небо на восходе. Иван перекрестился и поклонился, претерпевая тупую боль. Почитав молитвы утренние, сказал в голос:

— Все! Вернусь!

— Как там скот? — сипло и сонно спросил Бояркан.

— Пасется! Весь на виду!

— Хочешь есть — вари мясо! — опять зевнул князец. — В реке лежит!

Разминая спину, Иван побродил возле балагана, опустился на четвереньки перед кострищем, разворошил угли, нашел тлеющий огонь, стал раздувать его, подкладывая сухую траву, бересту и щепки.

Котел был покрыт изнутри толстым слоем жира. В нем черно копошились мухи. Похабов выскреб вчерашний жир в огонь, спустился к реке к остаткам туши, придавленной камнями. Сотни рыбешек метнулись в стороны от его тени и снова вернулись к мясу. Иван умылся, вычистил песком котел, наполнил его кусками козлятины, залил водой, то и дело выбрасывая рыбешек. Заковылял обратно к балагану.

Завтракали старики молча. Насытившись, Бояркан стал вытирать руки о траву, спросил про спину. Козлиную шкуру Иван не снимал, и она топорщилась на нем раздувшимся животом.

— Легче! Уходит боль! — с благодарностью ответил князцу. — Как смогу ходить, вернусь на Байкал, там умирать буду!

— Здесь тесно, там тесно! — проворчал Бояркан. — Горы высокие, лес густой. Хорошо умирать в степи. Видно далеко, дышать легко… — И вдруг предложил: — Давай вернемся в степь? Умрешь первым — я тебя закопаю. Я умру — увези меня на лысый холм. Ворон прилетит — пусть клюет, он умный! Волк, лисица — пусть грызут! Я в них буду жить.

На третий день Иван стал ходить и сгибаться без боли, снял присохшую шкуру, обмылся в реке, опоясался кушаком, стал неспешно собираться в путь и, будто случайно, оставил в балагане шебалташ. Посмеиваясь над стариковской хитростью, Бояркан выволок его из-под крова, бросил на зипун как дохлую змею, помог Ивану заседлать отдохнувшего коня, дал в руки волосяную веревку на шесте.

— Зааркань вон ту кобылу! — указал на крепкую лошадь. — Раз я больше не хубун и не баатар, могу и на кобыле поездить!

Вдвоем они поймали и оседлали резвую кобылку, поели баранины и каши из немолотой ржи. Иван привязал к седлу шубный кафтан, мешок с остатками зерна, котел. Бояркан набил седельные сумки пожитками и вареным мясом. Оба старика вскарабкались на лошадей и, стремя в стремя, двинулись на закат.

— На кого скот оставляешь? — полюбопытствовал Иван. До последнего он не верил, что балаганец поедет с ним.

— Хозяин найдется! — коротко ответил тот.

Тем же путем, которым пришла ватага, они отправились в обратную сторону. Мясо, которое Бояр взял с собой, быстро кончилось. Старики стреляли из лука в тощих любопытных коз. Сколько ни варили их мясо, оно было сухим и жестким. Они подолгу жевали его, крошили ножами. Дикая козлятина быстро приелась. От ржаной каши в животе Бояркана так урчало, что его кобыла шарахалась и прядала ушами.

Открылся Байкал. Под солнцем сверкала голубая как небо вода. Дышалось легко. Иван почувствовал себя помолодевшим, стал забывать про тупую боль в пояснице. И полуденным маревом замельтешила перед его взором какая-то смутная надежда на будущую земную жизнь. Густыми кедрачами старики спустились к берегу. Легкая волна набегала на гладкие камни, бренчала окатышем. Тысячи уток и гусей весело кормились на отмели, ныряли и хлопали крыльями, ничуть не пугаясь всадников.

Иван спешился, пустил в птиц одну стрелу, другую и только когда подошел к воде, стая неохотно отплыла от берега, оставив двух барахтавшихся подранков.

— Есть будешь? — брезгливо спросил Бояркан, глядя на подбитых птиц, и сплюнул, показывая, что лучше умрет, чем положит в рот такое мясо.

Они держали путь к Угрюму, к его жене, доводившейся Бояркану родственницей. Обоим было стыдно являться с пустыми руками, да еще голодными. Похабов с сожалением пощупал жирные тушки уток, выпотрошил их и привязал к седлу. Придерживая лошадей, готовых перейти на тряскую рысь, старики поехали по тропе вдоль берега. Иван рвал на ходу деревенеющие побеги сосны, с тоскливым видом жевал их. Бояркан, хмурясь, терпел голод и ворчал:

— Пусть басаган кормит дядю! Не то умру возле ее дома!

К вечеру они переправились через одну, потом через другую речку, кишевшие

рыбой. Навстречу на резвом коньке выехал мужик русской породы, одетый в халат и лисью шапку, пристально уставился на гостей. Сабля на боку и пистоль за кушаком Похабова сбивали его с толку.

— Кто такие? К кому? — окликнул едущих срывавшимся голосом.

Старики подъехали к нему стремя в стремя. Похабов молча хлестнул плетью по крупу его конька. «Подворник или обротчик», — подумал. Сколько таких, то кичливых, то пресмыкавшихся, вставало на его пути. Не понравился ему и этот человек, плохо начиналась встреча с братом.

Старики молча подъехали к воротам. Иван с удивлением окинул взором двор. Три избы были связаны сенцами с коровником и конюшней, дальше добротный амбар, крытый драньем и берестой. На крыльцо вышла постаревшая братская бабенка с головой, обмотанной белым шелком, с иссеченным морщинами лицом, взглянула на всадников из-под руки, кого-то гортанно окликнула. Из-за дома выскочил верткий молодец с черным, лоснящимся от солнца лицом, сухощавый, как тунгус, мордастый и непомерно широкоплечий, окинул всадников взглядом, распахнул ворота.

— Я — дядя твоей матери! — строго рыкнул Бояркан по-бурятски. — Почему она не научила тебя приветствовать старших?

— Дарова! — спохватился молодец.

— Абдай*? — радостно вскрикнула старуха, подбежала к Бояркану, схватила его за ногу в стремени, прижалась к ней щекой и громко завопила.

Бывший князец подобрел, с кряхтеньем перекинул через круп кобылы толстую ногу, не ожидая помощи, кулем свалился на землю.

— Спрашивал, кто такие! — испуганно лопотал подворник.

Спешился Иван, узнал племянника — Третьяка. Он вырос, сильно переменился и теперь стоял, пялился на дядьев, не зная, как их встретить и приветить.

— Отец живой? — спросил Иван по-русски.

— Живой! — ответил молодец, переступая с ноги на ногу, распахнул дверь, приглашая в дом. Где-то там зашумели, забегали, с крыльца соскочила женщина мунгальской породы, стала разводить очаг посреди двора. Подворник поддал своему коньку пятками под бока, ускакал с озабоченным лицом. Вскоре он вернулся с хозяином.

Плечи брата обвисли, он больше прежнего приволакивал ногу, бороду стриг, среди седой щетины и морщин прежние шрамы уже не бросались в глаза. На приехавших Угрюм поглядывал не так, как раньше: даже начальственный холодок появился в его взгляде.

— Все ездишь? — спросил брата вместо приветствия.

— Все езжу! — ответил Иван.

— А! Хубун? Сайн байна! — Сел на крыльцо. — Как знал, что гости будут, бычка свежую. Вари, жена, мясо!

— Вари давай, да побольше! — поддакнул Бояркан и тоже сел, поджав под себя толстые ноги.

— Вели баню затопить! — хмуро приказал Иван. — Мы давно в пути.

Угрюм насмешливо взглянул на зипун и потрепанную шапку брата, приказал подворнику:

— Затопи!

Он жил небедно, имел ясырей и ясырок, держал работных из гулящих русских людей, запахивал государеву десятину. Сено косили казаки, они же охраняли его покосы и поля от потрав. Пришел его день, Угрюм торжествовал. Кем были они и кем был он? Кем теперь стал он и кто они, видно было по одежде. В каждом его слове, в каждом взгляде была победа над своим жалким прошлым. Он ни о чем не спрашивал гостей, а те не спрашивали его. Да и не было возможности спросить. Угрюм говорил и говорил, не закрывая рта: рассказывал об урожае, скоте и покосах, о том, что собирается расширять запашку. Сам по-хозяйски сидел во главе стола. По правую руку сын, по левую — дочь, дородная девка с круглым лицом и большими, раскосыми, как у матери, глазами. За тем же столом сидели подворники и ясыри.

Иван с Боярканом отъедались, Булаг то и дело подкладывала им лучшие куски. Хозяин ел мало, чаще подливал себе в чарку из кувшина.

— Казаки сватаются! — хвалился, ласково поглядывая на дочь. — Не отдам за служилого, только за пашенного. Найду зятя доброго, чтобы со мной жил, чтобы ему все передать... На этого нет надежды, — с кривой усмешкой кивнул на молчавшего Третьяка. — Все одно сбежит в Дауры, за братьями.

Весной проходили тут… Ржи просили, чуть не сманили последнего. Еле удержал… Так-то! Работал-работал Огрызок, и всем стал нужен. Казаки приходят — накорми, в Дауры бегут — дай ржи! Гости все время в доме…

**Абдай — дядя (бур.).*

— Да замолчи ты, бабануур хун*! Дай поговорить с гостями! — вскрикнула жена, не в силах терпеть его болтовню, стала расспрашивать дядю, откуда и куда он держит путь.

Неохотно, сдержанно, тот отвечал с напускной важностью:

— Родственники ушли к мунгалам, за Байкал. Там пастбища хорошие, скот плодится быстро. Хорошо жить, но меня, старого, гложет тоска по родной степи. Встретил там старого казака, и решили мы вернуться туда, где видели небо в молодости.

— Шапку-то серебряную с камнем утерял? — захмелев, ухмыльнулся Угрюм.

— Зачем покойнику серебряная шапка? — презрительно взглянул на него Бояркан. — Какой-нибудь жадный дархан снимет и продаст! Я шапку и власть племянникам передал, чтобы в старости быть свободным.

— Голыми пришли, голыми уйти надо! — поддержал приятеля Иван. — Я свое головство тоже сдал! Послужил государю на совесть, вольный теперь!

Угрюм озадаченно замолчал, не поверил сказанному братом и князцом, но не знал, как возразить. Поводил мутными глазами по обильному столу, опять залопотал, похваляясь усадьбой, перемежая русскую речь с бурятской.

— Нет бы сразу отдать за меня Булаг, — икнул, содрогнувшись телом. — Когда я у тебя в дарханах служил да красивым был. За одного отдал, потом за другого! Все равно мне досталась. Сама пошла за Медвежьего Огрызка, по доброй воле!

— Да замолчи ты! — опять сварливо вскрикнула Булаг. — И не думала идти за тебя, за болтуна с мохнатым лицом! Хотела отцу и матери сына родить, старость их украсить, думала, скоро умрешь. Кого медведь драл — долго не живут. А он, гляди-ка? Живет и живет! Так и состарилась с тобой!

Видно, спор был давний, семейный, раздражение жены ничуть не смутило Угрюма, он только посмеялся и стал похваляться, как сытно живут у него работники и ясыри: палкой со двора не прогонишь!

— Наконец-то наелся после дороги! — сытно икнул Бояркан, глядя на пьяного зятя в один глаз. — Дуудэй** в пути чуть не уморил своей казачьей кашей. Завтра мы еще отдохнем, ты коней наших хорошо покорми, потом поедем своим путем! — Бояркан сполз с лавки на пол, сел, прислонившись спиной к печке, стал подремывать, показывая, что не хочет ни говорить, ни слушать.

В пути через горы о многом было переговорено между стариками. Рассуждали и о том, не дожить ли отпущенное Богом возле Байкала рядом с родными людьми или хотя бы перезимовать. Из последних слов Бояркана Иван понял, что оставаться дольше, чем на другой день он не желает, да и сам все больше склонялся к тому, чтобы зимовать в скиту у Герасима.

Ночевали гости на свежей соломе, под навесом, в душной избе не остались. Бояркан долго ворочался, не мог уснуть. К утру начал так громко храпеть, что Иван встал, обулся, привычно сунул за голяшку нож, обмотался кушаком, надел патронную сумку и саблю, перехватил их ремни шебалташем, с пистолем за кушаком тихо вышел со двора.

Гладь Байкала алела на востоке. Иван обошел стороной соровые озера с поднявшимися со дна кувшинками, вышел на сухой песчаный берег, зашагал по нему к горному мысу, на котором шаманили тунгусы. Он был безлюден, чумов не было, на капище болтала раздвоенными копытами шкура изюбря, висевшая на жердях.

Перевалив через невысокий скальный хребет, казак сел у воды, долго смотрел на свой острог за заливом под склоном горы, который стал еще красивей, чем был прежде. Впервые со времени кончины Савины Иван стал думать, как прочно устроить дальнейшую жизнь, чтобы ни от кого не зависеть и не быть кому-то в тягость. Рыба безбоязненно ходила у самого берега. Утки опасливо поглядывали на сидевшего человека. Богата, обильна, красива была здешняя земля. Живи да радуйся! Славь Господа! Или своих божков! Но мира не было. По злобе и зависти все воевали против

**Бабануур хун — болтун (бур.).*
**Дуудэй — братишка (бур.).*

всех и всех боялись. Острог давал мир здешним народам. Вот только он, Иван, его строитель, оказался вдруг здесь чужим и лишним. Похабов раздраженно крякнул, сгреб пальцами песок, бросил в прозрачную воду, отпугнув уток и рыб.

«Кабы было всем хорошо, не бежали бы в Дауры и к мунгалам!» — осадил обидчивые мысли, и встали перед ним две судьбы: унизительная старость в подворниках у брата и монашеская доля в скиту. Туманно маячил третий путь: висеть обузой на сыне и мотаться за ним по дальним службам.

«Жизнь прожил, никому не кланяясь, не заискивая, пока был в силе, пришло время главного испытания — не согнуться в немощи!» — подумал, и вспомнился

насмешливый лик непокорного протопопа. Казак поднялся и пробормотал в сторону острога:

— А что было греховного, Божьим попущением, то можно отмолить только в скиту. И все тут!

Он вернулся. Во дворе хмурые подворники под началом Третьяка раскидывали прошлогоднее запревшее сено. Бояркан сидел на медвежьей шкуре, мелкими глотками попивал топленое молоко. Булаг пекла пресные лепешки на летнем очаге, глядела на дядю влюбленными и виноватыми глазами, во всем старалась угодить старику. Угрюм, уже изрядно опохмелившись, лежал в тени под навесом и кичливо хвастал достатком. Бояркан презрительно косился в его сторону. Иван присел рядом с ним на шкуру, Булаг молча подала чашку с молоком.

— Я гляжу, пистоль у тебя ладный! — залопотал Угрюм, кивая брату. — Мне бы такой в самый раз в хозяйстве — часто один по округе езжу. Дорого ли купил?

— В Москве восемь целковых отдал!— грубовато приврал Иван.

— Дорого! — стал торговаться Угрюм. — За десять у промышленных можно мушкет купить. Так у него ствол во! — развел руками. — Полпуда железа. А в этом кого?

— Дешевле не отдам. Много чего давал тебе без благодарности, оружие — не дам!

— Видел мой табун? — заговорил Угрюм про другое. — Всем табунам табун. Потому что я хозяин! А кобылка братская хороша!

— Хороша, да не про тебя! — отрезал Иван. — Мы с Боярканом дальше поедем.

— И куда вы поедете? — с усмешкой прошепелявил Угрюм.

— От тебя подальше! — неприязненно буркнул князец по-бурятски.

— Когда? — спросил его Иван, привычно оглядываясь на солнце.

— Сегодня уйдем!

— Чтоб тебе медведь язык откусил! — взорвалась Булаг с красным от жара лицом. — Без языка совсем хороший был бы муж. Хозяин еще лучше!

Угрюм не снизошел до склоки с женой, однако сказанное гостями его озадачило и слегка вытрезвило.

— Я думал, зазимуете! — пробормотал.

— Выжил гостей, болтун! — обернувшись, крикнула Булаг.

— Поговори у меня! — огрызнулся Угрюм. — Вот куплю у братов молодую ясырку, забрюхачу и будет у меня две жены, как у того святого, который за каждую по семь лет работал…

Булаг сверкнула узкими глазами, в раздражении бросила в котел нож:

— Будет тебе ясырка! — пригрозила. — Проснешься пьяный: ни языка, ни яиц! Она окликнула дочь. Та вышла из избы. Ее черные волосы были заплетены в одну толстую косу, большая голова повязана лентой. Дородная девка ласково взглянула на отца, играючи подняла его на ноги, потянула за собой:

— Пойдем, тятя!

— Пойдем, милая! — податливо согласился Угрюм. — Пусть они хоть все разбегутся, а я всегда буду с тобой.

Со светлой завистью Иван взглянул вслед брату. Ведь была же и у него дочь, любил, ласкал, жалел и потерял, как теряют детей многие служилые, мотаясь по дальним государевым службам. Возить за собой, как Иван Галкин, — мучить, оставлять — потерять!

По слезной просьбе Булаг они с Боярканом остались еще на ночь. На рассвете другого дня оседлали отдохнувших коней. Угрюм спал.

— Как гулять — так три дня! — виновато оправдывалась Булаг, провожая родственников. Ее заботами их седельные сумки были туго набиты снедью.

Старый казак правил коней стороной от сторожевой башни, он не хотел встреч со служилыми. Возле Иркута на волоке всадники встретились с тункинскими братами. Иван надеялся отдохнуть у них, но приметил в лицах мужиков неприязнь. Балаганцы на пути к Байкалу сильно пограбили здешние роды. Он поговорил с пастухами и проехал мимо стана.

Вскоре старики догнали добрую полусотню всадников: балаганцев, эхирит и мунгал, о которых предупреждали тункинские браты. Они гнали стада и табуны к Ангаре. Это были беглецы, возвращавшиеся на прежние кочевья. К ним пристали бедные мунгалы со своим скотом. От них Иван узнал, что сын прежнего Алтын-хана, Лоузан, прежде сманивал бурят в свои войска, обещая очистить степь от казаков. С многотысячным войском он подступал к Томскому городу, русским крепостям, к Удинскому и Братскому острогам, но в нынешнем году старый Алтын-хан умер, мунгальские царевичи передрались за власть, и воевавший с русскими людьми царевич Лоузан отправил посольство к царю, соглашаясь назваться его младшим сыном, велел мунгалам жить в мире с казаками.

Одни стада и люди догоняли других, поток возвращавшихся в степь становился все больше. Браты, кочевавшие по долине в низовьях Иркута, боязливо отступали, уводя свои стада в горы. Препятствовать этому движению не могли ни они сами, ни

казаки. Бояркана узнавали, вокруг него складывался круг подданных и сам он начал исполняться прежнего княжеского достоинства, хоть был покрыт простецкой шапкой. Вскоре доброжелатели подарили ему высокую шапку из соболей и смеялись, что она высока и велика, как казачья копна сена.

— Живи с нами! — предлагал Бояр Ивану, но уже сам все понимал по-другому и вздыхал: — Это молодым кажется, что земля создана, чтобы по ней ездить, на нее смотреть! В старости узнаешь больше! — щурился, оглядывая людей, бросивших его в тяжкие времена. — Какой ни есть, но это твой народ, надо жить с ним и для него. Как ни бедна твоя земля, надо кормиться от нее и беречь. Что за человек без своей земли, без родственников: мешок с кишками, не человек!

— Наверное, так и есть! — соглашался Иван Похабов, оглядывая знакомые места. Стада разбредались по долине. Старики верхом на лошадях подъехали к реке ниже укрепленного Дьячьего острова. На другом берегу мельтешило много людей, напротив устья Иркута казаки рубили острожную башню. Двое остановили коней возле воды. Похабову надо было туда, за Ангару, к своим. Бояркан вел людей и стада к переправе ниже поворота Ангары. Пришло время расставаться. Оба старика понимали, что в Среднем мире им уже не встретиться.

Иван Похабов снял шебалташ, пристально осмотрел потемневшие бляхи: на одной голова бородатого остроголового молодца, на другой круглая, щекастая голова степняка с толстой косой. Чей-то кулак держал ее за косу. Может быть, степняк так схватил себя сам: попробуй пойми теперь, что хотел сказать мастер много веков назад. Иван размахнулся и швырнул шебалташ на середину Иркута. Бляхи блеснули, как рыбья чешуя, и погрузились в воду. Сыромятный ремень какое-то время держался на плаву, змеей заскользил вглубь в одну сторону, замер, будто передумав, заскользил в другую и, погрузившись, пропал с глаз.

— Не должен выплыть, галди шамай! — ругнулся Бояркан, страстно следивший за брошенной опояской.

— Прощай, брат! — с просветленным лицом обернулся к нему Иван Похабов. — Все-таки мы не убили друг друга в этой жизни! Твоя степь далеко, а я пойду на остров, в свое зимовье!

Стада возвращавшихся кочевников паслись в долине несколько дней, затем, к облегчению казаков, ушли в низовья реки. В зимовье на острове Иван застал двух казаков: старого пятидесятника Дружинку Андреева с новым прозвищем Даурец и немолодого уже Коську Москвитина. В прошлом году они вернулись с Амура, а несколько дней назад по указу нового воеводы Ивана Ржевского прибыли с шестью десятками казаков, помочь поставить острог сыну боярскому Якову Похабову. Яков же начал рубить острожные башни против устья Иркута, на верхоленской стороне Ангары, не дожидаясь указа воеводы.

— Упросил-таки Герасим? — удивлялся новостям Иван. — Все сбылось, как говорил!

В старом, укрепленном зимовье, уже изрядно обветшавшем, он пил отвар из березового гриба, слушал новости Енисейского острога, в котором давно не был, и здешние.

— С внуком тебя, Иван Иванович! Жена родила Якуньке сына, ладного, крепкого казака, — беззубо посмеивался старый Дружинка, глядя на потрепанного с виду бывшего сына боярского. — Ржевский, как принял приказ по Енисейскому, так всех вас, братских, оправдал перед государем: и тебя, и Федьку Шадрикова, и Арефу Фирсова. Ты теперь волен с нами остаться или вернуться в Енисейский.

— Вернулся уже! — пробормотал Похабов, привычно вытягивая руки к огоньку дымокура. — Дальше идти некуда! — А сам думал, отчего при встрече весной Якунька ничего не сказал про внука? И Герасим об этом не обмолвился, только посмеивался, будто знал наперед, как все обернется. Водя по сторонам разъеденными дымом глазами, он спросил про другое: — Нынешний воевода не сын ли ляху Ржевскому, который под Москвой воевал за казаков?

— Мы его о том не спрашивали, — похохатывая, отвечал Коська. Лицо казака было в отметинах и шрамах, как у драчливого пса, руки посечены, два пальца отрублены.

Ни про Петруху со Вторкой, ни про Федьку Говорина оба даурца ничего не знали. Полк Михейки Сорокина в три сотни человек был перебит на пути к Амуру. Пропадали бесследно малые и большие отряды, но кому-то Божьей помощью удавалось и в одиночку добраться до войска Онуфрия Степанова. Всякому живущему своя судьба!

На другой день товарищи переправили Похабова с его конем на правый берег Ангары. Здесь, на яру, неподалеку от старой кельи, почти квадратом были заложены четыре башни, две из них уже подводили под кровлю. Судя по всему, в нижней части под ними были избы. Тына еще не выставляли. Вокруг сновали незнакомые казаки, явно не енисейские, присланные из других мест. Наконец объявился свой человек.

— Дядька Иван? — удивленно воскликнул и обнял старого Похабова Анисим Михалев, можно сказать, пасынок. — Гляжу, что за дед с саблей расхаживает? Едва узнал. Прости, дорогой!

— Что так мало наших? — спросил Иван, поликовавшись с ним щеки на щеку.

— Мало! — согласился Анисим. — Старые енисейские за Байкал рвутся, на Лену, в полночный край. Здесь не разбогатеешь. А брат Гаврилка со мной, он с твоим Якунькой к Яндохе поехал. Решили проведать, узнать, не сделали ли ему обид. На днях братские и мунгальские люди большим скопом вышли из Иркута.

— Вот ведь! — недовольно крякнул старый Похабов. — А я на внука хотел посмотреть.

— Так я тебя сведу! — весело подхватил его под руку Анисим.

Он привел старого казака в добротный и просторный балаган, обложенный дерном. Возле двери на солнце сидела сноха со спящим младенцем на руках. Она узнала свекра, хоть тот был одет не по чину, поклонилась без прежнего смущения, откинула конскую сетку с тунгусской берестяной коробки, в которой спал внук. В его маленьком личике уже различалась родная кровь. Посмотрев на внука, Иван смущенно провел рукой по кушаку. Одарить было нечем. Пощупал пистоль — не то.

— Доброго казака родила! — сказал снохе, снимая с плеча саблю. — Это ему от деда! Чтобы помнил!

Задерживаться возле острога Похабов не стал, хотел сесть на коня, но раздумал и повел в поводу к часовне. Он решил дать его вместо вклада в скит Герасима и там заночевать. Беглецкая жизнь закончилась, опасаться было нечего. Может быть, впервые в своей долгой жизни он был истинно свободен. Новые чувства переполняли грудь бывшего сына боярского. Дышалось легко и привольно. С тихой радостью Иван вскидывал глаза к синему небу и видел его таким, каким оно представлялось ему только в тесных застенках перед казнью. Будто впервые глядел на реку и вдыхал запах хвойного леса. Монах, увидев его без сабли, ни о чем не спросил, принял и благословил.

— Радость, радость-то какая! — ворковал, сияя глазами, при этом по-хозяйски осматривал коня. — Все сбудется! На месте пустоши стоять монастырю во имя Вознесения Господня. Сколько лет просил архимандритов и митрополитов, а твой крестник, Ивашка, поклонится в Софийском соборе и привезет грамоту с благословением владыки. Нам теперь — только работать.

Иван не стал спрашивать, откуда Герасим знает про все это, он привык ко многим тайнам и чудесам в жизни старца, только по-стариковски проворчал в бороду:

— Шустры молодые — не нам чета! Когда привезет?

Герасим повел в сторону сияющими глазами, пожал плечами, разглядывая конские зубы, погладил лошадку по скуле и с уверенностью в голосе ответил:

— Все равно когда-нибудь привезет! Это предрешено задолго до нас с тобой!

Старый Похабов не стал допытываться и об этом, ему с лихвой хватало того, что неподалеку от скита Якунька Похабов ставил государев острог.

Иеромонах повел его к пустоши, откуда видны были поднимавшиеся башни и стены, стал показывать, где надо копать ямы, где закладывать камни под основу будущего монастыря. Он возлагал на Ивана большие надежды и ждал от него помощи.

— Ну, вот и привел Бог! — с облегчением, как после дальнего пути, согласился бывший казачий голова и оглядел пустошь в лучах заходящего солнца. На месте каменистой поляны с вырубленным кустарником почудились ему златоглавые церкви, каменные храмы, зазвучал в ушах колокольный перезвон. Только на миг явилось взору и пропало это видение, но открывшаяся красота стоила трудов. Он весело обернулся к монаху и восторженно прошептал, будто боялся спугнуть в самом себе все запомнившееся: — Видать, вышел срок. Слава Богу, свела нас судьба в начале жизни, слава Богу, свела под конец!

— Какой же это конец? — стал посмеиваться монах. — Это только начало! Не как вечные кочевники пройдем по этой земле, но заложим краеугольный камень будущего города. Блаженны начинающие великое дело, — стал креститься и кланяться на меркнущий восток, — они не увидят его конца, не усомнятся и не потеряют веры. И не отнимется от них Духа Святого, Господа, Животворящего, Иже от Отца исходящего, Иже с Отцом и Сыном споклоняема и славима, глаголавшего пророки. Из всех жителей этого города мы — счастливей всех.

И началась новая жизнь Ивана Ивановича Похабова, та, которой прежде он не понимал: жизнь как радость спасения. Утром после молитв келарь выставил на стол под берестяным навесом котлы с ухой, за каждый сели по четыре вкладчика. Хлебали уху без хлеба чинно, неторопливо, и никогда в прежней жизни она не казалась Ивану такой вкусной.

За одним котлом напротив него сидел старый промышленный со всегдашним беспричинным весельем в лице, с редкими, торчавшими через один зубами в улыбчивых губах. После завтрака Похабов взял заступ и стал копать землю, где указал Герасим. Мелкими шажками, по-стариковски приволакивая ноги, к нему

подошел все тот же веселый вкладчик с разинутым ртом. Рядом неспешно работали какие-то старики и калеки. Своего прошлого они не вспоминали, о прежней жизни не тосковали и не спрашивали.

Бывший промышленный под боком у Ивана хрипел надорванной грудью, быстро уставал копать землю и ворочать камни, в изнеможении падал на них, с радостью, которая поначалу казалась Похабову придурочной, глядел в небо.

— Скоро уже! — бормотал, переводя дыхание. — Призовет Господь, и вы с отцом Герасимом будете поминать меня за обеднями и панихидами и читать Псалтырь до сорокового дня! Хорошо-то как! Никогда прежде так хорошо не было!

Иван тоже поднял глаза к синему небу в осенней дымке, где что-то высмотрел его помощник, не смущаясь счастливых слез, катившихся по щекам. Там, словно паруса стругов, ветер нес белые облака к Байкалу. С них на работавших людей, на поникшую траву и желтый лист струилась, веяла любовь и радость, которых Похабов не ведал в своей прежней жизни. Он знал суровый лик Нерукотворного Спаса, который повелевал: не сделаешь так, как Я приказал, напущу на тебя мор, голод и плен вражий, искореню потомство твое. И вот вместе с блаженным стариком Иван разглядел среди облаков и синевы снисходительную улыбку Отца, с любовью глядевшего на своих детей. Он и сам стыдливо всхлипнул, смахнул навернувшуюся покаянную слезу, понимая, что в прежней жизни не любил так ни своих детей, ни Савину.

Его тело отдохнуло и наполнилось новой силой. Похабов встал, подхватив заступ, огляделся, примечая, как прекрасна нынешняя осень. Другой такой он не помнил или не замечал в суете служб. Потоптавшись вокруг вывороченного камня, округленного и сглаженного рекой тысячи лет назад, когда она еще текла здесь, потрогал его рукой и восчувствовал время, в котором он труженик и путник. Вкладчик с веселым лицом тоже поднялся и взялся за заступ. Надо было передвинуть этот камень сажени на три, где ему предстояло по-новому лежать и служить веками.

Вернулся из-за Ангары сын Яков и пришел в скит навестить отца. Положив поклоны на крест часовни, присел рядом, помолчав, буркнул:

— Говорят, другую неделю придуряешься? Поработал во славу Божью и хватит. Воевода зовет в Енисейский по наказной памяти, велит восстановиться в головстве и служить при нем.

Старый Похабов взглянул на сына со снисходительной и ласковой улыбкой. Такого лица у него Яков не видывал, начальственно блеснул глазами, но, зная упрямство отца, стал прельщать его:

— Что с того, что старый? Теперь будешь с важным видом сидеть в приказной избе, поучать молодых. Воеводам от тебя ничего другого не надо.

— На кой мне все это? — улыбчиво возразил старый Похабов. — В Енисейском ни тебя, ни Михалевых, ни Савиных, старые товарищи перемерли или ушли дальше.

Атаман вдумчиво выслушал отца и согласился.

— Ладно, отпишу воеводе, что выходишь из государева оклада по ветхости, здесь возьму землю, своим подъемом посажу на ней пашенных и ясырей, правь хозяйством… Ты еще здоровый старик, слава Богу! Что юродствовать-то, хоть бы и во Христе?

Старый Похабов смущенно вздохнул, поднял глаза к небу, с радостным душевным томлением вспоминая, как в соборной молитве нисходит Дух.

— Ну что ты все лыбишься, как блаженный? — ругнулся Яков. — Тебе же добра желаю. Без того камнем на сердце мать-покойница. Старости ее не поддержал, как должно сыну.

Иван пристально взглянул на сына чуть затуманившимися глазами, перекрестился.

— Я на службах был! — стал оправдываться Яков, и лицо его скривилось от внутренней боли. — Она хворая в Енисейский сплыла со льдом. Старуха, что с ней была, — замерзла в лодке, а мать, говорят, сильно кашляла, но поселилась в женском скиту в холодном балагане. На второй неделе поста отошла — антонов огонь спалил кровь… Ты еще, не дай Бог, помрешь здесь. Что люди скажут? — Яков опять приглушенно выругался, обидчиво и беззвучно шлепая губами. — Хитро, однако, Бог положил: кто первый помер — тот и прав, кто жив — тот дурак, и грешный, и виноватый!

— Бывает! — неохотно поддакнул старый Похабов. — Лет тридцать назад я и сам бы так говорил, молодым стариков не понять, сколько ни толкуй. Я здесь останусь, во вкладчиках, — объявил решительней и строже. — А ты иди своей дорогой, не оглядывайся на меня. Служи!.. Дай-ка, сынок, благословлю тебя, как меня когда-то в Верхотурье дядька Кривонос напутствовал в сибирские службы. Царствие Небесное, — снова перекрестился, помянув своего станичного покровителя и наставника. — Сильно мне его благословение помогало.

Матерый атаман смутился, что отец назвал его, как никогда прежде, сынком, старик тоже смутился своих слов и чувств, поднялся, перекрестил сына:

— Будь ты моим словом крепким укрыт в ночи и в полуночи, в часе и получасье, в пути и дороженьке, во сне и въяве — сокрыт от силы вражьей, от нечистых духов

обережен, от смерти напрасной, от горя, от беды, сохранен на воде от потопления, во сне от сгорания. А придет час твой смертный, ты вспомни, мое дитятко, про нашу любовь родительскую, про хлеб-соль, обернись на родину славную, ударь ей челом семирежды семь, распростись с родными и кровными, припади к сырой земле и засни сном сладким, непробудным.

Иди! — мягко подтолкнул к острогу смущенного атамана.

А острог жил своей жизнью. Казаки подводили под кровлю другую башню, под которой был устроен государев амбар. Яков спешил срубить к зиме избу приказчика. Пустошь жила по-своему, не вмешиваясь в острожные дела. С сыном Иван виделся редко, а прошлая жизнь безболезненно забывалась, как отслужившая срок листва.

На Преображенье Господне к острогу подошли струги, плывшие с верховий Ангары. Казаки, по своему обычаю, веселились на светлый праздник. Скит радовался и отмечал Преображение по-своему. Опираясь на посох, кланяясь монаху и вкладчикам, к пустоши подошел Афанасий Филиппович Пашков. Он заметно постарел и обветшал на дальних службах, долго и слезно молился в часовенке, сделал вклад деньгами, просил иеромонаха Герасима и всех вкладчиков молить Бога за него, грешного. Ивана Похабова он не узнавал, а тот о себе прежнем не напоминал и с состраданием поглядывал на служилого. Да и трудно было узнать его: обычная хмурость, обремененность заботами сходили с лица, разглаживались морщины, ярче и радостней светились глаза. У Пашкова же лицо было таким, каким Иван видел его первый раз возле стола дьяка Сибирского приказа: то заискивающим, то высокомерным.

— Как пес служил государю, — жаловался, взывая к состраданию всех, с кем встречался взглядом. — И вот награда! Призывает государь для сыска. Обвинили, что войско погубил… Будто я себя самого или сына единородного щадил? — Смахивал слезы с глаз и сморкался в кулак. — Сами чудом живы. Такую уж службу дал нам Господь на Шилке-реке. Такая наша доля!

Пашков со своими людьми уплыл вниз по реке, а перед Рождеством Богородицы Ангара несла мимо острога струг протопопа Аввакума. Непокорный поп к берегу не приставал, спешил в Енисейский острог и дальше, в Москву.

Совсем облетел лист с деревьев, легла на землю трава, прибитая заморозками. Над студеной водой клубился туман. Старый Похабов увидел издали, как два казака подплыли к стругу на легкой лодчонке и повернули обратно. Аввакум в распахнутой овчинной шубе победно поднялся на корме в полный рост, Животворящим Крестом благословил возведенные башни острога.

Иван спустился к воде напротив пустоши, пристально глядя на проплывавшего протопопа. Струг шел под яром вблизи берега. Узнал ли Аввакум во вкладчике бывшего грозного казачьего голову Ивана Иванова Похабова, нет ли? Взглянул на него с дерзостью победителя и поднял руку со сложенными в двуперстие пальцами, будто хотел сказать: «Умри за букву в имени Господнем, за всякий обряд, до нас заложенный!» И перекрестил скитника.

Иван склонил голову в казачьем, не монашеском, поклоне. Струг проплыл мимо. Провожая его глазами, он почувствовал, что кто-то беззвучно встал за спиной. Обернулся — Герасим.

— Опальный протопоп! — указал глазами на удалявшееся судно. — Лет уж пять назад слезно каялся, что погубил моего друга, бросил тело собакам, а после отпел и похоронил. А тот был жив и служил в Даурах. Зачем такое на себя наговаривал? Не пойму!

— Не всем дано помнить только прошлое, — вздохнул монах, и лицо его выдало претерпеваемую муку. — Иным Господь дает помнить будущее. Бывает, одно с другим путается в голове и на языке. Видать, скоро встретятся, и все случится, как говорил! — Перекрестился с грустным видом. Рассеянно перекрестился на туманный восход и старый Похабов. — Счастливые греки строили Царьград, закладывали его основу, а их пророкам уж ведомо было, что случится через тысячу лет. И были всякие знаки к тому.

Иван настороженно обернулся к Герасиму, обеспокоенно спросил:

— Примечаю, батюшка, что ты с такой же вот тоской глядишь на наши труды. Уж не случится ли что? Вдруг зря строим: не привезет Ивашка Перфильев разрешительной грамоты?

— Растет яблонька, радуется солнцу, и вдруг самое красивое, самое здоровое деревце обрезают, — попытался что-то туманно пояснить ему монах. — За что про что? Оказывается, садовод-хозяин прививает почку, чтобы плоды были сладкими…

Поскольку Похабов никогда не был так умен, чтобы понимать намеки, то смотрел на Герасима пристально и требовательно, не как вкладчик, а как грозный казачий голова. Он не любил сомнений и в новом своем служении. Монах смутился, покачал головой, снова вздохнул и неохотно сказал:

— Язык мой — враг мой!.. Ну, призовет меня Господь неизвестно когда, а через два года после того сгорит наш монастырь. Ну и что? Новый построят! Ты закладывал основу каменную, твои труды не пропадут. Твоей душе радоваться в веках!

Словарь устаревших русских и инородческих слов, использованных в романе.

Аба — отец (бур.).
Абдай — дядя (бур.).
Ак — Эй! (эвенк.).
Алтын — три копейки, шесть полукопеек, называемых денежками.
Аманат — заложник.
Андаги — соболь (эвенк).
Антиминс — платок с вшитыми в ткань частицами мощей, с изображением Христа во гробе, на котором велась литургия вне церкви.
Арза — молочная водка двойной перегонки.
Аринцы — кетоязычный народ, в XVIII веке полностью ассимилированный сибирскими тюрками, предки нынешних хакасов.
Арха — молочная водка, тарасун у бурят.
Атха шутха! — ругательство героев в бурятском эпосе.
Ахай — старший брат (бур.).
Баабай — предок (бур.).
Байгал-далай — старое бурятское название Байкала.
Баатар — в бурятском эпосе звание героя и предводителя.
Бабануур хун — болтливый человек (бур.).
Басаган — девушка (бур.).
Баюн — обычно старик, которого брали в промысловые ватаги для развлечения сказаниями и былинами.
Бердыш — боевой топор на длинном черенке, совмещенный с копьем.
Бикит — дом из бревен (эвенк.).
Бира (эвенк.) — река.
Богда, Богдыхан — китайский император (сиб.).
Богдойцы — китайцы (сиб.).
Богдан — богоданный сын — сын жены, не родной отцу.
Болдырь — полукровка (сиб.).
Боо — шаман (бур.).
Боол — дубинка, нижний сучок дерева (бур.).
Братина — сосуд для соборного застолья.
Бузар — нечистоты (бур.).
Бурхи — грязь (бур).
Бэюн — зверь (эвенк.).
Братан — старший брат.
Братаниха — жена старшего брата.
Брательник — младший брат.
Брательничиха — жена младшего брата.
Бус — мелкий дождь (сиб.).
Буха нойон баабай — бык, мифический предок бурят.

Бэртэнги — искалеченный (бур.).
Вадеми — убьет, добьет (эвенк.).
Ватага — промысловая артель.
Ветка — легкая лодка.
Вира — плата за убийство.
Вож — проводник.
Выростки — казачьи дети шестнадцати-семнадцати лет, начинавшие государеву службу.
Галди шамай! — А, чтоб тебя! (бур., бранное).
Гарса — брод через реку (бур.).
Горячее вино — хлебная водка.
Государево слово и дело, слово и дело — форма объявления дела государственной важности, по которому объявившего требовалось доставить в Москву.
Гривенка — мера веса 4 граммов, сороковая часть пуда.
Гужом — конной, оленьей тягой.
Гуталы — бурятские кожаные сапоги.
Гэр — дом. Жаа гэр — маленький домишко (бур.).
Дайша — воин, воинственный (бур.).
Далай — море (монг., бур.).
Дархан — кузнец (бур).
Дедушка — водяной дух.
Дикое поле — пустоши на месте бывших Курского, Северского, Черниговского, Рязанского и других княжеств, между Доном, верхней Окой и левыми притоками Днепра и Десны.
Дуроу ниилэхэ — душа в душу, дословно стремя в стремя (бур).
Дуу, дуудэй — братишка (бур).
Дуумгэй — младший брат (бур.).
Дю — чум (эвенк.).
Заа — хорошо, ладно (бур.).
Зайгуул — бродяга, проходимец (бур.).
Елеунэ — эвенкийское название реки Лены.
Ертаул — разведчик.
Ефимок — талер с выбитым на Московском денежном дворе клеймом. Приравнивался к рублю.
Животы — движимое имущество.
Жупан — короткий кафтан, обычно голубого цвета, в XVII веке распространенный в Речи Посполитой и среди казаков.
Зааманатить — взять в заложники.
Заплечник — палач.
Зипун — верхняя одежда из домотканого сукна.
Зулхэ — бурятское название реки Лены.
Илэ — человек-эвенк (эвенк.).
Илэл — люди, самоназвание эвенков.
Кабала — письменное долговое обязательство.
Камлать — шаманить с бубном, призывая духов.
Камчатый — китайского шелка.
Капище — место языческих молений и жертвоприношений.
Кистень — боевое холодное оружие. Короткий черенок, цепью или ремнем соединенный с металлическим шаром.
Клепало — кусок дерева или камень, используемый вместо колокола.
Клепцы — охотничьи ловушки для промысла.
Корольки — стеклянные бусы.
Кортома — традиция русских сибиряков на период отсутствия продавать жен во временное пользование (обычно женщин нерусского происхождения).
Кошт — расходы на содержание, иждивение.
Кружка — емкость в десять чарок, 12 граммов.
Култук — мелководный залив; заглушка для вентеря.

Кутной угол — хозяйский угол в крестьянских избах, правый от входа.
Кушак — широкий матерчатый пояс.
Куяк — шлем, каска.
Кыштымы — роды и племена, зависимые от инородцев.
Лавтак — шкура или ее часть.
Лама — эвенкийское название Байкала.
Литвины — православные русичи, подданные дворянской республики Речи Посполитой.
Лучи — русичи в эвенкийском произношении.
Лыпа — посох с насаженным коровьим рогом (альпеншток).
Мангадхай — в бурятском эпосе антропоморфное многоголовое чудовище, олицетворение несчастий.
Мата — уважаемый (эвенк.).
Меноэн — зимнее стойбище (эвенк.).
Мерген — охотник (тюркск.), охотник-добытчик и один из титулов предводителей у бурят.
Мощаница — полость с вложенной частицей мощей святого.
Мурэн — большая река, бурятское название Ангары.
Нагородни — укрепление на крыше избы.
Надолбы — бревна, вкопанные вокруг острога или крепости так, что между ними может пройти человек, но не может проехать всадник.
Наказы — письменные распоряжения и наставления начальствующих лиц.
Обротчики — безземельные, лично свободные, наемные работники, платившие подушный налог зерном.
Одекуй — крупный бисер разного цвета.
Остяки — устаревшее название хантов — народа финно-угорской языковой группы.
Отписки — письменные отчеты.
Охабень — старинный кафтан с четырехугольным отложным воротником.
Пальма — рогатина, боевое и охотничье оружие — клинок, насажанный на длинное древко.
Паняга — заспинная доска с петлями для груза.
Пегие люди, или остяко-самоеды — устаревшее название селькупов, сибирского народа самодийской языковой группы.
Пенный — обвиняемый в преступлении и лишенный права голоса на кругах.
Повязка — девичий головной убор.
Подьячий — в XVI–XVIIвеках чиновник, ведавший делопроизводством.
Поклоны — подарки царю.
Покрута — наем в промысловую ватагу с половины, трети или четверти добытого меха.
Покрученник — наемный промышленный на полном содержании ватаги.
Полуденник — южный ветер.
Полуженники — частично оплатившие затраты на промыслы или промышляющие за половину ужины по уговору.
Половой — прислуга в кабаках и гостиницах.
Полпиво — слабый хмельной напиток.
Поминки — подарки служилым людям.
Поприще — кроме современных значений, древнерусская мера пространства 2 верст (21,3 км) — дневной переход.
Прибранные новоявленно — принятые на службу из не служивших прежде.
Послух — по древнерусскому праву — свидетель, который, в отличие от «видальца», не являлся очевидцем происходившего.
Поющая стрела — гуннские стрелы, издающие звук в полете.
Примучил — вынудил.
Приставы — охранники, лица, сопровождавшие преступника или подозреваемого.
Причт — штат священников и церковнослужителей при церкви.
Пыжица — рубаха из шкуры оленя.
Разрядный — утвержденный в должности или в чине Сибирским приказом.

Сайн байну! — монгольское и бурятское приветствие.

Самоеды, самодийские народы — общее устаревшее название племен ненцев, эн-цев, нганасан и селькупов.

Сары — эвенкийские меховые зимние сапоги.

Сверх указного государева числа — сверх штата.

Связчик — напарник по промыслам.

Сиротский угол — угол возле входной двери, обычно слева.

Складни — походные иконы.

Складники — промышленные и торговые люди, вложившие свой денежный пай в предпринятое дело.

Скорбут — цинга (устаревшее название болезни).

Слобода — в Восточной Сибири в XVII веке административный центр нескольких пашенных деревень.

Слободчик — организатор и основатель или руководитель слободы.

Сонинг — герой, предводитель (эвенк.).

Старшинка — выборные чины станичного и войскового правления.

Стольник — младший придворный чин в России XVII века (стольник — окольничий — боярин).

Стоячий тын — частокол, забор из врытых в землю бревен.

Стрелка — песчаная коса.

Стружки-однодневки — легкие, наспех сделанные лодки.

Сувор — человек с изуродованным лицом.

Сусленки — платные бани при острогах и слободах с продажей легкого хмельного напитка.

Сусло — хмельной квас.

Сын боярский — в XVII веке в Сибири средний служилый чин выше казака или стрельца и ниже дворянина.

Тайбола — самодийское название тайги — труднопроходимого лесного пояса северных широт от тундры до лесостепи на юге. (устар.).

Тать — вор, разбойник.

Товарищ — у казаков — соучастник по общему делу равных.

Требы — жертвоприношения.

Туесо — берестяная посуда.

Тунгусы — название эвенков в русских документах XVII века.

Ужина — полный пай, вносимый промышленным в снаряжение ватаги и полная доля из добытого меха.

Урман — дикие, необитаемые места в тайге.

Уруул — пришлый (бур.).

Урыкит — эвенкийское традиционное место летних стойбищ.

Уста — кузнец, мастер (тюркск.).

Утуг — отстой для скота под открытым небом.

Хазак-мангадхай — русич, русский (бур.).

Хорзо — молочная водка после тройной перегонки (бур).

Хубун — титул главы родоплеменного объединения у бурят в XVII веке.

Целовальник — выборная должность людей неслужилых сословий (черносошных крестьян, посадских), ведавших доходом с кабаков, сбором пошлин, выполнявших судейские и полицейские функции.

Чарка — сосуд для питья и мера жидкости около 12 граммов.

Чаровать, узорочить — привораживать с помощью снадобий.

Челобитные — письменные прошения.

Черкасы — запорожские казаки.

Чибара — раб, дословно — лысый, остриженный (эвенк.).

Чувал — очаг с дымоходом.

Чукульмы — эвенкийские женские легкие меховые сапоги.

Чуница — самостоятельное подразделение промысловой партии от трех до пяти человек.

Шебалташ — кожаный ремень с пряжкой, на который подвешивались рог с порохом, мешочек с пулями, огниво.

Шертовать — присягать.

Шитик — тип судна, киль и часть шпангоутов которого делались из цельного дерева. Обшивка бортов крепилась — «шилась» — корнями деревьев, кустарником.

Элеунэ — река Лена.

Эсэгэ Малаан, сын Вечно Синего Неба — мифический небожитель бурятского эпоса, покровитель людей.

Этыркэн — старик, дед (эвенк.).

Эхириты, булагаты — бурятские племенные союзы.

Юркий — табуированное название соболя среди промышленных в XVII веке.

Юрол – благопожелания (бур.).

Ямы — ямские станы.

Ясыри — рабы-пленники (тюркск.)